

ДЕКАБРИСТЫ

ДЕКАБРИСТЫ

Избранные
сочинения
в двух томах

ТОМ 2

Москва
издательство
Правда
(1987)

84 Р 1
Д 28

Составление и примечания
А. С. Немзера и О. А. Проскурина

Д $\frac{4702010100-1115}{080(02)-87}$ 1115-87

© Издательство «Правда», 1987.
Составление. Примечания.

В.Ф. РАЕВСКИЙ

ПЕСНЬ

Полно плакать и кручиниться,
Полно слезы лить горячие:
Честь и родина любезные
Мне велят с тобой не видаться.

О девица, о красавица,
Осуши слезу горячую,
Дай прижать тебя к груди моей!

В поле знамя развевается,
И товарищи любезные
С кликом радостным волнуются
В ожиданьи время бранного.

О девица, о красавица,
Осуши слезу горячую,
Дай прижать тебя к груди моей!

Полно плакать и кручиниться.
Если любишь друга верного,
С верой к богу, к другу с верностью
Дожидайся возвращения.

О девица, о красавица,
Осуши слезу горючую,
Дай прижать тебя к груди моей!

Не захочет дева русская
Посрамить стыдом любезного,
Чтобы он священну родину
Позабыл для страсти пламенной.

О девица, о красавица,
Осуши слезу горючую,
Дай прижать тебя к груди моей!

Если я погибну с честью,
Мы с тобою там обьемся.
Если я останусь с славою,
Нам любить сто раз прелестнее.

О девица, о красавица,
Осуши слезу горючую,
Дай прижать тебя к груди моей!

Между 1812 и 1816

ОДА ДРУГУ

На лоне ласкательной неги
Сбрось иго заботы, мой друг!
Здесь все ненадолго —
Спеши, пока еще время, душистые в поле цветы
Рукою беспечной срывать...

Ах! радости смежны с печалью,
Фортуна лелеет тебя,
И злато рекой
Лится в обитель твою зарею безбедного дня...
Но буря таится во мгле.

Ланиты и сердце пылают
Любви сладострастным огнем,
И дева прелестна
Белололейной рукою на ложе восторгов зовет —
Там чашу Киприде пить в дар.

Алмазной клубится струею
Шампанское в кубках златых,
Сонм юношей резвых
С тобою разделят вино и яствы роскошных столов,
И годы как миг пролетят!

Но, друг, в упоении страшися соделаться жертвой
страстей,

Да гордость с пороком
Тебя не коснется во тьме под видом змеи золотой;
Опасны и взгляды льстецов;
Померкнут, как в сумрак денница,
И мысли довольства собой;
Душа унывает,
Когда не стремимся ко благу прямою и верной
стезей,—

Свобода и совесть твой путь.
Жизнь наша есть искра во мраке —
Пылает душою она,
А разум нас высит
Превыше ничтожных сует к Источнику жизни миров
И прах сотрясает земной!

1816 или 1817
Днестр

ПОСЛАНИЕ ПЕТРУ ГРИГОРЬЕВИЧУ ПРИКЛОНСКОМУ

Qui vit content de rien
possède toute chose.
*Boileau. V Epttre*¹

Мой друг! взгляни кругом на наш подлунный свет:
От трона царского до хижины убогой —
Везде увидишь след богини быстроногой,
Но постоянного для ней приюта нет.
Чем выше здание — тем ближе к разрушенью,
Опасен скользкий путь титулов и честей.
Опасны милости и дружество царей —
Кто ближе к скипетру, тот ближе к ниспаденью!

¹ Кто доволен малым, тот обладает всем.
Буало. V послание (фр.)

Как часто видим мы невежду и глупца
С титулом княжеским, в заслугах, уваженьи,
Который с гордостью бросает взор презренья
На долю скромную и бедность мудреца.
Но тратит ли, мой друг, мудрец свои надежды
Фортуне вопреки покоем обладать?
Нет, тою же стезей он скрылся от невежды
Под кров беспечности о слабом сострадать!
И в рубище Солон дал Крезу наставленье,
Как смежны счастье и слава с нищетой,—
Пред Киром на костре от смерти роковой
Спасло неожиданное счастливец предреченье.
Лишенного очей, в темнице и цепях
Зри Велизария и с ним превратность рока...
Давно ль Наполеон, полсвета бич и страх,
Мечтал оспаривать и власть и силу бога?
Где ж гром его побед?.. Фортуна за собой
Триумфы, почести и славу удалила.
Нет постоянного для смертных под луной,
Превратность — жребий наш, а верное — могила!..
Чины, и почести, и всех богатств собор,
Когда нет мудрости, нас скукой отягчают,
Прельщается ль резцом и кистью грубый взор?..
Безумцы остроту в безумце обретают;
Страшилище ума, они в кругу своем
Нерона с Августом в величии равняют,
Херила наших дней Пиндаром называют
И восхищаются Беатуса умом!..
Сословие невежд, гордящихся породой,
Без знаний, без заслуг, но с рабскою душой,
Но с знаньем в происках до степени высокой,
Идет надменно и быстрою стопой...
Презренные льстецы с коленопреклоненьем
Им строят алтари, им курят фимиами.
Напрасно равенства мечтатели желают,
В природе равенства не может быть и нет:
Одних смирение, таланты отличают,
Других — безумие и преступлений след;
Одним назначено дней миром наслаждаться,
Другим—убийством жить и в дебрях пресмыкаться.
Родится гений, ум, рождается и глупец —
Ужель природы дар не должен дать первенство?
Начало всем одно, и всем один конец.
Но в мире нравственном не может быть равенство,—

Лишь независимость есть мудрого черта;
Под игом деспота-тирана — он свободен...
Для пользы ближнего жить — сладкая мечта!
Тому, кто чувствами, кто духом благороден,
Он тайно не острит на братьев грозный меч,
Не жаждет для венка бессмертия и славы,
Неистоймой рукой точить ручки кровавы,
Жилища мирные в добычу брани жечь
И доблесть исчислять числом насилий и мести;
Ему неведом путь покорства, низкой лести
Пред знатым гордецом — вельможею царя;
Он в доле средственной нужды ни в чем не знает
И, прихотям не раб, спокойно засыпает
С подругою своею до радостного дня!
Природы добрый сын, в объятиях природы
Он верно свой покой и благо обретет;
Не алчен к золоту, он ищет лишь свободы
И в Новый свет искать сокровищ не плывет.
Приклонский! Счастье еще не за горами,
И если от него нас жребий отлучил,
То опыт гибельный стократно научил,
Как радости ловить удачными часами,
Желанье, прихоти и страсти обуздать
Должны рассудком мы, чтоб в меру наслаждаться.
Довольно, милый друг, за призраком гоняться,
Не время *у моря погоды ожидать!*..

1817

* * *

От ранней юности я жребий мой познал
Из урны роковой — погибельный, несчастный,
И взором трепетным и смутным пробегал
Судьбы моей скрижаль!..

С тех пор денницы блеск и юной девы взоры
Я с равнодушием встречал!
И муз пленительные хоры,
Как песни грубые, внимал
И на величие природы
Взирал, как сквозь туман осенней непогоды!..

1810-е годы

ИДИЛЛИЯ

Как можно свободу на цепи менять?

Утехи Амура холодным Гименом

Навеки сковать?

Восторги и радость, нам данные небом,
Друг милый, Шарлота, потщимся продлить.

Здесь всё ненадежно: и прелесть и радость

Как миг улетят.

Доколе лелеет огнистая младость,

Доколе насытый Сатурн чередой

Не сгубит улыбку, румянец весенний,

Доколе с тобой

Присутствует добрый невидимый гений

И юноша страстный любовью полн,—

Дотолы, Шарлота, ликуй безмятежно

И на море челн

Средь тихой погоды на вал ненадежный

С неверным желаньем стремись удержать.

Холодных, коварных людей осужденье

Как можно внимать?

Их радость — порочить любовь, наслаждение.

1810-е годы

Г. С. БАТЕНЬКОВУ

Хотя глас дружества молчанью твоему

Без прекословия и укорииз прощает,

Но можно ль нежность дать холодному уму,

Который действие с причиной разбирает?

Ужели хладная и мертвая Сибирь,

Где видны ужасы неласковой природы,

Где вьюги, и мороз, и вихорь-богатырь

От точки полюса под знаменем свободы

Стремятся по горам пустынным бушевать,

Могла твой прежний дух и дружбы уверенья,

Как кедра сильный ветер главу, поколебать...

И силлогизма дать софизму заключенья?

Ужель свинцовый час

Покрывл прошедшее невозвратимой тьмою,

Ужель он заглушил влеченья тайный глас,

Который юношей нас съединил с тобою?..

Конечно, в те часы, как мыслью ты летал
С Ньютоном, с Гершелем в планетах отдаленных,
Движенья их, часы, минуты исчислял,
Их жителям давал законы непременны,

Чужд бренности земной,
О друге забывал, как о пылинке бренной,

И гений добрый твой
На время оставлял тебя мечтой химерной.
Иль, долгу верный раб, в союзе с суетой,
Заботой, нуждами и бедством окруженный,
Не мог ты жертвовать минутою одной

Для друга ежедневно?

Но прочь сомнение, ты тот же должен быть:
Те ж чувства, чуждые и низости и лести,
И ум возвышенный, способный отличить
Талант от глупости, дым суеты от чести,
Те ж мысли правоты, размер во всех делах,
И поступь, сродная закону протяжений,
Те ж Эйлер и Лагранж — в сияющих глазах
По тем же степеням высоких уравнений!..

Прости, мой друг,
Метафорическим моим уподобленьям!
С тяжелой головой, с унынием сам-друг,
Могу ли услаждать приятным песнопеньем
Твой к бурям приобвыкший слух?
К тому ж вожатый мой, Вакх дерзостный и юный,
Тогда как я пишу, волнуя бурный дух,—

Мои наладил струны!..
Напрасно б стал тебе забавы воспевать,
О радостях вещать дрожащими устами
И подвиги мои с улыбкой исчислять
На поле боевом не голосом, очами...
Погибло всё, как сон с младенческой мечтой.
Любитель некогда военной непогоды,
С прискорбием теперь меч обнажаю свой,
Как чадю смелое безвластия, свободы!..

Я свет печальный созерцал —
И волос дыбом становился!
Когда же глубину души людей познал,
Я с светом раздружился!..

Руссо и Тимона невольно оправдал,
И, им последовать готовый,
Чем более людей боялся и бежал,
Тем делались сносней тяжелые оковы!

С пустынею в душе, с сомнением ко всему,
Не доверяющий сим тварям ослепленным,
Которы в гордости, в невежестве уму
Возносят алтари... и гонят ум смиренный...

1817(?)

СЕТОВАНИЕ

В младенчестве моем я радости не знал.
Когда лишь с чувствами, с невинностью знакомый,
К родителям моим я руки простираю,
Врожденной добротой влекомый,
Я нежной ласки ожидал.
Увы! Тогда мой взор суровый взгляд встречал.
Я плакал, но еще несчастья не знал!
В те дни, как чувствами природой оживленный,
Я помнить стал себя, предметы различать,
Стал чувствовать добро,— незнаньем увлеченный,
Я мнил любезных мне с восторгом обнимать!
Но, ах! несчастного удел определенный
Лишь горести встречать.
Я плакал, но еще мог слезы забывать!..

1810-е годы

РОПОТ

Где вы, о призраки счастливых обольщений,
Куда сокрылися восторги и любовь?
Я вижу тень одну прошедших наслаждений!..
Светильник гаснет мой, и леденеет кровь!..

На то ли Прометей рукою дерзновенной
Похитил у богов дар жизни, огонь святой,—
Чтоб житель сей земли, кругом несовершенной,
Терял сей самый дар с рассветшею зарей?

Давно ли, девами на играх окруженный,
Я им, краснея, безмолвствуя, внимал!
И, Терпсихорою в круг шумный увлеченный,
С прикосновением взор робкий опускал.

Сколь юность сладостна беспечною златою!
Души исполнена восторгов и собой,—
Ласкала прихотям, невинностью самою,
Являя всюду рай, блаженство и покой!

О сладострастие, восторг неизъяснимый!
Могу ль изобразить сей тихий, сладкий жар,
Стремленье робкое души нетерпеливой...
И упоение — богов чистейший дар!

Я помню первое свиданье, дерзновенье...
Коснулся... мертвый хлад по членам пробежал.
И огонь его сменил, и бурных чувств горенье
Слабело, гаснуло... и дух мой исчезал!

Но к жаждущим устам коварный сын Киприды,
Как нектар, страшный яд улыбкой подавал,
И цепи грозные, под блеском роз сокрыты,
Со взором радостным на чувства налагал!

И чувства гаснули в пучине заблуждений...
Неопытный, я тек легчайшею стезей
К причине гибельной минутных упоений
И жертвой сделался безмерности страстей...

О Геба юная, услышь мое моленье
И в чувствах воскреси почти погасший жар!
Дай силу прежнюю и право наслажденья,—
Умеренность — тебе мой будет первый дар!..

1810-е годы

ОСЕНЬ

Игуллия

Давно ль природа воскресала
Из мертвой тишины
И юная весна рукою рассыпала
По бархатным лугам душистые цветы?
Давно ли голос филомелы
Авроры золотой приветствовал приход
И сельских граций хоровод
В забавах воспевал природу, май веселый?

Утихли песни их, пернатых смолкнул хор,
И птицы стаями в край теплый отлетают,
Туманы серые долину покрывают,

И листья сбросил бор!

Свирели стройный звук в полях не раздается,
Ветр буйный с севера несется,

И холодный дождь шумит...

Усталый селянин под кровлею смиренной,

От шума удаленный,

Плоды трудов своих с родной семьей делит.

Цветы поблекшие, деревья обнаженные,

Сей молчаливый вид природы, скрытой в мгле,

Изображает путь вечерний утомленных

Страдальцев на земле.

И нам назначено таинственной рукою

Премени быструю невидимо узнать,

Зреть радость и восторг рассветшею зарею,

Дней в полдень жребия превратность испытать —

И скользкою стопой стремиться к назначенью!..

Счастлив, стократ счастлив, кто поздних дней

приход

И солнца ясного последний оборот

Встречает, не страшась, под дружескою сенью,

Кто сильных тайных мук на сердце не узнал,

Чей челн покойно тек вдали подводных скал,

Вдали от непогод и бурных треволнений,

Чей кормчий был — устав свободы золотой

И цель стремления — природа и покой.

Стезей неровною опасных приключений

Куда стремимся мы за славою пустой?

Невольники сует, страстей, предубеждений,

Дает ли слава нам и благо, и покой,

И право чистых наслаждений?

Нет, слабый человек рождается для забот.

С издетства от святой природы отвыкает.

Его на скользкий путь свет пагубно зовет,

Где ослепление умами управляет,

И век его, как сон невидимый летит,

Который изредка мечтою сладкой льстит,

А чаще — мрачные виденья представляет...

И парки лютые, прервавши жизни нить,

Его для вечности сокрытой пробуждают!

1810-е годы

Нет, нет, не изменюсь свободною душою
 И в самой стороне приветливых цирцей,
 Где взоры их горят под дымкою сквозною
 Желаньем, негою и пламенью страстей,
 Где воздух, кажется, любви жар вдыхает.
 Взлелеянный в чаду пороков сибарит
 Пред девою каждою пусть выю преклоняет
 И, низкий раб страстей, душой порочной спит.
 Мой друг, я буду твой, не изменюсь душою.
 И чувства юные, восторг, и пламень мой,
 И ложе роскоши не разделю с другою.
 И будет в ревности упрек напрасен твой.

1810-е годы

ОБЕТ

Еще румянцы на щеках,
 Во взорах сладострастье,
 Желанье, роскошь на устах
 Не погасило счастье.
 Пускай бессмысленный совет
 Внимает малодушный —
 В ком страсти есть, в том страха нет;
 Стыдитесь быть послушны
 Рабам, отжившим под луной;
 Здесь парками забыты,
 Они забыли жребий свой
 И страшный брег Коциты!..
 Друзья! мы смерть предупредим
 На ложе упоенья
 И клятвенный обет дадим —
 Не ждать чредой явления.
 Скрепим и длани и сердца!
 С бестрепетной душою
 Испьем фиял утех до дна
 И ступим в гроб ногою...

1810-е годы

ГЛАС ПРАВДЫ

Сатурн губительной рукою
Изгладит зданья городов,
Дела героев, мудрецов
Туманною покроет тьмою,
Иссушит глубину морей,
Воздвигнет горы средь степей,
И любопытный взор потомков
Не тщетно ль будет вопрошать:
Где царства падшие искать
Среди рассеянных обломков?..

Где ж узрит он твой бренный прах,
Сын перси слабый и надменный?
Куда с толпою, дерзновенный,
Неся с собою смерть и страх,
По трупам братий убиенных,
Среди полей опустошенных
[Ты вслед стремился за мечтой —
И пал!.. Где ж лавр побед и славы?]
Я зрю вокруг следы кровавы
И глас проклятий за тобой!..

Полмертвый слабый сибарит,
Мечтой тщеславия впоенный
И жизнью рано пресыщенный,
Средь общих бедствий в неге спит.
Проснись, сын счастья развращенный!
Взгляни на жребий уреченный:
Тебя предвременно зовет
Ко гробу смерти глас унылый,
Никто над мрачною могилой
Слезы сердечной не прольет.

Вельможа, друг царя надежный,
Лицина истины самой,
Покрыв пороки корысти злой,
Питая дух вражды мятежной.
Каких ты ждешь себе наград?
Тебе награда — страшный ад;
Народ, цепями отягченный,
Ждет с воплем гибели твоей.
Голодных добыча червей,
Брось взор ко гробу устранный...

Тиран, как гордый дуб, упал,
Перуном в ярости сраженный,
И свет, колеблясь, изумленный
С невольной радостью взирал,
Как шаткие менялись троны,
Как вдруг свободу и законы
Давал монарх — граждан отец —
И цепи рабства рвал не силой, —
Тебя ждет слава за могилой,
Любовь детей — Тебе венец!

Вторая половина 1810-х годов

ПЛАЧ НЕГРА

Задумчив, устремя к луне унылы очи,
Несчастный сын степей под пальмою родной
Стоял недвижимо в часы глубокой ночи,
И пращ его и лук с губительной стрелой
Разбросаны. И конь, товарищ бурной битвы,
По шелковой траве медлительно бродил.
И пес — сей верный страж, сей быстрый сын ловитвы —
Лежал и лай ночной с боязнью притаил.
И мрак и тишина полуночной природы
Питали мысль его отчаянной мечтой.
И он — сей белых бич, сей гордый сын свободы —
Ланиты оросил горячею слезой!

«Нет радости в мире, нет Зоры со мною!
Я видел ветрила вдали кораблей,
Несущих добычу драгую стрелою
Далеко от милых отчизны полей!
Ах! мог ли провидеть отмщение рока?
Сегодня, зарею, колено склоня
Пред ярким сияньем светила востока,
Я чувствовал благодать небесна огня!
От братий веселых чрез дебри и горы
Помчался я к милым родным шалашам,
Ласкаясь мечтою в объятиях Зоры
И в ласках младенца дать отдых трудам!»

Вторая половина 1810-х годов

ПУТЬ К СЧАСТЬЮ

Шумите, волны! ветер, бушуй,
И, тучи черные, вокруг меня носитесь!
Мой ясен взор, покоен дух,
И чувства тихие не знают страсти бурной,
И я узнал покой
В свободе золотой!
Стремитесь на войну, сыны побед и славы!
Кровавый меч не нужен мне:
Храним пенатами, я цену наслаждений
Близ милых мне опять узнал;
Под сению родною
Здесь счастье со мною.
Опасен свет — и радость в нем
Подвержена всегда судьбине переменной.
Под тенью лип покоюсь я,
Вкушая сладкий мед, из милых рук налитый;
И мысль и голос слов
Не ведают оков!
Пусть среди роскоши Лукуллы утопают:
Их жизнь — не жизнь, но мрачный сон;
Их участь славная достойна состраданья;
Им чужд покой — и бедствий тьма
Тревожит наслажденья
В минуты сновиденья.
Не слышен глас Зоилов мне,
И пышный, ложный блеск меня не обольщает;
Пускай сатрап дает закон
Искателям честей улыбкою одной!
Здесь с музою моей
Я не зову честей!
Хотите ль, смертные, путь к счастью сокровенный
В сей жизни временной найти?
Покиньте замыслы к бессмертию ничтожны
И бросьте лавр и посох свой —
В объятиях природы,
Пред алтарем свободы.

<1819>

СМЕЮСЬ И ПЛАЧУ

(Подражание Вольтеру)

Смотря на глупости, коварство, хитрость, лесть,
Смотря, как смертные с холодною душою
Друг друга режут, жгут и кровь течет рекою
За громозвучну честь;

Смотря, как визири, пошевели усами,
Простого спагиса, но подлого душой,

Вдруг делают пашой,
Дают — луну, бунчук и править областями;
Как знатный вертопрах, бездушный пустослов
Ивана à rebours¹ с Семеном гнет на двойку
Иль бедных поселян, отнявши у отцов,
Меняют на скворца, на пуделя иль сойку,
И правом знатности везде уважен он!..
Как лицемер, ханжа, презря святой закон,
В разврате поседев, гарем по праву власти
Творит из слабых жертв его презренной страсти,
Когда невинных стон волнует грудь мою,—

Я слезы лью!

Но если на меня фортуна улыбнется
И если, как сатрап персидский на коврах,
Я нежуся в Армидиных садах,
Тогда как вокруг меня толпою радость вьется
И милая ко мне с улыбкою идет
И страстный поцелуй в объятиях дает
В награду прежних мук, в залог любви нежной,
И я вкушаю рай на груди белоснежной!..
Или в кругу друзей на вакховых пирах,
Когда суждение людей, заботы, горе

Мы топим в пуншевое море,
Румянец розовый пылает на щеках,

И взоры радостью блистают,

И беспристрастные друзья
Суждению смелому, шумя, рукоплескают,—

Тогда смеюсь и я!

Взирая, как Сократ, Овидий и Сенека,
Лукреций, Тасс, Колумб, Камозэнс, Галилей
Погибли жертвою предрассуждений века,
Интриг и зависти иль жертвою страстей!..
Смотря, как в нищете таланты погибают,

¹ Навыворот, в обратном порядке (фр.).

Безумцы ум гнетут, зная *право* воспрещают,
Как гордый Александр Херила другом звал,
Как конь Калигулы в сенате заседал,
Как в Мексике, в Перу, в Бразилии, Канаде
За веру предадут людей огню, мечу,—
На человечество в несноснейшей досаде,—

Я слезы лью!..

Но после отдыха, когда в моей прихожей
Не кредиторов строй докучливых стоит,
Но вестник радостный от девушки пригожей,
Которая «люблю! люблю!» мне говорит!
Когда печальный свет в мечтах позабываю
И в патриаршески века переносюсь,
Пасу стада в венце, их скиптром подгоняю,
Астреи вижу век, но вдруг опять проснусь...
И чудо новое: Хвостова сочиненья,
Я вижу, Глазунов за *деньги* продает,
И, к довершению чудес чудотворенья,—
Они раскуплены, наш бард купцов не ждет!..
Иль Сумарокова, Фонвизина, Крылова
Когда внимаю я — и вижу вокруг себя
Премудрость под седлом, Скотинина...¹

Тогда смеюсь и я!

Конец 1810 — начало 1820-х годов

САТИРА НА НРАВЫ

Мой друг! в наш дивный век — науками, искусством,
И россов доблестью, и благородства чувством
Любви к отечеству достойных сограждан,
В наш новый век, когда властитель и тиран
Несметных орд к нам внес убийства и пожары
И провидения испытывал удары,
Сея в триумф побед постыдный бег и страх...
И трупы хищников рассеялись в полях,
Когда *прошедшее* из книги современной
Мечом росс вырубал и, лавром покровенный,
Секване начертал постыдный приговор...

¹ Стих не дописан в рукописи.— *Ред.*

Когда вселенной взор
 России <быстрый> бег к величию измеряет
 И подвиги ее в истории читает,—
 Возможно ли! тогда, забыв свой подвиг славы,
 Чудесно исказя и нрав и разум свой,
 Здесь дети робкие с изнеженной душой
 В очах невежества чтут модные уставы,
 И наши знатные отечества столпы
 О марсовых делах с восторгом рассуждают...
 С утра до вечера за картами зевают,
 А жены их, смеясь, в боскетах нежны лбы
 Иноплеменными рогами украшают...
 Но свет орангутанг, и мы живем в том свете,
 Где дым тщеславия рассудок закурил
 И многих мудрецов в паяцы нарядил.
 У всякого одно в предмете —
 И бедный Ир с клюкой
 Под добрый час себя с Юпитером равняет...
 И кучи золота, и царства рассыпает,
 И наслаждается мечтой!..
 Все в свете допустить возможно,
 Но быть игрушкою шутов и обезьян
 В сей славный век для нас постыдно и безбожно.
 Напрасно умный наш певец,
 Любовью чистою к отчизне возбужденный,
 И нравам и умам чумы иноплеменной
 С войною хочет дать конец!
 Мартышка весь свой век не устает кривляться,
 Для подражания; бесхвостый, без ушей,
 Престанет ли осел кряхтеть и спотыкаться?
 Из всех гражданских зол — всего опасней, злей
 Для духа нации есть чуждым подражанье,
 Но спорить не хочу, смешно в осьмнадцать лет
 В уборе дедовском явиться в шумный свет
 И с важностью начать другое подражанье.
 Но, друг мой! переждем — эпоха началась,
 И наше сбудется желанье...
 Орел с одним орлом стремится в состязанье.
 Гражданства искра в нас зажглась —
 И просвещение спасительной рукою
 Бальзам свой разольет в болезненных умах,
 И с новою зарею
 Исчезнет, может быть, еще неверный страх.

Конец 1810 — начало 1820-х годов

КАРТИНА БУРИ

Солнце покрылось серою мглой,
Тучи, спираясь, быстро несутся...
Вихрь, сотрясая листья с дерев,
С шумом и силой дол пробегает
И воздымает в воздухе прах;
Враны над бором стаей вьются,
Нивы клубятся волной.
Подернут горизонт полунощною тьмой,
И молния вдали из бурных туч сверкает;
Перун отзвѣвами грохочет за горой,
И эхо гул его в утесах раздробляет!
С ветром холодным падает дождь,
Сосны и ели со скрипом трясутся,
Волны, волнуясь быстрой струей,
Пеною желтой в берег плескают,
Дикие гуси скрылись в тростник;
Шумом внезапным вол устрешенный,
Вкруг озираясь, ревет.

Гигантов бурных строй по высоте летит,
И молния, виясь, кругом во мраке блещет!
Удар удару вслед гром яростный вторит
И смертоносные перуны долу мечет!
Здесь дева робкая дрожит,
Взор старца к небу устремился!
Пловец в волнах гибель зрит,
Оратай в ближний лес сокрылся.
Сильней и ветер и дождь шумит,
Огонь бледный заревом мерцает;
Перун из черных туч летит,
И раздробленный дуб пылает!..

<1820>

ПЕСНЬ НЕВОЛЬНИКА

Пенаты добрые, отчизны берег милый,
Поля родимые, где в юности счастливой
Мой век с беспечностью покойно, мирно тек,
Простите навсегда! Окованный цепями,

Я скорбь делю с слезами,
И сир и одинок!
Страдалец немощный, отец чадолюбивый!
Кто даст тебе приют покойный и счастливый?
Увы! изведать скорбь тебе назначил рок
У гроба хладного вечернею зарею:
Твой сын уж не с тобою,
Он сир и одинок!
Давно ль в обители спокойной, безмятежной
С детьми-малютками и матерью их нежной
Я радости вкушал?.. Но злобный дух прорек
Разлуку горькую с супругой, сиротами —
И я томлюсь цепями,
Я сир и одинок!
Товарищи-друзья! и с вами разлученный,
Не буду более под тенью лип смиренных
Я счастьем гимны петь: миг радостей протек!
На чуждой стороне, игралище судьбины,
Я жду бедам кончины
И сир и одинок!

Начало 1820-х годов

К ДРУЗЬЯМ В КИШИНЕВ

Итак, я здесь... за стражей я...
Дойдут ли звуки из темницы
Моей расстроенной цевницы
Туда, где вы, мои друзья?
Еще в полусвободной доле
Дар Гебы пьете вы, а я
Утратил жизни цвет в неволе,
И меркнет здесь заря моя!
В союзе с верой и надеждой,
С мечтой поэзии живой
Еще в беседе вечевой
Шумит там голос ваш мятежный.
Еще на розовых устах,
В объятьях дев, как май, прекрасных
И на прелестнейших грудях
Волшебниц милых, сладострастных
Вы рвете свежие цветы
Цветущей девства красоты.

Еще средь пышного обеда,
Где Вакх чрез край вам вина льет,
Сей дар приветный Ганимеда
Вам негой сладкой чувства жжет.
Еще расцвет душистой розы
И свод лазоревых небес
Для ваших взоров не исчез.
Вам чужды темные угрозы,
Как лед, холодного суда,
И не коснулась клевета
До ваших дел и жизни тайной,
И не дерзнул еще порок
Угрюмый сделать вам упрек
И потревожить дух печальный.
Еще небесный воздух там
Струится легкими волнами
И не гнетет дыханье вам,
Как в гробе, смрадными парами.
Не будит вас в ночи глухой
Угрюмый оклик часового
И резкий звук ружья стального
При смене стражи за стеной.
И торжествующее мщенье,
Склонясь бессовестным челом,
Еще убийственным пером
Не пишет вам определенья
Злодейской смерти под ножом
Иль мрачных сводов заключенья...
О, пусть благое провиденье
От вас отклонит этот гром!
Он грянул грозно надо мною.
Но я от сих ужасных стрел
Еще, друзья, не побледнел
И пред свирепую судьбою
Не преклонил рамен с главою!
Наемной лжи перед судом
Грозил мне смертным приговором
«По воле царской» трибунал.
«По воле царской?» — я сказал,
И дал ответ понятным взором.
И этот черный трибунал
Искал не правды обнаженной,
Он двух свидетелей искал
И их нашел в толпе презренной.

Напрасно голос громовой
Мне верной чести боевой
В мою защиту отзывался,
Сей голос смелый пред судом
Был назван тайным мятежом
И в подозрении остался.
Но я сослался на закон,
Как на гранит народных зданий.
«В устах царя,— сказали,— он,
В его самодержавной длани,
И слово буйное «закон»
В устах определенной жертвы
Есть дерзновенный звук и мертвый...»
Итак, исчез прелестный сон!..
Со страхом я, открывши вежды,
Еще искал моей надежды —
Ее уж не было со мной,
И я во мрак упал душой...
Пловец, твой кончен путь подбрежный,
Мужайся, жди бедам конца
В одежде скромной мудреца,
А в сердце — с твердостью железной.
Мужайся! Близок грозный час,
И, может быть, в последний раз
Еще окину я глазами
Луга, и горы, и леса
Над светлой Тирасы струею,
И Феба золотой стезею
Полет по чистым небесам
Над сердцу памятной страной,
Где я надеждою дышал
И к тайной мысли устремлял
Взор светлый с пламенной душою.
Исчезнет все, как в вечность день;
Из милой родины изгнанный,
Средь черни дикой, зверонравной
Я буду жизнь влачить, как тень,
Вдали от ветреного света,
В жилье тунгуса иль бурята,
Где вечно царствует зима
И где природа как тюрьма;
Где прежде жертвы зверской власти,
Как я, свои влачили дни;
Где я погибну, как они,

Под игом скорбей и напастей.
Быть может — о, молю душой
И сил и мужества от неба!
Быть может, черный суд Эреба
Мне жизнь лютее смерти злой
Готовит там, где слышны звуки
Подземных стонов и цепей
И вопли потаенной муки;
Где тайно зоркий страж дверей
Свои от взоров кроет жертвы.
Полунагие, полумёртвы,
Без чувств, без памяти, без слов,
Под едкой ржавчиной оков,
Сии живущие скелеты
В гнилой соломе тлеют там,
И безразличны их очам
Темницы мертвые предметы.
Но пусть счастливейший певец,
Питомец муз и Аполлона,
Страстей и бурной думы жрец,
Сей берег страшный Флегетона,
Сей новый Тартар воспоем:
Сковала грудь мою, как лед,
Уже темничная зараза.
Холодный узник отдает
Тебе сей лавр, певец Кавказа;
Коснись струнам, и Аполлон,
Оставя берег Альбиона,
Тебя, о юный Амфион,
Украсит лаврами Бейрона.
Оставь другим певцам любовь!
Любовь ли петь, где брызжет кровь,
Где племя чуждое с улыбкой
Терзает нас кровавой пыткой,
Где слово, мысль, невольный взор
Влекут, как ясный заговор,
Как преступление, на плаху
И где народ, подвластный страху,
Не смеет шепотом роптать.
Пора, друзья! Пора воззвать
Из мрака век полночной славы,
Царя-народа дух и нравы
И те священные времена,
Когда гремело наше вече

И сокрушало издалече
Царей кичливых рамена.
Когда ж дойдет до вас, о други,
Сей голос потаенной муки,
Сей звук встревоженной мечты?
Против врагов и клеветы
Я не прошу у вас защиты:
Враги, презрением убиты,
Иссохнут сами, как трава.
Но вот последние слова:
Скажите от меня О<рлов>у,
Что я судьбу мою сурову
С терпеньем мраморным сносил,
Нигде себе не изменил
И в дни убийственных жизни
Немрачен был, как день весной,
И даже мыслью и душой
Отвергнул право укоризны.
Простите... Там для вас, друзья,
Горит денница на востоке.
И отразилась заря
В шумящем кровию потоке.
Под тень священную знамен,
На поле славы боевое
Зовет вас долг — добро святое.
Спешите! Там волкальный звон
Поколебал подземны своды
И пробудил народный сон
И гидру дремлющей свободы!

1822

ПЕВЕЦ В ТЕМНИЦЕ

О, мира черного жилец!
Сочти все прошлые минуты;
Быть может, близок твой конец
И перелом судьбины лютой!

Ты знал ли радость — светлый мир,
Души награду непорочной?
Что составляло твой кумир —
Добро иль гул хвалы непрочной?

Читал ли девы молодой
Любовь во взорах сквозь ресницы?
В усталом сне ее с тобой
Встречал ли яркий луч денницы?

Ты знал ли дружества привет?
Всегда с наружностью холодной
Давал ли друг тебе совет
Стремиться к цели благородной?

Дарил ли щедрою рукой
Ты бедных золотом и пищей?
Почтил ли век под сединой
И посещал ли бед жилища?

Одним исполненный добром
И слыша стон простонародный,
Сей ропот робкий под ярмом,
Алкал ли мести благородной?

Сочти часы, вступя в сей свет,
Поверь протекший путь над бездной,
Измерь ее и — дай ответ
Потомству с твердостью железной.

Мой век, как тусклый метеор,
Сверкнул в полночи незримый,
И первый вопль как приговор
Мне был судьбы непримиримой.

Я неги не любил душой,
Не знал любви, как страсти нежной,
Не знал друзей, и разум мой
Встревожен мыслию мятежной.

Забавы детства презирал,
И я летел к известной цели,
Мечты мечтами истреблял,
Не зная мира и веселий.

Под тучей черной, грозовой,
Под бурным вихрем истребления,
Средь черни грубой, боевой,
Средь буйных капищ развращения

Пожал я жизни первый плод,
И там с каким-то черным чувством
Привык смотреть на смертный род,
Обезображенный искусством.

Как истукан, немой народ
Под игом дремлет в тайном страхе:
Над ним бечей кровавый род
И мысль и взор казнит на плахе,

И вера, щит царей стальной,
Узда для черни суеверной,
Перед помазанной главой
Смиряет разум дерзновенный.

К моей отчизне устремил
Я, общим злом пресытись, взоры,
С предчувством мрачным спросил
Сибирь, подземные затворы;

И книгу Клии открывал,
Дыша к земле родной любовью;
Но холодный пот меня объял —
Листы залиты были кровью!

Я бросил свой смиренный взор
С печалью на кровавы строки,
Там был подписан приговор
Судьбою гибельной, жестокой:

«Во прах и Новгород и Псков,
Конец их гордости народной.
Они дышали шесть веков
Во славе жизнию свободной».

Погибли Новгород и Псков!
Во прахе пышные жилища!
И трупы добрых их сынов
Зверей голодных стали пища.

Но там бессмертных имена
Златыми буквами сияли;
Богopodobная жена,
Борецкая, Вадим,— вы пали!

С тех пор исчез, как тень, народ,
И глас его не раздавался
Пред вестью бранных непогод.
На площади он не собирался

Сменять вельмож, смирать князей,
Слагать неправые налоги,
Внимать послам, встречать гостей,
Стыдить, наказывать пороки,

Войну и мир определять.
Он пал на край своей могилы,
Но рано ль, поздно ли, опять
Восстанет он с ударом силы!

1822

НА СМЕРТЬ МОЕГО СКВОРЦА

Еще удар душе моей,
Еще звено к звену цепей!
И ты, товарищ тайной скуки,
Тревог души, страданий, муки,
И ты, о добрый мой скворец,
Меня покинул наконец!
Скажи же мне, земной пришлец,
Ужели смрад моей темницы
Стеснил твой дух, твои зеницы?
Но тихо все... безмолвен он,
Мой юный друг, мой Пелиссон,
И был свидетель Абеон
Моей встревоженной разлуки!
Так верю я, о жрец науки,
Тебе, о мудрый Пифагор!
Не может быть сей ясный взор,
Сей разногласный разговор,
Ко мне прилет его послушный
Уделом твари быть бездушной:
Он создан с нежною душой,
Он, верно, мучился тоской...
Как часто резвый голос свой
Он изменял на звук печальный,
Как бы внимая скорби тайной.
О вы, жестокие сердца!

Сотрите стыд души с лица,
Учитесь чувствам от скворца!
Он был не узник — и в темнице.
Летая вольных птиц в станице,
Ко мне обратно прилетал;
Мою он горесть уважал,
Для друга вольность забывал!
И все за то его любили,
И все за то скворца хвалили,
Что он, средь скорби и недуг,
И в узах был мне верный друг.
Что он ни мщенья, ни мук
Для друга в узах не боялся
И другу смело улыбался.
Когда ж, как ржавчиною сталь,
Терзала грудь мою печаль,
Кому ж? — скворцу лишь было жаль!
И мнилось — пел мой друг сердечный:
«Печаль и жизнь не бесконечны».
И я словам его внимал,
И друга нежного ласкал,
И вдруг свободнее дышал.
Когда ж вражда со клеветою
В суде шипели предо мною
И тщетно я взывал права,
Он пел ужасные слова:
«Враги иссохнут, как трава».
И были то последни звуки,
И умер мой скворец от скуки!
О вы, жестокие сердца,
Сотрите стыд души с лица,
Учитесь чувствам от скворца!

1824

* * *

Когда ты был младенцем в колыбели
И голосом невинным лепетал,
Кто жизни план младенцу начертал,
Назначил кто твой путь к опасной цели?
В объятиях кормилицы своей
Ты напрягал бессильные ручонки

И с криком разрывал, как цепь, свивальник тонкий!
Кто первый смысл родил в златой душе твоей
 О вольности и тяжести цепей?
 В объятиях кормилицы твоей
 Ты различал неволю от свободы...
 И небо ясное любил...
 И ненавидел...

<1830>

* * *

Не с болию, но с радостью душевной
Прощаюсь я с тобой, листок родной.
Как быстрый взгляд, как мысли бег живой,
Из хижины убогой и смиренной
Лети туда, где был мой рай земной.

Ты был со мной, свидетель жизни мрачной
Изгнанника в суровой сей стране,
Где дни его в безвестной тишине
Текут волной то мутной, то прозрачной.

Здесь берег мой, предел надежд, желаний,
Гигантских дум и суетных страстей;
Здесь новый свет, здесь нет на мне цепей —
И тихий мир, взамену бед, страданий,
Светлеет вновь, как день в душе моей.

Она со мной, подруга жизни новой,
Она мой крест из рук моих взяла,
Рука с рукой она со мной пошла
В безвестный путь — в борьбу с судьбой суровой.
Мой милый друг! Без веры крепкой нет
Небесных благ и с миром примиренья.

В завет любви, и веры, и терпенья
Возьми его. И ангельский привет,
С мольбой в устах, и взор младенца нежный,
Как узнику прекрасный солнца свет,
Блеснул в душе отрадную надеждой.

Я знаю: здесь, в изгнании от людей,
Не встречу я живых объятий друга,

Не буду жать руки сестры моей,
Но кроткая и юная супруга,
С дитятею страданий на руках¹,
Укажет мне улыбкой иль слезою,
Как тяжкий крест терновою стезею
Безропотно нести на раменах...

Сентябрь 1830

ДУМА

Шуми, шуми, Икаугун,
Твой шум глухой, однообразный
Слился в одно с толпою дум,
С мечтой печальной и бессвязной!

Далеко мой стремится взор
Через эти снежные вершины,
Грядут гранитных стен и гор,
На отдаленные равнины.

Кто их увидит, кто найдет?
Один орел под облаками...
Для нас здесь неба ясный свод
Закрит утесами, лесами.

Зачем же ты, пришлец, сменял
Свои прелестные долины
На дикий лес, громады скал,
На эти мрачные теснины?

Зачем оставил дом, детей,
Привет их, ласковые взоры
И непритворный смех друзей?
Зачем принес твой ропот в горы?

Не сам ли ты себе сказал,
Любуясь дикою природой:
«Средь этих гор, гранитных скал
Дышу я силой и свободой!»

¹ Стихи не окончены, ибо дитя мое 8 сентября — умер...

Ты здесь нашел привет родной
И жизни хилой обновление;
Ты сам воздвиг сей крест святой
В завет любви и примиренья!

Здесь всё в согласии с душой
Твоею мрачной, своевольной,
Здесь нет людей, ты сам с собой!
Чего ж желаешь, недовольный?

В вершинах гор гремит перун,
Прибрежных скал колебля своды...
Внизу шумит Икаугун,
Ревут его в утесах воды...

Зачем они кипят струей,
Куда, белея пеной снежной,
Как бурей взломанной стезей,
Несут свой шум, разбег мятежный?

Спроси природу — где устав
Для сил надменных и свободы?
Они не знают наших прав,—
Здесь горы, каменные своды

И зимний лед их волю жмут;
С вершин гранитного Саяна
Они летят, они бегут
К берегам привольным океана!

Кто ж остановит вечный бег?
О, сколько власти, воли, силы
Себе присвоил человек,
Пришлец земли, жилец могилы.

Прости, ключ жизни, ключ святой,
С обетом мира и надежды
Пришлец прощается с тобой!
Сын рока, волей неизбежной

Он призван рано в мир страстей...
Прошли темничной жизни годы,
И эти каменные своды
Во тьме две тысячи ночей
Легли свинцом в груди моей.

Текут вперед изгнанья годы,
Всё те же солнце и луна,
Такая ж осень и весна,
Все тот же гул от непогоды.

И та же книга прошлых лет,
В ней только прибывли страницы,
В умах все тот же мрак и свет,
Но в драме жизни — жизни нет,
Предмет один, другие лица...

Прости ж, ключ жизни, ключ святой,
Твои я пил целебны воды
И снова жизнью и весной
Дышал, как юный сын природы!

Вдали от света, от людей
Здесь всё, как в родине моей,
Светлело южную зарею;
Забилось сердце веселей —
И в темной памяти моей
Минуты счастья прежних дней
Блеснули яркою чертою...

И все вокруг меня цвело,
И думы гордые молчали,
И сон страстей изображали
Уста и бледное чело.

15 августа 1840
Туранские минеральные воды

ПРЕДСМЕРТНАЯ ДУМА

Меня жалеть?.. О люди, ваше ль дело?
Не вами мне назначено страдать!
Моя болезнь, разрушенное тело —
Есть жизни след, душевных сил печать!

Когда я был младенцем в колыбели,
Кто жизни план моей чертил,
Тот волю, мысль, призыв к высокой цели
У юноши надменного развил.

В моих руках протекшего страницы —
Он тайну в них грядущего мне вскрыл:
И, гость земли, я, с ней простясь, входил,
Как в дом родной, в мои темницы!

И жизнь страстей прошла как метеор,
Мой кончен путь, конец борьбы с судьбою;
Я выдержал с людьми опасный спор
И падаю пред силой неземною!

К чему же мне бесплодный толк людей?
Пред ним отчет мой кончен без ошибки;
Я жду не слез, не скорби от друзей,
Но одобрительной улыбки!

Ноябрь 1842
Село Олонки



Н.А. БЕСТУЖЕВ

ВОСПОМИНАНИЕ О РЫЛЕЕВЕ

«Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа —
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной:
Я это чувствую, я знаю..
И радостно, отец святой,
Я жребий свой благословляю».

«Исповедь Наливайки»

Когда Рылеев писал исповедь Наливайки, у него жил больной брат мой Михаил Бестужев. Однажды он сидел в своей комнате и читал, Рылеев работал в кабинете и оканчивал эти стихи. Дописав, он принес их брату и прочел. Пророческий дух отрывка невольно поразила Михаила.

— Знаешь ли, — сказал он, — какое предсказание написал ты самому себе и нам с тобою. Ты, как будто, хочешь указать на будущий свой жребий в этих стихах.

— Неужели ты думаешь, что я сомневался хоть минуту в своем назначении, — сказал Рылеев. — Верь мне, что каждый день убеждает меня в необходимости моих действий, в будущей гибели, которою мы должны купить нашу первую попытку для свободы России, и вместе с тем в необходимости примера для пробуждения спящих россиян.

Почти в каждом сочинении Рылеева выливается из его души подобное предвещание. Мысль быть орудием или жертвою начатков свободы наполняла все его существование, составляла единственную цель его жизни. Освобождение отечества или мученичество за свободу для примера будущих поколений были ежеминутным его помышлением; это самоотвержение не было вдохно-

вением одной минуты, подобно решимости древнего Курция или новейшего Винкельрида, но постоянно возрастало вместе с любовью к отечеству, которая, наконец, перешла в страсть — в высокое восторженное чувство...

Он не скрывал своих предчувствий от друзей и родных. Я был свидетелем <его> прощанья с матерью, нежно его любившею и отъезжавшею в деревню. Она была очень грустна; ее тревожила мысль, что не увидит более сына, которого, казалось ей, оставляет обреченного на какую-то гибельную судьбу. Со всею материнскою нежностью просила, чтобы он дал ей спокойно закрыть глаза, что она хочет видеть его счастливым и желает умереть с тою же мыслью, что он остается счастлив и после нее.

— Побереги себя,— говорила она,— ты неосторожен в словах и поступках; правительство подозрительно; шпионы его везде подслушивают, а ты как будто представляешь славою вызывать их внимание.

— Вы напрасно думаете, любезная матушка,— отвечал Рылеев,— что я везде таков же, как перед вами. Моя цель выше того, чтобы только дразнить правительство и доставлять работу его наемникам. Напротив, я скрытен с чужими; мне надобно, чтобы меня оставляли спокойно действовать. Если же я откровенно говорю с друзьями — мы работаем вместе; ежели я не скрываюсь от вас, это от того, что вы более или менее разделяете мои чувствования.

— Милый Кондратий, эта откровенность и убивает меня; она и показывает, что у тебя есть важные замыслы, которые ведут за собою важные последствия. С горестью предвижу, что ты вызываешься умереть не своею смертью, зачем ты открываешь эту ужасную тайну матери?

Глаза ее были полны слез, когда она говорила последние слова:

— Он не любит меня,— сказала она, обратясь ко мне и взяв меня за руку,— вы друг его, пользуетесь его расположением — убедите его — может быть, он вам поверит, что он убьет меня, ежели с ним что-нибудь случится... Конечно, бог волен взять его у меня каждую минуту... но накликать беду самому...

Она не могла продолжать.

Я говорил к ее успокоению, что мог только приду-

мать, она слушала и качала головой с недоверчивостью. Рылеев взял ее за другую руку и начал:

— Матушка, до сих пор я видел, что вы говорили только об образе моих мыслей, и не таил их от вас, но не хотел тревожить, открываясь в цели всей моей жизни, всех моих помышлений. Теперь вижу — вы угадываете, чего я ищу, чего хочу... Мне должно сказать вам, что я член тайного общества, которое хочет ниспровержения деспотизма, счастья России и свободы всех ее детей...

Мать Рылеева побледнела, рука ее охолодела в моей, он продолжал:

— Не пугайтесь, милая матушка, выслушайте, и вы успокоитесь. Да, намерение наше страшно для того, кто смотрит на него со стороны и, не вникая в него, не видя прекрасной его цели, примечает одни только ужасы, грозящие каждому из нас; но вы мне мать — вы можете, вы должны ближе рассматривать своего сына. Ежели вы отдали меня в военную службу на жертву всем ее трудностям, опасностям, самой смерти, могшей меня постичь на каждом шагу, — для чего вы жертвовали мной? Вы хотели, чтобы я служил отечеству, чтоб я исполнил долг мой, а между тем материнское сердце, разделяясь между страхом и надеждой, втайне желало, чтобы я отличался, возвышался между другими, — могли я искать того и другого, не встречая беспрестанно смерти? Нет, но вы тогда столько не боялись, как теперь; неужели отличия могли уменьшить страх вашей потери? Ежели нет, то я скажу вам, для чего вы можете достойнее пожертвовать мною. Я служил отечеству, пока оно нуждалось в службе своих граждан, и не хотел продолжать ее, когда увидел, что буду служить только для прихотей самовластного деспота; я желал лучше служить человечеству, избрал звание судьи, и вы благословили меня. Что меня ожидало в военной службе? Может быть, военная слава, может быть, безвестная смерть; но в наше время свет уже утомился от военных подвигов и славы героев, приобретаемой не за благородное дело помощи страждущему человечеству, но для его угнетения. Суворов был великий полководец, но слава его бледнеет, когда вспомним, что он был орудием деспотизма и побеждал для искоренения расцветавшей свободы Европы. Должен ли был я, получив эти понятия, оставаться в военной службе? Нет, матушка, ныне на-

ступил век гражданского мужества, я чувствую, что мое призвание выше, — я буду лить кровь свою, но за свободу отечества, за счастье соотечичей, для исторжения из рук самовластия железного скипетра, для приобретения законных прав угнетенному человечеству — вот будут мои дела. Если я успею, вы не можете сомневаться в награде за них: счастье россиян будет лучшим для меня отличием. Если же паду в борьбе законного права со властью, ежели современники не будут уметь понять и оценить меня — вы будете знать чистоту и святость моих намерений; может быть, потомство отдаст мне справедливость, а история запишет имя мое вместе с именами великих людей, погибших за человечество. В ней имя Брута стоит выше Цезарева — итак, благословите меня!

Я никогда не видал Рылеева столь красноречивым: глаза его сверкали, лицо горело каким-то необыкновенным для него румянцем.

Мать его, которой он сообщил свой энтузиазм, улыбалась, но слезы ее не переставали катиться. Она наклонила его голову — благословила; горесть и чувство внутреннего удовольствия смешивались на лице ее, наконец первая взяла верх — она залилась слезами и сказала:

— Все так, но я не переживу тебя...

Все действия жизни Рылеева ознаменованы были печатью любви к отечеству; она появлялась в разных видах: сперва сыновнюю привязанностью к родине, потом негодованием к злоупотреблениям и, наконец, развернулась совершенно в желании ему свободы. В «Думах» его мы видим жаркое желание внушить в других ту же любовь к своей земле, ко всему народному; привязать внимание к деяниям старины, показать, что и Россия богата примерами для подражания, что сии примеры могут равняться с великими образцами древности.

В «Сатире на временщика» открывается все презрение к почестям и власти человека, который прихотям деспота жертвует счастьем своих сограждан. В том положении, в каком была и есть Россия, никто еще не достигал столь высокой степени силы и власти, как Аракчеев, не имея другого определенного звания, кроме принятого им титула верного царского слуги; этот приближенный вельможа под личиной скромности, устраняя всякую власть, один, не зримый никем, без всякой явной должности, в тайне кабинета, вращал всею

тягостью дел государственных, и злобная, подозрительная его политика лазутчески вкрадывалась во все отрасли правления.

Не было министерства, звания, дела, которое не зависело бы или оставалось бы неизвестно сему невидимому Протею — министру, политику, царедворцу; не было места, куда бы не проник его хитрый подсмотр; не было происшествия, которое бы не отозвалось в этом Дюнисиновом ухе. Где деспотизм управляет, там утеснение — закон: малые угнетаются средними, средние большими, сии еще высшими; но над теми и другими притеснителями, равно как и над притесненными, была одна гроза: временщик. Одни карались за угнетения, другие за жалобы. Все государство трепетало под железною рукою любимца-правителя. Никто не смел жаловаться: едва возникал малейший ропот — и навечно исчезал в пустынях Сибири или в смрадных склепах крепостей.

В таком положении была Россия, когда Рылеев громко и всенародно вызвал временщика на суд истины; когда назвал его деяния, определил им цену и смело предал проклятию потомства слепую или умышленную покорность вельможи для подавления отечества.

Нельзя представить изумления, ужаса, даже можно сказать оцепенения, каким поражены были жители столицы при сих неслыханных звуках правды и укоризны, при сей борьбе младенца с великаном. Все думали, что кары грянут, истребят и дерзновенного поэта, и тех, которые внимали ему; но изображение было слишком верно, очень близко, чтобы обиженному вельможе осмелиться узнать себя в сатире.

Он постыдился признаться явно, туча пронеслась мимо; оковы оцепенения пали, мало-помалу расторглись, глухой шепот одобрения был наградою юного правдивого стихотворца. Это был первый удар, нанесенный Рылеевым самовластию.

Многие не видят нравственных последствий его сатиры, но она научила и показала, что можно говорить истину, не опасаясь; можно судить о действиях власти и вызывать сильных на суд народный.

С этого стихотворения началось политическое поприще Рылеева. Пылкость юношеской души, порыв благородного негодования и меткие удары сатиры, безбоязненно нанесенные такому сопернику, обратили общее внимание.

Уже в России начинали чувствовать тягость деспотизма, видеть бедствия, угнетающие отечество, и помышлять о средствах для введения нового, лучшего порядка вещей.

Тайное Общество, составленное из нескольких друзей человечества, существовало, и Рылеев, взысканный общим уважением за свои заслуги перед человечеством, увенчанный заслуженными похвалами за поэтические дарования, с полною доверенностью к его характеру и мнениям был принят в это Общество. Здесь порывы его души, болезнь сердца о несчастиях родины и неясные понятия о желании лучшего получили надлежащее направление. Отсюда мы видим уже в нем новый порядок идей, другие действия, иные поступки. Пылкий юноша созрел постоянным и осторожным мужем; раздраженный смельчак переменялся в скрытного и предприимчивого заговорщика; дерзновенный поэт — в обдуманного стихотворца, который уже не гремел проклятиями на площадях против эфемерных любимцев, но в сочинениях своих желал направлять умы соотчичей к единственной цели, к благородной свободе народов.

Служив в артиллерии, женясь и взяв отставку, он жил в своей деревне. Его качества заставили соседей избрать его заседателем в уголовный суд по Петербургской губернии.

Сострадание к человечеству, нелицеприятие, пылкая справедливость, неутомимое защищение истины сделало его известным в столице. Между простым народом имя и честность его вошли в пословицу. Однажды по важному подозрению схвачен был какой-то мещанин и представлен бывшему тогда военному губернатору Милорадовичу. Сделали ему допрос; но как степень виновности могла только объясниться собственным признанием, то Милорадович грозил ему всеми наказаниями, ежели он не сознается. Мещанин был невинен и не хотел брать на себя напрасно преступления; тогда Милорадович, соскуча запирательствами, объявил, что отдает его под уголовный суд, зная, как неохотно русские простолюдины вверяются судам. Он думал, что этот человек от страха суда скажет ему истину, но мещанин вместо того упал ему в ноги и с горячими слезами благодарил за милость.

— Какую же милость оказал я тебе? — спросил губернатор.

— Вы меня отдали под суд, — отвечал мещанин, — и

теперь я знаю, что избавляюсь от всех мук и привязок, знаю, что буду оправдан: там есть Рылеев, он не дает погибать невинным!

Это происшествие более всех похвал дает понятие о действиях сего человека. Я не скажу ничего о известном деле разумовских крестьян: мнение Рылеева о сих несчастных было написано с силою чувствований, защищавших невинное дело. Император, вельможи, власти, судьи, угрожающие силе,— все было против, один Рылеев взял сторону угнетенных, и это его мнение будет служить вечным памятником истины — свидетелем, с какой смелостью Рылеев говорил правду.

Кроме высоких чувствований, любви к отечеству и истине, душа его и сердце были доступны всякому благородному впечатлению. Любовь и дружба сопутствовали ему на всем поприще жизни. Я был свидетелем его домашнего быта, много раз слышал, как он повторял мне о своем счастье, пересчитывал качества своей супруги и описывал любовь свою к ней. Здесь я считаю священным долгом сказать то, что я знаю о его привязанности к супруге и семейству, потому что были люди, которые сомневались в его к ней верности — подозревали, что он ее оставлял для других; я несколько раз должен был защищать его публично; но тогда не мог я сего сделать так, как могу теперь. Он был жив, с меня взято было обещание не говорить ничего, могшего служить в его оправдание. Поступки его в отношении к супруге могли казаться двусмысленными и не могли быть объяснены, но теперь, когда смерть запечатлела его уста, мои должны говорить. Светские отношения и связи теперь прерваны, я могу говорить, как из-за пределов гроба.

Несколько раз случалось, что меня как коротко знакомого Рылееву спрашивали в обществе, любит ли он свою жену, и на мой утвердительный ответ всегда показывали сомнение; все говорили, что он не живет дома, что он часы своих досугов посвящает не супруге, а другим. В других местах говорили яснее, называя по имени ту женщину, о которой предполагали, что она завладела его сердцем.

Такие обвинения повторялись часто и доказывали, что клевета успела далеко пустить свои отрасли. Я защищал его, как умел, потому что не мог тогда оправдать ни его частых отсутствий из дома, ни его ложной неверности.

Против первого обвинения теперь достаточно, ежели скажу, что в последние два года своей жизни Рылеев, которого единственная цель, одно помышление — был переворот, должен был действовать для Тайного Общества. Он обязан был многих посещать, совещаться со многими членами. Мысль о перемене в отечестве не оставляла его ни на минуту, не давала ему покоя ни днем, ни ночью. Для нее забывал он собственное семейное счастье.

Часто ему нельзя было явно делать своих посещений; тайна оных распространилась, но чужое любопытство не постигло ее, а клевета дала ей другое направление.

Вот что я должен сказать о другом обвинении. При всей моей короткости я не был другом Рылеева; дружбою и доверенностью пользовался брат мой Александр; но когда с ним случались обстоятельства, требовавшие холодного размышления, он всегда прибегал ко мне; в этом случае он делал мне честь предпочтения, не доверяя, как говорил он, ни собственной пылкости, ни Александровой опрометчивости. Я несколько раз говорил ему об оскорбительных подозрениях, о слухах в обществе, которые носились на его счет, и несколько раз получал в ответ просьбу повременить объяснением и не стараться защищать его, потому что он не признает других судей, кроме своей совести, которая не упрекает его ни в чем. Итак, я с ним молчал, но не переставал защищать его, сколько было моих сил и способностей.

Однажды я написал повесть, в которой изобразил мучения влюбленного человека, томление страсти, отчаяние неразделенной любви, и изобразил это довольно живо. Насчет литературных занятий Рылеев и мы с братом составляли нечто целое. Ни один из нас не делал плана, не кончал сочинения, не показав другому. При первом моем свидании с Рылеевым он спросил меня, кончил ли я начатую мною повесть, и на утвердительный мой ответ просил ее прочесть. Я начал с описания веселых происшествий, перешел к завязке, принимая мало-помалу выражение грусти, которую хотел изобразить; дошел до того места, где любовь, где совесть, разделяя сердце героя повести, лишают его совершенно спокойствия, ведут его постепенно к отчаянию; наконец, когда дошел до описания всех ужасов бессонницы, самозабвения и покушения на самоубийство, Рылеев вдруг остановил меня:

— Довольно, довольно,— вскричал он дрожащим голосом.

Я взглянул на него и увидел, что слезы катились у него градом. Это меня удивило, хотя я и знал его чувствительность; мне не раз случалось видеть, как слезы выступали у него при рассказе о благородном поступке, при высокой мысли, даже при чтении хорошо написанной повести; но это внутреннее движение слишком было сильно для обыкновенного впечатления.

— Что с тобою сделалось? — спросил я.

— Дай мне оправиться, и я расскажу тебе все,— отвечал он; встал и после нескольких оборотов по комнате снова сел подле меня и начал:

«Ты спрашиваешь меня о причине моего поведения, которым меня упрекают в свете,— теперь я должен объяснить тебе это. Несколько времени тому назад приехала сюда в Петербург г-жа К. по важному уголовному делу о ее муже. Несколько человек моих знакомых, многие важные люди просили меня заняться этим делом, уговаривали познакомиться с нею. За первое я взялся по обязанности, второго старался всячески избегать, потому что не люблю знакомиться с теми, чьи дела на моих руках, и по свойственной мне неловкости и застенчивости с женщинами.

Но я к тому был вынужден как усиленными просьбами, так и необходимостью узнать некоторые обстоятельства лично, потому что дело тянулось давно, было спутано нижними инстанциями, и бумаг было очень много, писанных на польском языке, мне не совершенно знакомом. Одним словом, меня привезли к ней. Я увидел женщину во всем блеске молодости и красоты, ловкую, умную, со всеми очарованиями слез и пламенного красноречия, вдыхаемого ее несчастным положением. Мое обыкновенное замешательство увеличилось еще более неожиданностью моих впечатлений, видя в первый раз в жизни столько привлекательного в этой необыкновенной женщине.

Однако же, после первого посещения, я не унес с собою никакого постороннего чувствования, кроме желания ей помочь, если это можно.

В последовавших за сим свиданиях слезы прекрасной моей клиентки мало-помалу осушились, на место их заступила заманчивая томность, милая рассеянность, которая перерывалась одним только вниманием ко мне.

Это внимание перешло, наконец, в угождение. Моим советом она желала руководствоваться, мое мнение было всегда самое справедливое, мой образ мыслей — самый благородный. Довольно было упомянуть о какой-нибудь вещи или книге, то и другое являлось у нее на столе. Сообразно с моим вкусом она читала и восхищалась тем, что нравилось мне; но все это делалось с такою деликатностью и осторожностью, с такою ловкостью противоставлялись иногда и противоречия, что самая бдительная щекотливость не могла тревожиться. Никогда не было прямого намека в глаза: все это я слышал от других, и все, как будто нарочно, старались наперерыв передавать ее слова и мнения на мой счет.

Я начал находить удовольствие в ее обществе, дикость моя понемногу исчезла, я не замечал за собой, предавался вполне и без опасения тем впечатлениям, которые эта женщина на меня производила, и, наконец, к стыду моему, я должен тебе сказать, я стал к ней равнодушен... Вот моя повесть, вот что лежит у меня на совести».

Он остановился. Я никак не ожидал этого признания и с внутренним беспокойством спросил его:

— Но все это, может быть, с ее стороны одно только желание быть любезною, желание, свойственное всем женщинам и в особенности полякам. Может быть, и ты слишком строг к себе и обманываешься в своих чувствованиях, и желание пользоваться обществом приятной женщины принимаешь за другое?..

— Нет, как я ни неопытен, но умею различать и то и другое. Я вижу, каким огнем горят ее глаза, когда разговор наш касается чувствований; мне нельзя не видеть, нельзя скрыть от самого себя того предпочтения, которое она, зная мою застенчивость, самыми ловкими оборотами и так искусно умеет дать мне перед другими. Если она одна только со мною, она задумчива, рассеяна, разговор наш прерывается, я теряюсь, берусь за шляпу, хочу уйти, и один взгляд ее приковывает меня к стулу. Одним словом, она дает мне знать о состоянии своего сердца и, конечно, давно знает, что происходит в моем...

— Все это мне слишком странно именно потому, что случилось с тобою. Ни ты хорош, ни ловок, ни любезен с женщинами. Твоего поэтического дарования недостаточно для женщины, чтобы влюбиться. Узнав тебя коротче, верю, что можно полюбить и любить очень; но та-

кая быстрая победа над светской женщиной с первого раза невероятна. Для этого надобны блестящие, очаровательные качества. Стихи, добродетель, правдивость, прямодушные любят, но не влюбляются в них — и если это с ее стороны кокетство, которым она старается закупить своего судью, то...

— Нет, она не кокетка,— прервал он с чувством,— нет ничего естественнее слов ее, движений, действий. Все в ней так просто и так мило!..

— И тем опаснее!

Восклицание Рылеева, которым он прервал мои слова, дало мне понятие о степени его чувствований. Чтобы вернее испытать его, я принял обыкновенный, веселый вид и сказал ему, улыбаясь:

— В таком случае я дивлюсь, почему ты не воспользуешься такими обстоятельствами, таким случаем, какого многие или, лучше сказать, никто не поставил бы в зазор совести?

— Боже меня от этого сохрани! Оставляя то, что я обожаю свою жену и не понимаю, как другое чувство могло закрасться в мое сердце; оставляя все нравственные приличия семейственного человека, я не сделаю этого, как честный человек, потому что не хочу воспользоваться ее слабостью и вовлечь ее в преступление. Сверх того, не сделаю как судья. Ежели дело ее справедливо, на совесть мою ляжет, что я, пользуясь ее несчастным положением, взял такую преступную взятку; ежели несправедливо — мне или надобно будет решить его против совести, или, решив его прямодушно, обмануть ее надежды.

— Станный человек! Чего же ты хочешь? Ты не желаешь пользоваться благосклонностью женщины, намерен оставаться верным своим правилам и продолжаешь свои посещения, тогда как еще один шаг по этой дороге может разрушить все твои укрепления чести и совести. Ты думаешь, что можешь противиться влечению склонности, и позволяешь этой женщине читать в твоём сердце; хочешь быть верен жене, подвергаясь беспрестанно искушению. Видно,— прибавил я, смягчая шутивым выражением суровость упрека,— видно, ты за тем и не велишь приезжать сюда жене своей, чтобы продолжить время твоего заблуждения!

— Твой выговор жесток, но ты имеешь право так думать,— нет, не для продолжения, не для свободы мо-

их дурачеств удерживаю в деревне жену мою, но для того, чтобы не дать ей видеть моего положения, не сделать ее свидетельницей моих страданий, моей борьбы с совестью. Это ее убьет. Ты не поверишь, какие мучительные часы провожу я иногда; не знаешь, до какой степени мучит меня бессонница, как часто говорю вслух с самим собой, вскакиваю с постели, как безумный, плачу и страдаю. Вот почему повесть твоя стрелой вошла в мое сердце, вот почему я открылся перед тобою.

Мы говорили долго об этом предмете. Рылеев сказал, что писал уже к своей жене, чтобы она приехала, обещал мне, что не скроет от меня ни малейшего поступка, а я, с своей стороны, дал ему слово разведать со всем старанием об этой женщине.

С сей минуты я знал всякий день ощущения Рылеева. Приехала его жена. Сказал ли он ей о своей слабости, сказали ли ей о том другие? Этого мне не известно; знаю, что поведение его с нею было примерно, и хотя он решился оставить дом К., но ему не удалось. Казалось, что все были против него в заговоре: ему не позволяли исполнить своего намерения, и если он не бывал там несколько дней, его брали и насильно туда увозили. Не менее того он сделался осторожнее против самого себя и ни одним взглядом не показывал состояния своей души, которое было еще хуже прежнего, потому что принуждение давало новую силу чувствам.

Быть героем, не иметь недостатков и слабостей, не сделать ни одного неосторожного шага в жизни очень славно, но, по моему мнению, человек с недостатками и слабостями достоин большей похвалы, ежели он может владеть ими. В первом случае я вижу одну только силу, которой нет препятствий; во втором мне представляется борьба и победа, и чем бой опаснее, тем победа славнее.

Как бы то ни было, такое состояние дел продолжалось: я видел страдание и силу души достойного моего друга; но это не мешало ему работать в пользу Тайного Общества со всею горячностью человека, обречшего себя на жертву для счастья отечества. Эта обязанность, которую мы на себя возложили, заставляла нас знакомиться с такими людьми, собирать такие сведения, о которых прежде и не помышляли. Нам нужно было следить за намерениями правительства, открывать его тайны — и однажды, при разведываниях наших, мы нечаянно узнали, что г-жа К. была... шпион правительства.

Для меня объяснилась вся загадка. Давно уже Рылеева подозревали как вольнодумца; его достоинства, вес между молодыми людьми давали повод думать, что мнения его разделяются другими. Рылеев не хотел знакомиться со властями, избегал всех больших обществ; обыкновенные средства для него не годились, он говорил публично то, что говорили многие; образ его мыслей был известен, но надобно было проникнуть глубже, в его душу и сердце.

Можно себе представить всю силу негодования пылкого Рылеева, когда вероломство женщины, которую считал он образцом своего пола, представилось ему в настоящем виде. Он хотел в ту же минуту ехать к ней, высказать все презрение к той роли, которую она приняла с ним; осыпать ее упреками, представить всю подлость ее положения и оставить ее навсегда. Мы с братом Александром успокоили его, и после согласился он с нами, что такой поступок всего скорее обнаружит то, что всего менее ему надобно было показывать. Такая ссора обнаружила бы и слабость его сердца, и негодование подозреваемого человека.

Мы положили, чтобы он никак не показывал того, что ему было известно, и напротив, старался дать более свободы своему обращению, чтобы робость, происшедшая прежде от внутренней борьбы с собою, не могла быть принята за боязнь человека, скрывающего тайну.

Рылеев сказал и сделал. Данный урок излечил его от слабости, и когда возвращенное спокойствие позволило ему хладнокровнее наблюдать за этой женщиной, он ясно увидел ее намерения. По мере той, как он делался свободнее и показывал ей более внимания, она более и более устремлялась к своей цели. Томность ее чувствований заменилась выражением пламенной любви к отечеству; все ее разговоры клонились к одному предмету: к несчастьям России, к деспотизму правительства, к злоупотреблениям доверенных лиц, к надеждам свободы народов и т. п. Рылеев мог бы обмануться сими поступками: его открытое сердце и жаркая душа только и искали сих ощущений. Но он был предостережен, и уже никакие очарования, никакие обольщения не выманили бы из груди тайны, сокровища, которые он становил дороже всего на свете, и обманщица в свою очередь осталась обманутою.

В дружбе Рылеев был чрезвычайно пылок. При самом простом, даже детском обращении с друзьями, в душе его заключались самые высокие к ним чувствования. Жертва, даже самопожертвование для дружбы ему ничего не стоили; честь друга для него была выше всяких соображений. Ни приличие, ни рассудок не сильны были удержать его при первом порыве, ежели друг его был обижен. Один из его друзей, имев неприятную историю, требовал удовлетворения и не получил его; искал своего соперника и нигде не мог встретить. Рылеев был счастливее: он встретил его дважды и в первый раз, при отказе на вызов, наплевал ему в лицо, в другой раз забылся до того, что, вырвав у своего противника хлыст, выстегал его публично, но ни тем, ни другим не мог убедить его на удовлетворение, которого тот хотел искать в полиции.

Всякая несправедливость, ложь, а тем более клевета, находила в нем жестокого противника: в сих случаях никакие уважения не могли остановить его негодования. Часто раскаивался он, видя, что резкою защитой невинности наносил более вреда, нежели пользы; но при новом случае те же явления, та же неукротимая ненависть против несправедливости повторялись. Это была его слабость, которая огорчала его самого, друзей и приближенных. Я называл его мучеником правды.

К сему присовокуплялся другой, еще важнейший, недостаток: сердце его было слишком открыто, слишком доверчиво. Он во всяком человеке видел благонамеренность, не подозревал обмана и, обманутый, не переставал верить. Опытность ни к чему для него не служила. Он все видел в радужные очки своей прекрасной души. Одна только скромность и застенчивость спасала его.

Если человек не доволен был правительством или злословил власти, Рылеев думал, что этот человек либерал и хочет блага отечества. Это было причиною многих его ошибок на политическом поприще.

Я упомянул о таких его слабостях, которые всякому другому человеку сделали бы честь, но в Рылееве, как в лице политическом, они были важным недостатком. Должно ли присовокупить и то, что он слишком был к себе недоверчив, слишком мало чувствовал силу своей души над другими?

Рылеев был не красноречив и овладевал другими не тонкостями риторики или силою силлогизма, но жаром

простого и иногда несвязного разговора, который в отрывистых выражениях изображал всю силу мысли, всегда прекрасной, всегда правдивой, всегда привлекательной. Всего красноречивее было его лицо, на котором являлось прежде слов все то, что он хотел выразить, точно, как говорил Мур о Байроне, что он похож на гипсовую вазу, снаружи которой нет никаких украшений, но как скоро в ней загорится огонь, то изображения, изваянные внутри хитрою рукою художника, обнаруживаются сами собой. Истина всегда красноречива, и Рылеев, ее любимец, окруженный ее обаянием и ею вдохновленный, часто убеждал в таких предположениях, которых ни он детским лепетанием своим не мог еще объяснить, ни других довольно вразумить, но он провидел их и заставлял провидеть других.

Все, что я знал о характере и свойствах Рылеева, я сказал. Обратимся к его поэзии: многие находят, что он не поэт и что стихи его принадлежат более к области ума, нежели воображения. У всякого свой образ мыслей, свой образ воззрения на предметы. Я согласен, что стихи Рылеева с механической стороны не могут назваться образцовыми, но, чтобы согласиться с последним, должно наперед сказать, что я почитаю поэзией, и потом дать свое мнение о творениях этого человека.

По-моему, всякий благородный поступок, каждая высокая мысль, каждое нежное ощущение и все, что выходит из обыкновенного ряда наших обыкновенных действий, есть поэзия. Все, что может трогать сердце, наполнять и возвышать душу, есть поэзия. Любовь, гнев, ненависть суть страсти, но и религия, но и любовь к отечеству — также страсти, и ежели стихи заставляют трепетать ту струну нашего сердца, которую сочинитель намеревался тронуть, в таком случае, каков бы ни был наружный вид стихов, они — поэзия. Я пойду далее. Часто случается, что вещи, простые сами по себе, в применении к случаю и обстоятельствам делаются поэтическими; так, например, известная швейцарская ария горных пастухов, не заключающая в себе ничего особенного, музыкального и слышимая ежедневно швейцарами в их родине, не производит на них никакого впечатления, но если тот же швейцар слышит ее вдалеке от своего отечества, тогда она становится для него совершенно поэтической. Мне случилось быть свидетелем восторга моих соотчичей, когда однажды, посетив Гибралтар и осмат-

ривая исполинские подвиги англичан, пробивших эту поднебесную гору галереями во всю ее высоту, мы под облаками, на отдаленнейшем краю Европы, вдали от родины, вдруг услышали голос и слова русской песни. Нельзя изъяснить этого чувствования. Теперь обратимся к стихам Рылеева.

Единственная мысль, постоянная его идея была пробудить в душах своих соотечественников чувствования любви к отечеству, зажечь желание свободы. Такое намерение уже само по себе носит отпечаток поэзии, где бы оно ни было приведено в исполнение, но становится совершенно поэтическим, когда, окруженные шпионами деспотизма, посреди рабских похвал, посреди боязливой лести и трусливого подобострастия, посреди целой империи, стнящей под игом тяжкого самоуправства, мы вдруг внимаем голосу поэта, возвещающего нам высокие истины, впервые нами слышимые, но знакомые нашему сердцу. Сама природа влагает в нас понятие о свободе, и это понятие, этот слух сердца так верны, что, как бы ни заглушали их, они отзовутся при первом воззвании. В чем же другом заключается поэзия, как не в побуждении отголоска на песни ее в нашем сердце?

Я говорил о мысли, теперь скажу о исполнении. Вообще Рылеев там везде хорош, везде высок, где он говорит от чувства, но вообще описания его слабы, драматическая часть также. Доказательством тому служить может, что многие описания суть подражания, а драма часто взята целиком из других авторов. Несмотря на это, поэма «Войнаровский», как важнейшее оконченное сочинение, по соображению и ходу стоит выше всех поэм Пушкина, оригинального только в «Цыганах», хотя по стихосложению никак не может равняться ни с самыми слабыми произведениями сего поэта. Обаяние Пушкина заключается в его стихах, которые, как сказал один рецензент, катятся жемчугом по бархату. Достоинство Рылеева состоит в силе чувствований, в жаре душевном. Переведите сочинения обоих поэтов на иностранный язык и увидите, что Пушкин станет ниже Рылеева. Мыслей последнего нельзя утратить в переводе, — прелесть слога и очаровательная гармония стихов первого потеряются. Мне кажется, что Пушкин сам не постиг применения своего таланта и употребляет его не там, где бы надлежало. Он ищет верных, красивых, разительных описаний, ловкости оборотов, гармонии, ласкающей

ухо, и проходит мимо высокого ощущения, глубокой мысли. Даже в других ему более нравится то же. Когда Рылеев напечатал «Войнаровского» и послал Пушкину экземпляр, прося сказать о нем свое мнение, Пушкин прислал ему назад со сделанными на полях замечаниями и противу стихов, истинно поэтических, истинно прекрасных, как, например, когда после рассказа пленного казака:

Мазепа горько улыбнулся,
Прилег безмолвный на траву
И в плащ широкий завернулся.

Или когда Мазепа говорит племяннику:

Но чувств твоих я не увижу,
Сказав, что родину мою
Я более, чем ты, люблю.
Как должно юному герою,
Любя страну своих отцов,
Женой, детьми и собою
Ты ей пожертвовать готов.
Но я — но я, пылая мстью,
Ее спасая от оков:
Я жертвовать готов ей честью.

После сих и многих других прекрасных мест, или во все незамеченных, или едва отмеченных, мнение Пушкина выражено слабо, тогда как при изображении палача, где Рылеев сказал:

Вот засучил он рукава...

Пушкин вымарал это место и написал на поле: «Продай мне этот стих!».

Новые сочинения, начатые Рылеевым, носили на себе печать зрелейшего таланта. Можно было надеяться, что опытность на литературном поприще, очищенные понятия и большая разборчивость подарили бы нас произведениями совершеннейшими. Жалею, что слабая моя память не может представить ясного тому доказательства из начатков Мазепы и Хмельницкого. Из первого некоторые отрывки напечатаны, другой еще был, так сказать, в пеленах, но уже рождение его обещало впереди возмужалость таланта. Во всех публично изданных сочинениях, как то: «Думах», «Войнаровском», «Гражданском мужестве» и других, цель Рылеева обнаруживается в приноровлении, которое может сделать сам читатель, но его другие сочинения, писанные для ходу

в рукописи, слишком явны и сколь ни бездельны кажутся в литературном отношении с первого взгляда (особенно песни, составленные им с Александром Бестужевым на голос народных подблюдных припевов), но намерение, с которым писаны, и влияние, ими произведенное в короткое время, слишком значительны. Хотя правительство всеми мерами старалось истребить сии песни, где только могли находить их, но они были сделаны в простонародном духе, были слишком близки к его состоянию, чтобы можно было вытеснить их из памяти простолюдинов, которые видели в них верное изображение своего настоящего положения и возможность улучшения в будущем. С другой стороны, одного преследования, без всякого внутреннего достоинства, достаточно было для заманчивости сих легких творений, чтобы образованные люди пожелали сохранить их. Рабство народа, тяжесть притеснения, несчастная солдатская жизнь изображались в них простыми словами, но верными красками.

Удаленным от света нельзя положительно сказать, что они теперь в ходу, но зная людей, зная, что однажды приобретенные ими понятия, подобно дереву, которому садовник, желая сообщить произвольную форму, как ни сгибает сучья, как ни обстригает ветви, но оно следует природному порядку и пускает вверх свои отрасли, кажется, трудно поверить, чтобы этот катехизис простого народа не распространялся более и более. В самый тот день, когда исполнена была над нами сентенция и нас, морских офицеров, возили для того в Кронштадт, бывший с нами унтер-офицер морской артиллерии сказывал нам наизусть все запрещенные стихи и песни Рылеева, прибавя, что у них нет канонира, который, умея грамоте, не имел бы переписанных этого рода сочинений и особенно песен Рылеева.

Мне пришла теперь на память одна мало известная пьеса, написанная Рылеевым в последнее время для юношества высшего сословия русского; вот она:

Я ль буду в роковое время
Позорить гражданина сан
И подражать тебе, изнеженное племя
Переродившихся славян.
Нет, не способен я в объятьях сладострастья,
В постыдной праздности влачить свой век молодой
И изнывать кипящею душой
Под тяжким игом самовластья.

Пусть юноши, не разгадав судьбы,
 Постигнуть не хотят предназначенье века
 И не готовятся для будущей борьбы
 За угнетенную свободу человека.
 Пусть с хладнокровием бросают холодный взор
 На бедствия страдающей отчизны
 И не читают в них грядущий свой позор
 И справедливые потомков укоризны.
 Они раскаются, когда народ, восстав,
 Застанет их в объятьях праздной неги
 И, в бурном мятеже нища свободных прав,
 В них не найдет ни Брута, ни Риеги.

В этих стихах лучше всего изображаются все достоинства и недостатки поэзии Рылеева. Со всем тем, кто не скажет, что это стихотворение может стать на ряду с лучшими ирландскими мелодиями Мура?

Приступим теперь к важнейшей эпохе жизни Рылеева. Разделяемый между литературою, занятиями по Обществу и домашними попечениями, он тихо проводил жизнь свою, уважаемый общим мнением, любимый домашними и друзьями и подозреваемый правительством, которое, по-видимому, в последнее время было очень слабо в своем полицейском надзоре. Мало-помалу тайные дела для приготовления Общества отвлекли его от других занятий; он совершенно посвятил себя одной только заботе.

Не знаю, был ли он обманут сам, или желал другим представлять дела Общества в лучшем виде, только из его пламенных разговоров о распространении числа членов, принадлежащих к союзу благомыслящих людей, я и другие заключали, что Общество наше многочисленно и что значащие люди участвуют в оном. В сем положении дел застигла нас нечаянная смерть Александра. Более года прежде сего в разговорах наших я привык слышать от Рылеева, что смерть императора была назначена Обществом эпохою для начатия действий оногo, и когда я узнал о съезде во дворце по случаю нечаянной кончины царя, о замешательстве наследников престола, о назначении присяги Константину, тотчас бросился к Рылееву. Ко мне присоединился Торсон. Происшествие было неожиданно; весть о нем пришла совсем не оттуда, откуда ожидал я, и вместо начатия действий я увидел, что Рылеев совершенно не знал об этом. Встреченный и волнуемый духом, видя благоприятную минуточку пропущенною, не видя Общества, не видя никакого начала к действию, я горько стал выговаривать Ры-

лееву, что он поступил с нами иначе, нежели было должно.

— Где же Общество,— говорил я,— о котором столько рассказывал ты? Где же действователи, которым настала минута показаться? Где они соберутся, что предпримут, где силы их, какие их планы? Почему это Общество, ежели оно сильно, не знало о болезни царя, тогда как во дворце более недели получают бюллетени об опасном его положении? Ежели есть какие намерения, скажи их нам, и мы приступим к исполнению — говори!

Рылеев долго молчал, облокотясь на колени и положив голову между рук. Он был поражен нечаянностью случая и, наконец, сказал:

— Это обстоятельство явно дает нам понятие о нашем бессилии. Я обманулся сам; мы не имеем установленного плана, никакие меры не приняты, число наличных членов в Петербурге невелико, но, несмотря на это, мы соберемся опять сегодня ввечеру; между тем, я поеду собрать сведения, а вы, ежели можете, узнайте расположение умов в городе и в войске.

Батенков и брат Александр явились в эту минуту, и первое начало происшествий, ознаменовавших период междуцарствия, началось бедным собранием пяти человек.

С сей минуты дом Рылеева сделался сборным местом наших совещаний, а он — душою оных. Ввечеру мы сообщили друг другу собранные сведения, они были неблагоприятны. Войско присягнуло Константину холодно, однако без изъявления неудовольствия. В городе еще не знали, отречется ли Константин, тайна его прежнего отречения в пользу Николая еще не распространилась. В Варшаву поскакали курьеры, и все были уверены, что дела останутся в том же положении.

Когда мы остались трое: Рылеев, брат мой Александр и я, то, после многих намерений, положили было писать прокламации к войску и тайно разбросать их по казармам; но после, признав это неудобным, изорвали несколько написанных уже листов и решились все трое идти ночью по городу, останавливать каждого солдата, останавливаться у каждого часового и передавать им словесно, что их обманули, не показав завещания покойного царя, в котором дана свобода крестьянам и убавлена до 15 лет солдатская служба.

Это положено было рассказывать, чтобы приготовить дух войска для всякого случая, могшего представиться впоследствии. Я для того упоминаю об этом намерении, что оно было началом действий наших и осталось неизвестным Комитету.

Нельзя представить жадности, с какою слушали нас солдаты, нельзя изъяснить быстроты, с какою разнеслись наши слова по войскам; на другой день такой же обход по городу удостоверил нас в этом.

Два дни сильного беспокойства, две бессонные ночи в ходьбе по городу и огорчение сильно подействовали на Рылеева. У него сделалось воспаление горла, он слег в постель, воспаление перешло в жабу, он едва мог переводить дыхание, но не переставал принимать участия в делах Общества. Мало-помалу число наше увеличилось, члены съезжались отовсюду, и болезнь Рылеева была предлогом беспрестанных собраний в его доме.

Мне прискорбно теперь припоминать предсказание, сделанное мною больному, и тогда было оно шуткою, но вскоре исполнилось ужасною истиною. Ему поставили на шею мушку, и когда она подействовала, надобно было сделать перевязку. Очищая больное место и прикладывая новый пластырь, я зацепил неосторожно за рану. Рылеев вскрикнул.

— Как не стыдно тебе быть так малодушным,— сказал я шутя,— и кричать от одного прикосновения, когда ты знаешь свою участь, знаешь, к чему тебе должно приучать свою шею.

Между тем, сомнения насчет наследства престола возрастали. Нам открывался новый случай воспользоваться новою присягою. Мы работали усерднее, готовяли гвардию, питали и возбуждали дух неприязни к Николаю, существовавший между солдатами. Рылеев выздоравливал и не переставал быть источником и главным пружиною всех действий Общества.

Но, несмотря на успехи наши, невзирая на то, что новые члены прибывали, что за многие полки сделаны были обещания, мы мало уверены были в наших силах; никто не мог ручаться за полный полк, ротные командиры, участвовавшие в заговоре, могли отвечать только за свои роты, и то при некоторых благоприятных обстоятельствах. Часто в разговорах наших сомнение насчет успеха выражалось очень положительно. Не менее того, мы видели необходимость действовать, чувствува-

ли надобность пробудить Россию. Рылеев всегда говорил:

— Предвижу, что не будет успеха, но потрясение необходимо, тактика революций заключается в одном слове: дерзай, и ежели это будет несчастливо, мы своей неудачей научим других.

Наконец, 12-го числа декабря, в субботу, явился у меня Рылеев. Вид его был беспокойный, он сообщил мне, что Оболенский выведал от Ростовцева, что сей последний имел разговор с Николаем, в котором объявил ему об умышляемом заговоре, о намерениях воспользоваться расположением солдат, и упрашивал его, для отвращения кровопролития или отказаться от престола, или подождать цесаревича для формального и всенародного отказа. Оболенский заставил Ростовцева написать как письмо, писанное им до свидания, так и разговор с Николаем.

— Вот черновое изложение того и другого,— продолжал Рылеев,— собственной руки Ростовцева, прочти и скажи, что ты об этом думаешь?

Я прочитал. Там не было ничего упомянуто о существовании Общества, не названо ни одного лица, но говорилось о намерении воспротивиться вступлению на престол Николая, о могущем произойти кровопролитии. В справедливости же своего показания Ростовцев заверял головою, просил, чтобы его посадили с сей же минуты в крепость и не выпускали оттуда, ежели предсказываемое не случится.

— Уверен ли ты,— сказал я Рылееву,— что все, писанное в этом письме, и разговор совершенно согласны с правдою и что в них ничего не убавлено против изустного показания Ростовцева?

— Оболенский ручается за правдивость этой бумаги: он говорит, что Ростовцев почти добровольно объявил ему все это.

— По доброй душе своей Оболенский готов ему верить; но я думаю, что Ростовцев хочет ставить свечу богу и сатане. Николаю он открывает заговор, пред нами умывает руки признанием, в котором, говорит он, нет ничего личного. Не менее того в этом признании он мог написать, что ему угодно, и скрыть то, что ему не надобно нам сказывать. Но пусть будет так, что Ростовцев, движимый сожалением, совестью, раскаянием, сказал и написал не более и не менее, однако ж у него ска-

зано об умысле, и ежели у Николая теперь так много хлопот, что некогда расспросить об нем доносчика, или боязнь и политика мешают приняться за розыск, как бы надобно, то, конечно, эти причины не будут существовать в первый день по вступлении на престол, и Ростовцева заставят сказать что-нибудь поболее о том, о чем он говорит теперь с такою скромностью.

— Но если бы сказано было что-нибудь более, нас, конечно, тайная полиция прибрала бы к рукам.

— Я тебе повторю, что Николай боится сделать это. Опорная точка нашего заговора есть верность присяге Константину и нежелание присягать Николаю. Это намерение существует в войске, и, конечно, тайная полиция о том известила Николая, но как он сам еще не уверен, точно ли откажется от престола брат его, следовательно, арест людей, которые хотели остаться верными первой присяге, может показаться с дурной стороны Константину, ежели он вздумает принять корону.

— Итак, ты думаешь, что мы уже заявлены?

— Непременно, и будем взяты, ежели не теперь, то после присяги.

— Что же, ты полагаешь, — нужно делать?

— Не показывать этого письма никому и действовать. Лучше быть взятыми на площади, нежели на постели. Пусть лучше узнают, за что мы погибнем, нежели будут удивляться, когда мы тайком исчезнем из общества, и никто не будет знать, где мы и за что пропали.

Рылеев бросился ко мне на шею.

— Я уверен был, — сказал он с сильным движением, — что это будет твое мнение. Итак, с богом! Судьба наша решена! К сомнениям нашим теперь, конечно, прибавятся все препятствия. Но мы начнем. Я уверен, что погибнем, но пример останется. Принесем собою жертву для будущей свободы отечества!

Мы поехали вместе с ним к полковнику Финляндского полка Моллеру, члену Общества, чтобы спросить его решительного ответа, и не застали дома. Рылеев поручил мне непременно узнать о его намерениях. Я был у Моллера опять ввечеру и нашел его в наилучшем расположении — с этим я отправился к Рылееву. В этот же вечер приехала ко мне из деревни мать с сестрами, и потому мне нельзя было оставаться на совещании. Рылеев обещал известить меня обо всем.

На другой день, поутру, передав мне некоторые слабые надежды, Рылеев поехал со мною опять к Моллеру и опять не застал его дома. Обещав приехать ко мне обедать, он поручил мне сыскать Моллера, чтобы, узнав его мысли, принять решительные меры.

Я отправился к Торсону, и там узнали мы, что Моллер у дяди своего, министра. Послали за ним. Он явился, но был уже не тот, с которым я говорил накануне. При первом вопросе о его намерениях он вспыхнул; сказал, что не намерен служить орудием и игрушкой других в таком деле, где голова нетвердо держится на плечах, и, не слушая наших убеждений, ушел.

Я сообщил Рылееву за обедом нашу неудачу.

— Нам надобно что-нибудь узнать о Финляндском полку, — сказал он, — поедем к Репину.

Мы поехали, насилиу отыскали его, привезли ко мне, и вот его слова о состоянии Финляндского полка.

— Моллер и Тулубьев, который еще сегодня поутру с энтузиазмом дал свое слово, оба отказываются: Моллер по своим расчетам, Тулубьев — следуя ему. Я не могу ручаться ни за одного солдата; моей роты здесь нет, она с батальоном стоит в деревне, и притом я скрываюсь больным, подавши в отставку. Во всем полку один только Розен отвечает за себя, но я не знаю, что он будет в состоянии сделать.

Рылеев уехал, дав слово возвратиться ввечеру и известить нас об окончательных намерениях к завтрашним действиям.

Мы остались с Репиным. Общество наше увеличилось Торсоном и Батенковым. В 10 часов приехал Рылеев с Пушиным и объявил нам о положенном на совещании, что в завтрашний день, при принятии присяги, должно поднимать войска, на которые есть надежда, и, как бы ни были малы силы, с которыми выйдут на площадь, идти с ними немедленно во дворец.

— Надобно нанести первый удар, — сказал он, — а там замешательство даст новый случай к действию; итак, брат ли твой Михаил с своею ротою, или Арбузов, или Сутгоф — первый, кто придет на площадь, отправится тотчас ко дворцу.

Здесь Репин заметил Рылееву, что дворец слишком велик и выходов в нем множество, чтобы занять его одною ротою, что, наконец, Преображенский батальон, помещенный возле дворца, может в ту же минуту быть

введен туда через Эрмитаж и что отважившаяся рота будет в слишком опасном положении, тогда как и без сего успех неверен, чтобы воспрепятствовать уходу царской фамилии.

— Ежели же,— прибавил он,— это необходимо, то недурно бы достать план дворца и по оному расположить действия, чтобы воспользоваться с выгодною малым числом.

— Мы не думаем,— сказал Рылеев,— чтобы могли кончить все действия одним занятием дворца, но довольно того, ежели Николай и царская фамилия уедут оттуда и замешательство оставит его партию без головы. Тогда вся гвардия пристанет к нам, и самые нерешительные должны будут склониться на нашу сторону. Повторяю, что успех революций заключается в одном слове: *д е р з а й т е*.

Таким образом кончился канун происшествия 14-го числа. Многие из товарищей, бывших на совещании 13-го числа, утверждают, что там никогда не было принято подобного намерения. Не быв на сем совещании, я этого не знаю и передаю только то, что говорил Рылеев Репину и мне ввечеру 13-го числа после сего совещания, и как я в сем случае пишу не историю Общества, но действия Рылеева, то я должен их передавать так, как я собственно их видел и слышал.

Рано поутру 14-го числа я был уже у Рылеева, он собирався ехать со двора.

— Я дожидал тебя,— сказал он,— что ты намерен делать?

— Ехать, по условию, в гвардейский экипаж, может быть, там мое присутствие будет к чему-нибудь годно.

— Это хорошо. Сейчас был у меня Каховский и дал нам с твоим братом Александром слово об исполнении своего обещания, а мы сказали ему, на всякий случай, что с сей поры мы его не знаем, и он нас не знает, и чтобы он делал свое дело, как умеет. Я же, с своей стороны, еду в Финляндский и лейб-гренадерский полки, и если кто-либо выйдет на площадь, я стану в ряды солдат с сумою через плечо и с ружьем в руках.

— Как, во фраке?

— Да, а может быть, надену русский кафтан, чтобы сроднить солдата с поселянином в первом действии их взаимной свободы.

— Я тебе этого не советую. Русский солдат не понимает этих тонкостей патриотизма, и ты скорее подвергнешься опасности от удара прикладом, нежели сочувствию к твоему благородному, но неуместному поступку. К чему этот маскарад? Время национальной гвардии еще не настало.

Рылеев задумался.

— В самом деле, это слишком романтически,— сказал он,— итак, просто, без излишеств, без затей. Может быть,— продолжал он,— может быть мечты наши сбудутся, но нет, вернее, гораздо вернее, что мы погибнем.

Он вздохнул, крепко обнял меня, мы простились и пошли.

Но здесь ожидала нас трудная сцена. Жена его выбежала к нам навстречу, и когда я хотел с нею поздороваться, она схватила мою руку и, заливаясь слезами, едва могла выговорить:

— Оставьте мне моего мужа, не уводите его — я знаю, что он идет на погибель.

Кто из моих товарищей испытал чувствования, одушевлявшие каждого из нас в эти незабвенные дни, тот может представить, что напряженная душа готова была ко всем жертвованиям, и потому я уговаривал ее такими словами, как будто супруга и мать должна была понимать мои чувствования, но это было холодно для ее сердца. Рылеев, подобно мне, старался успокоить ее, что он возвратится скоро, что в намерениях его нет ничего опасного. Она не слушала нас, но в это время дикий, горестный и испытующий взгляд больших черных ее глаз попеременно устремлялся на обоих — я не мог вынести этого взгляда и смутился. Рылеев приметно был в замешательстве, вдруг она отчаянным голосом вскрикнула:

— Настенька, проси отца за себя и за меня!

Маленькая девочка выбежала, рыдая, обняла колени отца, а мать почти без чувств упала к нему на грудь. Рылеев положил ее на диван, вырвался из ее и дочерних объятий и убежал.

Здесь мы расстались.

Когда я пришел на площадь с гвардейским экипажем, уже было поздно. Рылеев приветствовал меня первым целованием свободы и после некоторых объяснений отвел меня на сторону и сказал:

— Предсказание наше сбывается, последние минуты наши близки, но это минуты нашей свободы: мы дышали ею, и я охотно отдаю за них жизнь свою.

Это были последние слова Рылеева, которые мне были сказаны. Остальная развязка нашей политической драмы всем известна...

Мы сидели в крепости, в Алексеевском рavelине; в 14 № был брат мой Михаил, в 15 — я, в 16 — кн. Одоевский, в 17 и в последнем Рылеев. Мало-помалу мы с братом восстановили сношения посредством выдуманной им азбуки звуками в стену; мы объяснялись свободно. Я хотел переговорить с Рылеевым, но все мои попытки дать понятие о нашей азбуке Одоевскому, между нами сидевшему, были безуспешны. Итак, все сношения между нами были очень коротки и неверны — через старого ефрейтора, словесно, и, почти перед самою сентенциею, записками. Это препятствие много повредило нашему делу.

Вот поведение Рылеева по Комитету, сколько я мог судить из дела и его показаний, которые до меня доходили. Но здесь я говорю собственное мнение, одно заключение, то, что мне казалось, не основываясь ни на каких положительных доказательствах.

Рылеев старался перед Комитетом выставить Общество и дела оногo гораздо важнее, нежели они были в самом деле. Он хотел придать весу всем нашим поступкам и для того часто делал такие показания, о таких вещах, которые никогда не существовали. Согласно с нашею мыслью, чтобы знали, чего хотело наше Общество, он открыл многие вещи, которые открывать бы не надлежало. Со всем тем, это не были ни ложные показания на лица, ни какие-нибудь уловки для своего оправдания; напротив, он, принимая все на свой счет, выставлял себя причиною всего, в чем могли упрекнуть Общество. Сверх того, Комитет употреблял все непозволительные средства: вначале обещали прощение; впоследствии, когда все было открыто и когда не для чего было щадить подсудимых, присовокупились угрозы, даже страшали пыткой. Комитет налагал дань на родственные связи, на дружбу; все хитрости и подлоги были употреблены. Я знал через старого солдата, что Рылееву было обещано от государя прощение, ежели он признается в своих намерениях; жене его сказано было то

же; позволены были свидания, переписка, все было употреблено, чтобы заставить раскрыться Рылеева. Сверх того, зная нашу с ним дружбу, нас спрашивали часто от его имени о таких вещах, о которых нам прежде и на мысль не приходило. Я, признаюсь, обманутый сам обещанием царским, зная, за какую цену оно обещано Рылееву, и зная его намерение представлять в важнейшем виде вещи, думал действовать в том же смысле, чтобы не повредить ему и не выставить его лжецом, отрицаясь от показаний, сделанных будто от его имени, особенно в начале дела, когда я еще не разгадал этой хитрости Комитета; но после я узнал это, и мы с братом взяли свои меры. Что же касается до Рылеева, он не изменил своей всегдашней доверчивости и до конца убежден был, что дело окончится для нас благополучно. Это было видно из его записки, посланной ко всем нам в равелине, когда он узнал о действиях Верховного Уголовного Суда; она начиналась следующими словами: «красные кафтаны (т. е. сенаторы) горячатся и присудили нам смертную казнь, но за нас бог, государь и благомыслящие люди»,— окончания не помню.

Через 7 месяцев судьба привела нас еще видиться с ним. В безмолвном кладбище нашем, равелине, был маленький садик, куда нас водили по очереди гулять; очередь Рылеева была всегда во время ужина. Однажды ефрейтор, вынося от меня столовую посуду, отворил дверь в ту самую минуту, когда Рылеев проходил мимо; мы увидели друг друга, этого довольно было, чтоб вытолкнуть ефрейтора, броситься друг другу на шею и поцеловаться после столь долгой разлуки. Такой случай был эпохой в Алексеевском равелине, где тайна и молчание, где подслушивание и надзор не отступают ни на минуту от несчастных жертв, заживо туда похороненных...

Что мне теперь прибавить? С этой минуты я не видал его более. Я узнал о нем от священника, уже после казни; узнал, с каким мужеством и смирением принял он двукратную смерть от руки палача.— «Положите мне руку на сердце и посмотрите, скорее ли оно бьется»,— сказал он священнику. Они все пятеро поцеловались, оборотились так, чтоб можно было пожать им связанным друг другу руки, и приговор был исполнен. По неловкости палача, Рылеев, Каховский и Муравьев

должны были вытерпеть эту казнь в другой раз, и Рылеев с таким же равнодушием, как прежде, сказал: «Им мало нашей казни — им надобно еще тиранство!».

14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА

Сабля моя давно была вложена, и я стоял в интервале между Московским каре и колонною Гвардейского экипажа, нахлобуча шляпу и поджав руки, повторяя себе слова Рылеева, что мы дышим свободою. Я с горестью видел, что это дыхание стеснялось. Наша свобода и крики солдат походили более на стенания, на хрип умирающего. В самом деле: мы были окружены со всех сторон; бездействие поразило оцепенением умы; дух упал, ибо тот, кто в начатом поприще раз остановился, уже побежден вполовину. Сверх того, пронзительный ветер леденил кровь в жилах солдат и офицеров, стоявших так долго на открытом месте. Атаки на нас и стрельба наша прекратились; ура солдат становилось реже и слабее. День смеркался. Вдруг мы увидели, что полки, стоявшие против нас, расступились на две стороны, и батарея артиллерии стала между ними с разверстыми зевами, тускло освещаемая серым мерцанием сумерек.

Митрополит, посланный для нашего увещания, возвратился без успеха; Сухозанету, который, подъехав, показал нам артиллерию, громогласно прокричали подлеса — и это были последние порывы, последние усилия нашей независимости.

Первая пушка грянула, картечь рассыпалась; одни пули ударили в мостовую и подняли рикошетами снег и пыль столбами, другие вырвали несколько рядов из фрунта, третьи с визгом пронеслись над головами и нашли своих жертв в народе, лепившемся между колонн сенатского дома и на крышах соседних домов. Разбитые оконницы зазвенели, падая на землю, но люди, слетевшие вслед за ними, растянулись безмолвно и недвижимо. С первого выстрела семь человек около меня упали: я не слышал ни одного вздоха, не приметил ни одного судорожного движения — столь жестоко поражала картечь на этом расстоянии. Совершенная тишина царствовала между живыми и мертвыми. Другой и третий выстрелы повалили кучу солдат и черни, которая толпа-

ми собралась около нашего места. Я стоял точно в том же положении, смотрел печально в глаза смерти и ждал рокового удара; в эту минуту существование было так горько, что гибель казалась мне благополучием. Однако судьбе угодно было иначе.

С пятым или шестым выстрелом колонна дрогнула, и когда я оглянулся — между мною и бегущими была уже целая площадь и сотни скошенных картечью жертв свободы. Я должен был следовать общему движению и с каким-то мертвым чувством в душе пробирался между убитых; тут не было ни движения, ни крика, ни стенания, только в промежутках выстрелов можно было слышать, как кипящая кровь струилась по мостовой, растопляя снег, потом сама, алея, замерзала.

За нами двинули эскадрон конной гвардии, и когда при входе в узкую Галерную улицу бегущие столпились вместе, я достиг до лейб-гренадеров, следовавших сзади, и сошелся с братом Александром; здесь мы остановили несколько десятков человек, чтобы, в случае натиска конницы, сделать отпор и защитить отступление, но император предпочел продолжать стрельбу по длинной и узкой улице.

Картечи догоняли лучше, нежели лошади, и составленный нами взвод рассеялся. Мертвые тела солдат и народа валялись и валялись на каждом шагу; солдаты забежали в дома, стучались в ворота, старались спрятаться между выступами цоколей, но картечи прыгали от стены в стену и не щадили ни одного закоулка. Таким образом, толпы достигли до первого перекрестка и здесь были встречены новым огнем Павловского гренадерского полка.

Не видав, куда исчез брат мой, я поворотил в полуотворенные ворота направо и сошелся с самим хозяином дома; двое порядочно одетых людей бросились также в ворота, и в ту минуту, как первый пригласил нас войти, картечь поразила одного из последних, и он, упав, загородил нам дорогу.

Прежде, нежели я успел нагнуться, чтобы приподнять его, он закрыл глаза навеки, кровь брызгала в обе стороны из груди и спины, пуля пробила его насквозь.

— Боже мой! Нельзя ли ему помочь! — воскликнул хозяин.

Шинель молодого человека свалилась с плеч при падении.

Я безмолвно указал ему на рану, которая начиналась немного ниже левого соска и оканчивалась против самого хребта.

— Да будет воля божия! — сказал хозяин. — Пойдемте ко мне, иначе еще кто-нибудь из нас убудет.

Итак, мы трое, перешед двор, остановились на крыльце; хозяин постучался в дверь; громкий лай собаки, раздавшийся, как гром, в пустых покоях, отвечал ему.

О росте собаки можно было судить по необыкновенному ее голосу.

— Позвольте мне теперь спросить, господа, кого я имею честь у себя принимать, — говорил хозяин, пока послышался голос слуги, начавшего унимать собаку, отпирать дверь и отодвигать запоры.

Я распахнул шинель, и как полная форма мундира, штаб-офицерские эполеты и крест могли служить достаточным ответом, хозяин учтиво мне поклонился.

— А вы?..

Молодой человек очень приятной физиономии сказал ему свою фамилию и место службы — я жалею, что не помню ни того ни другого.

В эту минуту замок, запор и несколько задвижек были отодвинуты, дверь приотворилась и слуга высунул голову.

— Я не один, поддержи собаку, пока мы пройдем, — сказал хозяин и, подав нам обоим руки, пригласил войти в дом; предосторожность его была необходима, потому что датская собака чудовищной величины рвалась из рук слуги, едва могшего удерживать ее за ошейник.

Мы вошли в комнату нижнего этажа, и когда подали свечу, хозяин приказал запереть снова двери, закрыть ставни на набережную и на двор и не сказывать его дома.

Пушечные выстрелы гремели по улице и на Неве, ружейная пальба не переставала по обе стороны дома; все, что я сказал, едва ли продолжалось десять минут, потом пушки замолкли, ружейные выстрелы слышались изредка, наконец, и те перестали.

Подали чай без сливок, потому что хозяин постился. Разговор наш, хотя и относился до ужасных происшествий сего дня, был сух и холоден. Все трое были незнакомы друг другу, недоверчивость связывала каждого язык, принуждение каждого светилось сквозь

светскую учтивость, когда мы остались друг с другом.

Тут я рассмотрел хозяина: он был с меня ростом и по виду лет 45 мужчина, но с цветущим здоровьем, с приятным и красивым лицом. Постоянные черные глаза ручались за твердость его характера, в черных волосах не было ни одной седины, которая бы обнаружила излишество внутреннего огня. На сером фраке, шитом столько по моде, чтоб не отстать от ней и не походить на бульварных щеголей, надета была неаполитанская звезда.

Наконец, на обеих сторонах дома все утихло; слуга, выходивший несколько раз за ворота, сказывал, что по улицам и набережной разъезжают одни патрули.

Тогда молодой человек встал, поблагодарил хозяина за гостеприимство, повторил свою фамилию и был выпущен слугою на безлюдную набережную. Пределы приличия не позволяли мне оставаться долее; но я считал еще опасным выйти на улицу, и, когда хозяин, проводя своего гостя, подшел ко мне с таким видом, будто желал и моего ухода, я ему сказал:

— Вы сделали великодушное дело, укрыв нас от кар течей, и теперь, когда их нечего бояться, молодой мой товарищ ушел; по законам учтивости должно бы уйти и мне, но ваши поступки внушают мне доверенность: я должен сказать причину, почему прошу у вас гостеприимства еще на час или на два,— я один из приведших на площадь войска, не присягнувшие Николаю.

Хозяин мой побледнел, сомнение выразилось на его лице.

— Теперь дело сделано,— продолжал я, заметив перемену,— вы властны располагать мною: или выдать, как бунтовщика, или укрыть, как преследуемого несчастливца.

Он протянул руку.

— Вы остаетесь у меня, сколько нужно для вашей безопасности,— сказал он.

— Рассудите, на что вы решаетесь: сверх мною сказанного, вы обязаны объявить, кого вы укрываете... я...

— Не нужно... мне довольно одного вашего несчастья,— сказал он, торопливо взяв меня за руку и сажая с участием на стул.

— Вы великодушный человек,—отвечал я,—в таком

случае я не употребляю во зло вашего снисхождения, за которое да заплатит вам бог.

— Мы начнем с того, что перейдем отсюда в другую комнату, потому что я занимаю обыкновенно эту, а ко мне может кто-нибудь зайти, увидя сквозь ставни огонь.

Сказав это, он вывел меня в комнату, похожую на кабинет, но заставленную разными мебелью.

— Жена моя в деревне,—продолжал он,—я собираюсь также на днях ехать, и потому весь дом пуст, кроме моих двух комнат и третьей, где живет мой сын, служащий адъютантом у***.

Мы сели, и разговор наш сделался откровеннее. Речь была о расположении войск. Хозяин мой был любопытным свидетелем на площади и видел, желали ли нового государя, и когда по сцеплению мыслей мы дошли до того, кто привел неприсягнувшие полки, я упомянул свою фамилию.

Хозяин мой остановил меня.

— Не сын ли вы Александра Бестужева, бывшего капитаном в инженерном кадетском корпусе?

Я отвечал утвердительно.

— В таком случае рад,—продолжал он,—что могу оказать услугу сыну моего благотворителя. Я воспитывался под его начальством, а потом, могу сказать, был его другом, пока обстоятельства не разлучили нас.

Здесь он рассказал мне свою жизнь, не богатую занимательными происшествиями; самое замечательное было то, что он коротко был известен покойному императору, переписывался с ним и имел несколько от него поручений в чужих краях, будучи употребляем также и как корреспондент ученого артиллерийского комитета; рассказывая свои сношения с Александром и любовь к нему, он дал волю чувствам и, когда кончил похвалы, вынул висевший на груди его портрет государя, поцеловал его с благоговейными слезами и прибавил, что это был подарок самого государя, потому данный, что он не хотел принять никогда никакой награды.

Ласки моего хозяина, которого я узнал имя и фамилию, обворожили меня; я не замечал, как проходило время; было уже около 8 часов вечера, вдруг собака залаяла, у дверей поднялся страшный стук, наконец, разговоры в комнатах, хозяин немного смутился, но ког-

да он увидел вошедшего к нам молодого человека в адъютантском мундире, он мне шепнул, что это — его сын.

Красивый молодой человек лет двадцати двух, среднего роста, рассказал отцу, что он едва мог урваться из дворца, чтобы переодеться, и что должен немедленно опять ехать туда же.

Молодой человек столько был занят происшествиями этого дня, что почти вовсе не заметил меня, не спрашивал отца о том, что с ним случилось, и с жаром рассказывал о действиях государя, войск и артиллерии.

— Чем же все это кончилось? — сказал мой хозяин. — Я ушел с площади, только что начали стрелять, и потому не знаю остального.

— Одним словом, батюшка, эту толпу мерзавцев разогнали, несколько человек офицеров, с ними бывших, захватили; теперь открывается, что зачинщики всего — братья Бестужевы; их тут без счету, и ни одного из этих подлецов не могли поймать.

Я сжал руки и стиснул зубы, но здесь не место было вступаться за свою обиженную честь. Хозяин мой вздрогнул, взглянув при сих словах на меня, и начал:

— Не брани, любезный друг, так легкомысленно людей, не рассудив хорошенько о их поступках. Ты смотришь на них с одной стороны, видишь их глазами придворного, но если бы ты, подобно мне, был на площади между ними, тогда бы ты согласился, что требования их были очень справедливы.

Здесь хозяин рассказал, на чем основывалось недоверие солдат, сколько могло быть законно отречение Константина, не известное никому и которому не дано было никакого последствия, и как можно было положиться на новую записку его, писанную из Варшавы. Одним словом, говорил благоразумно, так что молодой человек должен был с ним согласиться, и с сим убеждением уехал.

— Вы видите, — продолжал хозяин, — что вам небезопасно оставаться в моем доме, имея сына моего с сими мыслями отъявленным неприятелем вашим.

— Я и не намерен оставаться долее, — сказал я, — и хочу, поблагодаря вас, проститься.

— Нет, еще рано, мы поужинаем, дадим еще успокоиться городу и потом расстанемся...

ШЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ СТАНЦИЯ

Истинное происшествие

Посвящено А. Г. Муравьевой

Одна голова не бедна,
А и бедна, так одна.
(Старинная пословица)

Несколько лет тому назад мне надобно было съездить из Петербурга, по делам матери моей, в Новую Ладугу. Когда я совсем собрался, она позвала меня в свою комнату, повторила все наставления, слышанные мною уже несколько раз, и потом прибавила: «По окончании дел в Ладогe, как я тебе сказала, ты должен захватить к нашим соседям Н. и С... Я хочу того: во-первых, потому, что дома наши связаны старинной дружбою, во-вторых, что у обоих милые дочери и достойные невесты. Может быть, судьба укажет тебе на которую-нибудь из них, и ты составишь себе такую партию, какую бы я хотела для тебя. Ты знаешь всегдашнее мое желание — видеть тебя женатым: я возрастила и воспитала тебя в надежде нянчить моих внучат. Ты старший в семействе, тебе уже тридцать два года, и до сих пор, по какому-то непонятному для меня упрямству, ты не слушаешь моих советов, не устроишь своей судьбы, не осчастливишь меня исполнением любимой моей мечты — видеть в тебе продолжение нашей фамилии. Берегись холостой старости; я не уважаю старых холостяков!». Мать моя плакала, говоря эти слова; я отвечал общими фразами, что час мой не настал, что я еще не встречал той, которую бы избрало мое сердце, обещал внимательно рассмотреть предлагаемых ею невест, и мы вышли в зал, куда собралось все наше семейство.

Почтовая тройка стояла у ворот; чемодан был вынесен; я стал прощаться и думал, поцеловавшись со всеми, сесть на тележку и ехать, но должно было заплатить дань старине. Меня посадили, мать и сестры сели, мальчик, ехавший со мною, был также посажен, даже горничная, вбежавшая сказать, что извозчик торопит, подпала той же участи: «Садись», — сказала ей повелительно матушка; девушка осмотрелась кругом,

взглянула на матушку, как будто желая выразить, что ей совестно сидеть с господами, но при новом приказании села на пол, удовлетворяя в одно и то же время и господскому приказу и рабской разборчивости. Несколько минут продолжалось благочестивое молчание, потом все встали и, оборотясь в передний угол, помолились висевшему там распятию. Матушка благословила меня, шепнув, чтоб я не забыл ее советов, простилась, дала поцеловать руку моему мальчику, и я, обняв сестер, прыгнул с лестницы, вскочил на тележку и исчез, посылая поцелуи рукою в ответ белым платкам сестер, махавшим из окошек.

Итак, меня посылают выбирать невесту! Матушка серьезно хочет меня женить; но об этом надобно подумать да подумать поскорее; в самом деле в мои лета не надо долго размышлять, а в дороге об чем же и думать?

Но если б спросили меня, что я думал дорогою? — я бы отвечал: ничего! На почтовой тележке не так-то ловко размышлять: того и смотри, чтоб не вылететь из повозки. Осенняя погода покрывала меня, дождь и ветер крепче закутывали в шинель, и я чаще повторял ямщику: «Пошел».

За мной остались Пелла и Славянка; я уже подъезжал к Шлиссельбургу, но как человек, служивший на море и редко имевший случай ездить сухим путем, особенно в русском почтовом экипаже, очень чувствовал разницу между сухопутным и водяным сообщением, хотя в настоящем случае я имел бы право сказать, что еду по морю грязи, сопровождаемый прыжками, толчками и ухабами. Налево изредка только открывалась сердитая Нева, катившая быстро свои волны, или какая-нибудь дача, заставлявшая меня высовывать нос из шинели. Мне хотелось полюбоваться каким-нибудь видом, но дождь закрывал все отдаленные предметы, а ранняя осень обезобразила все картины, обнажив почти деревья; желтые листья, сорванные ветром, неслись с дождем, перегоняя мою повозку. Наконец, избитый и мокрый, не отдохнув взором ни на одном предмете, я увидел Шлиссельбург! Мы въехали в город, и, странное дело! первый предмет, привлечший мое внимание, был аист, свивший гнездо свое на трубе почтового дома. Он стоял и важно поглядывал кругом, как будто обозревая небосклон и замечая, с которой стороны

очистится небо, чтобы судить о будущей погоде, может быть, для задуманного им путешествия. Я в первый раз увидел эту птицу в наших северных странах и спросил у извозчика: водятся ли эти птицы здесь? «Нет, барин, прежде не видать было,— отвечал он,— а эта уже четвертый год, каждую весну, здесь выводит детенышей и улетает осенью на теплые воды. Дивлюсь, что она еще здесь, ей давно пора лететь».— Она умнее меня и не хотела пуститься в дальний путь в такую скверную погоду,— сказал я, слезая у почтового domu с повозки и стряхивая шинель, с которой текла вода ручьями!

Станционный смотритель равнодушно объявил, что лошади все в разгоне, и, как я ни представлял обыкновенных крайностей путешествующих, он отвечал обыкновенными резонами почтовых смотрителей, обещая лошадей не ранее как через час. И действительно, несмотря на мое нетерпение, ровно час прошел, пока возвратились лошади. Я стоял у окна и смотрел, как их перепрыгали в мою повозку. Дождь не переставал; крупные капли стучали в окна и лились ручьями по стеклам. Бедные животные, уже пробежавшие свой урок, должны были вновь заучивать его со мною; пар подымался столбом с их осунувшихся боков, которые раздувались, как мехи, от усталости; они стояли, опушта головы, и потряхивали ушами, когда дождевые капли туда попадали. Колокольчик на дуге издавал унылые звуки; не менее того он производил на меня приятное впечатление, предвещая, что я скоро сяду и покачусь после скучного ожидания. Но человек предполагает, а бог располагает: послышался другой колокольчик, и вскоре карета, запряженная в шесть лошадей, а за нею повозка прискакали к станции. Минута ранее — и я бы уехал; теперь это было невозможно, потому что проезжий был сенатор Баранов, ездивший в некоторые губернии помогать жителям, умиравшим с голоду от неурожая, — и следственно мои и еще какие-то лошади были запряжены в карету его превосходительства, а я снова остался горевать в ожидании.

Сенатор вошел в комнату, вежливо поклонился, завел разговор о нашей морской службе; рассказывал о поручении, ему сделанном, и очень скромно похвалялся, что из данных ему трех миллионов на вспоможение он не истратил ни копейки. Когда же перепрыг-

ли карету, он с большою деликатностью извинился, что отнял у меня лошадей, и уехал.

Исчезла и моя надежда на скорую отправку. Все лошади, сытые и голодные, повезли сенатора, а мне-то что делать? Прежде я ждал как проезжий, теперь остался как жилец. Пришлось знакомиться с своею квартирою и хозяевами. От нечего делать я начал осмотр: небольшая комната была разгорожена надвое; передняя служила и присутственным местом, и спальней смотрителю; в ней у одной стены стояла кровать, у другой под окном — стол; у разгородки изразцовая лежанка выдавалась, вроде русского очага, на половину для приезжих, где и мебель была позамысловатее: кроме софы, нескольких дубовых стульев с кожаными подушками и стола, стояла в одном углу кровать с ситцевыми занавесками, в другом — шкаф, из-за стекла которого видно было несколько фарфоровых чашек разной фигуры с ручками и без ручек, склянки с лекарствами, помадная банка с солью, штоф с какой-то жидкостью, где плавало несколько ягод рябины, опрокинутая рюмка без ножки и полдюжины медных ложек и ложечек в прорезях на полочках. По стенам развешано было несколько картинок, над столом зеркало и деревянные часы. Я со скуки пересмотрел все эти редкости, прочел все надписи на картинках, из которых одна только строчка стихов под портретом Кутузова осталась в моей памяти: Кутузов прими не лестный света глаз!¹

Что это, не намек ли?..

Начинало смеркаться; я велел внести мою шкатулку и подать чаю; подойдя к окну, я рассматривал, сколько позволяла погода, представлявшуюся мне картину. Чрез дома на противоположной стороне улицы проглядывали по временам, сквозь дождь, стены и башни Шлиссельбургского замка, поставленного на острове посреди Невы, при самом ее истоке из Ладожского озера... Полосы косого ливня обрисовывали еще мрачнее эту и без того угрюмую громаду серых плитных камней; влево Нева терялась за домами; вправо озеро глухо ревело, переменив беспрестанно цвет поверхности, смотря по силе по-

¹ Этот портрет гравирован известным художником Карделли. Его же гравирования есть два эстампа: путешествие Екатерины по России и Восшествие на престол Александра I.

рывов и густоте дождя,— и я в первый раз дал свободу своим мыслям, которые до сих пор сдерживались или толчками, или ожиданием. Какое-то грустное чувствование развивалось во мне при виде этих башен. Я думал о сменах, которых стены были свидетелями, о завоевании Петра и смерти Ульриха,— о вечном заключении несчастных жертв деспотизма. Мысли невольно останавливались на последних: может быть, думал я, много страдальцев гниет и теперь в этой могиле. Сколько человек, мне известных, исчезли из общества и тайна их участи осталась непроницаемой. Но за какие преступления, за что, по какому суду осуждаются они на нравственную смерть? Все, что относится до общества и его постановлений, до частных людей и сношений их, ограждено законами; преступления против них публично наказаны; но здесь лица бессильны, преступления их тайны; наказания безотчетны, и почему?.. Потому что люди служат безответною игрушкой для насилия и самоуправства, а не судятся справедливостью и законами.— Когда же жизнь и существование гражданина сделаются драгоценны для целого общества? Когда же это общество, строящее здание храма законов, потребует отчета в законности и Бастилий и Шлиссельбургов и других таких же мест, которых одно имя возмущает душу? Люди! Люди! Вы привыкли сами спутывать себя узами, вы привыкли носить цепи; властелины ваши знают это и накладывают на вас новые тяготы; вы думаете, что этому так быть надобно. Горе вам, если вы этому не верите. В таком настроении духа я сел за чайный столик.

Выдумка чая прекрасная вещь во всяком случае; в семействе чай сближает родных и дает отдых от домашних забот; в тех обществах, где этикет не изгнал еще из гостиных самоваров и не похитил у хозяйки права разливать чай, гости садятся теснее около чайного столика; нечто общее направляет умы к общей беседе; кажется, что кипящий напиток согревает сердца, располагает к веселости и откровенности. Старики оставляют подозрительный вид и делаются доверчивее к молодым; молодые становятся внимательнее к старикам. В дороге чай греет, в скуке за ним проводишь время. Одним словом, самовар заменяет в России камин, около которых во Франции и Англии собираются кружки.

Чтобы составить кружок, я пригласил к чаю смот-

рителя и его жену. Хозяйка, которой наряд состоял в повязке на голове и камлотовой юбке, принимая мое приглашение, набросила на плечи черный шелковый платок и скинула головную повязку, чтобы показать, что она не из простых, а носит косу, с воткнутым в нее роговым гребнем. Она пила чай вприкуску; после четырех чашек с крайнею учтивостию опустила назад в сахарницу обгрызок сахара, оставшийся от ее экономных зубов.

— Давно ли вы здесь на станции? — спросил я смотрителя.

Он хотел отвечать, но как в эту минуту он только что хлебнул горячего чаю, то ответ его выразился одним невнятным звуком и потом кашлем. Словоохотная хозяйка предупредила его: «О зимнем Миколе, батюшка, будет восемь лет, как мы попали на это место, и восемь лет мыкаем горе на этой станции; тракт мало-ежкий; купечество ездит на долгих или на наемных; а кроме купцов только офицеры да фельегари».

— Куда же ездят эти фельдъегери?

Смотритель хотел было отвечать, но жена перебила и не смотря, что он кивал головою, раза два крикнул, она продолжала:

— Куда? Прости господи! Не ближе и не далее здешнего места... Разве, разве, что в Архангельск; да туда пусть бы их ехали с богом, а то не пройдет месяца, чтобы не привезли в эту проклятую крепость на острове какого-нибудь бедненького арестанта.

— И вы выдаете этих арестантов?

— Куда тебе! Нет, родной, никогда не выдаем. Приедут всегда ночью и прямо на берег, не заезжая сюда. Я бегала не раз на реку, да только и видела, что повозку; жандармы и близко не подпускают; фельегарь крикнет с берегу — с крепости зарычат каким-то дивным голосом; приедет катер: сядут, поедут, и бедняжка как в воду канет. Только поутру, как снег на голову, наскочит подраťся да побраниться, да уехать, не заплатив прогонов...

— Что же у вас говорят, как живут арестанты?

— Что говорят, родимый! И бог весть каких страстей не рассказывают — а все мы досконально не знаем. Съезжают оттуда солдаты, да редко; и на тех человека виденья нет: худы, да тощи, да бедны, — и они, бедняжки, там на затворе. Спросим, ничего не говорят;

а станем пытаться, так я не раз видела, как много дрожь возьмет, а все до толку не добьешься. Видно, что страшно.

— Ваше высокоблагородие,— начал, закашляв, смотритель — это...— но жена не дала ему кончить и прервала снова, но почти шепотом.— Говорят, что там тюрьмы как колодцы: ни свету божьего, ни земли, ни воздуху; душно как в могиле; каждый сам по себе и ни встать, ни сесть, ни лечь. Есть подают в окошечко, и бедняжка не слышит никогда ни голоса, не видит ни лица человеческого: только он да часовые кругом.

— Стало быть, их мучат, их убивают прежде времени?

— Нет, батюшка, мучить не мучат и убивать не убивают, а говорят: что уж коли надобно кого сжить со бела света, так закопают по уши в землю, да и оставят умирать своею смертию.

Сколько ни нелепы были рассказы хозяйки, но, откинув преувеличения, откинув то, что относилось к мучениям физическим, достаточно быть похороненным живо в этом гробе, чтобы с нравственными страданиями намучиться, умирая своею смертию.

Я встал из-за чая в неприятном расположении духа, спросил о лошадях и на отрицательный ответ начал ходить по комнате; здесь мне впервые после выезда пришло в голову желание матушки, чтоб я женился. Странное сцепление идей! Но в этом случае мысль, перебегая с предмета на предмет, невольно обращалась к тем, которых лишение было бы последствием исполнения печальных моих предчувствий. «Матушка хочет этого,— думал я,— это естественно; я сам чувствовал пустоту в сердце, мне чего-то не доставало, даже в кругу милого мне семейства, между достойных моих сестер и братьев. Я думал об этом, когда страсти мои волновались сильнее, когда каждая девушка казалась мне идеалом совершенства, я думал и выбрал; но судьба похитила у меня избранную; смерть разлучила нас. С тех пор воображение сделалось прихотливее, вкус разборчивее, чувства не так пылки. Я создал новый идеал и равнодушно смотрел на женщин, сравнивая их с моею мечтой. За всем тем, безумный! я еще думал жениться! Теперь я вижу яснее, что не могу располагать собой, не могу связать судьбы своей с избранною мною подругой жизни!..

«Я собственность благородного предприятия; я обречен особым союзом — и так могу ли я жениться? Стоя на зыблющемся вулкане, захочу ли я привлечь к себе подругу, избираемую для счастья в жизни нашей, чтобы она, не зная бездны под ногами своими, вверилась мне и вверглась вместе со мною в пропасть, ежеминутно готовую раззинуться».

Так я рассуждал, а между тем дождь усиливался, ветер свистал в окошки, на дворе стало совсем темно, а лошадей все еще не было. Наконец, я решился остаться ночевать, несмотря на свою скуку, потому что ехать ночью, в такую погоду, еще скучнее. Зажгли свечи, я открыл шкатулку; со мною было английское Стерново «Чувствительное путешествие»; я развернул книгу и сел читать: как нарочно, открылось то место, где Стерн говорит о Бастилии:

«...я представил себе все жестокости заключения. Мое сердце было расположено к этому, и я дал полную волю воображению.

Я начал миллионами мне подобных, но находя, что огромность картины, сколь она ни была разительна, не позволяет приблизить ее к глазам и что множество групп только развлекали меня, я представил себе одного заключенного, запер наперед его в тюрьму, потом остановился посмотреть сквозь решетку двери, чтобы срисовать его изображение.

Я увидел, что тело его исхудало и высохло от долгого ожидания и заключения; я чувствовал, как сильна сердечная болезнь, рождаемая отлагаемой надеждой. Посмотрев пристальнее, я заметил, что он был бледен и истомлен лихорадкой. В тридцать лет восточный ветер ни разу не освежил его крови. Он не видал ни солнца, ни месяца во все это время, и ни однажды голос друга или родного не проникал сквозь эту решетку; его дети...

Но здесь мое сердце облилось кровью, и я принужден был приступить к другой части моего изображения.

Он сидел в углу на небольшом пучке соломы, служившей ему вместе и стулом и постелью. В головах лежал род календаря из маленьких палочек с заметками печальных дней и ночей, проведенных им в темнице. Одна из этих палочек была у него в руках; он царапал на ней ржавым гвоздем новую заметку еще одного дня бедствия в прибавку к прежним — и как я заслонял

последний свет, доходивший до него,— он поднял безнадёжные глаза на дверь, опустил их, покачал головою и продолжал свою горестную работу. Я слышал звук цепей, когда он поворотился, чтобы положить палочку в связку с другими. Он тяжело вздохнул; я видел, что это железо въедалось в его душу,— я залился слезами и не мог выдержать долее зрелища, созданного моим воображением...»

Боже мой, в двадцатый раз читаю это место, но еще впервые оно так на меня подействовало! Рассказ хозяйки, картина Стерна, задержка лошадьми, собственные предчувствия... мне кажется, что Шлиссельбург уже обхватывает и душит меня как свою добычу. «Так,— сказал я сам себе, шепотом, боясь, чтобы меня не подслушали.— Я имею полное право ужасаться мрачных стен сей ужасной темницы. За мной есть такая тайна, которой малейшая часть, открытая правительству, приведет меня к этой великой пытке. Я всегда думал только о казни, но сегодня впервые явилась мысль о заключении».

Долго я ходил по комнате, приучая воображение к тюремной жизни, страшно проявлявшейся в разных образах предо мною; наконец фантазмагория моих мыслей прояснилась, припомнив, что года три или четыре назад, познакомясь с комендантом Шлиссельбургской крепости, я отвечал на зов его к себе в гости, что постараюсь сделать какую-нибудь шалость, за которую провинность доставят меня к нему на казенный счет. Тогда я еще не имел в виду цели, которая могла бы оправдать мою шутку.

Я сел снова к столу, взял лист бумаги, чертил на нем разные фигуры, карикатурил знакомые лица, читал опять Стерна, писал на него сентенции, свои мысли; рисовал узника в темнице, чертящего на палочке заметку, думал о желании матушки, вставал, ходил, наконец погасил свечу и, скинув сюртук, бросился в постель, чтоб уснуть; но сон бежал моих глаз: я только что вертелся с боку на бок.

В другой комнате хозяйка лежала нераздетая на своей кровати и храпела; супруг ее сидел за столом и читал вслух четьи-минеи, и это чтение имело усыпительное действие на хозяйку: как скоро он понижал голос или переставал читать, чтобы понюхать табак из стоявшей подле него берестовой тавлинки, она переставала

храпеть, начинала шевелиться или совсем просыпалась. Я сначала думал, что расстановки в чтении делаются неумышленно; однако, взглянув в висевшее над столом зеркало, в котором отражался мой хозяин, увидел, что каждая остановка сопровождалась покушением встать. Но как скоро он замечал, что любезная его половина просыпалась, он садился снова и начинал читать громче прежнего. Наконец после многих опытов, когда убедился, что чтение подействовало как следует, тогда, сняв очки и спустив туфли, он на цыпочках вошел в мою комнату, посмотрел, сплю ли я, отворил шкаф, взял безногую рюмку, налил в нее из штофа водки, выпил, отломил корочку хлеба, посолил, съел и отправился тем же порядком на свое место. Та же комедия начиналась снова: жена по временам просыпалась, делала кой-какие вопросы, он отвечал чтением и таким образом сходил в шкаф в другой и в третий раз; но после этого бодрость его видимо увеличилась: он перенес к себе весь штоф, положил подле себя хлеб, воткнул в него безногую рюмку и начал попивать, закусывать, читать нараспев, икать и заикаться при житии Иоанна Постника.

Меня занимало праздничанье этого доброго человека; по крайней мере при бессоннице лучшего нечего было делать. Изменническое зеркало передавало мне верно все наслаждения и все забавные страхи хозяина. Наконец он заснул в очках на носу над книгою, а я предался снова мечтам, снова думал о женитьбе, потом о намерении никогда не жениться, а между тем какой-то женский идеал носился в моем воображении против моей воли и занимал меня до 10 часов.

В это время между порывом бури слышался колокольчик. Через несколько минут застучали по мостовой колеса, раздался на крыльце крикливый женский голос, и вслед за тем передняя комната наполнилась людьми. Я различал женские и мужские голоса; зеркало передавало мне мимолетные черты, потому что люди шевелились, переходили с места на место, но я не мог никого рассмотреть. Хозяйка вскочила; смотритель проснулся, встал и, опершись на стол руками, повторил обыкновенный свой напев: «Ло-лошадей не-т-с!».

Тоненький и светлый женский голос, который приятно отзывался в моем ухе, отвечал ему, что они едут на своих и остановились поправить карету, испортившуюся

от дурной дороги. Тот же голос приказал слуге поспешить поправкой, чтобы скорее ехать вперед.

— Помилуйте, Любовь Андреевна, — вскрикнул другой женский голос, не перестававший лепетать ни на одно мгновение, — я говорила, что по эдакой дороге нельзя ехать. Песок, дождь, слякоть, ветер; мудрено ли, что карета изломалась. Я говорила, что лучше бы остаться нам за Черною; я говорила, что придется нам здесь маячить; так уж лучше хорошенько здесь отдохнуть и со светом пуститься в дорогу. Я говорю, что ночью худо починивать карету, когда ни зги не видно, а ветер задувает свечи даже в каретных фонарях. Я говорила, что это преставление света.

— Любезная Анисья Матвеевна, мы здесь ночевать не будем; вам же все равно в карете, — идет ли дождик, или светит месяц. Вы там сухи и спите, кажется, покойнее, нежели в постели.

— Господи боже мой! покойнее, нежели в постели! да вы спросите, — как у меня души не вытрясло из тела? Я говорила, что с вами не сговоришь. Говорила я, что эти молодые барыни не хотят слушать ни разума, ни совета; да, по крайней мере, отдохните и успокойтесь хоть минуту, а то я говорю вам, что вы приедете в Питер на себя не похожи.

— Я не устала и не хочу отдыхать, я спокойна только буду в Петербурге. Ложитесь вы и не сердитесь, когда разбуду вас чрез полчаса, — вероятно, карета в это время будет готова.

Толстая женщина лет сорока, довольно неприятного вида, вошла ко мне в комнату, ворча, со свечою. Я не намерен был уступать этой даме на полчаса постели и потому притворился сонным, избегая необходимости вставать, надевать сюртук, рассыпаться в учтивостях, тогда как мне покой был нужнее, чем тем, которые ехали в карете. Анисья Матвеевна подошла прямо к кровати; увидев меня, ахнула, перекрестилась с испугу, но, разглядев человеческий образ, начала употреблять воинские хитрости, чтобы выжить меня из позиции. Она говорила очень громко, кашляла, встряхивала перед моим носом свой салоп, так что брызги летели на меня, но ничто не помогало. Я лежал закрыв глаза. Я внутренне смеялся ее отчаянию.

Между тем другая дама вошла также в комнату и, увидя хлопоты своей спутницы, сказала ей потихоньку, что ей не для чего на полчаса беспокоить, вероятно усталого, проезжего и что ежели она хочет спать, то может лечь на софу.

Крикливая моя неприятельница удалилась к софе, бормоча, подложила себе разных свертков и узелков в голову, легла и, разговаривая и по временам повторяя: «Я говорила, я говорю», — заснула.

Пока она возилась, молодая приезжая дама стояла, оборотась к ней, и, наконец, когда та улеглась, взяла свечу и подошла к зеркалу, чтоб скинуть свою дорожную шляпу, чепец, и поправить — я не знаю что: женщины находят и в дороге средство заниматься своим туалетом, — я увидел в зеркале — боже мой, что я увидел! Черты такие, в какие всегда я облекал мою мечту, мой идеал красоты и прелести, который только что носился перед моими глазами! Когда она скинула чепец, густые кудри волос рассыпались по всему лицу, закрыли глаза и щеки; надобно было привести их в порядок: они уложены были за уши, и открытая физиономия показала мне лет двадцати двух женщину. Она была немного бледна — это могло быть с дороги, — впрочем, эта бледность была совершенно к лицу и задумчивому выражению глаз.

Локоны были убраны, свечка поставлена на стол, и молодая незнакомка начала ходить по комнате с сложенными руками и опущенною головою. Первый раз в моей жизни выражение женской физиономии сделало на меня такое впечатление. Со мною что-то случилось необыкновенное; я тысячу раз жалел, что не встал и не уступил места воркунье Анисье Матвеевне. Теперь, думал я, каким образом встать? как без замешательства явиться в полуодежде? как извиниться и к чему я теперь все это сделаю? — Все это было очень неловко, и я продолжал лежать с полузакрытыми глазами, боясь проронить малейшее движение милой путешественницы.

Она была в черном платье. Почему, думал я, это дорожное платье, но не вдова ли она? В эту самую минуту непослушные локоны рассыпались опять, и снова надобно было поправить их. Тут увидел я на левой ее руке одно только узенькое золотое кольцо — это верно вдова, сказал я сам себе.

На столе, куда она положила свою шляпу и чепец и теперь становила опять свечу, была открытая моя шкатулка; подле нее открытый Стерн, листок бумаги, исписанный и измаранный во всех направлениях, и, наконец, моя подорожная. Это обратило внимание незнакомки; она села — взглянула на книгу, на меня, потом взяла ее, посмотрела заглавие, бросила на меня любопытный взгляд, как бы желая узнать, — что это за оригинал, читающий такую старину? Я не изменял своей роли — лицо мое было полузакрыто рукою, чтобы ловче было видеть, не давая подозрения, что гляжу обоими глазами. И так она, придвинув к себе свечу, начала читать Стерна.

Стало быть, она знает по-англински?

Стерн открыт был на том самом месте, где я оставил чтение, заметив карандашом на поле: «ужасно!». Незнакомка поднесла книгу ближе к свечке, чтоб рассмотреть это замечание, оборотила листок и начала с описания скворца, который бился в клетке своей, повторяя слова: «я не могу вырваться, я не могу вырваться», и, наконец, дошла до картины узника. Я видел только в зеркало ее лицо и замечал, как мало-помалу выражение его помрачалось, как останавливались глаза, трепетали ресницы и две крупные слезы блеснули, отражаясь свечою; обе эти капли упали на книгу. Я видел, как незнакомка испугалась, вытирала эти капли платком и сушила их своим дыханием. С тех пор я не расстаюсь со Стерном!

Мне пришла в голову странная мысль. Я глядел в зеркало, как девушка на святках, гадающая о суженом, и видел там только лицо незнакомки. Что если эта мечта, этот видимый образ есть ответ на мое гаданье, если... если это моя суженая?..

Незнакомка положила книгу, оперлась головою на руку и печально смотрела перед собою; по временам наворачивались новые слезы. Измаранный лист лежал вместе с книгою, карандаш подле. Это, конечно, значило, что читавший марал его и делал заметки при чтении. Путешественница подвинула к себе в рассеянии листок, но, как бы опомнясь, поспешно положила опять на место. Не менее того, я заметил, что он обратил ее внимание. Я видел, как глаза ее перебежали с фигуры на фигуру, со строчки на строчку; кажется, она хотела убедиться в незначительности бумаги. Наконец, она

встала, взглянула на меня, прошла по комнате и, сев снова, взяла листок. На самом верху у меня было написано: «Узник Стерна еще ужаснее для того, кто читает его здесь, в Шлиссельбурге. Воображение этого писателя ничего не значит перед страшною истинною этих мрачных башен и подземельев!»

Кажется, эта простая фраза пробудила воспоминание, ибо дала понятие о том, что неясно представлялось воображению незнакомки. Она подняла голову, посмотрела рассеянно перед собою; и потом, как будто какая-нибудь идея подстрекнула ее любопытство, она быстро встала, подошла к окну, приложила обе руки к вискам, закрывая посторонний свет, и, как бы усиливаясь проникнуть мрак ночи, старалась разглядеть башни замка. Но там ветер и дождь увеличивали темноту осенней ночи; она отошла, сказав: «Боже мой, какая темнота!», опять села и потом, занятая своею мыслию, в рассеянии прибавила довольно громко: «Да это я слыхала!»

Лицо незнакомки было печально, она сидела, задумавшись, напоследок взяла опять измаранный лист, поворачивала его во все стороны, смотря по тому, как карикатуры, головки, цепи, набросанное изображение узника Стернова были нарисованы, и потом глаза ее остановились на следующем: «Мне никогда не было страшно собственное несчастье; свое горе я всегда переносил с твердостью, но чужих страданий не могу видеть: когда я их знаю, они становятся моими. Пусть делают со мною, что хотят, пусть бросают меня на край света, в самый темный угол на земле, но так как в этом мире нельзя сыскать такого места, где бы не было бога, где бы можно было отнять мою совесть, я буду спокоен сам за себя. Если же за мной останется какое-нибудь существо, чье счастье связано будет с моим, если я буду думать, что мое несчастье сделалось его злополучием; горесть его ляжет на мою душу, на совесть, и потому, нося в груди тайну, готовясь с разгадкой ее к новым несчастьям, я не могу — я не должен искать никакой взаимности в этом мире. Мне надобно отказаться от всякого счастья!..»

Незнакомка опустила лист, облокотилась и, казалось, размышляла о написанном.

Меня очень занимала эта немая сцена; при сцеплении обстоятельств самых обыкновенных она сделалась для меня совершенно романическою. Буря бушевала,

дождь стучал в деревянную крышу, в которой некоторые доски, давно оторванные ветром, хлопали непрерывно со ставнями, ветер завывал в щелях, так что пламя с свечи колебалось на все стороны, и между тем как хозяин и хозяйка в другой комнате спали крепким сном, прихрапывая под завывание бури, мы с незнакомкой бодрствовали; любопытство в сердцах обоих было возбуждено.

Развернутая подорожная была брошена прямо перед незнакомкою. Она обратила на нее взоры — слабый свет не позволял ей читать в таком отдалении. Любопытство и нерешимость боролись в ее прекрасных чертах. «Возьми, милая незнакомка,— думал я,— здесь твое сомнение не может тебя беспокоить: это официальная печатная бумага, которую читает каждый смотритель; почему же тебе не узнать моего имени!»... Она, конечно, думала то же, взяла подорожную, прочла мое имя и вдруг обернулась ко мне с видом какой-то неожиданности, как будто желая удостовериться в моем тождестве с написанным именем.

Рука моя была отнята от лица. Путешественница взяла свечу, начала осматривать картинки по стенам и всякий раз, когда полагала, что свеча выгодно освещает меня, поворачивала ко мне свое прекрасное личико; но неверный свет и отдаление мало ей помогали. Она желала увериться, сплю ли я, и потому, поставив свечу на стул так, чтоб лицо мое было освещено, начала ходить взад и вперед, шевеля стульями, ступая на те половицы, которые более скрипели,— я не просыпался. Казалось, она убедилась в моей летаргии — взяла опять свечу, подошла к картинке, висевшей у самой кровати, потом оборотилась ко мне и неожиданно встретила мой взор — я глядел на нее во все глаза.

Медузина голова, я думаю, не произвела бы подобного действия, незнакомка оцепенела: как рука ее вытянулась со свечою, как она начала поворот, как ротик ее открылся в изумлении, как она закрыла рукою свои глаза — все это так и осталось! Я не мог удержать усмешки, встал, взял из рук свечу и подвел незнакомку к оставленному стулу. Она села в совершенном замешательстве, с лицом, закрытым рукою. Я накинул сюртук и сел напротив. Восемь лет тому назад я еще не испытал тех несчастий, которые провели по лицу моему глубокие борозды, потушили огонь глаз, изредили

волосы, усыпав остальные сединою, и сделали стариком сорокалетнего человека, и потому не думал, что испугалась моего безобразия. Я видел, что ей совестно своего любопытства.

— Какая ужасная погода, сударыня,— сказал я, сам не зная, чем прервать это неприятное для нас положение.

— Извините, что я так неучтиво разбудила вас,— сказала незнакомка, не подымая на меня глаз.

— Но я совсем не спал, сударыня! — Я хотел этим ответом уменьшить вину, в которой она сознавалась, но увеличил ее замешательство: она покраснела, скоро поправилась и отвечала улыбаясь: «Так это значит, что вы подсматривали за беспечною женщиной, которая думала быть одна, или, что все равно, со спящим человеком».

— Я имел на то полное право; я боялся за свою собственность.— Я сказал это, указывая на карикатуры, намаранные по всему листу.

Незнакомка улыбнулась, подняла на меня свои большие глаза и сказала: «Это правда, тут видно и ваше душевное богатство и то, что вы не любите ни с кем делиться им». Она провела пальцем под строками последнего замечания на листе, где говорилось, что я не хочу делить ни с кем своих несчастий.

Я смешался в свою очередь, однако кое-как отвечал:

— Не верьте людям, сударыня: часто их богатство состоит только в пышных фразах. Я собственным опытом убежден, что часто человек, выдававший за час неизменным правилом свои слова, не в состоянии отвечать за себя, может ли повторить их теперь с тою же уверенностью.

Мы замолчали оба. В эту минуту вошел слуга путешественницы и сказал, что он только сейчас нашел кузнеца, который, осмотрев карету, обещался исправить ее через час.

— Я думала, ты пришел мне сказать, что карета уже готова.

— Если бы не эта погода, сударыня, конечно, мы бы уехали ранее; но ни один из этих мошенников ни за какие деньги не хочет разводить огня в кузнице. Этого одного только застал я за работой у горна.

— Хорошо, друг мой, постарайся же кончить скорее.— Слуга поклонился и ушел.

Это явление подало мне повод спросить у незнакомки, откуда она едет, и мало-помалу мы узнали друг о друге достаточно, чтобы разговаривать о Петербурге, дороге, погоде и тому подобном, перемешивая это, время от времени, новыми вопросами; наконец, через четверть часа я узнал, что прекрасная путешественница недавно овдовела, была замужем только два года, спешит из Ярославля в Петербург к своей матери и что говорливая спутница взята ею для компании в дороге. Доверенность некоторого рода установилась между нами. Незнакомка хотела всячески оправдать свое любопытство. Она рассказала мне, что знакома с моим другом В., который много говаривал обо мне, что она посещала некоторые дома, куда я также вхож, и что, наконец, мои литературные произведения были ей известны из альманахов и журналов. «Я была убеждена,— продолжала она,— прочитав ваше имя в подорожной, что вы тот самый, который написал об удовольствиях на море».

Нельзя было не согласиться с убеждениями прекрасной женщины, что мои добродетели, о которых ей говорили, и даже литературная известность возбудили ее любопытство. Не менее того, я благодарил ее, что она читала эти мелочи и помнила их. Это была большая редкость для женщин в том и в другом случае.

Между тем ветер ревел сильнее и пронзительнее, окна дрожали, в комнате было очень холодно, незнакомка куталась в свою шаль, но это не помогало; я, несмотря на то, что мало думал о тепле или холоде, начал вздрагивать; мне пришло в голову развести огонь на очаге, который выступал в нашу комнату; я сообщил свое намерение путешественнице, и она охотно согласилась со мною, что огонь в эту пору и в такую погоду очень кстати. Я вышел в комнату хозяйки, разбудил ее, объявил свое желание и после некоторых противоречий, что там никогда не разводят огня и проч., я велел мальчику, там спавшему, положить дров, открыть трубу и затопить. Все это было устроено, и в пять минут мы сидели с незнакомкой у небольшого огонька.

Здесь рассказал я, в свою очередь, почему ночью на станции: описывал бурю, дождь, холод, выгоды теплой комнаты и, очень естественно, кончил советом не ехать в такую дурную погоду; я думаю, продолжал я, что

Анисья Матвеевна говорила правду, советуя вам оставаться здесь ночевать.

— Она очень убедительно говорит, но я этого не могу сделать. По последнему письму, полученному от матушки, и по почерку руки я заключила, что она нездорова, и потому дорожу каждою минутой.

— В таком случае отдаю полную справедливость вашему желанию и отступаю от совета; но не менее того, кажется, я говорю справедливо: что плохой огонь в камине приятнее хорошего дождя в дороге.

— Не совсем, особенно при обстоятельствах, сопровождающих мою остановку. Это завывание ветра неприятно в самом деле: послушайте, как страшно гудит в этой трубе; в дороге слышишь только крапанье дождя в крышу кареты. При том же близость этих башен пробуждает какую-то тоску; я проезжала несколько раз Шлиссельбург, и никогда мне не приходило в голову слышанное прежде, что в этом замке есть много несчастных, томящихся в заключении, но теперь...— Она оглянулась на окно и, как будто боясь, чтобы ее кто-нибудь не подслушал, отодвинула стул свой. Это движение, удалив ее от окна, приблизило ко мне; она продолжала вполголоса: — Теперь я чувствую это соседство. Ваш листок, ваш Стерн вдруг развернули во мне воспоминание. Мне стало грустно, мне стало страшно! Здесь все располагает к каким-то грустным впечатлениям!.. Вы ничего не слыхали? — вдруг спросила меня, оторопев, незнакомка.

Мне показалось самому, что посреди рева стихий какой-то пискливый, жалобный голос простонал вблизи нас. Я прислушивался, но не слышал более ничего, кроме монотонного храпения хозяев, заглушаемого стуком кровли и барабанным боем дождя в окошки. «Это ветер,— сказал я,— переменяет свои аккорды в трубе и щелях!»

— Станется, а может быть, это дух какого-нибудь страдальца,— сказала шутливо незнакомка, стараясь ободриться от своего страха,— здешние ужасы действительнее радклиффовских.

— Вы конечно боитесь духов и привидений? — спросил я в том же тоне.

— Не умею вам отвечать на это; мне никогда не случалось испытать своей отважности, но я чрезвычайно люблю страшные повести, рассказы, даже сказки

о домовых и в это время чувствую какой-то страх, который не менее того мне приятен. Я не верю этим вещам по рассудку, но, получив с детских лет склонность к чудесному от моих тетушек и нянюшек, неохотно расстаюсь с верою моего воображения, которое часто заставляет забывать невозможность призраков и тому подобного. Вы, господа мужчины, по большей части не имеете предрассудков и не верите привидениям, но зато вы лишаете себя большого наслаждения при рассказах, которые иногда так приятно волнуют нашу душу!

— Мужчины гораздо больше имеют способов и случаев поверять свои впечатления и чувствования. Особенно военная служба приучает нас ко всем действительным и воображаемым ужасам. Со всем тем я знавал людей, достойных уважения по уму, храбрости и благоразумию, которые втайне жертвовали многим предрассудкам и вере в чудесное. Что касается собственно для меня, отец мой в малолетстве приучал меня ничего не бояться; сверх того, я тринадцати лет пошел в море и, следственно, должен был бросить все страхи, которые могли оставаться от детского возраста. В зрелых летах я имел случаи испытать, как неосновательны бывали слухи о чудесном, как они растут, переходя из рук в руки, и даже недавно обязанность по службе заставила меня выгонять домового из одного дома в том городе, где я жил.

— Выгонять домового по службе? Это очень странно, это очень любопытно. Если б я не боялась быть нескромною — впрочем, первый шаг к этому сделан, чтобы вы считали меня такою, — сказала она, краснея и улыбаясь, — я бы просила вас рассказать, как это случилось.

— Точно по службе, сударыня, и я охотно расскажу вам это, но только думаю, что рассказ человека, который сам не верит домовым, не доставит вам удовольствия. Вы любите впечатления чудесного: это впечатление может быть передано только тем, кто сам их ощущает. Мой рассказ будет прост.

— Нужды нет, лишь бы в происшествии было б что-нибудь неспроста.

Я положил в огонь дров, снял со свечи и шутя заметил незнакомке, что в самом деле наше положение, час ночи и все окружающие обстоятельства очень бла-

гоприятствовали страшным рассказам. Время от времени весь дом будто трясся от порывов ветра, иногда, напротив, несколько секунд слышны были даже удары маятника в деревянных часах, висевших на стене; потом буря ревела вновь и снова раздавался храп пьяного зрителя и тучной его половины. Затем я начал:

«В 1819 году, в Кронштадте, где я служил, разнеслись слухи, будто в квартире одного купца домовый начал беспокоить постояльцев. Сперва узнали об этом соседи, потом начали многие толковать о проказах домового; наконец, весь город был на ногах, и квартира купца оказалась сборным местом любопытного и праздного народа, который божился, что видел то, слышал другое и что домовый действительно завладел жилищем бедного купца. Всего страннее было, что этот домовый не походил на других: он делал все каверзы днем и показывал свои фокусы пред всею публикою, которая сбегалась с любопытством и разбегалась с ужасом и рассказами во все концы города о страшном духе и его шалостях. Квартира эта была в доме народного училища, где верхний этаж был занят школою; а внизу в одной половине жил учитель, другую занимал несчастный купец с своим семейством. Учитель, как ближайший сосед и как человек просвещенный, всех скорее и всех вернее мог исследовать причину несчастья купеческой квартиры и, вследствие собственного очевидного удостоверения, отпрапортовал в Петербург в Департамент народного просвещения, что на сих днях во вверенном ему доме училища завелся домовый, которого хотя он лично не видал, но шалости его так явны и беспокойны, что он решился, из опасения последствий, довести это до сведения высшего начальства и просить о помощи и покровительстве.

Пока рапорт ходил в Петербург, суматоха в доме увеличивалась. Сперва этот домовый, как и всякий другой из его собратий, довольствовался тем, что ночью сдергивал со всех одеяла или прятал платье хозяйки, щипал за нос и за бороду хозяина, сек розгами сына — лет одиннадцати мальчика и щекотал служанку — лет четырнадцати девочку, заставляя ее хохотать благим матом, и после пропадал с петухами; но это было вначале; потом ночь за ночью проказы его увеличивались, наконец, самый дневной свет и все петухи, которых у купчика было до десятка, не могли прогнать его.

Он кидал из-за темной перегородки поленьями, стучал в окошки, прижимал в дверях любопытных посетителей; сбивал с них шапки, насыпал песку в рукавицы. Иногда взорам изумленных прохожих представлялись чудесные явления: вдруг квашня, стоявшая на прилавке, начинала прыгать, качаться и со стуком падала на пол, и когда пугливые зрители отскакивали прочь от расплывшегося теста, у одного кафтан был прибит гвоздем к двери, у другого носовой платок, выскочив из кармана, взбирался по стене до потолка, будто живой. В другое время заслонка в русской печи дрожала, как в лихорадке, и под музыку ее дрожания горшок с кашею сам выдвигался из печи, каша высовывалась из горшка, а за нею вываливалось множество ложек. Такое страшное зрелище поражало ужасом всех присутствующих; все бросались вон, а домовой, как сказывали они после, провожал их камнями, песком, а что всего хуже: обморачивал так, что они никогда не могли попасть в настоящую дверь с первого раза, а если и попадали, то она захлопывалась сама собою и непременно придавливала беглеца.

Такие происшествия и толки народа дошли до полиции. Пристав той части отправился сам свидетельствовать с своею командою навожденный дом. Несколько человек смелых посетителей, которых не мог еще выгнать домовой и которые при всем страхе дожидались каких-нибудь новых ужасов, испугались полиции более, нежели духа, и убежали. Двери заперли, поставили часовых; в доме осталась одна хозяйка с семейством и частный с городским унтер-офицером. Частный важно сел в кресло и начал расспрашивать хозяйку.

— Расскажи мне, любезная,—сказал он суровым голосом,—что за проказы делаются у тебя в доме?

Хозяйка стояла перед ним, утирая передником заплаканные глаза: «Не знаю, батюшка, за что бог послал такое наказание нашему дому. Вот уже третьи сутки и днем не стало нам покоя: с утра до вечера плачу и не знаю, как пособить горю. Муж стал со страху пить пуще прежнего, ребятишки голодные от того, что с этим навождением — буди с нами крестная сила! — нельзя ни спечь, ни сварить. Добрые люди видят наше несчастье; чудеса да и только! Ты прибираешь здесь, а нечистый — господи, прости мое согрешение — работает по-своему там; ты пойдешь туда, а он очутится

здесь. Видимо делает, а видом не видать; ужас берет до чего-нибудь дотронуться: во всем его проклятая сила... Мати божия!..» Хозяйка остановилась и закрыла глаза передником, дрожа от страха, потому что в эту минуту, под самым потолком, над головою частного, слышалось шорканье кофейной мельницы. Пристав взглянул наверх и в ту же минуту закрыл также глаза: оттуда сыпался молотый кофе; шорканье перестало.

Хозяйка выглядывала из-за передника, городской неподвижно стоял у дверей, частный, побледнев, верно с досады, бросился на другой стул.

— Где же у тебя более всего беспокойно? — спросил он с приметным движением.

— Сказать не могу, батюшка; из всего дома гонит, но больше в двух комнатах: вот за этой перегородкой и там, в темной кухне.

— Надобно осмотреть это, Лоботрясов, — сказал частный городовому.

— Во власти вашей, — отвечал тот, — извольте осматривать.

Пристав хотел подняться со стула; хозяйка начала рассказывать разные подробности о проказах домового. Надобно было выслушать все обстоятельно, и всякий раз, когда частный пристав хотел вставать, являлись новые случаи страшнее первых и частный опять садился. Видно было, что желание исправности в исполнении долга боролось с желанием узнать все подробности дела. Хозяйка старалась всячески удовлетворить последнему и рассказывала истории одна другой ужаснее; время проходило, частный уже потерял охоту вставать; наконец, городской раскрыл свой безмолвный рот — «надобно осмотреть, ваше благородие», — сказал он.

— Осмотри, Лоботрясов.

— Да что же я без вашего благородия сделаю? Пожалуйте и вы; наше дело подвластное, мы не можем без командира.

— Да я должен выслушать от хозяйки еще кое-что, ведь это все к делу.

— Пора с рапортом, ваше благородие.

Частный встал нерешительно, велел Лоботрясову идти вперед; правая его рука что-то шевелилась за пазухою под мундиром; хозяйка сзади крестилась.

Дверь в роковую кухню была отворена, городской вошел довольно смело, обернулся на все стороны. «Ни-

чего нет, ваше благородие», — сказал он, выходя проворно из другой двери; частный вошел — и вдруг двери за ним запахнулись, слышно было, как он пыхтел, и чрез несколько секунд он выскочил из противоположных дверей весь обсыпанный мукою; маленький рогожный кулек висел у него сзади на пуговке, как ключ у камергера.

— Пойдем с рапортом, Лоботрясов, — вскрикнул частный и выбежал на улицу, но он неверно рассчитывал на свои силы: дошедши до дому, он сделался очень болен и должен был послать письменный рапорт к полицеймейстеру с городовым.

Итак, домовой продолжал свои шутки, слухи о том дошли до высших сословий общества; много порядочных людей шли осматривать навожденный дом. Инженерный полковник был из числа любопытных; с ним случилось едва ли не хуже, чем с приставом: домовой загонял его в темной кухне, и когда на жалобные стоны некоторые решительные люди осмелились посмотреть, что с ним сделалось, то увидели его на столе в углу: он держался или, лучше сказать, повис рукою на гвозде, вбитом в стену для маленького медного образа; одна нога была поднята, с другой стащена ботфорта до половины, обе шпоры были потеряны. Его насилу могли отцепить — так замерла рука, и это был новый, обращенный в бесовскую веру».

В эту минуту раздался громкий звук в другой комнате; незнакомка, слушавшая меня со вниманием, вздрогнула: «Что это?» — спросила она с беспокойством.

Я встал, заглянул в двери и отвечал: «Это хозяйка уронила с ноги туфлю, сколько я могу рассмотреть при нагоревшей свече. Она спит нераздетая на своей кровати». За этими словами последовал такой сильный порыв ветра, что весь дом затрясся; в то же время послышался опять глухой, жалобный и тонкий голос.

Незнакомка побледнела — глаза ее безмолвно спрашивали меня.

— Это ветер, это дух бури воев в трубе, — сказал я, смеючись, и сел, поправляя огонь.

— Мы часто в море, — продолжал я, — слышим музыку страшнее этой; снасти мачт в бурю представляют настоящую эолову арфу, рев ветра в толстые канаты

и свист его в тонкие веревочки составляют совершенную гармонию со скрипом корабля и шумом волн.

— В самом деле, я думаю, что это ветер,— отвечала она, оправляясь,— прошу вас — продолжайте вашу историю.

«Итак, домовый занимал весь город; одни рассказывали его чудеса, другие этому смеялись. В это время военный губернатор, вследствие учительского рапорта, о котором у нас никто и не знал, вдруг получил из Петербурга отношение, где спрашивалось, что такое сделалось с домом и какой домовый овладел им? Полицеймейстер был болен, один частный захворал, как я уже сказал, другой был в отлучке, а низшие чиновники решительно объявили, что они скорее оставят службу, чем будут принимать какие-нибудь меры против домового.

Губернатор прежде смеялся этой истории, но когда получил отношение, надобно было узнать обо всем подробнее. Мне случилось в то время быть при нем. Он позвал меня. Инженерный полковник и несколько полицейских офицеров были у него и с клятвою уверяли о достоверности случая; полковник рассказывал про свое несчастье.

Губернатор спросил меня, смеючись, не боюсь ли я чертей, и на мое отрицание велел мне выгнать из дому домового.

Я отправился осмотреть хорошенько дом и, когда пришел в купеческую квартиру, нашел там несколько посторонних и священника с причетом, которого хозяин решил позвать как последнее средство для изгнания нечистой силы.

Священник сидел, разговаривая о том; хозяйка перечисляла ему все обстоятельства, все случаи, прихожие подтверждали собственным свидетельством; дьячок зажег лампаду перед образом, налил воды в тарелку для окропления, поставил свечи; наложили углей в кадило, повешенное на гвозде подле стола, я замечал кругом.

Наконец священник приступил к служению молебна и начал словами: «Благослови, боже, нас всегда ныне и присно и во веки веков», но только он это выговорил, пламя в лампаде высоко поднялось и угасло с треском; священник остановился, приметно смешался, но велел зажечь ее снова и продолжал службу. Когда же между пения он произнес окончание молитвы «превеликое имя твое, спасе, на небеси одесную отца седящу

ти почитается, на земле же неизреченное твое воплощение ставится; во аде же сошествие бесы устрашает; от них же и нас избави Христе боже и спаси нас», дьячок в эту минуту, раздув угли, подал ему кадило, и только священник взял его в руки — вдруг оно вспыхнуло, будто порох, угли выбросило вон; на тарелку с водою посыпался песок, несколько поленьев полетело из-за перегородки в предстоящих — священник отскочил от ужаса...»

Вдруг из трубы нашего очага посыпался на огонь также песок; мы встали — я смотрел вверх... пронзительный визг раздался — и вдруг с шорохом и шумом что-то покатилося по трубе, упало на огонь и засыпало его; облако пыли и золы покрыло нас, угли разлетелись по комнате... Незнакомка вскрикнула и упала без чувств мне на грудь...

В первую минуту я не знал, что думать о случившемся, но через несколько мгновений увидел посреди кирпичей и соломы, в дыме курящихся головешек, стоящего аиста, чье гнездо я видел на трубе при въезде в Шлиссельбург. Анисья Матвеевна спросонья крестилась обеими руками, сидя в страхе на софе. Хозяйка прибежала, остановилась в дверях, раскрыв рот и размахнувши руками от удивления и ужаса. Я держал бесчувственную незнакомку в руках.

Сердце мое билось, сильно билось! Я потерялся совершенно; вместо того чтобы отнести незнакомку на кровать, сам не знаю, каким образом сел на стул и легонько опустил ее на колени. Голова ее лежала на моей груди, в которую какой-то электрический ток лился жгучими струями; я вдыхал в себя благовоние ее волос; чувства мои разделялись между состраданием и удовольствием... О, как милы трусливые женщины!

Я тер виски, легонько колотил по ладоням незнакомки, и прежде нежели хозяйка и Анисья Матвеевна опомнились — она пришла в себя.

Бледность обморока уступила место живой краске, когда она увидела свое положение и стоящих около нее женщин; я помог ей, когда она сделала движение встать; но в ту же минуту должен был посадить снова на стул. Глаза ее обратились на причину испуга, и она со страхом увидела огромную птицу, которая величественно посреди очага глядела с изумлением на около стоящих. Я объяснил ей, что гнездо, свитое над тру-

бою, не могло выдержать силы ветра и дождя и что бедная птица, обеспокоенная сверху бурею, снизу жаром и дымом, провалилась к нам сквозь широкую трубу.

Анисья Матвеевна начала ахать и рассказывать, что она говорила; хозяйка, ворча, хотела взять несчастного аиста и выбросить на улицу, но незнакомка заступилась. «Пусть он останется с нами,— сказала она,— если несчастье заставило его искать нашего покровительства».

Мало-помалу все пришло в старый порядок; Анисья Матвеевна дремала и бормотала, хозяйка ушла. Аист улегся на развалинах своего гнезда, мы с незнакомкою сидели подле стола молча; она не могла еще собрать рассеянных своих сил, я не хотел расстаться с приятным впечатлением.

— Ваш рассказ расположил меня к этому испугу,— сказала незнакомка нетвердым голосом, но стараясь победить свое замешательство.

— Я вполне виноват, сударыня, хотя, впрочем, нарочно так рассказывал, чтобы вы видели более смешную, нежели страшную сторону происшествия.

— Мое воображение забегает вперед вашего описания и видит только одни страхи. Но простите моему любопытству: чем же кончилось это происшествие?

Видно было, что незнакомка желала этого только для того, чтобы скрыть свое смущение, я, с своей стороны, потрясенный во всем составе, не в состоянии был рассказывать сколько-нибудь занимательно. Если незнакомка сделала на меня приятное впечатление до испуга, то этот аист расстроил меня совершенно. Даже и теперь я не могу думать об этом без душевного волнения. Я всегда был неловок с женщинами, а в то время все мои покушения поправиться оставались бесполезными. Я продолжал рассказ, сбивался и в коротких словах передал конец истории почти так:

«Священник не мог дослужить молебна и ушел в замешательстве. Я замечал все явления и ежели не совсем, то отчасти догадался о причине. Мне казалось, домовый — сама хозяйка, но как она отвечала только слезами на мои вопросы, то я захотел употребить к тому некоторое принуждение, я объявил хозяевам о приказании, мне данном, и вследствие того расположился у них в тесной квартире с десятью человеками матросов, будто бы для наблюдения за проказами нечистого.

Между тем запретил людям своим всякую обиду хозяевам; я велел им курить как можно более табаку, пить песни, пить вино и делать как можно более шуму. Завадев таким образом квартирою, я объявил хозяйке, что не выйду из дома до тех пор, пока не выживу домового. Военный народ, особенно если дашь ему свободу, едва ли не беспокойнее всякого демона, а потому через ночь, проведенную нами в мире и тишине с домовым, в тесноте, шуме и песнях с домашними, хозяйка пришла просить меня, чтоб я оставил ее в покое, и что, как ей кажется, шутки домового прекращаются. Я повторил приказание, данное мне начальством,— не оставлять до тех пор ее квартиры, пока не узнаю лично домового, и потому хозяйке оставался выбор или терпеть шум и толкотню от матросов, или признаться в своей комедии, и потому она, при помощи нескольких вопросов и убеждений с моей стороны, решилась на последнее и рассказала мне вот что:

Муж ее, довольно достаточный купец, выстроил себе новый дом, но по скупости, вместо того чтобы покойно жить в нем, оставался в тесной и сырой наемной квартире; сверх того, в нем увеличивалась охота к пьянству и бражничанию с подобными ему гуляками. Сколько хозяйка ни убеждала его перейти в новый дом и перестать пьянствовать, он не слушался и не унимался; тогда пришла ей мысль выжить его из квартиры и поугатать выдумкою домового. Несколько опытов было сделано: суеверный и напуганный купец объявил об этом всему гостинному двору, повторение жалоб его привело любопытных, и наконец хозяйке уже надобно было разыгрывать публично комедию, сочиненную для домашнего представления. Она показала мне все приемы, ею придуманные: они состояли в веревочках с крючками, продетых неприметно в разных местах двух темных комнат: кухни и отделения за перегородкою, откуда с высокого шкафа, промежду резных фигур переборки, помощники ее, сын и девочка служанка, сыпали кофе, порох, песок, бросали поленья и прочее. Все это было очень не замысловато; всего мудренее для меня казалось искусство, с каким двое детей помогали хитрой женщине, с каким притворством играли они роли свои и, наконец, легкое верие людей, позволявших себя обманывать грубыми и простыми средствами, которые приметны были при малейшем внимании.

Казалось в этом случае, что люди, приготовленные верою к чудесному, не хотели нарочно примечать обмана и желали видеть только то, что им нравилось. Даже когда я рассказывал полковнику и частному приставу, каким образом их легковерие было обмануто,— они качали головою и не могли спорить против очевидности, но все еще не расставались со своим убеждением и поговаривали после между собою, что я или хвастал, или сделал это неспроста».

Я рассказывал это очень неловко: повторял, забывал, в голове у меня вертелось совсем другое: мне все казалось, что душистые локоны незнакомки касаются моих губ,— и слова замирали на губах; что голова ее лежит на моей груди,— и дух у меня занимался; когда же она устремляла на меня из-под длинных ресниц свой задумчивый взор — я совсем терялся...

Мне казалось, что незнакомке было неловче моего, может быть, от той же причины, но что приносило удовольствие мне, то могло напомнить ей неприятное положение. Наш разговор был перерывчив и несвязен, учтивость с обеих сторон удвоилась, но не менее того я чувствовал, что эта учтивость не отзывалась холодною и, напротив, имела с ее стороны что-то обязательное.

Таким образом, прошло около получаса; мы мало-помалу начали было нападать на прежнюю дорогу, вдруг старый слуга незнакомки явился в дверях с докладом, что карета готова.

«Боже мой!» — вскрикнул я с невольною живостью. Незнакомка покраснела, потупила глаза, взяла свою шляпу, медленно надела перчатки и пошла будить спящую компаньонку. Я хотел говорить, вертел несколько фраз о том, с каким удовольствием провел это время, как оно пролетело и проч., и ничего не мог выговорить, одним словом, сцена происходила молча, я велел смотрителю запрягать моих лошадей.

Наконец, все было готово. Незнакомка видела мое замешательство и сказала мне тихим голосом:

— Благодарю вас за приятно проведенное время, за ваш рассказ. Извините, что я два раза потревожила вас и моим любопытством и моим глупым страхом.

Я комкал свою фуражку, не знал, что говорить, но помнится, будто с жаром сказал, что охотно отдал бы жизнь за эти беспокойства. Бывают со всяким челове-

ком глупые минуты, но не думаю, чтобы кто-нибудь в эти минуты мог быть столько глуп и неловок, как я! Я не подал ни салоп незнакомке, ни отстранился от Анисьи Матвеевны, которая, по своему обычаю, говорила и суежилась; я стоял как вкопанный и потом, вспомнив, что учтивость требует проводить незнакомку до кареты, бросился, как безумный, толкнул снова компаньонку и очутился опять пред незнакомкою, которая, дошед до порога, остановилась как бы в нерешимости, потом оборотилась ко мне и сказала:

— Когда возвратитесь в Петербург, мне приятно будет увидеть вас у себя, в дороге знакомство скоро делается, не правда ли, что мы уже знакомы? — продолжала она, сняв перчатку и подавая мне руку с улыбкой.

— Мне недоставало только видеть вас, чтобы познакомиться, — отвечал я, — есть люди, которых образ давно знаком нашей душе и воображению. — Я не смел сказать сердцу, хотя бы сказал справедливее.

— Итак, вот мое имя, — сказала она, вынимая из ридикюля письмо, с которого, сняв обертку, подала мне.

Сказав это, она спорхнула, как птичка, с крыльца и влетела в карету; ее рука едва касалась моей, когда я помогал ей садиться; я посадил также увесистую Анисью Матвеевну, которая бухнула подле нее, крепясь и проклиная дорогу, — и карета покатилась.

Ветер продувал, дождь лился на меня рекой, я стоял на крыльце, как будто мое тело потеряло способность двигаться без души, полетевшей за каретою.

Через четверть часа уехал и я.

В этот раз ни буря, ни дорога, ни толчки не могли остановить моего воображения.

Итак, вот женщина, которая впервые сделала на тебя такое впечатление! Вот осуществление идеала, созданного твоим воображением; того ли ты хотел? Да.

Итак, я поеду к ней — буду стараться заслужить взаимность, любовь, и если она даст мне руку, какое счастье! — как я обрадую матушку!..

Так мечтал я, забывая все на свете, — и действительно, я заранее был счастлив. Но вдруг мысль о превратностях судьбы, ожидающих меня в будущем, опрокинула все мои воздушные замки.

Рассудок говорил против, — вероломное сердце твердило за себя. Наконец рассудок восторжествовал: «Я не

поеду к ней — я не хочу ее сделать несчастною». Это было последнее мое решение — и я сдержал его!..

По возвращении в Петербург борьба с самим собою мне становилась тяжеле и тяжеле. Мать моя не переставала убеждать меня. Случай привел меня часто встречаться с милою путешественницею; в первый раз она сделала мне выговор, в последующие ни о чем более не упоминалось; но иногда я подстерегал какое-то вопросительное выражение ее глаз; это меня мучило — я любил ее, — что она должна была обо мне думать? Кто мог ей объяснить загадку моего поведения?..

Матушка моя осталась при своем желании, а я остался одиноким в этом мире!





МОИ ТЮРЬМЫ

Очерки и ответы 1869 года

I

БРАТЬЯ БЕСТУЖЕВЫ

(14 декабря. Дни предшествуемые. Быт в эти дни и место жительства?)

Нас было пять братьев, и все пятеро погибли в водовороте 14 декабря. Посвятим несколько строк для каждого из них для того, чтобы, хотя неудовлетворительно, ответить на ваши вопросы.

Старший брат, Николай, последнее время своей службы в Кронштадте жил вместе со мною и младшим братом Петром на казенной квартире, в доме, который впоследствии переделан для главного командира кронштадтского порта. Рядом с нами занимал комнаты капитан-лейтенант Павел Афанасьевич Дохтуров, а над нами была квартира Катерины Петровны Абросимовой, вдовы штурманского офицера. Я упоминаю о этих личностях потому, что первый играл незавидную роль при арестовании брата Николая на квартире второй личности, т. е. Абросимовой. Около этого времени генерал Леонтий Васильевич Спафарьев предложил брату принять должность помощника его, как директора всех маяков в Финском заливе. Брат изъявил согласие и должен был переехать в Петербург. Тут он поселился вместе с матушкою и сестрами, где и проживал до 14 декабря. Дом этот находился в 7-й линии Васильевского острова и принадлежал купцу Гурьеву. Из окон дома слева видна была церковь Андрея Первозванного, а напротив лабазы Андреевского рынка.

Наконец, наскучив возиться с устройством маячных ламп, рефлекторов, машин для вертящихся огней маяков, а главное со взбалмошным своим начальником,— он бросил эту должность и поступил историографом русского флота и начальником морского музея, находившегося в Адмиралтействе. Тут открылось обширное поприще для его умственной и технической деятельности, и надо сказать, что требовалось много энергии и силы воли, чтобы начать с пользой действовать в том хаосе, какой царил в архивах и модельных залах. В грудах, покрытых пылью и плесенью, лежали драгоценные манускрипты; в тетрадах, сшитых на живую нитку, автографов Петра Великого и прочих его деятелей недоставало многих листов, они были вырезаны, а чаще просто выдраны; в залах моделей, между дорогими и замечательными по отделке моделями, находились какие-то кораблики-игрушки и предметы, совершенно чуждые флоту. Все это составлено, свалено, скомкано без всякого толку. Двенадцать человек мастеровых занимались более деланием сундучков и баульчиков, чем моделями. Можно себе представить, как много и бесполезно было потеряно времени для этой черной работы, тогда как он обязан был, по званию историографа, представить на суд общества результаты своих исторических исследований. И я был свидетелем его моральной пытки, когда он несколько раз, исписав много листов, с досадой рвал их или по недостатку потерянных фактов, или после находки новых, изменявших сущность написанного им.

Он увидел себя в безвыходном положении... Ему оставался единственный выход — привести в порядок хаос архива, и он принялся за этот подвиг Геркулеса, очистившего конюшни царя Авгия от навоза, со всей энергией безотрадного положения. Он буквально проводил целые дни в пыльной атмосфере архива и выходил подышать свежим воздухом или в модельную залу, где водворялся порядок систематическою расстановкою в хронологическом порядке моделей, или в мастерскую, где пополнялись пробелы моделей мастеровыми, требовавшими его указаний.

По временам я его встречал у Рылеева, на обычных «русских завтраках», которые были постоянно около второго или третьего часа пополудни и на которые обыкновенно собирались многие литераторы и члены

нашего Общества. Завтрак неизменно состоял: из графина очищенного русского вина, нескольких кочней кислой капусты и ржаного хлеба. Да не покажется Вам странным такая спартанская обстановка завтрака, ежели взять в соображение, во-первых, потребность натуры брата Александра, требующей кислой пищи, на лишение коей так часто жаловался он на Кавказе, а во-вторых, что эта потребность гармонировала со всегдашнюю наклонностию Рылеева — налагать печать руссизма на свою жизнь.

Брат Александр, по обязанности адъютанта герцога Виртембергского, каждое утро должен был являться к нему, а через день оставаться там до вечера по обязанности дежурного адъютанта. Жил он с Рылеевым в доме, занимаемом директором Американской компании Прокофьевым, на Мойке, недалеко от Синего моста.

Иногда герцог увольнял его от своих обедов, и тогда он спешил на свои любимые «русские завтраки». Я тоже очень любил эти завтраки и, как только была возможность, я спешил отдохнуть там душою и сердцем, в дружной семье литераторов и поэтов, от убийственной шагистики, поглощавшей все мое утро до вечера.

Особенно врезался у меня в памяти один из них, на котором, в числе многих писателей, были Дельвиг, Ф. Глинка, Гнедич, Грибоедов и другие. Тут же присутствовал брат А. Пушкина, Лёв, которого брат Александр в насмешку называл «Блёв», намекая на его умеренное употребление бахусовой влаги. Помню, что он говорил наизусть много стихов своего брата, еще не напечатанных: прочитал превосходный разговор Тани с нянею, приведший в восторг слушателей.

Помню, как тут же брат Александр и Рылеев просили Льва Пушкина передать брату, не согласится ли он продать им каждый стих этого эпизода по пяти рублей для предполагаемой «Полярной Звездочки», что впоследствии было утверждено с согласия А. Пушкина.

Помню, как зашла речь о Жуковском и как многие жалели, что лавры на его челе начинают блекнуть в придворной атмосфере, как от сожаления, неприметно, перешли к шуткам на его счет. Ходя взад и вперед с сигарами, закусывая пластовой капустой, то там, то сям вырывались стихи с оттенками эпиграммы или сарказма, и наконец брат Александр, при шуме возгласов

и хохота, редижировал известную эпиграмму, приписанную впоследствии А. Пушкину:

Из савана оделся он в ливрею,
На пудру променял свой лавровый венец,
С указкой втерся во дворец;
И там, пред знатыми сгибая шею,
Он руку жмет камер-лакею...
«Бедный певец!...».

Брат Петр был нрава кроткого, флегматического и любивший до страсти чтение серьезных сочинений; постоянно молчаливый, был красноречив, когда удавалось его расшевелить, и тогда он говорил сжато, кратко и логично.

Он был адъютантом главного командира кронштадтского порта вице-адмирала Федора Васильевича Моллера и жил, до последнего времени, на квартире, которую занимал брат Николай.

В последнее время мы с ним редко виделись. Обязанности по службе и отсутствие матушки и сестер в Петербурге были тому причиною.

За пять дней до 14 декабря он приехал в Петербург, сопровождая жену Михаила Гавриловича Степового — Любовь Ивановну, и уехал обратно в Кронштадт, по нашему настоянию, за день до рокового дня.

Каково же было мое удивление, когда 13 декабря, быв на совещании у Рылеева, я, забежав навестить Ореста Сомова, больного и жившего в одном доме с Рылеевым, неожиданно увидел брата Петра у него. Он бросился ко мне на шею и умолял не говорить о своем возвращении старшим братьям.

— Они меня заставят снова уехать,— говорил он взволнованным голосом,— и я буду лишен завидной участи разделять опасность вашего славного предприятия.

Что было делать? Я согласился молчать,— и он явился на площади, только что я привел Московский полк.

Осужденный служить на Кавказе солдатом, он под ранцем выстрадал всю персидскую и турецкую кампанию, был ранен в левую руку при штурме Ахалцыха и потом сведен с ума в одной из кавказских крепостей, попав под начальство начальника этого укрепления — непроходимого бурбона, т. е. офицера из нижних чинов. Это вот как случилось... Генерал Раевский, бывший

член нашего Общества и прощенный государем за чистосердечное раскаяние, проживая, как начальник отряда, в Тифлисе, наполнил свой штаб большею частию из декабристов и ссыльных офицеров. Прочих, не бывших в его штабе, он ласково принимал в своем доме. Отставной флотский офицер фон-Дезин, муж премиленькой жены своей, воспитанницы Смольного монастыря и подружки одной из моих сестер, вышедшей с нею в тот же год, приревновал брата Александра и вместо того, чтобы расчитаться с братом, наговорил матушке при выходе из церкви дерзостей. Брат вызвал его на дуэль — он отказался.

Рылеев встретил его случайно на улице и, в ответ на его дерзости, исхлестал его глупую рожу кравашем, бывшим в его руке.

Этот-то субъект был назначен на Кавказ как чиновник-провиантмейстер и как-то, попав на вечер к Раевскому, увидел себя посреди декабристов. В паническом страхе за свою жизнь он на другой же день уехал без разрешения в Петербург, а там, чтоб как-нибудь оправдать свое безрассудство, подал государю донос, в котором представлял Раевского как изменника.

Гневный царь прислал строжайший выговор Раевскому, а главнокомандующему на Кавказе приказ: разослать всех окружающих Раевского и находящихся в Тифлисе декабристов по разным крепостям, с тем, чтобы их подвергнуть досконально шагистике.

Несчастная судьба Петра бросила его в лапы одного из тех животных, которые носят название «бурбонов». В кавказские жары, в полной амуниции, под ружьем в раненой руке, он его в три месяца доконал. Все усилия братьев Александра и Павла возратить ему рассудок остались тщетны. Попытки матушки, испрашивавшей милостивого разрешения о позволении взять его к себе и лечить, пока это было возможно, остались без ответа, и, наконец, его прислали к ней в деревню в окончательном сумасшествии, которым он мучил и мать и сестер целые семь лет. Болезнь доросла до ужасающих симптомов. Опасение за его, за собственную их жизнь, опасение сгореть в пожаре дома, что повторялось несколько раз, — заставило мать обратиться к начальнику штаба жандармов Бенкендорфу с покорнейшею просьбою: поместить брата Петра в заведение умалишенных герцога, бывшее на 5-й версте от столицы по

петергофской дороге. Бенкендорф доложил об этом царю. И если бы это не был факт — поверит ли будущее поколение, чтобы властитель семидесяти миллионов дал такого рода резолюцию: «В просьбе отказать, так как это заведение очень близко от столицы». Впоследствии подведомственные агенты правительства, устыдясь бессмысленности такой резолюции, дали позволение матери поместить брата Петра в это заведение. Он был там помещен и через три месяца умер.

Брат Павел воспитывался в артиллерийском училище. В последнее время он был в офицерском классе и готовился, по выдержании экзамена, поступить в гвардейскую конную артиллерию. На другой день 14 числа великий князь Михаил во время парадного выхода обнял его, поцеловал и сказал:

— Для меня — ты не брат бунтовщиков. Я тебя знаю как хорошего офицера и постараюсь забыть, что ты называешься Бестужевым.

Это было лобзание Иуды... Присутствие брата Бестужевых посреди лихорадочно потрясенной 14-м декабря молодежи было опасно. Великий князь понимал, что эта закваска рано или поздно приведет все тесто в брожение, и он изыскивал все средства выбросить эту закваску. Случай представился к его услугам. В день коронации столица была иллюминирована, были различные транспаранты, и перед одним из них, дышащим верно-подданныческим выражением чувств, собралась толпа, и из среды ее послышались едкие эпиграммы. Произшел скандал. Нашлись благожелатели, которые донесли, что начинщиком он его был П. Бестужев, во главе офицерского класса артиллерийского училища. Назначено строжайшее следствие, и оказалось, что брат был не причастен к этому делу. На этот раз гроза его миновала, но ненадолго.

Несколько месяцев спустя великий князь Михаил Павлович, пробегаая по офицерским дортуарам, увидел развернутую книгу на одном из столиков, помещавшихся между двумя кроватями. Он схватывает книгу — то была «Полярная Звезда». Смотрит, на чем она была развернута, — это была «Исповедь Наливайки».

— Кто здесь спит? — спросил он гневно, указав на одну из кроватей.

— Бестужев, ваше высочество! — отвечали ему.

— Арестовать его!..

И началось новое следствие, и несмотря на то, что и в этом казусе он был совершенно не виноват, потому что по следствию оказалось, что книга принадлежала и была читана товарищем его, спавшим на кровати по другую сторону стола. Но ясно было видно намерение правительства так или сяк удалить брата из училища. Эту скрытую идею, облеченную мраком формальностей суда, брат Павел вывел на свежую воду в своем ответе великому князю Михаилу, когда тот убеждал его сознаться в виновности.

— Ваше высочество, я сознаюсь! я кругом виноват, я должен быть наказан, потому что я — брат моих братьев.

Матушка написала к государю просьбу и умоляла не лишать ее последней подпоры в старости. Илья Бибикив приехал к ней от великого князя для ее успокоения и передачи слов государя: что сыну ее будет легкое отеческое наказание, после которого он будет по-прежнему служить.

— Со своей стороны, полковник, и я прошу вас передать государю мои слова: за что сын мой должен быть наказан по делу, в котором он не причастен? Да, наконец, если бы суд и нашел и уличил, что он читал «Полярную Звезду», то можно ли наказывать человека за чтение книги, одобренной цензурою и за которую издатели получили от августейшего семейства царские подарки? Вы, полковник, дадите мне слово передать это государю.

— Будьте уверены, я исполню вашу просьбу, — отвечал благородный, прямой Бибикив.

И он точно это исполнил, а бедный брат все-таки обречен был искупить роковое имя Бестужевых. Он просидел около года в Бобруйской крепости и потом, точно по словам милосердного царя, был выпущен на службу, но спросите — куда?.. На Кавказ в <Бобруйск>, где гарнизон постоянно вымирал, в трехлетнюю службу, и куда Ермолов ссылал тех офицеров, которые по суду должны были идти или в Сибирь, или под солдатскую лямку. Тут он нахлебался всех кавказских наслаждений в виде лихорадок, завалов желудка, расстройства печени и проч. и проч. и, протаскавшись с этими подругами его боевой жизни обе кампании, персидскую и турецкую, он вышел в отставку с аннинским крестом вместо просимых им денег за изобретение

прицела к пушкам, который введен был во всей артиллерии под названием «Бестужевского прицела».

В Петербурге великий князь почувствовал, вероятно, некое угрызение совести и предложил брату, через Ростовцева, должность старшего адъютанта при главном управлении военно-учебных заведений. Брат принял предложение, прослужил там года три и снова вышел в отставку, поехал в Москву и там женился на богатой наследнице, единственной дочери владимирского помещика Евграфа Васильевича Трегубова, старосветского русского барина, с замашками аристократа и со страстию к рифмоплетству, похожую на хвостовскую. К его кавказским гостинцам присоединились тяжелые труды по устройству расстроенного имения. Он заболел и умер через шесть недель после смерти матушки, последовавшей 27 октября 1846 г., скоронив до своей кончины единственного своего сына Александра.

Отец его жены умер несколько месяцев после, а жена его через три или четыре года вышла замуж за артиллерийского офицера Мыльникова, имела от него трех малюток и вскоре умерла.

Теперь очередь дошла до меня.

Но что я могу прибавить после того, что я писал Вам и изустно беседовал о себе? Постараюсь пополнить пробелы, ускользнувшие из моей памяти.

Видя воочию совершавшееся систематическое разрушение нашего флота под управлением французского министра (маркиза де-Траверсе), а потом немецкого (Антоня Васильевича Моллера) и будучи лично оскорблен вопиющею несправедливостью в деле проекта К. П. Торсона о преобразовании флота, я невольно проникся чувством омерзения к морской службе и, заглушив мою страсть к морю, искал случая сокрыть свою голову где бы то ни было. Дела нашего Общества близились к окончательным результатам. Брат Александр, которому я исповедал состояние моей души, предложил мне перейти на службу в гвардию, объяснив мне, что мое присутствие в полках гвардии может быть будет полезно для нашего дела,—я согласился. Он, будучи в дружеских отношениях с Ильею Гавриловичем Бибиковым, членом нашего Общества, адъютантом великого князя Михаила, который его уважал и любил,—взялся за перевод. Великий князь, ценя его ходатайство, захотел ознаменовать свое к нему расположение особенною ми-

лостью и перевел меня в Московский полк, коего он был шефом. Приказ о моем переводе был получен мною накануне представления в Кронштадте комедии Коцебу «Пажеские шутки», в которой роль колченогого солдата играл я. Вы вправе спросить меня: какой это театр. Этот театр был устроен и управляем братом Петром и в шутку названный Петрозаводским. Он, следуя за примером брата Николая, устроившего во время его кронштадтской службы прекрасный театр, где он был и директор, и костюмист, и режиссер, и главный актер, и за примером вашего покорнейшего слуги, устроившего точно в тех же условиях театр в Архангельске,— брат Петр, говорю я, аранжировал премиленький театр, и представления шли с блестящим успехом. Он, зная мои сценические таланты, упросил взять вышеупомянутую роль, и когда комедия выдержала все репетиции и была назначена к представлению, я должен был ехать в Петербург. Всем, включая и себя, нам было крайне это неприятно, но что ж делать?.. Я написал ко всему лику актеров следующую эпистолу: «С прискорбием извещая о постигшей кончине моего сценического поприща, по случаю перевода моего в гвардию, прошу почтить последние минуты моего отъезда и с бокалом в руке пожелать мне на том свете быть столь же счастливым, как я был с вами на этом».

В полку меня встретили неприязненно все те, которым я, как первый поручик, сел на голову; зато со старшими я жил в ладах, сблизившись с ними у Александра П. Корнилова задолго до моего перевода. Захватив сильную простуду на учење в манеже, я переехал от матушки к Рылееву и брату Александру и там проболел месяца четыре.

В пароксизмах лихорадки мне, как в калейдоскопе, являлись и исчезали лица литераторов и поэтов, поодиночке и группами, говорящих, смеющихся, спорящих или читающих стихи или прозу, как это обыкновенно происходило на «русских завтраках» или за вечерним чаем. О политике редко заходила речь; о делах нашего Общества — никогда. Об этом предмете мы толковали поздними вечерами, когда оставались только члены нашего Общества.

По принятии мною роты от капитана Мартьянова я должен был переехать на казенную квартиру в Московские казармы, где и оставался до 14 декабря.

Вначале с ротою мне было немало хлопот. Мой предместник — славный фрунтовик и до костей пропитанный тогдашнею системою командования, — был жесток с солдатами и даже на учении их бил шомполами. Желая поставить роту на иных принципах, я с первого же дня уничтожил употребление не только шомполов, но даже палок и розог. Вы сами служили и знаете натуру русского солдата. Они меня не поняли и приняли мое гуманное с ними обращение за слабость. Но, слава богу, после нескольких случаев недоумения все обошлось как нельзя к лучшему, я заслужил их любовь и доверенность. Судились и наказывались они своим судом, и в штрафную книгу ни одного солдата не было записано, — так что я даже имел удовольствие заслужить строгий выговор от великого князя за потворство к подчиненным. Не в похвальбу себе я вам пишу об этом, а чтобы объяснить: каким образом я имел возможность через преданных мне душою солдат приготовить полк к восстанию, когда ни один из ротных офицеров не были членами и когда солдаты всех полков были под аргусовыми очами лазутчиков и шпионов.

<11 декабря.> В последние дни перед 14 декабря все остававшееся от ротных учений время было поглощено приготовлением солдат и беседе с ротными командирами, так что я только урывками мог забегать к Рылееву и брату Александру, чтоб сообщить им результаты своих действий.

В пятницу, т. е. 11 декабря, наш батальон вступил в караулы по I отделению, и я с ротою был назначен на главную гауптвахту в Зимний дворец.

При смене караульный капитан передал мне секретное приказание великого князя Николая Павловича: «Начиная от вечерней зари до утренней приводить часовых к покоям его высочества лично самому капитану». Во втором часу ночи, прошедши с часовым длинный темный коридор, освещенный одною только лампою, я остановился пред дверьми спальни его высочества, — часовые, один, сходя с круглого матика, а другой, вступая на него, впотьмах нечаянно скрестились ружьями, и железо курков резко звякнуло. Почти в то же мгновение полуотворилась дверь и в отверстие показалось бледное, испуганное лицо великого князя.

— Что это значит? Что случилось? Кто тут? — спрашивал он дрожащим голосом.

— Караульный капитан, ваше высочество,— отвечал я.

— А, это ты, Бестужев! Что ж там такое?

— Ничего, ваше высочество, часовые при смене сцепились ружьями...

— И только?.. Ну, если что случится, то ты дай мне тотчас знать,— и он скрылся.

Это, по-видимому, ничтожное обстоятельство глубоко врезалось в его душу, что можно было заметить при личных его допросах, когда он несколько раз обращался ко мне с желчными упреками и когда вскоре после 14 он составил дворцовую роту для охранения его особы более надежною стражею.

<12 декабря.> В субботу матушка и сестры приехали из деревни. Только поздним вечером мне удалось обнять их. Матушка просила меня заехать к брату Александру и сказать ему, чтоб приезжал в воскресенье к ним обедать, так как все братья налицо в Петербурге и она хочет видеть всех. У него я застал многих из нашего Общества и пробыл тут далеко за полночь.

<13 декабря.> На другой день я был назначен дежурным по караулам второго отделения, но, несмотря на это, я приехал к обеду, и мы все пятеро сели за стол с тремя сестрами и матушкою посредине. Старушка со слезами на глазах благодарила бога за его неизреченную милость, даровавшую благо свидеться после долгой разлуки со всеми ее сыновьями и видеть всех нас вступившими на блестящий путь будущности. С мрачными думами сидели мы, опустив головы, и, украдкой перебрасываясь взглядами, старались улыбаться, когда она, любуясь нами, осыпала нас своими материнскими ласками.

Несчастливая мать!.. Могла ли она предвидеть, что не пройдет и суток, как ее золотые сны сменятся горестною действительностью!..

Мне должно было уехать для осмотра караулов. Я простился с матушкою и сестрами, не зная, увижусь ли я когда с ними.

Заклучив объезд теми караулами, которые занимала одна из рот нашего полка, во-первых, чтобы узнать, не воротился ли Михаил Павлович, а во-вторых, чтоб сообщить караульным офицерам распоряжение, вследствие которого они должны были по смене с караула —

если уже полка не найдут в казармах — вести солдат прямо на Сенатскую площадь, я, будучи близко от дома вице-адмирала М<ихайловского>, захал тоже навсегда проститься с хозяевами, а главное со старшею дочерью, которая мне очень нравилась и которая страстно меня любила. У них я нашел многочисленное общество; молодежь танцевала под фортепиано. Хозяева играли в карты, дочка танцевала. Я решился уехать потихоньку и для того вышел в столовую, где оставил шарф и кивер. Когда я в лихорадочном волнении тщетно старался застегнуть крючки шарфа, Анета подкралась и застегнула крючки. Я обнял ее, поцеловал в лоб и промолвил: «Прощай, мой друг!..».

Но, видно, и голос и лицо мое говорили то, что она давно предчувствовала и что ей сообщили другие гвардейские офицеры, как слухи о предполагаемом бунте.

Она затряслась всем телом, побледнела как полотно, и упала к ногам моим без чувств. Поднять ее, положить на диван и сдать на руки ее няне было дело одной минуты. Я спешил, чтобы не быть свидетелем суматохи, поднявшейся в доме. Несчастная девушка! она отгадала, что я прощался с нею навеки...

Заехав в полк, я взял с собою князя Щепина-Ростовского и поспешил к Рылееву. Ночь я провел с ним, укрощая его лихорадочно-напряженное состояние и боясь оставить его одного из опасения, чтоб он не наделал чего-либо преждевременно.

Что было после, я когда-нибудь сообщу вам, если вы пожелаете, а теперь, ответив на ваш вопрос, перейду к другим.

II

14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА

Перемещение мое из казарм Московского полка в Петропавловскую крепость было последнее.

Шумно и бурливо совещание накануне 14 в квартире Рылеева. Многолюдное собрание было в каком-то лихорадочно-высоконастроенном состоянии. Тут слышались отчаянные фразы, неудобоисполнимые предложения и распоряжения, слова без дел, за которые многие дорого заплатились, не будучи виноваты ни в чем, ни перед кем. Чаще других слышались хвастливые воз-

гласы Якубовича и Щепина-Ростовского. Первый был храбрый офицер, но хвастун и сам трубил о своих подвигах на Кавказе. Но недаром сказано: кто про свои дела твердит всем без умолку — в том мало очень толку, и это он доказал 14 декабря на Сенатской площади. Храбрость солдата и храбрость заговорщика не одно и то же. В первом случае — даже при неудаче — его ждет почесть и награды, тогда как в последнем при удаче ему предстоит туманная будущность, а при проигрыше дела — верный позор и бесславная смерть. Щепина-Ростовского, хотя он не был членом Общества, я нарочно привел на это совещание, чтобы посмотреть, не попятится ли он. Будучи наэлектризован мною, может быть чрез меру, и чувствуя непреодолимую силу, влекущую его в водоворот, — бил руками и ногами и старался как бы заглушить и отуманить рассудок всплеском воды и брызгами.

Зато, как прекрасен был в этот вечер Рылеев! Он был нехорош собою, говорил просто, но не гладко; но когда он попадал на свою любимую тему — на любовь к родине, — физиогномия его оживлялась, черные, как смоль, глаза озарялись неземным светом, речь текла плавно, как огненная лава, и тогда, бывало, не устанешь любоваться им¹.

Так и в этот роковой вечер, решавший туманный вопрос: «To be or not to be»², его лик, как луна бледный, но озаренный каким-то сверхъестественным светом, то появлялся, то исчезал в бурных волнах этого моря, кипящего различными страстями и побуждениями. Я любовался им, сидя в стороне, подле Сутгофа, с которым мы беседовали, поверяя друг другу свои заветные мысли. К нам подошел Рылеев и, взяв обеими своими руками руку каждого из нас, сказал:

¹ И этого-то человека сумели загрязнить трусостью?! В записках декабристов помещено описание 14 декабря И. И. Пущина. Этот небольшой отрывочек, вероятно, прошел через руки какого-нибудь верноподданного, прежде нежели он был напечатан Герценом, и, вероятно, эта фраза вставная (стр. 148). То же можно сказать и об отзыве про брата Александра и про Сутгофа и Панова (стр. 155). Точно так же показано ложно о Трубецком, будто бы находившемся на площади в свите императора (стр. 159). Промахи ли они, или умышленные вставки, — не знаю. Опровергать их я не намерен, но они будут опровергнуты моим правдивым описанием.

² Быть или не быть (англ.).

— Мир вам, люди дела, а не слова! Вы не беснуетесь, как Щепин или Якубович, но уверен, что сделаете свое дело. Мы...

Я прервал его:

— Мне крайне подозрительны эти бравады и хвастливые выходы, особенно Якубовича. Вы поручили ему поднять артиллеристов и Измайловский полк, прийти с ними ко мне и тогда уже вести всех на площадь к Сенату — поверь мне, он этого не исполнит, а ежели и исполнит, то промедление в то время, когда энтузиазм солдат возбужден, может повредить успеху или совсем его испортить.

— Как можно предполагать, чтобы храбрый кавказец?..

— Но храбрость солдата не то, что храбрость заговорщика, а он достаточно умен, чтоб понять это различие. Одним словом, я приведу полк, постараюсь не допустить его до присяги, а другие полки пусть присоединяются со мною на площади.

— Солдаты твоей роты, я знаю, пойдут за тобою в огонь и в воду, но прочие роты? — спросил, немного подумав, Рылеев.

— В последние два дни солдаты мои усердно работали в других ротах, а ротные командиры дали мне честное слово не останавливать своих солдат, ежели они пойдут с моими. Ротных командиров я убедил не идти на площадь и не увеличивать понапрасну число жертв.

— А что скажете вы, — сказал Рылеев, обратившись к Сутгофу.

— Повторю то же, что вам сказал Бестужев, — отвечал Сутгоф. — Я приведу <свою роту> на площадь, когда соберется туда хоть часть войска.

— А прочие роты? — спросил Рылеев.

— Может быть и прочие последуют за моею, но за них я не могу ручаться.

Это были последние слова, которыми мы обменялись на этом свете с Рылеевым. Было близко полуночи, когда мы его оставили, и я спешил домой, чтобы быть готовому к роковому завтрашнему дню и подкрепить ослабшие от напряженной деятельности силы хоть несколькими часами сна. Но вышло не так. Вечно без толку кипящая натура Щепина вдруг окунулась в сферу ей неведомую, бурливое волнение которой еще более ее вскипятило. Не понимая, что дело шло совсем не

отом, чтобы иметь царем Константина или Николая,— он за Константина выкрикивал самые отчаянные фразы и следственною комиссиею был помещен в число самых отчаянных членов нашего Общества, тогда как даже о существовании Общества он ничего не знал. Видя его восторженное состояние, я раскаялся, что напустил чересчур много пару в эту машину, и, страшась, чтобы не лопнул паровик, решился провести ночь у него, наблюдая по временам открывать предохранительные клапаны. Не стану описывать эту ночь, его беснования и мои усилия укротить их. Наконец, наступил рассвет, и нас потребовали к полковому командиру генералу Фридриксу, где мы нашли капитана Корнилова (старшего брата Севастопольского героя). Когда Фридрикс прочитал нам отречение Константина и манифест Николая, я, наблюдавший Корнилова, заметил, что его пунцовое лицо подернулось бледностью. Неожиданное отречение Константина его поразило до такой степени, что он вышел шатаясь от генерала. Сходя по лестнице, ведущей в бельэтаж Фридрикса, я остановил Корнилова и спросил:

— Ну! как теперь ты намерен действовать?

— Я не могу действовать с вами и беру свое слово назад.

— Но ты позабыл одно условие,— возразил я, показав ему ручку пистолета, спрятанного в рукаве шинели.

— Ну, что ж — убей меня! Я лучше соглашусь умереть, нежели участвовать в незаконном предприятии!

— Нет, для чего же умирать, живи, но не мешай солдатам твоей роты идти с моими, ежели они пойдут на площадь.

— Обещаю,— заключил он, и сдержал свое слово.

Чтоб прояснить темноту вышеприведенного разговора, скажу несколько слов. Корнилов был отличный человек во всех отношениях: образованный, добрый и славный товарищ, но помешался на политике и считал непреложными свои глубоко-непреложные соображения. По этим соображениям он считал немислимым отречение Константина, когда вся Россия ему присягнула. Он охотно согласился действовать вместе со мною, и когда я ему заметил:

— Ну, а ежели Константин откажется?

— Тогда я позволю тебе застрелить меня, но не присягну другому.

Глубокий политик попался, как кур во щи.

Пришедши к себе на квартиру, я нашел там брата Александра, с нетерпением дожидавшего меня.

— Где же Якубович? — спросил я.

— Якубович остался на своей квартире обдумывать, как бы похрабрее изменить нам. На все мои убеждения ехать к артиллеристам и измайловцам он упорно повторял:

— Вы затеяли дело несбыточное — вы не знаете русского солдата, как знаю я.

— Итак, надежда на артиллерию и прочие полки исчезла, — сказал я чуть не со слезами на глазах. — Ну, видно, богу так угодно. Медлить нечего, пойдем в полк — я поведу его на площадь.

— Погодим, — сказал брат. — Вчера Рылеев крепко сомневался в хвастливых выходках Якубовича и обещал мне поехать к артиллеристам, измайловцам, семеновцам и егерям и привести их сюда.

— Нет, брат, — промедление погубит дело. Пойдем и уведем полк до присяги.

Брат послушался меня — мы пошли. Брат говорил солдатам, что он адъютант императора Константина, что его задержали на дороге в Петербург и хотят заставить гвардию присягнуть Николаю и пр. и пр. Солдаты отвечали в один голос:

— Не хотим Николая — ура, Константин!!

Брат пошел в другие роты, а я, раздав боевые патроны, выстроил свою роту на дворе и, разослав своих надежных агентов в другие роты, чтобы брали с собою боевые патроны, выходили и присоединялись к нам, с барабанным боем вышел на главный двор, куда выносили уже налож для присяги. Знамена уже были принесены, и знаменные ряды солдат ожидали нашего появления на большом дворе, чтоб со знаменами примкнуть к идущим на площадь ротам. Щепин выстроил свою роту позади моей; позади нас образовалась нестройная толпа солдат, выбегающих из своих рот. Не было никакой возможности построить их даже в густую колонну, к тому же мы боялись терять время, и я двинулся вперед со своею ротою. Когда мы подходили к своду ворот, где находился выход из учебной залы, куда принесены были знамена, — они показались в со-

провождении знаменных рядов. Знамя моего батальона примкнуло к голове моей роты, а другое пронесли далее, чтобы примкнуть к ротам, принадлежащим их батальону. Это обстоятельство было причиною беспорядочной свалки, которая остановила движение полка и чуть не вовсе испортила дело, так хорошо начавшееся. Нестройная толпа солдат прочих рот, полагая, что знамя несли к налою, около которого строились уже москвичи, не согласившиеся идти с нами, бросилась на знаменный ряд с намерением отнять у них знамя. Началась борьба, беспутная свалка разрасталась от недоумения; каждая сторона думала видеть в другой своего врага, тогда как обе стороны были наши.

Вышедши из казарм, я уже переходил по мосту Фонтанку, как ко мне подбежал унтер-офицер роты Щепина.

— Ваше высокоблагородие,— говорил он, задыхаясь от изнеможения,— ради бога воротитесь, уймите, уймите свалку...

— Да где же ваша рота? Где князь? — спрашивал я, остановя своих солдат.

— Где, ваше высокоблагородие? Вестимо там, на дворе.

— Да что ж они там делают?

— Да, бестолковые, дерутся за знамя.

— А князь-то ваш, что ж он не уймет их?

— Да что князь... рубит направо и налево чужих и своих. Ефрейтора Федорова, своей роты — поранил руку.

— Правое плечо вперед,— скомандовал я,— марш! Пойдемте, ребята, помирим их...

Мы вошли на двор другими воротами, немного позади волнующейся толпы, залившей почти весь двор. Знамя то исчезало, то снова всплывало над колеблющимися султанами и штыками солдат. Казалось, не было никакой возможности, окунувшись в это ярящееся море, добраться до знамени, до причины раздора.

Но так или иначе, а действовать было надо.

— Ребята, сомкни ряды,— закричал я своим,— держись плотно один к другому.

Слитые как бы в одну массу, мои солдаты врезались в середину толпы и подвигались безостановочно вперед, разбрызгивая по сторонам отдельно волнующиеся массы солдат.

— Смирно,— скомандовал я, достигши знамени.

Разгоряченные солдаты затихли, опустив ружья к ноге. Я подошел к Щепину <и> взял знамя из рук знаменосца.

— Князь — вот ваше знамя, ведите солдат на площадь.

— Ребята, за мной,— завопил неистово Щепин, и вся эта за минуту бурливая масса, готовая резать друг друга, как один человек двинулась за ворота казарм и затопила Гороховую улицу во всю ширину.

При нашем выходе из казарм мы увидели брата Александра. Он стоял подле генерала Фридрикса и убеждал его удалиться. Видя, что его убеждения тщетны, он распахнул шинель и показал ему пистолет. Фридрикс отскочил влево и наткнулся на Щепина, который так ловко рубнул его своею острою саблею, что он упал на землю. Подходя к своду выхода, Щепин подбежал к генералу бригадному Шеншину, уговаривавшему отдельную кучку непокорных, и обработал его подобно Фридриксу. Под сводом выхода полковник Хвошинский стоял с поднятыми вверх руками, крича солдатам воротиться. Щепин замахнулся на него саблею, Хвошинский побежал прочь, согнувшись в дугу от страха, и Щепин имел только возможность вытянуть ему вдоль спины сильный удар саблею плашмя, Хвошинский отчаянным голосом кричал, убегая:

— Умираю! умираю!

Солдаты помирали со смеху.

Проходя по Гороховой улице, мимо квартиры, занимаемой Якубовичем, мы увидели его, сбегающего торопливо по лестнице на улицу к нам.

— Что бы это значило? — проговорил брат Александр.— Впрочем, надо испытать его...

Якубович, с саблею наголо, на острие которой красовалась его шляпа с белым пером, пошел впереди нас с восторженными криками:

— Ура! Константин!

— По праву храброго кавказца, прими начальство над войсками.

— Да для чего эти церемонии,— сказал он в смущении. Потом, подумавши немного, прибавил:

— Ну, хорошо, я согласен.

Вышедши на Сенатскую площадь, мы ее нашли совершенно пустою.

— Что? имею ли я теперь право повторить тебе, что вы затеяли дело неудобноисполнимое. Видишь, не один я так думал,— говорил Якубович.

— Ты бы не мог сказать этого, если бы сдержал данное тобою слово и привел сюда прежде нас или артиллерию, или измайловцев,— возразил брат.

— Мы со Щепиным поспешили рассчитать солдат и построить их в каре. Моя рота, с рядовыми из прочих, заняла 2 фаса: один, обращенный к Сенату, другой — к монументу Петра I. Рота Щепина, с рядовыми других рот, заняла фасы, обращенные к Исаакию и к Адмиралтейству.

Было уже около 9 часов.

Мы стояли более 2 часов, а против нас не показывалось никакое войско. Первые, кого мы увидели, были конногвардейцы, которые справа по три тихо приближались, держась близко к Адмиралтейскому бульвару, и, повернув направо, выстроились тылом к Адмиралтейству и правым флангом к Неве. Потом показались преображенцы, подвигавшиеся от Дворцовой площади, с артиллериею впереди, для которой позабыли или не успели взять зарядов, и за ними было послано. Заряды привезли уже к вечеру. Первый батальон преображенцев, прошед позади конногвардейцев, замкнул выезд с Исаакиевского моста, коннопионеры, прошедши тем же путем, замкнули выход к Английской набережной. Павловский полк стал тылом к дому Лобанова-Ростовского, Семеновский — вдоль Конногвардейского манежа, Измайловский был остановлен на улице, образовавшейся после постройки дома Лобанова. Прочие полки были размещены по главным улицам, идущим к площадям: Дворцовой, Исаакиевской и Петровской. Прибытие и размещение войск не было одновременно, но сопровождалось большими паузами и суматохою. Так, измайловцев, отказавшихся решительно от присяги Николаю, избивших Ростовцева, вздумавшего их уговаривать, вывели против войск, с которыми они ждали с минуты на минуту удобного случая, чтоб соединиться. Новый император, будучи шефом этого полка, на трехкратное приветствие: «Здорово, ребята!», не получил даже казенного ответа и удалился в смущении. И этот полк оставили стоять до вечера против нас. Преображенцев, поставленных против нас у Исаакиевского моста, оставили тоже до вечера, хотя они, по убеждению

Чевкина, решительно отказались присягнуть Николаю. Конногвардейцев, посылаемых трижды в атаку против нас и только в третий раз успевших проскакать до Сената и выстроиться тылом к нему, тоже оставили там до вечера, а этот полк настолько был приготовлен находившимися в нем членами нашего Общества, что при движении нашего полка они наверное соединились бы с нами. Они, равно как и преображенцы, через народ, окружающий каре, передавали нам свое намерение.

Окончив трудную работу — постройку каре из обрывков разных рот, около которого собрались уже многие из наших членов, и не видя Якубовича, я спросил о причине его отсутствия.

— Он сказал мне, — ответил брат, — что, по причине страшной головной боли, он удаляется с площади. Но посмотри на него, — продолжал он, указывая на свиту государя, — вероятно, атмосфера нового царя живоительно подействовала на его чувствительные нервы.

И брат не ошибся в своем предположении. Якубович, в избытке своих верноподданнических чувств, подошел к государю и просил позволения обратить нас на путь законности. Государь согласился. Он, привязав белый платок на свою саблю, быстро приблизился к каре и, сказав вполголоса Кюхельбекеру (Михайле):

— Держитесь, вас крепко бояться, — удалился.

Вскоре эскадрон конногвардейцев отделился из строя и помчался на нас. Его встретил народ градом камней из мостовой и разобранных дров, находившихся за забором подле Исаакиевской церкви. Всадники, неохотно и вяло нападавшие, в беспорядке воротились за свой фронт. Вторую и третью атаку московское каре уже без содействия народа выдержало с хладнокровною стойкостью. После отражения третьей атаки конногвардейцы проскакали к Сенату, и, когда начали выстраиваться во фронт, солдаты моего фаса, полагая, что они хотят атаковать с этой стороны, мгновенно приложились и хотели дать залп, который, вероятно, положил бы всех без исключения. Я, забывая опасность, выбежал перед фас и скомандовал:

— Отставь!

Солдаты опустили ружья, но несколько пуль просвистело мимо моих ушей и несколько конногвардейцев упали с коней. Коннопионеры немного спустя помчались, бог весть по чьему приказанию, мимо моего фаса

и конногвардейцев. Мои солдаты пустили по ним беглый огонь и заставили воротиться назад. Я был на другом фланге и не мог предупредить или остановить. Как ни прискорбны эти два случая, но они породили счастливые для нас результаты. Выстрелы были услышаны в гвардейских казармах, и к нам они поспешили на помощь. Чтоб не повторять того, что так хорошо написано в записках о 14 декабря Пушкиным, я приведу его слова.

Почти в одно время с происшествием в лейб-гвардерских казармах происходило подобное в гвардейском экипаже. «Генерал Шипов, полковой командир Семеновского полка и начальник бригады, в состав которой входил гвардейский экипаж, был в их казармах. Шипов, незадолго перед тем ревностный член тайного общества и человек, совершенно преданный Пестелю, нашел в эту минуту для себя удобным разыграть роль посредника перед офицерами гвардейского экипажа, не желавшими присягать. Он им ничего не приказывал, как их начальник, но умолял не сгубить себя и доброе дело, уверял, что безрассудным своим предприятием они отсрочивают на неопределенное время исполнение того, чего можно было ожидать от императора Николая Павловича. Все его убеждения остались тщетными; офицеры сказали ему решительно, что они не присягнут, и сошли к солдатам, их ожидавшим. Между тем Н. Бестужев уговаривал солдат не присягать Николаю, когда вдруг послышались выстрелы. «Ребята, наших бьют», — закричал Кюхельбекер, и весь экипаж, как одна душа, двинулся за братом Николаем, который и привел его на площадь.

«На площади экипаж выстроился направо от Московского полка и выслал своих стрелков, под начальством лейтенанта Михаила Кюхельбекера. С гвардейским экипажем, кроме ротных командиров: Кюхельбекера, Арбузова, Пушкина, пришло: два брата Беляевы, Бодиско, Дивов и капитан-лейтенант Николай Бестужев, родной брат Александра и Михаила Бестужевых; он не принадлежал к гвардейскому экипажу». Лейб-гренадеры поднялись, по правдивому рассказу того же Пушкина, так: «...между тем, Коновницын, конно-артиллерист, освободившийся как-то из-под ареста, скакал верхом к Сенату и встретил Одоевского, который недавно сменился с внутреннего караула и ехал к лейб-

гренадерам с известием, что Московский полк давно на площади. Коновницын поехал с ним вместе. Приехавши в казармы и узнавши, что лейб-гренадеры присягнули Николаю Павловичу и люди были распущены обедать, они пришли к Сутгофу с упреком, что он не привел свою роту на сборное место, тогда как Московский полк давно уже был там. Сутгоф, прежде про это ничего не знавший, без дальних слов отправился в свою роту и приказал людям надеть перевязи и портупей и взять ружья; люди повиновались, патроны были тут же розданы, и вся рота, беспрепятственно вышедши из казарм, отправилась к Сенату. В это время случившийся тут батальонный адъютант Панов бросился в остальные семь рот и убеждал солдат не отставать от роты Сутгофа; все семь рот, как по волшебному мановению, схватили ружья, разобрали патроны и хлынули из казарм. Панова, который был небольшого роста, люди вынесли на руках. Угрозы, а потом увещания полкового командира Стюрлера не произвели никакого действия на солдат. Панов повел их через крепость, в это время он мог бы овладеть ею, и, вышедши на Дворцовую набережную, повернул было во дворец, но тут кто-то сказал ему, что товарищи его не здесь, а у Сената, и что во дворце стоит саперный баталион. Панов пошел далее по набережной, потом повернул налево и, вышедши на Дворцовую площадь, прошел мимо стоявших тут орудий, которые, как говорили после, он мог бы захватить. В продолжение всего этого времени Стюрлер шел с своим полком и не переставал уговаривать солдат вернуться в казармы. Когда лейб-гренадеры поровнялись с Московским полком, Каховский выстрелил в Стюрлера и смертельно его ранил. Стюрлер был природный швейцарец. В 11-м году Лагарп прислал его в Россию и письменно просил у царственного своего воспитанника, императора Александра, покровительствовать своему земляку. Стюрлер был определен поручиком в Семеновский полк. Человек он был неглупый и замечательно храбрый, но, впрочем, истый кондотьери. По-русски говорил он плохо и был невыносимый педант по службе: ни офицеры, ни солдаты не любили его; зато он сам страстно любил деньги. На Сенатской площади лейб-гренадеры построились налево и несколько вперед от Московского полка. Одоевский присоединился к товарищам незадолго до прибытия лейб-гренадер».

Нам готовилась вовсе неожиданная помощь. Я проходил фас моего каре, обращенный к Неве, и вижу приближающихся кадет Морского и 1-го Кадетского корпуса.

— Мы присланы депутатами от наших корпусов для того, чтобы испросить позволения прийти на площадь и сражаться в рядах ваших,— говорил, запыхавшись, один из них. Я невольно улыбнулся, и на мгновение мысль: дать им позволение — промелькнула в уме. Присутствие этих юных птенцов на площади, стоящих рядом с усатыми гренадерами, поистине, оригинально окрасило бы наше восстание. Участие детей в бунте — единственный, небывалый факт в летописях истории. Но я удержался от искушения при мысли — подвергнуть опасности жизнь и будущее этих ребят-героев.

— Благодарите своих товарищей за благородное намерение и поберегите себя для будущих подвигов,— ответил я им сурезно, и они удалились¹.

Пропуская все другие подробности происшествий 14 декабря, я упомяну только об оплеухе, которою наградил Оболенский Ростовцева, встретившись с ним на возвратном пути от конно-артиллеристов на площадь, а Ростовцев — из Измайловского полка, где его порядочно помяли солдаты, когда он вздумал ораторствовать за Николая,— во дворец.

День был сумрачный — ветер дул холодный. Солдаты, затянутые в парадную форму с 5 часов утра, стояли на площади уже более 7 часов. Со всех сторон мы были окружены войсками — без главного начальства (потому что диктатор Трубецкой не являлся), без артиллерии², без кавалерии, словом, лишенные всех моральных и физических опор для поддержания храбрости солдат. Они с необычайною энергиею оставались непоколебимы и, дро-

¹ При первом посещении государем этих двух корпусов кадеты 1-го корпуса на его приветствие: «Здорово, дети» — отвечали глубоким молчанием, а моряки поставили в коридоре, через который он проходил, миниатюрную виселицу с пятью повешенными мышами.

² Пешая гвардейская артиллерия не соединилась с нами потому, что князь Алек. Голицын и прочие члены Общества, по малодушию, позволили полковнику Сумарокову себя арестовать. Гвардейские конно-артиллеристы тоже были арестованы полковником Пистолем-Корсом. Они ушли из-под ареста и явились на площадь. — «Что нам в вас без пушек», — сказали мы им. Они возвратились в казармы и на этот раз были арестованы покрепче.

жа от холода, стояли в рядах, как на параде. Чтобы пощупать состояние их духа, я подошел к Любимову, ефрейтору, молодцу и красавцу из всей моей роты, женившемуся только три дня тому назад и которого я благословлял, когда он шел под венец.

— Что, Любимов, призадумался, аль мечтаешь о своей молодой жене? — сказал я, потрепав его по плечу.

— До жены ли теперь, ваше высокоблагородие. Я развожу умом, для чего мы стоим на одном месте: посмотрите — солнце на закате, ноги отерпли от стоянки, руки заоченели от холода, а мы стоим.

— Погоди, Любимов, пойдем! И ты разомнешь и руки, и ноги.

С сокрушенным сердцем я удалился от него. Кюхельбекер и Пущин уговаривали народ очистить площадь, потому что готовились стрелять в нас. Я присоединился к ним, но на все мои убеждения был один ответ: умрем вместе с вами. К нам подскакал Сухозанет и передал последнюю волю царя: чтобы мы положили оружие, или в нас будут стрелять.

— Отправляйтесь назад, — вскрикнули мы, а Пущин прибавил:

— И пришлите кого-нибудь почище вас.

На возвратном скаку к батарее он вынул из шляпы султан, что было условлено, как сигнал к пальбе, и выстрел грянул. Картечь была направлена выше голов. Толпа народа не шелохнулась. Другим выстрелом — в самую середину массы — повалило много безвинных, остальные распрыснулись во все стороны. Я побежал к своему фасу к Неве. Последовал третий выстрел. Много солдат моей роты упали и стонали, катаясь по земле в предсмертном мучении. Прочие побежали к Неве. Любимов очутился подле меня.

— Всяко может быть, ваше высокоблагородие, я не покину вас, — говорил он с братским участием и вдруг упал к моим ногам, пораженный картечью в грудь. Кровь брызнула из глубокой раны. Я дал ему свой платок. Он прижал его к груди, а меня увлекла толпа бегущих солдат. Я забежал вперед.

— За мной, ребята! — крикнул я москвцам и спустился на реку. Посредине ее я остановил солдат и с помощью моих славных унтер-офицеров начал строить густую колонну, с намерением идти по льду Невы до

самой Петропавловской крепости и занять ее. Если бы это удалось, мы бы имели прекрасное point d'appui¹, куда бы могли собраться все наши и откуда мы бы могли с Николаем начать переговоры, при пушках, обращенных на дворец. Я уже успел выстроить три взвода, как завизжало ядро, ударившись в лед и прыгая рикошетами вдоль реки. Я оборотился назад, чтобы посмотреть, откуда палят, и по дыму из орудий увидел батарею, поставленную около середины Исаакиевского моста. Я продолжал строить колонну, хотя ядра вырывали из нее то ряд справа, то слева. Солдаты не унывали, и даже старики подсмеивались над молодыми, говоря им, когда они наклонялись при визге ядер:

— Что раскланиваешься? Аль оно тебе знакомо?

Уж достраивался хвост колонны, как вдруг раздался крик:

— Тонем!

Я <увидел> огромную полынью, в которой барахтались и тонули солдаты. Лед, под тяжестью собравшихся людей и разбиваемый ядрами, не выдержал и провалился. Солдаты бросились к берегу и вышли к самой Академии Художеств.

— Куда же мы теперь? — спросил меня знаменосец. Я взглянул в отворенные ворота Академии и увидел круглый двор, столь для меня памятный. Вспомнил залы античных статуй, живописи и проч., окружающие двор, и — мгновенная мысль, что, заняв их, мы можем долго защищаться, — вскричал: «Сюда ребята». Передовая кучка солдат пробежала в ворота мимо оторопевшего швейцара, который, впрочем, оправившись от страха, спустил гири ворот, и они захлопнулись перед нашим носом. Я приказал взять бревно из днища барки, разломанной на реке, чтоб им сбить с петель ворота. Молодцы дружно принялись за дело: ворота уже потрескивали под их ударами, но мы увидели эскадрон кавалергардов, во весь карьер мчавшихся на нас. У солдат опустились руки. Можно ли было думать о сопротивлении при такой суматохе, когда все столпились в одну нестройную кучу?

— Спасайтесь, ребята, кто как может! — и солдаты разбежались в разные стороны. Я подошел к знаменишнику, обнял его, промолвив:

¹ точку опоры (фр.).

— Скажи своим товарищам москвцам, что я, в лице твоём, прощаюсь навсегда с ними. Ты же отнеси и вручи знамя вот этому офицеру, который скачет впереди; этим ты оградишь себя от наказания.

Я еще постоял некоторое время, видел, как на половине площади Румянцева знаменщик подошел к офицеру, отдавая знамя, и как тот рубнул его с плеча. Знаменщик упал, и у меня чуть слезы не брызнули. Я забыл фамилию этого презренного героя, но помнится, что она начиналась с частички фон и что он, повергая к ногам императора отбитое им с боя знамя, получил Владимира с бантом за храбрость!!!

Медленно перебираясь по переулкам к мирному жилищу сестер, я чувствовал, как лихорадочное волнение постепенно утихало во мне и от души отлегалась какая-то тяжесть, давившая меня. Мне как-то легко дышалось, совесть была спокойна. Я знал, что исполнил свой долг безупречно, и даже находил удовольствие выдумывать себе самые страшные и самые унижительные казни. Здоровый организм вступал в свои права: проведши 3 дня почти без сна и пищи, я почувствовал голод и желание уснуть. Сестры встретили меня со слезами и распросами.

— Теперь не время, *mes socers*¹, вздыхать, плакать и болтать, время дорого. Дайте мне чего-нибудь закусить и отдохнуть немного, и я, на вечную разлуку с вами, постараюсь удовлетворить ваше любопытство.

Наскоро закусив, я поспешил уснуть, попросив сестер приготовить матушку, когда она проснется. Долго ли я спал, не знаю, но когда проснулся, было совершенно темно. Пока никто не мешает, надо было подумать о будущем, бежать или без хлопот самому явиться под арест. Попробуем сперва первое, а при неудаче употребим второй способ. Я нарядился в старый флотский вицмундир брата Николая, надел его енотовую шубу и в таком маскарадном костюме явился к матушке и, став на колени, просил ее благословения.

— Да благословит тебя бог,— сказала она, перекрестив меня,— и да вооружит он тебя терпением для перенесения всех страданий, тебя ожидающих.

Я обнял сестер, выбежал за ворота и бросился на первого извозчика, приказав ему ехать на Исаакиев-

¹ сестры (фр.).

скую площадь, чтобы пробраться, ежели возможно, к Торсону.

— Да пустят ли нас, барин, к Исаакию. Там идет мытье да катанье, кругом стоят пушки и солдаты.

— О каком ты мытье говоришь? — спросил я.

— Вестимо дело, замывают кровь, посыпают новым снегом и укатывают.

— А что, разве много было крови? — спросил я его.

— Ну, на порядке, значит, много было, то есть убитых.

— Вот смотри, — прибавил он, указывая на воз, прикрытый рогожами, — ведь это все покойнички, — дай бог им царство небесное. Ведь все они то есть настоящие праведники — стояли за правое дело, а теперь их пихают под лед без христианского погребения...

— Да что же тут приключилось, расскажи, пожалуйста.

— Вишь, расскажи — одним словом, страх...

Нас остановил жандарм. Я заплатил извозчику и начал с другого конца Исаакиевской площади зигзагами и обходами пробираться к Галерной улице, где жил Торсон. Странно оживленную картину представляла площадь эта. Она была местами освещена пылающими кострами, у которых грелись артиллеристы и солдаты. Сквозь дым и мерцание пламени то показывались, то скрывались блестящие жерла пушек, поставленных на всех выходах главных улиц на площадь. Фитили мерцающими звездочками курились при каждом орудии. Внутри этого заветного круга, где за несколько часов решилась участь царя и России, рабочий люд деятельно хлопотал смыть и уничтожить все следы беззаконной попытки неразумных людей, мечтавших хоть немного облегчить тяжесть их горькой судьбины. Одни скоблили красный снег, другие посыпали вымытые и выскобленные места белым снегом, остальные убирали тела убитых и свозили их на реку. С большим трудом, почти прокравшись, я достиг Галерной улицы и почти бегом достиг до середины, где остановлен был пикетом Павловского полка, и мне приказано было ждать, пока офицер выйдет и опросит меня. «Вот и попался», — подумал я. Я назвал себя шкипером 8-го экипажа, а ежели офицер знает меня, — я инстинктивно прислонился к фонарному столбу, чтобы свет не падал мне на лицо. По другую сторону столба стояла небольшая кучка

лейб-гренадер, москвичей и матросов гвардейского экипажа. Их разыскивали по домам, окаймляющим Галерную улицу, и приводили к пикету, чтобы препроводить в сборное место. Измайловцы привели новых арестантов.

— Что, опять наловили мышей,— сказал, смеясь, один из павловцев — шутник и балагур, занимавший всю честную компанию пресмешными выходками.

— А, чай, тебе трудно было сгибаться над каждой дыркой да норкой? Вишь, какой вырос — как этот фонарный столб.

— Послали бы тебя, и ты то же бы делал, что мы,— возразил измайловец.

— Нет, брат, погоди, ты чистую чушь несешь. Первое, нас бы и не послали — мы не кобенясь присягнули вашему шефу. Наши ребята сказали: кто ни поп, тот батька, и кто бы ни выдергал усы, как вам выдергивали,— все равно: тот или другой. А вы? смотри-ка, не хотим изменять присяге! Приколотили Ростовцева, не хотели здороваться с новым царем, посылали сказать москвичам, что готовы идти с ними, а теперь ловите их, чтобы предать распятию. Нет, брат,— говорил он, выступив вперед, подбоченясь и выставя ногу вперед,— у меня хоть медяной налобник, но лоб-то не медный. Если б я сказал: пойду — так и пошел бы...

— И мы бы пошли,— прервал его измайловец.

— А что же вы не шли к нам,— вставил вопрос один из москвичей.

— А что же вы стояли на одном месте, как будто примерзли к мостовой?

— Мы...— Появление офицера прервало эту интересную сцену. Он подошел ко мне.

— Кто вы? и куда идете?

Мой ответ был:

— Я шкипер 8 флотского экипажа. По обязанности службы я был в Галерной гавани и теперь возвращаюсь к семейству.

— Хорошо, мы это узнаем, я велю вас проводить к семейству. Эй!

— Ваше благородие! — вытянувшись, рапортовал старший унтер-офицер пикета,— привели опять новых арестантов.

— Да когда же этому будет конец,— запальчиво вскричал офицер.— Ну, отправь их на сборное место.

Да назначь кого-нибудь проводить до дому этого господина.

— Помилуйте, ваше благородие, кого я назначу? Конвой прежней партии еще не вернулся назад, а для этой толпы мало будет и остальных пикетов.

— Ну, черт с ним, пусть идет куда хочет, а ты отправляй арестантов.

Меня пропустили, и я, хотя в сообществе с чертом, несказанно был рад, вырвавшись из когтей этого блаженного. Почти бегом я достиг казарм 8-го флотского экипажа, где жил Торсон, и, запыхавшись, вошел в комнаты без всякого доклада. В зале, сумрачно освещенной одною свечой, за круглым дубовым столом сидела почтенная старушка, мать его, в памятном мне белом чепце, с чулком в руках и с книгою, которую она читала, не обращая внимания на вязанье. Напротив нее, раскладывая гран-пасьянс, сидела умница, красавица, его сестра, и, подпершись локотком, так задумалась, что не слыхала даже довольно шумного моего появления. Громкий задушевный смех ее матери пробудил ее. Она ахнула, увидя меня в таком маскарадном костюме, вскочила со стула, и, подбежав ко мне, спрашивала, всхлипывая:

— Итак, все кончено,— где брат, где брат мой?

— Вы раненько начали святки...— говорила простодушная старушка, заливаясь веселым смехом.— Скажите-ка, по какому поводу вы так нарядились?..

— Ради бога успокойтесь, Катерина Петровна, ваш брат на площади не был. Успокойтесь, сядьте,— ваша матушка наблюдает нас.

— Она глуха, ничего не слышит, что говорим мы.

— Но она умна и опытна и может прочесть на вашем лице несчастье, которое мы от нее скрываем.

— Да поведаете ли вы, наконец, причину вашего маскарада,— повторила старушка, взглядывая попеременно то на меня, то на дочь свою.

— Причина самая простая. Я ехал к сестрам, неловкий извозчик опрокинул меня на Неве у взвоза в лужу. Пока просушивают мой мундир, я нарядился в этот костюм брата Николая и приехал к вашему сыну, чтоб поговорить о деле, не терпящем отлагательства.

Я прокричал ей на ухо эту приготовленную ложь и поместился между ними, чувствуя сам необыкновенную слабость от волнения и испытываемых ощущений.

Если бы я владел пером Шиллера или Гете или кистью Брюллова, какую высоко драматическую сцену, какую поразительно эффектную картину написал бы я, изображая нашу беседу при мерцающем свете нагоревшей свечи — беседу в группе трех лиц, случайно и так эффектно поставленных один против другого. Старушка, совершенно глухая, сосредоточила все свои чувства во взоре. Ощущение неведомой душевной тревоги тучками набегало на ее невозмутимо-ангельское чело, когда кроткий взор ее с видимым беспокойством переносился с моего лица на лицо своей дочери, глотавшей слезы и старающейся всхлипывания плача заглушить или прикрыть принужденным смехом. Мое положение было не лучше. Зная, что Константин Петрович был кумир, боготворимый ими; зная, что с его потерей они лишаются и блага душевного и материальных средств своего существования, я должен был сестру его успокаивать, когда гибель его была непреложна. Чтоб сколько-нибудь замаскировать, что происходило в душе моей, я взял перочинный ножичек, лежавший на столе, и стал чертить и вырезывать на дубовом столе. Не знаю, как и почему, — у меня вырезался якорь, веретено и шток, которого я превратил в крест, и явился символ христиан: надежда и вера.

— Вот что должно быть вашею путеводною звездою в вашей будущей жизни, — заключил я, заслышав шаги входящего К. П. Торсона. Впоследствии, когда и сестра, и старушка мать приехали в Сибирь, чтобы усладить жизнь изгнанника, Катерина Петровна часто вспоминала этот роковой вечер и повторяла, что вырезанный мной символ веры и надежды сохранился в том же виде до последнего дня их пребывания в Петербурге и что, часто упавая духом под гнетом страданий, достаточно было взглянуть на него, чтоб почувствовать новые силы для перенесения новых тревожений.

Так кончился достопамятный для нас день 14 декабря.

<15 декабря>. Светало, а мы с Торсоном не прерывали еще беседы. Зная, что нас ожидает в будущем, как умирающие, имели потребность передать свои заветные мысли, свои предсмертные завещания.

— Итак, ты думаешь бежать за границу? Но какими путями, как? Ты знаешь, как это трудно исполнить в России и притом зимою?

— Согласен с тобою,— трудно, но не совсем невозможно. Главное я уже обдумал, а о подробностях подумаю после. Слушай: я переоденусь в костюм русского мужика и буду играть роль приказчика, которому вверяют обоз, ежегодно приходящий из Архангельска в Питер. Мне этот приказчик знаком и сделает для меня все, чтобы спасти меня. В бытность мою в Архангельске я это испытал. Он меня возьмет как помощника. Надо только достать паспорт. Ну, да об этом похлопочет Борецкий, к которому я теперь отправлюсь. Дело-производитель в квартале у него в руках.

— Но кто таковой этот Борецкий и как ты так смело вверяешься первому встречному?

— Борецкий, как тебе известно, актер по страсти. Настоящая его фамилия Пустошкин. Он новгородский дворянин и наш дальний родственник; человек простой, но безупречно честный. Любит он наше семейство более, нежели театр, для которого он променял будущность военного офицера на славу: со временем сделаться Яковлевым,— его идолом. Он же достанет мне бороду, парик и прочие принадлежности костюма.

— Ну, хорошо, а потом что?

— Лишь бы мне выбраться за заставу, а тогда я безопасно достигну Архангельска. Там до открытия навигации буду скрываться на островах между лодчанами, между которыми есть задушевные мои приятели, которые помогут мне на английском или французском корабле высадиться в Англию или во Францию.

— Дай бог, чтобы твои предположения сбылись. А я что-то крепко сомневаюсь.

— Ну, как бы то ни было,— закончил я,— а действовать надо. Удастся — хорошо, не удастся — меня отведут в квартал, т. е. во дворец. Пойдем, уж Петербург проснулся. Ведь ты меня проводишь?

— Хорошо, тем более, что я зайду по дороге к шведу-староверу. У него ты найдешь, если он только согласится, самый безопасный приют.

Мы вышли. По улицам разъезжали конные патрули. Мы их счастливо миновали, хотя некоторые нас опрашивали. На Козьем Болоте Торсон зашел к портному. Я его ожидал, прохаживаясь, как журавль по болоту. Наконец, он соединился со мной и поведал неудачу своей попытки. Портной говорил: если бы вы пришли вчера, хотя бы поздно вечером, дело можно бы уладить.

А в эту ночь полиция переписывала у всех мастеров наличных работников, наказав строго-настрого впредь не принимать новых без разрешения полиции. Ну, делать было нечего, мы отправились к Борецкому. Проводив меня до ворот, он простился со мной до свидания — в Сибири...

Я вошел в переднюю; там никого не было, некому было доложить обо мне. Через отворенные двери в залу и в спальню до меня доходили голоса оживленного разговора, под шумок которого я вошел в спальню его, не будучи им замечен. Он, еще не одетый, сидя на кровати, рассказывал жене своей, стоящей перед ним в утреннем пеньюаре, разные страшные сказки вчерашнего дня, как очевидец. Рассказывал, как Александр Бестужев и Рылеев, укрывшись в Сенат, отражали атаки чуть ли не всей гвардии. Как Бестужев Николай также храбро защищался, заняв Адмиралтейство. А кровь-то, кровь... а убитых и счету нет.

— Да что же ты мне ничего не скажешь о Михайле Александровиче? — спросила его жена.

— Да, что, матушка, говорить о мертвых.

— Как, он убит! — всплеснув руками, вскричала жена.

— Убит.

— И ты сам его видел мертвым?

— Видел, матушка, собственными своими глазами, — говорил простак Борецкий, не желая повредить эффекту, произведенному на жену его рассказом.

— Ах, бедный, бедный! — всхлипывая, произносила эта добрая женщина, любившая меня не как родственника, а как родного своего сына.

— Здравия желаю!! — произнес я громко, тихо подошедши к ней сзади...

— Ах! Ох! — вскрикнули муж и жена, — с нами сила крестная!

— Да что же это, наяву или мне мерещится? Иван Петрович, да скажи, жив он или мертв?

— Жив, матушка, жив, слава богу.

— Да ведь ты видел его мертвым?

— Это мне померещилось. Вот и все... Ах ты, боже мой!.. Да неужели ты и взаправду жив, — восклицал он, вскочив с постели, целуя в обе щеки и душа меня в своих объятиях. — Да как же это?.. Ведь тебя изрубили и бросили в Неву?

— О, неверный Фома! Да ты ощупай мои раны и удостоверься, что они уже зажили... Впрочем, ты с такою настойчивою уверенностью убеждаешь меня в моей смерти, что я, наконец, начинаю сомневаться: и в самом деле — жив ли я. Ну, верный поклонник Мельпомены, становись в обычную тебе позу Терамена — и начинай: «Едва оставили мы грустные Трезены...». Поведай — с достодожным ли я достоинством греческого героя отправился в Елисейские поля? Ведь ты жене говорил, что на глазах твоих меня изрубили.

— Ну, братец ты мой, я это жене приврал. Всяк человек есть ложь. Да как же и не поверить, когда все об этом одинаково повторяли. Ну, признаться, с некоторыми вариантами.

— Ну, пожалуйста, расскажи, как я умирал. Ведь это до меня довольно близко касается.

— Надо тебе, братец ты мой, откровенно признаться, что я решительно ничего не знал, что происходило в Петербурге вчера. Поутру я собрался в театр на репетицию, увидел на улице кучки народа, оживленные каким-то жарким говором. Я спросил у дворника о причине этого сходбища, и он мне поведал, что народ со всех концов города спешит на Сенатскую площадь, что туда пришли солдаты с криком: «Ура, Константин», а великий князь Николай Павлович вывел против них остальную гвардию и хочет их всех истребить. Разумеется, братец ты мой, что я о репетиции забыл, вмешался в толпу и прибежал на площадь. Боже ты мой, господи, что там происходило!.. Народ как есть вплотную запрудил всю площадь и волновался, как бурное море. В волнах этого моря виднелся небольшой островок — это был ваш каре. В противоположность урагану, крутящемуся около него, он стоял недвижим, спокойно и безмолвно. Только ветер колыхал иногда высокие султаны их киверов, и временные проблески света на небе — прыскали искры на окружавшую его толпу, отражаясь на гранях штыков их. Да, братец ты мой, это была поразительно прелестная картина!.. Я видел царя, окруженного своим штабом и уговаривающего народ: «разойтись по домам», слышал, как беснующаяся толпа кричала ему в ответ: «Вишь, какой мягонький стал. Не пойдем! Умрем с ними вместе»; видел, как полки, словно грозные тучи, обледали ваш маленький островок; видел, как понеслась на вас кавалерия, как плавно скло-

жились штыки, как опрокидывались кони со всадниками, наткнувшись на эту стальную щетину, и с каким диким остервенением толпы народа отразили второй натиск поленьями дров; признаюсь, и я, грешный человек, метнул одно полено в бок кавалеристу: бедняга, склоняясь на луку, повернул лошадь и исчез. Видел я, братец ты мой, и тебя, как ты при третьей атаке появился перед фасом каре, стал против солдат, готовых дать залп, от которого вся эта кавалерия, обскакавшая каре, легла бы лоском,— как ты командовал: «Отставь»; одним словом, я смотрел на быстро сменяющиеся картины. Я видел непрерывный ряд сцен, присутствуя на площади, как зритель и как актер. Я находился в каком-то чаду, в каком-то моральном опьянении, поочередно увлекающая толпу и увлекаемая ею. Я находил какое-то безотчетное удовольствие отдаваться на произвол этой сумятице, которая бросала меня от одного конца площади на другой, от одного полка окружавших вас гвардейцев к другому; повсюду я замечал на мрачных лицах солдат общее недовольство; везде слышалось громкое сетование на ваше бездействие. «Пусть они двинутся,— говорили они,— и мы пойдем вместе с ними». Я видел, как пришли к вам матросы гвардейского экипажа, потом лейб-гренадеры; видел смерть их полкового командира, видел торжественное шествие митрополита во всем облачении, великого князя Михаила, уговаривавшего московцев положить оружие, видел, как смертельно раненный Милорадович, шатаясь на седле, поскакал прочь от непокорных солдат, и, наконец, услышал роковой выстрел из пушки, положивший конец этой страшной фантазмагории. Толпа вздрогнула, смолкла, но не двигалась с места. Второй выстрел повалил множество из передовых. Народ прыснул во все стороны. Третий выстрел был направлен на открытый каре. Повалило много,— но он не покидал своего места. При четвертом, пятом выстреле каре дрогнуло, и солдаты побежали по Галерной улице, а москвичи к Неве. Я спустился на реку у Исаакиевского моста со стороны Адмиралтейства.

— Да зачем же тебя нелегкая понесла на Васильевский остров,— спросил я восторженного рассказчика.

— Ах, братец ты мой, как же ты меня не понимаешь? Я спешил навестить твою матушку и сестриц, чтобы успокоить их и рассказать все, что я видел. К тому же, я видел, что ты с москвичами идешь тоже к Ва-

сильевскому острову, и думал сойтись с тобою и идти вместе. Не тут-то было... Смотрю — ты остановил солдат, начал строить колонну по мере того, как они подбегали. А между тем, братец ты мой, смотрю я — по Исаакиевскому мосту летит батарея, остановилась посередине моста и открыла огонь из четырех орудий. «Ах, бедный Мишель, — думаю я, — пропал ты»... А ядра-то так и свищут, так и ломают лед кругом колонны, так и вырывают из нее целые ряды. Гренадеры стоят, как вкопанные, только где инде наклонялись черные султаны, как бы кланаясь летящим над головами ядрам. Ты, обратясь спиной к мосту, говорил что-то солдатам, а между тем уже седьмой взвод колонны пристраивался, — как внезапно раздался крик: тонем, спасите, тонем!.. Разбитый ядрами лед не выдержал, середина колонны погрузилась в воду, прочие бросились на берег и столпились на взвозе против Академии Художеств. У меня, братец ты мой, сердце расплылось, как вода, голова пошла кругом, в глазах помутилось, и я закрыл их руками, чтобы ничего не видеть. Долго ли я был в этом положении, не могу дать себе отчета, но когда я опамятовался, я увидел себя окруженным толпою народа.

— Ведь я тебе говорил, что он оживет, — восклицал какой-то фабричный в тиковом халате, подпоясанный ремнем. Он без умолка болтал, прерывая неудержимый поток болтовни только, когда его рот был полон водою, которую он хлебал из кожаного картуза, чтоб вспрыскивать мое лицо, с усердием размазывая по нем ручьями текущую воду своею грязною рукою.

— Да где же Бестужев? Где его солдаты? — спрашивал я у кругом стоящей толпы, как будто толпа могла знать тебя.

— Это ты о Бестужине-то говоришь? — спросил меня тот же болтливый субъект. — Э! приятель, да ведь их на площади было целых четверо. Ну уж что это за отпетые головы! — Тут он мне, едва переводя дыхание, с присвистом от выбитого переднего зуба и энергически размахивая руками, рассказывал геройские подвиги Бестужиных после ретирады войска с площади. Как один из них, моряк, заперся в Адмиралтействе, другой в Сенате, а третий в Академии Художеств. Как ты, со зна-

менем в руке и с небольшою частью солдат, бесстрашно встретил атаку кавалерийского батальона и как ты был тут же изрублен и брошен в Неву.

— И ты все это видел собственными своими глазами? — спросил я его.

— Ну, не то, чтоб собственными, а как бы тебе сказать, мне досконально все это рассказал Назар, наш уставщик по башмачному делу.

— Ну, хорошо! А как же ты, ничего этого не выдавши, уверял жену и рассказывал о наших подвигах, как очевидец. Назар мог видеть, как моего знаменосца изрубили, и мог смешать мое лицо с этим несчастным, но ведь ты...

— Ах, братец ты мой, что ты привязываешься с пустяками. Сказано: что всяк человек есть ложь — ну вот и разгадка моим словам, а что я поверил ему на слово, так это потому, что я слышал повторение этого рассказа в двадцати уголках и закоулках города, по которому я шлялся чуть не всю ночь, не имея сил идти к твоей матушке и рассказать все, что я видел и слышал. Тебе известно, как я любил все ваше семейство... ты знаешь, как я тебя любил, ты это видел, проживая у меня по твоем переводе в гвардию. Ну, слава богу!.. ты жив. Дай мне еще раз тебя расцеловать... — и он целовал меня, обрызгивая каплями слез.

Прекраснейший человек был этот Борецкий, в прозаической оболочке вмещавший поэтическую душу. Он весь был соткан из доброты и простоты. Отец мой определил его в Горный корпус за несколько годов прежде определения брата Александра. Но его душа не симпатизировала с подземною мрачною жизнью рудокопа, — его увлекла сценическая слава знаменитых в то время жрецов Мельпомены: Дмитревского, Яковлева, Самойлова и других, и он предался этой богине душой и телом. Употребляя различные хитрости, он в классное время убегал без спроса в театр, пренебрегая опасностью быть выключенным из корпуса за подобные проделки, и, подкупив капельдинера райка, просиживал часто в темноте и голодал чуть ли не с полудня до времени начала представления, чтобы насладиться лицедейством своего кумира Яковлева. В двенадцатом году он воспользовался послаблением начальства, допускавшего молодых людей в ряды защитников отечества, перешел в военную службу, по окончании кампании вышел в от-

ставку и, переименовав фамилию Пустошкина на кличку Борецкого, дебютировал на сцене довольно удачно в роли Эдипа Озерова и потом погряз в счастливой посредственности второстепенных актеров.

— Ну, полно, полно,— сказал я, невольно растроганный его нелепыми чувствами.— Теперь не время нежничать, а надо действовать. Поговорим ладком,— продолжал я, садясь на край его постели.— Ты, переименовав меч Марса на котурны Мельпомены, вероятно, нашел в гардеробе этой госпожи обильный запас различных нарядов. Я пришел просить тебя достать мне наряд русского мужичка с париком и бородой. Скажи, можешь ли ты это для меня сделать?..

— Почему ж? Очень можно, но ты скажи в свою очередь: для чего тебе он понадобился?..

Я рассказал ему о своем намерении выйти из Петербурга и идти с обозом в Архангельск.

— Хорошо придумано, но трудновато исполнить,— сказал он, немного подумав.— Чтoб выйти за заставу и идти с обозом, надо иметь вид, а у тебя ведь нет его?

— Нет, но похлопочи! Нельзя ли достать его?

— Ежели б можно было, я бы не задумался ценою жизни купить тебе паспорт. Но во всяком случае, попробуем...

Он начал одеваться, я — раздеваться и, сбросив лишнюю одежду, растянулся на его постели. Сон мори́л меня. Бессонные ночи и неустанные движения изнурили меня, а жгучие впечатления недавних событий сильно волновали мою душу. Я заснул сном праведника.

Уже смеркалось, когда я проснулся. Долго я не мог дать себе отчета: где я. Во сне мне все мерещились сцены 14-го, и я мечтал, что нахожусь на площади. Чу!! глухой звук пушечного выстрела. Я приподнялся с постели и, подперевшись на локоть, стал прислушиваться. Ничем невозмутимая тишина длилась несколько минут, потом опять выстрел... Я вскочил с кровати, набросил на себя верхнюю одежду и намеревался бежать туда, откуда слышалась канонада. Выбегая из спальни, я встретил хозяйку. Она загородила мне дверь в переднюю и повлекла в столовую, где накрыт был стол для обеда.

— На что это похоже,— лепетала словоохотливая хлебосолка,— с раннего утра чуть не до поздней ночи

вы крошки хлеба в рот не брали и голодный бежите невесть куда. А я для дорогого гостя приготовила ваши любимые кушанья. Ну полно упрямитесь — пойдемте обедать...

— Время ли думать об обеде, когда... Вы слышите, опять выстрел?..

— Что это, бог с вами, какие выстрелы? Я ничего не слышу, да и не слыхала во время вашего сна.

Ее слова дышали такою простодушною уверенностью, что я поверил, приписывая слышанные мною звуки постоянному шуму в больной моей голове. Мы сели за стол.

Я ничего не мог есть. Но, уступая упрекам и сетованиям добродушной хозяйки, отведав несколько из блюд моих любимых кушаньев, объявил положительно, что обед кончен.

— Мы нехорошо сделали,— сказал я обиженной хлебосолке,— что не подождали вашего мужа. Он, вероятно, скоро воротится и привезет мне костюм.

— Да ведь он давно его привез; а я, глупая, заболтавшись, и позабыла вам сказать об этом. Вот он, примеряйте и посмотрите, впору ль он вам.

Я схватил все маскарадные принадлежности и удалился в спальную, чтоб примерить их, и вышел в столовую, преобразясь в русского мужика. Все было как будто по мне сшито. Только парик и борода неплотно прилежали ко лбу и подбородку, и я спросил у хозяйки иголку и черного шелку, чтобы немного поосадить парик и бороду.

Пока я занимался кропотливою моею работою, словоохотливая моя хозяйка болтала без умолку, повторяя мне все закулисные сплетни и интрижки театральных львиц, во всех подробностях ей известных, как давнишней швее при театре. Она была в восторге, что нашла такого молчаливого и внимательного слушателя, тогда как я почти ничего не слышал из ее рассказов, мысленно пробегая прошедшее и будущее, а в настоящем конвульсивно прислушиваясь к звукам, изредка раздававшимся, как пушечные выстрелы.

— ...И, наконец, вероломный, он ее покинул! — заключила она свой патетический рассказ, склонив голову и тяжело вздыхая.

— Еще! — воскликнул я, встав и с беспокойством прислушиваясь.

— Да что еще вам сказать? Что она была неутешна, вы можете это отгадать, если судить по тому сердечному участию и вниманию, с которым вы слушали мой рассказ.

— Опять!.. Нет, я не в силах более оставаться. Прощайте!

Подвизав наскоро парик и бороду и нахлобучив шапку, я побежал с лестницы, скача через две, три ступеньки и провожаемый восторженными похвалами моему чувствительному сердцу.

Я выбежал на улицу в настежь растворенные ворота и направил свой бег на Сенатскую площадь, где я предполагал найти возобновление вчерашней борьбы, но приубранная и прикатанная площадь была пуста, артиллерия с пехотными прикрытиями исчезла, народ и экипажи совершали мирно свое обычное движение, и только небольшие кучки там и сям столпившихся прохожих виднелись на ней, как черные пятна на листе белой бумаги. Эти кучки уж не были так велики и густы, как накануне, когда я пробивался кругом площади на Галерную улицу; их разредило время протекших суток. Интерес ослабевал, но зато в обратной пропорции росли, словно снежные комья, нелепые рассказы о происшедших событиях.

Обходя площадь, чтобы заглянуть в каждую улицу, выходящую на нее, я услышал явственно произнесенную мою фамилию и из любопытства подошел и вмешался в группу слушателей, безмолвно стоявших около оратора. По двум полоскам красного сукна, пришитым к длинному воротнику его шинели, нетрудно было догадаться, что он принадлежал к сословию денщиков, а по наглому бесстыдству выдавать за правду пошлые вымыслы — к разряду тех лиц, которые, нанюхавшись воздухом, вдыхаемого их патронами, и посидев украдкой на тех стульях, на которых господа их рассуждали или беседовали, — мечтают, что они имеют право настолько презирать среду, из коей они вышли, чтобы навязывать ей небывицы, как несомненные истины.

— Так вот, господа, — продолжал ливрейный оратор, с гордостью озирая толпу и с важностью засунув большой палец правой руки между пуговиц своей наглухо застегнутой шинели, — этот-то Бестужин, значит, моряк, который привел гвардейский экипаж, бросился с ними в мирательство и завладел одним большим ко-

раблем. Его, значит, и окружила со всех сторон гвардейская пехота и кавалерия... Сдавайся! — кричат ему, а он в ответ: пиф-паф из пушек!..

— Да как же это, любезный господин,— возразил один из предстоящих слушателей, вероятно, сиделец из лабаза, судя по толстому слою муки, покрывавшему его тулуп,— любезный человек, откуда взял он пушки? У новостроящихся кораблей их нету-ка.

— Откуда?.. Ах, умная ты голова! Да разве в мирательстве мало всякого оружия? На то оно, значит, мирательство.— Вот, так сказать, снова кричат ему: эй, сдайся—плохо, значит, тебе будет!— Я взорву, так сказать, корабль, а живой не сдамся,—отвечал он, и показался, так сказать, дым. Пехота и кавалерия отретировались, значит, подальше, а корабль тем временем и пошел в Неву...

— Да как же?.. любезный господин, а лед-то?

— Что лед этакой, значит, машине, как стопушечный корабль! Он, можно сказать, изломал его, как тонкое стекло, и пошел, значит, прямо в Кронштадт, где теперь Бестужин, значит, и находится.

— Ну, а мы пойдем-ка, брат, домой,—сказал маловерный лабазник своему соседу,—любезный человек, кажется, заехал в завирательные палестины.

И я поспешил тоже домой.

Спустившись с Адмиралтейского бульвара, чтобы перейти на Невский проспект, я увидел толпу любопытных, сопровождавших какого-то флигель-адъютанта. Всмотревшись попристальнее, я узнал... боже мой! — я не верил глазам своим — Торсона... «Какими путями и так скоро успели до тебя добраться?» — подумал я. Они довольно близко проходили мимо меня, и я мог довольно хорошо рассмотреть всю группу. Впереди шел с самодовольным видом (как мне показалось) Алексей Лазарев, гордо подняв голову и не понимая унижительной роли сыщика. За ним шел Торсон, поступью твердо, с лицом спокойным и со связанными назад руками. Его вели в Преторию на суд Пилата. За что? Чем он провинился? Он не бунтовал, на площади не был, так неужели он тем виновен пред человеками, что пламенно желал им блага? И неужели этот благородный человек, как Иисус Христос, будет распят, тогда как легионы Варрав останутся нетронутыми. А Варрава же разбойник!!

Я как остановился, так и простоял как вкопанный, несколько минут, погруженный в грустные, горькие думы: «Нет, Учителю!! Я, подобно Петру, не отрекись от тебя»,— подумал я. И не малодушие ли бежать, бог знает куда, когда я могу с чистою совестью разделить с тобою твою горькую участь. Я докажу, что свято храню твое учение и горжусь честью быть членом того священного Общества, в которое ты принял меня, где каждый член должен полагать душу свою для блага отчизны... Я решился добровольно предать себя Пилату.

Почти у самой квартиры Борецкого я встретил хозяина, возвращающегося домой в глубокой задумчивости. Подошедши к нему, я сказал:

— Ваше почтение! Я к вам...

— А ты, верно, от Злобина? — вопросительно отвечал мне Борецкий, как бы просыпаясь от сна.

— Точно так,— отвечал я, изменив голос.

— Ну, так вот что: отнеси ты к нему назад этот паспорт и скажи, что теперь его, дескать, не надо. Пусть с богом отправляется в путь-дорогу.

— Так, значит, я в Архангельск-то не поеду,— сказал я своим голосом, снимая с головы шапку вместе с париком.

— Ах, какой же ты шутник, братец ты мой. Ведь не признал... Как есть, не признал. Ну! хотя ты, братец ты мой, в совершенстве играешь свою роль, а все-таки ехать со Злобиным тебе невозможно.

— Да я и сам никуда ехать не хочу... Не хочу долее скрываться и завтра отдамся добровольно правительству.

— Нет — зачем же? Мы подумаем, да поразведем умом. Не так, то удастся, может быть, другим способом.

Тут он мне подробно рассказал все свои хлопоты, чтобы уладить дело.

— Условившись со Злобиным, с которым ты хорошо был знаком в Архангельске, взяв от него паспорт одного из его спутников, незадолго умершего в больнице, условившись, как и когда ты к нему придешь, чтобы отправиться в далекий путь, я,— продолжал Борецкий,— проехал на заставу, чтобы разузнать: не будет ли препятствия при проезде из города. И хорошо сделал. Ты бы тут попался, как кур во щи. Карательный офицер мне сообщил, что получено приказание

не пропускать ни пешего, ни конного без особенной записки от коменданта Башуцкого. Прежде, нежели он даст пропуск, он лично каждого и опрашивает, и осматривает. Как видишь, дело-то вышло дрянь. Не зная, как долго продолжится запрещение, я поехал к твоей матушке, чтобы успокоить ее насчет твоей участи и уверить, что ты будешь безопасен в моем убежище. Но я ее не видел. Подъезжая, я заметил, что дом окружен был шпионами и сыщиками тайной полиции. Рисковать было опасно. Я повернул домой и, приметив за собой сани, неотступно следящие за мной, отпустил извозчика, вошел в дом со сквозным проходом, вышел в другую улицу и таким образом, тихо пешествуя, встретился с тобою. Ну, братец ты мой, пойдем домой. Мы порядком истомились. Отдохнем и телом и душою, а главное — поужинаем: я голоден, как волк...

Мне послышался очень явственно глухой звук выстрела.

— Ты слышал выстрел из пушки? — спросил я, его останавливая.

— Какой выстрел? Я никакого выстрела не слышал.

— Прислушайся хорошенько!

Мы остановились и слушали.

— Ну, вот опять. Неужто и теперь не слышишь?.. Где и кто это палит?

— Ха! ха! ха! — заливался добродушным смехом мой хозяин...

— Где и кто палит? Да ты посмотри где, — продолжал он, всхлипывая от смеху и указывая на ворота своей квартиры, — а палит-то кто? Наш дворник. Смотри, он теперь идет в калитку, и берегись, чтоб он не застрелил тебя выстрелом, который сию секунду последует.

И в самом деле — едва дворник захлопнул калитку, как раздался звук глухого выстрела. Тут только понял я, в чем дело. Ворота на двор были вделаны в свод, прорезающий насквозь здание. Калитка в этих воротах дубовая, толстая, запиралась со стуком, эхо которого, по случайному акустическому устройству свода, повторялось несколько раз при входе или выходе посетителя.

Я в свою очередь не мог не расхотаться такому прозаическому исходу всех моих восторженных надежд и волнений.

Пока накрывали стол для ужина, я сообщил ему свое твердое намерение добровольно предаться в руки правительства. Поведал свое затруднительное положение добыть свою воинскую сбрую от матушки, где я ее оставил, променяв на костюм флотского шкипера, в котором невозможно мне явиться во дворец.

— Ну! так прощай. Я снова отправлюсь в путь...— говорил он, надевая шапку и направляясь к дверям.

— Ах, ты сумасшедший! Да поужинай прежде. Ведь ты с самого утра ничего не ел...

— Поем когда-нибудь,— кричал он с конца уже лестницы.

Мир праху твоему, добрейший из смертных! Безгранична твоя привязанность ко всему нашему семейству и расположение, в особенности, ко мне, воспоминание коих всякий раз извлекает из сердца невольный вздох, а из души — теплую молитву, чтоб господь, хотя там, дал тебе успокоение, которого ты был лишен здесь. Семейные огорчения довели его до умопомешательства и рановременно свели в могилу...

Измученный, иззябший и голодный, возвратился он уже поздно ночью и рассказал, с каким затруднением и опасностью он проник в дом к матушке, обманув бдительность соглядатаев. Он рассеял мрак неизвестности касательно моей участи, по возможности успокоил моих родных и сообщил им мое намерение явиться во дворец и передал просьбу: прислать с ним мою военную сбрую. Он рассказал мне, каким страхом и ужасом он был объят при посещении полицмейстера, как он, скрываясь за дверью сопредельной с залом комнаты, услышал требование именем правительства у родных моих сведений об укрывательстве лейб-гвардии Московского полка Михаила Бестужева и при отрицательном ответе уехал, проходя мимо той комнаты, где чистили и приготавливали амуницию этого дезертира, куда если б потрудился заглянуть через дверь, чуть не настезь растворенную, он бы нашел конец нити того клубка, который он с таким старанием тщетно распутывал. С самодовольством рассказал свою ухарскую проделку с сыщиками, неутомимо следившими за всеми входящими и выходящими из нашего дома. Как он, связав в узел мою амуницию, велел растворить настезь ворота и мгновенно вылетел из них на лихаче извозчике и, не смотря на погоню, счастливо избавился от преследова-

ния, околесив чуть не полгорода, чтоб скрыть даже след от погони.

Немногие оставшиеся часы ночи показались мне вечностью. Я не мог заснуть; я только болезненно забывался, и тогда в горячечно-лихорадочном волнении мне чудилось, как наяву,— эшафот, виселица, палач или столб, врытый на краю могилы, куда бросят мои бранные останки. Я открывал глаза и ясно видел двенадцать стволов, уставленных на мою грудь,— я царапал лицо, сиюсь сдернуть повязку с глаз своих. Но все эти ужасы поглощались сценами, заставлявшими меня содрогаться от омерзения. Мне чудилось, что на пути в императорскую Преторию я узнан, арестован и меня, в полном одеянии гвардейского офицера, посреди любопытной толпы праздного народа, посреди улицы, вяжут веревками и за конвоем ведут, как ночного вора, в дворцовый квартал.

— Нет! — думал я, вскакивая с постели, где я вместо успокоения и подкрепления сил для предстоящей бури нашел только мучение.— Нет! Я постараюсь избегнуть этого унижения.— Ну! во дворец! Будь, что будет!..

Сомнительный рассвет утра едва начал брезжить сквозь грязно-пепельную атмосферу северной Пальмиры, как я уже облекся в полную форму. За чайным столом, уставленным различными яствами, меня уже ждала хозяйка, никак не хотевшая отпустить меня без того, чтоб я не отведал ее пирожков, нарочно для меня приготовленных. Скоро к нам явился добродушный полусонный хозяин, зевая. Так как было еще очень рано, то несколько бесконечных часов я должен был сидеть за чайным столом, уступая чуть не слезным мольбам добродушной хозяйки, волею-неволею пить и есть, тогда как каждый глоток ее душистого чая и каждый кусок ее вкусных пирожков останавливался в пересохшем моем горле и душил меня. Небольшой чайный столик разделял два противоположных мира: с одной — мир мучительных волнений и страшная будущность, с другой — мир отрадного спокойствия, семейного быта и уверенность невозбранно вкушать блага настоящего; с одной — человека, безмолвно погруженного в свои мрачные думы, с другой стороны — неистощимое красноречие добродушной хозяйки, чтобы занять и угостить дорогого гостя, и для полноты картины должно прибав-

вить фигуру моего хозяина, который, умаявшись хлопотами предшествующего дня и недоспав, в спокойном шлафроке и туфлях, вкусив достаточное количество земных благ, состоявших из полдюжины стаканов чая и дюжины вкусных пирожков, сидя, уснул сном праведника. Часы пробили девять. Время наступило ехать.

Безотвязная мысль: быть узванным и подвергнуться аресту на улице — заставила меня вместо форменной шинели надеть енотовую шубу; под нею я спрятал кивер, а на голову надел простую фуражку. Шпагу я не взял, предупреждая заранее неминуемый арест. Наскоро простясь с моей доброю хозяйкою, которая со слезами на глазах крестила и благословляла меня; поцеловав осторожно <хозяина>, чтобы не прервать сладкого сна его, я выбежал на улицу и бросился на первого попавшегося на глаза извозчика.

Погода была сумрачная, на душе было мрачно. Ни один луч надежды не мог озарить этого мрака, который раздирался только мгновенными молниями при воспоминании отдельных фактов моей виновности перед правительством, сгруппировавшихся в одну плотную массу моего преступления, не прощаемого преступления: быть виновником всех смут 14 декабря. В самом деле — если бы меня не было в этот день в полку, он канул бы в вечность без шума, может быть, с некоторыми волнениями, как это было в других полках гвардии, — и войска присягнули бы новому императору; об народе нечего было заботиться, а об заговорщиках — тем менее... Нас бы без огласки, втихомолку, по одиночке перехватала тайная полиция, и мы бы безвестно сгнили в сырых подвалах тюрьмы. А теперь — иное дело. Острое шило, в виде штыка, брошенное мною в правительственный мешок, утаить было невозможно. И власти, даже отечески снисходительные, из милости только заменили бы позор или мучения казни расстрелянием. С ясным познанием своей участи, не падая духом, бодро я приближался с тяжелым бременем креста к Голгофе, которая виднелась в серых громадах Зимнего дворца. Мысленно целуя крест, на котором будут распинать меня, я в душе поклялся тем же крестом — символом любви к ближнему — умереть, не погубив ни единого из соучастников наших замыслов. Эта клятва обрекала меня на роль незавидную: отпираться и отрицать даже то, что происходило перед моими глазами;

роль пошлая, заставлявшая меня часто краснеть от стыда, но роль благородная, когда, оборотясь, я с гордостью в душе и с отрадным чувством в сердце могу перечислить не один десяток товарищей, избавленных мною от лямки, тюрьмы или Сибири.

Я сошел с саней у комендантского подъезда и машинально, по привычке, спросил у Ваньки, сколько ему надобно? «Да что, барин, гривенничек-то уж надо бы». Сунув руку в карман, я узнал, что мелкие деньги я позабыл на спальном столике. В руку попала пятирублевая бумажка. Я ее бросил в шапку Ваньки. Он разинул рот от удивления — и мгновенно чувство сомнения, не фальшивая ли это ассигнация, изобразилось на его сиявшем от удовольствия челе. «Барин! а, барин!» — кричал он мне, растягивая и разглаживая бумажку на коленях. Когда я уже поднимался по лестнице, до меня долетали его возгласы: «Воротись, барин! Да впрямь... что ж это такое!»...

Эти возгласы, эта неуместная щедрость, ошеломившая бедного крестьянина, который вместо гривны получил их 50, были весьма естественны; я не обратил на них внимания и худо сделал. Неутешный Ванька, вздыхая и охая, носился со своею бумажкою и, растянув ее обеими руками, совал под нос каждому входящему и выходящему из дворца, наконец, наткнулся на плац (или флигель)-адъютанта, который, успокоив его насчет законности его бумажки, пожелал узнать, кого и откуда он привез. Ванька мог только ответить на второй вопрос, и этого было достаточно, чтобы отыскать дом, через дворника узнать, у кого я скрывался два дня, и в конце концов притянуть Борецкого к ответу чуть ли не в уголовном преступлении. К счастью его, допрос снимал с него генерал-адъютант Левашев, из всех допросчиков самый добросовестный. Вся беззаботная, спокойная личность подсудимого, все ответы — дышали такой безмятежной невинностью, что его отпустили с миром домой, снабдив душеспасительным наставлением: прятать родственные чувства в карман, когда должно руководиться единственно чувствами верноподданности.

Когда через несколько часов после, чрез ржавые и запыленные стекла двери, отделявшие меня от залы дворцовой гауптвахты, я увидел приведенного к допросу Борецкого, я недоумевал, какими путями и так скоро могли дознаться, что он был укрывателем меня в про-

должение целых суток. Что я был у него, я этого не показал на допросе. Как же могли узнать, что Борецкий меня скрывал целые сутки?

Проследив в памяти все малейшие обстоятельства минувших суток, я невольно остановился на Ваньке как на единственном существе, могшем указать дом, откуда он меня привез во дворец, в чем я и убедился из рассказов Борецкого, сообщенных мне впоследствии.

Итак, ничтожный случай, самый невинный акт христианской любви к ближнему, едва не погубил самого невиннейшего из смертных, а в отношении ко мне он лишил меня с первого шага при допросах <веры> в искренность моих показаний. И в самом деле: можно ли было дать веру моим показаниям, когда при самом начале допроса, произнося с благоговением стереотипную фразу, что единственный путь к милосердию государя есть чистосердечное признание во всем, он начал допрос вопросом: у кого вы скрывались вчерашний день,— я с спокойной наивностью отвечал: в Галерной гавани, тогда как дворник показал даже ранний час утра, в который я переступил порог их дома. После этого я увидел необходимость опуститься, как улитка, на самое дно раковины безусловного отрицания и, утопая, лишним словом не топить других¹.

Сбросив шубу и фуражку, с кивером в руках, я пошел во внутренние покои дворца. Проходя залу, смежную с комнатою, обыкновенно назначенною для караульного офицера кавалергардов, кирасиров и конногвардейцев, всегда постоянно занимавших внутренние караулы, я увидел в этой зале караул Преображенского полка, смененный и выстроившийся в три шеренги. «Здорово, ребята!» — сказал я им, проходя. «Здравия желаем, ваше высокоблагородие!» — отвечали преображенцы, узнав меня. Я прошел в комнату кавалергардского офицера. Он сидел, развалившись в креслах, погруженный в чтение французского романа, и при громком возгласе преображенцев, ожидая видеть генерала, приподнялся,

¹ Мне помнится, что я вам из Селенгинска отослал тетрадку, писанную В. И. Штейнгейлем со слов Фаленберга. Там вы ясно увидели, как гибельна была система откровенности. На эту удочку он попался, не будучи ни в чем виноват, не облегчив ни на йоту свою участь, а напротив,—добившись своею откровенностью до каторжной работы. Я мог бы привести много таких примеров, например, Дивова и других.

чтобы видеть пред собою начальника, но увидел меня, требовавшего: доложить государю, что я хочу его видеть. «Как доложить об вас?» — спросил он... «Скажите, что штабс-капитан лейб-гвардии Московского полка Бестужев желает говорить с ним», — отвечал я...

— Бестужев, — произнес он невнятно, опускаясь в свое кресло.

— Да... Бестужев, — отвечал я, — что же тут удивительного?

А между тем по всему дворцу поднялась суматоха и беготня. Флигель-адъютанты, камер-лакеи и гоф-фурьеры бегали, и шепотом произносимое имя «Бестужев» слышалось со всех сторон.

Прошло несколько минут в моих настоятельных требованиях видеть государя и в несвязных ответах караульного офицера, когда позади себя я услышал голос преображенского полковника (помнится мне, Микулина):

— Господин штабс-капитан Бестужев! Я вас арестую — пожалуйста свою шпагу.

— Извините, полковник, — отвечал я, — что лишаю вас этого удовольствия. Я уже арестован.

— Кто вас арестовал?

— Я арестовал сам себя, и вы видите, что шпаги при мне нет.

— Все это очень хорошо, — продолжал он, идя со мною рядом на главную гауптвахту в сопровождении двух конвойных, — но нехорошо то, что вы явились не на главную гауптвахту, а прошли во внутренние покои государя.

— Что же вы тут находите нехорошего? — спросил я.

— А то, что ваше похвальное намерение: добровольно отдаться в руки правительства — может быть истолковано не в вашу пользу, и вы можете за это пострадать.

— Но вы, полковник, своим свидетельством можете уничтожить такое обидное подозрение. Вы видите, что шпаги при мне нет, и увидите, что нет при мне ни кинжала, ни пистолета.

— Все это так, но лучше, если б вы явились на главную гауптвахту, как сделал ваш брат Александр Александрович.

Меня привели на дворцовую гауптвахту и, не снимая мундира, связали руки назад толстою веревкою...

III

АЗБУКА

Мне было невыносимо грустно, до боли тяжело на душе с той минуты, как посетил меня смиренный пастирь душ, этот седовласый священник, это смешное, жалкое орудие деспотизма...

Я не мог сомневаться в участии, мне назначенной, и ждал смерти спокойно, даже с нетерпением, и в самом деле, мог ли я ожидать пощады?.. Мог ли ожидать пощады человек, взбунтовавший полк, шефом которого был брат будущего императора, где не было ни одного члена нашего Общества, где самое приготовление к бунту сопряжено было с неимоверною осторожностью, потому что подозрительное правительство осетило все гвардейские полки мириадами шпионов, где даже Щепин-Ростовский, так решительно действовавший 14 декабря, не только не был членом, не имел ни малейшего понятия о цели, намерении, даже о существовании Общества, человек, приведший полтора батальона¹ Московского полка на площадь первым, невзирая на измену Якубовича². И впоследствии, на третьи сутки, я, добровольно явившийся во дворец на суд моих врагов, был арестован в полном гвардейском мундире, связан веревками, как последний уличный забияка, проведенный в таком положении двое суток без сна, почти без пищи на дворцовой гауптвахте, где, чуть не через час, как микстуру, я должен был глотать приемы унижения и ругательств. Когда, наконец, при третьем ночном допросе,

¹ Не надо забывать, что третьи батальоны квартировали по деревням, а рота графа Ливена и несколько десятков солдат из других рот не пошли за нами на площадь.

² Накануне 14 декабря было положено, и сам Якубович вызвался исполнить следующее распоряжение. Он должен был сперва явиться в полк гвардейских егерей и потом с ними зайти в Семеновский полк и, взяв его, уже прийти в полк москвичей. Мы с братом Александром долго его ждали, и, наконец, не дождавшись, я повел свою роту. Первым я вышел из казарм, первым пришел на Сенатскую площадь, в сопровождении полка, следовавшего за мою роту. Когда мы проходили по Гороховой улице, мимо квартиры Якубовича, он вышел к нам навстречу и присоединился к нам. Последующие его унижительные поступки вам хорошо известны. — Гвардейский экипаж, предводимый братом Николаем, и два батальона лейб-гренадер с Сутгофом и Пановым пришли гораздо позже, заслышав выстрелы московского караула против атаки конно-гвардейцев.

я, чтобы не впутать других, постоянно отвечал: «Ничего не знаю и ведать не ведаю», — гневный деспот, выбежав из кабинета и оторвав клочок бумаги, написал: «В крепость его — в железа!» и когда комендант Сукин, исполняя высочайшую волю, заковал меня и похоронил в одном из гробов Алексеевского равелина — после всего этого, — повторяю, — мог ли я чего-либо ожидать, кроме смерти?

И я ее ждал каждую минуту и призывал, как единственную спасительницу от томительной неизвестности. Я находился в экзальтированном настроении христиан-мучеников в эпоху гонений. Я совершенно отрешился от всего земного и только страшился, чтобы не упасть духом, не оказать малодушия при страдании земной моей плоти, если смерть будет сопровождаться истязаниями.

В одну из таких минут отворяются двери моей тюрьмы. Лучи ясного зимнего солнца ярко упали на седовласого старика в священническом облачении, на лице которого я увидел кротость и смирение. Спокойно, даже радостно, я пошел к нему навстречу — принять благословение, и, принимая его, мне казалось, что я уже переступил порог вечности, что я уже не во власти этого мира и мысленно уже уношусь в небо!

Он сел на стул подле стола, указывая место на кровати. Я не понял его жеста и стоял перед ним на коленях, готовый принести чистосердечное покаяние на исповеди, перед смертью.

— Ну, любезный сын мой, — проговорил он дрожащим от волнения голосом, вынимая из-под рясы бумагу и карандаш, — при допросах ты не хотел ничего говорить; я открываю тебе путь к сердцу милосердного царя. Этот путь есть чистосердечное признание...

С высоты неба я снова упал в грязь житейских дрызг...

В слуге алтаря я должен был признать не посредника между земною и небесною жизнью, не путевода, на руку которого опираясь, я надеялся твердо переступить порог вечности, но презренное орудие деспотизма, сыщика в рясе! Я не помню, не могу отдать верного отчета, что случилось со мною. Я поднялся с колен и с презрением сказал:

— Постыдитесь, святой отец! что вы, несмотря на

ваши седые волосы, вы, служитель христовой истины, решились принять на себя обязанность презренного шпиона?

— Я сожалею о тебе,— отвечал он в смущении и вышел.

Как подстреленный сокол, из поднебесья упал я на землю и стал озираться. Угар экзальтации начал испаряться, и прозаическая действительность, волею или неволею, начала вступать в свои права — я начал осматривать свой гроб, где мне предназначено испытать муки, гораздо тягостнее самой смерти. Моя тюрьма была комната довольно просторная, в восемь шагов длины и шесть шириною. Большое окно за толстою решеткою из толстых полос железа было сплошь замазано известью, и ко мне проникал какой-то таинственный полумрак. Против окна дверь в коридор, где ходил безответный часовой, обутый в мягкие туфли, чтоб его шаги были неслышны и чтоб он мог незаметно для слуха узника подойти к двери и наблюдать каждое его движение в четырехугольное отверстие, прорезанное в двери и закрытое темного цвета занавескою. Направо от входа деревянная кровать с жидким, грязным матрасом, покрытым простынею из грубого холста, с перьяною подушкою и одеялом из серого солдатского сукна. Подле кровати деревянный стол и такой же табурет. Печь выходила углом в комнату, налево от входа. Стены, выбеленные известью, были все исчерчены надписями, иероглифами, силуэтами и прочими досужими занятиями живых мертвецов.

Ревнивая осторожность тюремщиков тщательно их соскабливала, и нельзя было пожалеть об этом. Какую бы страшно замогильную хронику можно было прочитаты в сжатых фразах, в рисунках страдальцев! Какое бы назидательное занятие, какой урок терпения мог бы почерпнуть нововступивший мертвец, читая на стенах их свою будущую участь! — Я старался разбирать некоторые, частью уцелевшие от скрябка; читал, рассматривал с настойчивостью человека, у которого так много часов, давящих душу его, как свинец. Но, увы!.. все напрасно... У некоторых фраз уцелели только несколько начальных букв, у других обратно, у иных уцелели средние буквы. Силуэты и портреты, по большей части женские, и два изображения стариков, вероятно, пощаженные потому, что не могли говорить. Но сколько

любви, сколько потерянного счастья можно было прочитать в их изображении!.. Под одним портретом молодой девушки, дышащим какой-то неземною любовью, я долго старался разбирать по уцелевшим буквам четверостишие. Я читал и соображал так:

Ты на бы.. м.. бог
Но т. уж в.
Моли... там... прекр....
Чт.. я ско... т... уви

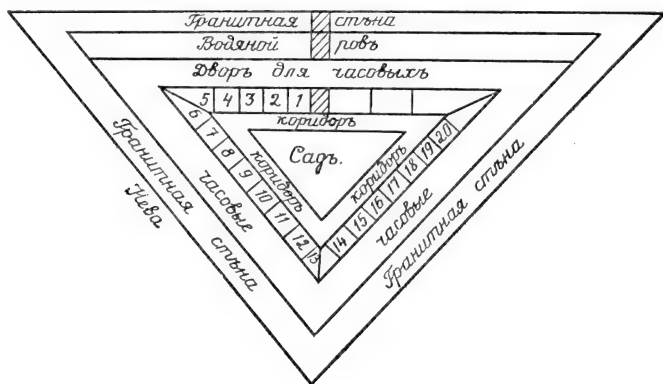
Я этот иероглиф понял так:

Ты на земле была мой бог,
Но ты уж в вечность перешла,
Молись же там... прекрасная,
Чтоб я скорее там тебя увидеть мог.

Под мужским портретом я разобрал: «...ат я ...ешил... на самоу...», как я понял: «Брат, я решился на самоубийство». Около портрета молодой женщины я с трудом прочитал: «Прощай, папан, навеки». Какие назидательные нравоучения для нового постояльца гробовой квартиры. Под гнетом таких впечатлений я долго бродил по моей клетке, осматривая каждый ничтожный предмет, прислушиваясь к каждому звуку. Слух изострился от постоянного напряжения до невероятной чуткости. Я даже мог сосчитать неслышные шаги часового от моего номера до конца коридора. Я сосчитал двадцать восемь шагов. Значит, от моего номера вправо, вычитая по два шага на толстоту стен, было еще три номера.

Впоследствии, когда нас водили в тайное судилище или, при наступившей весне, в сад, закрывая голову колапаком, я насчитал от моего номера влево до выхода еще 16 номеров, следовательно, всех номеров было, с моим, 20. Гуляя в саду, я заметил, что выход в сад, соответствующий входу в тюремное здание Алексеевского равелина, находился посредине фаса одной из сторон треугольника, внутри которого и был разведен маленький наш садик, и что другая половина фаса, налево от входа, была занята кухней и помещением секретной команды, оберегавшей узников. Это я заключил по дыму из труб летом, когда печки у нас уже не топились, и по людскому говору, чего не было слышно в наших могилах. В плане это человеколюбивое заведение можно изобразить так:

ПЛАН РАВЕЛИНА



Я дико по тюрьме бродил,
Но в ней какой-то холод был;
И веял от стены сырой
Какой-то холод гробовой.

Толстый железный прут наручников сжимал до онемения мои руки. Гробовая тишина давила мою душу... Я захотел узнать: есть ли хоть живая душа в моем соседстве. Начал стучать железами в одну из стен — нет ответа... В другую...— мне ответили едва слышными звуками слабого стука. «А что, если мой брат в соседстве?» — подумал я и засвистал мотив арии, только известный брату Николаю. Слышу, он повторяет этот мотив. Явившийся ефрейтор тайной стражи объявил мне, «что ежели я вперед повторю такую выходку, то меня посадят в такое место, где уже мне не захочется свистать». Я извинился незнанием их тюремного порядка и дал обещание себе не злоупотреблять их терпением.

В промежуток между совершенною тьмою и тем временем, когда вносили ночник в мой номер, я сажился в угол и тихо стучал пальцами в стену. В ответ на мой стук я получал такой же ответ от моего брата. Каждый день начинался взаимным стуком полного похода, что означало: «Здравствуй, здоров ли?». Когда же надлежало прекратить стук, мы били отбой.

Так прошло несколько дней, томительно скучных дней, ложившихся свинцовым бременем на мою душу, тем более, что меня уж начали мучить вопросными пунктами, в которых нас, как собак, усыкали и травили друг

на друга. Заставляя оправдываться в небылицах, ловили каждое необдуманное слово, всякое необдуманное выражение и, ухватясь за него, путали, как в тенета, новую жертву. Преимущественно эта травля была направлена против Рылеева и брата Александра, с которым я жил в последнее время на одной квартире, и против брата Николая, с которым я виделся почти каждый день, так как он жил в доме у нашей матери.

«Как бы хорошо,— думал я,— если бы можно было теперь говорить через стену с братом». Эта мысль глубоко запала в мою душу, и я начал обдумывать способ сообщения. Каждый сумерки я употреблял на стучание в стену ногтями азбуки по порядку букв, но брат меня не понимал. Он отвечал каким-то продолжительным стуком по длине стены, останавливаясь постоянно на одном и том же месте. В свою очередь, я тут вовсе ничего не мог понять...

Однажды утром как-то принесли снадобье для умывания; обряд весьма несложный в обыденной жизни, но в моем положении это было довольно затруднительно. Вообразите человека, которого руки разъединены толстым железным болтом... Мне уже нельзя было сказать: рука руку моет. Мне поочередно должен был мыть их прислужник, и потом я одною рукою мыл лицо. Предоставляю судить, каково-то мне было упражняться по письменной части в таких браслетах. В это утро умывальный прибор внес ко мне низенький солдатик, с выражением на лице неизъяснимой доброты. По обыкновению, я поставил табурет против двери, а он поставил на него большую муравленую чашку, взял со стола оловянную кружку с водою, назначенною мне с куском черного хлеба для пищи, и, снимая с плеч тиковый мой халат, наброшенный в накидку,— тихонько посоветовал мне поставить табурет у печки, говоря, что там будет теплее. Не понимая степени его участия, я приставил табурет к печке, он передвинул его в угол, куда взор бдительного часового не мог достигнуть, потому что угол выходящей печки заслонял нас совершенно.

— Посмотрите на себя, на что вы похожи, ваше высокоблагородие,— начал он едва слышным шепотом, намыливая мне левую руку.— Вам скучно... Попросите книг...

— Да разве можно?

— Другие читают, почему ж вам не можно?..

— Кто подле меня сидит?..— решил я его спросить.

— Бестужев,— отвечал он.

— А подле него и далее?

— Одоевский и Рылеев.

— Не можешь ли ты отнести записки к брату?

— П о ж а л у й , м о ж н о . Но за это нашего брата гоняют сквозь строй...

Я содрогнулся преступной мысли... Что за бесценный русский народ!.. Я готов был упасть на колени перед таким нравственным величием одного из ничтожных существ русского доброго элемента, даже не развращенного тюремным воспитанием. Из записок Сильвио Пеллико я знал, как тюремщик, простодушный австриец, нежный отец семейства, не хотел принять срочной работы шерстяного чулка без нескольких недовязанных рядов и на замечание Сильвио Пеллико, что он может ослепнуть, ежели его заставят довязывать чулок в потемках, тот со слезами на глазах, вздыхая, возражал: «Да!.. это очень может случиться, но вы должны исполнить заданный урок... а я — свою обязанность...». Как высоко стоял над ним этот необразованный солдатик, который в простой фразе «п о ж а л у й , м о ж н о» совместил все учение Христа. Я не решился воспользоваться добротой, бескорыстной в полном смысле, потому что я ничем не мог заплатить ему за услугу, когда он рисковал, может быть, жизнью. Когда привезли поляков, они его не пощадили... Пойманный, он был жестоко наказан и умер в госпитале.

На другой день после нашего таинственного разговора с солдатиком, при обычном утреннем посещении начальника нашей тюрьмы майора немца Лилиенанкера, высокого, сухого, седовласого, одетого всегда в форменный сюртук с красным воротником и в сопровождении его неразлучного аколита, начальника тюремной стражи,— я обратился с просьбой к первому и просил какой-нибудь книжки для чтения.

— Я доложу-с...— был ответ... Даже эта казенная фраза меня удивила, после того, как на все мои вопросы и просьбы я постоянно получал ответ: «не знаю-с...», а от тюремщиков-солдат: «не могу знать». Иногда, чтоб испытать степень их тюремной скромности, я спрашивал при ясном сиянии солнца: «Что, ясно или сумрачно на дворе?»

— Не могу знать,— был постоянный их ответ.

Ежели мы, временные жильцы этого монархического

заведения, должны были прозябать под гнетом такой таинственности, что же испытывали погребенные заживо на всю жизнь... Я это испытал в подобном императорском приюте — Шлиссельбурге!..

Через три дня мне принесли для чтения 9-й том «Истории государства Российского» Карамзина. Странная случайность!.. Почему именно 9-й том попал ко мне? Не для того ли, что судьба заранее хотела познакомить меня с тонкими причудами деспотизма и приготовить к тому, что меня ожидало? Хотя мне очень хорошо была известна эпоха зверского царствования Иоанна, но я предался чтению с каким-то лихорадочным чувством любопытства. Было ли это удовольствие — вкусить духовную пищу после томительной голодовки, или смутное желание взглянуть поближе в глаза смерти, меня ожидающей, я не знаю... Но я читал... перечитывал — и читал снова каждую страницу.

— Как твое имя? — спросил я однажды моего доброго, божественного солдатики, когда он подавал мне мыться в углу за печкою.

— Зачем, ваше высокоблагородие, вам знать мое имя. Я человек мертвый!..

И точно, как я узнал после, это мертвецы, которые ухаживают за мертвецами. Никто из них не преступает никогда роковой *Ponte di Sospiri*¹, отделяющий крепость от рavelина, из опасения, чтобы не выносили сор у из избы. Даже начальники этой страшной избы не иначе, как с позволения коменданта Петропавловской крепости, могут временно выходить на божий свет, и то с большими затруднениями. Закупщик провизии для узников — унтер-офицер, каждодневно выходящий для закупок, до нитки осматривается при выходе и возвращении и отстранен от всякого сношения с прочими тюремщиками. Все приспособлено так, чтобы могила была безответною.

— Что, Рылеев здоров? — спросил я его в другой раз.

— Здоров... Но грустит... такой бледный...

— Видно, его кормят, как меня, — хлебом черным да водою?

— Что вы, ваше высокоблагородие! Четыре-пять блюд и вино виноградное...

— Да? Отчего же он грустен?

¹ Мост Вздохов (ит.).

— Да уж больно бумагами мучат...

— А кто сидит справа от меня?..

— Не знаю... Какой-то больной. К нему лекарь ходит, и посменно у него... часовые безвыходно...

— Не при тебе ли был этот английский жентлемент,— спросил я, указывая на сохранившуюся английскую фразу в том углу, где я умывался.— Ты этого не поймешь. Тут написано *God damn your eyes*. Верно это был англичанин?

— При мне... Он умер спячкою... Он почти целые сутки спал... верно от скуки.

— Почему же ты ему не посоветовал, как мне, попросить книг?

— Такой оказии до вас у нас никогда не бывало. Да и теперь, если бы не плац-майорская барышня, никаких бы вам книг не давали.

Разговор, едва слышным шепотом, длился уже довольно долго. Продолжать его — значило подвергать страшной ответственности моего доброго солдатики. После я узнал, что больной мой сосед был Сергей Муравьев, раненный при восстании Черниговского полка.

Но кто была благодетельная фея узников, снабжающая их книгами, я узнал только уже в Чите, когда привезен был к нам в читинский каземат Корнилович. Он, с особенно ему свойственным комизмом, поведал нам, как перерзела дева, дочь плац-майора Подушкина, вспылала к нему неугасимым пламенем любви, увидав его в первый раз у окна его тюрьмы, кажется, Невской куртины. Вход в квартиру плац-майора был подле его окна, и она, изыскивая тысячи случаев его видеть, услаждала горесть его заключения серенадами, сопровождаемыми звуками гитары, как, например, из известного водевиля:

Он, сидя в башне за стенами,
Лишен там беденький всего,
Жалеть бы стали вы и сами,
Когда б увидели его, и т. д.

Наконец, решила писать к нему. Корнилович, жалуясь на скуку, просил прислать книг.

Какие могут быть книги у необразованной женщины?.. Чтоб по возможности удовлетворить желание своего любезного, как практически умная женщина она нашла верную дорогу: она обратилась к родным осужденных — облегчить их участь присылкою книг для чтения,

которые лучше всех конфет и булок могут облегчить тяжесть заключения их родственников. Пожертвования не замедлили завалить все ее комнаты обширною библиотекою. Чтобы замаскировать свою слабость к единственному предмету, для которого она все это делала, она заставила отца выпросить позволение рассылать книги и для других. И вот прозаический результат большей части мировых событий! Сентиментальная страсть перерзлой девы предотвратила, может быть, сотни положительных умов от сумасшествия в мертвящей тюремной жизни.

А между тем дни за днями тянулись бесконечною каительною; мое сумеречное стучание азбуки сопровождалось тем же непонятным ответом брата, и я приходил в отчаяние. В один из таких вечеров меня внезапно посетила светлая мысль: «Не от того ли брат меня не понимает, что стук азбуки единообразным стуком по порядку букв — причиною его недоразумения?»... Соображая затруднения изъясняться посредством такой азбуки, где, например, буква «я» должна стучаться 32 раза, я вскочил из своего заветного угла и менее, нежели в полчаса, составил другую азбуку, совершенно на новых основаниях.

Принимая в соображение, что краткость есть основание сообщений, я должен был составить мою азбуку на основании кратковременности. Так как брат мой был моряк и потому должен быть знаком со звоном часов на корабле, где часы или склянки бьют двойным кратковременным звоном, то я распределил мою азбуку так:

	•	•	••	••	• ••		•	••	•••	••••
	Б.	В.	Г.	Д.	Ж.		А.	Е.	И.	О.
•	З.	К.	Л.	М.	Н.	—	У.	Ы.	Ю.	Я.
• •	П.	Р.	С.	Т.	Ф.					
• • •	Х.	Ц.	Ч.	Ш.	Щ.					

Эти иероглифы я начертил обожженным прутиком из веника, случайно выпавшим, когда подметали мою ком-

нату. Я их начертил на одной из страниц примечаний к 9-му тому Росс. Истории Карамзина. Как любопытно было бы узнать, что мог заключить собственник этой книги, когда она была ему возвращена, увидев эти непонятные начертания?.. Мог ли он предполагать, что они заключают в себе источник неизреченных, невыразимых наслаждений живых мертвецов, что это есть язык, которым говорили обреченные на томительную смерть люди в *Citta dolente* ¹.

Чтоб познакомить вас ближе с моею азбукою, я должен обратить Ваше внимание преимущественно на то, что в ней согласные буквы были явственно разделены от гласных особенным стуком, что отличало ее от всех способов сообщения других наших союзников. Эта особенность давала возможность в разговоре, ежели вы и не дослышали две, даже три согласные буквы, то ясный стук одной или двух гласных букв давал вам возможность восстановить целое слово, не требуя повторения.

Кроме того, все согласные буквы, доходявшие до вашего слуха в одном и том же однообразном порядке или, лучше сказать, в одном и том же образе или виде двойных учащенных звуков не далее шестой цифры — но только предшествуемые однократным или двукратным стуком, не напрягали вашего внимания считать число ударов. Вы без всякого счета только следили за двойными ударами, предшествуемыми тройным ускоренным стуком. Так, например: в утреннем нашем приветствии: *здорово* я стучал тройку скоро и потом двойку, как бьют на корабле две склянки ($\dots || \cdot$), и это будет означать букву з. Потом двойку, двойку и один раз ($|| \cdot || \cdot |$), это буква д. Потом четыре раздельных звуков (\dots), т. е. букву о. Потом на конце, расслышав явственно *в* и *о*, пропустив средний слог, мне не трудно будет догадаться, что это слово *зд-оро-во*. Практичность этой системы мы вполне изведали в шлюссельбургских могилах. Там я, разъединенный с братом Николаем шестью нумерами казематов, мог переговариваться с ним, при растворенных окнах, через весь двор, постукивая обожженною палочкою в железную решетку. Когда случалось, что звуки согласных букв поглощались или говором часовых, или криком птиц, изловив две, три гласные, я легко восстанавливая целое слово и это тем легче, что внимательнее следил за излагаемою мыслью.

¹ Город скорби (ит.).

Азбука брата Александра, придуманная им для разговора с соседями, была составлена им тоже на основании — сократить, по возможности, бесконечное стучание букв. Тридцать букв он разделил на три десятка, каждому десятку предшествовал свой опознавательный стук. Недостаток ее состоял именно в том, что гласные и согласные стучались одинаково медлительным стуком, который все-таки надо было считать, что утомляло и ухо, и голову, и где слушающий, беспрестанно смешивая гласные с согласными, заставлял повторять фразу, что было тяжелою пыткой для стучащего.

Снова началась моя прежняя процедура неутомимого стучания, но только по новой моей методе, и снова я должен был каждый день слышать разочарование моим надеждам. Как мог не истощиться запас моего терпения при таких неудачах, понять может только тот, кто, быв погребен заживо в могилу, хочет достучаться человеческого сочувствия, хотя стучась головою в стену своего гроба... И я, наконец, достучался до этого счастья.

Не помню хорошенько когда, но, кажется, на вербной неделе, я услышал мерные шаги моих приставов; дверь отворилась, и предо мною предстал седовласый Лилиенанкер в сопровождении своего неразлучного аколита. Он вручил мне письмо от матери, поклонился и вышел. Я слышал, как дверь брата Николая тоже отворилась, и через минуту они удалились. Следовательно, и брату передано такое же письмо. Я прочитал свое. В нем, как бы под диктовку какого-нибудь генерал-адъютанта, мать слезно меня умоляет верить в милосердие государя, которое будет соразмерно с моим чистосердечным признанием, и вместе с тем уведомляет, что государь назначил ей, а по ее смерти дочерям ее 500 рублей ассигнациями годовой пенсии.

В эту минуту у меня блеснула счастливая мысль. Попытаюсь в последний раз дать знать моему брату, что я хочу объясняться с ним через стену, как наша мать объясняется с нами через бумагу. Я подошел к стене и начал шаркать письмом и услышал то же от брата. Тогда я начал стучать в стену азбуку уже не пальцами, а болтом моих браслетов. Слышу, брат отодвигает свою кровать от стены и что-то чертит по ней; я повторил азбуку пальцами. Слышу, брат записывает на стене. Слава богу! — он понял, в чем дело!

В промежуток этой операции я удостоился особого визита от ефрейтора, который любопытствовал узнать причину моих неистовых восторгов. Я объяснил, что письмо матери и милость государя меня совершенно свели с ума и я в восторге верноподданнической благодарности сам не знал, что делал. Мне заметили, что даже и верноподданнические чувства здесь не выражаются шумливо и что ежели они другой раз перейдут границы заведенного порядка, то мне будет очень худо. Я дал обещание быть вперед скромно-верноподданным, и меня оставили...

С замиранием сердца снова сел я в свой угол, когда наступили сумерки, и ожидал, что скажет брат...

— Здорово!..— простучал он мне.

— Здравствуй,— отвечал я.

— Здоров ли ты?

— Здоров, но я закован в железа!..

— Я плачу,— был ответ, и больше ничего...

Я блаженствовал. Я был счастлив, вполне уверившись, что подле меня был точно мой брат, которого я так любил, с которым теперь я могу говорить и уверить его в моих неизменных чувствах, кроме того — я могу его разуверить в том, что все показания, которыми старались нас вооружить друг против друга, была уловка секретной комиссии, чтоб уловить нас. Одним словом, я находился в положении ожившего в гробу мертвеца, который, почуяв веянье атмосферного воздуха, хочет пожить еще настолько, насколько позволяет могила.

Наступила ночь...

Ни я, ни брат глаз не смыкали. Я — от невыразимо приятного волнения, брат — от желания поскорей освоиться с азбукою. Едва начал брезжить рассвет, как он уже довольно бойко простучал обычное приветствие:

— Здорово!

— Ты получил письмо от матушки? — спросил я.

— Получил.

— Уведомляет она тебя о пенсии?

— Да!..

— Умоляет об искренности показаний?

— Да?..

— Ну, значит, это дубликат с моего. Мы все, пять братьев, куплены по сту рублей за голову, но это корки хлеба для матери. Обещание помилования ценою откровенности есть ловушка довольно пошлая.

— Я сам то же думаю.

— Не знаю, как ты ведешь свои ответы, а я не изменю своей системы: знать не знаю, ведать не ведаю, и потому не верь, когда тебе будут сплетничать на меня.

Этот монолог, который можно прочесть в полминуты, длился почти до полудня, по причине перерывов и беспрестанных опасений. Тем более, что и брат, выучивши наизусть азбуку, но не свыкшись достаточно со звуками, принужден был, прерывая меня, бегать вдоль стены, справляясь с своим царапаньем.

Впоследствии мы до того усовершенствовали нашу азбуку и так скоро и свободно говорили, что наш разговор немногим длиннее был изустного. Для доказательства я приведу пример.

Вопросные пункты нам обыкновенно приносил Лилиенанкер и спрашивал: «Сколько вам нужно листов для ответов?» Я объявлял число листов по соображению, и он удалялся за письменным прибором. Тогда этого промежутка времени было довольно, чтобы сообщить брату кратко сущность вопроса и мой ответ. С своей стороны он делал так же. А иногда мы получали оба одновременные вопросные пункты, и как мы тогда смеялись, сообщая друг другу сплетни, придуманные нашими друзьями-инквизиторами.

Правда, много протекло скучно-томительных дней, употребленных нами на усовершенствование наших сношений, на способы скорее передавать буквы, на знаки препинания и предостережения, на сигналы для вызова к разговору и прочие изменения, каким подзергалась вседневно наша азбука,— и этим опытам мы обрекали себя, когда душа рвалась к задушевной беседе.

К числу главных усовершенствований нашей азбуки должно упомянуть нашу геройскую решимость: выкинуть из согласных 10 букв, а из гласных 4, так что азбука приняла такой вид:

	•	•	•	• •	• •	•	• •	• • •	• • • •
	Б.	В.	Г.	К.	М.	А.	И.	О.	У.
• •	Н.	Р.	С.	Т.	Ш.				

Всякому покажется непонятным, каким образом мы могли понимать друг друга с таким ограниченным числом звуков. Я скажу в ответ, что все зависит от привычки. Вам, вероятно, случалось встречать в своей жизни множество косноязычных, и Вы их понимали, употребляя некоторое умственное усилие. Вы встречали картавых, шепелявящих, Вы встречали многих и из разных концов нашей матушки-Руси, где сплошь да рядом заменяют одни согласными другими и с гласными поступают так же. Ну, теперь вообразите субъекта, который в одном лице совместил все эти недостатки, и он ведет с вами речь!.. Не спорю — Вы будете в большом затруднении сначала понять его, но если речь Вас интересует, Вы, наконец, ее поймете — а меня с братом интересовало каждое слово. Теперь Вам будет понятна наша азбука.

Для Вас будет и скучно и утомительно читать подробное исчисление всех тонкостей наших сношений. Сигналы предостережения, сокращения, а главное, знак, что я понял фразу, хотя бы она только начиналась одной буквой. Этот знак способствовал быстрой текучести речи, а часто весь разговор состоял из начальных букв фразы, беспрестанно прерываемой знаком, что «я понимаю». К довершению полного изображения картины я должен упомянуть об обожженной палочке из венника, случайно выроненной, когда подметали мой каземат. Эта обожженная палочка заменила мне пальцы, распухшие от беспрестанного стучания, и ногти от невыносимой боли. При этом не могу не улыбнуться при воспоминании — когда нам, по прочтении сентенции, позволено было видаться с родными и когда я, в присутствии коменданта Сукина, передал эту палочку одной из сестер, сказав ей тихо: «Prenez, c'est ma langue»¹, — разрешение их недоумений длилось долго — до их прибытия в Селенгинск, куда они приехали, чтоб разделить тяжкую участь братьев.

Мне остается объяснить, от чего происходило такое продолжительное недоумение брата, когда я пытался передать ему мою азбуку. Он, так же как и я, чувствовал неодолимую потребность беседовать со мною. К его несчастью, постукивая стену в различных местах, он попал на такое место, где толстая стена, более аршина толщиной, была пробита сквозным четырехугольным отверстием, заложенным только одним рядом кирпичей. По

¹ Возьми, это мой язык (фр.).

звукам в пустом пространстве он заключил, что и с моей стороны отверстие было заложено только одним рядом кирпичей, и он возымел намерение просверлить этот ряд и потом, заставив меня сделать то же с моей стороны, сообщаться изустно. Просверлить... Это так легко сказать, но исполнить — это другое дело... Как и чем мог он исполнить свое намерение — составляет эпизод самый занимательный нашей тюремной жизни и доказывает, как настойчивая воля берет верх над всеми затруднениями. Он начал с того, что, выломив одно крыло из жестяной перпетюэльки, это крыло, в продолжение двух недель, вострил и точил на кирпиче печи, куда глаз часового не достигал. Потом этим инструментом, ночью, отщепил длинную лучину от ножки своей кровати. Для соединения этого ножика с лучиною он употребил нитки, вырванные из одеяла. Таким-то снарядам он дошел до того, что слой кирпичей с его стороны был пробуровлен. Он ожидал такого же результата с моей стороны. Но увы!.. я продолжал настойчиво стучать свою азбуку, а он, под влиянием своей постоянной идеи, давал мне знать, что я совсем не в том месте буравлю стену. Так длилось время до вышеупомянутого обстоятельства, положившего конец нашим мучениям и начало нашего счастья.

Когда мы наговорились досыта, нам захотелось расширить далее наше сношение с соседями, и преимущественно с Рылеевым, который сидел только через один номер от брата. Но, к несчастью, в этом номере сидел Одоевский, молодой пылкий человек и поэт в душе. Мысли его витали в областях фантазии, а спустившись на землю, он не знал, как уговорить потребность деятельности его кипучей жизни. Он бегал, как запертый левенок в своей клетке, скакал через кровать или стул, говорил громко стихи и пел романсы. Одним словом, творил такие чудеса, от которых у наших тюремщиков волосы подымались дыбом. Что ему ни говорили, как ни страдали — все напрасно. Он продолжал свое, и кончилось тем, что его оставили. Этот-то пыл физической деятельности и был причиною, что даже терпение брата Николая разбилось при попытках передать ему нашу азбуку. Выждав тихую минуту в его каземате, едва брат начинал стучать ему азбуку, он тотчас отвечал таким неистовым набатом, колотя руками и ногами в стену, что брат в страхе отскакивал, чтоб не обнаружить

нашего намерения. После долгих упорных попыток, когда, наконец, он понял, в чем дело, и когда брат уже трубил победу и мы рисовали в своем воображении удовольствие и пользу в сношениях с Рылеевым, надо же случиться на беду нашу, что самая ничтожная безделица разбила в прах наши мечты... Одоевский не знал азбуки по порядку...

ИЗ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ М. И. СЕМЕВСКОГО

1860—1861 гг.

ПРЕБЫВАНИЕ В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ И ПЕРЕЕЗД В СИБИРЬ

В сентябре нас с братом повезли в Шлиссельбург: там мы пробыли до октября следующего года в заведении, подобном человеколюбивому заведению Алексеевского равелина, ухудшенному отдаленностью от столицы и 30-летним управлением генерал-майора Плуталова, обратившего, наконец, это заведение в род аренды для себя и своих тюремщиков на счет желудков несчастных затворников, получавших едва гривну медью на дневной харч, когда положено было выдавать по 50 коп. ассигнациями. Этот Плуталов в свое 30-летнее управление до такой степени одеревенел к страданиям затворников, что со своими затверженными фразами сострадания походил скорее на автомата, чем на человека, сотворенного богом. Когда я его просил купить на остальные мои деньги каких-либо книг, он мне отказал, ссылаясь на строгое запрещение. Я просил его купить по крайней мере французскую, итальянскую и латинскую библию. Он все обещал подарить мне собственную французскую библию в знак памяти и умер, не прислав ее, хотя я всякий день напоминал ему через тюремщиков и каждую неделю лично ему, когда он являлся с пошлыми утешениями. С братом Николаем он где-то в Петербурге познакомился, и когда Плуталов стал его приглашать к себе в Шлиссельбург, то брат, смеючись, отвечал, что «непременно приедет, а ежели вздумает не приехать, то привезут»... Этот намек, пропущенный им без внимания, Плуталов припомнил при нашем ему представлении.

Я был помещен в маленькую комнатку в 4 квадратных шага, из коего надо вычесть печь, выступающую в

комнату, место для кровати, стола и табурета. Это была та самая комната, где содержался в железной клетке Иван Антонович Ульрих, где и был убит при замыслах Мировича. Комната стояла отдельно, не в ряду с другими номерами, где помещались брат Николай, Иван Пущин, Пестов, Дивов и другие; те комнаты были просторны и светлы и имели ту выгоду, что, будучи расположены рядом по одному фасу здания, доставляли заключенникам <возможность> сообщаться посредством мною изобретенной азбуки, а летом, при растворенных окнах, даже разговаривать в общей беседе. Когда Плуталов умер у ног Незабвенного, пораженный апоплексическим ударом при подаче еженедельного рапорта, назначен был генерал Фритберг для исправления всех упущений, вкравшихся в 30-летнее управление прежнего коменданта. Мы вздохнули свободнее. Он дал нам все по положению: халаты, белье, тюфяки, постельное белье, и устроил общее приготовление пищи, что дало нам возможность иметь табак и даже чай. Комнаты начали поправлять и белить. Меня временно перевели в одну из комнат общего фаса, просторную, светлую и чистую. Погода стояла теплая, окно открыто. Я подошел к нему и оцепенел от восторга, услышав в едва слышимых постукиваниях, подобно скрипу червячка, точащего дерево, вопрос (как я узнал после) Пуштина, который спрашивал Пестова: «Узнай, кто новый гость в твоём соседстве?..». Не помня себя, позабыв обычную осторожность, я бросился к окну, начал стучать и тем чуть не испортил дела. Меня вовремя остановили, и я, узнав все законы их воздушной корреспонденции, часто разговаривал даже с братом Николаем, сидевшим в самом крайнем номере, так что между нами находилось шесть комнат.

Около половины сентября нас четверых: Барятинского, Горбачевского, меня и брата свели вместе, заковали в ножные железа и с фельдъегерем отправили в Сибирь.

Радость наша, когда мы увидели свет божий и могли свободно говорить, была так велика, что мы превратились в ребят: мы болтали без умолку, обнимались, смеялись и готовы были делать разные глупости. Это состояние духа не оставляло долго нас в дороге, так что те, кто нас видел, почитали сумасшедшими, и это мни-

мое наше несчастье было передано нашим товарищам, ехавшим вслед за нами.

Фельдъегерь, везший нас (Чернов), был существо гнусное, который из корыстолюбия, чтоб не отдавать прогонов, где их у него требовали или где он подзревал, что их потребуют, загонял лошадей,— а вы знаете, загнать курьерских лошадей нелегко,— и для этого он гнал и в хвост и в голову, и часто наша жизнь висела на волоске. Припомните, что мы отправились в самую распутицу, по сквернейшей ярославской дороге, мощенной бревнами, истомленные тюремною жизнью и едва держась на тряской тележке, и притом закованные. Кормил он нас одним молоком и простоквашей, нигде не останавливался для отдыха, так что мы, наконец, требовали от него, чтоб он нам показал инструкцию, и ежели в ней нет ему положительного приказа убить нас, то мы будем на него жаловаться в первом городе. Он приусмирел, дал нам временный отдых, тем более, что у некоторых из нас, особенно у меня, не имеющего и доселе способности спать дорогой, начали показываться признаки белой горячки. Но его кротость продолжалась недолго: снова он начал неистовствовать и трижды чуть не раздробил нас вдребезги.

Не доезжая до Тобольска, не помню, в каком городке, нас ожидал сенатор Куракин, имеющий (по его словам) приятное поручение от государя узнать о наших нуждах, не имеем ли жалоб, не желаем ли о чем просить его. Когда мы объявили, что ни в чем не нуждаемся, ни на кого не жалуемся, ничего не хотим просить у него,— я объявил просто, без всякой просьбы, что кузнец в Шлиссельбурге второпях заковал мои ноги в переверт, что железа растерли мне ноги и я не могу ходить.

— Чего же вы хотите? — спросил он с удивлением.

— Как чего, ваше сиятельство? чтобы вы приказали меня заковать, как следует: это должен бы сделать наш фельдъегерь, но он не хотел.

— Извините, я этого сделать не могу,— ответил он, вежливо кланяясь...

Какова отеческая заботливость!.. Все делалось, чтобы морочить публику громкими фразами и милостивыми манифестами.

Мы прискакали в Тобольск в 12-й день, грязные, разбитые и едва не убитые на Суксунском спуске в Томской губернии. Наш фельдъегерь, по обычаю, саблею на-

голо до того избил эфесом ямщика, что когда лошади подскакали к спуску в $1\frac{1}{2}$ с лишком версты и он, в ужасе ухватившись за ямщика, закричал: «Держи!», ямщик, бросив ему вожжи, ответил: «Ну, барин, ваше благородие, теперь держи сам!» Фельдъегерь схватил вожжи, направил коней на первую к нему повозку Барятинского, спускавшуюся шагом. Брат Николай, сидевший с ним, тщетно кричал ему, что он всех погубит: фельдъегерь, как утопающий, хватался за соломинку. Вся тройка буквально вскочила в тележку Барятинского, который едва успел броситься на свою коренную и тем едва спасся от неминуемой смерти. Вся масса шести сцепившихся коней, бесясь и обрывая упряжь, спускалась тучею на телегу Горбачевского, кони которого в испуге шарахнулись, понесли под гору и, задев за мою телегу, опрокинули ее. Я, падая, повис своими железками на задней оси, а кони, испуганные падением телеги, понесли в свою очередь и повлекли меня, как Гектора за колесницей Ахиллеса. Спасением от неминуемой смерти я обязан был только тому, что упавший ямщик, переломив правую руку в двух местах, не мог уже ее высвободить от запутавшихся около нее вожжей и, тащась под колесом, затащил левую вожжу коренной так сильно, что, притянув ее голову к самой оглобле, принудил ее заворотить поперек дороги и упереться в скалу, где пролежала дорога. Изнемогая от боли, я не мог шевельнуться, а между тем с ужасом видел, как масса сцепившихся лошадей повозок брата Николая и Барятинского катится на меня. И эта масса точно на меня надвинулась: поперек дороги стоявшая моя повозка их остановила, и взбешенные кони неистово били надо мною. Три раза острые шипы подков коренной задевали мою голову, но только один раз пробили череп: два удара я получил вскользь и только сорвало кожу. Брат Николай бросился и, с опасностью быть смятым в свою очередь, кое-как меня вытащил из-под копыт лошадей. Повозка же Горбачевского мчалась с такою быстротою, что на повороте, встретив воз с сеном, быстро повернув, выбросила далеко в сторону его, двух сидевших с ним жандармов и ямщика. Горбачевский страшно разбил все лицо, ямщик переломил руку, а один из двух жандармов, переломив крестец, умер на дороге.

Пешком, изломанные и окровавленные, мы кое-как добрались до деревни, где, благодаря брату Николаю,

уцелевшему в этой катастрофе, все раненые получили первую помощь, какую возможно было получить при содействии сострадательных поселян. Наш фельдъегерь, под влиянием недавнего ужаса, поклялся нам перед образом, что будет смирнее, — и точно, сдержал свое слово... целые два дня, а потом началось повторение тех же сцен. По приезде в Тобольск, когда он проведал, что губернатор лично опрашивает проезжающих государственных преступников: не имеют ли они претензий? — этот презренный опричник не постыдился на коленях выпрашивать нашего прощения — и мы простили ему.

В Тобольске, как в мирной пристани, мы надеялись хоть отдохнуть от мучительной дороги, а главное, надеялись сходить в баню, чтобы переменить грязное белье, которое мы не имели времени переменять дорогой, а нижнее — не имея возможности по причине наглухо заклепанных желез. Нам вышло милостивое разрешение. Мы собрались — и вдруг, неожиданно, нас посадили на тележки и отправили далее. Наши блестящие мечты рассыпались прахом. По-прежнему грязные, изможденные, мы отправились в бесконечную даль, и даже мне, умоляющему, чтоб по крайней мере меня п е р е к о в а л и, отказали в просьбе и обрекли на нестерпимые мучения. Что же было причиною такого неожиданно-скорого отправления? — прибытие следующей партии наших товарищей в Тобольск и страх, чтоб следующая за нами партия нас не опередила!!! О, бюрократическая Россия! тебя готовы загнать, погубить администраторы, только бы не нарушить нумерацию: 1, 2, 3, 4 и так далее...

До Иркутска был назначен в наши провожатые квартальный офицер О р е л и два жандарма, уцелевшие от роковой катастрофы. Этот Орел был мокрая курица, человек добрый и ленивый, личность, совершенно противоположная фельдъегерю Чернову. Мы ехали, как хотели мы; останавливались там, где мы хотели и сколько хотели мы. В этот переезд мы несколько отдохнули и поправились здоровьем.

По прибытии нас поместили в острог, обширное каменное здание. Губернатор Цейдлер, человек благородный, нас посетил и постарался не словом, а делом исполнять все наши просьбы. Нас расковали, сводили в баню и доставили случай даже прочесть некоторые газеты. После претерпенных лишений это было истинное наслаждение. Но то наслаждение, которое он, по своей до-

броте, доставил нам с братом Николаем, я никогда не забуду. Вечеру, в последний день нашего отправления из Иркутска, он пришел к нам и объявил по секрету, что брата Александра привезли и что он позволяет эту последнюю ночь провести вместе с ним. О, какая ночь! Мы увидели его с Матвеем Муравьевым. Их везли из Шлиссельбурга, куда поместили временно до собрания полной партии. Брат описывал нам свою жизнь в крепости Фортславе. Им было не худо потому только, что там не было такого богоугодного заведения, вроде Алексеевского равелина или Шлиссельбурга, почему они все могли быть вместе и делить горе вместе. О Шлиссельбурге он вспоминал с ужасом, проведши там только два дня, и когда мы ему рассказали все ужасы нашего положения, то он, перекрестившись, сказал: «Благодарю тебя, создатель, что ты меня избавил от этого: я бы с своим характером непременно сошел с ума». Перед рассветом мы простились. Он выпросил у меня на память немецкую библию, а мне дал «Parnasso italiano»¹. Прощальный поцелуй был последним в этом мире.

Был декабрь — Ангара катила страшную шугу. Сообщение через Байкал было невозможно, и нас отправили в Читу кругоморскою дорогою, верхом. Провожатым нашим был квартальный офицер Петров, прекурьезное существо. Это была олицетворенная доброта в рамке непроходимой глупости. Ежели прибавить, что эту рамку обвивал хмель в самых затейливых узорах, вы будете иметь схожий портрет с оригиналом. Много нам было с ним и смеху и горя.

ИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТВЕТОВ

1869—1870 гг.

<ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЩЕСТВО В КАЗЕМАТЕ>

(Во время пребывания в Петровском просили ли Вы о позволении печатать Ваши сочинения?)

В Петровском Заводе, во внутренности казематского здания, рядом с кухнею, был выстроен обширный зал, предназначенный для общих наших обедов и ужинов.

¹ «Итальянский Парнас».

Но так как мы обедали и ужинали каждый отдельно в своем коридоре, то впоследствии это зало служило училищем для 30 мальчиков, которых мы обучали под предлогом обучения церковному пению. По инициативе Петра Александровича Муханова в этой же зале раз в неделю происходили литературные вечера. На этих вечерах мы читали собственные свои сочинения или вновь появившиеся в печати оригинальные произведения русского пера. Однажды мы читали одну из морских повестей, наводнивших в то время нашу и без того водянистую литературу из жалкого подражания знаменитым романам Купера и Мариетта. Некоторые из моряков, а особенно я,—мы горячо ратовали об этом смешном кривлянии обезьян, которые воображали, что они пишут морские сцены и повести, наспиговав пошлую повесть морскими терминами и командными словами, да еще без толку и без смысла перепутав и то и другое. Муханов, обратясь ко мне, сказал:

— *La critique est aisée, mais l'art est difficile*¹. Напиши свою, и это будет лучшим опровержением.

Вскоре, на одном из вечеров, я прочел первую свою морскую повесть: «Случай—великое дело», которая так удалась мне, что была единодушно одобрена всеми, и наши дамы поочередно приглашали брата Николая к себе для чтения этой повести. Может быть, успехом я много обязан необыкновенному искусству брата читать вслух. Он был отличный чтец, единственный, какого я не встречал в жизни никогда более, к тому же он от частого повторения читал мою повесть почти наизусть. За этим первым опытом на новой почве нашей литературы я написал целый ряд других морских повестей: «Черный день», «Наводнение в Кронштадте 1824 года» и проч. Около того же времени брат окончил свою повесть «Русские в Париже». Муханов как председатель нашего общества и как истый любитель русской литературы и компетентный ценитель ее упросил некоторых дам написать в Петербург к родным и попытать, не будет ли позволено нам печатать наши сочинения, т. е. сочинения всего нашего литературного кружка, так как, по его мнению, уж очень довольно было написано очень дельного по всем отраслям

¹ Критика легка, но искусство трудно (фр.).

литературы. Дамы согласились. Писали в Петербург — в Петербурге просили, ходатайствовали, и ответом было — молчание.

ПЕСНЯ «ЧТО НИ ВЕТР ШУМИТ...»

В торжественный, святой день 14 декабря 1829-го или 30-го года — не могу припомнить, — но только в каземате Петровского острога — я сидел в коридоре, куря трубку после нашего утреннего питья чая. Ко мне Тютчев зашел.

— Хочешь чаю?

— Пожалуй, выпью стакан, дай трубку...

— Возьми сам и садись, гость будешь. Ну что, *mon cher*¹ (это его обычное присловие), ты нас сегодня распотетишь, споешь нам «Славянские девы» после обеда? — спросил я.

— Кажется, спую, но как — это другое дело. Злодей Вадковский измучил меня, *mon cher*! Вытягивай ему каждую нотку до последней тонкости, как она у него написана на бумаге. Я так не привык, да и нот вовсе не знаю. У нас в Семеновском полку был великолепный хор песельников. Как пели русские песни!! Ах, *mon cher*! После разгрома полка нашего мне уж никогда не удавалось слышать ничего подобного. А управлял хором я; ни я, никто из моих молодых, мы нотки не знали, а как пели, *mon cher*! Душа замирает. Сладко, согласно, никто на волос не сфальшит. А ежели и случался такой грех, то весь хор так и набросится на несчастного.

— Ну, скажи, как же они знали, что он фальшил?

— А от того, *mon cher*, что у меня, как и у каждого из них, камертон был в душе, а ухо — в сердце. Вот если б Одоевский, вместо своих дев, да написал что-нибудь в русском духе — знаешь этак — просто русскую песенку, где бы хоть слегка были упомянуты мы — черниговцы, когда мы шли с Муравьевым умереть за Святую Русь, — ну тогда бы ты, *mon cher*, сказал русское спасибо Тютчеву. Прощай — до скорого свидания за обедом.

Этот безыскусственный, простой рассказ утвердил меня в постоянном моем мнении о музыкальном чутье

¹ Любезный (фр.).

русского народа. Сойдутся пять-шесть человек русских из разных концов России — запоют песню — прелесть!.. Они не поют в unisson, как большая часть других народов, но голоса бессознательно разделяются музыкально. А преимущественно русские песни они поют гармонически. Тютчев обладал таким мягким, таким сладостным тембром голоса, которого невозможно было слушать без душевного волнения в русских песнях, а в особенности в песнях: «Не белы-то снежки» или «Уж как пал туман на сине море». Понимая его очень хорошо, что «Славянские девы», написанные Одоевским и положенные на музыку Вадковским, — и стихотворение, и музыка обладают неоспоримыми достоинствами, — я смутно предчувствовал, что Тютчев не произведет своим голосом того впечатления, какого ожидали от этой арии. Я взял карандаш и написал русскую песню на тему: «Уж как пал туман на сине море» — песню, которую он пел невыразимо хорошо.

Что ни ветер шумит во сыром бору,
Муравьев идет на кровавый пир...
С ним черниговцы идут грудью стать,
Сложить голову за Россию-мать.
И не бурей пал долу крепкий дуб,
А изменник-червь подточил его.
Закатилася воля-солнышко,
Смертна ночь легла в поле бранное.
Как на поле том бранный конь стоит,
На земле пред ним витязь млад лежит.
Конь! мой конь! скачи в святой Киев-град:
Там товарищи — там мой милый брат...
Отнеси ты к ним мой последний вздох
И скажи: «Цепей я снести не мог,
Пережить нельзя мысли горестной,
Что не мог купить кровью вольности!..»

Я не ошибся в своем предчувствии... Несмотря на экзальтированное настроение присутствующих на обеде, который мы постоянно устраивали 14 декабря, когда, по окончании его, вышел хор и запел гимн «Славянских дев», впечатление на слушателей было не заметно, хотя гимн был аранжирован превосходно — мотив его очень близко подходил к мотиву гимна «Боже, царя храни» Львова, и точно как будто бы гимн Львова был скомпонован по его образцу. В последнем куплете, где речь относится прямо к России и где Вадковский, неприметными оттенками гармонии, переходит в чисто русский

мир и заканчивает мотивом русской песни,— все присутствующие невольно встрепнулись, а особенно, когда слышался в этом куплете упоительно задушевный голос Тютчева.

Он пел:

Старшая дочь в семействе Славяна
Всех превзошла величием стана.
Славой гремит — но грустно поет [живет],
В тереме дни проводит, как ночи,
Грустно чело — заплаканы очи
И заунывные песни поет.
Что же не выйдешь в чистое поле —
Не разгуляешь грусти своей?
Светло душе на солнышке-воле,
Сердцу светло от ясных лучей.
В поле спеши с меньшими сестрами
И хоровод веди за собой —
Дружно сплетаясь, руки с руками,
Радостно песню свободы запой...

Но когда, после некоторого промежутка, слышался симпатический голос Тютчева в простой русской песне «Что ни ветер шумит», где он был неподражаемо прекрасен, восторг был необычайный. Все бросились его обнимать, меня хотели качать на руках. Я убежал в свой номер и заперся.

Вот мой ответ на Ваш вопрос. Как я ни старался сделать его более кратким, но не сетуйте, ежели я во зло употребляю Ваше терпение, полагая, что излишняя краткость ведет ко многим недоумениям.

<КАЗ НЬ РЫЛЕЕВА>

...Сорвались с петли из пяти висельников точно трое: М. Бестужев, С. Муравьев и третий, ты говоришь, Каховский: я утверждаю — Рылеев. Ты основываешь свое убеждение на словах плац-майора Подушкина, плац-адъютантов и офицера Волкова; но из всех из них свидетельство только Волкова, как единственного личного свидетеля, принять должно; все прочие говорили по слухам. Но как мог знать Волков, кто Каховский, кто Рылеев? У кого он мог спросить об этом? Не у палача же, не у Кутузова же!..

Сверх того тюремная жизнь морально так изменила всех нас, что брат Николай едва признал Рылеева, когда в Алексеевском равелине они бросились друг другу на шею. И чтоб яснее доказать тебе, что молодой офицер Волков, присутствуя по обязанности на такой страшной экзекуции, при благородстве его чувств (что он тебе потом доказал в Кексгольме), был ошеломлен, был нравственно уничтожен ужасом совершившейся перед его глазами драмы.

В доказательство сему я приведу его же свидетельство, повторенное тобою, что, когда висельники сорвались с петли, они приблизились друг к другу и пожали связанные руки на вечное прощание. Они сделать этого не могли по двум очень уважительным причинам. Во-первых, потому что, упавши, на пороге смерти, они больно ушиблись и были не в состоянии исполнить этого обряда. Один Рылеев, разбив при падении голову и потеряв много крови, мог подняться и говорить с Кутузовым. Во-вторых, они не могли этого сделать уже потому, что были наряжены перед казнью в какие-то мешки, с круглыми отверстиями на дне, куда просунули головы осужденных и под ногами связали веревкой.

В лихорадочном состоянии своей памяти Волков смешал моменты: точно, это было, но только было в начале казни. Когда осужденных ввели на эшафот, все пятеро висельников приблизились друг к другу, поцеловались и, оборачиваясь задом, потому что руки были связаны, пожали друг другу руки, взошли твердо на доску, которая должна была заставить их умирать дважды; и эта доска, эти веревки не изменили надеждам Незабвенного. Они умерли дважды, может быть, умирали в медленных страданиях тысячелетние минуты, но умерли, погибли, а этого-то только ему и хотелось.

Теперь я тебе хочу привести свои доводы, что третий сорвавшийся с петли был Рылеев, а не Каховский. В тот же день тот же самый плац <майор> Подушкин посетил меня в Невской Куртине. Когда я его спросил:

— Скажите, пожалуйста, мы знаем, что повешенных должно быть пять, а мы видели только двух.

— Три сорвались, батюшка, сорвались,— ответил он.

— Кто же сорвался? — спросил я.

— Муравьев-Апостол, Бестужев и еще третий — он бранился с генерал-губернатором Петербурга.

— Кто же это?

— Ну, право, батюшка, не знаю.

Плац-адъютант Трусков положительно сказал, что это был Рылеев. Впоследствии, когда наши дамы прибыли в Читу, Катерина Ивановна Трубецкая и Александра Григорьевна Муравьева подтвердили это. Они говорили, что в тот же день во всех аристократических кружках Петербурга рассказывали, как достоверное, сделавшееся известным через молодого адъютанта Кутузова, что из трех сорвавшихся поднялся на ноги весь окровавленный Рылеев и, обратившись к Кутузову, сказал:

— Вы, генерал, вероятно, приехали посмотреть, как мы умираем. Обрадуйте вашего государя, что его желание исполняется: вы видите — мы умираем в мучениях.

Когда же неистовый возглас Кутузова: «Вешайте их скорее снова»... возмутил спокойный предсмертный дух Рылеева, этот свободный, необузданный дух передового заговорщика вспыхнул прежнею неукротимостью и вылился в следующем ответе: «Подлый опричник тирана. Дай же палачу твои аксельбанты, чтоб нам не умирать в третий раз».





ЗАПИСКИ О ПУШКИНЕ

Е. И. Якушкину

Как быть! Надобно приняться за старину. От вас, любезный друг, молчком не отделаешься — и то уже известно, что так долго откладывалось давнишнее обещание поговорить с вами на бумаге об Александре Пушкине, как, бывало, говаривали мы об нем при первых наших встречах в доме Бронникова. Прошу терпеливо и снисходительно слушать немудрый мой рассказ.

Собираясь теперь проверить бывшее с некоторою отчетливостью, я чувствую, что очень поспешно и опрометчиво поступил, истребивши в Лицее тогдашний мой дневник, который продолжал с лишком год. Там нашлось бы многое, теперь отуманенное, всплыли бы некоторые заветные мелочи, печать того времени! Не знаю почему, тогда вдруг мне показалось, что нескромно вынимать из тайника сердца заревые его трепетания, волнения, заблуждения и верования! Теперь самому любопытно бы было заглянуть на себя тогдашнего, с тогдашнею обстановкою; но дело кончено: тетради в печке и поправить беды невозможно.

Впрочем, вы не будете тут искать исключительной точности — прошу смотреть без излишней взыскательности на мои воспоминания о человеке, мне близком с самого нашего детства: я гляжу на Пушкина не как литератор, а как друг и товарищ.

Невольным образом в этом рассказе замешивается и

собственная моя личность; прошу не обращать на нее внимания. Придется, может быть, и об Лицее сказать словечко; вы это простите, как воспоминания, до сих пор живые! Одним словом, все сдаю вам, как вылилось на бумагу.

1811 года в августе, числа решительно не помню, дед мой, адмирал Пущин, повез меня и двоюродного моего брата Петра, тоже Пуштина, к тогдашнему министру народного просвещения графу А. К. Разумовскому. Старик, с лишком восьмидесятилетний, хотел непременно сам представить своих внучат, записанных, по его же просьбе, в число кандидатов Лицея, нового заведения, которое самым своим названием поражало публику в России,—не все тогда имели понятие о колоннадах и ротондах в афинских садах, где греческие философы научно беседовали с своими учениками. Это замечание мое до того справедливо, что потом даже, в 1817 году, когда после выпуска мы, шестеро, назначенные в гвардию, были в лицейских мундирах на параде гвардейского корпуса, подъезжает к нам гр<аф> Милорадович, тогдашний корпусный командир, с вопросом: что мы за люди и какой это мундир? Услышав наш ответ, он несколько задумался и потом очень важно сказал окружавшим его: «Да, это не то, что университет, не то, что кадетский корпус, не гимназия, не семинария — это... Лицей!» Поклонился, повернул лошадь и ускакал.—Надобно сознаться, что определение очень забавно, хотя далеко не точно.

Дедушка наш Петр Иванович насилу вошел на лестницу, в зале тотчас сел, а мы с Петром стали по обе стороны возле него, глядя на нашу братью, уже частью тут собранную. Знакомых у нас никого не было. Старик, не видя появления министра, начинал сердиться. Подошел дежурного чиновника и объявил ему, что андреевскому кавалеру не приходится ждать, что ему нужен Алексей Кириллович, а не туалет его.—Чиновник исчез, и тотчас старика нашего с нами повели во внутренние комнаты, где он нас поручил благосклонному вниманию министра, рассыпавшегося между тем в извинениях. Скоро наш адмирал отправился домой, а мы под покровом дяди Рябина, приехавшего сменить деда, остались в зале, которая почти вся наполнилась вновь наехавши-

ми нашими будущими однокашниками с их провожа-
тыми.

У меня разбежались глаза: кажется, я не был из застенчивого десятка, но тут как-то потерялся — глядел на всех и никого не видал. Вошел какой-то чиновник с бумагой в руке и начал выкликать по фамилиям. — Я слышу: Ал<ександр> Пушкин! — выступает живой мальчик, курчавый, быстроглазый, тоже несколько сконфуженный. По сходству ли фамилий, или по чему другому, несознательно сближающему, только я его заметил с первого взгляда. Еще вглядывался в Горчакова, который был тогда необыкновенно миловиден. При этом передвижении мы все несколько приободрились, начали ходить в ожидании представления министру и начала экзамена. Не припомню кто, — только чуть ли не В. Л. Пушкин, привезший Александра, подозвал меня и познакомил с племянником. Я узнал от него, что он живет у дяди на Мойке, недалеко от нас. Мы положили часто видаться. Пушкин, в свою очередь, познакомил меня с Ломоносовым и Гурьевым.

Скоро начали нас вызывать поодиночке в другую комнату, где в присутствии министра начался экзамен, после которого все постепенно разъезжались. Все кончилось довольно поздно.

Через несколько дней Разумовский пишет дедушке, что оба его внука выдержали экзамен, но что из нас двоих один только может быть принят в Лицей на том основании, что правительство желает, чтоб большее число семейств могло воспользоваться новым заведением. На волю деда отдавалось решить, который из его внуков должен поступить. Дедушка выбрал меня, кажется, потому, что у батюшки моего, старшего его сына, семейство было гораздо многочисленнее. Таким образом я сделался товарищем Пушкина. — О его приеме я узнал при первой встрече у директора нашего В. Ф. Малиновского, куда нас неоднократно собирали сначала для снятия мерки, потом для примеривания платья, белья, ботфорт, сапог, шляп и пр. На этих свиданиях мы все больше или меньше ознакомились. Сын директора Иван тут уже был для нас чем-то вроде хозяина.

Между тем, когда я достоверно узнал, что и Пушкин вступает в Лицей, то на другой же день отправился к нему как к ближайшему соседу. С этой поры установилась и постепенно росла наша дружба, основанная на

чувстве какой-то безотчетной симпатии. Родные мои тогда жили на даче, а я только туда ездил: большую же часть времени проводил в городе, где у профессора Лоди занимался разными предметами, чтоб недаром пропадало время до вступления моего в Лицей. При всякой возможности я отыскивал Пушкина, иногда с ним гулял в Летнем саду; эти свидания вошли в обычай, так что, если несколько дней меня не видать, Василий Львович, бывало, мне пеняет: он тоже привык ко мне, полюбил меня. Часто, в его отсутствие, мы оставались с Анной Николаевной. Она подчас нас, птенцов, приголубливала; случалось, что и прибранит, когда мы надоедали ей нашими ранновременными шутками. Именно замечательно, что она строго наблюдала, чтоб наши ласки не переходили границ, хотя и любила с нами побалагурить и пошалить, а про нас и говорить нечего: мы просто наслаждались непринужденностию и некоторою свободою в обращении с милой девушкой. С Пушкиным часто доходило до ссоры, иногда она требовала тут вмешательства и дяди. Из других товарищей видались мы иногда с Ломоносовым и Гурьевым. Madame Гурьева нас иногда и к себе приглашала.

Все мы видели, что Пушкин нас опередил, многое прочел, о чем мы и не слыхали, все, что читал, помнил; но достоинство его состояло в том, что он отнюдь не думал выказываться и важничать, как это очень часто бывает в те годы (каждому из нас было 12 лет) с скороспелками, которые по каким-либо обстоятельствам и раньше и легче находят случай чему-нибудь выучиться. Обстановка Пушкина в отцовском доме и у дяди, в кругу литераторов, помимо природных его дарований, ускорила его образование, но нисколько не сделала его заносчивым — признак доброй почвы. Все научное он считал ни во что и как будто желал только доказать, что мастер бегать, прыгать через стулья, бросать мячик и пр. В этом даже участвовало его самолюбие — бывали столкновения очень неловкие. Как после этого понять сочетание разных внутренних наших двигателей! Случалось точно удивляться переходам в нем: видишь, бывало, его поглощенным не по летам в думы и чтения, и тут же внезапно оставляет занятия, входит в какой-то припадок бешенства за то, что другой, ни на что лучшее не способный, перебежал его или одним ударом уронил все кегли. Я был свидетелем такой сцены на Крестов-

ском острову, куда возил нас иногда на ялике гулять Василий Львович.

Среди дела и безделья незаметным образом прошло время до октября. В Лицее все было готово, и нам велено было съезжаться в Царское Село. Как водится, я заплакал, расставаясь с домашними; сестры успокаивали меня тем, что будут навещать по праздникам, а на рождество возьмут домой. Повез меня тот же дядя Рябинин, который приезжал за мной к Разумовскому.

В Царском мы вошли к директору: его дом был рядом с Лицеем. Василий Федорович поцеловал меня, поручил инспектору Пилецкому-Урбановичу отвести в Лицей. Он привел меня прямо в четвертый этаж и остановился перед комнатой, где над дверью была черная дощечка с надписью: № 13. *Иван Пушкин*; я взглянул налево и увидел № 14. *Александр Пушкин*. Очень был рад такому соседу, но его еще не было, дверь была закрыта. Меня тотчас ввели во владение моей комнаты, одели с ног до головы в казенное, тут приготовленное, и пустили в залу, где уже двигались многие новобранцы.

Мелкого нашего народу с каждым днем прибывало. Мы знакомились поближе друг с другом, знакомились и с роскошным нашим новосельем. Постоянных классов до официального открытия Лицея не было, но некоторые профессора приходили заниматься с нами, предварительно испытывая силы каждого, и, таким образом, знакомясь с нами, приучали нас, в свою очередь, к себе.

Все 30 воспитанников собрались. Приехал министр, все осмотрел, делал нам репетицию церемониала в полной форме, то есть вводили нас известным порядком в залу, ставили куда следует, по списку вызывали и учили кланяться по направлению к месту, где будут сидеть император и высочайшая фамилия. При этом неизбежно были презабавные сцены неловкости и ребяческой наивности.

Настало наконец 19 октября — день, назначенный для открытия Лицея. Этот день, памятный нам, первокурсным, не раз был воспет Пушкиным в незабываемых его для нас стихах, знакомых больше или меньше и всей читающей публике.

Торжество началось молитвой. В придворной церкви служили обедню и молебен с водосвятием. Мы на хорах присутствовали при служении. После молебна духовенство со святой водою пошло в Лицей, где окропило нас и все заведение.

В лицейской зале, между колоннами, поставлен был большой стол, покрытый красным сукном с золотой бахромой. На этом столе лежала высочайшая грамота, дарованная Лицею. По правую сторону стола стояли мы в три ряда: при нас — директор, инспектор и гувернеры. По левую — профессора и другие чиновники лицейского управления. Остальное пространство залы, на некотором расстоянии от стола, было все уставлено рядами кресел для публики. Приглашены были все высшие сановники и педагоги из Петербурга. Когда все общество собралось, министр пригласил государя. Император Александр явился в сопровождении обеих императриц, великого князя Константина Павловича и великой княжны Анны Павловны. Приветствовав все собрание, царская фамилия заняла кресла в первом ряду. Министр сел возле царя.

Среди общего молчания началось чтение. Первый вышел И. И. Мартынов, тогдашний директор департамента министерства народного просвещения. Дребезжащим, тонким голосом прочел манифест об учреждении Лицея и высочайше дарованную ему грамоту. (Единственное из закрытых учебных заведений того времени, которого устав гласил: «Телесные наказания запрещаются». Я не знаю, есть ли и теперь другое, на этом основании существующее. Слышал даже, что и в Лицее при императоре Николае разрешено наказывать с родительскою нежностью лозою смирения.)

Вслед за Мартыновым робко выдвинулся на сцену наш директор В. Ф. Малиновский со свертком в руке. Бледный как смерть, начал что-то читать; читал довольно долго, но вряд ли многие могли его слышать, так голос его был слаб и прерывист. Заметно было, что сидевшие в задних рядах начали перешептываться и прислоняться к спинкам кресел. Проявление не совсем ободрительное для оратора, который, кончивши речь свою, поклонился и еле живой возвратился на свое место. Мы, школьники, больше всех были рады, что он замолк: гости сидели, а мы должны были стоя слушать его и ничего не слышать.

Смело, бодро выступил профессор политических наук А. П. Куницын и начал не читать, а говорить об обязанностях гражданина и воина. Публика при появлении нового оратора, под влиянием предшествовавшего впечатления, видимо, пугалась и вооружилась терпением;

но по мере того, как раздавался его чистый, звучный и внятный голос, все оживились, и к концу его замечательной речи слушатели уже были не опрокинуты к спинкам кресел, а в наклоненном положении к говорившему: верный знак общего внимания и одобрения! В продолжение всей речи ни разу не было упомянуто о государе: это небывалое дело так поразило и понравилось императору Александру, что он тотчас прислал Куницыну владимирский крест — награда, лестная для молодого человека, только что возвратившегося, перед открытием Лицея, из-за границы, куда он был послан по окончании курса в Педагогическом институте, и назначенного в Лицей на политическую кафедру.

Куницын вполне оправдал внимание царя; он был один между нашими профессорами урод в этой семье.

Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена...

(Пушкин. Годовщина 19 октября 1825 года.)

После речей стали нас вызывать по списку; каждый, выходя перед стол, кланялся императору, который очень благосклонно вглядывался в нас и отвечал терпеливо на неловкие наши поклоны.

Когда закончилось представление виновников торжества, царь как хозяин отблагодарил всех, начиная с министра, и пригласил императрицу осмотреть новое его заведение. За царской фамилией двинулась и публика. Нас между тем повели в столовую к обеду, чего, признаюсь, мы давно ожидали. Осмотрев заведение, гости Лицея возвратились к нам в столовую и застали нас усердно трудящимися над супом с пирожками. Царь беседовал с министром. Императрица Марья Федоровна попробовала кушанье. Подошла к Корнилову, оперлась сзади на его плечи, чтобы он не приподнимался, и спросила его: «Карош суп?» Он медвежонком отвечал: «Qui, monsieur!»¹. Сконфузился ли он и не знал, кто его спрашивал, или дурной русский выговор, которым сделан был ему вопрос, — только все это вместе почему-то побудило его откликнуться на французском языке и в мужском роде. Императрица улыбнулась и пошла даль-

¹ Да, сударь! (фр.).

ше, не делая уже больше любезных вопросов, а наш Корнилов сѡника же попал на зубок; долго преследовала его кличка: Monsieur.

Императрица Елизавета Алексеевна тогда же нас, юных, пленила непринужденною своею приветливостью ко всем; она как-то умела и успела каждому из профессоров сказать приятное слово.

Тут, может быть, зародилась у Пушкина мысль стихов к ней:

На лире скромной, благородной... и пр.

(Изд. Анненкова, т. 7, стр. 25.)

Г. Анненков напрасно относит эти стихи к 1819 году; они написаны в Лицее в 1816 году.

Константин Павлович у окна щекотал и щипал сестру свою Анну Павловну; потом подвел ее к Гурьеву, своему крестнику, и, стиснувши ему двумя пальцами обе щеки, а третьим вздернувши нос, сказал ей: «Рекомендую тебе эту моську. Смотри, Костя, учись хорошенько!»

Пока мы обедали — и цари удалились и публика разошлась. У графа Разумовского был обед для сановников; а педагогию петербургскую и нашу, лицейскую, угощал директор в одной из классных зал.

Все кончилось уже при лампах. Водворилась тишина.

Друзья мои, прекрасен наш союз:
Он, как душа, неразделим и вечен,
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных Муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастье куда б ни повело,
Все те же мы; нам целый мир чужбина,
Отечество нам Царское Село.

(Пушкин. Годовщина 19 октября 1825 года.)

Дельвиг в прощальной песне 1817 года за нас всех вспоминает этот день:

Тебе, наш царь, благодаренье!
Ты сам нас, юных, съединил
И в сем святом уединенье
На службу музам посвятил.

Вечером нас угощали десертом *à discretion*¹ вместо казенного ужина. Кругом Лицея поставлены были площадки, а на балконе горел щит с вензелем императора.

¹ Сколько угодно, без ограничения (фр.).

Сбросив парадную одежду, мы играли перед Лицеем в снежки при свете иллюминации и тем заключили свой праздник, не подозревая тогда в себе будущих столпов отечества, как величал нас Куницын, обращаясь в речи к нам. Как нарочно для нас, тот год рано стала зима. Все посетители приехали из Петербурга в санях. Между ними был Е. А. Энгельгардт, тогдашний директор Педагогического института. Он так был проникнут ощущением этого дня и в особенности речью Куницына, что в тот же вечер, возвратясь домой, перевел ее на немецкий язык, написал маленькую статью и все отослал в дерптский журнал. Этот почтенный человек не предвидел тогда, что ему придется быть директором Лицея в продолжение трех первых выпусков.

Несознательно для нас самих мы начали в Лицее жизнь совершенно новую, иную от всех других учебных заведений. Через несколько дней после открытия, за вечерним чаем, как теперь помню, входит директор и объявляет нам, что получил предписание министра, которым возбраняется выезжать из Лицея, а что родным дозволено посещать нас по праздникам. Это объявление категорическое, которое, вероятно, было уже предварительно постановлено, но только не оглашалось, сильно отуманило нас всех своей неожиданностью. Мы призадумались, молча посмотрели друг на друга, потом начались между нами толки и даже рассуждения о незаконности такой меры стеснения, не бывшей у нас в виду при поступлении в Лицей. Разумеется, временное это волнение прошло, как проходит постепенно все, особенно в те годы.

Теперь, разбирая беспристрастно это неприятное тогда нам распоряжение, невольно сознаешь, что в нем-то и зародыш той неразрывной, отрадной связи, которая соединяет первокурсных Лицея. На этом основании, вероятно, Лицей и был так устроен, что, по возможности, были соединены все удобства домашнего быта с требованиями общественного учебного заведения. Роскошь помещения и содержания, сравнительно с другими, даже с женскими заведениями, могла иметь связь с мыслью Александра, который, как говорили тогда, намерен был воспитать с нами своих братьев, великих князей Николая и Михаила, почти наших сверстников по летам; но императрица Мария Федоровна воспротивилась этому, находя слишком демократическим и неприличным сбли-

жение сыновей своих, особ царственных, с нами, плебейми.

Для Лицея отведен был огромный, четырехэтажный флигель дворца, со всеми принадлежащими к нему строениями. Этот флигель при Екатерине занимали великие княжны: из них в 1811 году одна только Анна Павловна оставалась незамужнею.

В нижнем этаже помещалось хозяйственное управление и квартиры инспектора, гувернеров и некоторых других чиновников, служащих при Лицее. Во втором — столовая, больница с аптекой и конференц-зала с канцелярией; в третьем — рекреационная зала, классы (два с кафедрами, один для занятий воспитанников после лекций), физический кабинет, комната для газет и журналов и библиотека в арке, соединяющей Лицей со дворцом чрез хоры придворной церкви. В верхнем — дортуары. Для них, на протяжении вдоль всего строения, во внутренних поперечных стенах прорублены были арки. Таким образом, образовался коридор с лестницами на двух концах, в котором с обеих сторон перегородками отделены были комнаты: всего пятьдесят номеров. Из этого же коридора вход в квартиру гувернера Чирикова, над библиотекой.

В каждой комнате: железная кровать, комод, конторка, зеркало, стул, стол для умывания, вместе и ночной. На конторке чернильница и подсвечник со щипцами.

Во всех этажах и на лестницах было освещение ламповое; в двух средних этажах паркетные полы. В зале зеркала во всю стену, мебель штофная.

Таково было новоселье наше!

При всех этих удобствах нам не трудно было привыкнуть к новой жизни. Вслед за открытием начались правильные занятия. Прогулка три раза в день, во всякую погоду. Вечером в зале — мячик и беготня.

Вставали мы по звонку в шесть часов. Одевались, шли на молитву в залу. Утреннюю и вечернюю молитвы читали мы вслух по очереди.

От 7 до 9 часов — класс.

В 9 — чай; прогулка — до 10.

От 10 до 12 — класс.

От 12 до часу — прогулка.

В час — обед.

От 2 до 3 — или чистописанье, или рисованье.

От 3 до 5 — класс.

В 5 часов — чай; до 6 — прогулка; потом повторение уроков или вспомогательный класс.

По средам и субботам — танцеванье или фехтованье.

Каждую субботу — баня.

В половине 9 часа — звонок к ужину.

После ужина до 10 часов — рекреация. В 10 — вечерняя молитва — сон.

В коридоре на ночь ставились ночники во всех арках. Дежурный дядька мерными шагами ходил по коридору.

Форма одежды сначала была стеснительна. По будням — синие сюртуки с красными воротниками и брюки того же цвета: это бы ничего; но зато по праздникам — мундир (синего сукна с красным воротником, шитым петлицами, серебряными в первом курсе, золотыми — во втором), белые панталоны, белый жилет, белый галстук, ботфорты, треугольная шляпа — в церковь и на гулянье. В этом наряде оставались до обеда. Ненужная эта форма, отпечаток того времени, постепенно уничтожалась: брошены ботфорты, белые панталоны и белые жилеты заменены синими брюками с жилетами того же цвета; фуражка вытеснила совершенно шляпу, которая надевались нами только когда учились фронту в гвардейском образцовом батальоне.

Белье содержалось в порядке особою кастеляншей; в наше время была т-те Скалон. У каждого была своя печатная метка: номер и фамилия. Белье переменялось на теле два раза, а у стола и на постель раз в неделю.

Обед состоял из трех блюд (по праздникам четыре). За ужином два. Кушанье было хорошо, но это не мешало нам иногда бросать пирожки Золотареву в бакенбарды. При утреннем чае — крупичатая белая булка, за вечерним — полбулки. В столовой, по понедельникам, выставлялась программа кушаний на всю неделю. Тут совершалась мена порциями по вкусу.

Сначала давали по полустакану портеру за обедом. Потом эта английская система была уничтожена. Мы ограничивались отечественным квасом и чистой водой.

При нас было несколько дядек: они заведовали чистой платьем, сапог и прибирали в комнатах. Между ними замечательны были Прокофьев, екатерининский сержант, польский шляхтич Леонтий Кемерский, сделавшийся нашим домашним restaurant. У него явился уго-

лок, где можно было найти конфекты, выпить чашку кофе и шоколаду (даже рюмку ликеру — разумеется, контрабандой). Он иногда, по заказу именинника, за общим столом вместо казенного чая ставил сюрпризом кофе утром или шоколад вечером, со столбушками сухарей. Был и молодой Сазонов, необыкновенное явление физиологическое; Галль нашел бы несомненно подтверждение своей системы в его черепе:

Сазонов был моим слугою
И Пешель доктором моим.

(Стих. Пушкина.)

Слишком долго рассказывать преступление этого парня; оно же и не идет к делу.

Жизнь наша лицейская сливается с политической эпохой народной жизни русской: приготавлилась гроза 1812 года. Эти события сильно отразились на нашем детстве. Началось с того, что мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого Лицея; мы всегда были тут, при их появлении, выходили даже во время классов, напутствовали воинов сердечною молитвой, обнимались с родными и знакомыми — уса-тые гренадеры из рядов благословляли нас крестом. Не одна слеза тут пролита.

Сыны Бородина, о кульмские герои!
Я видел, как на брань летели ваши строи;
Душой восторженной за братьями летел...

(Изд. Анненкова, т. 2, стр. 77.)

Так вспоминал Пушкин это время в 1815 году в стихах на возвращение императора из Парижа.

Когда начались военные действия, всякое воскресенье кто-нибудь из родных привозил реляции; Кошанский читал их нам громогласно в зале. Газетная комната никогда не была пуста в часы, свободные от классов: читались напереыв русские и иностранные журналы при неумолкаемых толках и прениях; всему живо сочувствовалось у нас: опасения сменялись восторгами при малейшем проблеске к лучшему. Профессора приходили к нам и научали нас следить за ходом дел и событий, объясняя иное, нам недоступное.

Таким образом, мы скоро сжились, свыклись. Образовалась товарищеская семья; в этой семье — свои

кружки; в этих кружках начали обозначаться, больше или меньше, личности каждого; близко узнали мы друг друга, никогда не разлучаясь; тут образовались связи на всю жизнь.

Пушкин с самого начала был раздражительнее многих и потому не возбуждал общей симпатии: это удел эксцентрического существа среди людей. Не то чтобы он разыгрывал какую-нибудь роль между нами или поражал какими-нибудь особенными странностями, как это было в иных; но иногда неуместными шутками, неловкими колкостями сам ставил себя в затруднительное положение, не умея потом из него выйти. Это вело его к новым промахам, которые никогда не ускользают в школьных сношениях. Я, как сосед (с другой стороны его номера была глухая стена), часто, когда все уже засыпало, толковал с ним вполголоса через перегородку о каком-нибудь вздорном случае того дня; тут я видел ясно, что он по щекотливости всякому вздору приписывал какую-то важность, и это его волновало. Вместе мы, как умели, сглаживали некоторые шероховатости, хотя не всегда это удавалось. В нем была смесь излишней смелости с застенчивостью, и то и другое невпопад, что тем самым ему вредило. Бывало, вместе промахнемся, сам вывернешься, а он никак не сумеет этого уладить. Главное, ему доставало того, что называется тактом; это — капитал, необходимый в товарищеском быту, где мудро, почти невозможно при совершенно бесцеремонном обращении уберечься от некоторых неприятных столкновений повседневной жизни. Все это вместе было причиной, что вообще не вдруг отозвались ему на его привязанность к лицейскому кружку, которая с первой поры зародилась в нем, не проявляясь, впрочем, свойственной ей иногда пошлостью.

Чтоб полюбить его настоящим образом, нужно было взглянуть на него с тем полным благорасположением, которое знает и видит все неровности характера и другие недостатки, мирится с ними и кончает тем, что полюбит даже и их в друге-товарище. Между нами как-то это скоро и незаметно устроилось.

Вот почему, может быть, Пушкин говорил впоследствии:

Товарищ милой, друг прямой!
Тряхнем рукою руку,

Оставим в чаше круговой
Педантам сродну скуку.
Не в первый раз мы вместе пьем,
Нередко и бранимся,
Но чашу дружества нальем,
И тотчас помиримся.

(«Пирующие студенты»,
изд. Анненкова, т. 2, 1814, стр. 19.)

Потом опять в 1817 году в Альбоме перед самым выпуском он же сказал мне:

Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок,
Исписанный когда-то мною,
На время улети в лицейский уголок
Всесильной, сладостной мечтою.
Ты вспомни быстрые минуты первых дней.
Неволю мирную, шесть лет соединенья,
Печали, радости, мечты души твоей,
Размолвки дружества и сладость примиренья,
Что было и не будет вновь...
И с тихими тоски слезами
Ты вспомни первую любовь.
Мой друг! Она прошла... но с первыми друзьями
Не резвою мечтой союз твой заключен;
Пред грозным временем, пред грозными судьбами,
О милый, вечен он!

(Изд. Анненкова, т. 2, стр. 170.)

Лицейское наше шестилетие, в историко-хронологическом отношении, можно разграничить тремя эпохами, резко между собою отличающимися: директорством Малиновского, междоусарствием (то есть управление профессоров: их сменяли после каждого ненормального события) и директорством Энгельгардта.

Не пугайтесь! Я не поведу вас этой длинной дорогой, она нас утомит. Не станем делать изысканий; все подробности вседневной нашей жизни, близкой нам и памятной, должны остаться достоянием нашим; нас, ветеранов Лицея, уже немного осталось, но мы и теперь молодеем, когда, собравшись, заглядываем в эту даль. Довольно, если припомню кой-что, где мелькает Пушкин в разных проявлениях.

При самом начале — он наш поэт. Как теперь вижу тот послеобеденный класс Кошанского, когда, окончивши лекцию несколько раньше урочного часа, профессор сказал: «Теперь, господа, будем пробовать перья! опишите мне, пожалуйста, розу стихами».

Наши стихи вообще не клеились, а Пушкин мигом прочел два четырехстишия, которые всех нас восхитили. Жаль, что не могу припомнить этого первого поэтического его лепета. Кошанский взял рукопись к себе. Это было чуть ли не в 811-м году, и никак не позже первых месяцев 12-го. Упоминаю об этом потому, что ни Бартенев, ни Анненков ничего об этом не упоминают.

Пушкин потом постоянно и деятельно участвовал во всех лицейских журналах, импровизировал так называемые народные песни, точил на всех эпиграммы и пр. Естественно, он был во главе литературного движения, сначала в стенах Лицея, потом и вне его, в некоторых современных московских изданиях. Все это обследовано почтенным издателем его сочинений П. В. Анненковым, который запечатлел свой труд необыкновенною изыскательностью, полным знанием дела и горячею любовью к Пушкину — поэту и человеку.

Из уважения к истине должен кстати заметить, что г. Анненков приписывает Пушкину мою прозу (т. 2, стр. 29, VI). Я говорю про статью «Об эпиграмме и надписи у древних». Статью эту я перевел из Лагарпа и просил Пушкина перевести для меня стихи, которые в ней приведены. Все это за подписью П. отправил к Вл. Измайлову, тогдашнему издателю «Вестника Европы». Потом к нему же послал другой перевод, из Лафатера, о путешествиях. Тут уж я скрывался под буквами «ъ — ъ». Обе эти статьи были напечатаны. Письма мои передавались на почту из нашего дома в Петербурге; я просил туда же адресоваться ко мне в случае надобности. Измайлов до того был в заблуждении, что, благодаря меня за переводы, просил сообщить ему для его журнала известия о петербургском театре: он был уверен, что я живу в Петербурге и непременно театрал, между тем как я сидел еще на лицейской скамье. Тетради барона Модеста Корфа ввели Анненкова в ошибку, для меня очень лестную, если бы меня тревожило авторское самолюбие.

Сегодня расскажу вам историю гоголь-моголя, которая сохранилась в летописях Лицея. Шалость приняла серьезный характер и могла иметь пагубное влияние и на Пушкина и на меня, как вы сами увидите.

Мы, то есть я, Малиновский и Пушкин, затеяли выпить гоголь-моголю. Я достал бутылку рому, добыли яиц, натолкли сахару, и началась работа у кипящего самовара. Разумеется, кроме нас, были и другие участники в этой вечерней пирушке, но они остались за кулисами по делу, а в сущности один из них, а именно Тырков, в котором чересчур подействовал ром, был причиной, по которой дежурный гувернер заметил какое-то необыкновенное оживление, шумливость, беготню. Сказал инспектору. Тот после ужина всмотрелся в молодую свою команду и увидел что-то взвинченное. Тут же начались вопросы, розыски. Мы трое явились и объявили, что это наше дело и что мы одни виноваты.

Исправлявший тогда должность директора профессор Гауеншильд донес министру. Разумовский приехал из Петербурга, вызвал нас из класса и сделал нам формальный, строгий выговор. Этим не кончилось,— дело поступило на решение конференции. Конференция постановила следующее:

1) две недели стоять на коленях во время утренней и вечерней молитвы;

2) сместить нас на последние места за столом, где мы сидели по поведению; и

3) занести фамилии наши, с прописанием виновности и приговора, в черную книгу, которая должна иметь влияние при выпуске.

Первый пункт приговора был выполнен буквально.

Второй смягчился по усмотрению начальства: нас, по истечении некоторого времени, постепенно подвигали опять вверх.

При этом случае Пушкин сказал:

Блажен муж, иже
Сидит к каше ближе.

На этом конце стола раздавалось кушанье дежурным гувернером,

Третий пункт, самый важный, остался без всяких последствий. Когда при рассуждениях конференции о выпуске представлена была директору Энгельгардту черная эта книга, где мы трое только и были записаны, он ужаснулся и стал доказывать своим сочленам, что мудрено допустить, чтобы давнишняя шалость, за которую тогда же было взыскано, могла бы еще иметь влияние и на будущность после выпуска. Все тотчас согласилось с его мнением, и дело было сдано в архив.

Гоголь-моголь — ключ к посланию Пушкина ко мне:

Помнишь ли, мой брат по чаше,
Как в отрадной тишине
Мы топили горе наше
В чистом пенистом вине?

Как, укрывшись молчаливо
В нашем тесном уголке,
С Вакхом нежились лениво
Школьной стражи вдалеке?

Помнишь ли друзей шептанье
Вкруг бокалов пуншевых,
Рюмок грозное молчанье,
Пламя трубок грошевых?

Закипев, о сколь прекрасно
Токи дымные текли!..
Вдруг педанта глас ужасный
Нам послышался вдали.

И бутылки вмиг разбиты,
И бокалы все в окно,
Всюду по полу разлиты
Пунш и светлое вино.

Убегаем торопливо;
Вмиг исчез минутный страх!
Щек румяных цвет игривой,
Ум и сердце на устах.

Хохот чистого веселья,
Неподвижный тусклый взор
Изменяли чад похмелья,
Сладкой Вакха заговор!

О, друзья мои сердечны!
Вам клянуся, за столом
Всякий год, в часы беспечны,
Поминать его вином.

(Изд. Анненкова, т. 2, стр. 217.)

По случаю гоголь-моголя Пушкин экспромтом ска-
зал в подражание стихам И. И. Дмитриева:

(Мы недавно от печали,
Лиза, я да Купидон,
По бокалу осушали
И прогнали мудрость вон, и пр.)

Мы недавно от печали,
Пушин, Пушкин, я, барон,
По бокалу осушали.
И Фому прогнали вон...¹

¹ Остальных слов не помню; этому с лишком сорок лет.

Фома был дядька, который купил нам ром. Мы кой-как вознаградили его за потерю места. Предполагается, что песню поет Малиновский, его фамилию не вломаешь в стих. Барон — для рифмы, означает Дельвига.

Были и карикатуры, на которых из-под стола выглядывали фигуры тех, которых нам удалось скрыть.

Вообще это пустое событие (которым, разумеется, нельзя было похвастать) наделало тогда много шума и огорчило наших родных, благодаря премудрому распоряжению начальства. Все могло окончиться домашним порядком, если бы Гауеншильд и инспектор Фролов не задумали формальным образом донести министру...

Сидели мы с Пушкиным однажды вечером в библиотеке у открытого окна. Народ выходил из церкви от всенощной; в толпе я заметил старушку, которая о чем-то горячо с жестами рассуждала с молодой девушкой, очень хорошенькой. Среди болтовни я говорю Пушкину, что любопытно бы знать, о чем так горячатся они, о чем так спорят, идя от молитвы? Он почти не обратил внимания на мои слова, всмотрелся, однако, в указанную мною чету и на другой день встретил меня стихами:

От всенощной, вечер, идя домой,
Антипьевна с Марфушкою бранилась;
Антипьевна отменно горячилась.
«Постой,— кричит,— управлюсь я с тобой!
Ты думаешь, что я забыла
Ту ночь, когда, забравшись в уголок,
Ты с крестником Ванюшею шалила.
Постой — о всем узнает муженек!»
— «Тебе ль грозить,— Марфушка отвечает,—
Ванюша что? Ведь он еще дитя;
А сват Трофим, который у тебя
И день и ночь? Весь город это знает.
Молчи ж, кума: и ты, как я, грешна;
Словами ж всякого, пожалуй, разобидишь.
В чужой... соломинку ты видишь,
А у себя не видишь и бревна».

«Вот что ты заставил меня написать, любезный друг», — сказал он, видя, что я несколько призадумался, выслушав его стихи, в которых поразило меня окончание. В эту минуту подошел к нам Кайданов, — мы собирались в его класс. Пушкин и ему прочел свой рассказ.

Кайданов взял его за ухо и тихонько сказал ему: «Не советую вам, Пушкин, заниматься такой поэзией, особенно кому-нибудь сообщать ее. И вы, Пушкин, не давайте волю язычку», — прибавил он, обратясь ко мне. Хорошо, что на этот раз подвернулся нам добрый Иван Кузьмич, а не другой кто-нибудь.

Впрочем, надо сказать: все профессора смотрели с благоговением на растущий талант Пушкина. В математическом классе вызвал его раз Карцов к доске и задал алгебраическую задачу. Пушкин долго переминался с ноги на ногу и все писал молча какие-то формулы. Карцов спросил его, наконец: «Что ж вышло? Чему равняется x <икс>?» Пушкин, улыбаясь, ответил: «Нулю!» — «Хорошо! У вас, Пушкин, в моем классе все кончается нулем. Садитесь на свое место и пишите стихи». Спасибо и Карцову, что он из математического фанатизма не вел войны с его поэзией. Пушкин охотнее всех других классов занимался в классе Куницына, и то совершенно по-своему: уроков никогда не повторял, мало что записывал, а чтобы переписывать тетради профессоров (печатных руководств тогда еще не существовало), у него и в обычае не было: все делалось *à livre ouvert*¹.

На публичном нашем экзамене Державин, державным своим благословением, увенчал юного нашего поэта. Мы все, друзья-товарищи его, гордились этим торжеством. Пушкин тогда читал свои «Воспоминания в Царском Селе» (изд. Анненкова, т. 2, стр. 81). В этих великолепных стихах затронуто все живое для русского сердца. Читал Пушкин с необыкновенным оживлением. Слушая знакомые стихи, мороз по коже пробегает у меня. Когда же патриарх наших певцов в восторге, со слезами на глазах бросился целовать его и осенил кудрявую его голову, мы все под каким-то неведомым влиянием благоговейно молчали. Хотели сами обнять нашего певца, его уже не было: он убежал!.. Все это уже рассказано в печати.

Вчера мне Маша приказала
В куплеты рифмы набросать
И мне в награду обещала
Спасибо в прозе написать, и пр.

(Изд. Анненкова, т. 2, стр. 213.)

¹ Без подготовки, с листа (фр.).

Стихи эти написаны сестре Дельвига, премилой, живой девочке, которой тогда было семь или восемь лет. Стихи сами по себе очень милы, но для нас имеют свой особый интерес. Корсаков положил их на музыку, и эти стансы пелись тогда юными девицами почти во всех домах, где Лицей имел право гражданства.

«Красавице, которая нюхала табак» (изд. Анненкова, т. 2, стр. 217) — писано к Горчакова сестре, княгине Елене Михайловне Кантакузиной. Вероятно, она и не знала и не читала этих стихов, плод разгоряченного молодого воображения.

К ЖИВОПИСЦУ

Дитя харит, воображенья!
В порыве пламенной души,
Небрежной кистью наслажденья
Мне друга сердце напиши, и пр.

(Изд. Анненкова, т. 2, стр. 69.)

Пушкин просит живописца написать портрет К. П. Бакуниной, сестры нашего товарища. Эти стихи — выражение не одного только его страдавшего тогда сердечка!..

Нельзя не вспомнить сцены, когда Пушкин читал нам своих *Пирующих студентов*. Он был в лазарете и пригласил нас прослушать эту пиэсу. После вечернего чая мы пошли к нему гурьбой с гувернером Чириковым.

Началось чтение:

Друзья! Досужный час настал,
Все тихо, все в покое, и пр.

Внимание общее, тишина глубокая по временам только прерывается восклицаниями. Кюхельбекер просил не мешать, он был весь тут, в полном упоении... Доходит дело до последней строфы. Мы слышим:

Писатель! За твои грехи
Ты с виду всех трезвее:
Вильгельм! прочти свои стихи,
Чтоб мне заснуть скорее.

При этом возгласе публика забывает поэта, стихи его, бросается на бедного метромана, который, растаявши под влиянием поэзии Пушкина, приходит в совершенное одурение от неожиданной эпиграммы и нашего дикого натиска. Добрая душа был этот Кюхель! Опомнившись, просит он Пушкина еще раз прочесть, потому

что и тогда уже плохо слышал одним ухом, испорченным золотухой.

Послание ко мне:

Любезный именинник, и проч.—

не требует пояснений. Оно выражает то же чувство, которое отрадно проявляется во многих других стихах Пушкина. Мы с ним постоянно были в дружбе, хотя в иных случаях розно смотрели на людей и вещи; откровенно сообщая друг другу противоречащие наши воззрения, мы все-таки умели их сгармонизировать и оставались в постоянном согласии. Кстати, тут расскажу довольно оригинальное событие, по случаю которого пришлось мне много спорить с ним за Энгельгардта.

У дворцовой гауптвахты, перед вечернею зарей, обыкновенно играла полковая музыка. Это привлекало гулявших в саду, разумеется, и нас; l'inévitable Lycée¹, как называли иные нашу шумную движущуюся толпу. Иногда мы проходили к музыке дворцовым коридором, в который, между другими помещениями, был выход и из комнат, занимаемых фрейлинами императрицы Елизаветы Алексеевны. Этих фрейлин было тогда три: Плюскова, Валуева и кн<яжна> Волконская. У Волконской была премиленькая горничная Наташа. Случалось, встретясь с нею в темных переходах коридора, и полюбезничать — она многих из нас знала, да и кто не знал Лицея, который мозолил глаза всем в саду?

Однажды идем мы, растянувшись по этому коридору маленькими группами. Пушкин на беду был один, слышит в темноте шорох платья, воображает, что это непременно Наташа, бросается поцеловать ее самым невинным образом. Как нарочно, в эту минуту отворяется дверь из комнаты и освещает сцену: перед ним сама кн<яжна> Волконская. Что делать ему? Бежать без оглядки; но этого мало, надобно поправить дело, а дело неладно! Он тотчас рассказал мне про это, присоединяясь к нам, стоявшим у оркестра. Я ему посоветовал открыться Энгельгардту и просить его защиты. Пушкин никак не соглашался довериться директору и хотел

¹ Неминуемый, неизбежный Лицей (фр.).

написать княжне извинительное письмо. Между тем она успела пожаловаться брату своему, П. М. Волконскому, а Волконский — государю.

Государь на другой день приходит к Энгельгардту. «Что ж это будет? — говорит царь. — Твои воспитанники не только снимают через забор мои наливные яблоки, бьют сторожей садовника Лямина (точно, была такого рода экспедиция, где действовал на первом плане граф Сильвестр Броглио, теперь сенатор Наполеон III¹), но теперь уж не дают проходу фрейлинам жены моей».

Энгельгардт, своим путем, знал о неловкой выходке Пушкина, может быть, и от самого Петра Михайловича, который мог сообщить ему это в тот же вечер. Он нашелся и отвечал императору Александру: «Вы меня предупредили, государь, я искал случая принести вашему величеству повинную за Пушкина: он, бедный, в отчаянии; приходил за моим позволением письменно просить княжну, чтоб она великодушно простила ему это неумышленное оскорбление». Тут Энгельгардт рассказал подробности дела, стараясь всячески смягчить вину Пушкина, и присовокупил, что сделал уже ему строгий выговор и просит разрешения насчет письма. На это ходатайство Энгельгардта государь сказал: «Пусть пишет, уж так и быть, я беру на себя адвокатство за Пушкина; но скажи ему, чтоб это было в последний раз». «*La vieille est peut-être enchantée de la méprise du jeune homme, entre nous soit dit*»², — шепнул император, улыбаясь, Энгельгардту. Пожал ему руку и пошел догонять императрицу, которую из окна увидел в саду.

Таким образом, дело кончилось необыкновенно хорошо. Мы все были рады такой развязке, жалея Пушкина и очень хорошо понимая, что каждый из нас легко мог попасть в такую беду. Я, с своей стороны, старался доказать ему, что Энгельгардт тут действовал отлично; он никак не сознавал этого, все уверял меня, что Энгельгардт, защищая его, сам себя защищал. Много мы спорили; для меня оставалось неразрешенною загад-

¹ Это сведение о Броглио оказалось несправедливым; он был избран французскими филеленами в начальники и убит в Греции в 1829 году.

² «Между нами: старая дева, быть может, в восторге от ошибки молодого человека» (фр.).

кой, почему все внимания директора и жены его отвергались Пушкиным: он никак не хотел видеть его в настоящем свете, избегая всякого сближения с ним. Эта несправедливость Пушкина к Энгельгардту, которого я душой полюбил, сильно меня волновала. Тут крылось что-нибудь, чего он никак не хотел мне сказать; наконец, я перестал и настаивать, предоставив все времени. Оно одно может вразумить в таком непонятном упорстве.

Невозможно передать вам всех подробностей нашего шестилетнего существования в Царском Селе: это было бы слишком сложно и громоздко — тут смесь и дельного и пустого. Между тем вся эта пестрота имела для нас свое очарование. С назначением Энгельгардта в директоры школьный наш быт принял иной характер: он с любовью принялся за дело. При нем по вечерам устроились чтения в зале (Энгельгардт отлично читал). В доме его мы знакомились с обычаями света, ожидавшего нас у порога Лицея, находили приятное женское общество. Летом, в вакантный месяц, директор делал с нами дальние, иногда двухдневные прогулки по окрестностям; зимой для развлечения ездили на нескольких тройках за город завтракать или пить чай в праздничные дни; в саду, за прудом, катались с гор и на коньках. Во всех этих увеселениях участвовало его семейство и близкие ему дамы и девицы, иногда и приезжавшие родные наши. Женское общество всему этому придавало особенную прелесть и приучало нас к приличию в обращении. Одним словом, директор наш понимал, что запрещенный плод — опасная приманка и что свобода, руководимая опытной дружбой, останавливает юношу от многих ошибок. От сближения нашего с женским обществом зарождался платонизм в чувствах: этот платонизм не только не мешал занятиям, но придавал даже силы в классных трудах, нашептывая, что успехом можно порадовать предмет воздыханий.

Пушкин клеймил своим стихом лицейских Сердечкиных, хотя и сам иногда попадал в эту категорию.

Раз на зимней нашей прогулке в саду, где расчищались кругом пруда дорожки, он говорит Есакову, с которым я часто ходил в паре:

И останешься с вопросом
На брегу замерзлых вод:
Мамзель Шредер с красным носом
Милых Вельо не ведет?

Так точно, когда я перед самым выпуском лежал в больнице, он как-то успел написать мелом на дощечке у моей кровати:

Вот здесь лежит больной студент —
Судьба его неумолима!
Несите прочь медикамент:
Болезнь любви неизлечима!

Я нечаянно увидел эти стихи над моим изголовьем и узнал исковерканный его почерк. Пушкин не сознавался в этом экспромте.

С лишком за год до выпуска государь спросил Энгельгардта: есть ли между нами желающие в военную службу? Он отвечал, что чуть ли не более десяти человек этого желают (и Пушкин тогда колебался, но родные его были против, опасаясь за его здоровье). Государь на это сказал: «В таком случае надо бы познакомить их с фронтом». Энгельгардт испугался и напрямик просил императора оставить Лицей, если в нем будет ружье. К этой просьбе присовокупил, что он никогда не носил никакого оружия, кроме того, которое у него всегда в кармане, — и показал садовый ножик. Долго они торговались; наконец, государь кончил тем, что его не переспоришь. Велел опросить всех и для желающих быть военными учредить класс военных наук. Вследствие этого приказа поступил к нам инженерный полковник Эльснер, бывший адъютант Костюшки, преподавателем артиллерии, фортификации и тактики.

Было еще другого рода нападение на нас около того же времени. Как-то в разговоре с Энгельгардтом царь предложил ему посылать нас дежурить при императрице Елизавете Алексеевне во время летнего ее пребывания в Царском Селе, говоря, что это дежурство приучит молодых людей быть развязнее в обращении и вообще послужит им в пользу. Энгельгардт и это отразил, доказав, что, кроме многих неудобств, придворная служба будет отвлекать от учебных занятий и попрепятствует достижению цели учреждения Лицея. К этому он прибавил, что в продолжение многих лет никогда не видал камер-пажа ни на прогулках, ни при выездах царствующей императрицы.

Между нами мнения насчет этого нововведения были различны: иные, по суетности и лени, желали этой лакейской должности; но дело обошлось одними толками,

и, не знаю почему, из этих толков о сближении с двором выкроилась для нас верховая езда. Мы стали ходить два раза в неделю в гусарский манеж, где на лошадях запасного эскадрона учились у полковника Кнабенау, под главным руководством генерала Левашева, который и прежде того, видя нас часто в галерее манежа во время верховой езды своих гусар, обращался к нам с приветом и вопросом: когда мы начнем учиться ездить? Он даже попал по этому случаю в куплеты лицейской песни. Вот его куплет:

Bonjour, messieurs! Потише —
Поводьем не играй —
Вот я тебя потешу!..
A quand l'équitation?¹

Вот вам выдержки из хроники нашей юности. Удовольствуйтесь ими! Может быть, когда-нибудь появится целый ряд воспоминаний о лицейском своеобразном быте первого курса, с очерками личностей, которые потом заняли свои места в общественной сфере; большая часть из них уже исчезла, но оставила отрадное памятование в сердцах не одних своих товарищей.

В мае начались выпускные публичные экзамены. Тут мы уже начали готовиться к выходу из Лицея. Разлука с товарищеской средой была тяжела, хотя ею должна была начаться всегда желанная эпоха жизни, с заманчивой, незнакомой далью. Кто не спешил в тогдашние наши годы соскочить со школьной скамьи; но наша скамья была так заветно-приветлива, что невольно, даже при мысли о наступающей свободе, оглядывались мы на нее. Время проходило в мечтах, прощаньях и обетах, сердце дробилось!

Судьба на вечную разлуку,
Быть может, породнила нас!
(«Прощальная песнь» Дельвига.)

Наполнились альбомы и стихами и прозой. В моем остались стихи Пушкина. Они уже приведены вполне на 6-м листе этого рассказа.

Дельвига:

Прочти сии набросанные строки
С небрежностью на памятном листке,
Как не узнать поэта по руке?

¹ Когда же <будем заниматься> верховой ездой? (фр.)

Как первые не вспомнать уроки
И не сказать при дружеском столе:
«Друзья, у нас есть друг и в Хороле!»

Дельви́г после выпуска поехал в Хороль, где квартировал отец его, командовавший бригадой во внутренней страже.

Илличевского стихов не могу припомнить; знаю только, что они все кончились рифмой на Пушкин. Это было очень оригинально.

К прискорбию моему, этот альбом, исписанный и нарисованный, утратился из допотопного моего портфеля, который дивным образом возвратился ко мне через тридцать два года со всеми положенными мною рукописями.

9 июня был акт. Характер его был совершенно иной: как открытие Лицея было пышно и торжественно, так выпуск наш тих и скромн. В ту же залу пришел император Александр в сопровождении одного тогдашнего министра народного просвещения князя Голицына. Государь не взял с собой даже князя П. М. Волконского, который, как все говорили, желал быть на акте.

В зале были мы все с директором, профессорами, инспектором и гувернерами. Энгельгардт прочел коротенький отчет за весь шестилетний курс, после него конференц-секретарь Куницын возгласил высочайше утвержденное постановление конференции о выпуске. Вслед за этим всех нас, по старшинству выпуска, представляли императору с объяснением чинов и наград.

Государь заключил акт кратким отеческим наставлением воспитанникам и изъявлением благодарности директору и всему штату Лицея.

Тут пропета была нашим хором лицейская прощальная песнь,— слова Дельвига, музыка Теппера, который сам дирижировал хором. Государь и его не забыл при общих наградах.

Он был тронут и поэзией и музыкой, понял слезу на глазах воспитанников и наставников. Простился с нами с обычною приветливостью и пошел во внутренние комнаты, взяв князя Голицына под руку. Энгельгардт предупредил его, что везде беспорядок по случаю сборов к отъезду. «Это ничего,— возразил он,— я се-

годня не в гостях у тебя. Как хозяин, хочу посмотреть на сборы наших молодых людей». И точно, в дортуарах все было вверх дном, везде валялись вещи, чемоданы, ящики,— пахло отъездом! При выходе из Лицея государь признательно пожал руку Энгельгардту.

В тот же день, после обеда, начали разъезжаться: прощаньям не было конца. Я, больной, дольше всех оставался в Лицее. С Пушкиным мы тут же обнялись на разлуку: он тотчас должен был ехать в деревню к родным; я уж не застал его, когда приехал в Петербург.

Снова встретился с ним осенью, уже в гвардейском конноартиллерийском мундире. Мы шестеро учились фрунту в гвардейском образцовом батальоне; после экзамена, сделанного нам Клейнмихелем в этой науке, произведены были в офицеры высочайшим приказом 29 октября. Между тем как товарищи наши, поступившие в гражданскую службу, в июне же получили назначение; в том числе Пушкин поступил в коллегию иностранных дел и тотчас взял отпуск для свидания с родными.

Встреча моя с Пушкиным на новом нашем поприще имела свою знаменательность. Пока он гулял и отдыхал в Михайловском, я уже успел поступить в Тайное общество; обстоятельства так расположили моей судьбой! Еще в лицейском мундире я был частым гостем артели, которую тогда составляли Муравьевы (Александр и Михайло), Бурцов, Павел Колошин и Семенов. С Колошиным я был в родстве. Постоянные наши беседы о предметах общественных, о зле существующего у нас порядка вещей и о возможности изменения, желаемого многими втайне, необыкновенно сблизили меня с этим мыслящим кружком: я сдружился с ним, почти жил в нем. Бурцов, которому я больше высказывался, нашел, что по мнениям и убеждениям моим, вынесенным из Лицея, я готов для дела. На этом основании он принял в общество меня и Вольховского, который, поступив в гвардейский генеральный штаб, сделался его товарищем по службе. Бурцов тотчас узнал его, понял и оценил.

Эта высокая цель жизни самой своей таинственностью и начертанием новых обязанностей резко и глубоко

ко проникла душу мою — я как будто вдруг получил особенное значение в собственных своих глазах: стал внимательнее смотреть на жизнь во всех проявлениях буйной молодости, наблюдал за собою, как за частицей, хотя ничего не значащей, но входящей в состав того целого, которое рано или поздно должно было иметь благотворное свое действие.

Первая моя мысль была — открыться Пушкину: он всегда согласно со мною мыслил о деле общем (*res publica*), по-своему проповедовал в нашем смысле — и изустно и письменно, стихами и прозой. Не знаю, к счастью ли его, или несчастью, он не был тогда в Петербурге, а то не ручаюсь, что в первых порывах, по исключительной дружбе моей к нему, я, может быть, увлек бы его с собою. Впоследствии, когда думалось мне исполнить эту мысль, я уже не решился вверить ему тайну, не мне одному принадлежавшую, где малейшая неосторожность могла быть пагубна всему делу. Подвижность пылкого его нрава, сближение с людьми ненадежными пугали меня. К тому же в 1818 году, когда часть гвардии была в Москве по случаю приезда прусского короля, столько было опрометчивых действий одного члена общества, что признали необходимым делать выбор со всею строгостию, и даже, несколько лет спустя, объявлено было об уничтожении общества, чтобы тем удалить неудачно принятых членов. На этом основании я присоединил к союзу одного Рылеева, несмотря на то, что всегда был окружен многими разделяющими со мной мой образ мыслей.

Естественно, что Пушкин, увидя меня после первой нашей разлуки, заметил во мне некоторую перемену и начал подозревать, что я от него что-то скрываю. Особенно во время его болезни и продолжительного выздоровления, выдаясь чаще обыкновенного, он затруднял меня вопросами и расспросами, от которых я, как умел, отделялся, успокаивая его тем, что он лично, без всякого воображаемого им общества, действует как нельзя лучше для благой цели: тогда везде ходили по рукам, переписывались и читались наизусть его *Деревня*, *Ода на свободу*, *Ура! В Россию скачет...* и другие мелочи в том же духе. Не было живого человека, который не знал бы его стихов.

Нечего и говорить уже о разных его выходках, которые везде повторялись; например, однажды в Царском

Селе Захаржевского медвежонок сорвался с цепи от столба, на котором устроена была его будка, и побежал в сад, где мог встретиться глаз на глаз, в темной аллее, с императором, если бы на этот раз не встрепенулся его маленький шарло и не предостерег бы от этой опасной встречи. Медвежонок, разумеется, тотчас был истреблен, а Пушкин при этом случае, не обинуясь, говорил: «Нашелся один добрый человек, да и тот медведь!» Таким же образом он во всеуслышание в театре кричал: «Теперь самое безопасное время — по Неве идет лед». В переводе: нечего опасаться крепости.

Конечно, болтовня эта — вздор; но этот вздор, похожий несколько на поддразнивание, переходил из уст в уста и порождал разные толки, имевшие дальнейшее свое развитие; следовательно, и тут даже некоторым образом достигалась цель, которой он несознательно содействовал.

Между тем тот же Пушкин, либеральный по своим воззрениям, имел какую-то жалкую привычку изменять благородному своему характеру и очень часто сердил меня и вообще всех нас тем, что любил, например, вертеться у оркестра около Орлова, Чернышева, Киселева и других: они с покровительственной улыбкой выслушивали его шутки, остроты. Случалось из кресел сделать ему знак, он тотчас прибежит. Говоришь, бывало: «Что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом; ни в одном из них ты не найдешь сочувствия, и пр.». Он терпеливо выслушает, начнет щекотать, обнимать, что, обыкновенно, делал, когда немножко потеряется. Потом смотришь: Пушкин опять с тогдашними львами! (Анахронизм: тогда не существовало еще этого аристократического прозвища. Извините!)

Странное смешение в этом великолепном создании! Никогда не переставал я любить его; знаю, что и он платил мне тем же чувством; но невольно, из дружбы к нему, желалось, чтобы он, наконец, настоящим образом взглянул на себя и понял свое призвание. Видно, впрочем, что не могло и не должно было быть иначе; видно, нужна была и эта разработка, коловшая нам, слепым, глаза.

Не заключайте, пожалуйста, из этого ворчанья, чтобы я когда-нибудь был спартанцем, каким-нибудь Катоном,— далеко от всего этого: всегда шалил, дурил

и кутил с добрым товарищем. Пушкин сам увековечил это стихами ко мне; но при всей моей готовности к разгулу с ним, хотелось, чтобы он не переступал некоторых границ и не профанировал себя, если можно так выразиться, сближением с людьми, которые, по их положению в свете, могли волею и неволею набрасывать на него некоторого рода тень.

Между нами было и не без шалостей. Случалось, зайдет он ко мне. Вместо «здравствуй», я его спрашиваю: «От нее ко мне или от меня к ней?» Уж и это надо вам объяснить, если пустился болтать.

В моем соседстве, на Мойке, жила Анжелика — прелесть полька!

На прочее завеса!

(Стих. Пушкина.)

Возвратясь однажды с ученья, я нахожу на письменном столе развернутый большой лист бумаги. На этом листе нарисована пером знакомая мне комната, трюмо, две кушетки. На одной из кушеток сидит развалившись претолстая женщина, почти портрет безобразной тетки нашей Анжелики. У ног ее — стрикс, маленькая несносная собачонка.

Подписано: «От нее ко мне или от меня к ней?»

Не нужно было спрашивать, кто приходил. Кроме того, я понял, что этот раз Пушкин и ее не застал.

Очень жаль, что этот смело набросанный очерк в разгроме 1825 года не уцелел, как некоторые другие мелочи. Он стоил того, чтобы его литографировать.

Самое сильное нападение Пушкина на меня по поводу общества было, когда он встретился со мною у Н. И. Тургенева, где тогда собирались все желавшие участвовать в предполагаемом издании политического журнала. Тут между прочим были Куницын и наш лицейский товарищ Маслов. Мы сидели кругом большого стола. Маслов читал статью свою о статистике. В это время я слышу, что кто-то сзади берет меня за плечо. Оглядываюсь — Пушкин! «Ты что здесь делаешь? Наконец, поймал тебя на самом деле», — шепнул он мне на ухо и прошел дальше. Кончилось чтение. Мы встали. Подхожу к Пушкину, здороваюсь с ним. Подали чай, мы закурили сигарки и сели в уголок.

«Как же ты мне никогда не говорил, что знаком с Николаем Ивановичем? Верно, это ваше общество в сборе? Я совершенно нечаянно зашел сюда, гуляя в Летнем саду. Пожалуйста, не секретничай: право, любезный друг, это ни на что не похоже!»

Мне и на этот раз легко было без большого обмана доказать ему, что это совсем не собрание общества, им отыскиваемого, что он может спросить Маслова и что я сам тут совершенно неожиданно. «Ты знаешь, Пушкин, что я отнюдь не литератор, и, вероятно, удивляешься, что я попал некоторым образом в сотрудники журнала. Между тем это очень просто, как сейчас сам увидишь. На днях был у меня Николай Тургенев; разговорились мы с ним о необходимости и пользе издания в возможно свободном направлении; тогда это была преобладающая его мысль. Увидел он у меня на столе недавно появившуюся книгу M-me Stael «*Considérations sur la Revolution française*»¹ и советовал мне попробовать написать что-нибудь об ней и из нее. Тут же пригласил меня в этот день вечером быть у него,— вот я и здесь!»

Не знаю настоящим образом, до какой степени это объяснение, совершенно справедливое, удовлетворило Пушкина, только вслед за этим у нас переменялся разговор, и мы вошли в общий круг. Глядя на него, я долго думал: не должен ли я в самом деле предложить ему соединиться с нами? От него зависело принять или отвергнуть мое предложение. Между тем тут же невольно являлся вопрос: почему же помимо меня никто из близко знакомых ему старших наших членов не думал об нем? Значит, их останавливало почти то же, что меня пугало: образ его мыслей всем хорошо был известен, но не было полного к нему доверия.

Преследуемый мыслию, что у меня есть тайна от Пушкина и что, может быть, этим самым я лишаю общество полезного деятеля, почти решался броситься к нему и все высказать, зажмуря глаза на последствия. В постоянной борьбе с самим собою, как нарочно, вскоре случилось мне встретить Сергея Львовича на Невском проспекте.

— Как вы, Сергей Львович? Что наш Александр?

— Вы когда его видели?

¹ «Взгляд на французскую революцию» (фр.).

— Несколько дней тому назад у Тургенева.

Я заметил, что Сергей Львович что-то мрачен.

— Je n'ai rien de mieux à faire, que de me mettre en quatre pour rétablir la réputation de mon cher fils¹. Видно, вы не знаете последнюю его проказу.

Тут рассказал мне что-то, право, не помню, что именно, да и припоминать не хочется.

«Забудьте этот вздор, почтенный Сергей Львович! Вы знаете, что Александру многое можно простить: он окупает свои шалости неотъемлемыми достоинствами, которых нельзя не любить».

Отец пожал мне руку и продолжал свой путь.

Я задумался, и, признаюсь, эта встреча, совершенно случайная, произвела свое впечатление: мысль о принятии Пушкина исчезла из моей головы. Я страдал за него, и подчас мне опять казалось, что, может быть, Тайное общество сокровенным своим клеймом поможет ему повнимательней и построже взглянуть на самого себя, сделать некоторые изменения в ненормальном своем быту. Я знал, что он иногда скорбел о своих промахах, обличал их в близких наших откровенных беседах, но, видно, не пришла еще пора кипучей его природе уgomониться. Как ни вертел я все это в уме и сердце, кончил тем, что сознал себя не вправе действовать по личному шаткому воззрению, без полного убеждения в деле, ответственном пред целию самого союза.

После этого мы как-то не часто виделись. Круг знакомства нашего был совершенно розный. Пушкин кружился в большом свете, а я был как можно подальше от него. Летом маневры и другие служебные занятия увлекали меня из Петербурга. Все это, однако, не мешало нам при всякой возможности встречаться с прежней дружбой и радоваться нашим встречам у лицейской братии, которой уже немного оставалось в Петербурге; большею частью свидания мои с Пушкиным были у домоседа Дельвига.

В январе 1820 года я должен был ехать в Бессарабию к больной тогда замужней сестре моей. Прожив в Кишиневе и Аккермане почти четыре месяца, в мае возвращался с нею, уже здоровою, в Петербург. Бело-

¹ Мне остается только разорваться на части для восстановления репутации моего милого сына (фр.).

русский тракт ужасно скучен. Не встречая никого на станциях, я обыкновенно заглядывал в книгу для записывания подорожных и там искал проезжих. Вижу раз, что накануне проехал Пушкин в Екатеринославль. Спрашиваю смотрителя: «Какой это Пушкин?» Мне и в мысль не приходило, что это может быть Александр. Смотритель говорит, что это поэт Александр Сергеевич, едет, кажется, на службу, на перекладной, в красной русской рубашке, в опояске, в поярковой шляпе (время было ужасно жаркое). Я тут ровно ничего не понимал — живя в Бессарабии, никаких вестей о наших лицейских не имел. Это меня озадачило.

В Могилеве, на станции, встречаю фельдъегеря, разумеется, тотчас спрашиваю его: не знает ли он чего-нибудь о Пушкине. Он ничего не мог сообщить мне об нем, а рассказал только, что за несколько дней до его выезда сгорел в Царском Селе Лицей, остались одни стены и воспитанников поместили во флигеле. Все это вместе заставило меня нетерпеливо желать скорей добраться до столицы.

Там после служебных формальностей я пустился разузнавать об Александре. Узнаю, что в одно прекрасное утро пригласил его полицеймейстер к графу Милорадовичу, тогдашнему петербургскому военному генерал-губернатору. Когда привезли Пушкина, Милорадович приказывает полицеймейстеру ехать в его квартиру и опечатать все бумаги. Пушкин, слыша это приказание, говорит ему: «Граф! вы напрасно это делаете. Там не найдете того, что ищете. Лучше велите дать мне перо и бумаги, я здесь же все вам напишу». (Пушкин понял, в чем дело.) Милорадович, тронутый этою свободною откровенностью, торжественно воскликнул: «Ah, c'est chevaleresque»¹, — пожал ему руку.

Пушкин сел, написал все контрабандные свои стихи и попросил дежурного адъютанта отнести их графу в кабинет. После этого подвига Пушкина отпустили домой и велели ждать дальнейшего приказания.

Вот все, что я дознал в Петербурге. Еду потом в Царское Село к Энгельгардту, обращаюсь к нему с тем же тревожным вопросом.

Директор рассказал мне, что государь (это было после того, как Пушкина уже призывали к Милорадо-

¹ Ах, это по-рыцарски (фр.).

вичу, чего Энгельгардт до свидания с царем и не знал) встретил его в саду и пригласил с ним пройтись.

— Энгельгардт,— сказал ему государь,— Пушкина надобно сослать в Сибирь: он наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодежь наизусть их читает. Мне нравится откровенный его поступок с Милорадовичем, но это не исправляет дела.

Директор на это ответил: «Воля вашего величества, но вы мне простите, если я позволю себе сказать слово за бывшего моего воспитанника; в нем развивается необыкновенный талант, который требует пощады. Пушкин теперь уже — краса современной нашей литературы, а впереди еще большие на него надежды. Ссылка может губительно подействовать на пылкий нрав молодого человека. Я думаю, что великодушие ваше, государь, лучше вразумит его!»

Не знаю, вследствие ли этого разговора, только Пушкин не был сослан, а командирован от коллегии иностранных дел, где состоял на службе, к генералу Инзову, начальнику колоний Южного края.

Проезжай Пушкин сутками позже до поворота на Екатеринославль, я встретил бы его дорогой, и как отрадно было бы обнять его в такую минуту! Видно, нам суждено было только один раз еще повидаться, и то не прежде 1825 года.

В промежуток этих пяти лет генерала Инзова назначили наместником Бессарабии; с ним Пушкин переехал из Екатеринославля в Кишинев, впоследствии оттуда поступил в Одессу к графу Воронцову по особым поручениям. Я между тем, по некоторым обстоятельствам, сбросил конноартиллерийский мундир и преобразился в судьи уголовного департамента московского надворного суда. Переход резкий, имевший, впрочем, тогда свое значение.

Князь Юсупов (во главе всех, про которых Грибоедов в «Горе от ума» сказал: «Что за тузы в Москве живут и умирают»), видя на бале у московского военного генерал-губернатора князя Голицына неизвестное ему лицо, танцующее с его дочерью (он знал, хоть по фамилии, всю московскую публику), спрашивает Зубкова: кто этот молодой человек? Зубков называет меня и говорит, что я — надворный судья.

«Как! надворный судья танцует с дочерью генерал-губернатора? Это вещь небывалая, тут кроется что-нибудь необыкновенное».

Юсупов — не пророк, а угадчик, и точно, на другой год ни я, ни многие другие уже не танцевали в Москве!

В 1824 году в Москве тотчас узналось, что Пушкина из Одессы сослали в псковскую деревню отца своего, под надзор местной власти; надзор этот был поручен Пещурову, тогдашнему предводителю дворянства Опочковского уезда. Все мы, огорченные несомненным этим известием, терялись в предположениях. Не зная ничего положительного, приписывали эту ссылку бывшим тогда неудовольствиям между ним и графом Воронцовым. Были разнообразные слухи и толки, замешивали даже в это дело и графиню. Все это несколько не утешало нас. Потом вскоре стали говорить, что Пушкин вдобавок отдан под наблюдение архимандрита Святогорского монастыря, в четырех верстах от Михайловского. Это дополнительное сведение делало нам задачу еще сложнее, несколько не разрешая ее.

С той минуты, как я узнал, что Пушкин в изгнании, во мне зародилась мысль непременно навестить его. Собираясь на рождество в Петербург для свидания с родными, я предположил съездить и в Псков к сестре Набоковой; муж её командовал тогда дивизией, которая там стояла, а оттуда уже рукой подать в Михайловское. Вследствие этой программы я подал в отпуск на 28 дней в Петербургскую и Псковскую губернии.

Перед отъездом, на вечере у того же князя Голицына, встретился я с А. И. Тургеневым, который незадолго до того приехал в Москву. Я подсел к нему и спрашиваю: не имеет ли он каких-нибудь поручений к Пушкину, потому что я в январе буду у него. «Как! Вы хотите к нему ехать? Разве не знаете, что он под двойным надзором — и полицейским и духовным?» — «Все это знаю; но знаю также, что нельзя не навестить друга после пятилетней разлуки в теперешнем его положении, особенно когда буду от него с небольшим в ста верстах. Если не пустят к нему, уеду назад». — «Не советовал бы. Впрочем, делайте, как знаете», — прибавил Тургенев.

Опасения доброго Александра Ивановича меня удивили, и оказалось, что они были совершенно напрасны. Почти те же предостережения выслушал я от В. А. Пушкина, к которому заезжал проститься и сказать, что увижу его племянника. Со слезами на глазах дядя просил расцеловать его.

Как сказано, так и сделано.

Проведя праздник у отца в Петербурге, после крещения я поехал в Псков. Погостил у сестры несколько дней и от нее вечером пустился из Пскова; в Острове, проездом ночью, взял три бутылки клико и к утру следующего дня уже приближался к желаемой цели. Свернули мы, наконец, с дороги в сторону, мчались среди леса по гористому проселку — все мне казалось не довольно скоро! Спускаясь с горы, недалеко от усадьбы, которой за частыми соснами нельзя было видеть, сани наши в ухабе так наклонились набок, что ямщик слетел. Я с Алексеем, неизменным моим спутником от лицейского порога до ворот крепости, кой-как удержался в санях. Схватили вожжи.

Кони несут среди сугробов, опасности нет: в сторону не бросятся, все лес, и снег им по брюхо — править не нужно. Скачем опять в гору извилистой тропой; вдруг крутой поворот, и как будто неожиданно вломились с маху в притворенные ворота при громе колокольчика. Не было силы остановить лошадей у крыльца, протащили мимо и засели в снегу нерасчищенного двора...

Я оглядываюсь: вижу на крыльце Пушкина, босиком, в одной рубашке, с поднятыми вверх руками. Не нужно говорить, что тогда во мне происходило. Выскакиваю из саней, беру его в охапку и тащу в комнату. На дворе страшный холод, но в иные минуты человек не простужается. Смотрим друг на друга, целуемся, молчим! Он забыл, что надобно прикрыть наготу, я не думал об заиндеветшей шубе и шапке.

Было около восьми часов утра. Не знаю, что делалось. Прибежавшая старуха застала нас в объятиях друг друга в том самом виде, как мы попали в дом: один — почти голый, другой — весь забросанный снегом. Наконец, пробила слеза (она и теперь, через тридцать три года, мешает писать в очках) — мы очнулись. Совестно

стало перед этою женщиной, впрочем, она все поняла. Не знаю, за кого приняла меня, только, ничего не спрашивая, бросилась обнимать. Я тотчас догадался, что это добрая его няня, столько раз им воспетая, — чуть не задушил ее в объятиях.

Все это происходило на маленьком пространстве. Комната Александра была возле крыльца, с окном на двор, через которое он увидел меня, услышав колокольчик. В этой небольшой комнате помещалась кровать его с пологом, письменный стол, диван, шкаф с книгами и пр., пр. Во всем поэтический беспорядок, везде разбросаны исписанные листы бумаги, всюду валялись обкусанные, обожженные кусочки перьев (он всегда с самого Лицея писал обглодками, которые едва можно было держать в пальцах). Вход к нему прямо из коридора; против его двери — дверь в комнату няни, где стояло множество пяльцев.

После первых наших обниманий пришел и Алексей, который, в свою очередь, кинулся целовать Пушкина; он не только знал и любил поэта, но и читал наизусть многие из его стихов. Я между тем приглядывался, где бы умыться и хоть сколько-нибудь оправиться. Дверь во внутренние комнаты была заперта — дом не топлён. Кой-как все это тут же уладили, копошась среди отрывистых вопросов: что? как? где? и пр.; вопросы большею частью не ожидали ответов; наконец, помаленьку прибрались; подали нам кофе; мы уселись с трубками. Беседа пошла привольнее; многое надо было хронологически рассказать, о многом расспросить друг друга! Теперь не берусь всего этого передать.

Вообще Пушкин показался мне несколько серьезнее прежнего, сохраняя, однако ж, ту же веселость; может быть, самое положение его произвело на меня это впечатление. Он, как дитя, был рад нашему свиданию, несколько раз повторял, что ему еще не верится, что мы вместе. Прежняя его живость во всем проявлялась, в каждом слове, в каждом воспоминании: им не было конца в неумолкаемой нашей болтовне. Наружно он мало переменился, оброс только бакенбардами; я нашел, что он тогда был очень похож на тот портрет, который потом видел в *Северных цветах* и теперь при издании его сочинений П. В. Анненковым.

Пушкин сам не знал настоящим образом причины своего удаления в деревню; он приписывал удаление из

Одессы козням графа Воронцова из *ревности*; думал даже, что тут могли действовать некоторые смелые его бумаги по службе, эпиграммы на управление и неосторожные частые его разговоры о религии.

Случайно довелось мне недавно видеть копию с переписки графа Нессельроде с графом Воронцовым, вследствие которой Пушкин был сослан из Одессы на жительство в деревню отца. Поводом к этой переписке, без сомнения, было перехваченное на почте письмо Пушкина, но кому именно писанное — мне неизвестно; хотя об этом письме Нессельроде и не упоминает, а просто пишет, что по дошедшим до императора сведениям о поведении и образе жизни Пушкина в Одессе его величество находит, что пребывание в этом шумном городе для молодого человека во многих отношениях вредно, и потому поручает спросить его мнение на этот счет. Воронцов ответил, что совершенно согласен с высочайшим определением и вполне убежден, что Пушкину нужно больше уединения для собственной его пользы.

Вот копия с отрывка из письма Пушкина, которое в полном составе его мне неизвестно:

«Читая Шекспира и Библию, святой дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гете и Шекспира. Ты хочешь узнать, что я делаю? — пишу пестрые строфы романтической поэмы и беру уроки чистого афеизма. Здесь англичанин, глухой Философ, единственный умный афей, которого я еще встретил. Он написал листов тысячу, чтобы доказать: *qu'il ne peut exister d'être intelligent Créateur et regulateur*¹, мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души. — Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастью, более всего правдоподобная».

Из дела видно, что Пушкин по назначенному маршруту, через Николаев, Елизаветград, Кременчуг, Чернигов и Витебск, отправился из Одессы 30 июля 1824 года, дав подписку нигде не останавливаться на пути по своему произволу и, по прибытии в Псков, явиться к гражданскому губернатору.

9 августа того же года Пушкин прибыл в имение отца своего статского советника Сергея Львовича Пушкина, состоящее в Опочковском уезде.

¹ Что не может существовать существа разумного, создателя и правителя (фр.).

Мне показалось, что он вообще неохотно об этом говорил; я это заключил по лаконическим отрывистым его ответам на некоторые мои вопросы, и потому я его просил оставить эту статью, тем более что все наши толкования ни к чему не вели, а только отклоняли нас от другой, близкой нам беседы. Заметно было, что ему как будто несколько наскучила прежняя шумная жизнь, в которой он частенько терялся.

Среди разговора *ex abrupto*¹ он спросил меня: что об нем говорят в Петербурге и в Москве? При этом вопросе рассказал мне, будто бы император Александр ужасно перепугался, найдя его фамилию в записке коменданта о приезжих в столицу, и тогда только успокоился, когда убедился, что не он приехал, а брат его Левушка. На это я ему ответил, что он совершенно напрасно мечтает о политическом своем значении, что вряд ли кто-нибудь на него смотрит с этой точки зрения, что вообще читающая наша публика благодарит его за всякий литературный подарок, что стихи его приобрели народность во всей России, и, наконец, что близкие и друзья помнят и любят его, желая искренно, чтоб скорее кончилось его изгнание.

Он терпеливо выслушал меня и сказал, что несколько примирился в эти четыре месяца с новым своим бытом, вначале очень для него тягостным; что тут, хотя невольно, но все-таки отдыхает от прежнего шума и волнения; с Музой живет в ладу и трудится охотно и усердно. Скорбел только, что с ним нет сестры его, но что, с другой стороны, никак не согласится, чтоб она, по привязанности к нему, проскучала целую зиму в деревне. Хвалил своих соседей в Тригорском, хотел даже взять меня к ним, но я отговорился тем, что приехал на такое короткое время, что не успею и на него самого наглядеться. Среди всего этого много было шуток, анекдотов, хохоту от полноты сердечной. Уцелели бы все эти дорогие подробности, если бы тогда при нас был стенограф.

Пушкин заставил меня рассказать ему про всех наших первокурсных Лицея, потребовал объяснения, каким образом из артиллеристов я преобразовался в судьи. Это было ему по сердцу, он гордился мною и за меня! Вот его строфы из «Годовщины 19 октября»

¹ Внезапно (лат.).

1825 года, где он вспоминает, сидя один, наше свидание и мое суждение:

И ныне здесь, в забытой сей глуши,
В обители пустынных выюг и хлада,
Мне сладкая готовилась отрада.

.....

..... Поэта дом опальный,
О Пушкин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его Лицея превратил.

.....

Ты, освятив тобой избранный сан,
Ему в очах общественного мнения
Завоевал почтение граждан.

Незаметно коснулись опять подозрений насчет общества. Когда я ему сказал, что не я один поступил в это новое служение отечеству, он вскочил со стула и вскрикнул: «Верно, все это в связи с майором Раевским, которого пятый год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать». Потом, успокоившись, продолжал: «Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пушкин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою — по многим моим глупостям». Молча, я крепко расцеловал его; мы обнялись и пошли ходить: обоим нужно было вздохнуть.

Вошли в нянину комнату, где собрались уже швеи. Я тотчас заметил между ними одну фигурку, резко отличавшуюся от других, не сообщая, однако, Пушкину моих заключений. Я невольно смотрел на него с каким-то новым чувством, порожденным исключительным положением: оно высоко ставило его в моих глазах, и я боялся оскорбить его каким-нибудь неуместным замечанием. Впрочем, он тотчас прозрел шаловливую мою мысль — улыбнулся значительно. Мне ничего больше не нужно было — я, в свою очередь, моргнул ему, и все было понятно без всяких слов.

Среди молодой своей команды няняпреважно разгуливала с чулком в руках. Мы полюбовались работами, побалагурили и возвратились восвояси. Настало время обеда. Алексей хлопнул пробкой, начались тосты за Русь, за Лицей, за отсутствующих друзей и за нее. Незаметно полетела в потолок и другая пробка; попотчевали искрометным няню, а всех других — хозяйской

наливкой. Все домашнее население несколько развеселилось; кругом нас стало пошумнее, праздновали наше свидание.

Я привез Пушкину в подарок *Горе от ума*; он был очень доволен этой тогда рукописной комедией, до того ему вовсе почти незнакомой. После обеда, за чашкой кофе, он начал читать ее вслух; но опять жаль, что не припомню теперь метких его замечаний, которые, впрочем, потом частью явились в печати.

Среди этого чтения кто-то подъехал к крыльцу. Пушкин взглянул в окно, как будто смутился и торопливо раскрыл лежавшую на столе Четью-Минею. Заметив его смущение и не подозревая причины, я спросил его: что это значит? Не успел он ответить, как вошел в комнату низенький, рыжеватый монах и рекомендовался мне настоятелем соседнего монастыря.

Я подошел под благословение. Пушкин — тоже, прося его сесть. Монах начал извинением в том, что, может быть, помешал нам, потом сказал, что, узнавши мою фамилию, ожидал найти знакомого ему П. С. Пущина, уроженца великолуцкого, которого очень давно не видал. Ясно было, что настоятелю донесли о моем приезде и что монах хитрит. Хотя посещение его было вовсе некстати, но я все-таки хотел *faire bonne mine à mauvais jeu*¹ и старался уверить его в противном; объяснил ему, что я — Пущин такой-то, лицейский товарищ хозяина, а что генерал Пущин, его знакомый, командует бригадой в Кишиневе, где я в 1820 году с ним встречался. Разговор завязался о том о сем. Между тем подали чай. Пушкин спросил рому, до которого, видно, монах был охотник. Он выпил два стакана чаю, не забывая о роме, и после этого начал прощаться, извиняясь снова, что прервал нашу товарищескую беседу.

Я рад был, что мы избавились этого гостя, но мне неловко было за Пушкина: он, как школьник, присмирел при появлении настоятеля. Я ему высказал мою досаду, что накликал это посещение. «Перестань, любезный друг! Ведь он и без того бывает у меня — я поручен его наблюдению. Что говорить об этом вздоре!» Тут Пушкин как ни в чем не бывало продолжал читать комедию — я с необыкновенным удовольствием слушал

¹ делать хорошую мину при плохой игре (фр.).

его выразительное и исполненное жизни чтение, довольный тем, что мне удалось доставить ему такое высокое наслаждение.

Потом он мне прочел кой-что свое, большею частью в отрывках, которые впоследствии вошли в состав замечательных его пиес; продиктовал начало из поэмы «Цыганы» для «Полярной Звезды» и просил, обнявши крепко Рылеева, благодарить за его патриотические «Думы».

Время не стояло. К несчастью, вдруг запахло угаром. У меня собачье чутье, и голова моя не выносит угара. Тотчас же я отправился узнавать, откуда эта беда, неожиданная в такую пору дня. Вышло, что няня, воображая, что я останусь погостить, велела в других комнатах затопить печи, которые с самого начала зимы не топились. Когда закрыли трубы,—хоть беги из дому! Я тотчас распорядился за беззаботного сына в отцовском доме: велел открыть трубы, запер на замок дверь в натопленные комнаты, притворил и нашу дверь, а форточку открыл.

Все это неприятно на меня подействовало, не только в физическом, но и в нравственном отношении. «Как,—подумал я,—хоть в этом не успокоить его, как не устроить так, чтобы ему, бедному поэту, было где подвигаться в зимнее ненастье». В зале был бильярд; это могло бы служить для него развлечением. В порыве досады я даже упрекнул няню, зачем она не велит отапливать всего дома. Видно, однако, мое ворчанье имело некоторое действие, потому что после моего посещения перестали экономничать дровами. Г-н Анненков в биографии Пушкина говорит, что он иногда один играл в два шара на бильярде. Ведь не летом же он этим забавлялся, находя приволье на божьем воздухе, среди полей и лесов, которые любил с детства. Я не мог познакомиться с местностью Михайловского, так живо им воспетой: она тогда была закутана снегом.

Между тем время шло за полночь. Нам подали закусить; на прощанье хлопнула третья пробка. Мы крепко обнялись в надежде, может быть, скоро свидеться в Москве. Шаткая эта надежда облегчила расставанье после так отрадно промелькнувшего дня. Ямщик уже запряг лошадей, колоколец брякал у крыльца, на часах ударило три. Мы еще чокнулись стаканами, но грустно пилося: как будто чувствовалось, что последний раз вместе пьем, и пьем на вечную разлуку! Мол-

ча я набросил на плечи шубу и убежал в сани. Пушкин еще что-то говорил мне вслед; ничего не слыша, я глядел на него: он остановился на крыльце, со свечой в руке. Кони рванули под гору. Послышалось: «Прощай, друг!» Ворота скрипнули за мной...

Сцена переменилась.

Я осужден; 1828 года, 5 генваря, привезли меня из Шлиссельбурга в Читу, где я соединился, наконец, с товарищами моего изгнания и заточения, прежде меня прибывшими в тамошний острог.

Что делалось с Пушкиным в эти годы моего странствования по разным мытарствам, я решительно не знаю; знаю только и глубоко чувствую, что Пушкин первый встретил меня в Сибири задушевым словом. В самый день моего приезда в Читу призывает меня к частоколу А. Г. Муравьева и отдает листок бумаги, на котором неизвестною рукой написано было:

Мой первый друг, мой друг бесценный,
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил;
Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!

(Псков, 13 декабря 1826.)

Отрадно отозвался во мне голос Пушкина! Преисполненный глубокой, живительной благодарности, я не мог обнять его, как он меня обнимал, когда я первый посетил его в изгнание. Увы! я не мог даже пожать руку той женщине, которая так радостно спешила утешить меня воспоминанием друга; но она поняла мое чувство без всякого внешнего проявления, нужного, может быть, другим людям и при других обстоятельствах; а Пушкину, верно, тогда не раз икнулось.

Наскоро, через частокол, Александра Григорьевна проговорила мне, что получила этот листок от одного своего знакомого пред самым отъездом из Петербурга, хранила его до свидания со мною и рада, что могла, наконец, исполнить порученное поэтом.

По приезде моем в Тобольск в 1839 году я послал эти стихи к Плетневу; таким образом были они напечатаны; а в 1842 брат мой Михаил отыскал в Пскове самый подлинник Пушкина, который теперь хранится у меня в числе заветных моих сокровищ.

В своеобразной нашей тюрьме я следил с любовью за постепенным литературным развитием Пушкина; мы наслаждались всеми его произведениями, являющимися в свет, получая почти все повременные журналы. В письмах родных и Энгельгардта, умевшего найти меня и за Байкалом, я не раз имел о нем некоторые сведения. Бывший наш директор прислал мне его стихи «19 октября 1827 года»:

Бог помощь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы,
И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких таинствах любви!

Бог помощь вам, друзья мои,
И в счастье, и в житейском горе,
В стране чужой, в пустынном море
И в темных пропастях земли.

И в эту годовщину в кругу товарищей-друзей Пушкин вспомнил меня и Вильгельма, заживо погребенных, которых они не досчитывали на лицейской сходке.

Впоследствии узнал я об его женитьбе и камер-юнкерстве; и то и другое как-то худо укладывалось во мне: я не умел представить себе Пушкина семьянином и царедворцем; жена красавица и придворная служба пугали меня за него. Все это вместе, по моим понятиям об нем, не обещало упрочить его счастья.

Проходили годы; ничем отрадным не навевало в нашу даль — там, на нашем западе, все шло тем же тяжелым ходом. Мы, грешные люди, стояли как поверстные столбы на большой дороге: иные путники, может быть, иногда и взглядывали, но продолжали путь тем же шагом и в том же направлении...

Между тем у нас, с течением времени, силою самых обстоятельств, устроились более смелые контрабандные сношения с европейской Россией — кой-когда доходили до нас не одни газетные известия. Таким образом, в генваре 1837 года возвратившийся из отпуска наш

плац-адъютант Розенберг зашел в мой 14-й номер. Я искренно обрадовался и забросал его расспросами о родных и близких, которых ему случилось видеть в Петербурге. Отдав мне отчет на мои вопросы, он с какою-то нерешительностью упомянул о Пушкине. Я тотчас ухватился за это дорогое мне имя: где он с ним встретился? как он поживает? и пр. Розенберг выслушал меня в раздумье и, наконец, сказал: «Нечего от вас скрывать. Друга вашего нет! Он ранен на дуэли Дантесом и через двое суток умер; я был при отпевании его тела в Конюшенной церкви, накануне моего выезда из Петербурга».

Слушая этот горький рассказ, я сначала решительно как будто не понимал слов рассказчика, — так далека от меня была мысль, что Пушкин должен умереть во цвете лет, среди живых на него надежд. Это был для меня громовой удар из безоблачного неба — ошеломило меня, а вся скорбь не вдруг сказалась на сердце. — Весть эта электрической искрой сообщилась в тюрьме — во всех кружках только и речи было, что о смерти Пушкина — об общей нашей потере, но в итоге выходило одно: что его не стало и что не воротить его!

Провидение так решило; нам остается смиренно благоговеть перед его определением. Не стану беседовать с вами об этом народном горе, тогда несказанно меня поразившем: оно слишком тесно связано с жгучими оскорблениями, которые невыразимо должны были отвращать последние месяцы жизни Пушкина. Другим лучше меня, далекого, известны гнусные обстоятельства, породившие дуэль; с своей стороны скажу только, что я не мог без особенного отвращения об них слышать — меня возмущали лица, действовавшие и подозреваемые в участии по этому гадкому делу, подсекшему существование величайшего из поэтов.

Размышляя тогда и теперь очень часто о ранней смерти друга, не раз я задавал себе вопрос: «Что было бы с Пушкиным, если бы я привлек его в наш союз и если бы пришлось ему испытать жизнь, совершенно иную от той, которая пала на его долю».

Вопрос дерзкий, но мне, может быть, простительный! — Вы видели внутреннюю мою борьбу всякий раз, когда, сознавая его податливую готовность, приходила мне мысль принять его в члены Тайного нашего общества; видели, что почти уже на волоске висела его

участь в то время, когда я случайно встретился с его отцом. Эта и пустая и совершенно ничего не значащая встреча между тем высказалась во мне каким-то знаменательным указанием... Только после смерти его все эти, по-видимому, ничтожные обстоятельства приняли, в глазах моих, вид явного действия промысла, который, спасая его от нашей судьбы, сохранил Поэта для славы России.

Положительно, сибирская жизнь, та, на которую впоследствии мы были обречены в течение тридцати лет, если б и не вовсе иссушила его могучий талант, то далеко не дала бы ему возможности достичь того развития, которое, к несчастью, и в другой сфере жизни несвоевременно было прервано.

Характеристическая черта гения Пушкина — разнообразие. Не было почти явления в природе, события в обыденной и общественной жизни, которые бы прошли мимо его, не вызвав дивных и неподражаемых звуков его лиры; и поэтому простор и свобода, для всякого человека бесценные, для него были сверх того могущественнейшими вдохновителями. В нашем же тесном и душном заточении природу можно было видеть только через железные решетки, а о живых людях разве только слышать.

Пушкин при всей своей восприимчивости никак не нашел бы там материалов, которыми он пользовался на поприще общественной жизни. Может быть, и самый резкий перелом в существовании, который далеко не все могут выдержать, пагубно отозвался бы на его своеобразном, чтобы не сказать капризном, существе.

Одним словом, в грустные минуты я утешал себя тем, что поэт не умирает и что Пушкин мой всегда жив для тех, кто, как я, его любил, и для всех умеющих отыскивать его, живого, в бессмертных его творениях...

Еще пара слов:

Манифестом 26 августа 1856 года я возвращен из Сибири. В Нижнем-Новгороде я посетил Даля (он провел с Пушкиным последнюю ночь). У него я видел Пушкина простреленный сюртук. Даль хочет принести его в дар Академии или Публичной библиотеке.

В Петербурге навещал меня, больного, Константин Данзас. Много говорил я о Пушкине с его секундантом. Он, между прочим, рассказал мне, что раз как-то, во вре-

мя последней его болезни, приехала У. К. Глинка, сестра Кюхельбекера; но тогда ставили ему пиявки. Пушкин просил поблагодарить ее за участие, извинился, что не может принять. Вскоре потом со вздохом проговорил: «Как жаль, что нет теперь здесь ни Пушкина, ни Маиновского!»

Вот последний вздох Пушкина обо мне. Этот предсмертный голос друга дошел до меня с лишком через 20 лет!..

Им кончаю и рассказ мой.

И. П.

С. Марьино. Август 1858.



В.К. РЮХЕЛЬБЕКЕР

ОСЕНЬ

Ветер протек по вершинам дерев; деревья зашатались —
Лист под ногою шумит; по синему озеру лебедь
Уединенный плывет; на холмах и в гулкой долине
Смолкнули птицы.

Солнце, чуть выглянув, скроется тотчас: луч его хладен.
Всё запустело вокруг. Уже отголосок не вторит
Песней жнецов; по дороге звенит колокольчик унылый;
Дым в отдалении,

Путник, закутанный в плащ, спешит к молчаливой
деревне.
Я одинокий брожу. К тебе прибегаю, Природа!
Матерь, в объятья твои! согрей, о согрей мое сердце,
Нежная матерь!

Рано для юноши осень настала.— Слезу сожаленья,
Други! я умер душою: нет уже прежних восторгов,
Нет и сладостных прежних страданий — всюду
безмолвье,
Холод могилы!

23 сентября 1816

ЗИМА

Взор мой бродит везде по немой, по унылой пустыне;
Смерть в увядшей душе, все мёртво в безмолвной
природе,
Там на сосне вековой завыванию бури внимает
Пасмурный вран.

Сердце заныло во мне, средь тягостных дум я забылся:
Спит на гробах человек и видит тяжелые грезы;
Спит — и только изредка скорбь и тоска прилетают
Душу будить!

«Шумная радость мертва; бытие в единой печали,
В горькой любви, и в плаче живом, и в растерзанном
сердце!» —
Вдруг закачал заскрипевшею елию ветер; я, вздрогнув,
Очи подъял!

Всюду и холод и блеск. Обнаженны древа и покрыты
Льдяной корой. Иду; хрустит у меня под ногою
Светлый, безжизненный снег, бежит по сугробам
тропинка
В белую даль!

1816 или 1817

К МАТЮШКИНУ

Скоро, Матюшкин, с тобой разлучит нас шумное море:
Челн окрыленный помчит счастье твое по волнам!
Юные ты племена на берегах отдаленной чужбины,
Дикость узришь, простоту, мужество первых
времен;
Мир Иапета, дряхлеющий в страшном бессильи, Европу
С новым миром сравнишь, — мрачную тайну Судеб
С трепетом сердца прочтешь в тумане столетий
грядущих;
Душу твою изумит суд жизнедавец богов!
В быстром течении жаждущий взгляд остановишь
на льдинах
К небу стремящихся гор, на убегающих в даль
Пышных берегах; ты пояс земли преплывешь, и
познаешь

Сон недвижных зыбей, ужас немой тишины;
Рев и боренье стихий, и ведро, и ужасы встретишь,
Но не забудешь друзей! нашей мольбою храним,
Ты не нарушишь обетов святых, о Матюшкин!

в отчизну
Прежнюю к братьям любовь с прежней душой
принесешь!

Первая половина 1817

ЦАРСКОЕ СЕЛО

Нагнулись надо мной дерев родимых своды,
Прохлада тихая развесистых берез!
Здесь наш знакомый луг; вот милый нам утес;
На высоту его, сыны младой свободы,
Питомцы, баловни и Феба, и Природы,
Бывало, мы рвались сквозь густоту древес
И слабым гладкий путь с презреньем оставляли!
О время сладкое и чуждое печали!
Ужель навеки мир души моей исчез
И бросили меня волшебные мечтанья?
Веселье нахожу в одном воспоминаньи:
Глаза полны невольных слез!
Так, вы умчались, мои златые годы;
Но — будь хвала судьбе: я снова, снова здесь,
В сей мирной пристани я оживаю весь!
Стою — и зеркалом разостланные воды
Мне кажут мост, холмы, берега, прибрежный лес
И светлую лазурь безоблачных небес!
Как часто, сидя здесь в полуночном мерцаньи,
На месяц я глядел в восторженном молчаньи!
Места прелестные, где возвышенных муз,
И дивный пламень их, и радости святые,
Порыв к великому, любовь к добру — впервые
Узнали мы и где наш тройственный союз,
Союз молодых певцов и чистый, и священный,
Всесильным навыком и дружбой заключенный,
Был братскою каменной укреплен!
Пусть будет он для нас до гроба незабвен:
Ни радость ясная, ни мрачное страданье,
Ни нега, ни корысть, ни почестей исканье —
Моей души ничто от вас не удалит!

И в песнях сладостных и в славе состязанье
Соперников-друзей тесней соединит!
Зачем же нет вас здесь, избранники харит?
Тебя, о Дельвиг мой, о мой мудрец ленивый,
Беспечный и в своей беспечности счастливый!
Тебя, мой огненный, чувствительный певец

Любви и доброго Руслана,—

Тебя, на чьем челе предвижу я венец
Арьоста и Парни, Петрарки и Баяна!
О други! почему не с вами я брожу?
Зачем не говорю, не спорю здесь я с вами?
Не с вами с башни сей на пышный сад гляжу?

Или, сплетаясь руками,

Зачем не вместе мы внимаем шуму вод,
Биющих искрами и пеною о камень?
Не вместе посмотрим здесь на солнечный восход,
На потухающий на крае неба пламень?

Мне с вами всё казалось бы мечтой,

Несвязным, смутным сновиденьем,

Все, все, что встретил я, простясь с уединеньем,
Увы! что у меня и счастье, и покой,
И тишину души младенческой отъяло
И сердце бедное так больно растерзало! —
При вас, товарищи, моя утихнет кровь,
И я в родной стране забуду на мгновенье
Заботы и тоску, и скуку и волненье,
Забуду, может быть, и самую любовь!

14 июля 1818

Царское Село

К ПУШКИНУ

Счастлив, о Пушкин, кому высокую душу Природа,
Щедрая Матерь, дала, верного друга — мечту,
Пламенный ум и не сердце холодной толпы! Он всесилен
В мире своем; он творец! Что ему низких рабов,
Мелких, ничтожных судей, один на другого похожих,—
Что ему их приговор? Счастлив, о милый певец,
Даже бессильною завистью Злобы — высокий любимец,
Избранник мощных Судеб! огненной мыслию он
В светлое небо летит, всевидящим взором читает
И на челе и в очах тихую тайну души!

Сам Кронид для него разгадал загадку Создания,—
Жизнь вселенной ему Феб-Аполлон рассказал.
Пушкин! питомцу богов хариты рекли:

«Наслаждайся!» —

Светлою, чистой струей дни его в мире текут.
Так, от дыханья толпы всё небесное вянет, но Гений
Девствен могущей душой, в чистом мечтаньи —
дитя!

Сердцем выше земли, быть в радостях ей не причастным
Он себе самому клятву священную дал!

1818

К ПУШКИНУ

ИЗ ЕГО НЕТОПЛЕННОЙ КОМНАТЫ

К тебе зашел согреть я душу;
Но ты теперь, быть может, Грушу
К неистовой груди прижал
И от восторга стиснул зубы,
Иль Оленьку целуешь в губы
И кудри Хлон разметал;
Или с прелестной бледной Лилой
Сидишь и в сладостных глазах,
В её улыбке томной, милой,
Во всех задумчивых чертах
Её печальный рок читаешь
И бури сердца забываешь
В её тоске, в её слезах.
Мечтою легкой за тобою
Моя душа унесена
И, сладострастия полна,
Целует Олю, Лилу, Хлою!
А тело между тем сидит,
Сидит и мерзнет на досуге:
Там ветер за дверьми свистит.
Там пляшет снег в холодной вьюге;
Здесь не тепло; но мысль о друге,
О страстном, пламенном певце,
Меня ужели не согреет?
Ужели жар не проадеет
На голубом моем лице?
Нет! над бумагой костенеет
Стихотворящая рука...

Итак, прощайте вы, пенаты
Сей братской, но не теплой хаты,
Сего святого уголка,
Где сыну огненного Феба,
Любимцу, избраннику неба,
Не нужно дров, ни камелька;
Но где поэт обыкновенный,
Своим плащом непокровенный,
И с бедной Музой бы замерз,
Заснул бы от сей жизни тленной
И очи, в рай перенесенный,
Для вечной радости отверз!

1819(?)

ПОЭТЫ

И им не разорвать венца,
Который взяло дарованье!

Жуковский

О Дельвиг, Дельвиг! что награда
И дел высоких, и стихов?
Таланту что и где отрада
Среди злодеев и глупцов?
Стадами смертных зависть правит;
Посредственность при ней стоит
И тяжкою пятою давит
Младых избранников харит.
Зачем читал я их скрижали?
Я отдыха своей печали
Нигде, нигде не находил!
Сычи орлов повсюду гнали;
Любимцев таинственных сил
Безумные всегда искали
Лишить парения и крил.
Вы, жертвы их остервененья,
Сыны огня и вдохновенья,
Мильтон, и Озеров, и Тасс!
Земная жизнь была для вас
Полна и скорбей, и отравы;
Вы в дальний храм безвестной славы
Тернистою дорогой шли;

Вы с жадностью в гроб легли.
Но ныне смолкло вероломство:
Пред вами падает во прах
Благоговейное потомство;
В священных, огненных стихах
Народы слышат прорицанья
Сокрытых для толпы судеб,
Открытых взору дарованья!
Что пользы? — Свой насущный хлеб
Слезami грусти вы кропили;
Вы мучились, пока не жили.

На небесах и для небес,
До бытия миров и века,
Всемощный, чистый бог Зевес
Создал счастливица человека.
Он землю сотворил потом
В странах, куда низринул гром
Свирепых, буйных великанов,
Детей Хаоса, злых Титанов.
Он бросил горы им на грудь,
Да не возмогут вновь тряхнуть
Олимпа твердыми столпами,
И их алмазными цепями
К ядру земному приковал, —
Но, благостный, он им послал
В замену счастья, в утешенье
Мгновенный призрак, наслажденье, —
И человек его узрел,
И в призрак суетный влюбился;
Бессмертный вдруг отяжелел,
Забыл свой сладостный удел
И смертным на землю спустился:
И ныне рвется он, бежит,
И наслажденья вечно жаждет,
И в наслажденьи вечно страждет,
И в пресыщении грустит!

Но скорбию его смягченный,
Сам Кронион, отец вселенны,
Низводит на него свой взор,
Зовет духов — высокий хор,
Зовет сынов своих небесных,
Поющих звук нектарных чаш

В пеанах мощных и прелестных,
Поющих мир и жребий наш,
И рок, и гнев эриний строгий,
И вечный ваш покой — о боги!
Все обступают светлый трон
Веселой, пламенной толпою,—
И небо полно тишиною,
И им вещает Кронион:
«Да внемлет в страхе все творенье:
Реку — судеб определение,
Непременяемый закон!
В страстях и радостях минутных
Для неба умер человек,
И будет дух его вовек
Раб персти, раб желаний мутных,
И только есть ему одно
От жадной гибели спасенье,
И вам во власть оно дано:
Так захотело провиденье!
Когда избранники из вас,
С бессмертным счастьем разлучась,
Оставят жребий свой высокий,
Слетят на смертных шар далекий
И, в тело смертных облачась,
Напомнят братьям об отчизне,
Им путь укажут к полной жизни:
Тогда, с прекрасным примирен,
Род смертных будет искуплен!»

И всколебался сонм священный,
И начали они слетать
И об отчизне сокровенной
Народам и векам вещать.
Парят Поэты над землею
И сыплют на нее цветы,
И водят граций за собою,—
Кругом их носятся мечты
Эфирной легкою толпою.
Они веселий не бегут;
Но, верны чистым вдохновеньям,
Ничтожным, быстрым наслажденьям
Они возвышенность дают.
Цари святого песнопенья!
В объятьях даже заблужденья

Не забывали строгих дев:
Они страшились отверженья;
Им был ужасен граций гнев!
Под сенью сладостной прохлады
За чашей пел Анакреон;
Он пел тебя, о Купидон,
Твои победы и награды!
И древним племенам Эллады —
Без прелести, без красоты —
Уже не смел явиться ты.
Он пел вино — и что же? Греки
Не могут уж, как скифы, пить;
Не могут в бешенстве пролить
Вина с реками крови реки!
Да внемлют же Поэтам веки!

Ты вечно будешь их учить —
Творец грядущих дарований,
Вселенная картин и знаний,
Всевидец душ, пророк сердец —
Гомер, — божественный певец!
В не связанной ничем свободе
Ты всемогущий чародей,
Ты пищишь страсти и людей
И возвращаешь нас Природе
Из светских тягостных цепей.
Вас вижу, чада Мельпомены:
Ты вождь их, сумрачный Эсхил,
О жрец ужасных оных сил,
Которые казнят измены,
Карают гнусную любовь
И мстят за пролитую кровь.
В руке суровой Ювенала
Злодеям грозный бич свистит
И краску гонит с их ланит,
И власть тиранов задрожала.
Я слышу завыванье бурь:
И се в одежде из тумана
Несется призрак Оссиана! —
Покрыта мрачная лазурь
Над ним немymi облаками.
Он страшен дикими мечтами;
Он песней в душу льет печаль;
Он душу погружает в даль
Пространств унылых, замогильных!

Но раздается резкий звук:
Он славит копий бранный стук
И шлет отраду в сердце сильных.
А вы — благословляю вас,
Святые барды Туискона!
И пусть без робкого закона
По воле ваша песнь лилась;
Вы говорили о высоком;
Вы обнимали быстрым оком
И жизнь земли и жизнь небес;
Вы отирали токи слез
С ланит гонимого пороком!
Тебе, души моей Поэт,
Тебе коленопреклоненье,
О Шиллер, скорбных утешенье,
Во мне ненастья тихий свет!
В своей обители небесной
Услышь мой благодарный глас!
Ты был мне все, о бард чудесный,
В мучительный, тяжелый час,
Когда я говорил, унылый:
«Летите, дни! вы мне немылы!»

Их зрела и святая Русь —
Певцов и смелых и священных,
Пророков истин возвышенных!
О край отчизны, — я горжусь!
Отец великих Ломоносов,
Огонь средь холода и льдин,
Полночных стран роскошный сын!
Но ты — единственный философ,
Державин, дивный исполин, —
Ты пройдешь мглу веков несметных,
В народах будешь жить несчетных —
И твой питомец, Славянин,
Петром, Суворовым, тобою
Великий в храме бытия,
С своей бессмертною судьбою,
С делами громкими ея —
Тебя похитит у забвенья!
О Дельвиг! Дельвиг! что гоненья?
Бессмертие равно удел
И смелых, вдохновенных дел,
И сладостного песнопенья!
Так! не умрет и наш союз,

Свободный, радостный и гордый,
И в счастье и в несчастье твердый,
Союз любимцев вечных муз!
О вы, мой Дельвиг, мой Евгений!
С рассвета ваших тихих дней
Вас полюбил небесный Гений!
И ты — наш юный Корифей —
Певец любви, певец Руслана!
Что для тебя шипенье змей,
Что крик и Филина и Врана? —
Лети и вырвись из тумана,
Из тьмы завистливых времен.
О други! песнь простого чувства
Дойдет до будущих племен —
Весь век наш будет посвящен
Труду и радостям искусства;
И что ж? пусть презрит нас толпа:
Она безумна и слепа!

Между январем и мартом 1820

К ЕВГЕНИЮ

Contumelia non fregit eum, sed erexit¹.

С наморщенным челом потухшими глазами
Глядит на светлый мир стоический глупец —
Что для него весна с любовью и мечтами
И что бессмертия венец?

«Все в жизни суета, и наш удел — терпенье!» —
Впросонках говорит жиреющий Зенон —
И дураку толпа приносит удивленье,
Для черни прорицатель он!

А я пою тебя, страдалец возвышенный,
Постигнутый Судьбы железною рукой,
Добыча злых глупцов и зависти презренной,
Но вечно пламенный душой!

И если я когда был полон вдохновенья —
И не вотще душа моя

¹ Поношение не сокрушило его, а вознесло (лат.).

Ловила Пиэрид живые песнопенья,
Бессмертна будет песнь сия!

Узнают племена, как ты друзей и радость,
Любовь и славу пел,—
А злоба между тем твою губила младость,
И музы от тебя не отвращали стрел;

Я сам, незапно Зевсом пораженный
И очернен дыханьем клеветы,—
Тогда лишь понял изумленный,
Как был велик в несчастьи ты!

И лавр, Каменной мне обещанный когда-то,
Но юной полнотой твоих душевных сил
И сладостью стихов пылающих отъятый,
Тебе я радостный вручил.

Первая половина 1820

ПРОЩАНИЕ

Прости, отчизна дорогая!
Простите, добрые друзья!
Уже сижу в коляске я,
Надеждой время упряжая.
Уже волшебница Мечта
Рисует мне обитель Славы,
Тевтонов древние дубравы
И их живые города!
А там встают седые горы,
Влекут и ослепляют взоры
И, хмурясь, всходят до небес!
О гроб и колыбель чудес,
О град бессмертья, муз и брани!
Отец народов, вечный Рим! —
К тебе я простираю длани,
Желаньем пламенным томим.
Я вижу в радужном сиянье
И Галлию и Альбион!
Кругом меня очарованье,
Горит и блещет небосклон.
Пируй и веселись, мой Гений!

Какая жатва вдохновений!
Какая пища для души —
В ее божественной тиши
Златая дивная природа...
Тяжелая гроза страстей,
Вооруженная свобода,
Борьба народов и царей!
Не в капище ли Мельпомены
Я, ожиданий полн, вступил?
Не в храм ли тайных, грозных сил,
Взирающих на жизнь вселенны,—
Для них всё ясно, все измены,
Все сокровенности сердец,
Всех дел и помыслов конец!
Святые, страшные картины!
Но, верьте! и в странах чужбины,
И там вам верен буду я,
О, вы души моей друзья! —
И пусть поэтом я не буду,
Когда на миг тебя забуду,
Тебя, смиренная семья,
Где юноши-певцы сходились,
Где их ласкали как родных,
Где мы в мечтаньях золотых
Душой и жизньнюю делились!

Август или сентябрь 1820

НИЦА

Был и я в стране чудесной.
Там, куда мечты летят,
Где средь синевы небесной
Ненасытный бродит взгляд.
Где лишь мул на верх утеса
Путь находит меж стремнин,
Где весь в листьях в мраке леса
Рдеет сочный апельсин.

Край, любовь самой природы,
Родина роскошных муз,
Область браней и свободы,
Рабских и сердечных уз!
Был я на холмах священных,
Средь божественных гробов,

В тесных рощах, растворенных
Сладким запахом цветов!

Дивною твоей луною
Был я по морю ведом;
Тьма сверкала подо мною,
Зыбь горела за веслом!
Над истоком Полнона
Я задумчивый стоял;
Мне казалось, там Миньона
Тужит между диких скал!

К песне тихой и печальной
Преклонял я жадный слух:
Из страны, казалось, дальней
Прилетел бесплотный дух!
Он оставил ночь могилы
Раз еще взглянуть на свет;
Только край родной и милый
Даст ему забвенье бед!

На горах среди туманов
Я встречал толпу теней,
Полк бессмертных великанов,
Ратных, бардов и судей —
Вечный Рим, кладбище славы,
Я к тебе летел душой!
Но встает раздор кровавый,
Брань несется в рай земной!

Гром завоет; зарев блески
Ослепят унылый взор;
Ненавистные тудески
Ниспадут с ужасных гор:
Смерть из тысяч ружей грянет,
В тысяче штыках сверкнет;
Не родясь, весна увянет,
Вольность, не родясь, умрет!

Васильковою лазурью
Здесь пленяют небеса;
Под рушительною бурью
Здесь не могут пасть леса;
Здесь душа в лугах шелковых,

Жизнь и в камнях и в водах!
Что ж закон судеб суровых
Шлет сюда и месть и страх?

Всё жестоким укоризна,
Что здесь сердцу говорит!
Иль не здесь любви отчизна?
Иль не это сад харит?
Здесь я видел обещанье
Светлых, беззаботных дней:
Но и здесь не спит страданье,
Муз пугает звук цепей!

16 марта 1821

К РУМЬЮ

Века шагают к славной цели;
Я вижу их: они идут!
Уставы власти устарели;
Проснулись, смотрят и встают
Доселе спавшие народы:
О радость! грянул час, веселый час Свободы!

Друзья! нас ждут сыны Эллады:
Кто даст нам крылья? полетим!
Сокройтесь горы, реки, грады!
Они нас ждут: скорее к ним!
Судьба, услышь мои молитвы,
Пошли, пошли и мне минуту первой битвы!

И пусть я, первую стрелою
Сражен, всю кровь свою пролью:
Счастлив, кто с жизнью молодою
Простился в пламенном бою,
Кто убежал от уз и скуки
И славу мог купить за миг короткий муки!

Ничто, ничто не утопает
В реке катящихся веков:
Душа героев вылетает
Из позабытых их гробов
И наполняет бардов струны
И на тиранов шлет народные перуны!

Между мартом и августом 1821

К АХАТЕСУ

Ахатес, Ахатес! ты слышишь ли глас,
Зовущий на битву, на подвиги нас? —
Мой пламенный юноша, вспрянь!
О друг,— полетим на священную брань!

Кипит в наших жилах веселая кровь,
К бессмертью, к свободе пылает любовь,
Мы смелы, мы молоды: нам
Лететь к Марафонским, святым знаменам!

Нет! нет! — не останусь в убийственном сне,
В бесчестной, глухой, гробовой тишине;
Так! ждет меня сладостный бой —
И если паду, я паду как герой.

И в вольность и в славу, как я, ты влюблен,
Навеки со мною душой сопряжен!
Мы вместе помчимся туда,
Туда, где восходит свободы звезда!

Огонь запылал в возвышенных сердцах;
Эллада бросает оковы во прах!
Ахатес! нас предки зовут —
О, скоро ль начнем мы божественный труд!

Мы презрим и негу, и роскошь, и лень.
Настанет для нас тот торжественный день,
Когда за отчизну наш меч
Впервые возблещет среди радостных сеч!

Тогда, как раздастся громов перекат,
Свинец зашипит, загорится булат,—
В тот сумрачный, пламенный пир,
«Что любим свободу», поверит нам мир!

Апрель 1821, Париж

ЕРМОЛОВУ

О! сколь презрителен певец,
Ласкатель гнусный самовластья!
Ермолов, нет другого счастья

Для гордых, пламенных сердец,
Как жить в столетьях отдаленных
И славой ослепить потомков изумленных!

И кто же славу раздает,
Как не любимец Аполлона?
В поэтов верует народ;
Мгновенный обладатель трона,
Царь не поставлен выше их:
В потомстве Нерона клеймит бесстрашный стих!

Но мил и свят союз прекрасный
Прямых героев и певцов —
Поет Гомер, к Ахиллу страстный:
Из глубины седых веков
Вселенну песнь его пленила —
И не умрет душа великого Ахилла!

Так пел, в Суворова влюблен,
Бард дивный, исполин Державин;
Не только бранью Сципион,
Он дружбой песнопевца славен:
Единый лавр на их главах,
Героя и певца равно бессмертен прах!

Да смолкнет же передо мною
Толпа завистливых глупцов,
Когда я своему герою,
Врагу трепещущих льстецов,
Свою настрою громко лиру
И расскажу об нем внимающему миру!

Он гордо презрел клевету,
Он возвратил меня отчизне:
Ему я все мгновенья жизни
В восторге сладком посвящу;
Погибнет с шумом вероломство,
И чист предстану я пред грозное потомство!

1821

ГРИБОЕДОВУ

Увы, мой друг, как трудно совершенство!
И мне его достигнуть ли когда?

Я рано назвал призраком блаженство —
Ужель и дар мой и восторг мечта?

А если нет, избегну ли забвенья?
Не схватит ли меня, до достиженья,
Когда уже мне видится венок,
В середине самой моего теченья
Неумолимый рок?

Жилец возвышенного мира,
Я вечно буду чужд земных цепей.
Но, ах! меня спасет ли лира?
Избегну ли расставленных сетей?
Как мне внизу приметить гнусных змей?
Быть может, их нога моя попрадала,
И уж острят убийственные жала!

Но ты, ты возлетишь над песнями толпы!
Тебе дарованы, Певец, рукой судьбы

 Душа живая, пламень чувства,
Веселье светлое и тихая любовь,
Златые таинства высокого искусства
 И резво-скачущая кровь!

О! если я сойду к брегам туманной Леты
 Как неизвестная, немая тень, —
Пусть образ мой, душой твоей согретый,
 Еще раз узрит день! —
Я излечу на зов твой из могилы,
 Развью раскованные крылы,
К златому солнцу воспарю —
И жадно погружусь в бессмертную зарю!

1821
Тифлис

РАЗУВЕРЕНИЕ

Не мани меня, надежда,
Не прельщай меня, мечта!
Уж нельзя мне всей душою
Вдаться в сладостный обман:
Уж унесся предо мною
С жизни жизненный туман!

Неожиданная встреча
С сердцем, любящим меня,—
Мне ль тобою восхищаться,
Мне ль противиться судьбе? —
Я боюсь тебе вверяться!
Я не радуюсь тебе!

Надо мною тяготеет
Клятва друга первых лет! —
Юношей связали музы,
Радость, молодость, любовь —
Я расторг святыя узы!
Он в толпе моих врагов!

«Ни любовницы, ни друга
Не иметь тебе вовек!» —
Молвил гневом вдохновенный
И пропал мне из очей —
С той поры уединенный
Я скитаюсь меж людей!

Раз еще я видел счастье,
Видел на глазах слезу,
Видел нежное участие,
Видел — но прости, певец!
Уж предвижу я ненастье:
Для меня ль союз сердец?

Что же роковая пуля
Не прервала дней моих?
Что ж для нового изгнанья
Не ведут ко мне коня?
В тихой тьме воспоминанья
Ты б не разлюбил меня!

1821

К ПУШКИНУ

Мой образ, друг минувших лет,
Да оживет перед тобою!
Тебя приветствую, Поэт!
Одной постигнута судьбою,

Мы оба бросили тот свет,
Где мы равно терзались оба,
Где клевета, любовь и злоба
Размучили обоих нас!
И не далек, быть может, час,
Когда при черном входе гроба
Иссякнет нашей жизни ключ;
Когда погаснет свет денницы,
Крылатый, бледный блеск зарницы,
В осеннем небе хладный луч!
Но се — в душе моей унылой
Твой чудный Пленник повторил
Всю жизнь мою волшебной силой
И скорбь немую пробудил!
Увы! как он, я был изгнанник,
Изринут из страны родной
И рано, безотрадный странник,
Вкушать был должен хлеб чужой!
Куда, преследован врагами,
Куда, обманут от друзей,
Я не носил главы своей,
И где веселыми очами
Я зрел светило ясных дней?
Вотще в пучинах тихоструйных
Я в ночь, безмолвен и уныл,
С убийцей-гондольером плыл¹,
Вотще на поединках бурных
Я вызывал слепой свинец:
Он мимо горестных сердец
Разит сердца одних счастливых!
Кавказский конь топтал меня,
И жив в скалах тех молчаливых
Я встал из-под копыт коня!
Воскрес на новые страданья,
Стал снова верить в упованье,
И снова дикая любовь
Огнем свирепым сладострастья
Зажгла в увядших жилах кровь
И чашу мне дала несчастья!
На рейнских пышных берегах,
В Лютеции, в столице мира,
В Гесперских радостных садах,

¹ Отправляясь из Виллафранки в Ниццу морем, в глухую ночь, я подвергся было опасности быть брошенным в воды.

На смежных небесам горах,
О коих сладостная лира
Поет в златых твоих стихах,
Близ древних рубежей Персиды,
Средь томных северных степей —
Я был добычей Немезиды,
Я был игралищем страстей!
Но не ропщу на провиденье:
Пусть кроюсь ранней сединой,
Я молод пламенной душой;
Во мне не гаснет вдохновенье,
И по нему, товарищ мой,
Когда, средь бурь мятежной жизни,
В святой мы встретимся отчизне,
Пусть буду узнан я тобой.

Сентябрь 1822 — февраль 1823

ПРОРОЧЕСТВО

Глагол господень был ко мне
За цепью гор на бреге Кира:
«Ты дни влачишь в мертвящем сне,
В объятьях ленистого мира:
На то ль тебе я пламень дал
И силу воздвигать народы? —
Восстань, певец, пророк Свободы!
Вспрянь, возвести, что я вещал!

Никто — но я воззвал Эллладу;
Железный разломил ярем:
Ее душа не дастся аду;
Она очистится мечем,
И, искушенная в горниле,
Она воскреснет предо мной:
Ее подымет смертный бой;
Она возблещет в новой силе!»

Беснуясь, варвары текут;
Огня и крови льются реки;
На страшный и священный труд
Помчались радостные греки;
Младенец обнажает меч,

С мужами жены ополчились,
И мужи в львов преобразились.
Среди пожаров, казней, сеч!

Костями усеялося море,
Судов могущий сонм исчез:
Главу вздымая до небес,
Грядет на Византию горе!
Приспели грозные часы:
Подернет грады запустенье;
Не примет трупов погребенье,
И брань за них подымут псы!

Но тщетны будут все крамолы:
Святая сила победит!
Бог зыблет и громит престолы;
Он правых, он свободных щит! —
Меня не он ли наполняет
И проясняет тусклый взор?
Се предо мной мгновенно тает
Утесов ряд, твердынь и гор!

Блестит кровавая денница;
В полях волнуется туман:
Лежит в осаде Триполицца,
И бодр, не дремлет верный стан!
Священный пастырь к богу брани
Воздел трепещущие длани;
В живых молитвах и слезах
Кругом вся рать простерлась в прах.

С бойниц неверный им смеется,
Злодей подьмет их на смех:
Но Кара в облаках несется;
Отяжелел Османов грех!
Воспрянул старец вдохновенный,
Булат в деснице, в шуйце крест:
Он вмиг взлетел на вражьи стены;
Огонь и дым и гром окрест!

Кровь отомстилась убиенных
Детей и дев, сирот и вдов!
Нет в страшном граде пощаженных:

Всех, всех глотает смертный ров! —
И се вам знаменье Спасенья,
Народы! — близок, близок час:
Сам Саваоф стоит за вас!
Восходит солнце обновленья!

Но ты, коварный Альбион,
Бессмертным избранный когда-то,
Своим ты богом назвал злато:
Всесильный сокрушит твой трон!
За злобных тайный ты воитель;
Но будет послан ангел-мститель;
Судьбы ужасной не минешь:
Ты день рожденья проклянешь!

Тебя замучают владыки;
На чад твоих наляжет страх;
Во все рассыплешься языки,
Как вихрем восхищенный прах.
Народов чуждых песнью будешь
И притчею твоих врагов
И имя славное забудешь
Среди бичей, среди оков!

А я — и в ссылке, и в темнице
Глагол господень возведу:
О боже, я в твоей деснице!
Я слов твоих не умолчу! —
Как буря по полю несется,
Так в мире мой раздастся глас
И в слухе Сильных отзовется:
Тобой сочтен мой каждый влас!

1822
Тифлис

ПРОКЛЯТИЕ

Проклят, кто оскорбит поэта
Богам любезную главу;
На грозный суд его зову:
Он будет посмеянъ светом!

На крыльях гневного стиха
Помчится стыд его в потомство:
Там казнь за грех и вероломство,
Там не искупит он греха.

Напрасно в муках покаянья
Он с воплем упадет во прах;
Пусть призовет и скорбь и страх,
Пусть на певца пошлет страданья;

Равно бесстрашен и жесток,
Свой слух затворит заклинанью,
Предаст злодея поруганью
Святой, неистовый пророк.

Пройдет близ сумрачного гроба
Пришелец и махнет рукой,
И молвит, покивав головой:
«Здесь смрадно истлевает злоба!»

А в жизни — раб или тиран,
Поэта гнусный оскорбитель,—
Нет, изверг,— не тебе был дан
Восторг, бессмертья похититель!

Все дни твои тяжелый сон,
Ты глух, и муз ты ненавидишь,
Ты знаешь роковой закон,
Ты свой грядущий срам предвидишь.

Но бодро радостный певец
Чело священное подымлет,
Берет страдальческий венец
И место меж богов приемлет!

1822

УЧАСТЬ ПОЭТОВ

О сонм глупцов бездушных и счастливых!
Вам нестерпим кровавый блеск венца,
Который на чело певца
Кладет рука камен, столь поздно справедливых!
Так радуйся ж, презренная толпа,
Читай былых и наших дней скрыжали:
Пророков гонит черная судьба;

Их стерегут свирепые печали;
 Они влачат по мукам дни свои,
 И в их сердца впиваются змии.
 Ах, сколько вижу я неконченных созданий,
 Манивших душу прелестью надежд,
 Залогов горестных за пламень дарований,
 Миров, разрушенных злодействами невежд!
 Того в пути безумие схватило
 (Счастливец! от тебя оно сокрыло
 Картину их постыдных дел;
 Так! я готов сказать: завиден твой удел!),
 Томит другого дикое изгнание;
 Мрут с голоду Камоенс и Костров;
 Ш<ихматова> бесчестит осмеянье,
 Клеймит безумный лепет остряков,—
 Но будет жить в веках певец Петров!
 Потомство вспомнит их бессмертную обиду
 И призовет на прах их Немезиду!

1823

<НА СМЕРТЬ ЧЕРНОВА>

Клянемся честью и Черновым:
 Вражда и брань временщикам,
 Царей трепещущим рабам,
 Тиранам, нас угнесть готовым.
 Нет, не отчества сыны
 Питомцы пришлецов презренных:
 Мы чужды их семей надменных;
 Они от нас отчуждены.
 Там говорят не русским словом,
 Святую ненавидят Русь;
 Я ненавижу их, клянусь,
 Клянусь и честью и Черновым.
 На наших дев, на наших жен
 Дерзнет ли вновь любимец счастья
 Взор бросить полный сладострастья —
 Падет, перуном поражен.
 И прах твой будет в посмеянье,
 И гроб твой будет в стыд и срам.
 Клянемся дочерям и сестрам:
 Смерть, гибель, кровь за поруганье!

А ты, брат наших ты сердец,
Герой, столь рано охладель! —
Взнесись в небесные пределы!
Завиден, славен твой конец!
Ликуй: ты избран русским богом
Всем нам в священный образец;
Тебе дан праведный венец,
Ты будешь чести нам залогом.

Сентябрь 1825

ТЕНЬ РЫЛЕЕВА

Петру Александровичу Муханову

В ужасных тех стенах, где Иоанн,
В младенчестве лишенный багряницы,
Во мраке заточенья был заклан
Булатом ослепленного убийцы, —
Во тьме на узничьем одре лежал
Певец, поклонник пламенной свободы;
Отторжен, отлучен от всей природы,
Он в вольных думах счастья искал.
Но не придут обратно дни былые:
Прошла пора надежд и снов,
И вы, мечты, вы, призраки златые,
Не позлатить железных вам оков!
Тогда — то не был сон — во мрак темницы
Небесное видение сошло:
Раздался звук торжественной цевницы;
Испуганный певец подъял чело

И зрит: на облаках несомый,
Явился образ, узнику знакомый.
«Несу товарищу привет
Из области, где нет тиранов,
Где вечен мир, где вечен свет,
Где нет ни бури, ни туманов,
Блажен и славен мой удел:
Свободу русскому народу
Могучим гласом я воспел,
Воспел и умер за свободу!
Счастливец, я запечатлел
Любовь к земле родимой кровью!

И ты — я знаю — пламенел
К отчизне чистою любовью.
Грядущее твоим очам
Разоблачу я в утешенье...
Поверь: не жертвовал ты сном;
Надеждам будет исполненье!» —
Он рек — и бестелесною рукой
Раздвинул стены, растворил затворы,
Воздвиг певец восторженные взоры
И видит: на Руси святой
Свобода, счастье и покой!

1827

Шлиссельбургская крепость

19 ОКТЯБРЯ 1828 ГОДА

Какой волшебною одеждой
Блистал пред нами мир земной!
С каким огнем, с какой надеждой,
С какою детской слепотой
Мы с жизнью вступали в бой.
Но вскоре изменила сила,
И вскоре наш огонь погас;
Покинула надежда нас,
И жизнь отважных победила!
Моих друзей далекий круг!
Под воплями осенних вьюг,
Но благостным хранимый небом,
При песнях, вдохновенных Фебом,
От бурь и горя вдалеке,
В уютном, мирном уголке
Ты празднуешь ли день священный,
День, сердцу братьев незабвенный?
Моих друзей далекий круг!
Вспомнит ли в сей день священный,
В день, сердцу братьев незабвенный,
Меня хотя единый друг?
Или судьба меня лишила
Не только счастья — и любви,
И не взяла меня могила,
И кончились дни мои?

1828

ПАМЯТИ ГРИБОЕДОВА

Когда еще ты на земле
Дышал, о друг мой незабвенный!
А я, с тобою разлученный,
Уже страдал в тюремной мгле,—
Почто, виденьем принесенный,
В отрадном, благодатном сне
Тогда ты не являлся мне?
Ужели мало, брат мой милый,
Я, взятый заживо могилой,
Тоскуя, думал о тебе?
Когда в боязненной мольбе
Слова в устах моих коснели,
Любезный образ твой ужели
Без слез, без скорби звал к себе?
Вотще я простираю объятья,
Я звал тебя, но звал вотще;
Бессильны были все заклатья,
Ты был незрим моей мечте.
Увы мне! только раз единый
Передо мной полночный мрак
Воззвал возлюбленный призрак —
Не в страшный ль час твоей кончины?
Но не было глубоких ран,
Свидетелей борьбы кровавой,
На теле избранного славой
Певца, воспевшего Иран¹
И — ах! — сраженного Ираном! —
Одеян не был ты туманом,
Не искажен и не уныл,
Не бледен... Нет, ты ясен был:
Ты был в кругу моих родимых,
Тобой незнанных, но любимых,
Тебя любивших, не видав.
В виденьи оной вещи ночи
Твои светлее были очи,
Чем среди смехов и забав,
В чертогах суеты и шума,
Где свой покров нередко дума

¹ Относится к поэме Грибоедова, схожей по форме своей с Чайлдом-Гарольдом; в ней превосходно изображена Персия. Этой поэмы, нигде не напечатанной, не надобно смешивать с драмой, о которой упоминает Булгарин.

Бросала на чело твое,—
Где ты прикрыть желал ее
Улыбкой, шуткой, разговором...
(Но дружбе взор орлиный дан:
Великодушный твой обман
Орлиным открывала взором.)
Так! мне однажды только сон
Тебя представил благотворный;
С тех пор, суровый и упорный,
Отказывал мне долго он
Привлечь в обитель испытанья
Твой дух из области сиянья.
И между тем мои страданья
Копились и росли.— Но вдруг
Ты что-то часто, брат и друг,
Златую предваря денницу,
Спускаться стал в мою темницу.
Или зовешь меня туда,
Где ты, паря под небесами,
Ликуешь с чистыми духами,
Где вечны свет и красота,
В страну покоя над звездами?
Или же (много я любил!)
Те, коих взор и в самом мраке,
Как луч живительных светил,
Как дар былого, я хранил,
Все, все в твоём слиялись зраке?

1829

КЛЕН

Скажи, кудрявый сын лесов священных,
Исполненный могучей красоты,
Средь камней, соков жизненных лишенных,
Какой судьбою вырос ты?

Ты развился перед моей тюрьмою...
Сколь многое напоминаешь мне!
Здесь не с кем мне... поговорю с тобою
О милой сердцу старине:

О времени, когда, подобно птице,
Жилище вольной средь твоих ветвей,

Я песнь свободную певал деннице
И блеску западных лучей;

Тогда с берегов смиренной Авиноры,
В лесах моей Эстонии родной,
Впервые жадно в даль простер я взоры,
Мятежной мучимый тоской.

Твои всходящие до неба братья
Видали, как завешанную тьмой
Страну я звал, манил в свои объятья,—
И покачали головой.

А ныне ты свидетель совершенья
Того, что прорицали братья мне;
О ты, последний в мраке заточенья
Мой друг в далекой стороне!

2 июня 1832

МОРЕ СНА

Мне ведомо море, седой океан:
Над ним беспредельный простерся туман,
Над ним лучезарный не катится щит;
Но звездочка бледная тихо горит.

И пусть океан сокровен и глубок,—
Его не трепещет отважный нырок:
В него меня манит незанятый блеск,
Таинственный шепот и сладостный плеск.

В него погружаюсь один, молчалив,
Когда настает полуночный прилив,
И чуть до груди прикоснется волна,
В больную вливается грудь тишина.

И вдруг я на берегу: будто знаком!
Гляжу и вхожу в очарованный дом:
Из окон любезные лица глядят
И гласы приветные в слух мой летят.

Не милых ли сердцу я вижу друзей,
Когда-то товарищей жизни моей?

Все, все они здесь: удержать не могли
Ни рок их, ни люди, ни недра земли.

По-прежнему льется живой разговор,
По-прежнему светится дружеский взор:
При вещем сиянии райской звезды
Забыта разлука, забыты беды.

Но ах! пред зарей наступает отлив
И слышится мне неотрадный призыв:
Растаяло все,— и мерцание дня
В пустыне глухой осветило меня!

4 сентября 1832

ПОЛНОЧЬ С 31 ДЕКАБРЯ НА 1-ОЕ ЯНВАРЯ

1

Не часов ли томный вой?
В бездну ночи роковой,
В гроб свой старец год упал...
Чу! гудит над ним металл!

2

В мраке колокола звон
Будто над могилой стон...
Сколько и утех и слез
Этот год с собой унес!

3

На крылах в немую даль
Мчатся радость и печаль;
Дети мы седой земли,
Все потонем в той дали.

4

Был я молод и сказал:
«Мой житейский срок не мал»;

Я мечтал в своей весне:
«Далеко до цели мне».

5

Так! казался без конца
Краткий век очам слепца!
Вот я дряхлости достиг:
Что же век мой? — Только миг!

6

Вверх еще, — в жилище бурь,
В необъятную лазурь,
Вверх парит столпом седым, —
А уж тает легкий дым.

7

С крутизны кипит жемчуг:
Блеск и радуга вокруг;
Но померк в долине свет,
Шум умолк, — и пены нет.

8

Ободряет душу сон;
Всходит солнце: где же он?
Унесен волнами тьмы...
Сон, и дым, и пена — мы!

9

Восхищает роза нас;
Но и роза же на час;
С ней сравню ли бытие?
Ветер оборвет ее!

10

Многоводна, широка,
Пышно катится река...
Смертный гордый суетой!
Не река ли образ твой?

В ней волна теснит волну,
 Все несутся в глубину,
 В море без берегов спешат...
 Кто же видел их возврат?

Как течение быстрых вод,
 Так бежит за годом год:
 Смотришь — и девятый вал,
 Год последний, набежал.

Да храним же каждый час!
 Ночь, как тать, настигнет нас,
 Ночь, нерадостный предел
 Наших замыслов и дел.

1 сентября 1833

РОДСТВО СО СТИХИЯМИ

Есть что-то знакомое, близкое мне
 В пучине воздушной, в небесном огне;
 Звезды полуночной таинственный свет
 От духа родного несет мне привет.

Огромную слышу ли жалобу бурь,
 Когда умирают и день и лазурь,
 Когда завывает и ломится лес,—
 Я так бы и ринулся в волны небес.

Донельзя постыли мне тина и прах...
 Мне там в золотых погулять бы парах:
 Туда призывают и ветер и гром,
 Перун прилетает оттуда послом.

Туман бы распутать мне в длинную нить,
 Да плащ бы широкий из сизого свить,
 Предаться бы вихрю несытой душой,
 Средь туч бы лететь под безмолвной луной!

Все дале и дале — и путь бы простер
Я в бездну, туда, за сафирный шатер! —
О, как бы нырял в океане светил!
О! как бы себя по вселенной разлил!

1 и 22 сентября 1834

19 ОКТЯБРЯ 1836 ГОДА

Шумит поток часов; их темный вал
Вновь выплеснул на берег жизни нашей
Священный день, который полной чашей
В кругу друзей и я торжествовал...
Давно! — Европы страж, седой Урал,
И Енисей, и степи, и Байкал
Теперь меж нами. — На крылах печали
Любовью к вам несусь из темной дали.

Поминки нашей юности — и я
Их праздновать хочу, — воспоминанья,
В лучах дрожащих тихого мерцанья,
Воскресните! — Предстаньте мне, друзья;
Пусть созерцает вас душа моя,
Всех вас, Лицея нашего семья!
Я с вами был когда-то счастлив, молод, —
Вы с сердца светите туман и холод!

Чьи резче всех рисуются черты
Пред взорами моими? Как перуны
Сибирских гроз, его золотые струны
Рокочут... Пушкин! Пушкин! Это ты!
Твой образ — свет мне в море темноты;
Твои живые, вещие мечты
Меня не забывали в ту годину,
Как пил и ты, уединен, кручину!

Тогда и ты, как некогда Назон,
К родному граду простирал объятья;
И над Невой затрепетали братья,
Услышав гармонический твой стон:
С седого Пейпуса, волшебный, он
Раздался, прилетел и прервал сон,
Дремоту наших мелких попечений,
И погрузил нас в волны вдохновений!

О брат мой! много с той поры прошло:
Твой день прояснел, мой — покрылся тьмою;
Я стал знаком с торкватовой судьбою,—
И что ж? опять передо мной светло:
Как сон тяжелый, горе протекло;
Мое светило из-за туч чело
Вновь подняло,— гляжу в лицо Природы;
Мне отданы долины, горы, воды!

И, друг! хотя мой волос поседел,
Но сердце бьется молодо и смело:
Во мне душа переживает тело,
Еще мне божий мир не надоед,
Что ждет меня? Обманы наш удел;
Но в эту грудь вонзалось много стрел,
Терпел я много, обливался кровью:
Что, если в осень дней столкнусь с любовью?

17 октября 1836

РАЗОЧАРОВАНИЕ

Скажи: совсем ли мне ты изменил,
Доселе неизменный мой хранитель?
Для узника в волшебную обитель
Темницу превращал ты, Исфраил;
Я был один, покинут всеми в мире,
Всего страшился, даже и надежд;
Бывало же, коснешься томных вежд,
С них снимешь мрак, дашь жизнь и силу лире,—
И снова я свободен и могуч:
Растаяли затворы, спали цепи,
И, как орел под солнцем из-за туч
Обозревает горы, реки, степи,—
Так вижу мир раскрытый под собой
И радостно сквозь ужас холодной ночи
Бросаю полные восторга очи
На свиток, писанный судьбы рукой!..
А ныне пали стены предо мной:
Я волен; что же? — бледные заботы,
И грязный труд, и вопль глухой нужды,
И визг детей, и стук тупой работы
Перекричали песнь златой мечты;

Смели, как прах, с души моей виденья,
Отняли время и досуг творить,—
И вялых дней безжизненная нить
Прядется мне из мук и утомленья.
22 мая 1837

ТЕНИ ПУШКИНА

Итак, товарищ вдохновенный,
И ты! — а я на прах священный
Слезы не пролил ни одной:
С привычки к горю и страданиям
Все высохли в груди больной.
Но образ твой моим мечтаньям
В ночах бессонных предстоит,
Но я тяжелой скорбью сыт,
Но, мрачный, близ жены мне милой
И думать о любви забыл...
Там мысли, над твоей могилой!
Смолк шорох благозвучных крыл
Твоих волшебных песнопений,
На небо отлетел твой гений;
А визги желтой клеветы
Глупцов, которые марали,
Как был ты жив, твои черты,
И ныне, в час святой печали,
Бездушные, не замолчали!
Гордись! Ей-богу, стыд и срам
Их подлая любовь! — Пусть жалят!
Тот пуст и гнил, кого все хвалят;
За зависть дорого я дам.
Гордись! Никто тебе не равен,
Никто из сверстников-певцов:
Не смеркнешь ты во мгле веков,—
В веках тебе клевет Державин.
24 мая 1837

БРАТУ

Минули же и годы заточенья;
А думал я: конца не будет им!
Податели молитв и вдохновенья,
Они парили над челом моим,

И были их отзывы песнопенья.
И что ж? обуреваем и томим
Мятежной грустию, слепец безумный,
Я рвался в мир и суетный и шумный.

Не для него я создан: только шаг
Ступить успел я за священный праг
Приюта тихих дум — и уж во власти
Глухих забот, и закипели страсти,
И дух земли, непримиримый враг
Небесного, раздрал меня на части:
Затрепетали светлые мечты
И скрылися пред князем темноты.

Мне тяжела, горька мне их утрата
(Душа же с ними свыклась, жизнь срослась) —
Но пусть! — я и без них любовью брата
Счастлив бы был; с ним вместе, не страшась,
Вступил бы я в борьбу — и сопостата
Мы побороли бы; нет, дружных нас
Не одолел бы! — Может быть, и лира
Вновь оживилась бы на лоне мира!

О! почему, неопытный борец,
Рукой неосторожной грудь родную
Я сжал и ранил? — пусть восторжествую,
Пусть и возьму столь лестный мне венец, —
Ах! лучше бы я положил, певец,
Забытый всеми, голову седую
В безвестный темный гроб, чем эту грудь
И без того больную оттолкнуть!

Где время то, когда, уединенный,
К нему я вдаль объятья простирал,
Когда и он, любовью ослепленный,
Меня к себе под кров свой призывал?
Я наконец перешагнул Урал,
Перелетел твой лед, Байкал священный;
И вот свою суровую судьбу
Я внес в его смиренную избу!

Судьбу того, кто с самой колыбели
Был бед звездою всем своим друзьям...

За них подъямля руки к небесам,
Моляся, чтобы скорби пролетели
Над милыми,— сердца их я же сам,
Бывало, растерзаю! Охладели,
Заснули многие; ты неотъят,
Ты мне один остался, друг и брат!

А между тем... Покинем и забудем,
Забудем бури, будто злые сны!
Не станем верить ни страстям, ни людям;
Оставь мне, отпусти мои вины;
Отныне в жизни неразлучны будем!
Ведь той же матерью мы рождены.
Сотрем все пятна с памятной скрижали;
Все пополам: и радость, и печали!

3 сентября 1837
Баргузин

19 ОКТЯБРЯ 1837 ГОДА

Блажен, кто пал, как юноша Ахилл,
Прекрасный, мощный, смелый, величавый,
В середине поприща побед и славы,
Исполненный несокрушимых сил!
Блажен! лицо его всегда младое,
Сиянием бессмертия горя,
Блестит, как солнце вечно золотое,
Как первая эдемская заря.

А я один средь чуждых мне людей
Стою, в ночи, беспомощный и хилый,
Над страшной всех надежд моих могилой,
Над мрачным гробом всех моих друзей.
В тот гроб бездонный, молнией сраженный,
Последний пал родимый мне поэт...
И вот опять Лицея день священный;
Но уж и Пушкина меж вами нет!

Не принесет он новых песней вам,
И с них не затрепещут перси ваши;
Не выпьет с вами он заздравной чаши:
Он воспарил к заоблачным друзьям.
Он ныне с нашим Дельвигом пирует;
Он ныне с Грибоедовым моим:

По них, по них душа моя тоскует;
Я жадно руки простираю к ним!

Пора и мне! — Давно судьба грозит
Мне казней нестерпимого удара:
Она меня того лишает дара,
С которым дух мой неразлучно слит!
Так! перенес я годы заточенья,
Изгнание, и срам, и сиротство;
Но под щитом святого вдохновенья,
Но здесь во мне пылало божество!

Теперь пора! — Не пламень, не перун
Меня убил; нет, вязну средь болота,
Горою давят нужды и забота,
И я отвык от позабытых струн.
Мне ангел песней рай в темнице душевной
Когда-то созидал из снов золотых;
Но без него не труп ли я бездушный,
Средь трупов столь же холодных и немых?

19 октября 1838

ОНИ МОИХ СТРАДАНИЙ НЕ ПОЙМУТ

Они моих страданий не поймут,
Для них смешон унылый голос боли,
Которая, как червь, таится тут
В груди моей. — Есть силы, нет мне воли.
Хоть миг покоя дайте! — нет и нет!
Вот вспыхнуло: я вспрыгнул, я поэт;
Божественный объемлет душу пламень,
Толпятся образы, чудесный свет
В глазах моих, — и всё напрасно: нет!
Пропало всё! — Добро бы с неба камень
Мне череп раздвоил, или перун
Меня сожг: последний трепет струн
Разорванных вздохнул бы в дивных звуках
И умер бы, как грома дальний гул;
Но я увяз в ничтожных, мелких муках,
Но я в заботах грязных утонул!
Нет! Не страшусь убийственных объятий
Огромного несчастья: рок, души!

Ты выжмешь жизнь, не выдавишь души...
 Но погибать от кумушек, от сватий,
 От лепета соседей и друзей!..
 Не говорите мне: «Ты Промефей!»
 Тот был к скале заоблачной прикован,
 Его терзал не глупый воробей,
 А мощный коршун.— Был я очарован
 Когда-то обольстительной мечтой;
 Я думал: кончится борьба с судьбой,
 И с нею все земные испытанья;
 Не будет сломан, устоит борец,
 Умрет, но не лишится воздаянья
 И вырвет напоследок свой венец
 Из рук суровых,— бедный я слепец!
 Судьба берет меня из стен моей темницы,
 Толкает в мир (ведь я о нем жалел) —
 А мой-то мир исчез, как блеск зарницы,
 И быть нулем отныне мой удел!

15 января 1839

ТРИ ТЕНИ

η ρα τие εδτι λαι ειο
 Αιδαο δομοισιν φυχη χαι ειδωλον¹

На диком берегу Онона я сидел,
 Я, чьей еще младенческой печали
 Ижора и Нева задумчивы внимали,
 Я (странный же удел!),
 Кому рукоплескал когда-то град надменный,
 Соблазн и образец, гостиница вселенной,
 И кто в Массилии судьбу народов пел,
 А вслед за тем, влекомый вешим духом,
 Родоначальником неизреченных дум,
 Среди грозных, мертвых скал, склонялся жадным
 слухом
 На рев и грохот вод, на ветра свист и шум,
 На голос чад твоих, Кавказ-небогромитель!
 И напоследок был темницы душной житель.
 Свинцовых десять лет, как в гробе, протекло;

¹ Так подлинно есть и в подземном царстве Аида дух чело-
века и образ (греч).

Однообразный бой часов без измененья
До срока инеем посыпал мне чело

В глухих твердых заточенья.

Все обмануло, кроме вдохновенья:

Так! и судьбы неумолимый гнев

Не отнял у меня любви бессмертных дев;

Слетали к узнику священные виденья.

Что ж? — в мире положен всему предел:

За старым новое отведал я страданье;

Уж ныне не тюрьма мой жребий, а изгнанье...

На диком берегу Онона я сидел,

И вот раздумывал причудливую долю

Свою и тех, с которыми ходил

Во дни моей весны по жизненному полю,

Питомцев близких меж собой светил.

Их дух от скорби опочил,

Но тени их, моих клеветов,

Жертв сердца своего, страдальцев и поэтов,

Я вызывал из дальних их могил.

Угрюмый сын степей, хранительниц Китая,

Роптал утесами стесняемый Онон,

Волнами тусклыми у ног моих сверкая.

И, мнилось, повторял их передсмертный стон.

И, словно факел их унылых похорон,

Горела на небе луна немая.

Был беспредельный сон на долах, на горах,—

Тут не спал только я с своей живой тоскою...

Вдруг — будто арфы вздох пронесся над рекою;

Таинственный меня обвеял страх;

И что ж? то был ли бред больного вображенья,

Или трепещутся и там еще сердца,

И в самом деле друг, податель утешенья,

Явиться может нам, расторгнув узы тленья?

Почудились мне родные три лица:

Их стоп не видел я — скользили привиденья

(Над каждым призраком дрожало по звезде,

И следом каждого была струя мерцанья),

Воды не возмущая, по воде,—

Я вспрянул, облитый потоком содроганья,

И в ужасе студеном, как со сна,

Вскричал и произнес любезных имена:

«Брат Грибоедов, ты! Ты, Дельвиг! Пушкин,—

ты ли?»

Взглянул — их нет; они уж вдаль уплыли;

Вотще я руки простираю к друзьям,—
Как прежде, всё померкло и заснуло;
Мне только что-то будто бы шепнуло:
«Так, верь же, есть свиданье там!»

13 и 14 июня 1840

ЧЕТЫРЕХСТИШИЕ

Чем вязнуть в тинистой, зловонной луже,
Так лучше в море! Нет, убийцы хуже
Подлец, который, с трусостью губя,
Сосет и точит сердце у тебя.

22 января 1843

МАРИИ НИКОЛАЕВНЕ ВОЛХОНСКОЙ

Людская речь пустой и лицемерный звук,
И душу высказать не может ложь искусства!
Безмолвный взор, пожатые рук —
Вот переводчики избытка дум и чувства.
Но я минутный гость в дому моих друзей,
А в глубине души моей
Одно живет прекрасное желанье:
Оставить я хочу друзьям воспоминанье,
Залог, что тот же я,
Что вас достоин я, друзья...
Клянуся ангелом, который
Святая, путеводная звезда
Всей вашей жизни: на восток, сюда,
К ней стану обращать трепещущие взоры
Среди житейских и сердечных бурь,—
И прояснится вдруг моя лазурь,
И дивное сойдет мне в перси утешенье,
И силу мне подаст, и гордое терпенье.

29 марта 1845

Курган

* * *

Еще прибавился мне год
К годам унылого страданья;
Гляжу на их тяжелый ход
Не ропща, но без упованья —

Что будет, знаю наперед:
Нет в жизни для меня обмана.
Блестящ и весел был восход,
А запад весь во мгле тумана.

10 июня 1845

* * *

До смерти мне грозила смерти тьма,
И думал я: подобно Оссиану,
Блуждать во мгле у края гроба стану;
Ему подобно, с дикого холма
Я устремлю свои слепые очи
В глухую бездну нерассветной ночи,
И не увижу ни густых лесов,
Ни волн полей, ни бархата лугов,
Ни чистого, лазоревого свода,
Ни солнцева чудесного восхода;
Зато очами духа ўзрю я
Вас, вещие таинственные тени,
Вас, рано улетевшие друзья,
И слух склоню я к гулу дивных пений,
И голос каждого я различу,
И каждого узнаю по лицу.
Вот первый: он насмешливый, угрюмый,
С язвительной улыбкой на устах,
С челом высоким под завесой думы,
Со скорбию во взоре и чертах!
В его груди, восторгами томимой,
Не тот же ли огонь неодолимый
Пылал, который некогда горел
В сердцах метателей господних стрел,
Объятых духом вышнего пророков?
И что ж? неумолимый враг пороков
Растерзан чернью в варварском краю...
А этот край он воспевал когда-то,
Восток роскошный, нам, сынам заката,
И с ним отчизну примирил свою! —

И вот другой: волшебнo-сладкогласный
Сердцeц властитель, мощный чародей,
Он вдунул, будто новый Промефей,
Живую душу в наш язык прекрасный...
Увы! погиб доврeмeнно певец:
Его злодейский не щадил свинец!
За этуо четою исполинской
Спускаются из лона темноты
Еще две тени: бедный Дельвиг, ты,
И ты, его товарищ, Баратынский!
Отечеству драгие имена,
Поэзии и дружеству святыe!
Их музы были две сестры родные,
В них трепеталася душа — одна!

25 и 26 октября 1845

УЧАСТЬ РУССКИХ ПОЭТОВ

Горька судьба поэтов всех племен;
Тяжеле всех судьба казнит Россию:
Для славы и Рылеев был рожден;
Но юноша в свободу был влюблен...
Стянула петля дерзостную выю.

Не он один; другие вслед ему,
Прекрасной обольщенные мечтою,
Пожалися годиною роковою...
Бог дал огонь их сердцу, свет уму,
Да! чувства в них восторженны и пылки,—
Что ж? их бросают в черную тюрьму,
Морят морозом безнадежной ссылки...

Или болезнь наводит ночь и мглу
На очи прозорливцев вдохновенных,
Или рука любовников презренных
Шлет пулю их священному челу;
Или же бунт поднимет чернь глухую,
И чернь того на части разорвет,
Чей блещущий перунами полет
Сияньем облил бы страну родную.

28 октября 1845

НА СМЕРТЬ ЯКУБОВИЧА

Все, все валятся сверстники мои,
Как с дерева валится лист осенний,
Уносятся, как по реке струи,
Текут в бездонный водоем творений,
Отколе не бегут уже ручьи
Обратно в мир житейских треволнений!..
За полог все скользят мои друзья;
Пред ним один останусь скоро я.

Лицейские, ермоловцы, поэты,
Товарищи! Вас подлинно ли нет?
А были же когда-то вы согреты
Такой живою жизнью! Вам ли пет
Привет последний, и мои приветы
Уж вас не тронут? — Бледный тусклый свет
На новый гроб упал: в своей пустыне
Над Якубовичем рыдаю ныне.

Я не любил его... Враждебный взор
Вчастую друг на друга мы бросали;
Но не умрет он средь Кавказских гор;
Там все утесы — дел его скрижали;
Им степь полна, им полон черный бор;
Черкесы и теперь не перестали
Средь родины заоблачной своей
Пугать *Якубом* плачущих детей.

Он был из первых в стае той орлиной,
Которой ведь и я принадлежал..
Тут нас, исторгнутых одной судьбиной,
Умчал в тюрьму и ссылку тот же вал..
Вот он остался, сверстник мне единый,
Вот он мне в гроб дорогу указал:
Так мудрено ль, что я в своей пустыне
Над Якубовичем рыдаю ныне?

Ты отстрадался, труженик, герой,
Ты вышел наконец на тихий берег,
Где нет упреков, где тебе покой!
И про тебя не смолкнет бурный Терек
И станет говорить Бешту седой..
Ты отстрадался, вышел ты на берег;
А реет всё еще средь черных волн
Мой бедный, утлый, разснащенный челн!
25 января 1846

СЛЕПОТА

Льет с лазури солнце красное
Реки светлые огня.
День веселый, утро ясное
Для людей — не для меня!

Все одето в ночь унылую,
Все часы мои темны,—
Дал господь жену мне милую,
Но <не> вижу и жены.

Слышу крики ликования,
Шум и смех моих детей...
Ах, ответ мой — стон страдания:
Нет их для моих очей!

Так бы и нырнул я в чтение,
Им бы душу освежил,—
Но мой жребий ведь затмение;
Нет мне никаких светил!

Жизнь моя едва колышется,
В тяжком изнываю сне...
Счастлив, если хоть послышится
Шаг царицы песней мне!

3 февраля 1846

СОНЕТ

«Опомнись! долго ли? приди в себя и встань
За искру малую чуть тлеющей веры,
Я милосерд к тебе был без цены и меры,
К тебе и день и ночь протягивал я длань...

Не думаешь вступать с самим собою в брань;
Не подняли тебя бойцов моих примеры,—
Ты спишь под лживые стихов своих размеры,
Приносишь ты и мне, но и Ваалу дань.

Чтоб разлучить тебя с греховной суетою,
Чтоб духу дать прозреть, я плоть поверг во тьму,

Я посетил тебя телесной слепотою».
Он рек — и внемлю я владыке своему...
О, да служу умом, и чувством, и мечтою,
И песнями души единому ему!

22 февраля 1846

* * *

Горько надоел я всем,
Самому себе и прочим:
Перестать бы жить совсем!
Мы о чем же здесь хлопочем?
Ждешь чего-то впереди...
Впереди ж всё хуже, хуже;
Путь грязней, тяжеле, уже —
Ты же всё вперед иди!
То ли дело лоно гроба!
Там безмолвно и темно,
Там молчат мечты и злоба:
В гроб убраться бы давно!

13 апреля 1846

Тобольск

* * *

Счастливицы вольные птицы:
Не знают они ни темницы,
Ни ссылки, ни злой слепоты.
Зачем же родился не птицею ты?

Да! ласточкой, легкой касаткой!
Глядел бы на мир не украдкой,
Весь видел бы вдруг с высоты.
Зачем же родился не птицею ты?

Счастливицы вольные птицы:
Купаются в море денницы,
Им прах незнаком суеты.
Зачем же родился не птицею ты?

Нет божией птичке работы,
Ни страха, ни слез, ни заботы,
Не слышит она клеветы!
Зачем же родился не птицею ты?

С утра и до вечера бога
Ты славил бы в выси чертога
Чудесной святой красоты.
Зачем же родился не птицею ты?

Ты пел бы с утра до зарницы
Созданье премудрой десницы,
И звезды, и луг, и цветы,
Зачем же родился не птицею ты?

Ты грязь ненавидишь земную,
Ты просишься в твердь голубую,
Ты рвешься из уз темноты,
Верь: некогда птицею будешь и ты!

Прильнут к раменам тебе крылья,
Взлетишь к небесам без усилия,
И твой искупитель и бог
Возьмет тебя в райский нетленный чертог!

29 апреля 1846

ПОСЛЕДНИЙ КОЛОННА

Роман в двух частях

1832 и 1843 гг.

Посвящается
князю Владимиру Федоровичу
Одоевскому

Часть первая

ПИСЬМО 1

Юрий Пронский к Владимиру Горичу

Ницца в конце января 183. года.

Итак, я в Италии, любезный Владимир... и какой-то насмешливый демон меня так и тянет в описательную поэзию, которую так любишь, так и жужжат мне в уши восклицания, которые так жалуешь!

Но успокойся: до поры до времени обойдется без возгласов и восклицаний. Я даже не сообщу тебе за новость Филикаевых стихов:

Italia! Italia! o tu, cui feo sorte; etc...¹ —

раз, потому что их можешь прочесть в любом сборнике, а во-вторых, потому что я в Италии и не в Италии. Здесь, в Ницце, пожалуй, проживешь сто лет — и ни однажды не почувствуешь нужды в итальянском языке: здесь англичане, французы, русские, немцы — выходцы из всех стран Европы, только итальянцев почти не видишь; в околотке крестьяне говорят по-провансальски, горожане все знают по-французски, и чуть ли не лучше, чем по-итальянски: «А темно-голубое небо? А рощи агрумиев? etc. etc. etc.» Мы с тобой видели в Крыму, в Адрианополе, в Грузии небо ничуть не хуже итальянского, а гранатовые рощи, сто верст южнее Тифлиса, стоят здешних лимоновых и померанцевых. Все же скажу откровенно: и мое сердце бьется сильнее при мысли, что я в Италии. Но оставим писать: об Италии, о

¹ Италия! Италия! о ты, чья судьба так жестока... (ит.)

которой столько писано, без общих мест — невозможно; общие же места для меня почти страшнее турецких пуль, по милости которых живу в Ницце и лечусь. Эту последнюю фразу отошли прямо в какую угодно повесть вашего модного писателя — Марлинского.

Ты, впрочем, небольшой охотник ни до фраз, ни до модных писателей. Скажу же тебе просто, что мое здоровье поправляется. Головная рана совсем уж закрылась; однако ношу еще повязку: врачи велят мне остерегаться простуды, чтобы не приобрести такого ревматизма, с которым едва когда и расстанусь. Верю им; но более ревматизма пугает меня чрезвычайная раздражительность нервов: она во мне противится всем усилиям искусства и даже рассудка... (рассудок, по-моему, в этой болезни гораздо действительнее всех возможных врачебных пособий). Особенно смутила меня одна чудная встреча... Только ради дружбы, не показывай никому этого письма: было бы досадно, если бы кто подслушал, как ротмистр Пронский рассказывает сны другу своему — Горичу. Дело вот в чем: на днях заснул я, прочитав сорок первых страниц Шиллерова «Духовидца». Мне мечталось, будто в прекрасный летний вечер прохаживаюсь с моей Надинькой в роще близ нашей деревенской церкви. Мы говорили о тебе: она желала, чтобы ты, брат ее по крови, мой — по сердцу, приехал к нам к счастливейшему дню нашей жизни — к нашей свадьбе. Вдруг проливной дождь: церковь, сдается, отперта; мы к ней, но церковь будто убегает; она в двух шагах от нас, она перед нами, да добраться до нее никак не можем. И вот дождь все сильнее и сильнее; гром, молния — удар за ударом, блеск за блеском; мы промокли, продрогли, устали. Смотрим — и перед нами молодой человек, закутанный в альмавиву, росту небольшого, бледный, а красавец и с такими черными, пламенными глазами, каких мне мало случалось видеть. «До церкви далеко», — говорит он нам, — и в самом деле церковь чуть-чуть видится. Потом мне показалось, что мы все-таки были в церкви, но вдруг опять очутились с тем же молодым человеком под открытым небом и дрожали от холода. Тут он нам сказал: «Вот мой плащ: в нем, небось, согреетесь!». Я набросил плащ на Надиньку: вдруг светло-серый плащ превращается в дым, малиновая подкладка в багровый пламень, — и Надинька в огне... Проснувшись, я почувствовал, что меня бьет лихо-

радка. Далее: третьего дня я засиделся в кофейном доме на Piazza de Vittorio. Вдруг, запыхавшись, вбегает мой la jeunesse¹ и докладывает: «Quelqu'un a apporté une lettre pour monsieur»². Хочу выйти, но на улице льет как из ведра, а второпях мой француз забыл принести мне шинель или зонтик. Посылаю за ними: что же? Ко мне подходит молодой человек, которого я до тех пор не заметил, и предлагает мне плащ свой. Всматриваюсь — невольная дрожь пробежала по мне: это тот самый, кого я видел во сне; черты его слишком значительны, чтобы возможно было забыть их. Только потому, что мне стало стыдно самого себя, я не отказался принять его услугу. Подают плащ: и тот точно такой, какой был в страшную ночь на таинственном незнакомце.

С ним я после того уже не встречался, а сказал мне слуга, отнесший ему в кофейню альмавиву, что он живописец из Рима; спросить же, как зовут, молодец не догадался.

Очень чувствую, что я должен казаться тебе глупым. Да и объяснить этот случай не слишком трудно. Верно, уже раз и прежде сна наяву я видел живописца, хотя и не могу припомнить где. К тому же здоровье мое, которое не совсем еще поправилось, раздражительность, мысли, занятые Надинькой, самое чтение Шиллерова романа — вот те нити, из коих проказница фантазия соткала мучительный сон мой. Но что твержу себе теперь, о том я тогда не мог вспомнить: меня слишком поразило странное повторение наяву части того, что мне приснилось.

Из Рима, надеюсь, получишь что-нибудь позанимательнее этого письма: в Риме намерен я провести масленицу, если только лекаря позволят; а потом назад, на святую Русь, в объятия твои и той, что мне и жизни дороже. Целую тебя... и пр.

ПИСЬМО 2

Тот же к тому же

Рим 5-го апреля.

Масленицу только хотел я провести в Риме, а вот живу здесь уже третий месяц и — оторваться не могу. Я не в силах успокоиться, опомниться от всего, что при-

¹ молодой человек (фр.). Здесь: «малый» — слуга.

² Кто-то принес письмо для господина (фр.).

влекает здесь мое внимание, возбуждает удивление и наполняет сердце вместе и благоговением и печалью. О многом я тебе уже писал; о несравненно большем не в состоянии еще писать: мысли мои еще не оселись; чувства слишком еще взволнованны; впечатления от всего, что видел, что вижу каждый день, не преобразились еще в ясные понятия, в сведения. Дай мне, друг, прийти в себя; теперь в моей голове все смешано, все сбито: века древние, средние, наш, церкви и виллы, Наполеон и папы, капуцины и цесари, Пульчинелло и Катон Утичский, конфетти и развалины, и сто других предметов, сходных и несходных между собою, так и рвутся под перо мое. Не знаю, с чего начать, на чем остановиться. Лучше бы было всего, если бы ты мог сам перенестись ко мне в гостиницу синьора Бенедетто, откуда к тебе пишу: тогда бы ты сам бродил со мною из Ватикана в Колизей, из Колизея в собор св. Петра, оттуда в Кампо-Вакчино, в Кампидольо, в виллу Боргезе и — пересказать не успею — куда. Я не в состоянии заочно быть твоим чичероне, потому что, пробыв здесь около десяти недель и каждым днем пользуясь, по сю пору теряюсь в этом лабиринфе. Проезд через Германию успокоит меня; ворочусь в Петербург и стану вам рассказывать о вечном Риме подробно, ясно, отчетливо; между тем Рим, хаос величия и нищеты, кладбище славы, оставляю не без сожаления; пишу это смело — вы не поймете меня криво, ты и Надинька. «Рим,— отвечаешь ты мне,— очаровал тебя; ты не можешь скоро оторваться от него: это понятно. Описания чудес Рима также от тебя еще не требуем. Да полно начинать письма свои антитезами! они ни к чему не ведут и ни о чем не могут дать понятия. Скажи нам слова два о самом себе и — рассудительно. Рим очень занимателен, но в Риме сердечное наше участие возбуждает один Юрий Пронский». О самом себе — когда вся личность моя заглушена и подавлена, когда все мое бытие поглощено великими остатками древности и еще величайшими воспоминаниями, такими, каких никакое другое место в целом мире не представляет воображению?..

На слова о моем здоровье: оно совершенно поправилось. Портрет, который посылаю Надиньке, покажет вам, что сбросил уж и повязку. Широкий рубец на лбу — единственный памятник того сабельного удара, который было меня чуть не навсегда разлучил с вами, друзья

мой. Портрет этот писан в подарок любви рукою дружки. Так, Володя, дружбы; тебя, конечно, никто мне не заменит; никто в моем сердце не займет того священного уголка, который я отвел исключительно тебе; с тобою я вырос, тебя люблю с той поры, как начал чувствовать, буду любить, пока не перестану чувствовать. Но ужели сердце человеческое так бедно, что не может быть преданно в одно время двум, даже трем, хотя и не с одинаковым жаром, не в одинаковой степени? Способность удивляться всему прекрасному, дорожить всем благородным и высоким не единственное ли право мое и на твою дружбу?

Помнишь ли, что еще из Ниццы я писал тебе о живописце, который встретился мне в кофейне на Piazza di Vittorio? Стыжусь и вспомнить, как на меня подействовала эта встреча, потому что этот живописец — мой Джиованни. Три дня после того письма я отправился в Рим. На первой неделе великого поста выставка картин в Академии: я посетил ее. Не стану много толковать о произведениях нынешних римских художников: итальянцы кое-как влачатся по следам Батони и Менгса. Немцы все почти метят в Луки Кранахи; и должно отдать им справедливость: их кисть деревянная, сухая точно вызывает из гроба младенчество искусства, но только труп его — души, которая одна в глазах истинного любителя придает неотъемлемое достоинство старинным картинам, души-то именно в их подражаниях и нет. Французы, хотя и очень хвастают своею новою школою, вообще по-прежнему театральны. Об англичанах и говорить нечего. *Наши*, хотя и есть исключения, не жалеют голубой и алой краски и в этой расточительности полагают главное достоинство живописца.

Бродя по залам, где все было или дурно, или посредственно, я сетовал об упадке искусства, досадовал, что этой жалкой выставке пожертвовал временем, которое нигде так не драгоценно, как в Риме, и совсем уж было собрался оставить Академию. Вдруг внимание мое привлекла картина, перед которою стояло несколько милордов инглезе¹ и какой-то синьор профессоре, объясняв-

¹ Inglese — англичан (ит.).

ший им ломаным французским языком, почему картина никуда не годится. При первом взгляде на это чудное создание высокого, заброшенного таланта меня поразило удивление. Сначала подумал я, что гляжу на одно из лучших творений Сальватора Розы. Рассматриваю, сравниваю с тем, что осталось у меня в памяти из картин неаполитанца: нет! художник не просто счастливый подражатель Сальватору — он его соперник, свободный, самостоятельный. Приемы, правда, почти те же, но рисовка точнее, идеала и чистоты более, и более того, что и гению не всегда дается, что только тогда покоряется фантазии, когда с нею сопряжено и сердце великое. Предмет: Риэнзи перед смертью. Сцена у подножия Капитолия. Народ, возмущенный дворянами, восстал на трибуна; тысячи рук было вооружились, тысячи голосов только что проклинали того, перед кем за час еще благоговели, кого за день еще превозносили над величайшими мужами древности. Но первый удар еще не нанесен; нанести его никто не дерзает. Риэнзи пользуется минутою недоумения, начинает говорить — и мечи, копья, камни выпадают из рук свирепой черни. Его правая рука указывает на Капитолий, левою он обнажает свою грудь; чело спокойно, величественно. И что же? здесь юноша бросается к ногам воскресителя Рима; там другой обеими руками покрывает лицо, в отчаянии, что мог быть игралищем властолюбивых патрициев. Далее несколько зверских лиц совершенно в роде Сальваторовых, в самых фантастических лохмотьях: они спешат удалиться, чтоб не заплатить жизнью за неистовство, в которое вовлекли народ и которое не удалось им увенчать убийством. Трое престарелых вельмож в великолепной одежде 14-го века, бледные с ужаса и гнева, смотрят на толпу, готовую или разойтись, или напасть на них же, зачинщиков бунта. Трибун настоящий антик: он в белой мантии, которой роскошные складки напоминают древнюю тогу, а чистый простой цвет резко противоположен яркости красок, какими пестрятся одежды всех прочих. Он торжествует. Но — позади победителя стоит его черный ангел, рыцарь с опущенным забралом, в вороненых доспехах, росту исполинского; булат его поднят: миг — и не станет Риэнзи.

Вот, друг, содержание картины, коей выразительность, изобретение, отделка, таинственное освещение на время заставили меня все забыть, все, даже глупый ле-

пет профессора и бездушное «yes, yes»¹, каким отвечали на его выходки румяные чада Британии, которых был он оракулом. Удерживаясь даже от улыбки негодования, я спросил профессора, как зовут живописца, который навлек на себя по всей справедливости его строгую критику. «Несмотря на это уродливое произведение,— отвечал мне оратор,— из него, быть может, вышло бы что-нибудь, если бы он только хотел следовать советам людей опытных, со вкусом». «Таких, как вы!» — прервал я его. «Но, синьор, не в том дело: откажитесь исправлять чудака, которого, кажется, исправить невозможно». — «Имя его?» — «Имя его — Джиованни Колонна». — «Он живет?» — «Живет, если то нужно знать вам, близ Палаццо Сакетти, на берегу Тибра, в виду моста Систо — в таком-то доме...». Я не дал договорить ему и бегу туда, куда влечет меня сердце. Вот дом; взбираюсь по крутой темной лестнице в четвертое жилье; вдруг несутся мне навстречу звуки истинно небесные: в них изливается душа, тоскующая о том, что может дать одно отечество бессмертия. Приближаюсь робко, отворяю дверь, вхожу в комнату бедную, но опрятную, что в Риме не последняя редкость. Художник фантазировал на скрипке: шум моих шагов привлек его в дольний мир из области света и гармонии, где дух его ширялся. На прекрасном лице его мелькнуло мгновенное неудовольствие; глаза засверкали: я узнал своего незнакомого знакомого из Ниццы. Что сказать тебе об этом первом нашем свидании? Неисчерпаемое сокровище пламенных чувств, глубоких дум и самого чистого восторга постепенно открывалось мне в душе дивного юноши. Он рожден быть великим: в нем воскреснет для Италии Рафаэль, только бы огонь, горящий в груди его, не расторг до времени сосуда, в который влит и из которого беспрестанно порывается возвратиться туда, откуда упал на землю. Впрочем, мы не скоро сблизились. Меня (смейся надо мною!) удерживал какой-то невольный трепет, проникавший меня всякий раз, когда я встречался с молнией его взора, и этот взор еще и ныне изредка напоминает мне зловещий сон мой; его? — он художник, беден и носит славное имя: Колонна. Колонны, ты знаешь, ведут свой род от Сципионов. К счастью, случай опрокинул

¹ да! да! (англ.).

стену, стоявшую между нами. Он спас мне жизнь, и с той поры он меня не чуждается: он понимает, как тяжостна одолженному благодарность, когда тот, кому хочешь принести ее, от нее отказывается. Вот как это было.

Самый Рим меня так занял, что окрестности его, о которых я, однако же, много читал и слышал, долго оставались для меня совершенно неизвестными: у меня не было времени посетить их. Наконец я выбрал прекрасное весеннее утро — и отправился в рощу, где источник Эгерии. Мне говорили, что это место не совсем безопасно; но я худо верил рассказчикам. Роща, скажу мимоходом, столь же дика и уединенна, как во время Нумы: поэт Августова века, досадовавший на пышность построек, которыми осквернили священные воды, теперь не нашел бы причины к жалобам. Все было мирно, все навевало какое-то неизъяснимое спокойствие и склоняло к мечтам о будущем, к думам о минувшем. Я сел на берегу ручья на обломок архитравы, поросшей мхом и повиликой. Вдруг выстрел; пуля жужжит мимо ушей моих и ударяет в дерево прямо против меня на другом берегу источника. Не успел я вскочить, как слышу второй выстрел, потом стон — и передо мною Джиованни с пистолетом в руке. «Как неосторожны вы! — было его первое слово. — Вы иностранец, здесь, один, без оружия... Посмотрите!» — и, взяв меня за руку, он отвел меня за куст, а там огромный мужчина, достойный товарищ Фра-Диаболо, лежит с простреленною головою. «Выстрел мой недурен! — сказал Колонна, собрал кисти, краски, портфель. — Пойдемте!» — и пошел, как будто ни в чем не бывало. В городе я почти насильно привел его к себе; но при прощании он в первый раз сам пожал мне руку и — сегодня четвертый день как живет со мною. Доселе мы говорили почти об одних искусствах и истории; но и тут узнал я богатство и красоту его души. Сокрушает меня глубокое уныние, которое в нем примечаю. Он несчастлив, но причины его страдания я не дознался.

Не ревнуй, Владимир! Для дружбы нужно равенство, а преимущество Колонны над собой я слишком чувствую, чтобы быть чем иным, как только его усердным почитателем. Следующее письмо ты получишь из Германии, вероятно из Мюнхена или Дрездена.

*Victor la jeunesse к брату своему Теодору,
магазинщику в Петербурге*

Дрезден 10 мая.

Вот, мой милый Теодор, я опять в Дрездене, где мы когда-то с нашим маленьким капралом так храбро отражали союзников. Недель через шесть надеюсь тебя обнять и рассказать тебе свои путевые похождения. Знакомых здесь никого не нашел. Толстый харчевник, что потчевал нас уксусом и уверял, будто это самое лучшее рейнское вино, а свои ужасные котлеты из конины выдавал за говяжьи, по выходе нашем из Дрездена вдруг стал патриотом и союзникам вздумал служить шпионом; но брал он деньги и с нас и по мере сил и возможности старался угодить обеим сторонам. За то казачий генерал Платон велел его повесить. Этот Платон шутить не любил, хотя, впрочем, был человек очень ученый, потому что воспитывался в школе известного Сократа, а до войны был митрополитом.

Прекрасная Аннетта, к которой я так ревновал, вышла замуж, а сестра ее Луиза умерла. О других приятелях и приятельницах наших нет и слуха. Баринотом я очень доволен: он добрый малый; люблю его почти больше, чем девицу Розу, которой я отдал свое сердце. Да напрасно только связался он с каким-то итальянцем, живописцем, и обходится с ним так почтительно, как и с нашим фельдфебелем никогда не обходился. Мне и старику Карпову велено слушаться итальянца как самого барина; а, сверх того, для него наняли еще особенного слугу, итальянца же, потому что ms-r Колонн (*imaginez vous l'impertinence!*)¹ не любит говорить по-французски! У меня не лежит сердце к этому гордецу. Пронский совсем не горд: нередко шутит с нами, меня расспрашивает про мои походы, с Карповым разговаривает о домашних; словом, часто забываешь, что он наш барин, ротмистр, что у него около полумилльона ежегодного доходу. А Колонь вот уже второй месяц живет с нами и не удостоил меня и десяти слов... Забыл он, как во дни наших

¹ подумай, какая наглость! (фр.)

успехов подобные ему перед нашим братом и пикнуть не смели! Глаза же у него, Теодор, так тебя и видят насквозь: мне таиться не в чем — я веселый парень, но честный, да все-таки неприятно, когда кто на тебя смотрит, как будто выужнает твои сокровеннейшие мысли. Впрочем — пожалуй! угодно ему спросить меня, — я не трус: выскажу ему все, что о нем думаю; только сомневаюсь, чтоб услышал он много лестного. И Карпову (который, между прочим, тебе кланяется) он не слишком полюбился. Старик считает меня ветреником, да и он, как только заведу речь об итальянце, покачивает головой и охает.

У старой барыни, матушки ротмистра, в деревне сумасшедшая девка — Настя, по-нашему Anastasie; сумасшедшая, да умнее многих умников: хотелось бы мне знать, что скажет она о нашем живописце. Барин говорит, что Коронь красавец... И в этом я не согласен: раз, он никак бы не мог служить в гренадерах — я головой его выше; во-вторых, бледнее, чем ты был после лейпцигской своей раны, — настоящий покойник. То ли дело мой ротмистр: статен, высок, румян, а рубец на лбу придает ему особенную привлекательность в глазах всякого старого солдата! Однако и бесу надобно отдать справедливость: храбр итальянец и славный стрелок. В бытность нашу в Риме убил он одним выстрелом разбойника, который за городом напал было на Пронского. Впрочем, на руку свою и я надеюсь: если бы тут случился, быть может, не дал бы и я промаха. До небес барин потом превозносил равнодушие итальянца; а дело-то вот в чем: отправив несчастного на тот свет, где молодца, по всем догадкам, примут не слишком ласково, он о нем говорил менее, чем об издохшей собаке. Право, мне кажется, что у ms-г Шаронь рука не дрогнет и не на разбойника. Сужу по его картинам. У него их довольно, но по большей части только начатые; а везде в них резня: ни одного женского личика; все какие-то бородачи, в широких епанчах, с растрепанными волосами; кинжалы, топоры, копья... Мастер он играть на скрипке: только при его музыке веселые водевили и на ум нейдут; скорее от нее завоешь.

Хотелось бы мне еще порассказать тебе кое-что; да, право, не знаю что? Фарфор здесь хорош, хоть и не лучше севрского; духи — гадкие, помада никуда не годится. Зато немочки очень милы, а вино недурно и дешево.

Поклон мой жене твоей и девице Розе. Крестнику своему посылаю гостинец: три аршина английского сукна на куртку. Прощай! Слышу колокольчик барина.

ПИСЬМО 4

Джиованни Колонна к Филиппо Малатеста

Дрезден 12 мая.

Могу представить себе, друг, твое удивление, когда, воротясь из Неаполя, ты уже не застал меня в Риме и услышал, что нелюдим Колонна согласился отказаться от своей дикой независимости и отправился с иностранцем, с русским, в холодное его отечество! Долго я боролся с самим собою: гордость, отвращение пользоваться благодеяниями, привязанность к несчастной, неблагодарной, но все дорогой мне родине, а главное — долгая, быть может вечная, разлука с тобою, который один еще удерживает меня на земле, где все, кроме тебя, растерзало мне сердце... Но суди сам: мог ли я наконец не уступить просьбам и настоянию Пронского, человека — скажу мимоходом — прямо благородного и знающего мне цену? Меня взорвало хладнокровие, с каким приняли — не в Академии (ожидал ли я когда общего смысла от Академии?), но в публике, но в Риме мою картину. Ты ее видел почти конченною: ты, строгий, неумолимый судья, смотрел на нее с восхищением, ты пророчил мне успех самый блистательный... Знай же: моего Риэнзи заметили: «Я человек не без дарования, у меня кисть довольно бойкая; я не из дурных подражателей Сальватора!». Зачем лучше не обругали меня? не назвали пачкуном, невежею, маляром вывесок? Стыжусь: на миг я было усомнился в себе и подумал, что не ангел вдохновения, а насмешливый демон-искуситель подал мне кисть и палитру. Филиппо! Этот миг... О, я долго не забуду его!

Вот из какого ада вырвал меня Пронский: он был на выставке и прибежал ко мне, заброшенному, принес мне дань восторга непритворного. Чем далее на север, тем люди должны быть холоднее, тем труднее должно быть расшевелить их. И что же? Человек, воспитанный среди льдин и снегу, русский, гиперборей, удовлетворил са-

мым взыскательным требованиям моего самолюбия. Рожденный в земле, где совсем иного рода успехи дают право на уважение, он смотрит на меня не с спесью покровителя, нет! С выражением удивления. Потом я узнал его короче. Судя по Пронскому, у русских нет нестерпимого важничанья англичан, судящих обо всем по печатному. Для англичанина Торзо не более как кусок мрамора; но англичанин вменит себе в неперемнную обязанность превозносить его, потому что Торзо славится. Колисей для уроженца берегов Темзы гряда камней; но перед Колисеем милорд непременно пробормочет сквозь зубы несколько из тех условных фраз, которые стали отвратительно приторны от бесконечного повторения; потом посмотрит на часы, скажет: «It is dinner time»¹— и отправится в гостиницу, чтобы там за обедом сказать соседу: «Я сегодня был в Колисее,— I do confess, it is very grand, very beautiful»². Не найдешь у русских и умничанья немцев, хотящих все знать лучше нас, старинных питомцев искусства, соотечественников красоты и вдохновения. Немец готов предпочесть уродливое произведение 14-го века лучшим творениям Урбинского и Микель Анджело, а почему? Он высмотрит, выищлет в них тусклый луч высокого и, обрадованный своею находкою, забывает, что в бессмертных созданиях наших гениев это же высокое, но в гораздо высшей степени и ничем не помраченное. В характере русские всего более склонны с французами, только они столь же скромны, сколь французы хвастливы и заносчивы; притом же в русских более глубины, более способности чувствовать и понимать прекрасное. Они, кажется, менее других европейцев удалились от природы, хотя и на них наведен уже тот лоск, под которым так часто скрывается ничтожество и бездушие. Пронский добр, прост, любит учиться, не стыдится своих чувств, охотно признается в ошибках, не гордится ни богатством, ни знатностью и обходится со мною благородно, нежно, бережно.

Так! Колонна гордый, горячий, мстительный, готовый везде подозревать ковы и козни, надеется ужиться с своим варваром и лучше, чем с земляками, пронырливыми, завистливыми. Этих-то земляков хочу принудить

¹ Пора обедать (англ.).

² Я признаю, что это очень величественно, прекрасно (англ.).

раскаяться в том, что не хотели угадать, чем могу быть. Чувствую, сколь мало еще у меня прав говорить таким языком: мне 24 года, а еще я ничего не сделал для бессмертия. Легко осмеять меня и назвать слова мои бредом безумца, беснованием несчастного, который лишен хлеба насущного, а между тем мечтает о недоступной, недостигаемой ему славе. Но и Рафаэль был когда-то неизвестным; но и Корреджио почти умер с голоду; но и Тассо зависел от покровителя, — а мой покровитель (больно мне называть его этим ненавистным мне именем!) ужели не перевесит на весах беспристрастия бесчеловечного князька Ферарского, которого певец Иерусалима называет великодушным Альфонзо? Итак, вот последний Колонна, чтобы не стоять в рубище на священных гробах своих предков, покидает свое отечество! Клянусь всеми святыми: буду достоин их — или погибну! Последний Колонна! Зачем и поныне не называюсь Лонна, как то назывался целые 50 лет слепой арфист — бродяга, отец мой? Он считал, что ему нейдет носить имя, с коим в целой Италии ни одно не сравнится ни древностию, ни знаменитостию.

Сто раз, Малатеста, я тебе рассказывал, как старик при последнем издыхании открыл мне, кто мы; как вручил мне неоспоримые доказательства, что в моих жилах точно течет кровь покорителя Карфагена. Взять ему было в гроб свою роковую тайну: она-то меня лишила и счастья, и покоя, и наслаждения успехами... что такое обыкновенные успехи для Колонны? У Колонны не должно быть совместников; первым, единственным должен он быть на поприще, которое избирает, — или ничем. Мне было тогда 16 лет; но в одну ночь из отрока я стал мужем; я перескочил возраст юношества, возраст любви, радости, доверчивости, упоения. Чего же странствующий арфист надеялся? Или несчастный Джиованни лучше его? Африканский! Взгляни на внука своего: он на жалованье у варвара; москвитянин считает, что оказывает честь последнему Колонне, называя его приятелем, а в сердце своем, быть может, называет его — своим холопом! Но жребий брошен...

Поговорим о чем-нибудь другом: для чего дотрогиваться струны, которая издает одно разногласие? Привыкай, впрочем, к противуречиям бедного Джиованни: ведь и сам он звук, нарушающий гармонию мира. Ты часто удивлялся, Филиппо, каким образом я, итальянец,

кому скоро исполнится пять люстров, не любил по сию пору ни одной женщины. Одно чувство поглотило во мне все прочие: тебе ли неизвестна моя любовница, идол мой? И не дай бог полюбить мне женщину! Любить, как обыкновенно любят, предоставляю другим; вялою взаимностию, какою обыкновенно довольствуются, я бы был ввергнут в отчаяние. Полюблю — и все прочее с меня смоется, во мне умрет и уничтожится. Если когда-нибудь услышишь, что Джиованни любит, считай его погибшим без спасения. Кровавый призрак всякий раз восстает передо мною, как только подумаю о страсти, мне незнакомой, но коей власть надо мною будет ужасна, беспредельна, если только ей подвергнусь. Надобно мне успокоиться, да о чем бы я ни стал говорить, везде найду нечто, что взволнует меня. Об искусствах? Я был в здешней картинной галерее... О, Филиппо! я видел Рафаэлову Деву, видел на руках ее сердцеведца, судию помыслов человеческих в образе божественного младенца: на меня дитя-громовержец устремлял строгий взор свой — и я готов был возопить к горам: «Покройте меня!», безднам: «Поглотите меня!». Почти столь же нестерпимы для грешника и небесная чистота, дивное спокойствие, кроткое величие самой Мадонны. Не верю басням о распутстве Урбинского: кто мог постигнуть эту непорочную святость, тот и сам был непорочен; или же чудо совершилось — и один из тех двух ангелов, что покоятся у ног владычицы Девы, сошел из радужного селения и водил рукою смертного. После того я проходил мимо прочих картин, стоял перед ними, глядел на них, но все еще видел только ее единую, единственную, ни с чем не сравненную царицу небесную. Корреджиев св. Севастиан наконец пробудил меня: перед ним наконец я мог плакать и молиться ей, чтобы смерти, подобной его смерти, даровалось мне омыть скверны больной души моей! — Италия! Италия! и эти два бесценные перла своего венца ты тедескам продала за горсть золота!

Милый брат! все, повторяю, все здесь давит, душит сердце мое. Самая откровенность, самое радушие Пронского мучат меня. Мрачные предсказания встретили мое рождение и до времени положили в могилу ту, которая дала мне бытие. Друг! и меня мутят предчувствия чего-то страшного, чудовищного. С переезда нашего за Альпы перемена лиц и мест, новые нравы и обычаи заглу-

шили было несколько во мне голос убийственной мечты, хотя она и тут никогда меня совершенно не покидала. Здесь, в Дрездене, она проснулась с новой силою. Однажды мы с Пронским разговаривали о том, до какой степени искусство может согласить выражение характера с идеалом, рассматривали мнения натуралистов, слегка коснулись того, что сделали лучшие из них, перешли к эклектикам, наконец, дошли до новейших, до Менгса, который подчинил высокое красоте, а в самой красоте видел одно приличие, и до его последователей, которых бесхарактерная изнеженность равно далека и от природы, и от идеала, и от красоты истинной. Неприметным образом разговор наш остановился на физиогномике. Мы рассуждали о чертах, по которым можно узнать вспыльчивого, гордеца, скупого, завистливого, труса. Вошел между тем молодой саксонец, знакомый Пронскому, и стал слушать нас со вниманием. Пронский спросил: «Каково должно быть лицо человека, который бы испытал все страсти и в котором все они заменились мертвым отчаянием, когда перегорели и потухли?» — «На такое лицо могу достать вам случай взглянуть», — подхватил тут саксонец.

Пронс. Шутите!

Сакс. Нимало. Вообразить не могу человека, чья наружность более бы соответствовала тому, что предание заставляет ожидать от вечного жиды.

Пронс. Кто же этот таинственный?

Сакс. Лет пять его знаю, встречал и здесь, и во Франкфурте-на-Майне, говорил с ним более двадцати раз; а по сию пору не знаю: немец он или нет, богат ли или беден, какого звания, какого происхождения? С первого взгляду ему лет сорок пять; но по некоторым обстоятельствам (на речи он скуп), право, подумаешь, что он живет не года, а веки, чтоб не сказать — тысячелетия.

Пронс. Стара шутка! St. Germain предупредил его в этой выдумке.

Я. Нас, итальянцев, нелегко ею проведешь: мы еще помним своего Кальёстро.

Сакс. Большая разница между Кальёстро, St. Germain и тем, о ком говорю: первый сам распространял о себе такие слухи; второй по крайней мере потворствовал им; а мой чудак тогда только может быть выведен из своей бесчувственности и обнаружить что-то

похожее на досаду, когда доходят до него подобные догадки.

Я. Он их оспаривает, опровергает?

С а к с. Он считает не стоящим труда опровергать что бы то ни было. Но во Франкфурте богатый перекрещенец из евреев, у которого нанимал он комнату, убежденный просьбами любопытных, решился наконец сказать ему, какая молва о нем носится. Постоялец молча вышел, хлопнул дверьми, и в тот же день его не стало в городе.

Пр о н с. Какого он исповедания?

С а к с. Он довольно прилежно посещает христианские церкви, не разбирая, католические ли они или протестантские; но всегда из них выходит перед начатием совершения таинств. Во Франкфурте бывал он и в синагоге; однако тамошние жидаы не признают его своим собратом, хотя некоторые и полагают, что он точно еврей, только не талмудист, а караим.

Пр о н с. Поведение, совершенно приличное роли Агасвера, которую, кажется, ваш фигляр вздумал разыгрывать! Это или безумный, или самый тонкий плут.

С а к с. Скорее первое: плутуют же для какой-нибудь выгоды, а он...

Пр о н с. Разве не считаете выгодой обратить на себя внимание, служить другим предметом толков и любопытства? Впрочем, уверен, что он и не без других признаков шарлатанства. Не так ли? Он предсказывает будущее, лечит средствами, не известными другим врачам; великий алхимик, магнетизер и проч.

С а к с. Во всем почти ошибаетесь. Единственное необыкновенное знание обнаруживает он именно только по той части, по которой сам служит примечательным феноменом.

Пр о н с. То есть он второй Лафатер?

С а к с. Лафатер схватил одну тень науки, а он проник в ее сокровеннейшие изгибы.

Пр о н с. Люблю вас, господа немцы! Между вами родился Шеллинг, величайший умствователь нашего времени; ни в какой земле, ни у одного народа просвещение не распространялось так на все состояния и звания, как в Германии, а между тем вы не отказались ни от одной глупости, какою когда-нибудь тешились и бывали приводимы в содрогание ваши прабабушки.

С а к с. Пусть это так; но самая склонность народа, который и вы же признаете одним из умнейших и просвещеннейших в мире,—склонность, ничем не победимая, общая, впрочем, более или менее всему роду человеческого...

Пр о н с. Говорит в пользу суеверия?

С а к с. Что такое суеверие? There are more things in heav'n and earth!»¹.

Пр о н с. Оставим! Искренно скажу, и я не совершенно свободен от слабости, противу которой вооружаюсь; споря с вами, я некоторым образом спорил с самим собою. Да! и в моей жизни был случай...

Тут Пронский как бы украдкою взглянул на меня: глаза наши встретились. Преодолев свое смущение, он продолжал:

— Физиогномика, впрочем, все же не то, что астрология, алхимия, магия; она как магнетизм, не во все без основания, хотя правила ее и довольно шатки. Вот почему и желал бы я видеть вашего чудака и поговорить с ним, если только он не обидится моим посещением.

С а к с. Не знаю, в состоянии ли он обидеться чем бы то ни было; да не ручаюсь, не обидитесь ли вы его приемом?

Пронский обещал равнодушно перенести все его странности, и саксонец дал нам слово навеститься в Фридрихштадте у сапожника, в чьем доме живет чудака, когда можно застать дома *серого человека* (так обыкновенно называют его по его серому кафтану). На другой день вечером, в 10 часов, саксонец зашел за нами, и мы отправились в Фридрихштадт. Мы пробираемся по темным, темным улицам этой беднейшей части Дрездена, почти сплошь заселенной нищими, и останавливаемся у старого каменного дома. Сапожник ожидал нас и повел по крутой ветхой лестнице в верхнее жилье. У дверей наш провожатый постучался, и мы услышали громкое: «Herein»². Входим и застаем *нашего* Агасвера за работою, за которою никто бы не ожидал найти его: он подчинивал свои сапоги.

«Эй! Эй! Господин Грауманн! — улыбнувшись, сказал хозяин. — Вы перебиваете у меня хлеб! — и, посмо-

¹ Есть многое в небесах и на земле... (англ.)

² Войдите (нем.).

трев на сапоги: — Да, кажется, и не за свое дело принимаетесь!»

«Разве ты недоволен тем, что от меня получаешь?» — спросил Грауманн, не обращая на нас внимания.

Сапож. Помилуйте! вы благодетель мой: я только осмелился шутить с вашею милостию. Вот господа, которые...

Граум. Подождут. Почему говоришь, что я взялся не за свое дело? Работа моя разве дурна?

Сапожник взял один сапог и стал рассматривать: «Прочно, чрезвычайно прочно! Никто у нас в городе не подкинет лучших подметок; да только более 50 лет никто не носит сапог такого фасону».

Граум. Быть может. *(Потом, обратясь к нам.)* Прошу садиться! Ведь так ваша светская вежливость требует, чтобы всякий порядочный человек приветствовал людей, до которых ему дела нет и которые не дурно бы сделали, если бы без околичностей убрались домой и занялись чем-нибудь пополезнее, чем прийти зевать на того, кого не поймут и кого понимать нет для них надобности.

Все это проговорил он голосом, в котором не было ни насмешки, ни досады, точно как будто подает совет, да только не надеется, чтоб совет приняли. Между тем я глазами успел окинуть его комнату. Стены почти голые: нигде нет и следа кровати, софы или хоть широкой лавки, чтобы ночью отдохнуть; вся мебель — стол и два-три ветхих стула; в одном углу распятие, но лик спасителя завешан; над стулом Агасвера несколько портретов, писанных на стекле теми живыми красками, которых состав потерял уже несколько веков, но которые и поныне возбуждают наше удивление на окнах готических соборов. Представь мое изумление: портреты времени очень недавнего. Под тем, который мог быть древнейшим, я прочел немецкую подпись: «Ганс Сакс из Нюрнберга, сапожник и стихотворец», а Сакс — современник Лютера. Под другим имя Якоба Бёме, сапожника и мистика 17-го столетия. Третий — Джона Фокса, также сапожника, основателя секты квакеров. Все три, казалось, писаны одним и тем же художником — и превосходным; только трудно причислить его к какой-нибудь известной школе. Отделка и точность ис-

тинно фламандские, но вдохновенные лица обоих энтузиастов и поэта не могли быть представлены, ниже постигнуты человеком, который бы никогда не восходил до созерцания красоты идеальной, незнакомой и самому Рубенсу. Другой вопрос: как мог один и тот же художник списать лица и Ганса Сакса и Якова Бёме, когда между обоими — столетие? Далее: как осталось в неизвестности искусство этого расцветания, им или другим кем вновь открытое? Вот сомнения, какие толпились в голове моей, когда я наконец сел возле Агасвера, Грауманна или как угодно будет назвать то непонятное существо, которое тут присутствовало. Он отвечал на вопросы моих товарищей, не глядя на них, продолжая свою работу. Наружность его? Возьми голову Лаокоона, только привыкшего уже к страданиям, одеревеневшего от них: дай этому Лаокоону силу Геркулеса Фарнесского, но пусть покой его будет не после победы, а после трудов непомерных, которых и Геркулес не одолел, но которые оставил после многих суетных попыток и усилий; одень своего полубога в серый камзол с стальными пуговицами, в серое исподнее платье, заставь обнажить до локтя мощные руки и пусть при бледном свете ночника подчинивает старые сапоги: вот гротеск, который дает тебе понятие о чудном зрелище, какое представлялось глазам моим. А голос его... нет! Лишенные акцента ноты этого голоса не принадлежали обыкновенному порядку вещей; в них что-то противоречило общим законам природы. Пронский, садясь, сказал ему: «Извините нашу нескромность; мы помешали вам».

Граум. Мне никогда ни в чем не мешают.

Сакс. Вы знаток в физиогномике: мы пришли к вам, чтобы попросить вас сказать нам, к каким страстям мы всего более склонны.

Граум. Вы пришли не себя показать, а меня посмотреть. Да и какая тебе будет польза, если назову тебе страсть, которая наложила неизгладимую печать на лице твоём? Ты жертвуешь ей и будешь ей жертвовать до последнего своего издыхания.

Сакс. От вас не спрячешься. Так! признаюсь, я сам отчаиваюсь победить свою влюбчивость.

Граум. Стало быть, у вас ныне зовут влюбчивостью, что в старину называли скотским сластолюбием.

С а к с. А друг мой?..

Г р а у м. Этот человек тебе не друг: ты его едва знаешь; он оставит Дрезден, и ты никогда уже с ним не свидишься.

С а к с. Вы говорите так утвердительно... мало ли, что может случиться? Ротмистр, легко станется, опять побывает в Саксонии, или я поеду в Россию.

Г р а у м. Не всегда случается то, что может случиться.

П р о н с. Вы, кажется, проникаете во внутренность человека. Итак, вероятно, видите, что не обманываю вас, когда скажу, что и теперь, в возрасте мужа, искренно желаю исправиться от своих недостатков. Назовите мне их! Быть может, самолюбие ослепляет меня; многие за собою знаю, но неравно самый опасный для спокойствия собственного и милых мне ускользнул от глаз моих.

Г р а у м. Ты мечтатель, легкомыслен, тщеславен; нет в тебе больших пороков, да подчас слабости не лучше пороков.

Тут я подошел к прорицателю. Он, повторяю, отвечал моим товарищам, не взглянув на них ни однажды; но на меня он поднял взор свой, уставил в меня свои безжизненные, оловянные, страшные глаза; потом подозвал меня еще ближе и шепнул мне на ухо: «Каин!»

ПИСЬМО 5

Фра Паоло к Джаованни Колонна

Рим 10 июня.

Малатеста, опечаленный и встревоженный, полагал, что не нарушит твоей доверенности, если покажет письмо твое мне, отцу твоему духовному. Сын мой, и меня оно опечалило. Никогда я не переставал молиться за тебя; я всегда взывал к духу-утешителю, да ниспошлет и тебе утешение — он, единый достойный желаний твоего сердца. Ныне усугублю свои молитвы, денно и ночью буду призывать к тебе на помощь силы небесные. На краю бездны скользишь, злополучный юноша: тот чер-

ный ангел, который некогда угнетал душу Саулову, гнетет и твою душу. Много получил ты из рук божиих: но как употребил ты не талант, а десять, тебе вверенных? Раб лукавый и неверный подвергся осуждению за то, что зарыл единый, ему данный: чему же подвергнешься ты за то, что не зарыл, а принес их в жертву врагу твоего господа? Искушитель предстал тебе в образе самолюбия: но сего ли мира слава успокоит твое сердце, алчущее благ неисчерпаемых, томимое беспредельною жаждою наслаждений, какие дать одно небо ему может? Преклони колено, смиренно восхвали того, кто даровал тебе сию жажду: она служит тебе порукою, что можешь быть сосудом избранным; ибо, очищенная ото всего земного, она преисполняла тех, которых лики чтит святая церковь наша. Но вместе трепещи: не она ли, худо понятая, отравой страстей бывала и орудием гибели? Творит она святых, но творит и чудовищ. Отшельник, я ежедневно умерщвляю плоть свою, ежедневно стараюсь умереть миру: но и я не считаю грехом любви к тем прекрасным искусствам, которые смертному иногда служат истолкователями, переводчиками небесного. Перголезе и Моцарт были на земле живыми отголосками гармонии надзвездной; Рафаэль озарил юдоль тьмы отблеском красоты вечной. Но «еще соблазняет тя рука твоя, еще соблазняет тя око твое»... Фра Бартоломео был славный живописец; он обессмертил, как выражаются люди светские, имя свое; но, говорят, он был худой монах, нарушал, говорят, святые обеты чина ангельского: если это так, лучше бы было не родиться ему. Не требую, чтобы ты бросил искусство свое, чтобы пренебрег своим редким дарованием: «Всякое даяние благо и всяк дар совершен, исходяй от отца светов», но решишь употреблять полученное тобою не для стяжания призрака земной славы, а для прославления чудес подателя благ нетленных. Тогда суждения справедливые и несправедливые, похвалы и хулы пронесутся мимо ушей твоих и не возмутят твоего спокойствия.

Считаю нужным побеседовать с тобой и о странном человеке, которого и наружность и слова, равно таинственные и страшные, так тебя поразили. Мне мало известны простонародные суеверия и предания трансмонтов. Вот почему, прочитав твое письмо, я и полюбопытствовал расспросить молодого немца, живописца, что та-

кое его земляки рассказывают о так называемом вечном жиде. Он передал мне легенду, которую сообщаю тебе. «Во время странствования господина нашего на земле жил в Иерусалиме некто Агасвер, ремеслом сапожник. Дом его стоял за городом по дороге к Голгофе. Более чудеса, чем божественное учение спасителя, заставили Агасвера признавать в нем обетованного; но сердце иудея, подобно сердцам большей части его братьев, было прилеплено к праху, не постигал он, что мессия пришел в мир для основания царства чисто духовного; ожидал и он от сына божия освобождения от временных уз, а не искупления от уз вечного рабства. В день торжественного вшествия Христова во врата Иерусалимские Агасвер ревностнее всех оглашал воздух кликами: осанна! Всех усерднее устилал ваиями путь ~~грядущего~~ во имя господне. Недалекобидный думал, что настал час, когда сын Давида исторгнет скиптр своих предков из рук язычников. Вскоре иудей увидел, что ошибся, — и вот досада, презрение, ненависть вдруг заменили в груди его восторг обманутой надежды. Через несколько дней тот, от кого чаял он спасения Израилева, Израилем же предан в руки грешников; могущий, от слов уст коего воскресали мертвые, осужден на казнь поносную. Агасвер слышит, что он не употребляет никаких средств к своему избавлению, что даже отказал четверовластнику в знамении, которого тот, казалось, только и ждал, чтобы его выручить. Негодование кипит в сердце сына праха.

Вдруг раздаются дикие вопли; римские воины, окруженные бесчисленной толпою черни, приближаются. Агасвер стал у дверей своего дома, смотрит — и что же? изводят на казнь рабов того Иисуса, которого тот самый народ, что ныне вопиет с таким остервенением: «Распни его!», дней за несколько назад хотел провозгласить царем Израильским. Ближе и ближе подходит шествие; согбенный под крестом, окровавленный, поруганный, в венце терновом, искупитель уже в глазах бывшего своего почитателя. Телесные силы божественного изнемогли, ему нужен краткий отдых, да совершит свой горестный путь, он остановился под навесом дома Агасверова. Даже суровые ратники ощущают нечто похожее на соболезнование: они не понуждают страдальца, дают ему собраться с силами. Отступник жесточе их: он отталкивает от прага своего того, кого некогда любил,

кому некогда удивлялся. И бог-человек воззрел на безумца, и что же? С этим взором пронзила Агасвера мысль: «Я не дал ему успокоиться, не знать и мне успокоения, требовал я от него временной славы, буду же свидетелем ее до скончания веков!». И с той поры странствует иудей из царства в царство, из столетия в столетие, без отдыха и пристанища; и странствовать ему, и не примет его самая земля до того часа, как распятый и поруганный паки придет на облаках, окруженный тьмами ангелов, да судит живых и мертвых».

Много высокого и поэтического в этом сказании; но нет ему основания ни в книгах Нового Завета, ни в творениях святых отцев, ни в преданиях нашей церкви; итак, оно изобретение человеческое. Того, кто в наши дни вздумал представлять, кажется, лицо Агасвера, считаю, чем с самого начала счел его приятель твой Пронский, т. е. обманщиком или сумасшедшим. Не чудо отвергаю я; но гораздо большее чудо, которому мы все свидетели, которое ныне перед глазами всех уже 18 столетий совершается, соделывает это чудо вовсе ненужным и ничтожным: не одно лицо — нет! — целое многолюдное племя предпочло земную славу небесной, отвергло, распяло принесшего миру искупление от уз греха и смерти,— и вот же оно странствует из царства в царство, из века в век и не знает успокоения. Не вдавайся, сын мой, в суеверие, противное и здравому рассудку, и вере истинной, суеверие, которое в наше время (странное явление!) нередко ходит рука об руку с безверием. Да! мудрецы и нашего времени, подобно евреям и эллинам, современникам апостола, называют юродством и соблазном божественное учение Евангелия, а между тем заносчивый и вместе немощный ум их не отказывается верить суетным басням. Сказание о вечном жиде пусть будет тебе только притчею: оно резкими чертами изображает пагубу величайшего из смертных грехов — гордости, ею же пали и ангелы, пагубу слепоты, которая отказывается видеть нечто высшее мира сего, не признает ничего другого, достойного исканий наших, и не хочет вспомнить, что творец создал нас по образу своему и подобию не для того, чтоб узниками мы были праха и брения. О сын мой возлюбленный! борись с губительною страстью, обладающей тобою! Призови на помощь господа — и он не оставит тебя, и ты одолеешь врага и

обличишь во лжи мрачные свои предчувствия и обманщика, дерзнувшего назвать тебя ужасным именем. Молись и бодрствуй и будь уверен: исчезнет как дым то, чего боишься ты и что только тогда может постигнуть тебя, когда не воспротивишься искушениям. Теплейшие и мои молитвы будут сопутствовать тебе всегда и повсюду. Поручаю тебя покрову божью и до конца жизни пребуду, чадо мое о Христе, верным другом твоим.

Павел, недостойный брат Ордена св. Франциска нищенствующих.

ПИСЬМО 6

*Надежда Горич к Эмили Дюваль,
своей воспитательнице*

С.-Петербург 14 июня.

Спешу вам, единственный друг мой, сообщить свою радость: вчера поутру возвратился мой Юрий. Он тотчас прискакал к нам на дачу, провел с нами весь день, а сегодня поехал в Красное Село повидаться с братом Владимиром. Мы ожидали Пронского; но полагали, что он будет не ближе как через неделю. Постараюсь пересказать вам наше свидание; да едва ли удастся мне написать что-нибудь путное. Мы за завтраком перечитывали его последнее письмо, которое получили третьего дня, и батюшка долго рассуждал о том живописце, с кем Юрий подружился в Риме. По словам Пронского, этот молодой человек что-то необыкновенное, наделен дарованиями каких мало, образа мыслей самого возвышенного, с самыми пламенными чувствами, но мучимый мрачным, диким унынием: Пронский опасается, чтоб это уныние наконец не переродилось в совершенную ненависть к жизни.

Батюшка заметил, что такое расположение души встречается довольно часто между молодежью нашего времени; он это приписывает нашему удалению от природы и говорит, что законы ее никогда ненаказанно не нарушаются. Что до меня, я только радовалась, что тот, кто будет на пути жизни моим другом и покровителем,

не принадлежит к тем существам, которые отжили для всех наслаждений и почерпают во всем и везде отраву и горести: Юрий и в 28 лет еще свеж и молод; на все смотрит взором ясным, безоблачным; сердце его горячо и чисто; умен и добр, быть может, он не гений, но зато в нем нет и причуд, которыми нередко гении, а еще чаще самозванцы-гении бывают в тягость самим себе и всему, что окружает их. Вместе я немного и досадовала на Юрия, что привязался к человеку, столь несходному с ним нравом, и даже опасалась, чтоб итальянец не навел туч на светлое небо души Пронского. После завтрака я сошла в сад: мне стало что-то грустно; невольно проронила я несколько слезинок и, когда слышала позади себя шаги, наклонилась к кусту роз, чтобы стереть их и оправиться... Вдруг кто-то закрыл мне глаза; я ахнула и — очутилась в объятиях Юрия!

Переменился ли он? Да, но в пользу свою. Вы помните, что перед походом Пронский был на лицо немного слишком нежен, слишком моложав, так, что шалун Володя иногда, шутя, называл его *m-elle Pronsky*. Теперь и следа этого нет. Поверите ли? рубец на лбу служит Юрию истинным украшением: он теперь и во фраке смотрит героем. В глазах его прежнее радушие, прежнее чистосердечие; кажется, они и теперь еще говорят: «У меня нет на душе тайны». Он посмуглел: впрочем, и это ему к лицу. Долго всматривалась я в каждую его черту; долго оба мы не могли произнести ни слова, кроме он — моего, я — его имени; вдруг он опомнился и, взяв за руку молодого человека, стоявшего от нас в десяти шагах, представил его мне: то был его приятель — Колонна. Взглянув на итальянца, я почувствовала, как непонятный трепет пробежал по мне. Показалось мне, будто все это не в первый раз со мною сбывается; будто на этом самом месте, в виду этих же кустов, в такой же точно час, когда солнце выглядывало, как теперь, вот из-за этой яблони, — некогда я точно так же из сладостного забвения вдруг была пробуждена присутствием человека, которого взгляд предсказал мне нечто таинственное и страшное.

Что же? и на бледном лице Колонны на миг вспыхнул румянец, подобный тому, который иногда горит на лице чахоточного, и столь же скоро заменился прежнею

бледностью. Он поднял на меня черные, огненные глаза и потупил их; хотел что-то сказать — одни невнятные звуки вырывались из уст его. Пронский шепнул мне, что Колонна не терпит французов и язык их; а я было заговорила с ним по-французски. Таких людей и безделица раздражает. Делать было нечего: хотя и худо знаю его отечественный язык, однако стала продолжать разговор по-итальянски. Колонна скоро преодолел свое замешательство, стал развязнее и отвечал мне умно, тонко, с большою любезностию. Мы воротились в дом, где матушка и сестры бросились с криком радости к Юрию. Послали по батюшку, который между тем по делам уехал в город. Через час и он был в кругу нашем. Вот бурные приветствия кончились; вот успели расспросить Юрия и о походах, путешествии, здравии, высказали ему, как часто о нем думали, как беспокоились, с какою жадностью читали его письма. Мы отобедали, и после обеда удалось мне полчаса провести с Пронским глаз на глаз. Музыка прервала разговор наш: она неслась из беседки — итальянец там фантазировал на фортепьяно. Матушка, Лиза, Вера молча слушали его. Никогда я не слыхала игры, в которой было бы более души. Колонна совершенно успел обворожить матушку и сестриц; особенно романтическая Вера видит в нем истинного Чайльд-Гарольда и чуть не плачет, когда говорит о его страданиях, несчастиях, между тем как их вовсе не знает. Она находит даже, что он необыкновенный красавец, что у него голова Аполлона Бельведерского и пр. Пожурите ее за вздор, каким вздумала набить себе голову. Впрочем, это при Верином нраве неопасно: у нее горится одно воображение; сердце, слава богу, спокойно и даже, кажется, не слишком и способно любить. Буду беспристрастна: правильностию черт и полуденною выразительностию Колонна точно превосходит Пронского; но несмотря на то, я всякий раз должна употребить усилие, когда захочу с ним быть ласковою, когда должна просто смотреть на него: в этих правильных чертах, в этом выразительном лице, особенно во взгляде, что-то такое, что меня невольно отталкивает.

Как бы я желала, моя Эмилия, чтобы вы были с нами, чтобы посмотрели на моего Юрия! Он целует ваши ручки и поручает себя вашей памяти.

Колонна к Филиппо Малатеста

В конце июля.

Поздно, друг мой, получил я письма ваши, твое и приложенное к нему отца Паоло. Вы лечите меня от болезни, которой у меня уже нет... Долго меня мучила горячка славолюбия; она прошла, прошла совершенно; исчезли и суеверные страхи мои. Ты радуешься, ты поправляешь меня... не так ли, верный мой Филиппо? Но какое же чудо исцелило меня так скоро, так неожиданно? Малатеста! Малатеста! твой Джiovанни любит! Постигаешь ли всю силу этого слова? Станешь ли после того еще спрашивать? Странная игра случая! Тот, кто в отечестве прекрасных женщин, под сладострастным небом Италии, там, где все располагает к неге, воспламеняет воображение и вливает в сердце желания, считал себя неспособным любить, тот должен был удалиться на север, где красота — явление редкое, в страну спокойствия, рассудительности, холода, чтоб испытать все могущество любви! И в ином, совершенно ином виде узнал я эту любовь, как предполагал и страшился: нет! Она не погубит меня (как мог я написать такую хулу святотатственную?); она преобразила меня, сотворила из меня иного, лучшего человека! Только с того мгновения, как заронила она в сердце мое, могу назвать жизнь свою жизнью, с того только мгновения бодрствую и вижу день светлый и отрадный. Ах! все мое минувшее — ночь тяжелая, ненастная, дикое, бессмысленное сновидение! Но, благодарю всех святых, — ночь растаяла от лучей жизнедатного солнца, чистое дуновение утра свежало сон безобразный! Не стану тебе описывать той, кого люблю; посылаю тебе ее портрет: это тень с ангельского образа, призрак всего небесного, невыразимого, высокого и вместе младенческого, что слито в лице ее. Ты видишь, я не ревнив: делюсь с тобой хоть частию своих наслаждений и, клянусь, желал бы ими поделиться и вполне со всею вселенною; всю вселенную я желал бы видеть у ног ее! Бедный Малатеста! ты должен довольствоваться грубым списком с оболочки того, чего никакие усилия искусства не выразят!

Я упомянул о ревности: но может ли существовать ревность там, где нет желания? Может ли тот завидовать, кто вкушает блаженство совершенное? Не пугайся же, мой Филиппо, когда назову ту «*che sola me rag donna*»¹. На коленях прошу прощения у Петрарки, что некогда издевался над ним за то, что он был в состоянии любить или, как говорил я тогда, хотел уверить других, будто любит женщину, отдавшую руку другому... «Он любил, говаривал я, видел свою Лауру в объятиях другого и не пронзил его тысячью ударами!». Безумец, как худо понимал я любовь и что осмелился называть ее священным именем! Вот и я же люблю, и та, которую люблю, никогда не будет моею... Но ужели она не моя, когда никто так, как я, не постигает ее превосходства? Кто вырвет из моей души этот образ — вечно юный, не подверженный никаким изменениям времени? Люблю в ней идеал красоты, который она для меня в себе осуществила, которого я долго искал, который носился в тумане перед моим взором. Распустился туман: на один миг выступил из него идеал мой, на один миг сошел на землю из своей надзвездной родины: я его узнал и навеки поселился он в моем сердце; его и самая смерть не исторгнет из этого сердца; им одним оно преисполнено, оно все его. Какая мне нужда, что ангел, который явился мне, назвался невестой Пронского? Или невесту Пронского любит Джiovанни? Не Джiovанни ли всегда питал неодолимое отвращение ко всему ничтожному? Невеста или жена Пронского через год, через два уже не будет тем, что она теперь; опадет ее молодость, проза жизни zalьет пламень поэзии, который ныне сияет в ее взорах; рано ли, поздно ли, она будет обыкновенной женщиной. Но моя владычица всегда одна и та же; берегу ее в святилище души моей. Не бойся же за друга своего: клянусь, если б и сама она отдала мне руку свою, и отец и жених сказали мне: «Она твоя», — я и тогда бы ее не взял; в моих огненных объятиях Юнона стала бы облаком и растаяла бы. Так! ныне все бытие мое любовь; но и ныне считаю себя неспособным к тому, что вы называете любовью: я и в любви не перестаю быть художником, жрецом красоты вечной.

¹ которая кажется мне единственной в мире женщиной (ит.).

Фра Паоло к Филиппо Малатеста

Рончинглионе в сентябре.

Рикардо, слуга твой, вручил мне письмо твое и письмо к тебе нашего Джiovанни: сегодня Рикардо хочет воротиться в виллу Боргезе; тороплюсь отвечать тебе. Ты радуешься, сын мой, перемене в расположении души Колонны и благословляешь любовь, будто бы исцелившую его от необузданной страсти славолюбия, с которою вотще боролась дружба наша. Желал бы я согласиться с тобою, но не могу. Он по-прежнему и не думает умерять свои чувства; он предается им со всею своею прежнею необузданностью: предмет только другой, они те же — столь же горды, пламенные, слепы, как были.

Ныне он еще себя обманывает, ныне еще силится уверить себя, что новая страсть его чужда земных желаний. Да долго ли продлится это очарование? В жилах его течет кипящая кровь Италии. В течение 80-летней жизни однажды только случилось мне встретить юношу, любившего без надежды и почти без примеси чувственности. Но тот был тедекс, сын строгих родителей, воспитанный в страхе божием, с самого детства привыкший сражаться с своими страстями. Он укреплял душу свою примерным благочестием и в непрерывных трудах старался находить своим скорбям утешение. Но видишь: страдал же и он! Нередко он приходил поверять мне свои мучения: тогда слезы текли по бледным щекам его, отрадою ему была одна мысль о другой, лучшей жизни, куда просилось его больное сердце. Он умер на моих руках в цвете лет своих. По крайней мере безнадежная любовь не вовлекла же его в преступление; чист был огонь, горевший в душе его, и без угрызений совести, под щитом веры перешел он из юдоли плача в обитель радости. Таков ли Колонна? Правда, и он благоговеет перед святым учением церкви и гнушается лжеумствованиями нечестия; но когда же призвал это учение на помощь противу бури страстей? «Вера без дел мертва», — говорит св. Писание. Колонна с редкою решительностью характера мог бы быть героем добродетели; но он этой решительности никогда не употребляет на борьбу с са-

ним собою. Он в высшей степени художник; телесная красота — предмет его искусства; самый идеал, которого ищет, о котором столько с нами рассуждает, не представляется ли ему облеченный в покров телесный? И ты надеешься, чтобы любовь юноши пламенного, необузданного, итальянца, художника осталась всегда духовною? А отзыв его о Петрарке ужели не испугал тебя?

Он, конечно, теперь раскаивается в этом отзыве; но, если он уже тогда говорил так, когда еще не любил, — что же будет, как скоро спадет завеса с его глаз, как скоро снимется первый обманчивый покров со страсти, которая прокралась в его грудь под личиною чувства благородного, высокого, неземного, но наконец обнаружит же свое очень земное происхождение? Трепет объемлет меня при мысли, чем может сделаться Колонна, когда страсть, овладевшая им, взлелеянная раскаленною фантазиею, беспрестанно питаемая его занятиями, кровью, мечтаниями, страсть — тиран сердца, привыкшего быть рабом своих хотений, — превратится в совершенное неистовство. Гордость, ревность, скорбь, отчаяние — увы! сын мой возлюбленный! дай бог, чтобы предсказания мои не сбылись; но теперь, теперь начинаю опасаться: не заслужит ли Колонна и впрямь страшное имя, данное ему дрезденским обманщиком! Ты знаешь, сколь мне дорог этот злополучный юноша; знаешь, чего я от него надеялся, что обещал умиравшему отцу его... Употреблю все средства, данные мне провидением, чтоб спасти его; но — не скрою от тебя — слаба надежда моя на успех. По крайней мере если бы я был с ним, если бы он слышал слова мои, видел мои слезы... Но он далеко за горами: между нами целые царства, а воля моих начальников и обязанности, возложенные на меня Орде-ном, удерживают меня в Италии. Письма? — что значат письма? Как ничтожны они в сравнении с живым словом человека, который любит нас, которого взор встречается с нашим взором, которого самый голос иногда более выразит, чем слова самые красноречивые! К тому же, быть может, письма мои уже тогда дойдут, когда все, все будет кончено. На днях возвращусь в Рим и тотчас извещу тебя о своем прибытии. Тогда на досуге побеседуем о нашем Джованни, и, статья, Милосердый и благоволит нам открыть средства, как отвлечь от краю бездны его, готового в нее ринуться. Теперь оста-

лись мне покуда молитвы, подобные тем, какими Самуил молился о гибнувшем сыне Кисовом. Да сохраняют лоть тебя, любезный сын мой, силы небесные!

ПИСЬМО 9

Колонна к Филиппо Малатеста

Санкт-Петербург в ноябре.

Несколько раз принимался я за перо, чтоб отвечать тебе на последнее твое послание, и несколько раз перо выпадало из рук моих; в груди моей странное смешение чувств: досада, признательность, стыд, гордость, раскаяние, негодование. Так и быть: пусть замолчат досада, и гордость, и негодование; вы меня худо понимаете, но любите и беспокоитесь о моем счастье и добродетели; бедный Джiovанни в вас только нашел бескорыстную дружбу... Впрочем, это письмо к тебе одному: если не желаешь, чтоб я перервал всякую связь с тобою, не показывай того, что пишу, монаху; строгость его правил и предрассудки звания не позволят ему с настоящей точки смотреть на мои поступки. Как бы кто добр ни был, какое бы ни принимал участие в судьбе ближнего, во всяком из нас, грешных, самолюбие поневоле возбуждает ощущение почти приятное, когда узнаем, что сбылось зло, нами предвиденное, нами в таком случае предсказанное, если не последуют тем советам, которыми премудрость наша так щедро снабжает всех и каждого, не рассуждая: мы сами не забыли бы собственных правил наших при подобных обстоятельствах? Несчастный гибнет, потому что он — он, а не другой кто, а друзья его восклицают: «Не говорили ли мы, что все это точно так случится!». Это торжество ныне и я могу доставить вам, хотя и не вполне, потому что вы все-таки кое в чем ошиблись. Часть пророчества фра Паоло оправдалась на деле: мое очарование исчезло — я проснулся. Монах не солгал: не для нашего народа, а всего менее для меня та духовная любовь, к которой способны одни наши заальпийские соседи. Так! Я люблю со всеми теми мучениями ревности и чувственности, какие только можете предполагать в итальянце, художнике, во мне. Судьбу свою знаю: страсть, сожигающая меня, положит конец

моему безотрадному бытию, но никогда не заставит меня забыть правила чести. Буду ее жертвою, но ты никогда не будешь вправе отказать мне в своем уважении. Теперь знаешь, чего бояться, чего надеяться.

Остается только пересказать тебе, как произошла та роковая перемена, которой — ты видишь — от тебя не скрываю. Она обращалась со мною холодно: сначала я приписывал это ее застенчивости; но напоследок не мог не заметить в глазах ее тайного ко мне отвращения, хотя она и силилась, особенно при женихе своем, быть со мною приветливою, даже ласковою. Вот первый шаг к моему разочарованию: ее несправедливость возмутила меня, невеста Пронского перестала быть для меня идеалом совершенства. Ты легко поймешь, что должно было быть следствием этого: она стала для меня просто смертною; мой восторг потух, но вместо его возгорелся огонь менее чистый, менее бескорыстный, зато не в пример сильнейший. Долго, однако же, гордость не позволяла уступить ему: мне казалось унижительным вздыхать жалким, безнадежным Селадоном у ног надменной красавицы. Реже и реже стал я ездить к ним в дом и отговаривался то тем, то другим, когда мне пенял за то Пронский; наконец объявил ему, что хочу воротиться в Италию. Он не стал меня растакивать, только просил побывать с ним на другой день у Горичевых. Приезжаем. Более недели я у них не был. Отец, мать и две младшие сестры, несмотря на то, что у них были гости, в один голос вскрикнули: «Колонна!» — и обступили меня. Старик взял меня за руку и, сжимая ее с видом истинной приязни, стал меня спрашивать, зачем я их чуждаюсь, чем недоволен, почему не хочу, чтоб они считали меня своим. Не помню, что я отвечал; кажется, он ожидал другого ответа, потому что долго смотрел на меня, а потом сказал: «Вы не искренны». Между тем Пронский отвел свою невесту в сторону и начал с ней разговаривать с жаром. Она отвечала слезами; их разговор был похож на любовную ссору, да только не она, он одержал победу. Вдруг он подходит ко мне и уводит меня в другую комнату, где Надина ожидала нас. Я к этому не был приготовлен; подхожу к ней в смущении; она встала, покраснелась, взглянула на меня взором, в котором прочел я прелестное сияние стыдливости, сожаления и — самоотвержения, и пролепетала дрожащим голосом: «Я перед вами виновата; я с вами обходилась

не так, как должно было с другом моего Юрия, с тем, кто необходим для его счастья!». Я молчал и не смел встретиться с ее глазами. «Как она его любит!» — вот то, что всего яснее представлялось мне в хаосе дум и чувств моих — смутных, сладостных, горьких.

С той поры я бываю у них каждый день: она старается прочесть в моих взорах мои желания, предупреждает их, устраняет все, что могло бы мне нанести малейшее огорчение. Боже мой! и это все для Пронского! потому что Пронский этого требует! Малатеста! голова моя кружится... о! если бы она меня так любила! Он? Постигает ли он всю меру своего счастья? Он хладнокровно ожидает окончания каких-то дел, чтоб обладать тою, при которой забываю самого себя и всю вселенную; разлучается с ней на целые дни, знает, что я посещаю ее без него, — и благодарит меня. Не понимаю этих ходячих льдин севера! Но как бы то ни было, не употреблю во зло его доверенности: еще раз, ты никогда не будешь вправе отказать мне в своем уважении.

Р. S. Я хотел запечатать это письмо, как вошел ко мне Пронский и объявил, что едет в Малороссию к своей больной матери. Не вовсе я еще лишился ума: еду с ним; один здесь не останусь.

Часть вторая

ПИСЬМО 10

Колонна к Филиппо Малатеста

*(Отрывок черновой, найденный в бумагах Колонны
без обозначения числа, когда писан)*

...в последнем твоём письме, которое мне переслали сюда из Петербурга, ты меня расспрашиваешь о русских, об их языке, нравах, обычаях и, между прочим, говоришь: «Уверен, что ты не воротишься из этой примечательной земли подобно большей части французов и наших соотечественников, путешествующих словно во сне и потом пересказывающих не то, что в самом деле видели, что точно существует, а только что им привиделось». Понимаю цель твоих вопросов и понял бы ее, хотя бы ты о ней и не проговорился довольно ясно в двух

или трех местах твоего статистического, филологического, глубокомысленного послания, которое — буде сказано между нами — более похоже на программу ученых задач какой-нибудь академии, нежели на письмо художника к художнику, друга к другу, на письмо, какого бы Джiovанни мог ожидать от своего Филиппо. Но еще раз: понимаю цель этих вопросов! — отвлечь ты желаешь мое внимание от предмета, которым оно исключительно занято, который — по твоему мнению — поглощает все мои чувства, мысли, силы, способности. Ты согласишься, что тут не без хитрости; а где хитрость, тут уже рушилось равенство, главнейшее, необходимое условие истинной дружбы: отношения уже не те; кто надеется перехитрить своего друга, кто надеется дать его уму и желаниям незаметным образом иное направление, тот считает себя умнее его, перестает быть товарищем, участником всех его скорбей и радостей и берет на себя должность его опекуна и воспитателя. Это, Малатеста, мимоходом, единственно для того, чтобы доказать тебе, что если я и обезумел, зато вполне обладаю тою проницательностью, какую подчас встречаешь у сумасшедших, которые довольно тонко и с довольно большим присутствием духа отгадывают и нередко даже умеют совершенно уничтожить премудрые намерения своих благомыслящих надзирателей. Впрочем, не полагай, любезный мой Филиппо, чтоб я рассердился на тебя; напротив, я очень тебе благодарен за твое нежное обо мне попечение: надобно же быть благодарным, когда видишь, что желают тебе добра, а сердиться — не так ли? — во всяком случае глупо. Итак, чтоб оправдать хоть несколько все то, чего ты ожидаешь от своего бедного Джiovанни, чтоб не совсем посрамить лестное мнение, какое имеешь о моем наблюдательном уме, дарованиях и пр. и пр., и наконец, чтоб убедить тебя, что я точно не сержусь и всегда буду вменять себе в обязанность по мере сил своих исполнять все, что бы ни вздумалось тебе возлагать на меня... Не знаю, дорогой мой Филиппо, как бы покруглее и поплавнее покончить этот период, который, если бы только был доведен до точки, надеюсь, не испортил бы никакого письма в любом письмовнике. На досуге подумаю об этом; а теперь читай далее: следует эпистолия, начиненная замечаниями всякими: географическими, историческими, эстетическими, физическими и метафизическими, — олла-потрида предме-

тов самых занимательных и разнородных; она, верно, придется тебе по вкусу, тем более что в ней ни слова ни о Джиованни, ни о скучной любви его.

Прекрасная выдумка сравнения: они, собственно, ни к чему не ведут, ничего не доказывают, а между тем где же блеснуть остроумием, как не в сравнениях? Итак, нас, итальянцев, и вообще жителей стран полуденных на сей раз сравню с летом: тот же зной, те же грозы и в этом времени года и в душах наших; хотя между нами и довольно наберется людей холодных и спокойных, но их можно уподобить прохладе и тишине после гроз и зною в летние ночи; того же, кто скажет, что тишина и прохлада летних ночей несколько приятнее холода и спокойствия флегматиков, — не удостою ответа. Немцев не грех сравнить с осенью — не по плодородию их умственных сил (они ими не превосходят других), но по туманам, которыми изобилуют и дни осенние, и немецкие головы. Русских же можно назвать ясною, светлою зимою: между ними наш брат, выходец из Италии, немного и зябнет; зато, спасибо, у них не встречаешь той неопределенности, неясности, мглы, какую бываешь окружен в Германии. В Венеции я выучился языку словаков: русские с словаками одного племени, вот почему понимаю довольно хорошо язык русский и даже начинаю читать русские книги. Их словесность вообще бедна; поэзия, впрочем, несколько богаче других отраслей. О простонародных их песнях, особенно о песнях малороссиян, которые говорят особенным наречием, предоставляю себе говорить в другой раз; теперь только скажу, что между ними есть истинно прекрасные; голоса многих, преимущественно заунывных, очень приятны. Русские дворяне — европейцы, т. е. и они на лицах своих носят печать того скучного однообразия, которую видим на лицах высших сословий во всех землях нашей части света с исключением Турции, и, быть может, нашей Италии. Мало еще знаю простой народ, но я намерен узнать его покороче.

Хотелось бы мне продолжать в таком духе письмо свое и в самом деле поделиться с тобою запасом сведений, какие успел я собрать о России: но, Филиппо, нет моей мочи — писать к тебе, как пишу теперь. Не лучше ли вместо обещанной длинной эпистолии, в которой ничего не будет нового, прислать тебе выдержку из любого путешествия по России, да и вперед заменять такими

выдержками письма мои? Если тебе это не противно, только объяви — и будешь получать с каждою почтою по отрывку из любопытного творения какого-нибудь умного француза или глубокомысленного немца: от них узнаешь столько же, сколько от меня, и столько же справедливого, потому что, правду сказать, я, вопреки твоему лестному отзыву, в России знаю только Пронского и семейство той, о которой запрещаю себе говорить с тобою.

ПИСЬМО 11

Колонна к Филиппо Малатеста

(Такой же отрывок, как предыдущий)

Благодарю, что, несмотря на мое последнее письмо, желаешь остаться моим другом; благодарю за все, что говоришь мне в своем ответе, особенно, что твердо хочешь верить моей чести. Так, Филиппо! честь не пустой звук без всякого значения: в наш положительный век энтузиазм потух; чисто нравственные пружины ослабли; софисты проповедуют одну пользу; одна польза — кричат они — должна руководствовать нами, быть мерилом всех наших дел и поступков — и что же? Вот среди общего разрушения, как будто одна среди развалин прекрасная колонна, стоит божественный предрассудок — *Честь!* Не пугайся слова *предрассудок*; всякое верование без доказательств есть предрассудок, потому что *предшествует рассуждениям*, потому что поражает нас очевидностью, не дожидаясь доводов и разбору критики. Беда, когда заповеди начнут уступать место доводам: тогда сердца отцвели; теплую, животворную веру никогда не заменят холодным, мертвым убеждением ума: не ум творит героев и мучеников. Итак, слава богу, что честь по сю пору еще предрассудок! Пусть же хоть она над нами властвует, сильное, безусловное, безотчетное чувство: в ней почти одной нашло теперь приют бескорыстное начало, без которого человек — умствующий зверь, а не дух, только временно связанный с плотию. Благодарю еще раз, что веришь моей чести: и я сын своего века; я не лучше, однако же и не хуже большей части из вас; честь свята вам — она будет свята и мне...

Юрий Пронский к Владимиру Горичу

Село Прелёво в декабре.

Если кто провел несколько лет в полуденных краях, где не знают ни снегу, ни морозов, тому при возвращении в наше ледяное отечество непременно должно прожить хоть первую зиму в Москве или Петербурге. В столичных гостиных, так же как в Италии, зимы не замечают. Для светских людей все навыворот: ночь стала днем, зима лучшим временем года. Но люди светские чуть ли не правы: и для меня после Булгарии, Адрианополя, Италии, конечно, было бы приятнее переждать стужу то в ложе Михайловского театра, то где-нибудь на балу с моей Надинькой, то с тобою в радушном кругу твоих сослуживцев, чем в нашей милой Малороссии, которая вовсе не рай земной, особенно «в последних числах декабря». Здесь у меня перед окнами тянется необозримая снеговая степь; в так называемом саду торчат сухие остоны черешен и яблонь; суметы в полдерево; вороны каркают по кровлям; по полю пляшет вьюга.

Наших соседей не стану описывать: кому, порядочному человеку, не надоели в наших романах и повестях до невозможности однообразные, бесконечные изображения уездных бар, барынь, барышень? Наши не лучше и не хуже тех, которых знаешь по этим красноречивым издлиям русской книжной промышленности. Со стороны Колонны, право, было великодушно, что он решился в нынешнюю пору года сопутствовать мне в деревню. Матушке, слава богу, лучше: она мне очень обрадовалась, и эта радость подействовала благотворно на ее здоровье. Я почти никуда не выезжаю и провожу время с своей старушкой и Джиованни, который теперь что-то приистрастился к музыке. Он иногда два-три часа и более забывается за нашим роялем. Как хорошо, что провидение дало Колонне хоть это средство высказать свою душу! Малороссы, особенно простолюдины, любят и понимают музыку: вот почему мой приятель своими заунывными фантазиями успел привлечь к себе сердца всей нашей дворни, особенно женщин и девушек. Когда начинает играть, у матушкиной горничной выпадает из

рук шитье; она встает и на цыпочках подходит к дверям; наш *fac-totum* роняет счеты, с которыми шел было к барыне; густые его брови спускаются еще ниже; да, верь или не верь, а случается, что слезинка капает на его седые усы; самая даже Настя (я рассказывал тебе про эту бедную девку, что сошла с ума, когда ее коханого сослали в Сибирь за убийство), самая Настя в это время будто что-то вспоминает, подкрадывается в зал к гостю, садится на пол позади его стула и грозит пальцем всякому, кто бы ни вошел: вот и она же боится, чтоб ему не помешали.

Один только мой Карпов недоступен для чар нового Орфея; зато дивчины и паробоки и прозвали его в насмешку: «мякий москаль», т. е. нежный, чувствительный русак; а если он, когда Колонна играет, чуть чем брякни,— беда! — ему и просто скажут: «Эх, який ослеп!». За эту полицию, которую сами они завели в прихожей, я им очень благодарен, потому что раздражительность и пылкость моего приятеля мне довольно известны. Однако одна из самых ревностных его почитательниц, а именно Настя, чуть было нам не наделала гораздо больших хлопот. Третьего дня Колонна взял себе в тему *requiem* Моцарта и, опираясь на вещих звуках этого, по-моему, самого глубокого из всех созданий величайшего из композитёров, в своих вариациях то пламенной молитвою возлетал на небо, то нырял в бездну гробового мрака, холодную, страшную, безответную; то в унылых, тихих напевах тужил о прекрасной жизни, которую, казалось, покидает, которая было ему так много сулила и сдержала так мало. Он был истинным чародеем. Матушка тихонько велела перенести себя на креслах в зал, слушала и — плакала. Люди стояли в дверях как вкопанные. Я не сводил глаз с Колонны: его чело было вдохновенно; взоры то вперялись в потолок, как будто ищут радужного селения праведных, то с ужасом устремлялись на клавиши (там под руками своими он, сдавалось, видит отверстую могилу), то обращались над роялем к портрету Надиньки его же работы: в ее-то ангельских чертах олицетворялась для него жизнь, и в *cantabile* фантазии слышалось унылое, умоляющее: «Не улетай! помедли хоть мгновение!». Вот он перестал играть; минуты с две сидел он, неподвижный: я ими воспользовался и махнул рукою людям, чтобы вышли. Потом он медленно встал, повел рукою по лбу, будто про-

буждается ото сна, и хотел что-то сказать матушке. Вдруг Настя вскочила, схватила его за руку, поцеловала ее и шепнула, что и она хочет пропеть ему песню. У ней в самом деле необработанный, но прекрасный голос. Мы спросили Джиованни: желает ли ее послушать? Он попросил, чтоб ей позволили.

Она запела:

1
По полям ли я ходила,
У ручья ль сидела я,
Белой ручкой я манила,
Призывала соловья.

5
Там и он, сокол мой ясный:
В клетке мой сокол сидит,
А кафтан на нем-то красный,
А на ножках цепь бренчит.

2
Соловью я говорила:
«Соловей мой, соловей!
Ветру выскажи кручину,
Боль, тоску души моей!».

6
Долго я ждала певичку,
Ту певичку — соловья...
Приманила же я птичку:
Вот послушалась меня!

3
Ветер, ты метешь равнину,
Пыль метешь с горы крутой:
Замети мою кручину
В край далекий и глухой!

7
Ай, спасибо, соловейко!
Прилетел, да и в мороз:
Душу, светик, обогрей-ка
И возьми от наших слез;

4
Не черешни и не вишни
И не груши там растут:
Там растет и медь и золото,
Там копают и куют.

8
Понеси их ты в гостинец,
В память другу моему;
Ведь шепнул же мне мизинец:
Улететь тебе к нему!

Колонна хотел, чтоб я ему перевел песню. Это сделать было нелегко: ты видишь, вся она какой-то дикий бред, в котором чувство и мысль вдруг принимают призрачный образ, как будто в сновидении, и в котором смысла не более, чем в сновидении. Кое-как я, однако, успел растолковать ему, что она хочет сказать, да и прибавил, смеючись: «Умна же наша Настя! посылает тебя к Нерчинским рудникам на край света! Если бы ты был хоть пейзажистом... там, говорят, бесподобные виды... а то что тебе делать в Сибири?». Колонна угрюмо спросил: «Amorato¹ ее разве был пейзажистом?» — вышел и заперся на целый день. Люблю Колонну, а, откровенно

¹ Возлюбленный (ит.).

признаюсь, часто не понимаю: он человек светский, просвещенный: не вольнодумец, но иногда рассуждает о злоупотреблениях своей церкви так, как бы, кажется, строгому католику не следовало, хвалит многое и в нашей, и даже в протестантской, вооружается противу притязаний пап и пр. Между тем Карпов уверяет, что Колонна носит власяницу; а я сам, сам, собственными глазами как-то однажды видел у него плетку с иглами, точь-в-точь такую, какую себя бичуют их иноки. И он точно бичует себя: да! он бичевал себя в ночь после Настиной песни; на полу перед его распятием нашли капли крови.

Много говорят о сплине англичан; ей-богу, пылкий сын полудня, католик, второе несчастнее англичанина, когда им, итальянцем или испанцем, овладевает хандра! Англичанин скорее решится на самоубийство; да это что доказывает? эти островитяне нередко бросаются в Темзу так, просто от скуки, от пресыщения; сверх того, между ними гораздо более зараженных безверием. Но те впадают в меланхолию от истинных, нешуточных ударов судьбы: от природы они не склонны к задумчивости. Страдать же будут они более всякого северного европейца, потому что и живее чувствуют, и рассудок у них слабее. Простолудин, римлянин или неаполитанец, в таком случае схватит нож разбойника; земляк его, граф или князь, адвокат, ученик Филанджиери, светский аббат, пристанут к какому-нибудь заговору; только глубоко религиозный энтузиаст, такой, каких во всех землях мало, наденет на себя рясу картезианца и станет приучать язык свой произносить одно страшное, монотонное: *memento mori*¹. Но и этому, если он итальянец, нужно что-то извне, но и он не захочет жить сам-друг с своею грустью: в эпитимьях, в положенном числе механически затверженных молитв и земных поклонов, в всенощных бдениях, в самом копании своей могилы он будет искать себе занятия и развлечения. Всем им движение, деятельность, внешний мир необходимы, чтобы перекрычать боль внутреннюю: иначе она б была для них невыносима. Знаменитое *il dolce far niente*² возможно не для страдальца, сына Италии. Иное дело немцы или наши стихотворцы на стать тех, что еще недавно были у нас в такой моде. Их, сердечных, хлебом не корми, а дай им в

¹ помни о смерти (лат.).

² сладостное безделье (ит.).

сытость наплакаться о своей отцветшей молодости, о своем разочаровании и пр. Джиованни не таков: настоящей вины его тяжелого уныния я по сию пору не мог дознаться; но тут должны участвовать и суеверие, и обманутое честолюбие, и бедствия его отечества, которое обожает, хотя подчас и кроваво над ним издевается,— всего же более, кажется, безнадежная любовь к женщине, которая не хочет принадлежать ему. Деятельность, деятельность — вот лучшее лекарство для моего бедного друга: он недаром итальянец. Жаль, право, что у вас нет под рукою какой-нибудь войны: я бы тогда присоветовал ему вступить в твой эскадрон и уверен, что ты в нем приобрел бы отличного товарища. Прощай, Владимир! Mille et mille choses à Надинька!»¹.

ПЕРВАЯ ВЫПИСКА ИЗ ДНЕВНИКА
ДЖИОВАННИ КОЛОННЫ

10 декабря. Писать к ним? да о чем стану писать к ним? Они меня любят, конечно, по-своему, т. е. учат, и мучат, и силятся излечить от болезни неисцелимой, но все же любят... Мне ли не платить за любовь признательностью? Я ведь так мало в жизни встречал искреннего участия! А между тем писать к ним,— и не воздержусь от сарказмов... Я заклятый враг всякого деспотизма, а паче деспотизма дружбы: не знаю ничего ненавистнее умничанья самозванцев-опекунов, которые под предлогом человеколюбия хотят отнять у человека драгоценнейшую принадлежность человека — свободу его воли. Читал я где-то про гордеца, пожелавшего владеть на мгновение перуном, чтоб разразить беззаконников... И вот он на облаке был восхищен на небо и среди туч узрел мужа, одетного в свет белизны необычайной, и сияние зрака того мужа было невыносимо для очей смертного, и был перун в его поднятой деснице. Когда же безумный простер руку к перуну, сам он, весь опаленный, был стремглав сброшен с неба в бездну ночи вечной. В моих глазах еще преступнее богохульная самонадеятельность тех, которые на счет других, хоть бы любимцев своих, думают разыгрывать роль святого божия промысла или, лучше сказать, языческого рока таинст-

¹ Тысяча и тысяча приветов Надиньке! (фр.)

венного, непостижимого, неизбежного, лишаящего свои жертвы всякого достоинства, потому что превращает их просто в марионеток. А фра Паоло, а Малатеста ужели не сбиваются никогда на этих непрошенных помощников провидения? Ужели они никогда не бывают похожи на ту добродетельную женщину, которая спасала душу своего мужа противу воли его, даже без его ведома, потчевая его по средам, пятницам и субботам самыми лакомыми блюдами, только все постными? Бог премудрый, преблагий и вдобавок всемогущий тут гораздо более оказывает уважения к своему благородному и свободно-му созданию; он устами заповедей и совести просто говорит человеку: «Перед тобою два пути: один ведет к свету, ко спасению, другой — к темноте и гибели; выби-рай!». Неаполитанский князь Б., которого вовсе не знаю, которого я никогда и в глаза не видал, вдруг почувствовал ко мне незапное, необычайно нежное учас-тие, в очень учтивом письме предлагает мне вступить в службу его сицилийского величества и, очертя голову, отправиться курьером в Вену с очень нужными депеша-ми. Как хотите, а это дело монаха или питомца его — премудрого Филиппо! По крайней мере *мне так кажется*, а это *мне так кажется*, которого не подкреплю доводами, но которое во мне равносильно совершенному убежде-нию, непременно отзовется в письмах моих и непременно когда-нибудь несчастное перо мое напичкает желчью. Они меня любят, а рано ли, поздно ли я кроваво уязв-лю их самолюбие и в раны те пролью горечь и яд свое-го озлобленного сердца! Нет! лучше не писать к ним!

20 декабря. Предчувствия, предзнаменования, сны ве-щие нисколько не предостережения. По словам одного из поэтов севера:

Неизбежное придет
И грозящее сразит...

Итак: к чему они, эти предзнаменования, предчувст-вия, сны вещие? Себялюбивый, бессмысленный вопрос былинки, едва одаренной существованием, а между тем во всех членах и жилах с головы до ног проникнутой гордостью гигантскою! Баснословный Атлас поддержи-вал свод неба; пигмей-человек превосходит и Атласа притязаниями, он говорит: «Небо и земля, весь мир со-

здан для меня одного!». Ей-богу, тут есть с чего расхотаться духам бессмертных, если бы только бессмертные духи были способны хохотать над безумием червя! В мире вещественном, в мире пространства и размеров о необходимом следствии причины естественной, об явлении, неразлучном с каким-нибудь действием, уже ли кто спросит: к чему они? Бодро путник шагает по дороге, им избранной; позади светит вечернее солнце, и собственная тень предшествует путнику; люди стоят и смотрят или же и сами идут ему навстречу; все они видят тень огромную, фантастическую, предтечу, предвестницу того, кто близится, а между тем никому и в голову не приходит суетная мысль, будто тень — предостережение; еще менее кто скажет: «Если тень не предостережение, так к чему она?» В этом безотчетном равнодушии, право, более мудрости, нежели в дерзкой пытливости того, кто спрашивает: «Если

Неизбежное придет
И грозящее сразит...

к чему предзнаменования?». Предзнаменования — просто тени мира духовного: они отбрасываются в поле, в дорогу времени событиями, из века предопределенными, а потому и неизбежными.

21 декабря. Лютеране считают нас суеверами за то, что мы обязаны беспрекословно и слепо верить всем преданиям и чудесам, какие нам рассказывают св. отцы и учителя церкви... А я осмелюсь сказать спесивым исследователям виттенбергского расстриги, что настоящие суеверы — они. Прямое отечество всех смутных, неопределенных боязней и страшил таинственных, неосязаемых, именно то вечно мрачное, вечно туманное королевство, которое для них и поныне осталось тем, чем некогда для нас была Испания: Швеция — центр их православия, почти столь же инквизиционного и неодолимого, хотя и гораздо менее логического, сколь когда-то был жесток и неумолим католицизм запиренейского полуострова. В Швеции родился Сведенборг, феномен необычайно странный: вельможа утонченной светскости, глубокий ученый, проницательный математик, счастливый естествоиспытатель, муж государственный, человек чест-

ный, добродетельный, даже философ, и что же? духовидец! без сомнения — сумасшедший, но перенесший в мир своих бредней холодную последовательность строгой методы, ясную диалектику здравого рассудка... Наш фигляр Кальёстро не мог проникнуть в Швецию: для него, паписта, это святилище протестантства было обведено оградой неприступною; но, если бы Кальёстро решился на отступничество, уверен, что в Швеции он нашел бы еще гораздо более адептов-олухов, нежели в обеих Саксониях, Пруссии, Курляндии, землях того же исповедания, но более полуденных. Швеция до XI века была кровавoadною хранительницею безобразного, дикого, свирепого многобожия Одинова, а тогда остальная Европа давно уже искупилась благодатию креста из-под ярма языческого. В Швеции еще в прошлом столетии королева Ульрика имела какие-то страшные видения; в Швеции масонские мистические ложи и поныне еще входят в состав государственного управления, между тем как это обветшалое учреждение в других странах просвещенного мира давно уже стало посмешищем людей мыслящих; в Швеции до сих пор, и в высших слоях общества, есть чудачки, которые полагают, что колдуны и кудесники не просто обманщики и безумные.

И русские — народ северный, но они все же отрасль славянского, т. е. полуденного племени. К тому же вера их не беднее нашей великолепием, обрядами, таинствами, чудесами: человеку в душу вложена потребность верить; счастлив, если в религии своей находит пищу этой потребности. Буде же религия представляет ему одни отвлеченности и умствования, он непременно вдастся в суеверие. И по религии, и по нраву, и по темпераменту сангвистическому русские гораздо более похожи на народы романские, нежели на соседей своих — финнов, скандинавов, tedesков. Русская чернь, может быть, и суевернее простолюдинов шведов и немцев (чему причиною всеобщая почти безграмотность русских крестьян); но нет сомнения, что вообще русские гораздо менее склонны к мутному, беспредметному мечтанию, нежели соседи их тевтонского происхождения. Русские окружены природою безотрадною, неумолимою, грозною; вот почему иногда испуганное воображение поневоле увлекает их в пространства безрубежные, нерассветные, в хаос, уму не доступный, отечество страшилищ и призраков; но очень редко русский предается этому влечению соп

amore¹, с наслаждением, с сладострастием, столь обыкновенным даже между лифляндцами, не столько уже обрусевшими. Конечно, есть в русской литературе отголоски этой наклонности; но найдутся эти отголоски и в соданиях французских и даже наших поэтов второй четверти XIX века: и здесь и там они более дело моды и подражания, нежели отзвuky требований сердца. Отсюда справедливость русским; однако они все же жители стран полуночных, преемники гипербореев: их окружают сосновые леса, темные, дремучие, печальные дебри, степи необъятные, тяжелая мгла, унылое ненастие, а в продолжение шести, семи, в некоторых областях даже восьми и девяти месяцев на них дышит мороз жестокий; их взор блуждает по снеговым сугробам, им в лицо хлещет вьюга, их слуху напевает жалобную песнь ветер, ишлец из тундр, прибрежных ледовитому морю. Все это располагает к мечтам — к суеверию: на севере трудно, особенно зимою, совершенно избежать этого влияния...

И я от него не спасаю: между тем как в сердце моем, обуреваемом страстями, слабеет голос веры отцев моих, воображение начинает наполняться какими-то облачными, огромными, дикими образами, в груди моей восстают голоса убийственных предчувствий и темных ужасов.

26 декабря. Настя воображает, что я непременно и скоро увижусь с ее amorato. С некоторого времени она стала необыкновенно прилежною и беспрестанно что-то шьет и кроит из лоскутьев, какие выпрашивает у горничных. «Для него! для него! — шепчет она. — Для бедного моего Пётруша! Соловейко торопится: надобно шить и в праздники, не то улетит, не возьмет с собою Пётрушу моих подарочков!». Все это я выведал от старой генеральшиной компаньонки, которой Джиорджино за пересказы строго и горячо выговаривал.

27 декабря. Теперь у русских святки: все в доме и селе гадают, льют воск и олово, подслушивают у окошек, кормят петуха счетными зернами и пр. Гадает и про Джиорджино и его невесту... про нее, невесту Прон-

¹ с любовью (ит.).

ского! Есть минуты, в которые жалею, что в роще Эгерии я застрелил того разбойника... Слава богу, здесь не найдешь bravó, который бы...

28 декабря. Старушка компаньонка лила олово самому Пронскому. Меня, разумеется, хотели уверить, что это одна шутка; но вылилось что-то очень похожее на гроб: мадам Перепелицына смешалась и побледнела, генеральша улыбнулась, однако задумалась и не скоро одолела невольное уныние. Один Джорджино был необыкновенно весел, шутил, задира л девушек своей матери, переряжался, ребячился, как школьник, как дитя...

Странно только то, что ему (он почти вовсе не пьет) вздумалось распить со мною бутылку крепкого вина, и не за здоровье своей невесты, и что во весь вечер видимо избегал встретиться глазами с моими глазами. На прощание он пожал мне руку крепче обыкновенного.

1 января поутру.

О! я провел мучительную ночь!
Видений страшных, снов зловещих столько,
Столь грозный ужас наполнял ее,
Что вновь подобную перетерпеть,
Как верный христианин, не решусь,
Хоть тем купил бы веки дней счастливых!

* * *

«Не бойтесь, государь,
Теней!» — «Святой мне Павел! Нынче ночью
Сразили тени ужасом мой дух,
Каким вовек не поразят его
В доспехах бранных, Ричмондом ничтожным
Ведомых тьма и тьма живых мужей!»

Замечание издателя. Этими стихами оканчивается первый небольшой отрывок из дневника несчастного Колонны, отрывок, который вместе с другим позднейшим, еще меньшим, составляет все, что уцелело из бумаг итальянца. В подлиннике стихи писаны размером *versi sciolti*¹: мы передали их белыми ямбическими. В какой они связи с отметками, которые предшествуют, решить

¹ белые стихи (ит.).

не беремся. Быть может, это только перевод знаменитых стихов из 1-го и 5-го акта Шекспирова «Ричарда III»: «O! I have pass'd a miserable night»¹ и пр.

И: «Nay, my good lord, be not afraid of shadows»².

Быть может, в дневник они внесены просто на память. (Мы достоверно знаем, что Колонна занимался переводом Шекспира на язык итальянский)... Однако может быть и то, что тут намек на какой-нибудь страшный сон самого страдальца. Все это читатель сам решит по следующим ниже письмам особ, знавших его лично.

ПИСЬМО 13

Юрий Пронский к Владимиру Горичу

Село Прелёво 7 января.

С месяц, друг Владимир, я к тебе не писал. Между тем наступил Новый год... Шепни ты мне сам: чего пожелать тебе к Новому году! Придумать не могу, чего бы тебе недоставало: ты добр и благороден, умен и здоров, красавец, пользуешься общим уважением, служишь счастливо и хотя в богатстве несколько уступаешь братьям Ротшильдам, а в учености профессору Сенковскому, по крайней мере принадлежишь к тем счастливым, которые ни в чем не нуждаются, к тем немногим русским молодым людям, которые схватили не одни верхи современной образованности. Разве пожелать тебе встретить на пути жизни такое же верное и чистое сердце, каково сердце нашей Надиньки? Но, Горич, Надинек на белом свете очень немного; тебя, брата ее, заклинаю: влюбись в девушку хоть несколько на нее похожую или же вовсе не влюбляйся! С сердечным, почти благоговейным трепетом я вижу, как приближается минута, которая соединит мою жизнь с ее жизнью, душу мою с ее душою... Матушка, слава богу, совершенно выздоровела: через неделю ворочусь в Петербург, только уж не один, а со своей милой, доброй старушкою; она пламенно желает увидеть и прижать к груди своей избранную моего сердца, и тогда... Боже мой! прилив блаженных ощущений давит, душит

¹ O! Я провел ужасную ночь (англ.).

² Милорд, не бойтесь призраков (англ.).

меня; в одном уже ожидании я болен от избытка счастья; что же будет, когда в самом деле обниму в ней свою, вечно свою, свою и здесь, и за пределами гроба! Сказать ли тебе, Владимир? иногда мне кажется, будто не доживу до этого мгновения или по крайней мере не переживу его! Всякий, кто ожидает от судьбы чего-нибудь великого, становится суевером. Близкое мое счастье так восхитительно, что невольные страхи вкрадываются мне в душу. Ты знаешь, мой Владимир, что я не трус: не раз я глядел смерти в глаза; но *теперь* умереть я боюсь, умереть теперь, когда мне в ее объятиях предуготовлено небо на земле!.. Верно уж для того, чтоб заставить меня поплатиться за не заслуженное ничем блаженство, мысль о каком-то бедствии, мысль о гибели преследует меня. Борюсь с этими малодушными опасениями и надеюсь одолеть их, хотя они с некоторого времени и беспрестанно во мне возрождаются.

Всего более смущает меня, что и матушка что-то задумчива: и ее что-то тревожит! Мы таимся друг перед другом: при мне она разговорчива и весела; в одних только изъявлениях необычайной ко мне нежности обнаруживается что-то необыкновенное; она ныне как раз такая, какою была, когда снаряжала меня в поход в Турцию. Слов: вы, сударь, Юрий Львович, м-г de Pronsку с акцентом на де, от ней почти никогда уже не слышу. Я опять стал для ней Юринькой; нередко она по-тогдашнему схватывает меня за голову и целует в лоб и в глаза; она вот и теперь, как тогда, любит рыться в волосах моих, любит их переглаживать, любит трепать меня по щеке. Матушка страстно любит французский язык: она знает его чуть ли не лучше русского; но теперь она со мною что-то все разговаривает по-русски и порою даже вмешивает в разговор чисто областные слова нашей родной Украины. И откуда, братец, у ней, воспитанницы Смольного монастыря, берутся самые простонародные, самые душевные выражения, такие, которые я слышал только в своем младенчестве и то от одной своей старой няни? При матушке я резов, шалун, ребенок: только в совершенном уединении, в своем тихом кабинете, перед портретом Надиньки, в долгие свои бессонницы, сижу иногда по целым часам молча, с трепетной молитвою в душе взволнованной...

Уж посмеемся же мы, милый друг, когда-нибудь с тобою вдвоем над этим глупым унынием, которому нет

видимой причины! Ты сбереги, Володя, нынешнее письмо, пристыди им меня, когда в медовый наш месяц в третий или четвертый раз посетишь свою сестру и меня, счастливица, своего брата. Но до тех пор ни слова, всего менее ей, моей Надиньке! Целую тебя.

P. S. Приложенное здесь письмо ты сам лично све-
зешь к князю Б., оно касается нашего Джиованни, в
котором и ты принимаешь же участие, потому любишь
меня и дорожишь всем, что мне дорого.

ПИСЬМО 14

*Отставной гвардии ротмистр Пронский к князю Б.,
полномощному посланнику
его величества короля обеих Сицилий*

7 (19) января.

Светлейший князь,
Милостивый государь.

Спешу отвечать на письмо от 23 декабря (4 янв.),
которым вашей светлости угодно было почтить меня.
Вы, по-видимому, изволите принимать живое участие в
молодом художнике, римском подданном, проживающем
в моем доме, и подробно расспрашиваете об его поведе-
нии, занятиях, образе мыслей. Г-н Джиованни Колон-
на — артист самых редких дарований и человек души
прямо благородной. Не смею догадываться, по чьим вну-
шениям ваша светлость входите в такие подробности в
своих расспросах о нем; желаю верить, что тому причи-
ною одна природная склонность ваша обращать внима-
ние на все необыкновенное и прекрасное, а не вмеша-
тельство и наущения людей непрошенных и некстати ус-
лужливых. Предметом же подозрений и опасений каких
бы то ни было г-н Колонна никоим образом и ни в ка-
ком случае быть не может. Далее ваша светлость, кажет-
ся, изволите полагать, что г-н Колонна у меня на жало-
вании в силу какого-нибудь изустного или даже пись-
менного обязательства... Напротив: я считаю себя у
него в долгу; согласясь не из каких-нибудь видов, а
единственно по усиленной моей просьбе и приязни ко
мне последовать за мною в Россию и жить со мною под

одной кровлею, он тем оказал мне такую честь, за которую я никогда не буду в состоянии воздать ему достойно; а принять на жалованье гения, в котором легко, быть может, воскреснет для Италии Рафаэль Санцио,— не мне, простому русскому дворянину. Между тем считаю священным долгом благородного человека поручиться вашей светлости словом русского дворянина и верноподданного императора, государя моего, что г-н Колонна выехал из Италии не по политическим каким-нибудь причинам, в чем может удостоверить вас и правительство его святейшества, высокого союзника государей моего и вашего. После всего здесь сказанного излишним было бы распространяться о поведении, характере и правилах такого человека, каков г-н Колонна. Он совершенно предан своему искусству; для него одного он живет и дышит. На короткое только время отвлекли его от его любимых занятий новые впечатления в первые месяцы его бытности в России; но теперь его гений проснулся: он опять принялся за кисть и палитру. Я еще не видал картины, которую он пишет; но сужу по той, которая в прошлом году была украшением римской выставки, и ожидаю чего-нибудь превосходного. Считаю себя наперед счастливым, что в моем доме создается творение, которым, вероятно, будет гордиться XIX столетие, столь поныне еще бедное картинами, истинно гениальными; а вашу светлость, просвещенного любителя искусств, смею, как итальянца, наперед поздравить с тем, что вскоре прибавится новый прекрасный листок к лавровому венку, украшающему чело вашего отечества. С глубочайшим почтением и пр.

ПИСЬМО 15

*Глафира Ивановна Перепелицына
к титулярной советнице
Лукерье Петровне Сковрода в Полтаву*

Село Прелёво 12 января.

Завтра, ma cousine, мы с генеральшей отправляемся в Петербург: Юрий Львович и Иван Иванович Колонна уехали еще вчера. Свадьба Юрия Львовича с Надеждой Андреевной Горич решительно назначена в последнюю

неделю мясоеда. Генеральша еще в рождество писала к дворецкому, чтоб он велел очистить и непременно к тому времени убрал по приложенным рисункам сызнова *bel étage* в большом доме на Английской набережной. Рисунки самого Юрия Львовича: прелесть, *ma chère!* Я уверена, что м-г Колонна не нарисовал бы лучше. Мебель велено заказать у Гамбса: рококо; это теперь опять очень в моде в Париже. Обои в спальне темно-зеленые, в уборной *gris de lin*¹, в гостиной голубые, в кабинете *ропсеау*², в салоне и столовой бледно-фиолетовые с золотом; прихожую и швейцарскую выштукатурить под мрамор; окна везде цельные зеркальные; дерево употребить самое дорогое — не помню уж, каких названий. Вся меблировка обойдется тысяч в 70, с прибавкою. Денег не велено жалеть и, как можно, более поторопиться. Одни только собственные покои генеральши останутся совершенно в том виде, в каком были при покойном Лье Петровиче; их никогда и не отдавали внаем, а запирали и берегли на случай приезда в город самой старухи или сына. Впрочем, молодые — идея довольно странная! — намерены тотчас после венца уехать на дачу: там они проживут до самого разгара масленицы. В четверг на масленой у них в городе большой бал, в субботу делают все визиты, а в воскресенье — бал. Вот вам, *ma bonne cousine*, и новости!

Сердечно радуюсь переезду в Петербург: мне, право, надоела ваша Полтавская губерния, а лучше знаменитое село ее высокопревосходительства — Прелёво! Село Прелёво — и зимою, куда, кажется, и ворон костей не заносит, потому что соседи почти вовсе перестали к нам ездить! Они как-то при Аграфене Яковлевне слишком связаны, им что-то слишком при нас неловко, хотя, впрочем, Пронская, сколько может, старается приноровиться к ним и быть с ними ласковою. К нам не ездят, а мы подавно. Если даже случится дело, отправляем к вашему мужу письмоцо на имя губернатора — и оно во сто раз действительнее сотни личных свиданий, просьб и поклонов других искателей. Итак, и в Полтаву не для чего, тем более что сам губернатор у нас непременно два раза в год бывает, чтоб засвидетельствовать нам свое почтение... После того сиди себе с больною старушкой

¹ серовато-голубые (фр.).

² темно-красные (фр.).

с утра до вечера, играй с нею в пикет, корми ее моську, перечитывай в сотый раз романы Вальтера Скотта и вечную «Федру» Расина, а для разнообразия, пожалуй, гадай хоть в карты или лей о святках олово... Куда как весело! А *propos*¹: мы и в самом деле нынче о святках лили олово, разумеется, для одной шутки. Я было и отговаривала Аграфену Яковлевну: «Судьба-де Юрия Львовича известна, а нам, сударыня, вам на 65, мне на 54 году уже не выйти же, кажется, замуж». Генеральша до упаду хохотала моей выдумке, да настояла на своем, и я должна была вылить олово Юрию Львовичу. Вы меня, *ma cousine*, знаете: я вовсе не суеверна, но скажу вам по секрету: ведь бедному Юрию Львовичу вышло... ах! *ma chère*, страшно и сказать что!.. Представьте: гроб, ну настоящий гроб, а вдобавок Адамова голова и крест! Конечно, это все пустяки: да если (от чего боже упаси!) случится что-нибудь... Вообще скажу вам, *ma bonne* Лукерья Петровна, мы что-то все смотрим не по-свадебному, а сумасшедшая Настюшка, которую знаете, городит такой вздор, что и разобрать трудно: «Свадьба,— говорит она,— свадьбушка на славу; будет тут и люминация. На свадьбу-то уж даром, взяли бы Настюшку с собой хоть на люминацию! студено Настюнке: погреться хочет!»

После отъезда Юрия Львовича я девок при себе заставила убирать и мести в комнате итальянца. Ах! Лукерья Петровна! какие я тут страсти нашла!.. Нажаловалась я вам на скуку прелёвскую, а надеюсь, вы все не усомнитесь в беспредельной моей преданности добрейшей Аграфене Яковлевне и несравненному Юрию Львовичу, которого я просто обожаю. *Ge l'adore, ma chère!*² Я ведь у них в доме выросла да и постареть успела; Юриньку я нянчила, и учила азбуке, и за уши-то дирала, а теперь бог привел его, моего голубчика, видеть мне молодцом и красавцем, словно брат мой (дай бог ему царствие небесное!) Степан Иванович; да Юринька теперь и жених, и невеста его, говорят, такой же, как он, ангел! Это-то именно и преданность собственно и заставила меня писать к вам, Лукерья Петровна. Вы, хотя меня и помоложе, да дела-то лучше моего знаете; к тому же и Матвей Матвеевич ваш, даром что только ти-

¹ Кстати (фр.).

² Я его обожаю, моя милая! (фр.)

тулярный советник, — делец, скажу вам без лести, каких немного, секретарь — правая рука губернатора. Не знала я только, как начать: почему и написала вам предвзительно много пустяков, много вовсе ненужного; а то, та сhère, что осталось мне вам досказать, по моему глупому разумению, — совсем не пустяки: ведь им, моим милым, право, угрожает опасность, и все от этого страшного итальянца, которого Юрий Львович (бог его ведает зачем!) с собою возит! Мы, изволите видеть, убрали в его комнате. Девки вытащили из-за печки несколько покрытых паутиной и слоем пыли свертков и лоскутов толстой александрийской бумаги. Гляжу: с полдюжины эскизов картины, которую писал или по кр. мере собирался у нас написать м-г Колонна. Никто ее в доме не видел: только с самого Нового года он для этой картины запирался на 8 и более часов в сутки. Юрий Львович строго-настрого заказывал всем нам не мешать итальянцу, не прерывать, как говорил, вдохновения своего друга... Славное же, признаться, вдохновение! Да и другая-то Юрий Львович сыскал себе редкого! Любопытствовала я пересмотреть эти начерки, набросанные на бумагу карандашом и тушью. Что же, та сhère? Везде одно и то же с небольшими только переменами: Каин убивает Авеля; Каин, как две капли воды, сам м-г Колонна, а Абель, Абель, та раувге cousine¹, Абель — кто бы вы подумали? — наш Пронский, наш добрый, милый, единственный Юрий! Сцена на горе: облака тумана поднимаются из пропасти и опоясывают гору; в этих облаках или, лучше сказать, вместо их — какие-то чудовищные хари. Из них одна как раз похожа на того серого человека, о котором при вас, помните, в Николин день вечером рассказывал Юрий и которого причудливый профиль² тут же на карточке начеркнул нам Колонна.

¹ моя бедная кузина (фр.).

² Замечание издателя. Читателям, которым любопытно узнать еще кое-что о загадочном сером человеке, мы предлагаем следующее известие и небольшую выписку из письма нашего друга la jeunesse к его приятелю Теодору. Начнем с выписки: «Nouvelle bonne à savoir» <Приятная новость! (фр.)>. Ведь серый человечек, который три раза являлся Наполеону, а именно накануне взятия Аркольского моста, перед египетскими пирамидами и в самый день битвы при Ватерлоо, проживает здесь, в Дрездене. Говорят, он большой ворожея и предсказатель, точно наша мамзель Ленорман. Отправлюсь к нему спросить: женюсь ли я на де-

Другая образина еще ужаснее: и сатану я не в силах вообразить себе страшнее и отвратительнее. Серый будто бы указывает ему на Каина; демон протягивает к братоубийце руку длинную, костлявую и, кажется, хочет стащить его с утеса. На одном лоскутке по другую сторону носится чуть-чуть видная фигура какого-то арфиста: арфист закрывает себе лицо рукою и, по-видимому, плачет. На другом эскизе видно что-то очень похожее на старого капуцина, а с ним призрак прекрасного юноши: оба они, сдается, хотят схватить Каина за поднятую уже с палицей руку. На третьем, между прочим, тень римского, кажется, полководца в лавровом венке, в латах, с жезлом консульским. Слова: *somno orribil, somno di inferno*¹—несколько раз написаны на полях, а на втором еще что-то, но зачеркнуто. Впрочем, потрудитесь с Матвеем Матвеевичем сами рассмотреть эти рисунки: я их при сем к вам препровождаю; и, если рассудите, что по ним можно заключить о каком-нибудь злодейском умысле итальянца насчет Пронского, пусть Матвей Матвеевич скажет о том губернатору, который, я уверена, доведет все до сведения правительства, а там уж примут надлежащие меры для спасения почтенного семейства от предприятий того, кто недаром земляк всех тех мрачных злодеев, которые, *ma chère*, в нашей молодости нас так пугали в страшных романах г-жи Ратклиф. Прощайте, *ma cousine*, обнимаю вас и детей ваших; Матвею Матвеевичу мое искреннее почтение. Пишите ко

вице Розе... Был я у этого проклятого жида; сам он ко мне не вышел, а выслал хозяина, сапожника, да вот еще с каким ответом, что-де я ветеран старой гвардии «*der sehr grosser Narr*» <большой дурак (нем.)>. Я с тобой с мерзавцем разделаюсь! Действительно, *la jeunesse* выпросил у Пронского в зачет своего жалования три талера для ночного, как выразился, предприятия. Пронский, не предвидя тут ничего опасного, дал ему деньги. *La jeunesse* все три талера превратил в три бутылки рейнвейну и, выпив их для подкрепления сил душевных, отправился ночью в Фридрихштадт, чтобы поколотить Грауманна, но, к своему крайнему изумлению и ужасу, он не только дома, где жил фигляр, но и улицы его найти не мог; пробродил всю ночь и на рассвете очнулся, дрожа от усталости и холода, перед гостиницей, где жил Пронский. Здесь он проспал весь день, а на другой с своим барином отправился в Россию: вот как Грауманн избавился от обещанных ему побоев.

¹ сон страшный, сон адский (ит.).

мне, пожалуйста, поскорее, да особенно, что обо всем об этом скажет Матвей Матвеевич.

Р. S. Не считаю нужным предварить вас, что генеральша ничего не знает о письме моем.

ПИСЬМО 16

*Титулярный советник Сковрода к маиорской
дочери Глафире Ивановне Перепелицыной*

Полтава 18 января.

Милостивая государыня
Глафира Ивановна!

Жена сообщила мне почтеннейшее письмо ваше от 12 января. Вы изволите изъявлять в нем лестное для меня мнение, что могу подать вам хороший совет в щекотливом деле, тут изложенном. Вот почему и принимаю смелость сам отвечать вам вместо Лукерьи Петровны, которая поручила мне сказать вам искреннее свое почтение и просить, чтобы вы ее на сей раз великодушно извинили: у нас, доложу вам, также затевается свадьба; крестница кузины вашей Пашенька Федерштрих, дочь короткого моего приятеля Густава Карловича, губернского стряпчего, выходит за молодого человека отличных качеств и хорошей фамилии, гарнизонной артиллерии поручика Перепалкина Афанасья Николаевича, того самого, который в последний ваш приезд в Полтаву во время ярмонки с вами у нас обедал и имел счастье заслужить ваше внимание. Мать невесты — покойница, а потому все хлопоты и пали на мою Лукерью Петровну, так что у ней, право, голова кружится: минуты нет свободного времени. Вдобавок Лукерья Петровна по преданности к вам слишком увлекается вашими опасениями, чтобы судить о них хладнокровно и беспристрастно. Эти опасения делают честь вашему и ее сердцу. Между тем, хотя я человек простой и без притязаний на обширный ум и глубокие сведения, хотя и в другом чем, вероятно, и не был бы в силах оспаривать даму столь проницательную и просвещенную, как вы, милостивая государыня, однако же в настоящем случае надеюсь убедить вас в несправедливости ваших подозрений. Не го-

ворю уже о том, что на них никоим образом нельзя основывать донос, не подвергаясь неминуемому и строгому взысканию от начальства, от людей же праздных и злословных насмешкам и обвинению (простите мне жестокость этого выражения) в подысках и ябедничестве. Люди мы с Лукерьей Петровной небольшие, и буде в самом деле и пользуюсь некоторым к себе благоволением его превосходительства, то имел счастье приобрести таковую милость единственно прилежанием и усердием к пользам службы, преимущественно же скромностью и устранением себя ото всего, за что могли бы взять на замечание как человека нраву беспокойного.

Итак, милостивая государыня, ради бога не гневайтесь, а я вас, как добрую приятельницу и близкую нам родственницу, покорнейше и нижайше прошу, дабы и впредь не изволили требовать ни моего, ни Лукерьи Петровны участия в делах, которые до нас совершенно не касаются и которых важности и опасности Лукерья Петровна, как женщина, конечно, не понимает, но в которых ни я, ни она, с моего согласия, никоим образом вам помочь не можем. Да и вам, как друг и человек, несколько знающий законы, я, Глафира Ивановна, советовал бы все это оставить. Вы, без сомнения, насчет господина живописца Колонны ошибаетесь. Он осыпан милостями Юрия Львовича, а ведь известно, что и собака не кусает того, кто ее кормит и ласкает. (Извините, что я тут так просто выразился.) Как же предполагать, чтобы человек такого отличного воспитания мог ненавидеть своего благодетеля или (что и вымолвить страшно) чтобы желал даже его смерти. А что до картины: *Смерть Авеля*, то это одна игра воображения. Поверьте, что оно истинно так, да и быть не может иначе. Покрывать Ивана Ивановича мне не из чего: он мне ни брат, ни сват; а ежели всю правду сказать, не вправе ожидать от меня и особенно дружеского расположения: спесивый, извольте сами знать, такой, что нашему брату и головой кивнуть порядочно не хочет; между тем мы хоть люди не знатные, а все-таки служим богу и государю верой и правдою, состоим в капитанском чине, имеем крестик св. Станислава 4-й степени и пряжку за беспорочную 30-летнюю службу, не то что какой-нибудь иностранец.

Но — как бы то ни было — Варвара мне тетка, а Правда — сестра: подозревать г-на живописца в зло-

дейском умысле единственно по приложенным картинкам никак невозможно. В свободное от службы время люблю заглядывать в современные (как нынче выражаются) издания, особенно после хорошего обеда, лежа у себя в кабинете на диване и запивая кофейком со сливками трубку жуковского. Это, скажу вам, сударыня, истинное наслаждение: тут попеременно и читаешь, и дремлешь, и узнаешь разные диковинки: про пятипольное хозяйство напр., или про железные дороги и чугунные дома и паровые машины да про сиамских близнецов, и как г-н Булгарин, несмотря на то, что ругал г-на Полевого в продолжение десяти почти лет в каждом листке своей газеты, всегда питал к нему, Полевому, глубокое уважение, всегда восхищался его выпренними дарованиями, а тем паче ныне ими восхищается, когда Полевой стал его товарищем в одной и той же спекуляции по части книжной промышленности. Все это, милостивая государыня, крайне удивительно и заманчиво; читаешь и словно опять переносишься во дни своего детства и слушаешь сказку старушки-нянюшки, как в некотором царстве, в некотором государстве жил-был старик, а у того старика было трое сыновей: двое умных, а третий — дурак, и пр. Крайне, повторяю, удивительно и заманчиво, да не менее и назидательно. Очень я благодарен г-ну полтавскому исправнику, что снабжает меня иногда этими книжками и листочками, хотя сам их не выписываю, потому что, признаться, считаю неприличным человеку солидному тратить на пустишки.

Да не о том дело!

Прочел я, между прочим, не помню уже где, историю про какого-то живописца же Спинелло: эта история как раз пояснит вам все странное и необыкновенное в рисунках его товарища по ремеслу, г-на Колонны. Представьте, сударыня: Спинелло написал образ св. архангела Михаила, и что же? попираемому архистратигом дьяволу придал, не зная того и сам, черты своей невесты! Не скажете же вы тут, что он ненавидел девицу, с которой только что еще сбирался вступить в законный брак? Добро бы, если бы она была уже его сожительницей, а то возможно ли и предполагать, чтоб он хотел надругаться над тою, которую, по достоверным сведениям, страстно любил, будучи и сам любим ею взаимно? Г-н сочинитель истолковал все это весьма остроумно и удов-

летворительно: Спинеллово воображение, говорит он, день и ночь было занято лицом бесценной ему девушки; вот почему это лицо и легло противу воли его под его кисть, когда вздумал он представить духа тьмы, не на стать другим живописцам, отвратительным чудовищем, а существом страшным, но вместе и прекрасным. Что-нибудь подобное, вероятно, случилось и с вашим господином живописцем Колонною. Каков бы он ни был, нельзя, полагаю, отнять у него преданности к Юрию Львовичу; быть может, эта преданность даже живее, чем думаем. Обожаемой им красавицы мы за ним не знаем, да и трудно вообразить, чтобы была таковая у человека, совершенно посвятившего себя тому искусству, которое дает ему хлеб насущный. Пронский посему должен быть самое главное, а если судить по угрюмому нраву и нелюдимости живописца, может быть, единственное существо, к которому Колонна привязан. Ничего нет мудреного, что именно потому и написал он ветхозаветного мученика похожим на Юрия Львовича. Так легко статься может, что самого себя изобразил в лице своего Каина потому только, что в тайне собственного гордого сердца самому себе шепчет: «От Пронского отстою, как Каин от Авеля». Вдобавок по побочным фигурам видно, что все это аллегория, хотя несколько и темная: напр., демон и страшный призрак с ним рядом изображают, кажется, растерзанную угрызениями совесть Колонны, римский воин в лавровом венке — его честолюбие, арфист — любовь к изящным художествам, юноша и капуцин — добрые начала, которые борются в нем с дурными наклонностями и которых не вовсе же лишен человек и самый порочный и пр. Чувствую, Глафира Ивановна, что я взялся не за свое: иной, пожалуй, скажет, что не мне быть истолкователем произведения искусства, которое навсегда осталось мне чуждым. Но о творениях живописи, ваяния, зодчества, даже стихотворства может же, кажись, судить всякий, одаренный рассудком и некоторым вкусом: это ведь не то, что занятия более важные и полезные, в которых встречаются и запутанности, и затруднения, и вопросы казусные и требуется основательное знание форм и законов. В искусствах, напротив, нужен один навык, а не тщательное изучение и труды постоянные и всегдашние.

Знавал я во время своего служения в Петербурге кое-кого из этих господ сочинителей, которых теперь бо-

лее величают поэтами и литераторами: ни один из них не умел написать порядочную деловую бумагу, да и судить о достоинстве таковой не был в состоянии. Между тем наш брат смело судил и рядил и спорил о картинах Шебуева, Егорова и Кипренского о бюстах и статуях Мартоса и Демута, о стихах Ив. Ив. Дмитриева, Крылова и Жуковского, а в случае надобности под веселый час сумел бы сложить и песенку, небось не хуже их... Единственно нелицемерная дружба к вам, милостивая государыня, и ревностное желание успокоить вас заставили меня приняться за перо и пуститься в рассуждения о предмете, право, того не стоящем. Ваше собственное редкое благоразумие подает мне надежду, что успею в своем намерении. За сим нижайше прошу вас поручить меня благосклонной памяти милостивцев моих Аграфены Яковлевны и Юрия Львовича, за здоровье и благоденствие коих не перестаю денно и ночью взывать со всею семьею к милосердному господу; вместе же примите уверение в моем совершенном высокопочитании и готовности к услугам, с чем и имею честь быть, милостивая государыня, и пр.

Замечание 1. Это письмо получено г-жою Перепелицыною уже после страшной катастрофы, которую она предупредить хотела. Глафира Ивановна дрожащею рукою отметила внизу: «Бездушный трус! не на одной душе изверга Колонны смерть твоих благодетелей... Зачем не родилась я мужчиною? Я бы знала, как отворотить опасность от головы тех, кого люблю! недаром я дочь храброго майора Перепелицына: о! зачем не родилась я мужчиною?»

Замечание 2. Здесь, кстати, сообщим последний отрывок из дневника Колонны. Тут, особенно под конец, заметно возраставшее помешательство ума, доведшее его напоследок до того зверского неистовства, которое... Но пусть читатель потрудится добраться до последней страницы нашей повести! Здесь мы только укажем на очень любопытный психологический факт: временное сумасшествие Колонны, которое, впрочем, едва ли может служить ему перед человеческими законами в извинение, по-

тому что было плодом произвольной необузданности страстей, тем не менее не подлежит, кажется, никакому сомнению. Что же? невзирая на это, мономан Колонна судит обо всем, что только чуждо погубившей его страсти, не только здраво, но даже с проницательностью и глубокомыслием. Такова, например, его отметка о дуэли, хотя, по-видимому, она написана с тем, чтобы послужить ему поощрением к преступлению ужасному и бесчестному. Говоря о Сведенборге, Колонна утверждает, что знаменитый духовидец был маньяк, перенесший в свое сумасшествие всю холодную последовательность строгой методы, всю диалектику здравого рассудка. Самому Колонне суждено было перенести все это не в простое сумасшествие, а в бешенство, превратившее наконец его в совершенное чудовище.

ВТОРАЯ ВЫПИСКА ИЗ ДНЕВНИКА ДЖИОВАННИ КОЛОННЫ

20 января. Я ее опять увидел, увидел ее тогда, когда вскоре все должно между нами кончиться, так или иначе... Свадьба их назначена через 10 дней... Уехать? Покинуть ее? Должно! Я погибну — это так, а ведь обличу во лжи все страхи монаха, недоверчивость недостойного Филиппо, мрачные предсказания дрезденского фигляра, обличу во лжи и тебя, страшное, адское сновидение! Человек свободен: он не раб предопределения. Кальвинисты лгут: чувствую, что могу спасти по крайней мере душу свою, — только бы захотеть: да откуда взять это хотение? Разве принести эту кровавую жертву, хотя бы только для того, чтоб не перестать уважать самого себя?.. Да точно ли он достоин этой ужасной жертвы? Он должен же что-нибудь и для меня сделать: должен по крайней мере отложить свою ненавистную свадьбу: да! отложить ее, покуда я не выехал! Одна уж мысль, что она в моих глазах отдается другому, в моих глазах начнет телом и душою принадлежать другому, — эта мысль, эта мысль приводит меня в совершенное бешенство, толкает мне в руку нож убийцы!.. Придаться бы к чему-нибудь? вызвать его на поединок? Ради самого дьявола, к чему же придерусь я? Он обходится со мною как друг, как брат, так благородно, так нежно, что тут есть с чего в отчаяние прийти!

21 января. Я бросил в огонь свою гадкую картину. Когда холст стал корчиться и свертываться на пылающих углях, тогда там в камине образовалось что-то похожее на горящий дом. Мне стало будто легче, когда сгорела картина. В. Рожа Агасвера испепелилась последняя. Завтра буду говорить с Джорджино. Только — если согласится — признайтесь же, что он ее не любит! Я бы и за царствие небесное не согласился отложить блаженство обладать ею: а я, кажется, верующий христианин, добрый католик!

22 января. Приготовления к свадьбе продолжают. Я еще не мог решиться объяснить. Завтра! А между тем ему с каждым днем труднее будет назад.

23 января. Все кончено... Под выдуманными именами (себя я назвал испанцем Родериго, его — французом Адольфом) пересказал я ему всю нашу историю, выговорил требование испанца и дребезжащим от волнения голосом спросил: «Как поступил Адольф?». — «Адольф, — отвечал Пронский с расстановкою, не сводя с меня унылого взора, — Адольф принужден был, чтоб не показаться подлецом и трусом, двумя днями раньше назначенного обвенчаться с своею невестою». Итак, синьор Пронский, чтоб не показаться чем-нибудь, вы прольете муки ада в грудь того, кого называете своим другом? Напоследок же вы противу меня не правы... и... и... все между нами кончено!

24 января. Вчера, и третьего дня, и всякий раз с приезду нашего, сряжаясь к Горичевым, он приглашал меня с собою. Сегодня мы сидели вместе в его кабинете: ему, видимо, было что-то неловко; он встал, взял шляпу и, дошед до дверей, надевая уже шубу, вдруг будто что-то вспомнил, оглянулся и спросил: «Amico mio¹, пойдешь ли со мною? иду к Горичевым». В другие раза я почти всегда отказывался, но тут, не отвечая ни слова, отправился вслед за ним и провел у них весь вечер. Он обходился с нею во все время с нежностью, но осторожно, как будто опасался раздражить меня. Напротив, она была с ним необыкновенно ласковою, ласкалась к его матери, сажалась рядом с ним, сжимала ему руки и при-

¹ Друг мой (ит.).

том быстро и смело на меня взглядывала... *Согро di Vassol*¹ она надо мной издевается! Не пришлось бы только раскаться, не пришлось бы только ей оплакивать свое безвременное торжество?..

25 января. После моего рассказа про Родериго и Адольфа у меня есть по крайней мере какая-нибудь причина завязать с ним ссору, хоть вроде тех, что французы называют *querelles d'Allemand*². Но чем же ссора и дуэль лучше того, что бродит в душе моей? Дуэль не то же ли убийство? В моих глазах даже разбойник, который зарежет путешественника, чтоб обобрать его, менее виновен поединщика. Разбойнику хоть то служит кое в какое извинение, что решается на дело кровавое, почти всегда увлеченный крайностию: нужда, голод, дурное воспитание, сила пагубных примеров, озлобление, загрубелость души, отчаяние — вот что объясняет злодеяния разбойника; тут по крайней мере есть какая-то логика, что-то понятное. Но принадлежать к высшим слоям общества, мастерски владеть собою, когда того требует тщеславие, не увлекаться страстями, не быть под увлечением ни мщения, ни корыстолюбия, порою пользоваться и неотъемлемою, на самом деле доказанною славою бестрепетного воина, — а такая слава могла бы же, кажется, дать право пренебречь варварским предрассудком, когда вдобавок стоишь на такой степени просвещения, что можешь судить о всей нелепости этого предрассудка, — нередко еще не по одному крещению, а по убеждению сердца называться христианином, — быть всем этим и между тем (повторяю: не из жажды мщения, напротив, иногда разрываясь от сострадания и скорби) нарушить все законы божии и человеческие, с пистолетом в руке стать в 5 шагах противу того, кого любишь и уважаешь, и застрелить его спокойно, хладнокровно, как бы ты застрелил бешеную собаку... И для чего? для того только, чтобы какой-нибудь дурак или подлец, которого от души презираешь, не мог сказать, что ты не соблюл сумасбродных условий какой-то чести! Не говорите же вы, европейцы, что вы лучше людоедов или что вы не идолопоклонники! Ваш идол, ваш Молох эта чудовищная честь: ей лучший из вас готов при-

¹ Черт побери! (ит.)

² ссора из-за пустяков (фр.).

несть в жертву совесть, душу, самого бога! «Но поединщик смотрит смерти в глаза». А разве не смотрит ей в глаза и разбойник, да еще какой? — мучительной, поношной, на народной площади! Что бы я ни замышлял, а Пронского не вызову на поединок. Если уж губить душу свою, не хочу губить ее так пошло и глупо.

26 января. Теперь я опять бываю счастлив, и счастлив несказанно. Ведь я начинаю жить двойною жизнью: в одной я ненавижу, терзаюсь, мучусь; в другой люблю — и, боже мой! — любим, да еще как любим! пламенно, с самоотвержением, с самозабвением! в этой другой жизни я роскошествую, блаженствую, утопаю, исчезаю, уничтожаюсь в восторгах невыразимого наслаждения! Зато когда очнусь — ад со всеми своими фуриями, со всеми своими пытками в груди моей, изнемогающей и раздавленной.

27 января. Сумасшествие... А как вы думаете, синьоре Малатеста: ведь этим счастливым сумасшедшим можно бы и вашему брату, рассудительному человеку, несколько позавидовать? О! прости мне, мой бедный Филиппо, верный, добрый ты друг моей ненасытной юности! ужели я, неблагодарный, вздумал издеваться над тобою? На коленях, со слезами умоляю: прости мне!

28 января. Послезавтра они венчаются... «To be, Гуильельмо Шекспир,— to be or not to be?»¹ Есть минуты, когда мне кажется, что у меня тут в голове не совсем в порядке. Ночь моя проходит или совсем без сна, или наполненная сновидениями об ней. Бывают изредка и другие, да только страшные: так, напр., недавно я был диким, голодным зверем и грыз другого зверя, а это был — Пронский. Я проснулся от боли: гляжу — левая рука моя вся в крови; я сам изгрыз ее зубами. Днем я везде вижу ее одну. Я ее и теперь, в эту самую минуту, вижу, как будто живую; взгляните: вот она тут, а вот опять там подальше! Хотите ли? расскажу вам малейшую подробность ее наряда!.. Вчера, уже очень поздно, без шляпы, без шубы очнулся я на кладбище: пришел я в себя от холодного прикосновения черепа к губам моим, а ведь мне казалось, что целую ее! Как я попал на кладбище, не знаю. Я взбесился на Пронского, что не зовет

¹ Быть или не быть? (англ.)

меня к Горичевым; потом мне мелькнула мысль: «Отчего мне и одному не сходить к ним? Прежде я ведь к ним хаживал и без Джиорджино». Потом уже ничего не помню, кроме ее ангельского образа, который, впрочем, уж никогда со мною не разлучается. Был ли я у них, нет ли? Верно только то, что я с нею разговаривал, и много, и долго, и дружески... Да только с самою ли с нею, с настоящей, живою Надиной, с гордой невестой Джиорджино Пронского? Или же с милым, прелестным ее двойником, который меня не презирает, не боится, который жалеет меня?.. Если судить по взору ласковому и меланхолическому — он и теперь еще мне видится, или по звуку ее мелодического голоса — он и теперь еще звучит в ушах моих, — это был двойник: сама Надина ведь любит Пронского; она никогда не была и не может быть со мною так ласкова, так ко мне сострадательна. Однако тут точно был Уальдемаро Горич, да и маленькая Вера о чем-то рыдала. С кладбища меня привезли Пронский и мой Бернардо. Пронский сегодня спал в моей комнате: перед рассветом я проснулся — две горячие капли упали мне на руку; Джиорджино стоял на коленях у постели моей, целовал мою руку и плакал. Это все хорошо; он точно славный человек: да только отчего же Адольф не отложил своей свадьбы? Представьте же себе: ведь зверский испанец в самую брачную ночь сожг их! да, сожг Адольфа и Надину в их загородном доме! Это случилось в 1-м льё от Парижа, в 1636-м году, когда во Франции царствовал Луиджи XIII. Испанца колесовали: и прекрасно! Дураки же эти московские варвары, что перестали колесовать испанцев!

29 января. Смейтесь, ради бога! мне сегодня пришла идея самая сумасбродная: я, клянусь вам самим Вельзевулом, я самый, известный вам испанец Родериго, несколько раз уже колесованный и четвертованный за то, что люблю жечь женихов с невестами, — я было сегодня вздумал молиться, как, бывало, маливался дурак Джиованни Колонна, которого скучная история давно уже кончилась. Спасибо, вечный жид и мадам Перепелицына стали выплясывать минуэт à la reine: я расхохотался до упаду и бросил это ребячество. А уж меня никто не разуверит, чтобы нельзя было и в русский мороз согреться при хорошеньком пожаре, особенно когда они... О! я бы разорвал их когтями! Not to be, не так ли, Гуильельмо Шекспир?

31 января. В самую полночь с вчерашнего на сегодняшнее число проживающий на даче графа С... крепостной его человек Андрей Потехин, вышел случайно из дому, увидел зарево по направлению Выборгской дороги. Он немедленно дал об этом знать в часть. Примерная исправность столичной пожарной команды всем известна; но пожар случился в 3 верстах за заставою на даче вдовы генерала от инфантерии Пронского, и, когда приспели трубы, было уже поздно. Прекрасный дом г-жи Пронской сгорел, а, к несчастью, в нем соделались жертвою пламени единственный ее сын, отставной гвардии ротмистр Пронский, и молодая ее невестка, урожденная Горич, которые в этот самый день только что сочетались браком. Полиция схватила близ самого дома проживавшего в доме Пронских римского подданного Ивана Колонну. Собственное его признание не оставляет никакого сомнения, что он был злоумышленным виновником этого страшного преступления. Кроме несчастных Пронских, погибла крепостная их девка Настасья Кравченко; все прочие спасены.

3 февраля. Сегодня скончалась в С.-Петербурге в собственном своем доме на Английской набережной всеми уважаемая за редкие свои добродетели вдова покойного генерала от инфантерии Льва Петровича Пронского Аграфена Яковлевна, урожденная княжна Сицкая.



А. И. ОДОЕВСКИЙ

БАЛ

Открылся бал. Кружась, летели
Четы молодые за четой;
Одежды роскошью блестели,
А лица — свежей красотой.
Усталый, из толпы я скрылся
И, жаркую склоня главу,
К окну в раздумье прислонился
И загляделся на Неву.
Она поконлась, дремала
В своих гранитных берегах,
И в тихих, серебряных водах
Луна, купаясь, трепетала.
Стоял я долго. Зал гремел...
Вдруг без размера полетел
За звуком звук. Я оглянулся,
Вперил глаза; весь содрогнулся;
Мороз по телу пробежал.
Свет меркнул... Весь огромный зал
Был полон остовов... Четами.
Сплетясь, толпясь, друг друга мча,
Обнявшись желтыми костями,
Кружась, по полу стуча,
Они зал быстро облетали.
Лиц прелесть, станов красота —
С костей их — все покровы спали.

Одно осталось, их уста,
Как прежде, всё еще смеялись;
Но одинаков был у всех,
Широких уст безгласный смех.
Глаза мои в толпе терялись,
Я никого не видел в ней:
Все были сходны, все смешались,..
Плясало сборище костей.

1825

УТРО

Рассвело, щебечут птицы
Под окном моей темницы;
Как на воле любо им!
Пред тюрьмой поют, порхают,
Ясный воздух рассекают
Резвым крылышком своим.
Птицы! Как вам петь не стыдно,
Вы смеетесь надо мной.
Ах! теперь мне всё завидно,
Даже то завидно мне,
Что и снег на сей стене,
Застилая камень мшистый,
Не совсем его покрыл.
Кто ж меня всего зарыл?
Выду ли на воздух чистый —
Я, как дышат им, забыл.

Начало 1826(?)

СОН ПОЭТА

Таится звук в безмолвной лире,
Как искра в темных облаках;
И песнь, неизвестную в мире,
Я вылью в огненных словах.
В темнице есть певец народный.
Но — не поет для суеты:
Срывает он душой свободной
Небес бессмертные цветы;

Но, похвалою не обольщенный,
Не ищет раннего венца.—
Почтите сон его священный,
Как пред борьбою сон борца.

*Между июлем 1826 и февралем 1827
Петропавловская крепость*

* * *

Тебя ли не помнить? Пока я дышу,
Тебя и погибшей вовек не забуду.
Дороже ты в скорби и сумраке бурь,
Чем мир остальной при сиянии солнца.
Будь вольной, великой и славой греми,
Будь цветом земли и жемчужиной моря,
И я просветлею, чело вознесу,
Но сердце тебя не сильнее полюбит:
В цепях и крови ты дороже сынам,
В сердцах их от скорби любовь возрастает,
И с каждою каплею крови твоей
Пьют чада любовь из живительных персей.

1827 или 1828(?)

ДЕВА 1610 ГОДА

(К «Василию Шуйскому»)

Явилась мне божественная дева;
Зеленый лавр вился в ее власах;
Слова любви, и жалости, и гнева
У ней дрожали на устах:

«Я вам чужда; меня вы позабыли,
Отвыкли вы от красоты моей,
Но в сердце вы навек ли потушили
Святое пламя древних дней?»

О русские! Я вам была родная:
Дышала я в отечестве славян,
И за меня стояла Русь святая,
И юный пел меня Боян.

Прошли века. Россия задремала,
Но тягостный был прерываем сон;
И часто я с восторгом низлетала
На вещий колокола звон.

Моголов бич нагрянул: искаженный
Стенал во прах поверженный народ,
И цепь свою, к неволе приученный,
Передавал из рода в род.

Татарин пал; но рабские уставы
Народ почел святою стариной.
У ног князей, своей не помня славы,
Забыл он даже образ мой.

Где ж русские? Где предков дух и сила?
Развеяна и самая молва,
Пожрала их нещадная могила,
И стерлись надписи слова.

Без чувств любви, без красоты, без жизни
Сыны славян, полмира мертвецов,
Моей не слышат укоризны
От оглушающих оков.

Безумный взор возводят и молитву
Постыдную возносят к небесам,
Пора, пора начать святую битву —
К мечам! за родину к мечам!

Да смолкнет бич, лиющий кровь родную!
Да вспыхнет бой! К мечам с восходом дня!
Но где ж мечи за родину святую,
За Русь, за славу, за меня?

Сверкает меч, и падают герои,
Но не за Русь, а за тиранов честь.
Когда ж, когда мои нагрянут строи
Исполнить вековую месть?

Что медлишь ты? Из западного мира,
Где я дышу, где царствую одна,
И где давно кровавая порфира
С богов неправды сорвана,

Где рабства нет, но братья, но граждане
Боготворят божественность мою
И тысячи, как волны в океане,
Слились в единую семью,—

Из стран моих, и вольных, и счастливых,
К тебе, на твой я прилетела зов
Узреть чело сармат волелюбивых
И внять стенаниям рабов.

Но я твое исполнила призванье,
Но сердцем и одним я дорожу,
И на души высокое желанье
Благословенье низвожу».

Между 1827 и 1830(?)

ТРИЗНА

Ф. Ф. Вагковскому

Утихнул бой Гафурский. По волнам
Летят изгнанники отчизны.
Они, пристав к Исландии брегам,
Убитым в честь готовят тризны.
Златится мед, играет меч с мечом...
Обряд исполнили священный,
И мрачные воссели пред холмом
И внемлют арфе вдохновенной.

Скальд

Утешьтесь о павших! Они в облаках
Пьют юных Валкирий живые лобзанья.
Их чела цветут на небесных пирах,
Над прахом костей расцветает преданье.
Утешьтесь! За павших ваш меч отомстит.
И где б ни потухнул наш пламенный жизни,
Пусть доблестный дух до могилы кипит,
Как чаша заздравная в память отчизны.

1828

Чита

УМИРАЮЩИЙ ХУДОЖНИК

Все впечатленья в звук и цвет
И слово стройное теснились,
И музы юношей гордились
И говорили: «Он поэт!..»
Но, нет,— едва лучи денницы
Моей коснулись зеницы —
И свет во взорах потемнел;
Плод жизни свеян недоспелый!
Нет! Снов небесных кистью смелой
Одушевить я не успел;
Глас песни, мною недопетой,
Не дозвучит в земных струнах,
И я — в нетление одетый —
Ее дослышу в небесах.
Но на земле, где в чистый пламень
Огня души я не излил,
Я умер весь... И грубый камень,
Обычный кров немых могил,
На череп мой остывший ляжет
И соплеменнику не скажет,
Что рано выпала из рук
Едва настроенная лира,
И не успел я в стройный звук
Излить красу и стройность мира.

1828

Чита

* * *

Струн вещей пламенные звуки
До слуха нашего дошли,
К мечам рванулись наши руки,
И — лишь оковы обрели.

Но будь покоен, бард! — цепями,
Своей судьбой гордимся мы,
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями.

Наш скорбный труд не пропадет,
Из искры возгорится пламя,

И просвещенный наш народ
Сберется под святое знамя.

Мечи скуем мы из цепей
И пламя вновь зажжем свободы!
Она нагрянет на царей,
И радостно вздохнут народы!

Конец 1828 или начало 1829(?)
Чита

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА

Промелькнул за годом год,
И за цепью дней минувших
Улетел надежд блеснувших
Лучезарный хоровод.
Лишь одна из дев воздушных
Запоздала. Сладкий взор,
Легкий шепот уст радушных,
Твой небесный разговор
Внятны мне. Тебе охотно
Я вверяюсь всей душой!
Тихо плавай надо мной,
Плавай, друг мой неотлетный!
Все исчезли. Ты одна
Наяву, во время сна
Навеваешь утешенье.
Ты в залог осталась мне,
Заверяя, что оне
Не случайное виденье,
Что приснятся и другим
И зажгут лучом своим
Дум высоких вдохновенье!

1829
Чита

УЗНИЦА ВОСТОКА

Как много сильных впечатлений
Еще душе недостает!

В тюрьме минула жизнь мгновений,
И медлен, и тяжел полет
Души моей, не обновленной
Явлений новых красотой
И дней темничных чередой,
Без снов любимых, усыпленной.
Прошли мгновенья бытия,
И на земле настала вечность.
Однообразна жизнь моя,
Как океана бесконечность.
Но он кипит... свои главы
Подъемлет он на вызов бури,
То отражает свод лазури
Бездонным сводом синевы,
Пылает в заревах, кровавый
Он брани пожирает след,
Шумя в ответ на громы славы
И клики радостных побед.
Но мысль моя — едва живая —
Течет, в себе не отражая
Великих мира перемен;
Все прежний мир она объемлет,
И за оградой душевных стен —
Востока узница — не внемлет
Восторгам западных племен.

1829

Чита

ЭЛЕГИЯ НА СМЕРТЬ А. С. ГРИБОЕДОВА

Где он? Кого о нем спросить?
Где дух? Где прах?.. В краю далеком!
О, дайте горьких слез потоком
Его могилу оросить,
Ее согреть моим дыханьем;
Я с ненасытимым страданьем
Вопьюсь очами в прах его,
Исполнюсь весь моей утратой,
И горсть земли, с могилы взятой,
Прижму — как друга моего!
Как друга!.. Он смешался с нею,
И вся она родная мне.

Я там один с тоской моею,
В ненарушимой тишине,
Предамся всей порывной силе
Моей любви, любви святой,
И прирасту к его могиле,
Могила памятник живой...

Но под иными небесами
Он и погиб, и погребен;
А я — в темнице! Из-за стен
Напрасно рвуся я мечтами:
Они меня не унесут,
И капли слез с горячей вежды
К нему на дерн не упадут.
Я в узах был; — но тень надежды
Взглянуть на взор его очей,
Взглянуть, сжать руку, звук речей
Услышать на одно мгновение —
Живило грудь, как вдохновение,
Восторгом наполнило меня!
Не изменилось заточенье;
Но от надежд, как от огня,
Остались только — дым и тленье;
Они — мне огонь: уже давно
Все жгут, к чему ни прикоснутся;
Что год, что день, то связи рвутся,
И мне, мне даже не дано
В темнице призраки лелеять,
Забиться миг веселым сном
И грусть сердечную развеять
Мечтанья радужным крылом.

1829

Чита

ЭЛЕГИЯ

Что вы печальны, дети снов,
Летучей жизни привиденья?
Как хороводы облаков,
С небес, по воле дуновенья,
Летят и тают в вышине,
Следов нигде не оставляя,

Равно в подоблачной стране
Неслися вы!.. Едва мелькая,
Едва касаяся земли,
Вы мира мрачные печали,
Все бури сердца миновали
И безыменно протекли.
Вы и пылинки за собою
В течение дней не увлекли,
И безотчетною стопою,
Пути взметая легкий прах,
Следов не врезали в граните
И не оставили в сердцах.
Зачем же вы назад глядите
На путь пройденный? Нет для вас
Ни горьких дум, ни утешений;
Минула жизнь без потрясений,
Огонь без пламени погас.

Кто был рожден для вдохновений
И мир в себе очаровал,
Но с юных лет пил желчь мучений
И в гробе заживо лежал;
Кто ядом облит был холодным
И с разрушительной тоской
Еще пылал огнем бесплодным,
И порывался в мир душой,
Но порывался из могилы...
Тот жил! Он духом был борец:
Он, искусив все жизни силы,
Стяжал страдальческий венец;
Он может бросить взор обратный
И на минувший, темный путь
С улыбкой горькою взглянуть.

Кто жаждал жизни всеобъемной,
Но чей стеснительный обзор
Был ограничен цепью гор,
Темницей вокруг его темницы;
Кто жаждал снов, как ждут друзей,
И проклинал восход денницы,
Когда от розовых лучей
Виденья легкие ночей
Толпой воздушной улетали,
И он темницу озираал

И к ним объятья простираю,
К сим утешителям печали;
Кто с миром связь еще хранил,
Но не на радость, а мученье,
Чтобы из света в заточенье
Любимый голос доходил,
Как по умершим стон прощальный,—
Чтобы утратам слух внимал
И отзыв песни погребальной
В тюрьму свободно проникал;
Кто прелесть всю воспоминаний,
Святыню чувства, мир мечтаний,
Порывы всех душевных сил,
Всю жизнь в любимом взоре слил,
И, небесам во всем покорный,
Просил в молитвах одного:
От друга вести животворной;
И кто узнал, что нет его,—
Тот мог спросить у провиденья,
Зачем земли он путник был,
И ангел смерти и забвенья,
Крылом сметая поколенья,
Его коснуться позабыл?

Зачем мучительною тайной
Непостижимый жизни путь
Волнует трепетную грудь?
Как званный гость, или случайный,
Пришел он в этот чудный мир,
Где скудно сердца наслажденье
И скорби с радостью смешенье
Томит, как похоронный пир;
Где нас объемлет разрушенье,
Где колыбель — могилы дань
Развалин цепь — поля и горы;
Где вдохновительные взоры
И уст пленительная ткань
Из гроба в гроб переходили,
Из тлена в жизнь, из жизни в тлен,
И в постепенности времен
Образовались из пыли
Погибших тысячи племен.—
Как тени, исчезают лица
В тебе, обширная гробница!

Но вечен род! Едва слетят
Потомков новых поколенья,
Иные звенья заменят
Из цепи выпавшие звенья;
Младенцы снова расцветут,
Вновь закипит младое племя,
И до могилы жизни бремя,
Как дар без цели, донесут
И сбросят путники земные...
Без цели!.. Кто мне даст ответ?
Но в нас порывы есть святые,
И чувства жар, и мыслей свет,
Высоких мыслей достоянье!..
В лазурь небес восходит зданье:
Оно незримо, каждый день,
Трудами возрастает века;
Но со ступени на ступень
Века возводят человека.

1829

Чита

СТАРИЦА-ПРОРОЧИЦА

На мосту стояла старица,
На мосту чрез синий Волхов;
Подошел в доспехах молодец,
Молвил слово ей с поклоном:
«Загадай ты мне на счастье,
Ворочусь ли через Волхов».
За Шелонью враны каркают,
Плачет в тереме невеста.
«Гой еси ты, красный молодец!
Есть одна теперь невеста,
Есть одна — святая София:
Обручись ты с ней душою,
Уберися честно ранами
И омойся алой кровью.
Обручися ты с невестою;
За Шелонью ляжь костями.
Если ж ты мечом не выроешь
Сердцу вольному могилы,
Не на вече, не на родину,—
А придешь ты на неволю!»

Трубы звучат за Шелонью-рекой:
 Грозно взвывают московские стяги!
 С радостным кликом Софии святой
 Стала дружина — и полный отваги
 Ринулся с берега всадников строй.
 С шумом расхлынулись волны, вскипели;
 Двинулась пена седая грядой.
 Строи смешались, мечи загремели;
 Искрятся молнии с звонких щитов,
 С треском в куски разлетаются брони;
 Кровь потекла... Разъяренные кони
 Грудью сшибают и топчут врагов;
 Стелются трупы на берег Шелони.

.

Кровью дымилось поле; стихал
 В столах прерывных и замер глас битвы.
 Теплой твоей, о София, молитвы
 Спас не услышит... и Новгород пал.

На мосту стояла старица,
 На мосту чрез синий Волхов:
 Не пройдет ли красный молодец
 Чрез широкий синий Волхов?
 Проезжало много всадников,
 Много пеших проходило,
 Было много изувеченных
 И покрытых черной кровью.
 Что ж? прошел ли добрый молодец?..
 Не прошел он через Волхов.

1829
 Чита

КН. М. Н. ВОЛКОНСКОЙ

Был край, слезам и скорби посвященный,
 Восточный край, где розовых зарей
 Луч радостный, на небе том рожденный,
 Не услаждал страдальческих очей;
 Где душен был и воздух вечно сный,
 И узникам кров светлый докучал,
 И весь обзор, обширный и прекрасный,
 Мучительно на волю вызывал.

Вдруг ангелы с лазури низлетели
С отрадою к страдальцам той страны,
Но прежде свой небесный дух одели
В прозрачные земные пелены.
И вестники благие провиденья
Явились, как дочери земли,
И узникам, с улыбкой утешенья,
Любовь и мир душевный принесли.

И каждый день садились у ограды,
И сквозь нее небесные уста
По капле им точили мед отрады...
С тех пор лились в темнице дни, лета;
В затворниках печали все уснули,
И лишь они страшились одного,
Чтоб ангелы на небо не вспорхнули,
Не сбросили покрова своего.

25 декабря 1829

Чита

ЗОСИМА

Новгородская святопись

1

У Борецкой, у посадницы,
Гости сходятся на пир.
Вот бояре новгородские
Сели за дубовый стол,
Стол, накрытый браной скатертью.
Носят брашна; зашипя,
Поседело пиво черное;
Следом золотистый мед
Вон из кубков шумно просится.
Разгулялся пир как пир:
Очи светлые заискрились,—
По краям ли звонких чаш
Ходит пена искрометная? —
На устах душа кипит
И теснится в слово красное.
Кто моложе — слова ждет,
А заводят речь — старейшие

Про святой Софии дом:
«Кто на бога, кто на Новгород?» —
Речь бежала вдоль стола.
«Пусть идет на вольный Новгород
Вся могучая Москва:
Наших сил она отведает! —
Вече воями шумит
И горит заморским золотом.
Крепки наши рамена,
А глава у нас — посадница,
Новогородца жена.
Много лет вдове Борецкогo!
Слава Марфе! Много лет
С нами жить тебе да здравствовать!»
Марфа, кланяясь гостям,
Целый пир обводит взором,
Все встают и отдают
Ей поклон с радушной важностью.
За столом сидел чернец.
Он, привстав, рукою медленной,
Цепенеющим перстом
На пирующих указывал,
Избирал их и бледнел.
Перстами грозный остановится —
Побледнеет светлый гость.
Все уста горят вопросами,
Очи в инока впились;
Но в ответ чернец задумался
И склонил свое чело.

2

По народной Новгородской площади
Шел белец с монахом,
А на башне, заливаясь, колокол
Созывал на вече.

«Отчего, — спросил белец у инока, —
На пиру Борецкой
На бояр рукою ты указывал
И бледнел от страха?

Что, Зосима, видел ты за трапезой?»
У отца святого

Запылали очи, прорицанием
Излетело слово.

3

«Скоро их замолкнут ликованья,
Сменят пир иные пированья,
Пированья в их гробах.
Трупы видел я безглавые,
Топора следы кровавые
Мне виднелись на челах.
Колокол, на вече призывающий!
Я услышу гул твой умирающий,
Не воскреснет он в веках.
Поднялась Москва престольная,
И тебя, столица вольная,
Заметет развалин прах».

1829 или 1830(?)

НЕВЕДОМАЯ СТРАННИЦА

Уже толпа последняя изгнанников
Выходит из родного Новагорода,
Выходит на Московский путь.
В толпе идет неведомая женщина,
Горюет, очи ясные заплаканы,
А слово каждое — любовь,
С небесных уст святое утешение,
Как сок целебный, сходит в душу путников,
В них оживает свет очей.
Вокруг жены толпа теснится, слушает;
Услышит слово — сердце расширяется
И усыпляется печаль.

Уже темнеет небо, путь туманится.
Идут... Но в воздух чудная целебница
С пути подымается, как пар.
Чело звездами светлыми увенчано,
Чем выше, все летучий стан воздушнее
И светозарнее чело.

В тумане с нею над главами странников
Не ангелы, но, как она, небесные,
 Мерцая, медленно плывут.
Плывет она, и с неба слово тихое
Спадает, замирает в слухе путников,
 Не прикасаясь до земли.

«Забыта Русью божия посланница.
Мой дом был предан дыму и мечу,
И я, как вы — земли родной изгнанница —
 Уже в свой город не слечу.

Вас цепи ждут, бичи, темницы тесные;
В страданиях пройдет за годом год.
Но пусть мои три дочери небесные
 Утешат бедный мой народ.

Нет, веруйте в земное воскресение:
В потомках ваше племя оживет,
И чад моих святое поколение
 Покроет Русь и процветет».

1829 или 1830(?)

КУТЯ

Грозный злобно потешается
В Белокаменной Москве.

Не в палатах разукрашенных,
Не на сладкий царский пир
Были гости тайно созваны.
Тихо сели вдоль стола,
Вдоль стола белодубового.
Серебро ли — чистый снег
Их окладистые бороды;
Их маститое чело
С давних лет не улыбается;
Помутился светлый взор.
У радушного хозяина
Братья кровные в гостях:
Новгородские изгнанники.

Чем он братьев угостит?
Нет, не сахарными яствами,
Не шипучим медом солнечным
Угостил он изгнанных семью.
Прошептали песнь отходную
В память павших в Нове́городе,
И на стол поставил он кутью.

Грозный злобно потешается
В Белокаменной Москве.
В небе тихо молит София
О разметанных сынах.

1829 или 1830(?)

* * *

Что за кочевья чернеются
Средь пылающих огней? —
Идут под затворы молодцы
За святую Русь.
За святую Русь неволя и казни —
Радость и слава!
Весело ляжем живые
За святую Русь.

Дикие кони стреножены,
Дремлет дикий их пастух;
В юртах засыпая, узники
Видят Русь во сне.
За святую Русь неволя и казни —
Радость и слава!
Весело ляжем живые
За святую Русь.

Шепчут деревья над юртами,
Стража окликает страж, —
Вещий голос сонным слышится
С родины святой.
За святую Русь неволя и казни —
Радость и слава!
Весело ляжем живые
За святую Русь.

Зыблется светом объятая
Сосен цепь над рядом юрт.
Звезды светлы, как видения,
Под навесом юрт.
За святую Русь неволя и казни —
Радость и слава!
Весело ляжем живые
За святую Русь.

Спите, <равнины> угрюмые!
Вы забыли, как поют.
Пробудитесь!.. Песни вольные
Оглашают вас.
Славим нашу Русь, в неволе поем
Вольность святую.
Весело ляжем живые
В могилу за святую Русь.

Август 1830

СЛАВЯНСКИЕ ДЕВЫ

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ. СЛАВЯНСКИЕ ДЕВЫ

Нежны и быстры ваши напевы!
Что ж не поете, ляхские девы,
В лад ударяя легкой стопой?
Сербские девы! песни простые
Любите петь; но чувства живые
В диком напеве блещут красой.

Кто же напевы чехинь услышит,
Звучные песни сладостных дев,—
Дышит любовью, славою дышит,
Помня всю жизнь и песнь и напев.
Девы! согласно что не поете
Песни святой минувших времен,
В голос единый что не сольете
Всех голосов славянских племен?

Боже! когда же сольются потоки
В реку одну, как источник один?
Да потечет сей поток-исполн,

Ясный, как небо, как море широкий,
И, увлажая полмира собой,
Землю украсит могучей красой!

ПЕСНЬ ВТОРАЯ. СТАРШАЯ ДЕВА

Старшая дочь в семействе Славяна
Всех превзошла величием стана;
Славой гремит, но грустно поет.
В тереме дни проводит, как ночи,
Бледно чело, заплаканы очи,
И заунывно песни поет.

Что же не выйдешь в чистое поле,
Не разгуляешь грусти своей?
Светло душе на солнышке-воле!
Сердцу тепло от ясных лучей!
В поле спеши с меньшими сестрами —
И хоровод веди за собой!
Дружно сплетая руки с руками,
Сладкую песню с ними запой!

Боже! когда же сольются потоки
В реку одну, как источник один?
Да течет сей поток-исполин,
Ясный как небо, как море широкий,
И, увлажая полмира собой,
Землю украсит могучей красой!

1830(?)

ДВА ОБРАЗА

Мне в ранней юности два образа предстали
И, вечно ясные, над сумрачным путем
Слились в созвездие, светились сквозь печали
И согревали дух живительным лучом.

Я возносился к ним с молитвой благодарной,
Следил их мирный свет и жаждал их огня,
И каждая черта красы их светозарной
Запала в душу мне и врезалась в меня.

Я мира не узнал в отливе их сиянья —
Казалось, предо мной открылся мир чудес;
Он их лучами цвел; и блеск всего созданья
Был ответ образов, светивших мне с небес.

И жаждал я на все пролить их вдохновенье,
Блестящий ими путь сквозь бури провести...
Я в море бросился, и бурное волненье
Пловца умчало вдаль по шумному пути.

Светились две звезды, я видел их сквозь тучи;
Я ими взор поил; но встал девятый вал,
На влажную главу подъял меня могучий,
Меня, недвижимого, понес он и примчал,—

И с пеной выбросил в могильную пустыню...
Что шаг — то гроб, на жизнь — ответной жизни
нет;

Но я еще хранил души моей святыню,
Заветных образов небесный огонь и свет!

Что искрилось в душе, что из души теснилось,—
Все было их огнем! их луч меня живил;
Но небо надо мной померкло и спустилось —
И пали две звезды на камни двух могил...

Они рассыпались! они смешались с прахом!
Где образы? Их нет! Я каждую черту
Ловлю, храню в душе и с нежностью и страхом,
Но не могу их слить в живую полноту.

Кто силу воскресит потухших впечатлений
И в образы сведет несвязные черты?
Ловлю все призраки летучих сновидений —
Но в них божественной не блещет красоты.

И только в памяти, как на плитах могилы,
Два имени горят! Когда я их прочту,
Как струны задрожат все жизненные силы,
И вспомню я сквозь сон всю мира красоту!

1830(?)

Недвижимы, как мертвые в гробах,
Невольно мы в болезненных сердцах
Хороним чувств привычные порывы;
Но их объял еще не вечный сон,
Еще струна издаст бывалый звон,
Она дрожит — еще мы живы!

Едва дошел с далеких берегов
Небесный звук спадающих оков
И вздрогнули в сердцах живые струны,—
Все чувства вдруг в созвучие слились...
Нет, струны в них еще не порвались!
Еще, друзья, мы сердцем юны!

И в ком оно от чувств не задрожит?
Вы слышите: на Висле брань кипит! —
Там с Русью лях воюет за свободу
И в шуме битв поет за упокой
Несчастных жертв, проливших луч святой
В спасенье русскому народу.

Мы братья их!.. Святые имена
Еще горят в душе: она полна
Их образов, и мыслей, и страданий.
В их имени таится чудный звук:
В нас будит он всю грусть минувших мук,
Всю цепь возвышенных мечтаний.

Нет! В нас еще не гаснут их мечты.
У нас в сердца их врезаны черты,
Как имена в надгробный камень.
Лишь вспыхнет огонь во глубине сердец,
Пять жертв встают пред нами; как венец,
Вкруг выи вьется синий пламень.

Сей огонь пожжет чело их палачей,
Когда пред суд властителя царей
И палачи и жертвы станут рядом...
Да судит бог!.. А нас, мои друзья,
Пускай утешит мирная кутя
Своим таинственным обрядом.

13 июля 1831
Петровский завод

По дороге столбовой
Колокольчик заливается;
Что не парень удалой
Чистым снегом опускается?
Нет, а ласточка летит —
По дороге красна девица.
Мчатся кони... От копыт
Вьется легкая метелица.

Кроясь в пухе соболей,
Вся душою в даль уносится;
Из задумчивых очей
Капля слез за каплей просится:
Грустно ей... Родная мать
Тужит тѹгою сердечною;
Больно душу оторвать
От души разлукой вечною.

Сердцу горе суждено,
Сердце надвое не делится,—
Разрывается оно...
Дальний путь пред нею стелется.
Но зачем в степную даль
Свет-душа стремится взорами?
Ждет и там ее печаль
За железными затворами.

«С другом любо и в тюрьме! —
В думе мыслит красна девица.—
Свет он мне в могильной тьме...
Встань, неси меня, метелица!
Занеси в его тюрьму...
Пусть, как птичка домовитая,
Прилечу я — и к нему
Притаюсь, людьми забытая!»

*Сентябрь 1831(?)
Петровский завод*

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЬ

Спи, мой младенец,
Милый мой Атий,
Сладко усни!
Пусть к изголовью
Ангел-хранитель
Тихо слетит.

Вот он, незримый,
Люльку качает,
Крылышком мирный
Сон навевает.

Атий, мой Атий
Веянье крыльев
Слышит сквозь сон;
Сладко он дышит,
Сладкой улыбкой
Вскрылись уста.

Ангел-хранитель
Люльку качает,
Крылышком тихо
Сон навевает.

Когда же ты, младенец, возъюнеешь,
Окрепнешь телом и душой
И вступишь в мир и мыслию созреешь,
Блеснешь взмужавшей красотой,—
Тогда к тебе сойдет другой хранитель,
Твой соименный в небесах!
Сей сын земли был вечный небожитель!
Он сводит небо в чудных снах!
С любовью на тебя свой ясный взор он склонит,
И на тебя дохнет, и в душу огонь заронит!
И очи с трепетом увидят, как в венец
Вкруг выи синий пламень вьется,
И вспомнишь ты земной его конец,
И грудь твоя невольно содрогнется!
Но он, даруя цель земному бытию,
По верному пути стопы твои направит,
Благословит на жизнь, и нет — не смерть свою,
Но только жизнь в завет тебе оставит.

2 июля 1832
Петровский завод

* * *

Ты знаешь их, кого я так любил,
С кем черную годину я делил...
Ты знаешь их! Как я, ты жал им руку
И передал мне дружный разговор,
Душе моей знакомый с давних пор;
И я опять внимал родному звуку,
Казалось, был на родине моей,
Опять в кругу союзников-друзей.

Так путники идут на богомолье
Сквозь огненно-песчаный океан,
И пальмы тень, студеной вод приволье
Манят их в даль... лишь сладостный обман
Чарует их; но их бодрят силы,
И далее проходит караван,
Забыв про зной пылающей могилы.

3 октября 1836
Ишим

* * *

Как я давно поэзию оставил!
Я так ее любил! Я черпал в ней
Все радости, усладу скорбных дней,
Когда в снегах пустынных мир я славил,
Его красу и стройность вечных дел,
Господних дел, грядущих к высшей цели
На небе, где мне звезды не яснили,
И на земле, где в узах я коснел,
Я тихо пел пути живого бога
И всей душой его благодарил,
Как ни темна была моя дорога,
Как ни терял я свежесть юных сил...
В поэзии, в глаголах провиденья,
Всепреданный, искал я утешенья —
Живой воды источник я нашел!
Поэзия! — не божий ли глагол,
И пеньем птиц, и бурями воспетый,
То в радугу, то в молнию одетый,

И в цвет полей, и в звездный хоровод,
В порывы туч, и в глубь бездонных вод,
Единый ввек и вечно разнозвучный!
О друг, со мной в печалях неразлучный,
Поэзия! слети и мне повеи
Опять твоим божественным дыханьем!
Мой верный друг! когда одним страданьем
Я мерил дни, считал часы ночей,—
Бывало, кто приникнет к изголовью
И шепчет мне, делит меня любовью
И сладостью возвышенных речей?
Слетала ты, мой ангел-утешитель!
Пусть друг сует, столиц животный житель,
Глотая пыль и прозу мостовой,
Небесная, смеется над тобой!
Пусть наш Протей Брамбеус, твой гонитель,
Пути ума усыпав остротой,
Катается по прозе вечно гладкой
И сеет слух, что век проходит твой!
Не знает он поэзии святой,
Поэзии страдательной и сладкой!
В дни черные не нежил твой напев
Его души; его понятен гнев:
Твой райский цвет с его дыханьем вянет,
И на тебя ль одну? — на все, на всех
Он с горя мечет судорожный смех —
Кроит живых, у мертвых жилы тянет.
Он не росу небес, но яд земли —
Злословье льет, как демон, от бессилья;
Не в небесах следит он орли крылья,
Но только тень их ловит он в пыли,
И только прах несет нам в дар коварный —
Святой Руси приемыш благодарной!
Но нет! в пылу заносчивых страстей
Не убедит причудливый Протей,
Что час пробил свершать по музам тризны,
Что песнь души — игрушка для детей,
И царствует одна лишь проза жизни.
Но в жизни есть минуты, где от мук
Сожмется грудь, и сердцу не до прозы,
Теснится вздох в могучий, чудный звук,
И дрожь бежит, и градом льются слезы...
Мучительный, небесный миг! Поэт
В свой тесный стих вдыхает жизнь и вечность,

Как сам господь вдохнул в свой божий свет —
В конечный мир — всю духа бесконечность.

Когда шутя наш Менцель лепит воск
И под ногой свой идеал находит,
Бальзака враг, его же лживый лоск
На чуждый нам, наборный слог наводит,—
Поэт горит! из глубины горнил
Текут стихи,— их плавит вдохновенье;
В них дышит мысль, порыв бессмертных сил —
Души творца невольное творенье!

Конец 1836 или начало 1837(?)

* * *

Куда несетесь вы, крылатые станицы?
В страну ль, где на горах шумит лавровый лес,
Где реют радостно могучие орлицы
И тонут в синеве пылающих небес?
И мы — на Юг! Туда, где яхонт неба рдеет
И где гнездо из роз себе природа вьет,
И нас, и нас далекий путь влечет...
Но солнце там души не обогреет
И свежий мирт чела не обовьет.

Пора отдать себя и смерти и забвенью!
Но тем ли, после бурь, нам будет смерть красна,
Что нас не Севера угрюмая сосна,
А южный кипарис своей покроет тенью?
И что не мерзлый ров, не снеговой увал
Нас мирно подарят последним новосельем;
Но кровью жаркою обрызганный чакал
Гостей бездомный прах разбросит по ущельям.

Октябрь — декабрь(?) 1837

* * *

Как носятся тучи за ветром осенним,
Я мыслью ношусь за тобою,—
А встречу — забьется в груди ретивое,
Как лист запоздалый на ветке.

Хотел бы — как небо в глубь синего моря
Смотреть и смотреть тебе в очи,
Приветливой речи, как песни родимой,
В изгнании хотел бы послушать!

Но света в пространстве падучей звездою
Мелькнешь, ненаглядная, мимо,—
И снова не видно, и снова тоскую,
Усталой душой сиротея...



Г. С. ПАТЕНЬКОВ

УЗНИК

Не знаю, сколько долгих лет
Провел в гробу моей темницы...
Был гордый дух вольнее птицы,
Стремящей в небо свой полет.

Вчера, в четверг,
Мой ум померк,
Я к горлу гвоздь приставил ржавый,
Творец мольбы мои отверг —
Вершись же смело, пир кровавый!

Не довелось:
Земная ось
Качнулась с силою чрезмерной,
Все затряслось,
И выпал гвоздь
Из длани слабой и неверной.

Качаюсь в каменном мешке —
Дитя в уютной колыбели...
Смеюсь в неистовом весельи
И плачу в горестной тоске.

Час предрассветный. На исходе
Угарной ночи кошмар.

Нет, не погас душевный жар
Во мне, несчастном сумасброде!

Стихами пухнет голова.
Я отыскал свой гвоздь любимый
И на стене неумолимой
Пишу заветные слова:

«И слез и радости свидетель,
Тяжелый камень на пути.
Мой гроб и колыбель, прости:
Я слышу скрип могильных петель».

Но нет же, нет!
К чему сей бред?
Еще мне жить, дожидаться воли!
Десятки лет
И сотни бед
Мне суждены в земной юдоли...

Небес лазурь
Душевных бурь
Тщета затмила в день весенний.
Чела высокого не хмурь,
Мой падший гений!..
Падший гений...

.
Светлеет небо над Невой.
Авроры луч зажегся алый,
А где-то в камере глухой
Томится узник одичалый.

20—40-е годы

ИСХОД

1

Раскатов громовых свирепость
Земле крушением грозит,
Но П<етро> — Павловская крепость
Все так же над Невой стоит.
Ее не разрушают грозы,

Ее не прожигают слезы;
И песни, сложенные мной,
Суть те же узники немые,
Жильцы тюрьмы полуживые,
Стенящие во тьме ночной.

2

Из сердца исторженны звуки
Коснутся ли иных сердец?
Поймут ли ближние те муки,
От коих возрыдал певец?
Или при жизни погребенный,
В летах цветущих отрешенный
И от родных и от друзей,
Забыт он вами в тяжелой доле
И одинокий в сей юдоли
Он доживет остаток дней?

3

Быть по сему. Не жалость друга
Страдальца в горе усладит.
Одна лишь смерть, его подруга,
Конец мучениям сулит.
Как тлен, падут тогда оковы,
И сняв с главы венец терновый,
Ее приосенив крилом,
Покойно ангел смерти взглянет
В глаза усопшему и станет
Смыкать их бережно перстом.

4

О сладости сего мгновенья
Надлежит узнику мечтать;
Пить воду из реки забвенья,
В ея прохладе забывать
О жизни сей палящем зное;
Спешу не ведая покоя
К твоим, о Лета! берегам.
Как класу — солнце золотое,
Как птицам — утро голубое,—
Да снидет сон моим очам!

Так пел — и все переменялось,
 Возвысил дух святыи восторг,
 И сонмы дивных звуков, мнилось,
 Он из груди моеи исторг.
 Темницы нет, во прах твердыня!
 Одна любовь, одна святыня,
 Святыя слава тихий свет...
 И нет томленья, ни страданья,
 И нет ни казней, ни изгнанья,
 И узников печальных нет!..

20—40-е годы

РАЗДУМЬЕ

Сижу задумчив у окна.
 В неосвященные покои
 Ко мне с небес глядит луна;
 Искрятся блестками обои
 На стенах моего жилья...
 Не в царстве ли волшебном я?

И ночь морозная, и горы,
 И снегом занесенный лес,
 И вечный звездный свод небес —
 Все, все мои ласкает взоры:
 Прекрасен мир, явленный мне
 Картиной чудною в окне...

Но не восторг душой владеет,
 Немая грусть ее томит.
 Огонь священный не горит,
 А тихо теплится и тлеет,
 И вдохновенья не вдохнуть
 В мою бестрепетную грудь.

В тюрьме провел я много лет,
 С единым пребывая богом...
 Почто ж опять я вышел в свет,
 К людским заботам и тревогам? —
 Не лучше ль было жить вдали
 От горестных сынов земли?

Их всех не стало предо мною
В единый миг. Их миру чужд,
От общих отрешенный нужд,
Я жизнью уж дышал иною —
Свободен был, сочтя, что связь
С людьми навеки прервалась.

О днях бывшего заточенья
Пора настала пожалеть...
Мне б муки прежние терпеть,
Лишь только б слово откровенья,
Как в оны дни, звучало вновь,
И как тогда, вскипала б кровь!

А здесь, на воле, силы духа
Заснули безмятежным сном,
Синая не грохочет гром,
Не будит дремлющего слуха:
Оцепенел! — Так подо льдом
Зимою цепенеет Томь.

Что ж, я ведь, с вашего согласия,
Седого Севера дитя;
И в том богатство вижу я,
В чем вы — тоску единобразья.
Так пусть меня объемлет ширь
Твоя, красавица Сибирь!

Помыслив о друзьях далеких,
Гляжу на точки звезд высоких.
Меж нами тьма, меж ими тьма.
И здесь зима, и там зима...

1854

NON EXEGI MONUMENTUM

Себе я не воздвиг литого монумента,
Который бы затмил великость пирамид;
Неясный облик мой изустная легенда
В народной памяти едва ли сохранит.

Но весь я не умру: неведомый потомок
В пыли минувшего разыщет стертый след
И скажет: «Жил поэт, чей голос был негромок,
А все дошел до нас сквозь толщу многих лет».

Узнают обо мне в России необъятной
Лишь те безумцы, чей мне сродствен странный
дух.

Ни славой, ни молвой стоустой и превратной
Не отзовется вдруг прошелестевший слух.

О чем сей слух? О том, что, в сумрачной Сибири
Влача свой долгий век, я истину искал,
Что был я одинок, но счастлив в этом мире
И в дни душевных гроз стихи свои слагал.

О Муза! Не гордись тяжелым вдохновеньем
Вошедшего в твой храм угрюмого жреца:
Снискать не суждено его песнотвореньям
Вечнозеленый лавр для твоего венца.

1856

* * *

Утром уеду отсюда.
Ждут меня новых скитаний дороги...
Это судьба иль причуда —
Мыкаться по свету в вечной тревоге,
Тихую пристань минуя?

Слышу твой шепот зловещий,
Ночь одинокая, ночь неживая...
Буду укладывать вещи,
Не торопясь, бормоча и зевая,
Будто старик трехсотлетний.

Берег провижу далекий,
С близкими встречу желанную вскоре.
Кануло в омут глубокий
Лет прожитых перезрелое горе,—
Что ж мне так грустно, не знаю.

1856

МОСКВА

Стены твои, Москва. О, думал ли я, о, гадал ли,
Что на закате своем снова увижу тебя?
Где они, грозные грозы, где они, дальные дали?
Память житейских невзгод, неутоленной печали
Меркнет в твоих лучах, меркнет тревога моя.

Ветер по стогнам твоим листья опавшие гонит,
Волосы тронул мои, ожег сухие глаза.
Слышу: Царь-колокол твой надтреснутым звоном
трезвонит,
Вижу: ядро из Царь-пушки летит высоко в небеса.
Холодно солнцу — сквозь тучи в лужах твоих
отражаться,
Что ж мне так душно и жар пылает в моей голове?
Как я хочу, родная, горячей щекою прижаться
К влажным, студеным главам милых твоих церквей...

Здесь, на просторе твоём, войду я в обитель покоя,
Щелкнет прощально ключ, запирая дубовую дверь.
В эту тяжёлую дверь не постучится бывшее
С болью напрасных надежд и невозвратных потерь.

В сумраке здешних кладбищ таится соблазн избавленья,
Но не от жизни, нет,— от ненужных дел и забот...

1856

НА ПРИЕЗД МОЙ В КАЛУГУ

1

Меня Окою окаймленный
 Град новосельем подарит.
 Легенды старины священной
 Поведать страннику сулит.
 Предаться ль здесь воспоминаньям,
 Иль духу волю дать к мечтаньям,
 Усталый упокоить ум,—
 К тому здесь все располагает:
 Здесь время медленно ступает
 И бытия чуть слышен шум.

Друзья мои! Какой судьбою
 Я б ни был занесен сюда,
 Я рад нисшедшему покою,
 Душа свободна и горда,
 Готов себя в счастливых числить,
 Могу светло и ясно мыслить,
 Стихи слагаются легко,
 Зефир прохладу навевает;
 Скажите: разве что мешает
 Дышать всей грудью глубоко?

Но память пережитых бедствий
 Не престаёт меня тягчить.
 Добра от зла, причин от следствий
 Ни мне, ни вам не отличить!
 Боюсь я: время обратимо,
 Ничто не пролетает мимо,
 Вернется ужас прошлых лет,
 И вновь из мира исторженный,
 Последних радостей лишенный,
 Очнется в крепости поэт.

Есть безнадежность роковая
 В круговращении бытия.
 Умру, с тоскою созная,
 Что вскоре вновь воскресну я.
 Кольцо, кольцо! Символ жестокой!
 Из бездны мрачной и глубокой
 Взлетая к горним небесам,
 Не мните ль вы, друзья любезны,
 Что вы избавились от бездны,
 Что небо благосклонно к вам?

О нет! Обманчивой дугою
 Ваш след прочерчен в вышине,
 А сами силой роковой
 Влечетесь к прежней глубине,

В юдоль зачатых царств подземных,
В могильный мрак твердынь тюремных,
В обитель вздохов и скорбей.
Найти исход в смятении тщитесь
И, проклиная жизнь, страшитесь
Ея бессмысленных затей.

6

Мне знать дано сию науку,
Рассудок ею умудрен.
Род человеческий на муку
Недаром роком обречен.
Глаза издавна приобыкли
Провидеть неизбежность в цикле
Коловращательных премен.
Бежим из тягостного плена,
Спешим от гнилостного тлена,
А завтра: тот же плен и тлен.

7

Власть очарованного круга
И непреложна и крута.
В самом названии: Калуга —
Все та же скрыта круглота.
Меня Окою окаймленный,
Рекою тихой и смиренной,
Град новосельем подарил,
И солнца луч, едва приметный,
Своей улыбкою приветной
Пришельца ласково почтил.

1857

СЕВЕР

1

Сыздетства к Северу любовью
Была полна душа моя.
По дикому его раздолью
В мечтах моих скитался я.
Хотелось с мертвою пустыней

Слить дух, как с некою святыней...
Пути искал я к берегам
Того неведомого моря,
Где мрачных волн, с Бореем споря,
Родится гул, не слышный нам.

2

Сбылось... Я стал островитянин,
Дыханье Норда ощутил.
Но человек непостоянен!
Смятение и упадок сил
Мне были горестным уделом...
Восторга в сердце онемелом
Напрасно б я тогда искал.
Я мрачных волн страшился гула,
Тоска мне душу захлестнула,
Я волю к жизни потерял.

3

Теперь, старик, свое отживший,
На твердой я земле стою.
Шум волн, меня тогда смутивший,
Не внидет в хижину мою.
Но загремит ручей в овраге —
И дрогнет сердце у бедняги:
То, мнится, Севера призрак
Катится мрачною волною,
Грозя дремотному покою
И ужаса являя знак.

4

Пустое! Смолкни, гул тревоги,
Замри в неведомой дали!
В могиле, как медведь в берлоге,
В объятьях матери-земли,
Друзья мои, засну я вскоре.
И что мне северное море? —
Далек его туманный брег.
Я пленник есмь иной стихии,
И в недрах милой мне России
Обрел приют свой и ночлег.

1858

ОТТЕПЕЛЬ В УТКИНЕ

Истаял снег, и под водой
Близ речки оказалась пойма.
Ну впрямь подобие Швартгольма:
Борей и будто шум морской.

Сей остров окружен не морем,
А все, как там, и страшно мне
С забытым вновь спознаться горем.
Хотя бы и в минутном сне.

Есть разгуляться где морозцу
И вод бесчинство поприть.
Пора победу одержать
Седому чудо-полководцу.

1858

* * *

Язык коснеет, кровь холодеет —
К чему бы это, господа?
Уж видно, скоро жизнь дотлеет
И я исчезну без следа.

Был одержим одною страстью —
Служить добру сверх меры сил.
Не знаю, к счастью иль к несчастью
Той жажды я не утолил.

Нам, реформаторам, дай волю —
Добра такого натворим,
Так перепашем жизни поле,
Такую кашу заварим,

Что благодетельные потомки,
Замыслив прежнее вернуть,
Лишь бранны обретут обломки,
Спасенья преградивы путь.

Так, бремя праздности постылой
Меня тягчило поделом.
Меня помянут над могилой
Пусть не добром — а и не злом!

«Великих,— скажут,— сил духовных
Почиет муж под камнем сим:
Не сделал дел, его достойных,
За что его особо чтим!»

Вот, о грядущем раз мечтался,
На миг развеяна тоска,
С дурными мыслями расстался,
Не разрешимыми пока...

Не в тягость вовсе мне безделье,
Не так уж горестно оно...
Забиться б в благодном веселье,
Пить искрометное вино —

...Но кровь холодна, язык коснеет,
К чему бы это, господа?
Эх, видно, скоро жизнь дотлеет
И я исчезну без следа...

1859

ГОРДЫНЯ

1

Не дрогнув, трус в бою кичится
Отвагой бранною своей.
Зла не свершив, добрейшим тщится
Себя представить лиходея.
Изъяны скрыв, урод-сквернавец
Воскликнет: «Чем я не красавец?»
А неудачники в любви?
Чуть улыбнется им удача,
Они, как сплетники, судача,
Восславят подвиги свои.

2

Дружил я с Марсом и Амуром,
Но тем нисколько не горжусь.
Нет безобразья в лице хмуром,
Но и в красавцы не гожусь.

Не грабил по большим дорогам —
Ужели пред людьми и богом
Гордиться сим? Не сим — так чем?
Своим былым долготерпеньем?
Двадцатилетним заточеньем?
О нет, друзья! Горжусь не тем...

3

Но тем горжусь, что в этом мире
Я много мыслил; что подчас,
Седого океана шире,
Мысль к беспредельному неслась.
О, сколько было дум высоких,
Решений важных и глубоких,
Вторжений в тайны бытия!
Кипел мой ум, звяцала лира,
И стройную великость мира
Благословляла песнь моя.

4

Что ж! коли трус отвагой славен,
А душегубец добротой,—
Их жребий моему ль не равен?
Един для всех закон крутой.
Безумен, кто умом гордится,
Кто мыслью мир обнять сей тщится!
Мой помешательство удел.
Потерян смысл, затмились думы,
Безумец жалкий и угрюмый
Заветной песни не допел...

5

Гордыня, сей рычаг опасный,
Все перевернула кверху дном.
Мятется человек злосчастный,
Расстройством бытия гнетом.
Чтоб в мир внести порядок прежний
Иль новый, прежнего надежней,
Порядок мира учредить,—
В сердцах с их трепетным биеньем,
В душах, охваченных волненьем,
Тщеславье должно истребить.

И — с чем остаться? Рек Державин:
 «Я царь, я раб, я червь, я бог!»
 Но кто ж царю и богу равен?
 «Я раб, я червь» — таков итог,
 А с этим мудрено смириться.
 Сколь легче доблестями гордиться,
 И тени коих нет у нас...
 Горжусь, что мыслил в этом мире,
 Что, бурных океанов шире,
 Мысль к беспредельному неслась.

Несокрушимый дух гордыни
 Тщеславью пошлому не брат.
 Я не поставлю их отныне
 В единый ряд, пороков ряд!
 Себя с надутыми глупцами
 Сравнил — что ж общего меж нами?
 Ошибки сей не повторяю...
 Мне не к лицу уничижение!
 Пустых словес прервав течение,
 Да к горним высям воспарю!

Да воспарю!.. — но ах: усталость
 Претит полету в небеса;
 Ум, схоластическую шалость
 Себе позволив, не взвился
 Орлом, но дремлет, обессилев,
 Громам не внимлет, обескрылев:
 С абстрактами неравный бой
 Нас отягчает, утомляет
 И, яко оут, не утоляет
 Духовной жажды в жаркий зной.

Вернись, гордыни славный гений,
 Вернись и силы мне верни,
 И сонм докучливых сомнений,
 Мной овладевших, отжени!
 Провижу область дум высоких,

Решений смелых и глубоких,
Вторжений в тайны бытия!
Мой ожил ум, звяцает лира,
И стройную великость мира
Благословляет песнь моя.

10

Узлы развязаны. Свободу
Мятежный торжествует ум.
Созвучен солнцеву восходу
Всемирна ликования шум.
Смотри! Безбрежный, величавый,
В лучах зари и вечной славы,
Ея сияньем осиян —
Вздымаясь мощными волнами,
Струясь студеными струями,
Гордины рдеет океан...

1860

ПЕСНИ ДОРОЖНЫЕ

1

Колеса подмазаны,
Чемоданы завязаны,
Вальки привязаны,
Все слова сказаны.

Я еду-еду. А куда?
Зачем? Надолго ли? Не знаю.
Мелькнут, как тени, города,
Деревни — всех не сосчитаю.
Лишь пыль дорожная летит,
Да колокольчик мой бренчит,
Да в тучу солнышко садится...
Старик беспечнее юнца!
Он рад до самого конца
По свету без толку кружиться.

2

Колеса подмазаны — и проч.

Прощайте, милые мои!
У вас хлопот по горло... Впрочем,
Напрасно мы, как муравьи,

Всю жизнь усердно так хлопочем.
Не странно ль? — тихий домосед
Захвачен вихрями сует,
А странник сих сует не знает;
Ужель в движении — покой?
Покой, да видите какой:
Его ничто не нарушает.

3

Колеса подмазаны — и проч.

Я разболтался непутем,
Но вы не слышали, и ладно.
Укроюсь поплотней плащом,
Зане становится прохладно.
А лучше бы всего уснуть:
Во сне покойно дышит грудь
И силы ветхие свежают.
И пусть в вечерней вышине,
Как будто в легком полусне,
Мигая звездочки синеют...

* * *

Колеса подмазаны,
Чемоданы завязаны,
Вальки привязаны,
Все слова сказаны.

1862

* * *

12 апреля 1862 г.

Мой близится горестный путь к рубежу,
За коим видна беспредельность,
И яко цевница звяцает мое
К скорбям приобывшее сердце.

Неторной дорогой я шел по земле,
Стремясь к недоступной мне цели,
Но верные блага утратив свои,
Я жизнь презирать научился.

Кто боль испытал невозвратных потерь,
Тот, верно, меня не осудит,
И ты не осудишь, усопший поэт,
Гонимого роком скитальца.

Слепой, наугад, я бреду без тебя,
Но чаю грядущия встречи
С тобою и сонмом великих мужей,
Бессмертным свершеньям причастных.

Недаром цевницей звяцает мое
К скорбям приобывшее сердце:
Над нами и бури ярились вотще,
Над нами и тленье не властно.

1862



И. Д. ЯКУШКИН

ЗАПИСКИ

I

Война 1812 года пробудила народ русский к жизни и составляет важный период в его политическом существовании. Все распоряжения и усилия правительства были бы недостаточны, чтобы изгнать вторгшихся в Россию галлов и с ними двенадцать языцы, если бы народ по-прежнему остался в оцепенении. Не по распоряжению начальства жители при приближении французов удалялись в леса и болота, оставляя свои жилища на сожжение. Не по распоряжению начальства выступило все народонаселение Москвы вместе с армией из древней столицы. По рязанской дороге, направо и налево, поле было покрыто пестрой толпой, и мне теперь еще помнятся слова шедшего около меня солдата: «Ну, слава богу, вся Россия в поход пошла!» В рядах даже между солдатами не было уже бессмысленных орудий; каждый чувствовал, что он призван содействовать в великом деле.

Император Александр, оставивший войско прежде витебского сражения, возвратился к нему в Вильну. Конечно, никогда прежде и никогда после не был он так сближен со своим народом, как в это время, в это время он его любил и уважал. Россия была спасена, но для императора Александра этого было мало; он двинулся за границу со своим войском для освобождения народов от общего их притеснителя. Прусский народ, втоптаный в грязь Наполеоном, первый отозвался на вели-

кодушное призвание императора Александра; все восстало и вооружилось. В 13-м году император Александр перестал быть царем русским и обратился в императора Европы. Подвигаясь вперед с оружием в руках и призывая каждого к свободе, он был прекрасен в Германии; но был еще прекраснее, когда мы пришли в 14-м году в Париж. Тут союзники, как алчные волки, были готовы броситься на павшую Францию. Император Александр спас ее; предоставил даже ей избрать род правления, какой она найдет для себя более удобным, с одним только условием, что Наполеон и никто из его семейства не будет царствовать во Франции. Когда уверили императора, что французы желают иметь Бурбонов, он поставил в неперенную обязанность Людовику XVIII даровать права своему народу, обеспечивающие до некоторой степени его независимость. Хартия Людовика XVIII дала возможность французам продолжать начатое ими дело в 89-м году; в это время республиканец Лагарп мог только радоваться действиям своего царственного питомца.

Пребывание целый год в Германии и потом несколько месяцев в Париже не могло не изменить воззрения хоть сколько-нибудь мыслящей русской молодежи; при такой огромной обстановке каждый из нас сколько-нибудь вырос.

Из Франции в 14-м году мы возвратились морем в Россию. 1-я гвардейская дивизия была высажена у Ораниенбаума и слушала благодарственный молебен, который служил обер-священник Державин. Во время молебствия полиция нещадно била народ, пытавшийся приблизиться к выстроенному войску. Это произвело на нас первое неблагоприятное впечатление по возвращении в отечество. Я получил позволение уехать в Петербург и ожидать там полк. Остановившись у однокашника Толстого (теперь сенатора), мы отправились вместе с ним во фраках взглянуть на 1-ю гвардейскую дивизию, вступающую в столицу. Для ознаменования великого этого дня были выстроены на скорую руку у петергофского въезда ворота и на них поставлены шесть алебастровых лошадей, знаменующих шесть гвардейских полков 1-й дивизии. Толстой и я, мы стояли недалеко от золотой кареты, в которой сидела императрица Мария Федоровна с вел. княжн. Анной Павловной. Наконец, показался император, предводительствующий гвардей-

ской дивизией, на славном рыжем коне, с обнаженной шпагой, которую уже он готов был опустить перед императрицей. Мы им любовались; но в самую эту минуту почти перед его лошадью перебежал через улицу мужик. Император дал шпоры своей лошади и бросился на бегущего с обнаженной шпагой. Полиция приняла мужика в палки. Мы не верили собственным глазам и отвернулись, стыдясь за любимого нами царя. Это было во мне первое разочарование на его счет; я невольно вспомнил о кошке, обращенной в красавицу, которая, однако ж, не могла видеть мыши, не бросившись на нее.

В 14-м году существование молодежи в Петербурге было томительно. В продолжение двух лет мы имели перед глазами великие события, решившие судьбы народов, и некоторым образом участвовали в них; теперь было невыносимо смотреть на пустую петербургскую жизнь и слушать болтовню стариков, выхваляющих все старое и порицающих всякое движение вперед. Мы ушли от них на 100 лет вперед. В 15-м году, когда Наполеон бежал с острова Эльбы и вторгся во Францию, гвардии был объявлен поход, и мы ему обрадовались, как неожиданному счастью. Поход этот от Петербурга до Вильны и обратно был для гвардии прогулкой. В том же году мы возвратились в Петербург. В Семеновском полку устроилась артель: человек 15 или 20 офицеров сложились, чтобы иметь возможность обедать каждый день вместе; обеды же не одни вкладчики в артель, но и все те, которым по обязанности службы приходилось проводить целый день в полку. После обеда одни играли в шахматы, другие читали громко иностранные газеты и следили за происшествиями в Европе,— такое времяпрепровождение было решительно нововведение.

В 11-м году, когда я вступил в Семеновский полк, офицеры, сходявшись между собою, или играли в карты, без зазрения совести надувая друг друга, или пили и кутили напропалую. Полковой командир Семеновского полка генерал Потемкин покровительствовал нашей артели и иногда обедал с нами; но через несколько месяцев император Александр приказал Потемкину прекратить артель в Семеновском полку, сказав, что такого рода сборища офицеров ему очень не нравятся. Императора, однако же, все еще любили, помня, как он был прекрасен в 13-м и 14-м годах, и потому ожидали его в 15-м с нетерпением. Наконец, появился флаг на Зимнем

дворце и в тот же день велено всем гвардейским офицерам быть на выходе. Всех удивило, что при этом не было артиллерийских офицеров: они приезжали, но их не пустили во дворец. Полковник Таубе донес государю, что офицеры его бригады в сношении с ним позволили себе дерзость. Таубе был ненавидим и офицерами и солдатами; но вследствие его доноса два князя Горчаковы (главнокомандующий на Дунае и бывший генерал-губернатор Западной Сибири) и еще пять отличных офицеров были высланы в армию. Происшествие это произвело неприятное впечатление на всю армию.

До слуха всех беспрестанно доходили изречения императора Александра, в которых выражалось явное презрение к русским. Так, например, при смотре при Вертю, во Франции, на похвалы Веллингтона устройству русских войск император Александр во всеуслышание отвечал, что в этом случае он обязан иностранцам, которые у него служат. Генерал-адъютант гр. Ожеровский, родственник Сергея и Матвея Муравьевых, возвратившись однажды из дворца, рассказал им, что император, говоря о русских вообще, сказал, что каждый из них плут или дурак и т. д.

По возвращении императора в 15-м году он просил у министра на месяц отдыха; потом передал почти все управление государством графу Аракчееву. Душа его была в Европе; в России же более всего он заботился об увеличении числа войск. Царь был всякий день у развода; во всех полках начались учения, и шагистика вошла в полную свою силу.

Служба в гвардии стала для меня несносна. В 16-м году говорили о возможности войны с турками, и я подал просьбу о переводе меня в 37-й егерский полк, которым командовал полковник Фонвизин, знакомый мне еще в 13-м году и известный в армии за отличного офицера. В это время Сергей Трубецкой, Матвей и Сергей Муравьевы и я, мы жили в казармах и очень часто бывали вместе с тремя братьями Муравьевыми: Александром, Михаилом и Николаем. Никита Муравьев также часто видался с нами. В беседах наших обыкновенно разговор был о положении России. Тут разбирались главные язвы нашего отечества: закоснелость народа, крепостное состояние, жестокое обращение с солдатами, которых служба в течение 25 лет почти была каторга; повсеместное лихоимство, грабительство и, наконец, яв-

ное неуважение к человеку вообще. То, что называлось высшим образованным обществом, большею частью состояло тогда из староверцев, для которых коснуться которого-нибудь из вопросов, нас занимавших, показалось бы ужасным преступлением. О помещиках, живущих в своих имениях, и говорить уже нечего.

Один раз, Трубецкой и я, мы были у Муравьевых, Матвея и Сергея; к ним приехали Александр и Никита Муравьевы с предложением составить тайное общество, цель которого, по словам Александра, должна была состоять в противодействии немцам, находящимся в русской службе. Я знал, что Александр и его братья были враги всякой немчизне, и сказал ему, что никак не согласен вступить в заговор против немцев, но что если бы составилось тайное общество, членам которого поставлялось бы в обязанность всеми силами трудиться для блага России, то я охотно вступил бы в такое общество. Матвей и Сергей Муравьевы на предложение Александра отвечали почти то же, что и я. После некоторых прений Александр признался, что предложение составить общество против немцев было только пробное предложение, что сам он, Никита и Трубецкой условились еще прежде составить общество, цель которого была в обширном смысле благо России. Таким образом, положено основание Тайному обществу, которое существовало, может быть, не совсем бесплодно для России.

Было положено составить устав для Общества и вначале принимать в него членов не иначе как с согласия всех шестерых нас. Вскоре после этого я уехал из Петербурга в 37-й егерский полк. Заехав по пути к дяде, который управлял небольшим моим имением в Смоленской губернии, я ему объявил, что желаю освободить своих крестьян. В это время я не очень понимал, ни как это можно было устроить, ни того, что из этого выйдет; но имея полное убеждение, что крепостное состояние — мерзость, я был проникнут чувством прямой моей обязанности освободить людей, от меня зависящих. Мое предложение дядя выслушал даже без удивления, но с каким-то скорбным чувством; он был уверен, что я сошел с ума.

Приехав в Сосницы, где была штаб-квартира 37-го егерского полка, я узнал, что этот полк должен быть расформирован и в кадрах идти в Москву. Фонвизин советовал мне не принимать роты и обошелся со мной

не так, как полковой мой командир, но как самый любезный товарищ. Мы были с ним неразлучны целый день и всякий день просиживали вместе далеко за полночь; все вопросы, занимавшие нас в Петербурге, были столь же близки ему, как и нам. В разговорах наших мы соглашались, что для того, чтобы противодействовать всему злу, тяготевшему над Россией, необходимо было прежде всего противодействовать староверству закоснелого дворянства и иметь возможность действовать на мнение молодежи: что для этого лучшее средство — учредить тайное общество, в котором каждый член, зная, что он не один, и излагая свое мнение перед другими, мог бы действовать с большею уверенностью и решимостью. Наконец, Фонвизин сказал мне, что если бы такое общество существовало, состоя только из пяти человек, то он тотчас бы вступил в него. При этом я не мог воздержаться, чтобы не доверить ему осуществления Тайного общества в Петербурге и что я принадлежу к нему. Фонвизин тут же присоединился к нам. С первой почтой я известил Никиту Муравьева о важном приобретении, какое я сделал для нашего Общества в лице полковника Фонвизина, и надеялся получить за это от них от всех благодарность; но, напротив, получил строгий выговор за то, что поступил против условий между нами, в силу которых никто не имел права принимать никого в Тайное общество без предварительного на то согласия прочих членов; и я чувствовал, что по всей справедливости своей опрометчивостью я заслужил такой выговор.

В начале 17-го года я приехал в Москву, и скоро после того прибыл в кадрах 37-й егерский полк, которого штаб-квартира была назначена в Дмитрове; не командуя ротой, я жил в Москве и ходил во фраке в ожидании сентября, чтобы подать в отставку. Фонвизин большую часть времени также проживал в Москве и также хотел оставить службу. В это время войска, бывшие во Франции у графа Воронцова, возвращались в Россию. Полки Апшеронский и 38-й егерский, привезенные на судах, были на смотре у царя в Петербурге. Он ужаснулся, увидев, как мало люди были выправлены, и прогнал их со смотра. 37-й егерский полк поступил в 5-й корпус. Командир этого корпуса граф Толстой, дивизионный командир кн. Хованский и бригадный генерал Полторацкий (Константин Маркович), коротко знакомые с

Фонвизиным, уговорили его принять 38-й егерский полк, и его назначили командиром этого полка. Прощаясь с 37-м егерским полком, Фонвизин прослезился, и офицеры и солдаты также плакали. В этом полку палка была уже выведена из употребления. Приняв 38-й егерский полк, задача для Фонвизина состояла, кроме обмундировки, выправка людей настолько, чтобы полк мог пройти перед царем в параде, не сбившись с ноги. Фонвизин начал с того, что сблизился с ротными командирами, поручил им первоначальную выправку людей и решительно запретил при учении употреблять палку. Для подпрапорщиков он завел училище и нанимал для них учителей; вообще в несколько месяцев он истратил на полк более 20 000 р., зато в конце года царь, увидев 38-й егерский полк в параде, был от него в восторге и изъявил Фонвизину благодарность в самых лестных выражениях.

В конце 17-го года вся царская фамилия переехала в Москву и прожила тут месяцев 9 или 10. Еще в августе прибыл в Москву отдельный гвардейский корпус, состоящий из первых батальонов всех пеших и первых эскадронов всех конных полков. При корпусе была также артиллерия. Командовал этим отрядом генерал Розен, а начальником штаба был Александр Муравьев. Вместе с отрядом прибыли Никита, Матвей и Сергей Муравьевы; Михайло Муравьев, вступивший уже в Общество, приехал также в Москву. В мое отсутствие Общество очень распространилось. В Петербурге было принято много членов, в числе которых были Бурцев (после, уже генерал-майором, убитый на Кавказе) и Пестель, адъютанты гр. Витгенштейна. Пестель составил первый устав для нашего Тайного общества. Замечательно было в этом уставе, во-первых, то, что на вступивших в Тайное общество возлагалась обязанность ни под каким видом не покидать службы, с тою целью, чтобы со временем все служебные значительные места по военной и гражданской части были в распоряжении Тайного общества; во-вторых, было сказано, что если царствующий император не даст никаких прав независимости своему народу, то ни в каком случае не присягать его наследнику, не ограничив его самодержавия.

По прибытии в Москву Муравьевы, особенно Михайло, находили устав, написанный в Петербурге, неудобным для первоначальных действий Тайного общест-

ва. Было положено приступить к сочинению нового устава и при этом руководствоваться печатным немецким уставом, привезенным кн. Ильей Долгоруким из-за границы и служившим пруссакам для тайного соединения против французов. Пока изготовлялся устав для будущего Союза благоденствия, было учреждено временное Тайное общество под названием Военного. Цель его была только распространение Общества и соединение единомыслящих людей.

У многих из молодежи было столько избытка жизни при тогдашней ее ничтожной обстановке, что увидеть перед собой прямую и высокую цель почиталось уже блаженством, и потому немудрено, что все порядочные люди из молодежи, бывшей тогда в Москве, или поступили в Военное общество, или по единомыслию сочувствовали членам его. Обыкновенно собирались или у Фонвизина, с которым я тогда жил, или в Хамовниках, у Александра Муравьева, в доме, в котором жил также начальник гвардейского отряда генерал Розен. Собрания эти все более и более становились многолюдны, на этих совещаниях бывали между прочими оба Перовские (министр уделов и оренбургский генерал-губернатор), толковали о тех же предметах, важность которых нас всех занимала.

К прежде бывшим присоединилось еще новое зло для России: император Александр, давно замышлявший военные поселения, приступил теперь к их учреждению. Графу Аракчееву было поручено привести в исполнение предначертания, составленные самим царем для устройства военных поселений. Граф Аракчеев, во всех случаях гордившийся тем, что он только неизменное орудие самодержавия, и в этом случае не изменил себе. В Новгородской губернии казенные крестьяне тех волостей, которые были назначены под первые военные поселения, чуя чутьем русского человека для себя беду, возмутились. Граф Аракчеев привел против них кавалерию и артиллерию; по ним стреляли, их рубили, многих прогнали сквозь строй, и бедные люди должны были покориться. После чего было объявлено крестьянам, что дома и все имущество более им не принадлежат, что все они поступают в солдаты, дети их — в кантонисты, что они будут исполнять некоторые обязанности по службе и вместе с тем работать в поле, но не для себя собственнo, а в пользу всего полка, к которому будут приписаны. Им тотчас же обрили бороды, надели военные ши-

нели и расписали по ротам и капральствам. Известия о новгородских происшествиях привели всех в ужас.

Император Александр, в Европе покровитель и почти корифей либералов, в России был не только жестоким, но что хуже того — бессмысленным деспотом.

Разводы, парады и военные смотры были почти его единственные занятия; заботился же только о военных поселениях и устройстве больших дорог по всей России, причем он не жалел ни денег, ни пота, ни крови своих подданных. Никогда никто из приближенных к царю, ни даже сам он не могли дать удовлетворительного объяснения, что такое военные поселения. Так, например, в Тульчине за обедом, бывши в веселом расположении духа после очень удачного военного смотра, император обратился к генералу Киселеву с вопросом, примиряется ли он, наконец, с военными поселениями; Киселев отвечал, что его обязанность верить, что военные поселения принесут пользу, потому что его императорскому величеству это угодно; но что сам он тут решительно ничего не понимает. «Как же ты не понимаешь,— возразил император Александр,— что при теперешнем порядке всякий раз, что объявляется рекрутский набор, вся Россия плачет и рыдает; когда же окончательно устроятся военные поселения, не будет рекрутских наборов».

Граф Аракчеев, когда у него спрашивали о цели военных поселений, всякий раз отвечал, что это не его дело и что он только исполнитель высочайшей воли. Известно, что военные поселения со временем должны были составить посереде России полосу с севера на юг и совместить в себе штаб-квартиры всех конных и пеших полков и вместе с тем собственными средствами продовольствовать войска, посреди их квартирующие; уже это одно было, вероятно, предположение несбыточное. При окончательном устройстве военных поселений они неминуемо должны были образоваться в военную касту с оружием в руках и не имеющую ничего общего с остальным народонаселением России. Они уничтожены и подверглись общей участи всякой бессмыслицы, даже затеянной человеком, облеченным огромным могуществом.

В 17-м году была напечатана по-французски конституция Польши. В последних пунктах этой конституции было сказано, что никакая земля не могла быть отторгнута от Царства, но что по усмотрению и воле высшей власти могли быть присоединены к Польше земли, от-

торгнутые от России, из чего следовало заключить, что по воле императора часть России могла сделаться Польшей.

Все это посеяло ненависть к императору Александру в людях, готовых жертвовать собою для блага России.

В конце 17-го года вся царская фамилия была уже в Москве, и скоро ожидали прибытия императора. Однажды Александр Муравьев, заехав в один дом, где я обедал и в котором он не был знаком, велел меня вызвать и сказал с каким-то таинственным видом, чтобы я приезжал к нему вечером. Я явился в назначенный час. Сопровождение это было не многолюдно; тут были, кроме самого хозяина, Никита, Матвей и Сергей Муравьевы, Фонвизин, князь Шаховской и я. Александр Муравьев прочел нам только что полученное письмо от Трубецкого, в котором он извещал всех нас о петербургских слухах: во-первых, что царь влюблен в Польшу и это было всем известно; на Польшу, которой он только что дал конституцию и которую почитал несравненно образованнее России, он смотрел как на часть Европы; во-вторых, что он ненавидит Россию, и это было вероятно после всех его действий в России с 15-го года; в-третьих, что он намеревается отторгнуть некоторые земли от России и присоединить их к Польше, и это было вероятно; наконец, что он, ненавидя и презирая Россию, намерен перенести столицу свою в Варшаву. Это могло показаться невероятным, но после всего невероятного, совершаемого русским царем в России, можно было поверить и последнему известию, особенно при нашем в эту минуту раздраженном воображении. Александр Муравьев перечитал вслух еще раз письмо Трубецкого, потом начались толки и сокрушения о бедственном положении, в котором находится Россия под управлением императора Александра.

Меня проникла дрожь; я ходил по комнате и спросил у присутствующих, точно ли они верят всему сказанному в письме Трубецкого и тому, что Россия не может быть более несчастна, как оставаясь под управлением царствующего императора; все стали меня уверять, что то и другое несомненно. В таком случае, сказал я, Тайному обществу тут нечего делать, и теперь каждый из нас должен действовать по собственной совести и собственному убеждению. На минуту все замолчали. Наконец, Александр Муравьев сказал, что для отвра-

щения бедствий, угрожающих России, необходимо прекратить царствование императора Александра и что он предлагает бросить между нами жребий, чтобы узнать, кому достанется нанести удар царю. На это я ему отвечал, что они опоздали, что я решился без всякого жребия принести себя в жертву и никому не уступлю этой чести. Затем наступило опять молчание. Фонвизин подошел ко мне и просил меня успокоиться, уверяя, что я в лихорадочном состоянии и не должен в таком расположении духа брать на себя обет, который завтра же покажется мне безрассудным. С своей стороны, я уверял Фонвизина, что я совершенно спокоен, в доказательство чего предложил ему сыграть в шахматы и обыграл его.

Совещание прекратилось, и я с Фонвизиным уехал домой. Почти целую ночь он не дал мне спать, беспрестанно уговаривая меня отложить безрассудное мое предприятие и со слезами на глазах говорил мне, что он не может представить без ужаса ту минуту, когда меня выведут на эшафот. Я уверял, что не доставлю такого ужасного для него зрелища. Я решился по прибытии императора Александра отправиться с двумя пистолетами к Успенскому собору и, когда царь пойдет во дворец, из одного пистолета выстрелить в него, из другого — в себя. В таком поступке я видел не убийство, а только поединок на смерть обоих.

На другой день Фонвизин, видя, что все его убеждения тщетны, отправился в Хамовники и известил живущих там членов, что я никак не хочу отложить намеряемого мной предприятия. Вечером собрались у Фонвизина те же лица, которые вчера были у Александра Муравьева; начались толки, но совершенно в противном смысле вчерашним толкам. Уверяли меня, что все сказанное в письме Трубецкого может быть и неправда, что смерть императора Александра в настоящую минуту не может быть ни на какую пользу для государства и что, наконец, своим упорством я гублю не только всех их, но и Тайное общество при самом его начале, которое со временем могло бы принести столько пользы для России. Все эти толки и переговоры длились почти целый вечер; наконец, я дал им обещание не приступать к исполнению моего намерения и сказал им, что если все то, чему они так решительно верили вчера, не более как вздор, то вчера они своим легкомыслием увлекли было меня к совершению самого великого преступления; но

что если в самом деле ничто не может быть счастливее для России, как прекращение царствования императора Александра, то сегодня своей нерешительностью и своими требованиями они отнимают у меня возможность совершить самое прекрасное дело, и в заключение объявил, что я более не принадлежу к их Тайному обществу.

Потом Фонвизин, Никита Муравьев и другие очень уговаривали меня не покидать Общества, но я решительно сказал им, что не буду ни на одном из их совещаний. И в самом деле всякий раз, что собирались у Фонвизина, я куда-нибудь уезжал, но вместе с тем, будучи коротко знаком с главными членами Общества, я всякий день с ними виделся. Они свободно говорили при мне о делах своих, и я знал все, что у них делается.

Устав Союза благоденствия, известный под названием «Зеленой книги», я читал при самом его появлении. Главными редакторами были Михайло и Никита Муравьевы; в самом начале изложения его было сказано, что члены Тайного общества соединились с целью противодействовать злонамеренным людям и вместе с тем споспешествовать благим намерениям правительства. В этих словах была уже наполовину ложь, потому что никто из нас не верил в благие намерения правительства. В это время число членов Тайного общества значительно увеличилось, и многие из них стали при всех случаях греметь против диких учреждений, каковы палка, крепостное состояние и проч.

Теперь покажется невероятным, чтобы вопросы, давно уже порешенные между образованными людьми, 38 лет тому назад были вопросами совершенно новыми даже для людей, почитаемых тогда образованными, т. е. для людей, которые говорили по-французски и были несколько знакомы с французскою словесностью. В этом деле мы решительно были застрельщиками, или, как говорят французы, пропалыми ребятами (*enfants perdus*); на каждом шагу встречались Скалозубы не только в армии, но и в гвардии, для которых было непонятно, что из русского человека возможно выправить годного солдата, не изломав на его спине несколько возов палок. Все почти помещики смотрели на крестьян своих как на собственность, вполне им принадлежащую, и на крепостное состояние — как на священную старину, до которой нельзя было коснуться без потрясения самой основы государства. По их мнению, Россия держалась

одним только благородным сословием, а с уничтожением крепостного состояния уничтожалось и самое дворянство. По мнению тех же староверов, ничего не могло быть пагубнее, как приступить к образованию народа. Вообще свобода мыслей тогдашней молодежи пугала всех, но эта молодежь везде высказывала смело слово истины.

В начале 18-го года приехал в Москву полковник Лубенского полка Граббе и остановился у Фонвизина; они вместе были адъютантами у Ермолова. Многие из моих знакомых выхваляли мне Граббе, как человека отлично во всех отношениях; этого уже было достаточно для меня, чтобы не спешить с ним познакомиться; я полагал, что он, может быть, человек, проникнутый чувством высоких своих достоинств, а я такого рода отличных людей не очень жаловал. Мы прожили с ним несколько дней под одной кровлей, не сходясь ни разу. Наконец, в одно прекрасное утро он вошел ко мне в комнату, когда я еще лежал в постели, и сказал, протянув мне руку: «Я вижу, что вы никак не хотите со мной сойтись, так знайте же, что я непременно хочу познакомиться с вами». Через какой-нибудь час мы уже хорошо познакомились друг с другом.

Пока мы ходили, разговаривая, по комнате, человек Граббе принес его долман и ментик. Я спросил его, куда он собирается в таком облачении. Он отвечал, что ему необходимо явиться к гр. Аракчееву. Между тем мы продолжали ходить, и разговор попал на древних историков. В это время мы страстно любили древних: Плутарх, Тит Ливий, Цицерон, Тацит и другие были у каждого из нас почти настольными книгами. Граббе тоже любил древних. На столе у меня лежала книга, из которой я прочел Граббе несколько писем Брута к Цицерону, в которых первый, решившийся действовать против Октавия, упрекает последнего в малодушии. При этом чтении Граббе, видимо, воспламенился и сказал своему человеку, что он не поедет со двора, и мы с ним обедали вместе; потом он уже никогда не бывал у Аракчеева, несмотря на то, что до него доходили слухи через приближенных Аракчеева, что граф на него сердится и повторял несколько раз: Граббе этот, видно, возгордился, что ко мне не едет. Вскоре после этого Фонвизин принял Граббе в члены Тайного общества.

В 18-м году, 6 января, назначен был всему гвардейскому отряду парад в Кремле. Погода была прегадкая,

унтер-офицеры на линиях были неверно поставлены, парад не удался. Царь взбесился и посадил начальника штаба Александра Муравьева под арест на главную гауптвахту. После чего Александр Муравьев вышел в отставку и женился. Жена его, бывши невестой, пела с ним Марсельезу, но потом в несколько месяцев сумела мужа своего, отчаянного либерала, обратить в отчаянного мистика, вследствие чего он отказался от Тайного общества и написал к прежним своим товарищам то послание, о котором упоминается в донесениях комитета; впрочем, это было уже в 19-м году.

Во время пребывания императора в Москве были слухи, что он хочет освободить крестьян, чему можно было верить, тем более что он освободил крестьян трех остзейских губерний, правда, на таких условиях, при которых положение освобожденных стало несравненно хуже прежнего. Император Александр стыдился перед Европой, что более 10 миллионов его подданных — рабы, но непоследовательным своим поведением он смущал только умы, нисколько не подвигая дела вперед. Однажды, во время прогулки своей по набережной, он увидел несколько крестьян на коленях и у одного из них бумагу на голове. Он принял от них просьбу, в которой было сказано, что крестьяне Тульской губернии, работая на фабрике своего помещика, не всегда получают заработанную плату. Тотчас отправлен был фельдъегерь к тульскому губернатору Оленину привести это дело в порядок. Оленина я знал, и он сам рассказывал мне про это происшествие; он отправился в имение своего приятеля, приказал управляющему расплатиться с крестьянами, и оказалось, что недоимка за конторною была самая незначительная. Тульский губернатор донес императору, что крестьяне удовлетворены; тем все и кончилось. Но происшествие это ужасно смутило помещиков.

В то же время беспрестанно доходили слухи об экзекуциях в разных губерниях. В Костромской, в имении Грибоедовой, матери сочинителя «Горе от ума», крестьяне, выведенные из терпения жестокостью управляющего и поборами выше сил их, вышли из повиновения. По именному повелению к ним была поставлена военная экзекуция и предоставлено было костромскому дворянству определить количество оброка в Костромской губернии, который был бы неотяготителен для крестьян. Костромское дворянство, как и всякое другое, не будучи

врагом самому себе, донесло, что в их губернии 70 рублей с души можно полагать оброком самым умеренным. На их донесение не было ни от кого возражений, тогда как всем было известно, что в Костромской губернии ни одно имение не платило такого огромного оброка.

Еще в 15-м году император принялся со страстью за устройство дорог и украшение городов и селений, но дороги эти так были устроены, что в последнее десятилетие его царствования ни по одной из них в скверную погоду не было проезда. В 18-м году, уезжая из Москвы, он назначил князя Хованского витебским генерал-губернатором и приказал ему отправиться в Ярославль поучиться у тамошнего губернатора Безобразова, как устраивать большие дороги. Император остался очень доволен дорогой в Ярославской губернии, проехавши по ней в самую сухую погоду; но Хованскому пришлось ехать по этой дороге в проливные дожди, вязнуть во многих местах; он едва дотащился до Ярославля и обратно, а между тем на устройство этой дороги сошло по 10 рублей с ревизской души всей Ярославской губернии. Главнокомандующий 1-й армией Сакен был принужден оставить свою коляску, не доехав несколько верст до Москвы, и торжественно въехал в древнюю столицу верхом на лошади своего фореятора. Персидский посланник, проезжая Смоленской губернией, уверял, что и в самой Персии не существует таких скверных дорог, как в России. Проезжая через Черниговскую и Полтавскую губернии и бывши недоволен большими дорогами в этом крае, император объявил строгий выговор генерал-губернатору князю Репнину. Репнин извинялся тем, что в его губерниях неурожай и что он почел необходимым в этом году дать льготу крестьянам, не высылая их на большие дороги. «Что они дома сосут, то могут сосать и на больших дорогах», — был ответ императора. Он, очевидно, все более и более ожесточался против России.

Между тем устройство больших дорог, по которым не было проезда, было повсеместно разорительно для крестьян; их сгоняли и иногда очень издалека на какой-нибудь месяц времени. Они должны были глубоко взрыть дорогу по бокам, взрытую землю переметать на середину и все утоптать; потом выкопать по сторонам дороги канавы, обложить их дерном и окончательно посадить в два ряда березки, которые, впрочем, очень ча-

сто втыкали в землю без корней перед самым проездом царя. Украшение города и селений состояло в том, что для приезда царя в городах заставляли хозяев с уличной стороны обивать тесом свои лачуги и красили все крыши как и чем попало. В селениях же городили палисадники из мелкого тына перед избами, а местами, как я видел это в Тульской губернии, избы были вымазаны белой глиной, и все это забавляло императора.

С отбытием гвардии в 18-м году еще осталось в Москве человек 30, большею частью завербованных Александром Муравьевым. Бывши в отставке, мне было необходимо в том же году побывать в С.-Петербурге. Оба — Фонвизин и Михайло Муравьев — дали мне письмо к Никите Муравьеву и поручили переговорить с ним и с другими о делах Общества. По приезде моем в Петербург Никита, который в это время был в отставке и усердно занимался делами Тайного общества, познакомил меня с Пестелем. При первом же знакомстве мы поспорили с ним часа два.

Пестель всегда говорил умно и упорно защищал свое мнение, в истину которого он всегда верил, как обыкновенно верят в математическую истину; он никогда и ничем не увлекался. Может быть, в этом-то и заключалась причина, почему из всех нас он один в течение почти 10 лет, не ослабевая ни на одну минуту, усердно трудился над делом Тайного общества. Один раз доказав себе, что Тайное общество верный способ для достижения желаемой цели, он с ним слил свое существование.

На другой день моего приезда в Петербург Никита стал меня уговаривать, чтобы я присоединился опять к Тайному обществу, доказывая мне, что теперь не существует более причины, меня от них удалившей, что в Уставе Союза благоденствия совершенно определен мерный ход Общества, прибавив, что Пестель и другие находят очень странным, что я привожу поручения от московских членов и знаю все, что делается в Тайном обществе, не принадлежа к нему. После таких доводов мне оставалось только согласиться на предложение Никиты, и я подписал записку, не читая ее; я знал, что она будет сожжена. После этого я был приглашен на совещание. Князь Лопухин, впоследствии начальник уланской дивизии при гренадерском корпусе, Петр Колошин, князь Шаховской и многие другие собрались у Никиты.

Сама формальность этого совещания давала ему вид

плохой комедии. В Москве, когда собирались члены Военного общества, они собирались для того, чтобы познакомиться и сблизиться друг с другом; всякий говорил свободно о предметах, занимавших всех и каждого из них. Тут же в продолжение всего совещания рассуждали о составлении самой заклинательной присяги для вступающих в Союз благоденствия и о том, как приносить самую присягу, над Евангелием или над шпагой вступающие должны присягать. Все это было до крайности смешно. Но Лопухин, Шаховской и почти все присутствующие были ревностные масоны, они привыкли в ложах разыгрывать бессмыслицу, нисколько этим не смущаясь, и им желалось некоторый порядок масонских лож ввести в Союз благоденствия.

Менее нежели в два года своего существования Союз благоденствия достиг полного своего развития, и едва ли 18-й и 19-й годы не были самым цветущим его временем. Число членов значительно увеличилось; многие из принадлежавших Военному обществу поступили в Союз благоденствия, в том числе оба Перовских; поступили в него также Ил. Бибииков, теперешний литовский генерал-губернатор, и Кавелин, бывший с.-петербургский военный генерал-губернатор.

Во всех полках было много молодежи, принадлежащей к Тайному обществу. Бурцев, перед отъездом своим в Тульчин, принял Пушина, Оболенского, Нарышкина, Лорера и многих других. В это время главные члены Союза благоденствия вполне ценили предоставленный им способ действия посредством слова истины, они верили в его силу и орудовали им успешно. Влияние их в Петербурге было очевидно. В Семеновском полку палка почти совсем уже была выведена из употребления. В других полках ротные командиры нашли возможность без нее обходиться. Про жестокости, какие бывали прежде, слышно было очень редко. Прежде похода за границу в Семеновском полку, в котором круг офицеров считался тогда лучшим во всей гвардии, когда собирались некоторые из батальонных и ротных командиров, между ними бывали прения о том, как полезнее наказывать солдат: понемногу, но часто или редко, но метко, и я очень помню, что командир 2-го батальона барон Дамас, впоследствии бывший во Франции при Карле X министром иностранных дел, был такого мнения, что должно наказывать редко, но вместе с тем никогда не

давать солдату менее 200 палок, и надо заметить, что такие жестокие наказания употреблялись не за одно дурное поведение, но и иногда за самый ничтожный проступок по службе и даже за какой-нибудь промах во фрунте. Многие притеснительные постановления правительства, особенно военные поселения, явно порицались членами Союза благоденствия, через что во всех кругах петербургского общества стало проявляться общественное мнение; уже не довольствовались, как прежде, рассказами о выходах во дворце и разводах в манеже. Многие стали рассуждать, что вокруг их делалось.

В 19-м году, поехав из Москвы повидаться с своими, я заехал в смоленское свое имение. Крестьяне, собравшись, стали просить меня, что так как я не служу и ничего не делаю, то мне бы приехать пожить с ними, и уверяли, что я буду им уже тем полезен, что при мне будут менее притеснять их. Я убедился, что в словах их много правды, и переехал на житье в деревню. Соседи тотчас прислали поздравить с приездом, обещая каждый скоро посетить меня; но я через посланных их просил перед ними извинения, что теперь никого из них не могу принять. Меня оставили в покое, но, разумеется, смотрели на меня, как на чудака. Первым моим распоряжением было уменьшить наполовину господскую запашку. Имение было на барщине, и крестьяне были далеко не в удовлетворительном положении; многие поборы, отягчительные для них и приносившие мало пользы помещику, были отменены.

Вскоре по приезде моем в Жуково я пришел в столкновение с земской полицией. Мне пришли сказать, что в речке, текущей по моей земле и очень вздувшейся от дождей, утонул человек. Я в тот же день велел послать донесение о происшествии в вяземский земский суд и приставить караул к утопленнику. Прошло дня три или четыре, земский суд не сделал никакого распоряжения по этому делу. В это время приехал ко мне из Москвы Фонвизин; мы пошли с ним гулять вдоль реки и были поражены зрелищем истинно ужасным. Утопший, привязанный за ногу к колу, вбитому в берег, плавал на воде; кожа на его лице и руках походила на мокрую сыромятину. Это было в июне, и смрад от мертвого тела далеко распространялся. Кроме караульного, на берегу сидели старик и молодая женщина. Старик был отец,

женщина — жена утопшего; оба они горько плакали и, увидев меня, бросились в ноги, прося позволения похоронить покойника.

И Фонвизин и я, мы были сильно взволнованы. Я приказал вытащить утопшего из воды и, взвалив на телегу, отвезти к его помещику Барышникову, живущему верст 10 от меня. Я написал к нему, что после моего донесения в земский суд о найденном утопленнике у меня в реке, не видя со стороны суда никакого распоряжения по этому делу и опасаясь, чтобы мертвое тело, которое начало уже разлагаться, не причинило заразы, я решил отправить его к нему, с тем чтобы он приказал его похоронить. Барышников, весьма богатый помещик, перепугался и первоначально без распоряжения земского суда не хотел принимать утопшего своего крестьянина, даже хотел отослать его назад на место, где он был найден; но потом, опасаясь ответственности, если мертвое тело, оставаясь долгое время непохороненным, причинит заразу, как я писал ему, велел, наконец, похоронить его. Я известил земский суд о моем распоряжении в его отсутствие, написал о том же смоленскому губернатору барону Ашу, пояснив ему, почему я так действовал в этом деле. Барон Аш, не пропускавший никакого случая, где можно было потеревить чиновников, избираемых дворянством, написал строгий выговор в вяземский земский суд.

Чтобы сблизиться сколько возможно скорее с моими крестьянами, я всех их и во всякий час допускал до себя и по возможности удовлетворял их требования; скоро отучил я их кланяться мне в ноги и стоять передо мной без шапки, когда я сам был в шляпе. За проступки они не иначе наказывались, как по приговору всех домохозяев. Почва вообще в Смоленской губернии неплодотворна; при недостатке скота мои крестьяне не могли достаточно удобрять своих полей. Обыкновенные урожаи бывали очень скудны, так что собираемого хлеба едва доставало крестьянам на продовольствие и посев. Единственные их промыслы были зимою — извоз и добывание извести; и то и другое доставляло незначительную прибыль. С этими средствами они, конечно, не ходили по миру, но и нельзя было надеяться этими средствами улучшить их состояние, тем более что, привыкнув терпеть нужду и не имея надежды когда-нибудь с нею расстаться, они говорили, что всей работы никогда

не переробишь, и потому трудились и на себя и на ба-рина, никогда не напрягая сил своих.

Надо было придумать способ возбудить в них деятельность и поставить их в необходимость прилежно трудиться. Способ этот по тогдашним моим понятиям состоял в том, чтобы прежде всего поставить их в совершенно независимое положение от помещика, и я написал прошение к министру внутренних дел Козодавлеву, в котором изъявил желание освободить своих крестьян и изложил условия, на которых желаю освободить их. Я предоставлял в совершенное и полное владение моим крестьянам их дома, скот, лошадей и все их имущество. Усадьбы и выгоны в том самом виде, как они находились тогда, оставались принадлежностью тех же деревень. За все за это я не требовал от крестьян моих никакого возмездия. Остальную же всю землю я оставлял за собой, предполагая половину обрабатывать вольнонаемными людьми, а другую половину отдавать в наем своим крестьянам.

Молодое же поколение, мне казалось, необходимо было прежде всего сколько-нибудь осмыслить и потом доставить им более верные средства добывать пропитание, нежели какие до сих пор имели отцы их. Для этого я на первый раз взял к себе 12 мальчиков и сам стал учить их грамоте, с тем чтобы после раздать их в Москве в учение разным мастерствам. Но набор мальчиков совершился не совсем с добровольного согласия крестьян; они сперва были уверены, что я беру их детей к себе в дворовые, и тем более это могло им казаться вероятным, что вся моя дворня состояла из одного человека, который был со мной в походе, и наемного отставного унтер-офицера. Скоро, однако ж, отцы и матери успокоились за своих детей, видя, что они учатся грамоте, всегда веселы и ходят в синих рубашках.

В это время заехал ко мне мой сосед Лимохин, чтобы поговорить об устройстве мельницы на реке, разделяющей наши владения. Не видя у меня никакой прислуги и заметя стоявших вдали мальчиков, он спросил: «Что они тут делают?». Я отвечал, что они учатся у меня грамоте. «И прекрасно,— возразил он,— поучите их петь и музыке, и вы, продавши их, выручите хорошие деньги». Такие понятия моего соседа, сами по себе отвратительные, между тогдашними помещиками были не диковинка. В нашем семействе был тогда пример.

Покойный дядя мой, после которого досталось мне Жуково, был моим опекуном; при небольшом состоянии были у него разные полубарские затеи, в том числе музыка и певчие. В то время, когда я был за границей, сблизившись в Орле с графом Каменским, сыном фельд-маршала, он ему продал 20 музыкантов из своего оркестра за 40 000; в числе этих музыкантов были два человека, принадлежавшие мне. Когда я был в 14-м году в Орле и в первый раз увиделся с Каменским, граф очень любезно сказал мне, что он мой должник, что он заплатит мне 4 000 за моих людей, и просил без замедления совершить на них купчую. Я отвечал его сиятельству, что он мне ничего не должен, потому что людей моих ни за что и никому не продам. На другой день оба они получили от меня отпускную.

Мальчики мои понемногу начали читать и писать, что очень забавляло их родителей. Желая привести в совершенную известность всю мою дачу, я каждый день с моими учениками ходил на съемку; они таскали за мной все нужные для этого принадлежности; скоро научились они таскать цепь и ставить колья по прямому направлению. Я показывал им, как наводить диоптр и насекать углы на планшете; все это их очень забавляло, и они с каждым днем становились смышленей.

Наконец, вяземский предводитель дворянства получил предписание из министерства внутренних дел потребовать от меня показание, на каких условиях я хочу сделать своих крестьян вольными хлебопашцами, и означить, сколько передаю я земли каждому из них; потом допросить крестьян моих, согласны ли они поступить в вольные хлебопашцы на предлагаемых мною условиях, словом, поступить совершенно по учреждению для крестьян, поступающих в вольные хлебопашцы, обнародованному в 1803 г., февраля 20. Из этого было очевидно, что в министерстве не обратили ни малейшего внимания на смысл моей просьбы. Осталось только мне ехать самому в Петербург и изустно объясниться с министром, но прежде мне хотелось знать, оценят ли крестьяне выгоду для себя условий, на которых я предполагал освободить их. Я собрал их и долго с ними толковал; они слушали меня со вниманием и, наконец, спросили: «Земля, которую мы теперь владеем, будет при-

надлежать нам или нет?». Я им отвечал, что земля будет принадлежать мне, но что они будут властны ее на-нимать у меня. «Ну так, батюшка, оставайся все по-старому: мы ваши, а земля наша». Напрасно я старался им объяснить всю выгоду независимости, которую им доставит освобождение. Русский крестьянин не допускает возможности, чтобы у него не было хоть клочка земли, которую он пахал бы для себя собственно. Надеюсь, что мои крестьяне со временем примирятся с условиями, на которых я предположил освободить их в начале 20-го года, я отправился в Петербург.

В два года моего отсутствия число членов Союза благоденствия очень возросло; правда, что многие из прежних членов охладели, почти совсем отделились от Общества; зато другие жаловались, что Тайное общество ничего не делает; по их понятиям, создать в Петербурге общественное мнение и руководить им была вещь ничтожная; им хотелось бы от Общества теперь уже более решительных приготовительных мер для будущих действий. Словом, Союз благоденствия в прежнем своем виде более уже не существовал. По нескольку раз в неделю собирались члены Тайного общества к Никите Муравьеву. В это время я познакомился со многими из них; самые из них значительные и ревностные по делу Общества, кроме Никиты и Николая Тургенева,—Ф. Н. Глинка, два брата Шиповы (старший — впоследствии командир Новосеменовского полка), граф Толстой, известный наш медальер, Ил. Долгорукий и многие другие.

Вместе с Никитой мы заезжали к Ил. Долгорукому, который был болен и не выходил из комнаты. Он был блюстителем Союза благоденствия. Служа при Аракчеве и имея возможность знать многие тайные распоряжения правительства и извещать о них своих товарищей, он тем самым был полезен Тайному обществу. В это время вообще он служил ему усердно.

Во всех членах Союза благоденствия проявлялось какое-то ожесточение против царствующего императора; и в самом деле, он с каждым днем становился мрачнее и все более и более отчуждался от России. Граф Аракчеев уже явно управлял государством. Члены Государственного совета и министры относились к нему по повелению императора в большей части случаев, где требовалось высочайшее разрешение. Аракчеев жил иногда

в своем знаменитом Грузине, в Новгородской губернии, и члены совета, и министры, и все сановники отправлялись к нему туда.

По делу об освобождении моих крестьян я обратился к Николаю Тургеневу; он дал мне письмо к Джуньковскому, директору департамента, в котором было мое дело. Джуньковский принял меня в департаменте и толковал со мной часа два, сначала, было, с важностью пожилого человека, который много видел и много знает и потому имеет право читать поучения молодому, неопытному человеку; но потом он из слов моих убедился, что условия, на которых я предполагал освободить крестьян моих, не были мне внушены какой-нибудь мимолетной мыслью, но были мной совершенно обдуманы. Я спросил Джуньковского, много ли с 1805 года освобождено крестьян по учреждению о вольных хлебопашцах. Он отвечал мне: 30 000, в том числе 20 000 князя Голицына, известного мота в Москве, проигравшего жену свою графу Разумовскому. Крестьяне Голицына откупились, заплатив долги его. Незначительное это число освободившихся крестьян в продолжение каких-нибудь 15 лет было лучшим доказательством, что на существующее учреждение о вольных хлебопашцах нельзя было рассчитывать как на средство для уничтожения крепостного состояния в России. Джуньковский бывал за границей, имел воззрение человека европейского, и потому освобождение крестьян, которым не предоставлялось земли в собственность, нисколько не возмущало его. Наконец, он, пожав мне руку, сказал, что в предлагаемом мной способе освобождения много есть дельного, но что теперешний министр граф Кочубей в этом случае не согласится отступить на волос от учреждений 1805 года, составленных им самим во время первого его министерства. Но я все-таки хотел увидеться с министром, хотя и мало надеялся, чтоб через свидание с ним дело мое кончилось успешно. В продолжение целой недели я ходил ежедневно к министру и никак не мог добиться его лицезрения; наконец, я забрался к нему с утра и решил дожидаться, пока он выйдет из своего кабинета. Напрасно дежурный чиновник уверял меня, что сегодня граф никого не принимает; я остался неподвижным на своем стуле. В этот день министр занимался с своими директорами проектом об изменении формы мундира для его министерства.

Часа в 3 пополудни дверь кабинета растворилась, и министр, подошед ко мне, сказал: «Что вам угодно?». Я вкратце объяснил ему мое дело. Между прочими возражениями он сказал мне: «Я нисколько не сомневаюсь в добросовестности ваших намерений; но если допустить способ, вами предлагаемый, то другие могут воспользоваться им, чтобы избавиться от обязанности относительно своих крестьян». На это я осмелился заметить его сиятельству, что это не совсем правдоподобно по той причине, что каждый помещик имеет возможность очень выгодно избавиться от своих крестьян, продавши их на вывод. Окончательно министр сказал мне: «Впрочем, дело ваше в наших руках, и мы дали ему надлежащий ход».

Итак, хлопоты мои в Петербурге по освобождению крестьян кончились ничем. В это время вообще в Петербурге много толковали о крепостном состоянии. Даже в Государственном совете рассуждали о непристойности, с какою продаются люди в России. Вследствие чего объявления в газетах о продаже людей заменились другими; прежде печаталось прямо: такой-то крепостной человек или такая-то крепостная девка продаются; теперь стали печатать: такой-то крепостной человек или такая-то крепостная девка отпускаются в услужение, что значило, что тот и другая продавались.

На возвратном пути я прожил некоторое время в Москве с Фонвизиним и Граббе; последний был переведен с своим Лубенским полком в мое соседство в Дорогобуж. Фонвизин был произведен в генералы. Летом в 19-м году он перешел с своим 38-м егерским полком во 2-ю армию, для того чтобы № 38 соединить с № 37. В этом году все егерские полки были в движении.

Фонвизин, ехавши во 2-ю армию сдавать полк, заехал ко мне в Жуково; от меня мы поехали к Граббе в Дорогобуж и познакомились с отставным генералом Пассеком, который пригласил нас в свое имение недалеко от Ельни. Он недавно возвратился из-за границы и жестоко порицал все мерзости, встречавшиеся на всяком шагу в России, в том числе и крепостное состояние. Имение его было прекрасно устроено, и со своими крестьянами он обходился человеколюбиво, но ему все-таки хотелось как можно скорее уехать за границу.

По возвращении моем из Петербурга существование мое в Жукове стало как-то мрачно. Я уже не имел на-

дежды освободить моих крестьян на тех условиях, которые тогда казались мне наиболее удобными для общего освобождения крестьян в России. Впрочем, вскоре потом я убедился, что освобождать крестьян, не предоставляя в их владение достаточного количества земли, было бы только вполвину обеспечить их независимость. Распределение поземельной собственности между крестьянами и общинное владение ею составляют у нас основные начала, из которых со временем должно развиться все гражданское устройство нашего государства. Благомыслящие люди, или, как называли их, либералы, того времени более всего желали уничтожения крепостного состояния и, при европейском своем воззрении на этот предмет, были уверены, что человек, никому лично не принадлежащий, уже свободен, хотя и не имеет никакой собственности.

Ужасное положение пролетариев в Европе тогда еще не развилось в таком огромном размере, как теперь, и потому возникшие вопросы по этому предмету уже впоследствии тогда не тревожили даже самых образованных и благонамеренных людей. Крепостное же состояние у нас обозначалось на каждом шагу отвратительными своими последствиями. Беспреданно доходили до меня слухи о неистовых поступках помещиков, моих соседей. Ближайший из них — Жигалов, имевший всего 60 душ, разъезжал в коляске и имел огромную стаю гончих и борзых собак; зато крестьяне его умирали почти с голоду и часто, ушедши тайком с полевой работы, приходили ко мне и моим крестьянам просить милостыню. Однажды к этому Жигалову приехал Лимохин и проиграл ему в карты свою коляску, четверню лошадей и бывших с ним кучера, форейтора и лакея; стали играть на горничную девуку, и Лимохин отыгрался.

В имении Анненкова, верстах в трех от меня, управляющий придумывал ежегодно какой-нибудь новый способ вымогательства с крестьян. Однажды он объявил им, что барыня их, живущая в курском своем имении, приказала прислать к себе несколько взрослых девок для обучения их коверному искусству; разумеется, крестьяне, чтобы откупиться от такого налога, заплатили все, что только могли заплатить. У богача Барышникова при полевых работах разъезжали управитель, бурмистр и старосты и поощряли народ к деятельности плетью.

Проезжая однажды зимою по Рославльскому уезду, я заехал на постоялый двор. Изба была набита народом, совершенно оборванным, иные даже не имели ни рукавиц, ни шапки! Их было более 100 человек, и они шли на винокуренный завод, отстоящий верст 150 от места их жительства. Помещик, которому они принадлежали, Фонтон де-Варайон, отдал их на всю зиму в работу на завод и получил за это вперед условленную плату. Сверх того, помещик, которому принадлежал завод, обязался прокормить крестьян Фонтон в продолжение зимы.

Такого рода сделки были очень обыкновенны. Во время построения Нижегородской ярмарки принц Александр Виртембергский отправил туда в работу из Витебской губернии множество своих нищих крестьян, не плативших ему оброка. Партии этих людей сотнями и в самом жалком положении проходили мимо Жукова.

Все это вместе было нисколько не утешительно. К тому же не было дня, в котором я бы мог быть уверен, что у меня не случится столкновения с земской полицией. Ежегодно требовались люди на большие дороги на какой-нибудь месяц, а иногда на два; они там оставались в совершенном распоряжении заседателя, и всякий раз надо было хлопотать, чтобы он не оставил там людей долее, чем это было нужно. Очень часто требовались подводы под проходившие военные команды. В первый раз я приказал подводчикам не давать квитанций заседателю, не получив от него следуемых прогонов; люди мои пробыли пять дней в отлучке и возвратились, не получив ни копейки. Так как пригнано было подвод несравненно более, нежели требовалось, то заседатель, продержав людей моих три дня, отпустил ни с чем. Требовались также иногда лошади на станциях больших дорог под проезд значительных лиц. Ежели в предписании министра велено выставить 20 лошадей, то в предписании генерал-губернатора требовалось 30, в предписании губернатора 40, а земский суд требовал уже 60 лошадей. Кончилось тем, что во всех подобных случаях я совсем не исполнял предписаний земской полиции, очень зная, что тем самым на каждом шагу подвергался ответственности перед начальством.

Фонвизин в 20-м году, возвращаясь из Одессы в Москву, известил меня, что он заедет к Левашевым, верст за 200 от меня, и будет у них меня дожидаться.

Я приехал в назначенный срок к Левашевым. Через несколько дней явился ко мне нарочный из Жукова с известием, что там полевые работы прекращены и все крестьяне в ужасной тревоге. Во время моего отсутствия земский заседатель, проезжая через Жуково и узнавши от старосты, который говорил с ним в шляпе, что меня нет дома и что я не скоро возвращусь, бросился на старосту и избил его до полусмерти, потом отправился к работавшим в поле крестьянам и под предлогом, что за ними есть недоимочный рекрут, старался схватить кого-нибудь из них. Заседатель увязался за одним молодым парнем, схватил его и увез в Вязьму. За мной не бывало никакой недоимки, и в последний набор я представил рекрутскую квитанцию за моих крестьян. Происшествие в Жукове всех нас чрезвычайно потревожило, и я тотчас же вместе с Фонвизиным отправился в Смоленск. Фонвизин был знаком с губернатором бароном Ашем, объяснил ему все дело, и барон Аш приказал крестьянина моего отпустить домой, а заседателя, наделавшего столько тревоги, отдать под суд.

Фонвизин проводил меня до Жукова. Тут народ был в отчаянном положении и почти не работал. Все это вместе меня ужасно смутило, и я совершенно растерялся. Чтобы за один раз прекратить все беспорядки в России, я придумал средство, которое в эту минуту казалось мне вдохновением, а в самой сущности оно было чистый сумбур. Ночью, пока Фонвизин спал, я написал адрес к императору, который должны были подписать все члены Союза благоденствия. В этом адресе излагались все бедствия России, для прекращения которых мы предлагали императору созвать Земскую думу по примеру своих предков. Поутру я прочитал свое сочинение Фонвизину, и он, быв под одним настроением духа со мной, согласился подписать адрес. В тот же день мы с ним отправились в Дорогобуж к Граббе. К счастью, Граббе был благоразумнее нас обоих; не отказываясь вместе с другими подписать адрес, он нам ясно доказал, что этим поступком за один раз уничтожалось Тайное общество и что это все вело нас прямо в крепость. Бумага, мной написанная, была уничтожена. После чего долго мы рассуждали о горестном положении России и средствах, которые бы могли спасти ее.

Союз благоденствия, казалось нам, дремал. По собственному своему образованию, он слишком был ограни-

чен в своих действиях. Решено было к 1 января 21-го года пригласить в Москву депутатов из Петербурга и Тульчина для того, чтобы на общих совещаниях рассмотрели дела Тайного общества и приискали средства для большей его деятельности. Фонвизин с братом должен был отправиться в Петербург, мне же пришлось ехать в Тульчин. Фонвизин, незадолго перед тем бывший в Тульчине, познакомился со всеми тамошними членами и дал мне письма к некоторым из них. Он мне дал также письмо в Кишинев к Михайле Орлову. В Дорогобуже я добыл себе кое-как подорожную и пустился в путь.

Приехав в Тульчин, я тотчас явился к Бурцеву; он от жида, у которого я остановился, перетащил меня к себе; в тот же день я побывал у Пестеля и у Юшневского; последнего Фонвизин превозносил как человека огромного ума. Тут случилось, как случается нередко, что одни добрые качества принимают за другие. Юшневский, генерал-интендант 2-й армии, был отлично добрый человек и честности редкой, но ума довольно ограниченного. С первого раза он поразил меня своими пошлостями. Чтобы пребыванием моим в Тульчине не подать подозрения властям, я ни у кого не бывал, кроме Пестеля, с которым был знаком прежде, и у Юшневского, к которому я привез письмо от Фонвизина; но я скоро познакомился с тульчинской молодежью; во время моего пребывания в Тульчине все почти члены перебивали у Бурцева.

В Тульчине члены Тайного общества, не опасаясь никакого особенного над собою надзора, свободно и почти ежедневно сообщались между собой и тем самым не давали ослабевать друг другу. Впрочем, было достаточно уже одного Пестеля, чтобы беспрестанно одушевлять всех тульчинских членов, между которыми в это время было что-то похожее на две партии: умеренные, под влиянием Бурцева, и, как говорили, крайние, под руководством Пестеля. Но эти партии были только мнимые. Бурцев, бывши уверен в превосходстве личных своих достоинств, не мог не чувствовать на каждом шагу превосходства Пестеля над собой и потому всеми силами старался составить против него оппозицию. Однако это не мешало ему по наружности оставаться в самых лучших отношениях с Пестелем.

Киселев, как умный человек и умеющий ценить людей, не мог не уважать всю эту молодежь и многих из

них любил как людей приближенных к себе. Всех он принимал у себя очень ласково и, кроме как по службе, никогда не был с ними начальником. Иногда у него за обедом при общем разговоре возникали политические вопросы, и если при этом Киселев понимал что-нибудь криво, ему со всех сторон возражали дельно, и он всякий раз принужден был согласиться с своими собеседниками.

После этого нетрудно себе представить, какое влияние имели тульчинские члены во всей 2-й армии. Никакого нет сомнения, что Киселев знал о существовании Тайного общества и смотрел на это сквозь пальцы. Впоследствии, когда попал под суд капитан Раевский, заведывавший школою взаимного обучения в дивизии Михайлы Орлова, и генерал Сабанеев отправил при донесении найденный у Раевского список всем тульчинским членам, они ожидали очень дурных для себя последствий по этому делу. Киселев призвал к себе Бурцева, который был у него старшим адъютантом, подал ему бумагу и приказал тотчас же по ней исполнить. Пришедши домой, Бурцев очень был удивлен, нашедши между листами данной ему бумаги список тульчинских членов, писанный Раевским и присланный Сабанеевым отдельно; Бурцев сжег список, и тем кончилось дело.

В это время Пестель замышлял республику в России, писал свою «Русскую Правду». Он мне читал из нее отрывки и, сколько помнится, об устройстве волостей и селений. Он был слишком умен, чтобы видеть в «Русской Правде» будущую конституцию России. Своим сочинением он только приготовлялся, как он сам говорил, правильно действовать в Земской думе и знать, когда придется, что о чем говорить. Некоторые отрывки из «Русской Правды» он читал Киселеву, который ему однажды заметил, что царю своему он предоставляет уже слишком много власти. Под словом «царь» Пестель разумел исполнительную власть.

Наконец было назначено совещание у Пестеля, на котором я должен был объявить всем присутствующим о причине моего прибытия в Тульчин. Бурцев уверил меня, что если Пестель поедет в Москву, то он своими резкими мнениями и своим упорством испортит там все дело, и просил меня никак не приглашать Пестеля в Москву. На совещании я предложил тульчинским членам послать от себя доверенных в Москву, которые там

заялись бы вместе с другими определением всех нужных изменений в уставе Союза благоденствия, а может быть, и в уставе самого Общества. Бурцев и Комаров просились в отпуск и по собственным делам своим должны были пробыть некоторое время в Москве. Пестелю очень хотелось приехать на съезд в Москву, но многие уверяли его, что так как два депутата их уже будут на этом съезде, то его присутствие там не необходимо, и что, просившись в отпуск в Москву, где все знают, что у него нет ни родных и никакого особенного дела, он может навлечь подозрение тульчинского начальства, а может быть, и подозрение московской полиции. Пестель согласился не ехать в Москву.

В Тульчине полковник Абрамов дал мне из дежурства подорожную по казенной надобности, и я с ней пустился в Кишинев к Орлову с письмом от Фонвизина и поручением пригласить его на съезд в Москву. Я никогда не видал Орлова, но многие из моих знакомых превозносили его как человека высшего разряда по своим умственным способностям и другим превосходным качествам. Когда-то император Александр был высокого о нем мнения и пробовал употребить его по дипломатической части. В 15-м году, при отчуждении Норвегии от Дании, Орлов был послан с тем, чтобы убедить норвежцев совершенно присоединиться к Швеции и иметь с ней вместе один сейм. Но Орлов сблизился с тамошними либералами и действовал не согласно с данными ему предписаниями. Норвегия, присоединенная к Швеции, но имея свое собственное представительство, осталась во многих отношениях землею от нее отдельною.

Когда сделалось известным намерение императора Александра образовать отдельный литовский корпус и, одевши его в польский мундир, дать ему литовские знамена, намерение это возмутило многих наших генералов, и они согласились между собой подать письменное представление императору, в котором они излагали весь вред, могущий произойти от образования отдельного литовского корпуса, и умоляли императора не приводить в исполнение своего намерения, столь пагубного для России. В числе генералов, согласившихся подписать это представление, был генерал-адъютант Васильчиков, впоследствии начальник гвардейского корпуса. Он испугался собственной своей смелости и, пришедши к императору, с раскаянием просил у него прощенья в том, что за-

думал против него недоброе, назвал своих сообщников и рассказал все дело, в котором главным побудителем был Орлов, написавший самое представление.

Государь потребовал к себе Орлова, напомнил прежде к нему благоволение и спросил, как мог он решиться действовать против него. Орлов стал уверять императора в своей к нему преданности. Тут император рассказал подробно все дело, замышляемое генералами, и приказал Орлову принести к нему представление, писанное им от имени генералов. Орлов от всего отрекся, после чего император расстался навсегда с прежним своим любимцем.

Свидание это с императором рассказывал мне сам Орлов. Скоро после того он получил место начальника штаба при генерале Раевском, командующем 4-м корпусом. В Киеве Орлов устроил едва ли не первые в России училища взаимного обучения для кантонистов. В Библейском обществе он произнес либеральную речь, которая ходила тогда у всех по рукам, и вообще приобрел себе в это время еще большую известность, нежели какой пользовался прежде. Каким-то случаем он потерял место начальника штаба, но вскоре потом Киселев, который был с ним дружен, выпросил для него у императора дивизию во 2-й армии. Командуя этой дивизией, он жил в Кишиневе, где опять завел очень полезные училища для солдат и поручил их надзору капитана Раевского, члена Тайного общества и совершенно ему преданного. К несчастью, Раевский, в надежде на покровительство Орлова, слишком решительно действовал и впоследствии попал под суд. Сам же Орлов беспрестанно отдавал самые либеральные приказы по дивизии.

Я с любопытством ожидал свидания с Орловым и встретился с ним, не доехав до Кишинева. С ним был адъютант его Охотников, славный малый и совершенно преданный Тайному обществу; я давно был знаком с ним. Прочитавши письмо Фонвизина, Орлов обошелся со мной как со старым знакомым и тут же предложил сесть к себе в дормез, а Охотников сел на мою перекладную тележку; потом мы с ним через станцию менялись местами в дормезе. Орлов с первого раза весь высказался передо мной. Наружности он был прекрасной и вместе с тем человек образованный, отменно добрый и кроткий; обхождение его было истинно увлекательное, и потому, познакомившись с ним, не было возможности не

полюбить его; но, бывши человеком неглупым, в суждениях своих ему редко удавалось попасть на истину. Он почти всегда становился к ней боком, вследствие чего в разговорах, в которых обсуживался какой-нибудь не совсем пошлый предмет, он почти никогда не подвизался с успехом; зато по своей доброте и кротости никогда не обижался даже и самыми колкими против себя возражениями. На убеждения мои приехать в Москву он отвечал, что пока наверное обещать не может, и с своей стороны приглашал меня ехать с ним к Давыдову в Киевскую губернию. Узнавши, что у Давыдова, с которым я не был знаком, соберется много гостей к 24 ноября, на именины его матери, и избегавши гостиных во всю мою жизнь, такое приглашение было не совсем приятно для меня; но когда мы на станции сошлись с Охотниковым, он взял меня в сторону и просил меня убедительно ехать с ними вместе, уверяя меня, что в это время мне удастся уговорить Орлова, без чего было мало надежды, чтобы он приехал в Москву. Я решился ехать в Каменку к Давыдову.

Проезжая через Новый Миргород, мы заехали к полковнику Гревсу. Орлов был знаком с ним, когда они еще вместе служили в кавалергардах. Гревс командовал одним из полков бугского поселения. За обедом он сказал с некоторою гордостью, что, командуя полком, он то же, что помещик, у которого 18 000 душ. Везде происходили неимоверные грабительства в военных поселениях. А Аракчееву на устройство их отпускались ежегодно десятки миллионов; теперь, по наружности, и бугские и чугуевские поселения были приведены в некоторый порядок. Сперва казаки, опираясь на свои права, означенные в грамотах, дарованных им прежними государями, не соглашались поступить в военные поселения. Аракчев из Харькова распорядился этим делом. Посланный им генерал Салов наиболее непокорных загнал до смерти сквозь строй, а остальные смирились.

Приехав в Каменку, я полагал, что никого там не знаю, и был приятно удивлен, когда случившийся здесь А. С. Пушкин выбежал ко мне с распростертыми объятиями. Я познакомился с ним в последнюю мою поездку в Петербург у Петра Чаадаева, с которым он был дружен и к которому имел большое доверие. Василий Львович Давыдов, ревностный член Тайного общества, узнавши, что я от Орлова, принял меня более чем радуш-

но. Он представил меня своей матери и своему брату генералу Раевскому как давнишнего короткого своего приятеля. С генералом был сын его полковник Александр Раевский. Через полчаса я был тут, как дома. Орлов, Охотников и я, мы пробыли у Давыдова целую неделю. Пушкин, приехавший из Кишинева, где в это время он был в изгнании, и полковник Раевский прогостили тут столько же.

Мы всякий день обедали внизу у старушки матери. После обеда собирались в огромной гостиной, где всякий мог с кем и о чем хотел беседовать. Жена Ал. Львовича Давыдова, которого Пушкин так удачно назвал «рогоносец величавый», урожденная графиня Грамон, впоследствии вышедшая замуж за генерала Себестиани, была со всеми очень любезна. У нее была премиленькая дочь, девочка лет 12. Пушкин вообразил себе, что он в нее влюблен, беспрестанно на нее заглядывался и, подходя к ней, шутил с ней очень неловко. Однажды за обедом он сидел возле меня и, покрасневшись, смотрел так ужасно на хорошенькую девочку, что она, бедная, не знала, что делать, и готова была заплакать; мне стало ее жалко, и я сказал Пушкину вполголоса: «Посмотрите, что вы делаете; вашими нескромными взглядами вы совершенно смутили бедное дитя». — «Я хочу наказать кокетку, — отвечал он, — прежде она со мной любезничала, а теперь прикидывается жестокой и не хочет взглянуть на меня». С большим трудом удалось мне обратить все это в шутку и заставить его улыбнуться.

В общении Пушкин был до чрезвычайности неловок и при своей раздражительности легко обижался каким-нибудь словом, в котором решительно не было для него ничего обидного. Иногда он корчил лихача, вероятно, вспоминая Каверина и других своих приятелей-гусаров в Царском Селе; при этом он рассказывал про себя самые отчаянные анекдоты, и все вместе выходило как-то очень пошло. Зато заходил ли разговор о чем-нибудь дельном, Пушкин тотчас просветлялся. О произведениях словесности он судил верно и с особенным каким-то достоинством. Не говоря почти никогда о собственных своих сочинениях, он любил разбирать произведения современных поэтов и не только отдавал каждому из них справедливость, но и в каждом из них умел отыскать красоты, каких другие не заметили.

Я ему прочел его *Noël*: «Ура! в Россию скачет», и он очень удивился, как я его знаю, а между тем все его ненапечатанные сочинения: «Деревня», «Кинжал», «Четырехстишие к Аракчееву», «Послание к Петру Чаадаеву» и много других были не только всем известны, но в то время не было сколько-нибудь грамотного прапорщика в армии, который не знал их наизусть. Вообще Пушкин был отголосок своего поколения, со всеми его недостатками и со всеми добродетелями. И вот, может быть, почему он был поэт истинно народный, каких не бывало прежде в России.

Все вечера мы проводили на половине у Василья Львовича, и вечерние беседы наши для всех для нас были очень занимательны. Раевский, не принадлежа сам к Тайному обществу, но подозревая его существование, смотрел с напряженным любопытством на все происходящее вокруг него. Он не верил, чтоб я случайно заехал в Каменку, и ему хотелось знать причину моего прибытия. В последний вечер Орлов, В. Л. Давыдов, Охотников и я сговорились так действовать, чтобы сбить с толку Раевского насчет того, принадлежим ли мы к Тайному обществу или нет. Для большего порядка при наших прениях был выбран президентом Раевский. С полушутливым и полуважным видом он управлял общим разговором. Когда начинали очень шуметь, он звонил в колокольчик; никто не имел права говорить, не просив у него на то дозволения, и т. д. В последний этот вечер пребывания нашего в Каменке, после многих рассуждений о разных предметах, Орлов предложил вопрос, насколько было бы полезно учреждение Тайного общества в России. Сам он высказал все, что можно было сказать за и против Тайного общества. В. Л. Давыдов и Охотников были согласны с мнением Орлова; Пушкин с жаром доказывал всю пользу, которую могло бы принести Тайное общество России. Тут, испросив слово у президента, я старался доказать, что в России совершенно невозможно существование Тайного общества, которое могло бы быть хоть на сколько-нибудь полезно.

Раевский стал мне доказывать противное и исчислил все случаи, в которых Тайное общество могло бы действовать с успехом и пользой; в ответ на его выходку я ему сказал: «Мне нетрудно доказать вам, что вы шутите; я предложу вам вопрос: если бы теперь уже

существовало Тайное общество, вы, наверное, к нему не присоединились бы?» — «Напротив, наверное бы присоединился», — отвечал он. — «В таком случае давайте руку», — сказал я ему. И он протянул мне руку, после чего я расхохотался, сказав Раевскому: «Разумеется, все это только одна шутка».

Другие также смеялись, кроме А. Л., роконосца величавого, который дремал, и Пушкина, который был очень взволнован; он перед этим уверился, что Тайное общество или существует, или тут же получит свое начало и он будет его членом; но когда увидел, что из этого вышла только шутка, он встал, раскрасневшись, и сказал со слезой на глазах: «Я никогда не был так несчастлив, как теперь; я уже видел жизнь мою облагороженною и высокую цель перед собой, и все это была только злая шутка». В эту минуту он был точно прекрасен. В 27-м году, когда он пришел проститься с А. Г. Муравьевой, ехавшей в Сибирь к своему мужу Никите, он сказал ей: «Я очень понимаю, почему эти господа не хотели принять меня в свое общество; я не стоил этой чести».

При прощании Орлов обещал мне непременно приехать в Москву. В первых числах января 21-го года Граббе, Бурцев и я жили вместе у Фонвизиных. Скоро потом приехали в Москву из Петербурга Николай Тургенев и Федор Глинка, а потом из Киева Михайло Орлов с Охотниковым. Было решено Комарова не принимать на наши совещания; ему уже тогда не очень доверяли. На первом из этих совещаний были Орлов, Охотников, Н. Тургенев, Федор Глинка, два брата Фонвизины, Граббе, Бурцев и я. Орлов привез писанные условия, на которых он соглашался присоединиться к Тайному обществу; в этом сочинении, после многих фраз, он старался доказать, что Тайное общество должно решиться на самые крутые меры и для достижения своей цели даже прибегнуть к средствам, которые даже могут казаться преступными. Во-первых, он предлагал завести тайную типографию или литографию, посредством которой можно было бы печатать разные статьи против правительства и потом в большом количестве рассылать по всей России. Второе его предложение состояло в том, чтобы завести фабрику фальшивых ассигнаций, чрез что, по его мнению, Тайное общество с первого раза приобрело бы огромные сред-

ства и вместе с тем подрывался бы кредит правительства.

Когда он кончил чтение, все смотрели друг на друга с изумлением. Я наконец сказал ему, что он, вероятно, шутит, предлагая такие неистовые меры; но ему того-то и нужно было. Помолвленный на Раевской, в угодность ее родным он решился прекратить все сношения с членами Тайного общества; на возражения наши он сказал, что если мы не принимаем его предложений, то он никак не может принадлежать к нашему Тайному обществу. После чего он уехал и ни с кем из нас более не видался и только, уезжая уже из Москвы, в дорожной повозке заехал проститься с Фонвизиним и со мной. При прощании, показав на меня, он сказал: «Этот человек никогда мне не простит». В ответ я пародировал несколько строк из письма Брута к Цицерону и сказал ему: «Если мы успеем, Михайло Федорович, мы порадуемся вместе с вами; если же не успеем, то без вас порадуемся одни». После чего он бросился меня обнимать.

На следующих совещаниях собрались те же члены, кроме Орлова. Для большего порядка выбран был председателем Н. Тургенев. Прежде всего было признано нужным изменить не только устав Союза благоденствия, но и самое устройство и самый состав Общества. Решено было объявить повсеместно, во всех управах, что, так как в теперешних обстоятельствах малейшей неосторожностью можно было возбудить подозрение правительства, то Союз благоденствия прекращает свои действия навсегда. Этой мерой ненадежных членов удаляли из Общества. В новом уставе цель и средства для достижения ее должны были определиться с большей точностью, нежели они были определены в уставе Союза благоденствия, и поэтому можно было надеяться, что члены, в ревностном содействии которых нельзя было сомневаться, соединившись вместе, составят одно целое и, действуя единодушно, придадут новые силы Тайному обществу.

Затем приступили к сочинению нового устава; он разделялся на две части: в первой — для вступающих предлагались те же филантропические цели, как в «Зеленой книге». Редакцией этой части занялся Бурцев. Вторую часть написал Н. Тургенев для членов высшего разряда. В этой второй части устава уже прямо бы-

ло сказано, что цель Общества состоит в том, чтобы ограничить самодержавие в России, а чтобы приобрести для этого средства, признавалось необходимым действовать на войска и приготовить их на всякий случай. На первый раз положено было учредить четыре главные думы: одну в Петербурге под руководством Н. Тургенева, другую в Москве, которую поручили Ив. Алекс. Фонвизину, третью я должен был образовать в Смоленской губернии, четвертую брался Бурцев привести в порядок в Тульчине. Он уверял, что по приезде в Тульчин он первоначально объявит об уничтожении Союза благоденствия, но что вслед за тем известит всех членов, кроме приверженцев Пестеля, о существовании нового устава и что они все к нему присоединятся под его руководством.

Устав был подписан всеми присутствующими членами на совещаниях и Мих. Муравьевым, который приехал в Москву уже к самому концу наших заседаний. Обе части нового устава были переписаны в четырех экземплярах: один для Тургенева, другой для И. А. Фонвизина, третий для меня, четвертый для Бурцева. Но еще при самых первых наших совещаниях были приглашены на одно из них все члены, бывшие тогда в Москве. На этом общем совещании были князь Сергей Волконский, Комаров, Петр Колошин и многие другие. Тургенев, как наш президент, объявил всем присутствующим, что Союз благоденствия более не существует, и изложил пред ними причины его уничтожения.

Тургенев, приехавши в Петербург, объявил, что члены, бывшие на съезде в Москве, нашли необходимым прекратить действия Союза благоденствия, и потом одному только Никите Муравьеву прочел новый устав Общества, после чего из предосторожности он положил его в бутылку и засыпал табаком. Из петербургских членов деятельностью Никиты Муравьева образовалось новое Общество. Скоро потом труды по Обществу разделили с Никитою полковник князь Трубецкой и адъютант Бистрома князь Оболенский; Николай же Тургенев первое время по приезде своем в Петербург мало принимал участия в делах нового Тайного общества, хотя и не прекращал сношений со многими из членов. Непонятно, как в своем сочинении о России он мог решиться отвергать существование

Тайного общества и потом отречься от участия, которое он принимал в нем как действительный член на съезде в Москве и после на многих совещаниях в Петербурге.

В Москве, когда разъехались приезжие члены, остались только два брата Фонвизины; в Смоленской губернии я был один, если не считать Граббе, который со своим полком мог быть всегда переведен оттуда. Правда, мне поручено было принять Пассека и Петра Чаадаева при первом свидании с ними. Когда Чаадаев приехал в Москву, я предложил ему вступить в наше Общество; он на это согласился, но сказал мне, что напрасно я не принял его прежде, тогда он не вышел бы в отставку и постарался бы попасть в адъютанты к великому князю Николаю Павловичу, который, очень может быть, покровительствовал бы под рукой Тайное общество, если бы ему внушить, что это Общество может быть для него опорой в случае восшествия на престол старшего брата.

Бурцев по приезде своем в Тульчин объявил на общем совещании о несуществовании Тайного общества. Все присутствующие члены напали на него и на членов, бывших на съезде в Москве, доказывая очень справедливо, что восемь человек не имели никакого права уничтожить целое Тайное общество. Они тут же дали друг другу обещание никак не прекращать своих действий. Бурцев остался один и совершенно в стороне; он даже никому не показал нового устава и с тех пор прекратил все свои сношения с товарищами по Обществу.

Из тульчинских членов под руководством Пестеля образовалось новое Общество, которого уже явная цель была изменение образа правления в России, и с этого времени они назывались Южными, в отличие от петербургских, которые назывались Северными.

В 20-м году в Смоленской губернии был повсеместный неурожай, и в начале 21-го года везде нуждались, а в Рославльском уезде вместо хлеба ели сосновую кору и положительно умирали с голоду. Михайло Муравьев, рославльский помещик, бывший свидетелем крайней нужды, претерпеваемой в его уезде, хлопотал в Москве о средствах помочь бедным людям. Теща его, Н. Н. Шереметева, собрала ему в несколько дней пожертвований от разных лиц до 15 000. Дмитрий Давы-

дов, первый наш сахаровар, принимавший участие во всех увеселениях Москвы, на одном бале возбудил сострадание к умирающим от голоду знакомых ему дам; каждая из них тут же отдала ему в пользу бедных или турецкую свою шаль (Вяземская), или браслет, или серьги и т. д. Разумеется, что мужья их откупили вещи, пожертвованные их женами, и внесли за них деньги, которых набралось около 6000; потом при других еще пожертвованиях составилось около 30 000 для вспомоществования бедным в Рославльском уезде.

И. А. Фонвизин, коротко знакомый с князем Голицыным, московским генерал-губернатором, и много им уважаемый, отправился к нему и рассказал о бедствиях в Рославльском уезде и о бездействии тамошнего начальства. Голицын ничего про это не знал. Бывши сам человек очень добрый, он принял в этом деле живое участие и обещал от себя донести правительству, но советовал Фонвизину прежде съездить в Рославль и привезти ему оттуда подробные сведения, на которых он мог бы основаться в своем донесении. Фонвизин и я, мы отправились в Рославль; М. Муравьев уже был там.

При въезде нашем в этот уезд беспрестанно попадались нам люди, совершенно изможденные, и что многие из них умирали от нужды, в этом не было никакого сомнения. Нищие со всех сторон шли в город; каждый из них надеялся получить от городских жителей хоть небольшой кусок хлеба. Чтобы определить имена помещиков, между крестьянами которых наиболее было нищих, Фонвизин и я, мы расположились на постоялом дворе с целым мешком медных денег. Все нищие входили к нам свободно; каждому из них я давал пятак и спрашивал его имя, название его деревни и какому помещику он принадлежит; Фонвизин все это записывал. Таким образом, составился список, из которого уже можно было видеть приблизительно, в каких селениях и чьих помещиков крестьяне наиболее нуждались.

Потом мы поехали к М. Муравьеву и нашли у него Левашевых и дядю его Тютчева. Ни Левашев, ни Тютчев не были членами Тайного общества, но действовали совершенно в его смысле. Левашевы жили уединенно в деревне, занимались воспитанием своих детей и улучшением своих крестьян, входя в положение каждого из них и помогая им по возможности. У них были за-

ведены училища для крестьянских мальчиков по порядку взаимного обучения. В это время таких людей, как Левашевы и Тютчев, действующих в смысле Тайного общества и сами того не подозревая, было много в России.

Муравьев, Левашевы и Тютчев, зная своих соседей, и при помощи привезенного нами списка из Рославля могли определить, в каких местах наиболее нуждались в пособии. Они распорядились покупкою хлеба на пожертвованные в Москве деньги и раздачей его. В это время цены на хлеб необычайно возвысились: четверть ржи стоила до 25 руб. и на 30 000 руб., которые были в нашем распоряжении, можно было купить не более как 1300 четвертей, количество — незначительное в отношении с количеством нуждающихся во всем уезде, и между тем не предвиделось никаких средств прокормить народ до следующей жатвы; но и будущая жатва не обещала ничего утешительного; за недостатком зернового хлеба большая часть крестьянских полей осталась незасеянной.

В этом случае Михайло Муравьев предпринял решительную меру. Он созвал в Рославль своих знакомых и многих незнакомых помещиков и предложил им подписать бумагу к министру внутренних дел, в которой рославльские дворяне доводили до сведения его о бедственном положении сего края. Бумага эта за подписью нескольких десятков рославльских дворян пошла к министру мимо уездного предводителя, который из опасения прогневать начальство не хотел подписаться вместе с дворянами своего уезда, мимо губернского предводителя и мимо губернатора, зато она произвела сильное впечатление в Петербурге.

Тотчас был отправлен в Смоленск сенатор Мертваго и в его распоряжение было назначено миллион рублей. Он считался одним из лучших московских сенаторов, но в Смоленске он проводил время или во сне, или на обедах, или за картами, исподволь собирая сведения о наиболее нуждающихся в пособии. Видеть этого дремлющего старика, когда все около него страдало, было отвратительно.

Возвратясь в Жуково, я заехал к Пассеку и принял его в члены нашего Тайного общества. Он был этим чрезвычайно доволен; когда он бывал с Граббе, Фонвиным и со мной, он замечал, что у нас есть какая-то

от него тайна, и ему было очень неловко. Он всегда был добр до своих крестьян, но с этих пор он посвятил им все свое существование, и все его старания клонились к тому, чтобы упрочить их благосостояние. Он завел в своем имении прекрасное училище, по порядку взаимного обучения, и набрал в него взрослых ребят, предоставляя за них тем домам, к которым они принадлежали, разные выгоды. Читать мальчики учились по книжке «О правах и обязанностях гражданина», изданной при императрице Екатерине и запрещенной в последние годы царствования императора Александра. Курс ученья оканчивался тем, что мальчики переписывали каждый для себя в тетрадку и выучивали наизусть учреждения, написанные Пассеком для своих крестьян.

В этих учреждениях, между прочими правами, предоставлены были в их собственное распоряжение отдачи рекрут и все мирские сборы. Они имели свой суд и расправу. По воскресеньям избранные от мира старики собирались в конторе и разбирали тяжбы между крестьянами. Однажды Пассек за грубость послал своего камердинера с жалобой на него к старикам, и они присудили его заплатить два рубля в общественный сбор. Камердинер же этот получал от своего барина 300 рублей в год. Пассек в этом случае остался очень доволен и стариками и собой. Он вообще двадцатью годами предупредил некоторые учреждения государственных имуществ. Бывши сам уже не первой молодости и желая насладиться успехом в деле, которое было близко его сердцу, он употреблял усиленные меры для улучшения своих крестьян и истратил на них в несколько лет десятки тысяч, которые он имел в ломбарде; зато уже при нем в имении было много грамотных крестьян, и состояние их до невероятности улучшилось. Но крепостное состояние в этом деле все испортило. Теперь это имение принадлежит племянникам Пассека, и очень вероятно, что ни одно из благих его учреждений уже более не существует.

Осенью в 20-м году было в Петербурге происшествие Семеновского полка. Император Александр в это время находился на съезде в Лейбахе и узнал от Меттерниха, что любимый его полк взбунтовался; известие его сильно поразило. Семеновский полк был расформирован, и нижние чины были развезены по разным крепостям Финляндии; потом многие из них были прогна-

ны сквозь строй, другие биты кнутом и сосланы в каторжную работу, остальные посланы служить без отставки, первый батальон — в сибирские гарнизоны, второй и третий размещены по разным армейским полкам. Офицеры же следующими чинами все были выписаны в армию с запрещением давать им отпуска и принимать от них просьбу в отставку; запрещено было также представлять их к какой бы то ни было награде. Четверо из них, Вадковский, Кошкаров, Ермолаев и князь Щербатов, были отданы под суд; при этом надеялись узнать от них что-нибудь положительное о существовании Тайного общества.

На Щербатова падало более подозрений, нежели на других, по связи его со мной и короткому знакомству с лицами, подозреваемыми правительством. Он был приговорен к лишению всех прав состояния и к разжалованию в солдаты; но ему обещали совершенное прощение, если он сообщит какие-нибудь сведения о существовании Тайного общества. Сам он не принадлежал к нему; выдаясь же беспрестанно со мной, он знал многое, но наша тайна была для него священна, и он решил лучше быть невинной жертвой, нежели поступить предательски. На все задаваемые ему вопросы о Тайном обществе он отвечал, что ничего не знает. При вступлении на престол ныне царствующего императора приговор суда над Щербатовым был исполнен, и он был послан на Кавказ солдатом.

После семеновской истории император Александр поступил совершенно под влияние Меттерниха, перешел от народов, прежде усердно им защищаемых, на сторону властей, и во всех случаях почитал теперь своею обязанностью защищать священные права царей. Тут прекратилось в нем раздвоение; и в Европе и в России политические его воззрения были одни и те же. В 22-м году, по возвращении в Петербург, первым распоряжением правительства было закрыть масонские ложи и запретить в России тайные общества; со всех служащих были взяты расписки, что они не будут принадлежать к тайным обществам. Разумеется, что такое распоряжение поставило в необходимость петербургских членов быть очень осторожными, вследствие чего они редко собирались между собой, и прием новых членов почти совсем прекратился.

У императора была в руках «Зеленая книга», и он,

прочитавши ее, говорил своим приближенным, что в этом уставе Союза благоденствия все было прекрасно, но что на это несколько нельзя полагаться, что большая часть тайных обществ при начале своем имеет почти всегда только цель филантропическую, но что потом эта цель изменяется скоро и переходит в заговор против правительства. С этих пор император находился в каком-то особенном опасении тайных обществ в России. К нему беспрестанно привозили бумаги, захваченные у лиц, подозреваемых полицией. И странно, в этом случае не попался ни один из действительных членов. Это самое еще более смущало императора. Он был уверен, что устрашающее его Тайное общество было чрезвычайно сильно, и сказал однажды князю П. М. Волконскому, желавшему его успокоить на этот счет: «Ты ничего не понимаешь, эти люди могут кого хотят высечь или уронить в общем мнении; к тому же они имеют огромные средства; в прошлом году, во время неурожая в Смоленской губернии, они кормили целые уезды». И при этом назвал меня, Пассека, Фонвизина, Михаила Муравьева и Левашева. Все это передал мне Павел Колошин, приехавший из Петербурга по поручению Н. Тургенева; я был тогда случайно один в Москве. И. А. Фонвизин жил в подмосковной, а М. А. уехал в свою костромскую деревню. Тургенев заказывал нам с Колошиным быть как можно осторожнее после того, что император назвал некоторых из нас.

В 22-м году, по формировании нового Семеновского полка, вся гвардия выступила из Петербурга в поход, под предлогом предстоящей будто бы войны, а в самом деле потому, что опасались пребывания гвардии в столице. Васильчиков уже не командовал гвардейским корпусом. Чтобы уменьшить свою ответственность по случаю истории Семеновского полка, он уверял императора, что не в одной гвардии, но и в армии распространен дух неповиновения, и в доказательство подал ему письмо своего брата, командира гусарской бригады, в состав которой входили полки Лубенский и Гродненский. В этом письме Васильчиков жаловался старшему своему брату на Граббе, описывая все случаи, в которых его подчиненный оказывал ему всевозможные неуважения. Меньшой этот Васильчиков был плохой человек. Дибич, бывши еще начальником штаба 1-й армии и проезжая через Дорогобуж, просил убедительно Граббе,

для пользы службы, во фрунте вести себя пристойно с бригадным своим командиром, прибавив: в комнате — дело другое, и сделал рукой движение, которое выражало: в комнате, пожалуй, можно его и поколотить.

Письмо Васильчикова сильно подействовало на императора. За несколько месяцев перед тем Граббе со своим полком из Дорогобужа был переведен не помню в какую губернию. Совершенно неожиданно получил он бумагу от начальника штаба его императорского величества с надписью: отставному полковнику Граббе. Князь Волконский писал к нему, что поведение его с бригадным командиром заслуживает примерного наказания, но что государь император во уважение прошедшей отличной его службы приказал не подвергать его военному суду и повелел ему с получением сего сдать полк старшему по себе и отправиться на жительство в Ярославль, не заезжая ни в одну столицу. Случившиеся тут офицеры были так поражены неожиданным распоряжением, что спросили у Граббе, что он прикажет им делать. Он их успокоил и, сдавши в 24 часа полк подполковнику Курилову, отправился с своим денщиком Иваном, едва имея с чем доехать до Ярославля. Он командовал Лубенским полком почти шесть лет; в это время на его месте всякий дошлый полковой командир составил бы себе огромное состояние. Некоторые из коротких приятелей Граббе сложились и доставляли ему годовое содержание, без чего он решительно не имел чем существовать в Ярославле.

Поход гвардии имел совершенно противные последствия, нежели каких от него ожидал император. Офицеры всех полков, более свободные от службы, чем в Петербурге, и не подвергаясь такому строгому надзору, как в столице, часто общались между собою, и много новых членов поступило в Тайное общество. Никита Муравьев в Витебске написал свою конституцию для России; это был вкратце снимок с английской конституции. В 23-м году, по возвращении гвардии в Петербург, Пущин принял Рылеева, с поступлением которого деятельность петербургских членов очень увеличилась. Много новых членов было принято.

В 22-м году генерал Ермолов, вызванный с Кавказа начальствовать над отрядом, назначенным против восставших неаполитанцев, прожил некоторое время в Царском Селе и всякий день видался с императором.

Неаполитанцы были уничтожены австрийцами прежде, нежели наш вспомогательный отряд двинулся с места, и Ермолов возвратился на Кавказ. В Москве, увидев приехавшего к нему М. Фонвизина, который был у него адъютантом, он воскликнул: «Поди сюда, величайший карбонари». Фонвизин не знал, как понимать такого рода приветствие. Ермолов прибавил: «Я ничего не хочу знать, что у вас делается, но скажу тебе, что он вас так боится, как бы я желал, чтобы он меня боялся». Болезненное воображение императора, конечно, преувеличивало средства и могущество Тайного общества, и потому понятно, что, не имея никаких положительных данных даже насчет существования этого Общества, ему трудно было приступить к решительным мерам против врага невидимого. Члены Тайного общества ничем резко не отличались от других. В это время свободное выражение мыслей было принадлежностью не только всякого порядочного человека, но и всякого, кто хотел казаться порядочным человеком.

Император, преследуемый призраком Тайного общества, все более и более становился недоверчивым, даже к людям, в преданности которых он, казалось, не мог сомневаться. Генерал-адъютант князь Меншиков, начальник канцелярии главного штаба, подозреваемый императором в близком сношении с людьми, опасными для правительства, лишился своего места. Князь П. М. Волконский, начальник штаба его императорского величества, находившийся неотлучно при императоре с самого восшествия его на престол, лишился также своего места и на некоторое время отдалился от двора. Причина такой немилости к Волконскому заключалась в том, что он никак не соглашался ехать в Грузино на поклонение Аракчееву. Князь Александр Николаевич Голицын, министр просвещения и духовных дел, с самой его молодости непрерывно пользовавшийся милостями и доверием императора, внезапно был отставлен от своей должности.

В это время Аракчеев сблизил монаха Фотия с императором. Фотий был человек не совсем пошлый: малообразованный, изувер с пламенным воображением, он сильно действовал, особенно на женщин, смелостью и неожиданностью своих выражений. Скоро он овладел полным доверием императора, доказав ему, что благочестие и набожность светских людей, в том числе и кня-

зя Голицына, суть не что иное, как отступничество от истинного православия, которое одно ведет к вечному спасению. С этих пор император стал усердно посещать монастыри, беседовал с схимниками, посылал значительные вклады в разные обители и начал строго соблюдать все обряды греко-российской церкви. Многие книги, напечатанные на счет правительства, были запрещены, в том числе и «Естественное право» Куницына, и книжка, сочиненная Филаретом, теперешним митрополитом московским. За эту книжку, напечатанную по именному повелению, а потом у всех отобранную, и пострадал князь Голицын.

Цензура сделалась крайне стеснительна. В университетах многие кафедры уничтожены; во всех училищах запрещено учить мифологию древних, так как во всех высших заведениях преподавалась древняя словесность. В последние годы своего царствования император сделался почти нелюдимым. В путешествиях своих он не заезжал ни в один губернский город, и для него прокладывалась большая дорога и устраивалась по местам диким и по которым прежде не было никакого проезда.

В конце 22-го года я женился и весь 23-й год прожил очень уединенно в подмосковной тещи моей Н. Н. Шереметевой. Оба Фонвизины были женаты и жили тоже в своих подмосковных, и я даже с ними очень редко видался. О том, что делалось в Тульчине, ни они, ни я почти ничего не знали. Летом в 23-м году мне случилось приехать в Москву ненадолго; тут, познакомившись с полковником Копыловым, перешедшим из гвардейской артиллерии на Кавказ к Ермолову, и видя его готовность действовать в смысле Тайного общества, я принял его в наше Общество. Через несколько дней после того заехал ко мне Ив. Ал. Фонвизин и пригласил меня приехать к нему в определенный час, в который он назначил свидание с Бестужевым-Рюминым.

Бестужев ему сказал, что он имеет важное поручение от Сергея Муравьева и других южных членов передать тем из нас, которых застанет в Москве. Я знал этого Бестужева взбалмошным и совершенно бестолковым мальчиком. Увидев меня, с улыбкой на устах он повторил мне то же, что говорил прежде Фонвизину. Я ему на это отвечал, что, зная его, никак не поверю, что Сергей Муравьев дал какое-нибудь важное поруче-

ние к нам, и объявил ему, что мы не войдем с ним ни в какие сношения. Он на это улыбнулся так же неразумно, как и в первый раз, и затем удалился. После оказалось, что он точно приезжал от Сергея Муравьева с предложением к нам вступить в заговор, затеваемый на Юге против императора. Странное существо был этот Бестужев-Рюмин. Если про него нельзя было сказать, что он решительно глуп, то в нем беспрестанно проявлялось что-то похожее на недоумка. В обыкновенной жизни он беспрестанно говорил самые невыносимые пошлости и на каждом шагу делал самые непозволительные промахи. Выписанный вместе с другими из старого Семеновского полка, он попал в Полтавский полк, которым командовал полковник Тизенгаузен. В Киеве Раевские, сыновья генерала, и Сергей Муравьев часто подымали его на смех.

Матвей Муравьев однажды стал упрекать брата своего за поведение его с Бестужевым, доказывая ему, что дурачить Бестужева вместе с Раевскими непристойно. Сергей в этом согласился, и, чтобы загладить вину свою перед юношей, прежним своим сослуживцем, он особенно стал ласкать его. Бестужев привязался к Сергею Муравьеву с неограниченной преданностью; впоследствии и Сергей Муравьев страстно полюбил его.

Бестужев на Юге был принят в Тайное общество, в котором в это время происходило сильное брожение и требовались люди на все готовые. Тут Бестужев попал совершенно на свое место. Решительный до безумия в своих действиях, он не ставил никогда в расчет препятствий, какие могли встретиться в предпринимаемом им деле, и шел всегда вперед без оглядки. В Киеве на контрактах он нашел возможность первым войти в сношение с варшавским Тайным обществом. Узнавши через прежнего своего сослуживца Тютчева о существовании Тайного общества соединенных славян, к которому Тютчев принадлежал, и что начальник этого Тайного общества артиллерии поручик Петр Борисов, Бестужев поспешил с этим важным открытием к Сергею Муравьеву, потом отправился в 8-ю дивизию к Борисову и уговорил его присоединиться с своими славянами к Южному тайному обществу.

24 и 25-го года я жил в Жукове, ни с кем не видаясь, кроме Пассека, Мих. Муравьева и Левашевых, и то довольно редко по дальности между нами расстоя-

ния. Я пристально занялся сельским хозяйством и часть моих полей уже обрабатывал наемными людьми. Я мог надеяться, что при улучшении состояния моих крестьян они скоро найдут возможность платить мне оброк, часть которого ежегодно учитывалась бы на покупку той земли, какою они пользовались, и что со временем они, совершенно освободясь, будут иметь в собственность нужную им землю.

В конце 25-го года я отправился с своим семейством в Москву и прибыл туда 8 декабря. На пути я узнал о кончине императора Александра в Таганроге и о приносимой везде присяге цесаревичу Константину Павловичу. Известие это меня более смутило, нежели этого можно было ожидать. Теперь с горестным чувством я представил бедственное положение России под управлением нового царя. Конечно, последние годы царствования императора Александра были жалкие годы для России; но он имел за себя прошедшее; по вступлении на престол в продолжение двенадцати лет он усердно подвизался для блага своего отечества, и благие его усилия по всем частям двинули Россию далеко вперед.

Цесаревич же славный наездник, первый фрунтовик во всей империи, ничего и никогда не хотел знать, кроме солдатиков. Всем был известен его неистовый нрав и дикий обычай. Чего же можно было от него ожидать доброго для России?

В Москве, кроме Фонвизиных и Алексея Шереметева, я нашел и многих других членов Тайного общества: полковника Митькова, полковника Нарышкина, Семенова, служившего в канцелярии князя Голицына, Нелединского, адъютанта цесаревича, и многих других. Мы иногда собирались или у Фонвизиных, или у Митькова. На этих совещаниях все присутствующие члены, казалось, были очень одушевлены и как будто ожидали чего-то торжественного и решительного. Нарышкин, недавно приехавший с Юга, уверял, что там все готово к восстанию и что южные члены имеют за себя огромное число штыков. Митьков с своей стороны также уверял, что петербургские члены могут в случае нужды рассчитывать на большую часть гвардейских полков. 15 декабря я целый день был дома и в этот день никого не видел.

Алексей Шереметев возвратился домой поздно ночью и сообщил мне полученные известия об отречении

цесаревича, и что на место его взойдет на престол Николай Павлович; потом он рассказал мне, что Семенов получил письмо от 12-го, в котором Пущин писал к нему, что они в Петербурге решились сами не присягать и не допустить гвардейские полки до присяги; вместе с тем Пущин предлагал членам, находившимся тогда в Москве, содействовать петербургским членам, насколько это будет для них возможно.

Я очень удивился, что М. А. Фонвизин не сообщил мне в течение дня таких важных известий. Причина тому были дворянские выборы, на которых он очень хлопотал вместе с своим братом. Несмотря на то, что было уже за полночь, мы с Алексеем Шереметевым поехали к Фонвизиным; я его разбудил и уговорил его вместе с нами ехать к полковнику Митькову, который казался мне человеком весьма решительным; мы его также разбудили. Надо было определить, что мы могли сделать в Москве при теперешних обстоятельствах.

Я предложил Фонвизину ехать тотчас же домой, надеть свой генеральский мундир, потом отправиться в Хамовнические казармы и поднять войска, в них квартирующие, под каким бы то ни было предлогом. Митькову я предложил ехать вместе со мной к полковнику Гурко, начальнику штаба 5-го корпуса. Я с ним был довольно хорошо знаком еще в Семеновском полку и знал, что он принадлежал к Союзу благоденствия. Можно было надеяться уговорить Гурко действовать вместе с нами. Тогда при отряде войск, выведенных Фонвизиним, в эту же ночь мы бы арестовали корпусного командира графа Толстого и градоначальника московского князя Голицына, а потом и других лиц, которые могли бы противодействовать восстанию.

Алексей Шереметев, как адъютант Толстого, должен был ехать к полкам, квартирующим в окрестностях Москвы, и приказать им именем корпусного командира идти в Москву. На походе Шереметев, полковник Нарышкин и несколько офицеров, служивших в старом Семеновском полку, должны были приготовить войска к восстанию, и можно было надеяться, что, пришедши в Москву, они присоединились бы к войскам уже восставшим.

На другой день мы непременно должны были получить известие о том, что совершилось в Петербурге. Ес-

ли бы предприятие петербургским членам удалось, то мы нашим содействием в Москве дополнили бы их успех; в случае же неудачи в Петербурге мы нашей попыткой в Москве заключили бы наше поприще, исполнив свои обязанности до конца и к Тайному обществу и к своим товарищам. Мы беседовали у Митькова до четырех часов пополудни, и мои собеседники единогласно заключили, что мы четверо не имеем никакого права приступить к такому важному предприятию. На завтрашний день вечером назначено было всем съехаться у Митькова и пригласить на это совещание Михайлу Орлова.

На другой день утром я сидел у Фонвизина, когда вбежал к нему человек с известием, что великий князь Николай Павлович приехал в Москву в открытых санях и прямо въехал в дом военного губернатора. Фонвизин был уверен, что великий князь бежал из Петербурга, где все восстало против него. Оказалось, что прискакал в открытых санях генерал-адъютант граф Комаровский с приказанием привести Москву к присяге Николаю Павловичу. Новый император собственноручно написал князю Голицыну: мы здесь только что потушили пожар, примите все нужные меры, чтобы у вас не случилось чего-нибудь подобного.

В тот же день, когда собрались для принесения присяги в Успенский собор, преосвященный Филарет вынес из алтаря небольшой золотой ящик и сказал, что в этом ковчеге заключается залог будущего счастья России; потом, открыв ящик, он прочел духовное завещание покойного императора Александра Павловича, в котором он назначил наследником престола великого князя Николая Павловича. При этом завещании было отречение цесаревича. Филарет его прочел. После чего все бывшие в соборе принесли присягу императору Николаю Павловичу, а потом и вся Москва присягнула ему.

Поутру Фонвизин просил меня непременно побывать у Орлова и привести его вечером к Митькову; я отправился к нему под Донской. Всем уже были известны происшествия 14 декабря в Петербурге; знали также, что все действующие лица в этом происшествии сидели в крепости. Приехав к Орлову, я сказал ему:

«Eh bien, général, tout est fini».

Он протянул мне руку и с какой-то уверенностью отвечал:

«Comment fini? Ce n'est que le commencement de la fin»¹.

Тут его позвали наверх к графине Орловой; он сказал, что воротится через несколько минут, и просил меня непременно дожидаться его. Во время его отсутствия вошел человек, высокий, толстый, рыжий, в изношенном адъютантском мундире без аксельбанта и вообще наружности непривлекательной. Я молчал, он также. Орлов, возвратившись, сказал: «А! Муханов, здравствуй; вы не знакомы?» — и познакомил нас. Пришлось протянуть руку рыжему человеку. Ни Орлов, ни я, мы никого не знали лично из членов, действовавших 14 декабря.

Муханов был со всеми коротко знаком. Он нам рассказывал подробности про каждого из них и наконец сказал: «Это ужасно лишиться таких товарищей; во что бы то ни стало надо их выручить: надо ехать в Петербург и убить его».

Орлов встал с своего места, подошел к Муханову, взял его за ухо и чмокнул его в лоб. Мне казалось все это странно. Перед приходом Муханова я уговаривал Орлова поехать к Митькову, где все его ожидали. На это приглашение он отвечал, что никак не может удовлетворить моему желанию; потому что он сказался больным, чтобы не присягать сегодня; а между тем он был в мундире, звезде и ленте, и можно было подумать, что он возвратился от присяги.

Видя, что с ним не добиться никакого толку, я подошел к нему и сказал, что так как в теперешних обстоятельствах сношения мои с ним могут подвергнуть его опасности, то, чтобы успокоить его, я обещаюсь никогда не посещать его. Он крепко пожал мне руку и обнял меня, но, прежде чем мы расстались, он обратился к Муханову и сказал: «Поезжай, Муханов, к Митькову». Потом сказал мне: «Везите его туда, им все останутся довольны».

Такое предложение меня ужасно удивило, и на этот раз я совершенно потерялся. Вместо того чтобы сказать Орлову откровенно, что я не могу вести Муханова, которого я совершенно не знаю, к Митькову, который его также не знает, я вышел вместе с Мухановым, сел с ним в мои сани и повез его на совещание. Митьков

¹ Ну вот, генерал, все кончено. <...> Как это кончено? Это только начало конца (фр.).

принял его вежливо; Муханов почти никого не знал из присутствующих, но через полчаса он уже разглагольствовал, как будто был в кругу самых коротких своих приятелей. Он был знаком с Рылеевым, Пушным, Оболенским, Ал. Бестужевым и многими другими петербургскими членами, принявшими участие в восстании. Все слушали его со вниманием: все это он опять заключил предложением ехать в Петербург, чтобы выручить из крепости товарищей и убить царя. Для этого он находил удобным сделать в эфесе шпаги очень маленький пистолет и на выходе, нагнув шпагу, выстрелить в императора. Предложение самого предприятия и способ привести его в исполнение были так безумны, что присутствующие слушали Муханова молча и без малейшего возражения.

В вечер этот у Митькова собрались в последний раз на совещание некоторые из членов Тайного общества, существовавшего почти 10 лет. В это время в Петербурге все уже было кончено, и в Тульчине начались аресты. В Москве первый был арестован и отвезен в Петропавловскую крепость М. Орлов, потом полковник Митьков и многие другие. Меня арестовали не раньше 10 января 1826 г.

II

После 14 декабря многие из членов Тайного общества были арестованы в Петербурге; я оставался на свободе до 10 января. В этот день вечером я спокойно пил дома чай, вдруг вызвал меня полицеймейстер Обрезков и объявил, что ему надобно переговорить со мной наедине. Я провел его к себе в комнату. Он требовал от меня моих бумаг. Я объявил ему, что у меня никаких бумаг нет, а что если бы и были такие, которые могли быть для него любопытны, то я бы имел время их сжечь. Я ожидал ареста и нарочно положил на стол листок с исчислениями о выкупе крепостных крестьян в России, надеясь, что этот листок возьмут вместе со мной, что он, может быть, обратит на себя внимание правительства. Я предложил Обрезкову взять эти исчисления, но он отвечал мне, что эти цифры ему несколько не нужны. После этого он посоветовал мне одеться потеплее и пригласил ехать с собой. К отъезду у меня было уже все приготовлено заранее.

Я зашел в сопровождении полицеймейстера проститься с женой, сыном и тещей. Обрезков отвез меня к обер-полицеймейстеру Дмитрию Ивановичу Шульгину, который встретил меня словами: «Вы много повредили себе тем, что сожгли свои бумаги». Я отвечал, что не жег никаких бумаг, но что, если бы имел опасные для себя бумаги, то, зная, что каждый день арестуются разные лица, я имел бы все время сжечь их. «Не может быть, чтобы у вас не было каких писмен,— сказал мне на это обер-полицеймейстер,— потому что вас учили читать и писать; вы, верно, получаете и какие-нибудь письма и отвечаете на них». «У меня лежат на столе,— сказал я ему,— два письма, одно от сестры, другое из деревни от старосты».

Шульгин с радостью сказал мне, что больше ничего и не нужно, и тотчас послал Обрезкова за этими письмами. Когда я остался вдвоем с Шульгиным, мы разговорились с ним, и он мне признался, что ему необходимо было хоть одно письмо, потому что в бумаге, при которой должны были меня отправить и которая была подписана князем Голицыным, было сказано, что со мной отправляются найденные у меня бумаги.

Вскоре Обрезков возвратился с письмами и сочинением Тэера, которое он, будучи пьян, захватил у меня на столе.

Я был отправлен в Петербург с частным приставом, который и привез меня прямо в главный штаб. Тут какой-то адъютант повел меня к Потапову. Потапов был очень вежлив и отправил меня в Зимний дворец к с.-петербургскому коменданту Башуцкому. Башуцкий распорядился, и меня отвели в одну из комнат нижнего этажа Зимнего дворца. У дверей и окна поставлено было по солдату с обнаженными саблями. Здесь провел я ночь и другой день. Вечером повели меня наверх, и к крайнему моему удивлению, я очутился в Эрмитаже. В огромной зале, почти в углу, на том месте, где висел портрет Климента IX, стоял раскрытый ломберный стол и за ним сидел в мундире генерал Левашев. Он пригласил меня сесть против него и начал вопросом: «Принадлежали ли вы к Тайному обществу?» Я отвечал утвердительно. Далее он спросил: «Какие вам известны действия Тайного общества, к которому вы принадлежали?». Я отвечал, что собственно действий Тайного общества я никаких не знаю.

— Милостивый государь,— сказал мне тогда Левашев,— не думайте, что нам ничего не было известно. Происшествия 14 декабря были только преждевременной вспышкой, и вы должны были еще в 1817 году нанести удар императору Александру.

Это заставило меня призадуматься; я не полагал, чтобы совещание, бывшее в 17-м году в Москве, могло быть известно.

— Я даже вам расскажу,— продолжал Левашев,— подробности намереваемого вами цареубийства; из числа бывших тогда на совещании ваших товарищей на вас пал жребий.

— Ваше превосходительство, это не совсем справедливо: я вызвался сам нанести удар императору и не хотел уступить этой чести никому из моих товарищей.

Левашев стал записывать мои слова.

— Теперь, милостивый государь,— продолжал он,— не угодно ли вам будет назвать тех из ваших товарищей, которые были на этом совещании.

— Этого я никак не могу сделать, потому что, вступая в Тайное общество, я дал обещание никого не называть.

— Так вас заставят назвать их. Я приступаю к обязанности судьи и скажу вам, что в России есть пытка.

— Очень благодарен вашему превосходительству за эту доверенность; но должен вам сказать, что теперь еще более, нежели прежде, я чувствую моею обязанностью никого не называть.

— Pour cette fois je ne vous parle pas comme votre juge, mais comme un gentil homme votre égal, et je ne conçois pas, pourquoi vous voulez être martyr pour des gens, qui vous ont trahi et vous ont nommé.

— Je né suis pas ici pour juger la conduite de mes camarades, et je ne dois penser qu'à remplir les engagements que j'ai pris en entrant dans la Société!¹

— Все ваши товарищи показывают, что цель Общества была заменить самодержавие представительным правлением.

¹ — На этот раз я говорю с вами не как судья, но как равный вам дворянин, и не понимаю, почему вы хотите быть мучеником ради людей, которые вас предали и вас называли.— Я здесь не для того, чтобы судить о поведении моих товарищей, и должен думать лишь о том, чтобы исполнить обязательства, которые я принял на себя, вступая в Общество (фр.).

— Это может быть,— отвечал я.

— Что вы знаете про конституцию, которую предполагалось ввести в России?

— Про это я решительно ничего не знаю.

Действительно, про конституцию Никиты Муравьева я не знал ничего в то время, и хотя, в бытность мою в Тульчине, Пестель и читал мне отрывки из «Русской Правды», но, сколько могу припомнить, об образовании волостных и сельских обществ.

— Но какие же были ваши действия по Обществу? — продолжал Левашев.

— Я всего более занимался отысканием способа уничтожить крепостное состояние в России.

— Что же вы можете сказать об этом?

— То, что это такой узел, который должен быть развязан правительством, или, в противном случае, насильственно развязанный, он может иметь самые погубные последствия.

— Но что же может сделать тут правительство?

— Оно может выкупить крестьян у помещиков.

— Это невозможно! Вы сами знаете, как русское правительство скудно деньгами.

Затем последовало опять предложение назвать членов Тайного общества, и после отказа Левашев дал мне подписать измаранный им почтовый листок; я подписал его, не читая. Левашев пригласил меня выйти. Я вышел в ту залу, в которой висела картина Сальватора Розы «Блудный сын». При допросе Левашева мне было довольно легко, и я во все время допроса любовался «Святою фамилией» Доминикина; но когда я вышел в другую комнату, где ожидал меня фельдъегерь, и когда остался с ним вдвоем, то угрозы пытки в первый раз смутили меня. Минут через десять дверь отворилась, и Левашев сделал мне знак войти в залу, в которой был допрос. Возле ломберного стола стоял новый император. Он сказал мне, чтобы я подошел ближе, и начал таким образом:

— Вы нарушили вашу присягу?

— Виноват, государь.

— Что вас ожидает на том свете? Проклятие. Мнение людей вы можете презирать, но что ожидает вас на том свете, должно вас ужаснуть. Впрочем, я не хочу вас окончательно губить: я пришлю к вам священника. Что же вы мне ничего не отвечаете?

— Что вам угодно, государь, от меня?

— Я, кажется, говорю вам довольно ясно; если вы не хотите губить ваше семейство и чтобы с вами обращались, как с свиньей, то вы должны во всем признаться.

— Я дал слово не называть никого; все же, что знал про себя, я уже сказал его превосходительству,— ответил я, указывая на Левашева, стоящего поодаль в почтительном положении.

— Что вы мне с его превосходительством и с вашим мерзким честным словом!

— Назвать, государь, я никого не могу.

Новый император отскочил три шага назад, протянул ко мне руку и сказал: «Заковать его так, чтобы он пошевелиться не мог».

Во время этого второго допроса я был спокоен; я боялся сначала, что царь уничтожит меня, говоря умеренно и с участием, что он нападает на слабые и ребяческие стороны Общества, что он победит великодушием. Я был спокоен, потому что во время допроса был сильнее его; но когда по знаку Левашева я вышел к фельдъегерю и фельдъегерь повез меня в крепость, то мне еще более прежнего стала приходить мысль о пытке; я был уверен, что новый император не произнес слово «пытка» только потому, что считал это для себя непристойным.

Фельдъегерь привез меня к коменданту Сукину; его и меня привели в небольшую комнату, в которой была устроена церковь. Воображение мое было сильно поражено; прислуга, по случаю траура одетая в черное, предвещала что-то недоброе. С фельдъегерем просидел я с полчаса; он по временам зевал, закрывая рот рукою, а я молил об одном, чтобы бог дал мне силы перенести пытку. Наконец, в ближних комнатах послышался звук железа и приближение многих людей. Впереди всех появился комендант с своей деревянной ногой; он подошел к свечке, поднес к ней листок почтовой бумаги и сказал с расстановкой: «Государь приказал заковать тебя».

На меня кинулись несколько человек, посадили меня на стул и стали надевать ручные и ножные железа. Радость моя была невыразима; я был убежден, что над мной совершилось чудо: железо еще не совсем пытка. Меня передали плац-адъютанту Трусову; он свя-

зал вместе два конца своего носового платка, надел его мне на голову и повез в Алексеевский равелин. Переезжая подъемный мост, я вспомнил знаменитый стих: «Оставьте всякую надежду вы, которые сюда входите». Про этот равелин говорили, что в него сажают только «забытых» и что из него никто никогда не выходил. Из саней меня вынули солдаты, принадлежащие к команде Алексеевского равелина, и ввели меня в 1-й номер. Тут я увидел семидесятилетнего старика, главного начальника равелина, подчиненного непосредственно императору.

С меня сняли железа, раздели, надели толстую рубашку в лохмотьях и такие же панталоны; потом комендант стал на колени, надел на меня снятые железа, обернул наручники тряпкой и надел их, спрашивая, могу ли я так писать. Я сказал, что могу. После этого комендант пожелал мне доброй ночи, сказав: «Божья милость всех нас спасет». Все вышли, дверь затворилась, и замок щелкнул два раза.

Комната, в которую посадили меня, была 6 шагов длины и 4 ширины. Стены после наводнения 1824 г. были покрыты пятнами; стекла были выкрашены белой краской, и внутри от них была вделана в окно крепкая железная решетка. Около окна в углу стояла кровать, на ней был тюфяк и гошпитальное бумажное одеяло. Возле кровати стоял маленький столик, на нем кружка с водою, на кружке были вырезаны буквы А. Р. В другом углу, против кровати, была печь. В третьем углу, против печи, столик. Кроме того, было еще два стула и на одном из них ночник. Когда я остался один, я был совершенно счастлив: пытка миновалась на этот раз, я имел время собраться с духом и даже спрашивал у себя, что они думали произвести надо мной надетыми на меня железами, которые, как я узнал после, весили 22 фунта. В 9 часов вечера принесли ужинать, причем солдат, исполнявший должность дворецкого, каждый раз очень вежливо кланялся. Не евши более двух суток, я поел щей с большим удовольствием. Ходить по комнате мне было нельзя, потому что в железах это было неудобно, и я опасался, что звук желез произведет неприятное чувство в соседях. Я лег спать и спал бы очень спокойно, ежели бы порой не пробуждал меня наручники.

На другой день, по заведенному в равелине порядку,

поутру явился комендант рavelина в сопровождении унтер-офицера и ефрейтора. Он спросил о моем здоровье и отправился далее по казематам. Все утро я не вставал с постели; часов в 12 услышал я приближающиеся к двери шаги и сделанный почти шепотом вопрос: «Кто здесь сидит?» На этот вопрос отвечено «Дмитриев». Дверь растворилась и взошел рослый, старый и белый, как лунь, протопоп Петропавловского собора Стахий. Я с ногами сидел на кровати. Он взял стул и, проговорив что-то насчет моего жалкого положения, сказал, что его прислал государь. Затем начался формальный допрос и увещание:

— Всякий ли год бываете у исповеди и святого причастия?

— Я не исповедывался и не причащался 15 лет.

— Конечно, это случилось потому, что вы были заняты обязанностями службы и не имели времени исполнить этого христианского долга?

— Я уже восемь лет как в отставке и не исповедывался и не причащался потому, что не хотел исполнять это как обряд, зная, что в России более нежели где-нибудь оказывают терпимость к религиозным мнениям; словом, я не христианин.

Стахий увещевал меня, как умел, и наконец напомнил о том, что ожидает меня на том свете.

— Если вы верите в божественное милосердие,— сказал я ему,— то вы должны быть уверены, что мы все будем прощены: и вы, и я, и мои судьи.

Этот старик был добрый человек; он заплакал и сказал мне, что ему очень жалко, что он не может быть мне полезен. Тем наше свидание и кончилось. Стахий вышел. Воображение мое разыгрывалось более и более и по временам доходило до какой-то восторженности; когда появился Стахий, он мне напомнил собой инквизитора в «Дон-Карлосе», но после разговора я узнал в нем весьма простого русского попа. После его ухода, вместо обеда, ефрейтор с обыкновенной вежливостью принес кусок черного хлеба, за который я его поблагодарил также вежливо. Этот день прошел без дальнейших приключений.

На третий день поутру (16 января) взошел ко мне с обыкновенной свитой плац-адъютант Трусов. Кроме священника, все должны были входить в каземат в сопровождении ефрейтора и унтер-офицера. Тру-

сов принес мне трубку и табак. Узнавши от меня, что они не принадлежат мне, он унес их назад. В то время я никак не догадался, что это было что-то вроде искушения. В тот же день вечером неожиданно распахнулись двери, и ко мне вошел еще более рослый, чем Стахий, протопоп Казанского собора П. Н. Мысловский. Приемы его были совсем другие: он бросился ко мне на шею, обнял меня с нежностью и просил, чтобы я переносил свое положение с терпением и чтобы я помнил, как страдали апостолы и первые отцы церкви.

— Батюшка,— спросил я его,— вы пришли ко мне по поручению правительства?

Это его несколько озадачило.

— Конечно, без позволения правительства я не мог бы посетить вас,— отвечал он,— но в вашем положении вы бы, вероятно, обрадовались, ежели каким-нибудь образом забежала к вам даже собака, и потому я полагал, что мое посещение не может быть излишним.

— Конечно, в моем положении посещение человека, который бы пришел ко мне побеседовать, могло быть для меня очень приятно, но вы священник, и поэтому я почитаю своею обязанностью на первый раз нашего знакомства объяснить с вами откровенно. Как священник, вы не можете доставить мне никакого утешения, тогда как для некоторых из моих товарищей посещения ваши могут быть очень утешительны, и вы можете облегчить их положение.

— Мне нет дела,— отвечал Мысловский,— какой вы веры; я знаю только, что вы страдаете, и очень буду счастлив, ежели мои посещения не как священника, а как человека могут быть для вас хоть сколько-нибудь приятны.

После такого объяснения я подал ему руку и поблагодарил его.

Он являлся ко мне потом всякий день, и в наших разговорах не было и речи о религии. Вел себя он со мной просто и без малейших фраз. Пройдя пешком от Казанского собора до крепости и обойдя много казематов, он ел с большим аппетитом ломоть решетного хлеба, запивая его славной невской водой, которую впоследствии мы называли нашим шампанским.

Кажется, на 7-й день моего пребывания в равелине я услышал очень явственно шаги двух человек, подхо-

дивших к моей двери. В двери было небольшое стеклянное окошко, изнутри загороженное железной решеткой, а снаружи закрытое зеленым фланелевым мешком. Обыкновенно часовые подходили к этому окну в валеных башмаках и едва раздвигали мешок, чтобы осмотреть каземат, так что почти никогда нельзя было заметить их приближения и осмотра. На этот раз весь мешок был поднят, и я мог явственно видеть ус и часть лица Левашева, который сказал кому-то: «Celui-ci a les fers aux bras et aux pieds»¹.

Меня уверяли впоследствии, что другой был царь, что не совсем вероятно, но очень может быть, что это был великий князь Михаил Павлович. В этот вечер, через три номера от меня, против обыкновенной тишины в равелине происходил довольно долго продолжавшийся шум. Я узнал от Мысловского, что в эту ночь вынесли из равелина несчастного Булатова, полоумного и полуживого. В продолжение 8 дней ни ласки, ни угрозы не могли заставить его съесть что-нибудь. Его отвезли в сухопутный госпиталь, где он на другой или на третий день умер. Перед смертью ему было дозволено свидание с двумя малолетними дочерьми, страстно им любимыми. Дочери не узнали его и убежали от него с ужасом.

На другой день вечером, после того как все двери были уже заперты, взошел ко мне тихо ефрейтор и подал мне крупчатую булку; он просил меня от имени офицера непременно съесть её всю, потому что если на другое утро найдут у меня хоть кусочек этой булки, то офицеру может быть за это худо. Я, со своей стороны, просил ефрейтора унести булку, но он оставил её на столе и ушел. Мне ничего другого не оставалось, как съесть ее, хоть есть мне вовсе не хотелось. Последствием такой любезности со стороны офицера было то, что у меня сделались жестокие спазмы в желудке; я простонал целую ночь, и только утром меня облегчила сильная рвота.

При обыкновенном утреннем посещении явился ко мне крепостной доктор и спросил меня о моем здоровье. Я сказал, что у меня были спазмы, но что теперь мне лучше. Он советовал мне воздержаться от сухой пищи, на что я ему отвечал, что я всегда запиваю хлеб водой.

¹ У этого — железа на руках и ногах (фр.).

Часа через два взошел ко мне петропавловский комендант Сукин; изъявив предварительно сожаление о моем положении, он со слезами на глазах просил меня сжалиться над собой и назвать всех своих товарищей. Я отвечал ему, что назвать своих товарищей ни для него, ни для кого на свете я не могу. Впрочем, я был тронут слезами старика, и мне было жаль, что я не имел возможности сделать ему приятного. Он много распространился о том, какой у нас добрый царь, и называл его даже ангелом. Я отвечал ему: «Дай бог, чтобы это было правда».

— Вы затеяли пустое,— говорил он,— Россия обширный край, который может управляться только самодержавным царем. Если бы даже и удалось 14-е, то за ним последовало бы столько беспорядков, что едва ли через 10 лет все пришло бы в порядок.

— Мы никогда и не предполагали,— отвечал я ему,— устроить все с первого разу.

Во все это время я сидел с ногами на кровати, а старик стоял передо мной на своей деревянной ноге. Окончив свои рассуждения, он сказал: «Ну, несмотря на ваше упорство, я велю вам дать обедать. А так как вы давно не употребляли скоромной пищи, то я велю прежде напоить вас чаем». Я уверял его, что это несколько не нужно, но он, не слушая меня, повторил еще раз, что велит напоить меня чаем и принести мне обедать. В этот же день мне дали очень жидкого чаю и щей с говядиной, которых я почти не ел. Когда вечером пришел ко мне Мысловский, я рассказал ему все бывшее между мной и комендантом и чистосердечно отозвался о нем, как о весьма добром человеке. На это Мысловский заметил, что главная доброта коменданта состоит в желании, чтобы я не умер от сухой еды, как умер Булатов от голоду, и что вообще члены следственной комиссии очень хлопочут о том, чтобы никто из нас не умер до окончания дела.

Я понял, что в этих словах много правды.

На другой день зашел ко мне Трусов и объявил мне от имени коменданта, что я так упрям, что его превосходительство никогда более не придет ко мне.

Мне часто приходили на ум жена и сын; но как такие мысли не были утешительны в моем положении, то я отгонял их от себя.

В первых числах февраля Трусов принес мне письмо

от³¹ жены, в котором она извещала, что она благополучно родила сына и что она и дети здоровы. Прочтя это письмо, я чуть не сошел с ума; я так был счастлив, что бросился к двери, стучал кулаком и требовал к себе офицера. Намерение мое было потребовать бумаги и перо и изъявить за мое счастье искреннюю благодарность царю, приславшему мне письмо. В это время офицера не было в равелине, и письмо мое осталось ненаписанным. Я был совершенно покоен, не имея более надобности отгонять от себя мысли о семействе, и считал себя самым счастливым человеком во всем Петербурге.

После ужина я долго не мог уснуть и только что начал дремать, дверь с шумом растворилась и Трусов вошел ко мне с обыкновенной свитой. Мне принесли мое платье и шубу, сняли с меня железа, и когда я оделся, то надели их опять. Трусов взял у офицера четыре ключа от моих замков. По его совету, я сделал из носового платка подвязку, посредством которой держал ножные железа. Трусов накинул мне на голову свой носовой платок и повез меня в дом к коменданту. Тут из рук его кто-то принял меня и посадил за ширмы, несмотря на которые и на платок, я мог видеть прислугу, носившую блюда в боковую комнату.

Около полуночи меня взяли за руки и повели в те комнаты, в которых перед этим ужинали. В первой из этих комнат я ничего не мог видеть сквозь платок, кроме множества свечей и столов, за которыми сидели люди и писали. Из этой комнаты меня привели в довольно большую залу, также очень ярко освещенную. Руку мою опустили, я остановился, и с меня сняли платок.

Я стоял посреди комнаты, в шагах 10 от меня стоял стол, покрытый красным сукном. На крайнем конце его сидел председатель следственной комиссии Татищев, рядом с ним великий князь Михаил Павлович; сбоку от Татищева сидели князь Голицын (Александр Николаевич) и Дибич; третий стул был порожний (Левашева), четвертое место занимал Чернышев. По другую сторону стола около великого князя сидел Голенищев-Кутузов, потом Бенкендорф, Потапов и полковник флигель-адъютант Адлерберг, который, не будучи членом комиссии, записывал все сколько-нибудь важное, чтобы тотчас доставлять императору сведения о ходе дела. Когда сняли с меня платок, с минуту во всей комнате

продолжалось молчание. Наконец, Чернышев махнул мне пальцем и весьма торжественным голосом сказал: «Приблизьтесь». Подходя к столу, я нарушил моими цепями тишину в комнате. Начался опять формальный допрос.

Чернышев спросил у меня, всякий ли год я бываю на исповеди и у св. причастия. Я отвечал ему то же, что и Стахию.

— Присягали ли вы императору Николаю Павловичу?

— Нет, не присягал.

— Почему же вы не присягали?

— Я не присягал потому, что присяга происходит с такими обрядами и с такою клятвою, что я считал ее для себя неприличною, тем более что я нисколько не верю святости такой клятвы.

Только при появлении моем в комитет я вполне понял, что, доставивши мне письмо от жены, меня хотели поймать в ловушку; я смотрел на всех членов комиссии с каким-то омерзением.

Чернышев просил меня назвать членов Тайного общества, но я отвечал ему то же, что и Левашеву.

— Что же может вас заставлять так сильно упорствовать в этом случае? — спросил Чернышев.

— Я уже сказал, что дал слово не называть никого.

— Вы хотите спасти ваших товарищей, но это вам не удастся.

— Если б я думал о спасении кого-нибудь, то вероятно постарался бы спасти себя и не рассказал бы того, что рассказал генералу Левашеву.

— Себя, милостивый государь, вы спасти не можете. Комитет должен вам объявить, что ежели он спрашивает у вас имена ваших товарищей, то единственно потому, что желает доставить вам возможность облегчить свою судьбу. И так как вы упорствуете, то комитет назовет вам всех членов Тайного общества, бывших в 1817 г. на совещании, на котором решено было убить покойного императора. Тут были: Александр, Никита, Сергей и Матвей Муравьевы, Лунин, Фонвизин и Шаховский. Иные из ваших товарищей показывают, что на вас пал жребий нанести удар императору, а другие — что вы сами вызвались на это.

— Последнее показание справедливо, и я точно вызвался сам¹.

— Какое ужасное положение,— сказал князь Голицын,— иметь душу, обремененную такою греховностью! Был ли у вас священник?

— Да, священник приходил ко мне.

В это время дремавший прежде Кутузов проснулся и, спросонья не разобрав в чем дело, воскликнул: «Как, он и попа не хотел пустить к себе?»

Голицын его успокоил, сказавши, что у меня был священник.

Когда я объявил на вопрос одного из членов, что я совсем не православный христианин, то Дибич (лютеранин) воскликнул: «Так, мы умнее наших предков; где же нам верить и действовать, как верили и действовали наши отцы».

— Сначала вы были,— продолжал допрос Чернышев,— одним из самых ревностных членов; что же заставило вас удалиться от Общества?

— По получении письма от Трубецкого, которое всех нас так встревожило, и после общего мнения, что Россия не может быть более несчастною, как под управлением императора Александра, я объявил, что в этом случае каждый должен действовать отдельно по своей совести, а не так, как член Тайного общества, и сказал, что я решился убить императора. В тот вечер, в который было это совещание, никто не сопротивлялся моему намерению; на другой день вечером собрались все те же члены и умоляли меня не приводить в исполнение моего намерения; но я сказал им, что они не имеют никакого права препятствовать мне, что я буду действовать совершенно независимо от Тайного общества и что никак не могу отказаться совершить то, что они вчера сами находили необходимым. После упорных, несколько раз повторенных просьб отложить намерение, которое, по их мнению, могло погубить всех, я согласился и сказал, что не принадлежу более к их Обществу, потому что они или возбудили меня вчера к самому

¹ В донесении сказано, что я вызвался на покушение, бывши терзаем страстью несчастной любви. Я имею все причины думать, что это — показание Никиты Муравьева, желавшего такой сентиментальной фразой уменьшить мою виновность перед комитетом. После, когда я у него спрашивал об этом, он всякий раз смеялся и отшучивался вместо ответа.

ужасному преступлению, или сегодня лишают возможности совершить самое прекрасное дело, какое только возможно для человека, истинно любящего Россию.

— Не было ли кого, — спросил Чернышев, — кто бы при самом начале уговаривал вас отказаться от вашего намерения?

— Точно; Михайло Фонвизин, с которым я жил в то время вместе, уговаривал меня в продолжение всей ночи. — Я назвал Фонвизина, думая, что мое показание может быть ему полезно.

По окончании этого допроса мне опять пришла мысль о пытке, и я был почти убежден, что на этот раз мне ее не миновать; но к крайнему моему удивлению Чернышев, очень грозно смотревший на меня во время допроса, взглянул, улыбаясь, на великого князя Михаила Павловича и потом сказал мне довольно кротко, что мне зададутся вопросы письменно и что я должен буду отвечать также письменно.

Мне надели на глаза платок и отвезли обратно в равелин.

На другой день утром Трусов привез мне письменные вопросы от комитета. Вопросы были те же самые, которые мне предлагались изустно накануне. Тут опять был отдых. Я хорошо знал, что, пока я буду писать ответы, меня оставят в покое. Мне дали перо и чернильницу, и я писал ответы, медленно, кажется дней 10. В продолжение этого времени Трусов заходил ко мне несколько раз, чтобы спросить, кончил ли я.

На все я отвечал то же, что и в комитете; но когда мне пришлось отвечать на вопрос, кто известен мне из членов Тайного общества, то меня взяло раздумье. Кроме тех лиц, которых мне называл комитет, мне бы пришлось назвать очень немногих, и, назвавши этих немногих, я не подвергал бы почти никакой опасности, потому что одни из них были за границей, другие слишком мало принимали участия в делах Общества. Тут мне представилось, что я разыгрываю роль Дон-Кихота, вышедшего с обнаженною шпагою против льва, который, увидавши его, зевнул, отвернулся и спокойно улегся. Тут мне представилось мое семейство, соединение с которым я делал невозможным и, может быть, из пустого тщеславия.

В это время Мысловский по-прежнему посещал меня ежедневно; мы с ним очень сблизились; он мне прино-

сил письма от моих. Подосланный правительством, он совершенно перешел на нашу сторону. Сначала я решительно не хотел читать принесенных им писем, опасаясь, чтобы из этого не вышло беды для него; но он ужасно этим обиделся и сказал мне, что он никогда не сочтет преступлением служить ближнему, который находится в таком положении, как я. Во всех этих случаях он действовал так ловко и решительно, что я, наконец, за него успокоился и через него переписывался с своими. Бывши в раздумье, назвать мне или нет известных мне членов Тайного общества, я попросил совета у Мысловского. Можно было подумать, что он только и ждал этого вопроса. Он отвечал мне и даже несколько торжественно, что я веду себя не совсем благородно, и, тогда как все признались, я моим упорством могу только замедлить ход дела в комитете. На что я мог ему ответить только: «Так и вы, батюшка, тоже против меня; я этого не ожидал от вас». При этих словах он бросился меня обнимать и сказал: «Любезный друг, поступайте по совести и как бог вам внушит».

Я, наконец, отправил мои ответы, не назвавши никого; но сам я чувствовал, что прежнее намерение мое не называть никого слабело с каждым часом. Тюрьма, железа и другого рода истязания произвели свое действие, они развратили меня. Отсюда начался целый ряд сделок с самим собой, целый ряд придуманных мною же софизмов. Я старался себя уверить, что, назвавши известных мне членов Тайного общества, я никому не могу повредить, но многим могу быть полезен своими показаниями.

Отославши ответы, в которых я никого не назвал, на другой день я потребовал пера и бумаги и написал в комитет, что я, наконец, убедился, что, не называя никого, я лишаю себя возможности быть полезным для тех, которые бы сослались на меня для своего оправдания. Это был первый шаг в тюремном разврате.

Разумеется, я тотчас же получил вопросные пункты, на которые я так долго отказывался отвечать. Я назвал те лица, которые сам комитет называл мне, и еще два лица: генерала Пассека, принятого мною в Общество, и П. Чаадаева. Первый умер в 1825 г., второй был в это время за границей. Для обоих суд был не страшен.

После этого я оставался долго забытым.

Наступил великий пост; у меня спросили, что я буду есть, постное или скоромное. Я отвечал, что мне все равно, и меня целый пост кормили щами со сметками. Мысловский по-прежнему навещал меня, но никогда не заводил со мной религиозного разговора. Однажды мне случилось сказать ему почему-то, что правительство наше не требует ни от кого православного исповедания. Мысловский отвечал, что правительство действительно ничего не требует, но что многих людей, которые были крещены в православной вере и которые оказались впоследствии неправославными, ссылали в Соловки или другие монастыри на заключение.

Этимися словами Мысловский отворил мне еще один выход к соблазну. Я начал рассуждать очень основательно, что ежели правительство требует от православных, чтобы они всегда оставались православными, то, следовательно, оно требует только одного соблюдения обрядов.

На шестой неделе поста я прямо сказал Мысловскому, что желаю исповедаться и причаститься. «Любезный друг,— отвечал он мне,— я сам хотел давно предложить вам это, но, зная вас, никак не смел». Было положено, что он придет ко мне в вербное воскресенье с дарами, и в самом деле в этот день он явился ко мне в эпитрахили. Он хотел было начать формальностью, но я прямо сказал, что он знает мое мнение на этот счет. После этого он только спросил у меня, верю ли я богу. Я отвечал утвердительно. Он пробормотал про себя какую-то молитву и причастил меня.

Впоследствии я узнал, что этот день был для казанского протопопа днем великого торжества. В моем каземате он вел себя как самый простой, очень неглупый и весьма добрый человек, но зато вне стен крепости он вел свои дела не совсем для себя безвыгодно. Он не мог удержаться от искушения и рассказал всем, что он обратил в христианство самого упорного безбожника.

В вербное воскресенье вечером, когда я уже начал засыпать, часов в 10, взошел ко мне обыкновенным порядком плац-майор Подушкин; он развернул бумагу и прочел при всех присутствующих, что государь император приказал снять с меня оковы. С меня сняли ножные кандалы, после чего Подушкин объявил мне, что ручные останутся на мне. Первое время мне было неловко без ножных оков; я был обессилен долгим содержа-

нием, и наручники иногда совершенно перевешивали меня вперед. В светлое воскресенье вечером, также в 10 часов, посещение Подушкина повторилось, и он опять по-прежнему произнес, что император велел снять с меня наручники.

После этого целый месяц меня не тревожили, время тянулось с страшной медленностью, но не без радостных минут. Когда я жил в Москве, теща моя Н. Н. Шереметева требовала от меня, чтобы я каждое воскресенье обедал у ее брата И. Н. Тютчева, отца Ф. И. Тютчева и Д. И., вышедшей за Сушкова. За этими обедами я проводил самые скучные минуты моей жизни, но отказаться от них было невозможно, это было бы ужасное огорчение для Н. Н. Шереметевой. Когда в воскресенье солдат приносил мне крепостных щей, я всегда вспоминал с удовольствием, что не пойду обедать к Тютчевым.

В мае месяце я неожиданно получил новый вопрос из комитета о том, в чем состоял разговор полковника Митькова с Мухановым по получении известия о 14 декабря. Я совершенно пропал. В этом разговоре Муханов предлагал ехать в Петербург и убить императора. Сказать, что я не был при этом разговоре, было невозможно. Мне бы могли доказать, что я лгу, и потом, может быть, не поверили бы, если б я сказал что-нибудь в пользу Муханова. Я видел Муханова только один раз у Михайлы Орлова, он вызвался и у него убить императора. Услышав этот вызов, М. Орлов взял его за ухо и поцеловал за такое намерение в лоб. Потом Орлов просил меня отвезти Муханова к Митькову.

Мне показалась одна возможность спасти Муханова: описать мое свидание с ним у Орлова и Митькова, не показывая, разумеется, что Орлов целовал его; но описать то, что, по словам Муханова, я был уверен, что он никогда не принадлежал к Тайному обществу, и потому в моих показаниях не назвал его, что многоречивый вызов его отправиться в Петербург все присутствующие выслушали как пустую болтовню, и на нее никто не обратил внимания. Отправив такой отзыв в комитет, я нисколько не успокоился, а чувствовал, что я был хотя и невинной причиной, может быть, совершенной гибели Муханова. Положение мое было ужасное, это были минуты самые тяжелые из всех лет моего заточения. Я решился написать к императору и расска-

зять в письме все, что уже отвечал в комитете, и объяснить ему, каким образом Муханов через меня попал к Митькову. Я просил наложить на меня какое угодно наказание, но избавить Муханова от ответственности в деле, в котором он участвовал одной болтовней¹.

На другой день меня повезли в комитет. За красным столом сидел один Чернышев. Он торжественно прочел мне мое показание, написанное не моею рукою, в котором еще больше было сказано в пользу Михайлы Орлова, чем сколько сказал я. Он спросил меня потом, готов ли я подтвердить мое показание. Я отвечал, что подтверждаю его.

— Ваша священная обязанность всегда говорить истину, — сказал он.

После этого меня вывели в другую комнату, из которой я слышал разговор Чернышева с Мухановым.

Это была страшная для меня минута. Я ожидал, как пытки, очной ставки с Мухановым и вздохнул свободно только тогда, когда по прочтении моего показания Муханов сказал: «Я не запираюсь, что я говорил вздор, но намерения совершить преступление я никогда не имел».

Меня отвели в равелин, и с этих пор не тревожили до окончания следствия.

Когда следственная комиссия поднесла свое донесение императору, все дело поступило в верховный уголовный суд.

Во время суда мне дозволены были свидания с Н. Н. Шереметевой, а потом с женою и сыновьями. С наступлением лета всех содержащихся в равелине поочередно пускали гулять в маленький трехугольный садик, находящийся внутри равелина. В этом саду есть могила. Здесь, по крепостному преданию, похоронена княжна Тараканова, дочь императрицы Елизаветы Петровны и Разумовского, предательски увезенная графом Алексеем Григорьевичем Орловым из Италии. По прибытии в Россию княжна Тараканова была посажена в равелин; она утонула в каземате во время наводнения, бывшего в семидесятых годах.

¹ Не могу наверное утверждать, что это письмо имело хорошее последствие для Муханова. Но наказание для него, может быть и независимо от моего письма, было значительно смягчено.

В начале июля меня повели в дом коменданта. Я уже знал через Мысловского, что нас позовут в верховный уголовный суд для свидетельства всех наших показаний. Меня привели в небольшую комнату, где за столом на председательском месте сидел бывший министр внутренних дел князь Ал. Бор. Куракин; направо и налево от него сидело еще человек шесть, членов суда. Бенкендорф присутствовал как депутат от комитета.

Сенатор Баранов очень вежливо предложил пересмотреть лежащие перед ним бумаги и спросил, мои ли это показания. Прочесть все эти бумаги было невозможно в короткое время, да и к тому ж я очень понимал, что меня не за тем призвали, потому что 121 подсудимый должны были в одни или не более как в двое суток проверить все свои показания и бумаги. Я перелистывал кое-как бумаги, которых Баранов даже не выпускал во все время из рук, и видел на иных листах свой почерк, на других почерк мне совершенно незнакомый. Баранов предложил мне что-то подписать, и я подписал его листок, не читая. В этом случае верховный уголовный суд хотел сохранить ежели не самую форму, требуемую в судебных местах, то по крайней мере хоть тень этой формы.

12 июля, часу в первом, меня опять повели в дом коменданта, и на этот раз я очень был удивлен, когда Трусков, приведя меня в одну проходную комнату, исчез, и я очутился с глазу на глаз с Никитой и Матвеем Муравьевыми и Волконским. Тут были еще два лица, мне незнакомые... Одно в адъютантском мундире — это был Александр Бестужев (Марлинский); другое — в самом смешном наряде, какой только можно себе представить, это был Вильгельм Кюхельбекер (издатель «Мнемозины»). Он был в той же одежде, в которой его взяли при входе в Варшаву, — в изорванном тулупе и теплых сапогах.

Свидание с Муравьевыми и в особенности разговор с Никитой были для меня истинным наслаждением. Матвей был мрачен; он предчувствовал, что ожидало его брата. Кроме Матвея, никто не был мрачен. О себе я не могу судить, похудел ли я во время шестимесячного заключения, но я был истинно поражен худобой не только присутствующих товарищей, но и всех подсудимых, которых проводили через нашу комнату. Вскоре явился Мысловский, отозвал меня в сторону и сказал:

«Вы услышите о смертном приговоре, не верьте, чтобы совершилась казнь».

Некоторое время мы оставались вшестером в нашей комнате; потом Трусов провел нас через ряд пустых комнат, и мы прошли в верховный уголовный суд.

Митрополиты, архиереи, члены Государственного совета и генералы сидели за красным столом; за ними стоял сенат. Все были обращены лицом к подсудимым. Нас шестерых выстроили гуськом. Министр юстиции князь Лобанов очень хлопотал, чтобы все происходило надлежащим образом.

Перед столом стоял пюпитр на одной ножке; на нем лежали бумаги.

Обер-секретарь, пресмешной наружности, первоначально сделал нам перекличку, и когда Кюхельбекер нескоро откликнулся на свое имя, то Лобанов закричал повелительным голосом: «Да отвечайте же, да отвечайте же!» Потом началось чтение приговора. Когда прочли мое имя в числе приговоренных к смертной казни, мне показалось это только смешным фарсом, и в самом деле нам всем шестерым смертная казнь была заменена ссылкой в каторжные работы на 20 лет. После этого меня отвели опять в 1-й номер рavelина. Священник обещался зайти ко мне и не зашел. Едва успели меня раздеть, как явился крепостной доктор с вопросом о моем здоровье. Я сказал, что у меня немного зуб болит; он удивился и ушел. Его послали ко всем бывшим в суде, чтобы подать помощь тем, которые занемогли, выслушав приговор.

Ужин подали немного ранее обыкновенного, и я тотчас же крепко заснул. В полночь меня разбудили, принесли платье, одели меня и вывели на мост, который идет от рavelина к крепости. Здесь я встретил опять Никиту Муравьева и еще нескольких знакомых. Всех нас повели в крепость; изо всех концов, изо всех казематов вели приговоренных. Когда все собрались, нас повели под конвоем отряда Петропавловского полка через крепость в Петровские ворота. Вышедши из крепости, мы увидели влево что-то странное и в эту минуту никому не показавшееся похожим на виселицу. Это был помост, над которым возвышались два столба; на столбах лежала перекаладина, а на ней висели веревки. Я помню, что когда мы проходили, то за одну из этих веревок схватился и повис какой-то человек; но слова

Мысловского уверили меня, что смертной казни не будет. Большая часть из нас была в той же уверенности.

На кронверке стояло несколько десятков лиц, большею частью это были лица, принадлежавшие к иностранным посольствам; они были, говорят, удивлены, что люди, которые через полчаса будут лишены всего, чем обыкновенно дорожат в жизни, шли без малейшего раздумья, с торжеством и весело говоря между собою. Перед воротами всех нас (кроме носивших гвардейские и флотские мундиры) выстроили покоем спиной к крепости, прочли общую сентенцию; военным велели снять мундиры и поставили нас на колени. Я стоял на правом фланге, и с меня началась экзекуция. Шпага, которую должны были переломить надо мной, была плохо подпилена; фулрейт ударил меня ею со всего маху по голове, но она не переломилась; я упал. «Ежели ты повторишь еще раз такой удар,— сказал я фулрейту,— так ты убьешь меня до смерти». В эту минуту я взглянул на Кутузова, который был на лошади в нескольких шагах от меня, и видел, что он смеялся.

Все военные мундиры и ордена были отнесены шагов на 100 вперед и были брошены в разведенные для этого костры.

Экзекуция кончилась так рано, что ее никто не видел; вообще перед крепостью не было народа. После экзекуции нас отвели опять в крепость и меня опять в 1-й номер рavelина. Ефрейтор, который принес мне обедать, был необыкновенно бледен и шепнул мне, что за крепостью совершился ужас, что пятерых из наших повесили. Я улыбнулся, нисколько ему не веря, но ожидал Мысловского с нетерпением. Наконец, вечером он взошел ко мне с сосудом в руках. Я бросился к нему и спросил, правда ли, что была смертная казнь. Он хотел было отвечать мне шуткою, но я сказал, что теперь не время шутить. Тогда он сел на стул, судорожно сжал сосуд зубами и зарыдал. Он рассказал мне все печальное происшествие.

...После приговора Пестель, Сергей Муравьев, Рылеев, Михайло Бестужев и Каховский были отведены в особые казематы. Сестра Сергея Муравьева Кат. Ив. Бибикова, узнавши, что брат ее приговорен к смертной казни, поскакала в Царское Село и просила через Дибича о дозволении иметь свидание с братом. Ей позволено увидеться с ним на один час. Свидание их проис-

ходило в доме коменданта Сукина и в его присутствии. Сергей Муравьев был очень покоем и просил сестру не оставлять попечениями их брата Матвея. Разлука их навсегда, по словам самого Сукина, была ужасна.

Когда Сергей Муравьев возвратился в каземат, к нему вошел с печальным видом плац-майор Подушкин. Сергей Муравьев предупредил его: «Вы, конечно, пришли надеть на меня оковы». Подушкин позвал людей; на ноги ему надели железа. То же было сделано и с четырьмя товарищами Сергея Муравьева. Все смотрели совершенно покойно на приготовления казни, кроме Михайлы Бестужева: он был очень молод, и ему не хотелось умирать.

Ночью пришел к ним священник Мысловский с дарами. Кроме Пестеля, который был лютеранин, все они причастились. Когда после экзекуции нас ввели в казематы, их вывели перед собор. Был второй час ночи. Бестужев насилу мог идти, и священник Мысловский вел его под руку. Сергей Муравьев, увидя его, просил у него прощенья в том, что погубил его.

Когда их привели к виселице, Сергей Муравьев просил позволения помолиться; он стал на колени и громко произнес: «Боже, спаси Россию и царя!» Для многих такая молитва казалась непонятною, но Сергей Муравьев был с глубокими христианскими убеждениями и молил за царя, как молил Иисус на кресте за врагов своих. Потом священник подошел к каждому из них с крестом.

Пестель сказал ему: «Я хоть не православный, но прошу вас благословить меня в дальний путь». Прощаясь в последний раз, они все пожали друг другу руки. На них надели белые рубашки, колпаки на лицо и завязали им руки. Сергей Муравьев и Пестель нашли и после этого возможность еще раз пожать друг другу руку. Наконец их поставили на помост и каждому накиннули петлю. В это время священник, сошедши по ступеням с помоста, обернулся и с ужасом увидел висевших Бестужева и Пестеля и троих, которые оборвались и упали на помост. Сергей Муравьев жестоко разбился; он переломил ногу и мог только выговорить: «Бедная Россия! и повесить-то порядочно у нас не умеют!» Каховский выругался по-русски. Рылеев не сказал ни слова. Неудача казни произошла оттого, что за полчаса перед тем шел небольшой дождь, веревки намокли, па-

лач не притянул довольно петлю, и когда он опустил доску, на которой стояли осужденные, то веревки соскользнули с их шеи. Генерал Чернышев, бывший распорядителем казни, не потерял голову; он велел тотчас же поднять трех упавших и вновь их повесить. Казненные оставались недолго на виселице; их сняли и отнесли в какой-то погреб, куда едва пропустили Мысловского; он непременно хотел прочесть над ними молитвы...

Еще несколько слов о Мысловском. 15 июля на Петровской площади был назначен парад и очистительное молебствие, которое должен был отслужить митрополит со всем духовенством. Протоиерей Мысловский отпустил образ казанской божьей матери на молебствие с другим священником, а сам в то же время надел черную ризу и отслужил в Казанском соборе панихиду по пяти усопшим. Бибикова зашла помолиться в Казанский собор и удивилась, увидав Мысловского в черном облачении и услышав имена Сергея, Павла, Михаила, Кондратия.

III

Дней через десять после казни из рavelина переместили всех в крепость и меня перевели в Невскую куртину.

Я неохотно расстался с моим первым номером: тут, конечно, были минуты весьма тяжкие, но бывали и минуты, в которые обливало таким светом, что внутренне все приходило в порядок и стройность. В первое время заключения чувствуешь что-то тяготеющее над собой, похожее на *fatum* древних, чувствуешь свою ничтожность перед этой могучей неизбежностью; но мало-помалу возникают внутренние силы, начинаешь дышать свободнее и по временам забываешь и темницу и затворы.

Полное и продолжительное уединение, подобно животному магнетизму, отрешая нас на время от внешних впечатлений, сосредоточивает все наше существование на предмет, на который в эту минуту мы обращаем внимание. Сколько вопросов, задаваемых мной себе на свободе, оставаясь для меня недоступными прежде, разрешались, и иногда совсем неожиданно, во время моего пребывания в рavelине. Беседа с самим собой, особенно в последнее время моего тут заключения, редко кем или чем нарушалась. Я сжился с моим первым номером, и

гнилые пятна на его стенах, оставшиеся после наводнения 1824 г., были для меня не пятна, а представляли собой разного рода изображения.

Номер, в который меня переместили, был на Неву. Тут образ моего существования совсем изменился: вместо глубокой тишины, к которой я привык в равелине, я слышал почти беспрестанное движение в коридоре, говор и возгласы в номерах, отделяемых один от другого только бревенчатой перегородкой. При появлении плац-майора Подушкина все затихало на короткое время. Сидя целый день у раскрытого окна, я предавался наслаждению дышать чистым воздухом и любовался рекой, покрытой челноками, снующими от одного берега к другому берегу. Приятные эти внешние ощущения не допускали меня предаваться надолго какой-нибудь мысли или какому-нибудь чувству, и в это время я жил до такой степени животной жизнью, что поглощал без остатка дурные щи и жесткую говядину, которую приносили мне к обеду и к ужину; зато так пополнил в несколько дней моего тут пребывания, что при первом свидании с моими они не могли на меня налюбоваться.

По совершении казни, тем из нас, которые оставались в крепости, дозволены были один раз в неделю свидания с близкими родственниками. Каждый раз свидание продолжалось два часа, в присутствии плац-адъютанта, причем запрещалось говорить иначе как по-русски. Под предлогом свидания в первое время приезжали родственники и неродственники, и всякий день крепость была наполнена экипажами.

Я недолго оставался в номере с открытым окном на Неву. Неосторожность одного из моих соседей, пустившегося в громкий разговор с своей женой, подъехавшей на ялике к самой крепости, была причиной, что из номеров с окнами на Неву переместили нас в номера, в которых окна были обращены к собору.

Петр Николаевич Мысловский, наш духовник, посещал меня почти ежедневно с таким же участием, как и прежде. Он мне признался, что, зная строгий надзор в равелине, ему там бывало не совсем ловко, но что в самой крепости он был, как дома.

В новом номере, по вызову моего соседа, я взошел с ним в сношение, и оно было тем более удобно, что стена, нас разделявшая, не препятствовала изустному разговору. Сосед мой был Сутгов, один из главных под-

вижников 14-го. Прежде я не был с ним знаком, но обстоятельства, в которых мы находились, тотчас нас сблизили. Он, рассказавши мне дело свое в комитете, требовал от меня такой же откровенности. Через несколько дней он был отправлен в Финляндию, и его заменил Александр Муравьев, брат Никиты. Этому юноше было не более 20 лет, и я знал его прежде, когда он был еще почти ребенком. Приговоренный на 12 лет в работу, он утешал себя тем только, что разделит участь брата и будет с ним вместе.

Перед обедом, 5 августа, зашел ко мне священник с известием, что я в ту же ночь буду отправлен в Финляндию и что он вместе с моими выедет проститься со мной на первую станцию. Перед сумерками пришел плац-адъютант Трусков с приказанием изготавиться к отъезду; а потом, когда совсем смерклось, он опять явился в мой каземат и, взявши меня с собой, повел к коменданту. Дорогой он давал мне разного рода наставления и между прочим советовал остерегаться фельдъегеря и ни под каким видом не говорить при нем по-французски, уверяя меня, что за такой поступок фельдъегерь имел право меня оставить без обеда. При этом невольно я вспомнил мое детство, когда меня оставляли без обеда за то, что я с сестрами говорил по-русски.

Вскоре по приходе моем к коменданту прибыли туда и мои спутники: Матвей Муравьев, Александр Бестужев (Марлинский), Арбузов и Тютчев. С Муравьевым я был коротко знаком, служа вместе в Семеновском полку (мы были почти неразлучны во время походов 12, 13 и 14 годов); прочих я прежде не знал. Бестужев красовался в венгерке. Арбузов и Тютчев были в куртках и шароварах из толстого серого сукна. Арбузов служил лейтенантом в гвардейском экипаже, а Тютчев из Семеновского полка в 21-м году был переведен в один из полков 8-й дивизии и принадлежал к Обществу славян. Оба они не имели родственников в Петербурге, и потому, когда их мундиры были сожжены, их снабдили казенной одеждой. Комендант Сукин, объявив нам высочайшее повеление отправить нас в Финляндию, советовал нам во время пути вести себя кротко и во всем повиноваться фельдъегерю. При прощании Бестужев произнес благодарственную речь коменданту за его поведение с нами, на что комендант отвечал очень сухо, сказав, что его благодарить не за что, потому что он во

всех случаях относительно нас не более как исполнял только строго свою обязанность.

Когда мы вышли от коменданта, у подъезда стояли уже наши повозки и жандармы. По освещенным улицам Петербурга мы еще ехали довольно скоро; но, проехав заставу, подвигались очень медленно. В это время около Петербурга горели леса, и днем солнце виднелось сквозь дым, покрывавший город и его окрестности, как обгорелая головня; ночью же ни зги не было видно, и наши ямщики беспрестанно сбивались с дороги; часто они шли пешком и вели лошадей за поводья. До Парголова мы ехали часа три.

Станционный дом, когда мы подъехали к нему, был ярко освещен и наполнен гостями. Тут были жена моя с двумя малолетними сыновьями, мать ее, протоиерей Мысловский и И. А. Фонвизин, приехавший со мной проститься. Катерина Ивановна Бибикова была тут также; она приехала вместе с теткой, Катериной Федоровной Муравьевой, проводить брата своего Матвея Муравьева. Мы провели тут целую ночь, говоря с своими о наших делах; было положено, что жена моя с детьми последует за мной в Сибирь, и матушка собиралась проводить ее. После всех тревог, нами пережитых, такая будущность нам улыбалась. В это время многие были уверены, что при коронации мы будем избавлены от работ и что нас поселят в Сибири. Поутру я простился с своими в уверенности, что мы скоро опять свидимся. При прощании мне хотели дать 500 р. денег, и фельдъегерь несколько не затруднялся взять их; но я этому воспротивился, опасаясь, чтобы ему не пришлось отвечать за меня. При отправлении из Петербурга нам было сказано, что мы не имеем права иметь больше ста рублей, и я, взявши от своих только сто рублей, передал их фельдъегерю.

Переезд от Петербурга до места нашего заключения был для нас приятной прогулкой. После долгого заточения мы наслаждались, дыша целый день чистым воздухом и имея перед глазами несколько дикую, но вместе с тем и величественную природу Финляндии. По приезде на каждую станцию живой разговор между нами имел также свою увлекательность. Тут не было ни затворов, ни стен, нас разделяющих, ни плац-майора, ни плац-адъютантов, которые бы нас подслушивали. Фельдъегерь наш Воробьев прекрасно вел себя с нами, и, когда мы слишком громко говорили между собой по-русски,

он торжественно произносил: «парле франсе, мусью», опасаясь, чтобы нас не подслушали и не донесли в Петербург. На одной станции, где мы обедали в особенной комнате, завязался очень живой разговор между мной и Бестужевым о нашем деле; я старался доказать ему, что несостоятельность наша произошла от нашего нетерпения, что истинное наше назначение состояло в том, чтобы быть основанием великого здания, основанием под землей, никем не замеченным; но что мы вместо того захотели быть на виду для всех, захотели быть карниз. «И потому упали вниз», — сказал наш фельдгегерь, стоявший сзади меня, и о присутствии которого мы совершенно забыли. На этот раз его вмешательство было так кстати, что мы все расхохотались.

По приезде в Роченсальм фельдгегерь сдал нас коменданту полковнику Кульману, после чего через полчаса мы отправились к берегу в сопровождении коменданта и небольшого отряда солдат. Начальник этого отряда поручик Хоруженко был в полной форме; у берега ожидал нас шестивесельный катер, на котором мы и отправились в море. Плавание наше продолжалось более часу, и, наконец, мы увидели вдали огромную круглую башню, как будто выросшую из воды, это была крепость Форт-Слава, построенная фельдмаршалом Суворовым, и в которой были приготовлены для нас казематы. Вид ее был мрачен и не предвещал нам ничего доброго.

Нас разместили по одиночке в казематы и заперли на замок. В каждом каземате, с русской печью, было два окошка, перед которыми снаружи были поставлены щиты из теса и устроенные нарочно для нас, по распоряжению инженерного генерала Оппермана. По стене стояла кровать с соломой, стол и несколько стульев довершали принадлежность каземата; в моем новом жилье было темно и сыро.

Первое время нас строго держали под замком и выпускали только на короткое время, и то по одиночке, гулять по двору. Василий Герасимович Хоруженко, гарнизонный артиллерии поручик, начальствуя над отрядом, составлявшим нашу стражу, вместе с тем был и наш непосредственный начальник; он давал нам это чувствовать всякий раз, когда приходил навестить нас; сперва он как будто нас опасался, но потом, убедившись, что мы народ смирный, он сделался ручнее. Иногда он собирал нас всех вместе и пил с нами чай; тут он рассказы-

вал нам разные происшествия своей жизни. Отец его, казак, был сослан в Архангельск по бунту Пугачева, и сам он причислен в кантонисты и обучался в отделении; потом он поступил в артиллерию. Будучи расторопен и довольно красив собой, он скоро попал в фейерверкеры; сам граф Аракчеев, как утверждал он, знал его лично и произвел в офицеры; при этом он говорил, что дворянство, доставшееся нам даром, разумеется, для нас ни о чем, но что он ценит его дорого, потому что он добыл его своей спиной, на которой поломано много палок. Он этим гордился и, может быть, с большим правом, нежели те, которые гордятся своим выгодным положением в свете, занимаемым ими потому только, что они взяли на себя труд родиться.

Нами он распоряжался по своему произволу: то мы все вместе гуляли по двору, то он держал нас целый день под замком, уверяя, что будто команда на него роптала за его снисходительное обращение с нами. Добывая выгоду для себя из пятидесяти копеек на ассигнации, отпускаемых ежедневно на наше продовольствие, кормил он нас очень плохо. На несчастье наше, тесть его, шкипер, подарил ему огромный запас испорченной солонины, которую с корабля велено было выкинуть. С этой солониной варили нам щи отвратительные; хлеб, покупаемый в Роченсальме, был также не всегда выпечен; а вода в колодце, устроенном посреди крепости, когда дул западный ветер, была до такой степени солоная, что ее почти невозможно было пить. Вследствие всего этого вместе, у Бестужева и Муравьева появились солитеры еще на Форт-Славе, а у Арбузова несколько после.

При таком содержании только мы двое, Тютчев и я, уцелели. Несмотря на то, что Хоруженко пользовался крохами от нашего продовольствия и тешился, распоряжаясь нами по собственному своему хотению, он был недурной человек. Случалось ли кому-нибудь из нас захворать, он тотчас собирал нас к больному, и сам был с ним любезен, насколько это было для него возможно. Будь на его месте какой-нибудь аккуратный немец, хоть даже добрейший Шиллер, тюремщик Пеллико, кормил бы он нас, конечно, лучше, но зато, чтобы исполнить в точности предписание начальства, он бы ни за что не выпустил нас из-под замка, и мы бы с ним пропали.

Когда стало холоднее и стали топить печи, оказа-

лось, что они дымились, и после того, что закрывали трубу, в комнате был несносный угар, и потому держать нас целый день под замком не приходилось. Однажды ночью часовой услышал в комнате Бестужева необычайный шум, и веря, что Бестужев был в сношении с нечистой силой, он в испуге побежал и дал знать унтер-офицеру о том, что на его часах не совсем ладно. Унтер-офицер в свою очередь донес об этом офицеру, офицер с командой подступил к каземату, в котором был слышен шум. Некоторое время никто не решался отворить дверь, и когда ее отворили, то увидели Бестужева, лежавшего на полу без чувств: он угорел. После этого происшествия нас почти никогда не запирали днем.

Книг у нас было очень мало. Муравьев привез с собой французскую библию и Саллюстия с французским переводом, я имел возможность захватить с собой только Монтеня, но, к счастью, у Бестужева было два тома старинных английских журналов, один том Ремблера и один том Гертнера. При помощи Бестужева Муравьев и я, мы стали учиться по-английски. Библиотека нашего офицера состояла из одной части «Четьи-минеи» и «Мальчика у ручья»; он решился дать нам прочесть и то и другое, но никак не решался добывать нам книг из Роченсальма; а вместе с тем совершенно для нас неожиданно передал нам тетрадку, писанную прекрасным французским почерком, заключающую в себе последнюю часть «Чайльд-Гарольда». Тетрадку эту принесли нам две дамы, жившие в Роченсальме, г-жа Чебышева и сестра ее; такой поступок с их стороны глубоко нас тронул, и мы вполне его оценили. В этом случае только женщины, и женщины исполненные истинного чувства, могли понять наше положение и найти возможность изъять так прекрасно участие, которое они принимали в нас.

К концу года запасы наши, чаю, сахару и табаку, истощились, денег от ста рублей оставалось у меня немного, да и те надо было беречь на мытье белья и другие необходимые издержки. В это время нас стали иногда запирают; в крепости заметно было особенное движение, и офицер, собирая ежедневно команду, учил ее. Мы узнали, что скоро ожидают генерал-губернатора Финляндии Закревского. Недели за две до нового года он навестил нас. Муравьеву он доставил сам посылку от сестры его Бибиковой, Бестужеву привез от себя чаю, сахару и табаку, надо полагать, в знак благодарности

за «Полярную звезду», которую ему присылали Рылеев и Бестужев, и мне он сам вручил медвежьи сапоги от моей тещи и вообще со всеми нами был очень любезен. Я узнал после того, что эти сапоги мне были присланы как намек на то, что мы не останемся долго в Форт-Славе; а между тем мы остались тут еще почти одиннадцать месяцев после того, что посетил нас Закревский в первый раз. Посещение его было для нас во многих отношениях на пользу; видя его к нам внимание, и офицер наш и комендант Кульман стали к нам также несколько внимательнее. Комендант был человек не злой, но совершенно ничтожный; по необходимости посещая нас раз или два в месяц, он не входил в рассмотрение того, как нас содержат, и так как мы никогда ему ни на что не жаловались, то он оставался нами доволен.

В посылке, привезенной Закревским Муравьеву, был курс Лакруа, и я пристально принялся за математику. За недостатком книг и других занятий, наука эта имела для меня прелесть *casse-tête chinois*¹, и занимался ею страстно. При этом занятии главное неудобство состояло в том, что у меня не было грифельной доски, и хотя я сохранил при себе карандаш, но бумагу достать было очень трудно.

Бестужев в это время пытался писать на клочках бумаги повесть в стихах из времен, весьма древних, русской истории — «Андрей Переяславский». Археологические его познания были не обширны, стих его был вял, и повесть вообще не удалась. За критику его скороспелого произведения он не сердился, но впрочем защищал его усердно; вообще он был предобрый малый. Замечая, что Тютчев грустит, он употреблял все средства, чтобы развеселить его, и, не имея с ним ничего почти общего, он проводил с меланхоликом по целым дням глаз на глаз, уговорив офицера запирасть их двоих вместе. С Арбузовым, которого нрав был несколько крут, он умел также ладить, и вообще мы все любили его. В нашем кругу он был очень прост и пристаен, но с офицером, на которого желал произвести впечатление, он по временам становился на ходули и выкидывал перед ним разного рода коленца.

Муравьев и я, мы за это называли его *mauvais genre*²; он и тут на нас не сердился. Бывали с ним мрач-

¹ Китайская головоломка (фр.).

² Дурной вкус (фр.).

ные минуты, в которые он был уверен, что мы никогда не съедем с Форт-Славы, или что если бы мы даже и возвратились на свободу, то наше положение было бы незавидно по той причине, что на нас все смотрели бы с невыгодной стороны; а я ему в утешение говорил напротив, что мы долго не останемся на Форт-Славе и что если бы мы когда-нибудь возвратились на свободу, то нам надо опасаться, чтобы на нас не смотрели лучше, нежели мы того стоим. Не знаю, вспомнил ли он мое предсказание на Кавказе, когда его литературные произведения имели такой огромный успех, и которым он частью, конечно, был обязан положению, в котором он находился.

Летом в 1827 г. нас опять посетил генерал Закревский и поручил нашему офицеру узнать, не желаем ли мы остаться в крепости на весь срок работы, к которой мы были приговорены; никто из нас не подумал воспользоваться таким предложением. Мы не знали, что ожидало нас в Сибири, но мы испытали всю горечь заключения, и неизвестность в будущем нас несколько не утешала. Скоро после посещения Закревского Хоруженко был смнен и получил другое назначение. Новый наш начальник был добрый простой человек и несколько не умничал с нами; он переехал на Форт-Славу с своим семейством, состоявшим из его жены и не совсем взрослой дочери. При появлении этой девочки Бестужев, Арбузов и Тютчев выщипали себе бороды, которых нам не брили. Бестужев в этом случае производился необыкновенным образом и украсил себе голову красным шарфом в виде чалмы.

После 7 октября прошел слух, что при рождении великого князя Константина Николаевича нас всех избавили от работы; слух этот был справедлив только относительно Бестужева и Муравьева. В конце октября их обоих увезли от нас, сперва Бестужева, а через неделю после него и Муравьева. Проезжая через Петербург, Бестужев имел свидание с генералом Дибичем, который ему объявил, что он и другой его товарищ, с которым он отправится в Сибирь, освобождены от работ и что ему даже позволено писать и печататься с условием только не писать никакого вздору.

Наконец, наступила наша очередь. В начале ноября, в один прекрасный вечер, нас перевезли с Форта-Славы в Роченсальм, и когда мы прибыли туда, перед комен-

дантским домом стояли двухконные тележки, жандармы и фельдъегерь. Комендант Кульман принял нас очень учтиво и со слезами на глазах прочел нам высочайшее повеление: заковать нас и отправить в Сибирь; после чего нам надели на ноги железа, впрочем далеко не такие тяжелые, как те, которые были на мне в Алексеевском равелине. Фельдъегерь наш Миллер сел со мной в тележку и сообщил мне приятную весть, что в Ярославле я увижусь с моими. Выезжая из Роченсальма, мы увидели двух дам, в черной одежде, которые издали благословляли нас в дальний путь; я полагаю, что это были те же добрые две души, которые умели оказать нам участие, когда мы сидели в Форте-Славе.

Петербург мы проехали ночью. В Шлиссельбурге фельдъегерь принужден был остановиться с нами на несколько часов, потому что Арбузова так растрясло, что он едва мог стоять на ногах. За один переезд до Ладоги, в станционном доме, нас встретили два барина; один из них был в мундирном сюртуке, и фельдъегерь, принявши его за исправника, поместил нас в особенную комнату и к дверям приставил жандарма; другой барин, оказалось, был родной брат нашего Арбузова. Добрый Миллер склонился на наши просьбы и позволил свидание двум братьям; трогательно было видеть взаимную их нежность при этом свидании.

Помещик Арбузов привез с собой пирожков, жареной дичи и несколько бутылок вина. После обеда он продолжал нежничать с братом; но нежность его не определилась ничем существенным, и я решился, взявши его в сторону, спросить у него, привез ли он денег брату; он мне отвечал, что не привез ничего, потому что у него не случилось денег; на это я ему решительно сказал, что если он в самом деле любит брата, то должен с нами ехать в Ладогу, занять там тысячи две и снабдить ими своего брата. Он стал меня уверять, что непременно догонит нас в Ладоге, но что прежде ему необходимо повидаться с женой и посмотреть, не найдется ли у них чего-нибудь дома. Все это вместе показалось мне отвратительно. Этот человек владел имением своего брата после того, что брат его был лишен верховным уголовным судом всех прав и состояния; он знал заблаговременно, что брат его будет отправлен в Сибирь, и выехал к нему на свидание с одними только нежными обниманиями и послушной слезой. В Ладогу

он не приехал, в продолжение десяти лет не писал брату и не посылал ему никакого вспомоществования, но потом стал писать нежные письма и присылать ему порядочное содержание.

В Ладогe мы пробыли часа два или три, поджидая Арбузова; в это время вошел в нашу комнату человек очень порядочной наружности. Фельдъегерь хотел было не пускать его к нам, но вполне смирился перед ним, когда узнал, что это был действ. ст. советник Римский-Корсаков. Беседа с Корсаковым была для нас очень приятна и любопытна. Он сообщил нам некоторые известия о том, что делалось в Петербурге, и известил нас также о приезде Муравьева и Бестужева, с которыми он виделся и которых снабдил деньгами. Проехав Ладогу, мы не ночевали; фельдъегерь наш спешил убраться как можно скорее подалее от Петербурга, опасаясь соглядатаев и чтобы не донесли о какой-нибудь его неисправности. Он имел строгие предписания относительно нас, но вместе с тем ему было предписано беречь наше здоровье и кроме крайних случаев обходиться с нами учтиво.

11 ноября мы прибыли в Ярославль. Фельдъегерь представил меня губернатору, который объявил мне, что я имею дозволение видеться с моим семейством. От губернатора мы отправились на свидание. Увидев на мне цепи, жена моя, матушка ее и все с ними присутствующие встретили меня со слезами, но я какой-то шуткой успел прервать их плачевное расположение; плакать было некогда, и мы радостно обнялись после долгой и тяжелой разлуки. Тут я узнал, что жена моя с детьми и матушка ее год тому назад получили позволение видеться со мной в Ярославле, но им не было дано знать, когда повезут меня. Дежурный генерал Потапов знал всякий раз, когда требовались фельдъегеря для перемещения нас из крепостей в Сибирь, и всякий раз извещал об этом мою тещу; но кого именно повезут из нас, он и сам не знал этого. По этой причине мое семейство несколько раз приезжало из Москвы в Ярославль; первоначально оно пробыло тут месяц в томительном ожидании меня; потом жена моя с детьми, в сопровождении знакомой дамы и короткого моего приятеля Михаила Яковлевича Чаадаева, приезжала в Ярославль; и они в продолжение почти месяца напрасно ожидали моего прибытия; наконец, и в этот последний раз меня ожидали здесь уже три недели.

Только что мы вошли в комнату и уселись, приехал губернатор и сказал жене моей, что я пробуду в Ярославле шесть часов, после чего он был так любезен, что уехал и оставил нас одних. Когда все несколько успокоились, я обратился к матушке с вопросом, намерена ли она проводить жену мою и детей в Сибирь. Матушка, заливаясь слезами, отвечала мне, что на просьбу ее проводить дочь она получила решительный отказ.

Жена моя, также в слезах, сказала мне, что она сама непременно за мной последует, но что ей не позволяют взять детей с собой. Все это вместе так неожиданно меня поразило, что несколько минут я не мог выговорить ни слова; но время уходило, и я чувствовал, что надо было на что-нибудь решиться. Что нам вместе, жене моей и мне, всегда было бы прекрасно, я в этом не мог сомневаться; я также понимал, что она, оставшись без меня, даже посреди своих родных, много ее любящих, становилась в положение для нее неловкое и весьма затруднительное; но, с другой стороны, для малолетних наших детей попечение матери было необходимо. К тому же я был убежден, что, несмотря на молодость жены моей, только она одна могла дать истинное направление воспитанию наших сыновей, как я понимал его, и я решился просить ее ни в коем случае не разлучаться с ними; она долго сопротивлялась моей просьбе, но, наконец, дала мне слово исполнить мое желание. Мне стало легче.

Часы, назначенные для нашего свидания, скоро прошли, и фельдъегерь пришел сказать, что все было готово к отъезду. Жена моя с детьми и матушка решились проводить меня до первой станции, и фельдъегерь этому не сопротивлялся. Когда мы пустились в путь, было уже совершенно темно, холодный ветер жестоко завывал и льдины неслись по Волге, через которую мы перебирались с большими затруднениями. Мы провели ночь вместе на станции между Ярославлем и Костромой. Тут я узнал о смерти моей матери, и жена моя передала мне несколько ее писем, в которых она просила меня несколько не беспокоиться о ней, уверяя меня, что ее здоровье несравненно лучше прежнего, и молила бога, чтобы он дал мне силы нести крест мой. Наконец, наступил час решительной и вечной разлуки; простившись с женой и детьми, я плакал, как дитя, у которого отняли последнюю и любимую им игрушку.

В Костроме мы переменили только лошадей и продолжали наш путь, проезжая в сутки более ста верст. Но в Вятке с нами случилось что-то похожее на происшествие. Около почтового дома, в котором мы остановились, собралась большая толпа народа, и все усилия фельдъегеря разогнать ее остались безуспешны. Окончательно он велел запереть ворота, которые растворились тогда только, когда мы уселись в повозки; тут фельдъегерь приказал ямщикам ударить по лошадям, толпа расступилась, и мы быстро промчались мимо нее. В Перми мы только пообедали.

При переезде через Сылву лед подломился под моей повозкой, меня вытащили и спасли чемодан мой, плававший в воде; но нам необходимо было остановиться в Кунгуре, чтобы высушить вещи и книги, которыми я запасся в Ярославле. В Кунгуре мы пробыли почти целые сутки, и тут настиг нас следовавший за нами поезд. Пушин, Поджио и Муханов, в сопровождении своего фельдъегеря Желдыбина и жандармов, прибыли в Кунгур, когда мы укладывали уже вещи. Оба фельдъегеря согласились ехать вместе. Прежде я не был знаком лично ни с Пушиным, ни с Поджио; но у нас было столько общего, что мы встретились, как самые близкие знакомые, и нам было что рассказать друг другу.

Пушин содержался в Шлиссельбурге, Поджио в Кексгольме, а Муханов в Выборге. В Шлиссельбурге содержание заключенных так же почти строго, как в Алексеевском равелине: никогда они не сообщаются между собой и никогда не выходят из своих казематов; зато помещение их чисто и светло, пища не роскошная, но и не совсем скудная, и вообще все происходит по заведенному порядку и мало зависит от личных свойств коменданта. В Шлиссельбурге вместе с Пушиным содержались Юшневский, Николай и Михайло Бестужевы, Дивов и Пестов. Не имея никакого явного сообщения между собой, каждый из них общался с своим соседом, ударяя в стену рукой: число ударов в определенном порядке означало буквы, посредством которых, при некоторой привычке, можно было разговаривать довольно удобно. Тюремный этот телеграф выдумал и устроил Николай Бестужев. Поджио содержался вместе с Вадковским, Барятинским, Горбачевским и Вильгельмом Кухельбекером в Кексгольме, а Муханов имел товарищами в Выборге Лунина и Митькова. В Финляндии

тюрьмы для нас были устроены на скорую руку и не представляли возможности для тюремщиков исполнять вполне предписания высшего начальства, а потому и заключение наших в Финляндии не было так строго, как в Шлиссельбурге, но зато содержимые в крепостях Финляндии беспрестанно зависели от произвола местных начальников.

Мы ехали все шестеро вместе около двух суток; потом наш фельдъегерь, добрый Миллер, увез нас троих вперед: для него и для нас было невыносимо неистовое поведение Желдыбина с ямщиками; он их бил немилосердно, не платя почти нигде и половины прогонов. Вообще, фельдъегеря находили возможность обогатиться, перевоза государственных преступников в Сибирь.

По приезде в Тобольск фельдъегерь доставил нас к губернатору Каменскому, который принял нас в своем кабинете довольно учтиво, спросил, довольны ли мы своим фельдъегерем, и потом отправил нас в городовую полицию. Тут отвели нам огромную холодную комнату, где мы жили двое суток, зябнув и продовольствуясь чем бог послал.

Из Тобольска, вместо фельдъегеря, был отправлен с нами чиновник, надзиратель острога, добрый малый, но который находил необходимым на каждой станции согреть себя водкой. Мы ехали на Тару, потом Барабой, где местами мы не находили воды, которую можно было бы пить, и надо было таять снег.

В Томске мы пробыли сутки. Тут посетил нас сенатор князь Куракин. Он в это время вместе с сенатором Безродным ревизовал Сибирь. Вечером при свечах меня оставили одного в особенной комнате, куда вскоре потом вошел мужчина лет сорока, в шляпе, раздушенный и распомаженный: он подошел к зеркалу, снял шляпу, поправил прическу и, обернувшись, дал знак рукой сопровождавшему его чиновнику полиции, причем чиновник исчез. Все это вместе было очень похоже на сцену из какого-нибудь французского водевиля. Потом князь Куракин подошел ко мне, спросил об обращении фельдъегеря с нами и, изъявив соболезнование об участи, нас постигшей, утверждал очень уверительно, что происшествие 14 декабря не более как следствие расформирования Семеновского полка. Я не пустился в объяснение с его сиятельством; он был один из наших судей, и поэтому, казалось, должен бы был вполне понимать значе-

ние 14 декабря и всего нашего дела. Пробыв несколько минут с сенатором, я вышел, и меня поочередно заменили мои товарищи Арбузов и Тютчев.

В Красноярске мы пробыли только несколько часов. В то время город этот не имел еще такого значения, какое он получил после того, что в его окрестностях похоронили столько денег и потом добыли огромное количество золота. От Красноярска до Иркутска, по гористой местности, мы совершили наш путь частью на телегах, что при украшении, какое мы имели на ногах, было не совсем удобно.

В Иркутск мы прибыли 22 ноября. Подъезжая к городу, мы увидели его сквозь густой туман, стлавшийся над рекой. Там мы узнали, что в этот день холод доходил до 32 градусов; но Ангара еще не замерзла, и мы переехали ее на пароме. Нас привезли прямо в острог, где принял нас частный пристав Пирожков, исправлявший должность полицмейстера. Для нас очистили огромную комнату, в которой содержались прежде женщины.

В Иркутске мы в первый раз услышали о месте нашего назначения: Пирожков сообщил нам, что нас отправят за Байкал, в Читу. Он хотел нас уверить, что там отберут у нас все вещи и что потому нам не худо было бы распорядиться ими в Иркутске; мы ему не поверили, и хорошо сделали. Пока очищали для нас комнату, прошел мимо нас Юшневский в сопровождении часового; он так похудел, что я едва его узнал; мы с ним нежно обнялись, и вечером нам позволили пить вместе чай. Тут он между прочим рассказал нам, как его уверяли, что у него отберут все вещи, для избежания чего многое он подарил своему фельдъегерю; товарищи Юшневого были: Спиридов, Пестов и Андреевич; они были приостановлены, чтобы начальство имело время распорядиться отправлением их вокруг моря.

Мы застали также в Иркутске Матвея Муравьева и Александра Бестужева; они оба были на свободе в ожидании своего отправления по Лене в Якутск. Бестужев мне прислал «Цыган». Это новое произведение Пушкина прочел я с истинным наслаждением. В тот же вечер нас повели в баню, где прислуживали нам очень ловко и вежливо люди в цепях; то были тяжкие грешники с клеймами на лице и некоторые без ноздрей, содержимые вместе с нами в остроге; такое сближение с ними было для меня не без пользы. Вместо отращения, какое

своими учреждениями и всеми своими предрассудками старается поселить общество к тем, кого оно отвергло от себя, я не мог воздержаться от некоторого сочувствия к бедным этим людям. К крайнему моему удивлению, вошел в баню Александр Бестужев, весь в мыле; я спрыгнул с полка и обнял его; мы пробыли здесь вместе, разумеется, недолго и имели только время перемолвить несколько слов о «Цыганах» Пушкина.

Бестужев нашел возможность прийти в острог и увидеться с своими братьями Николаем и Михаилом, которые на другой же день были отправлены в Читу; в Иркутске я с ними не видался. За ними скоро был отправлен Юшневский с своими товарищами. В остроге мы оставались без желез; с нас их сняли, чтобы поправить и сделать удобнее для ходьбы.

На другой день нашего приезда нас посетил генерал-губернатор Лавинский; перед ним несли жаровню и курили; приблизясь к нам и спросив, не имеем ли каких жалоб на чиновника, нас сопровождавшего, он обратился ко мне и сказал, что коротко знаком с моей тещей Надеждой Николаевной Шереметевой, которая желает через него иметь обо мне известие. Говоря со мной, он избегал и *вы* и *ты*, и речь его была так угловата, что ему самому, видимо, было неловко со мной. Через несколько часов после Лавинского посетил нас гражданский губернатор Цейдлер; он был с нами учтив и обещал известить жену мою о том, что я прибыл в Иркутск и здоров. 24 ноября привезли Пушина, Поджио, Муханова. Первоначально нам не позволили видаться, а потом соединили нас в одну комнату, и мы с неделю прожили все вместе. Тут иногда стояли у нас на часах бывшие семеновские солдаты; не только их товарищи, но и офицеры отзывались о них с уважением.

Сильные морозы подавали надежду, что Байкал скоро станет, и полагали отправить нас за море по льду; но потом наступила довольно мягкая погода, и потому Арбузов, Тютчев и я, мы были отправлены кругоморской дорогой в сопровождении казачьего офицера и трех казаков. В тот же день мы прибыли в Култук, небольшое селение на берегу Байкала, где мы и ночевали. Жители этого селения по большей части занимаются рыбной ловлей и звериной охотой. Тут я в первый раз ел жареную кабаргу. Положение Култука прелестно; вид Байкала, с окаймляющими его горами, ис-

тинно прекрасен, и мне думалось тогда, что быть поселенным здесь и жить в этом отдаленном уголке с семейством было бы верх счастья.

На другой день с нас снял офицер оковы, и мы отправились в дальний путь верхами. Офицер остался запастись водкой, казаки также от нас отстали, и мы в продолжение некоторого времени были как будто на свободе. Погода была нехолодная. После долгой неволи иметь под собой лошадь, которою правишь по своему произволу, и не иметь около себя соглядатаев возбуждает какое-то особенно приятное чувство. По мере того как мы подымались на гору, вид Байкала становился шире и удлинялся в даль. Перед сумерками мы приехали на первую станцию от Култука, где бы, вероятно, и ночевали, если бы тут наш полупьяный офицер не заушил дворового человека Бурнашова, бывшего начальника Нерчинских заводов. После этого происшествия офицер наш велел седлать лошадей, и мы отправились далее. Уже ночью мы переехали гольцы Хамар-Дабана и поздно, усталые, добрались до станции. Арбузова внесли в комнату на руках: его так разломала верховая езда, что он не мог держаться на ногах.

На другой день мы пустились в путь не очень рано. Мы ехали верхом всего около 200 верст, и на всем протяжении не было никаких селений. Лошади, для которых надо было привозить корм очень издалека, и провожатые буряты оставались на станциях только на время, пока не было сообщения по льду через Байкал. Дорога через Хамар-Дабан и по всей этой горной и безлюдной стране была замечательна своим устройством. Везде, где она проходила мимо обрывов, были поставлены надолбни; через все потоки и речки были очень исправно проложены мосты, даже некоторые крутизны были срыты: это был один из памятников самопроизвольного и вместе с тем иногда разумного управления Трескина.

После верховой езды на нас опять надели цепи, и мы ехали на саних, местами почти совсем без снега. В Ключах, староверческом селении, нас приняли очень радушно; пока мы пили чай и потом обедали, много мужчин и женщин приходили поглядеть на нас и поговорить о том, что делалось тогда на Руси. В тот же день мы ночевали в Тарбагатае, также староверческом селении.

Я прежде говорил офицеру, что мне хотелось бы увидеться с Александром Николаевичем Муравьевым, когда мы будем проезжать через Верхнеудинск. Ночью в Тарбагатае офицер разбудил меня, снял с меня железа и вывел из комнаты тайком; потом сказал, что я увижусь с Муравьевым, и повел меня к Заиграеву, про которого упоминают многие из путешественников, описывавших Забайкальский край. Заиграев был неглупый и очень зажиточный крестьянин. У него в гостиной была мебель красного дерева, в углу английские столовые часы, и на столе, когда мы вошли, лежали московские газеты; но вместо Муравьева я нашел тут княжну Вар. Мих. Шаховскую. Она приехала как будто для того, чтобы приискать кормилицу для сестры своей, и надеялась встретить тут Муханова, с которым она была в родстве и очень хорошо знакома. Я прежде ее почти не знал, но тут мы сошлись с ней, как будто век были знакомы. Она мне рассказала многое, чего я не знал, о наших.

Александр Муравьев, приговоренный верховным уголовным судом к каторжной работе на 12 лет, был не только освобожден от работы, но сохранил звание, чин и проч. Он был отправлен на жительство в Якутск; жена его с двумя детьми и двумя своими сестрами за ним последовала, и под каким-то предлогом они все вместе оставались некоторое время в Иркутске; потом Муравьеву вышло позволение, вместо Якутска, жить в Верхнеудинске, откуда он подал просьбу о дозволении ему вступить в службу и был впоследствии определен полицеймейстером в Иркутск.

Вскоре после окончания нашего дела Артамон Муравьев, Давыдов, Оболенский и Якубович были отправлены в Сибирь; вслед за ними были также отправлены Трубецкой, Волконский и два Борисовых. За день до отъезда у Трубецкого тарелками шла кровь горлом, что, однако, не остановило его отправления. По прибытии в Иркутск они были размещены по ближайшим заводам. К Трубецкому приехала жена, и он, устроившись кое-как в Николаевском винокуренном заводе, надеялся, что их тут оставят пока пожить вместе; но они недолго оставались в таком положении. Во время коронации Лавинский прислал нарочного с приказанием, вследствие которого всех осмерых наших потребовали в Иркутск, откуда тотчас же отправили их за

Байкал, в Нерчинские рудники. Княгиню Трубецкую старались всячески задержать в Иркутске и уговаривали даже возвратиться в Россию; но она, своей решительностью преодолев все препятствия, последовала за мужем в Благодатский рудник, где она с ним видалась, но они не жили уже вместе. Бурнашов, начальник Нерчинских заводов, обращался довольно грубо с нашими и сожалел, что в полученном предписании ему приказано было беречь здоровье государственных преступников: их посылали ежедневно в шахты добывать руду вместе с другими каторжными.

Горничная кн. Шаховской сварила кофе и моему офицеру, подлила в него рому; этот напиток подействовал так благотворительно на казака, что он несколько раз безуспешно пытался встать со стула, что и доставило мне возможность беседовать целую ночь с кн. Шаховской.

Проезжая через Верхнеудинск, я напрасно ожидал, что Александр Муравьев выйдет к нам навстречу. Из Верхнеудинска мы ехали и на санях и на колесах и прибыли, наконец, в Читу 24 декабря.

По прибытии в Читу нас привезли в малый каземат: так называли небольшой домик, обнесенный высоким частоколом, служивший прежде острогом для пересылаемых в Нерчинский завод, а потом помещавший в себе часть государственных преступников. Нас ввели в особую комнату, принесли наши вещи и разложили их на пороге; караульный офицер, составив опись нашим вещам, оставил нам платье и белье; книги взял для доставления коменданту, который должен был их рассмотреть; часы же, столовые приборы, даже щипцы были у нас отобраны как предметы, которыми по тюремному положению мы не могли пользоваться. Когда ушел офицер, дверь в нашу комнату осталась свободной, и жильцы малого каземата посетили нас; тут были Юшневский, Николай и Михайло Бестужевы, Горбачевский, Артамон Муравьев и другие.

В сумерки плац-адъютант Куломзин тайно привел ко мне Фонвизина. После продолжительной разлуки мы нежно обнялись с ним. Он похудел; раненный в ногу во время кампании 13-го года, оковы по временам очень его беспокоили. Он часто получал письма от жены своей, которая собиралась скоро к нему приехать; расстался он с ней еще в начале 1827 г. В это время

началось отправление из Петропавловской крепости в Читу. До самого отъезда содержавшиеся в Петропавловской крепости имели дозволение еженедельно видеться с близкими своими родственниками.

Вслед за отправленными после казни в каторжную работу были также отправлены все разжалованные в солдаты и присужденные на поселение. Положение последних по назначению мест их жительства было вообще незавидно, а некоторых даже ужасно дурно. Все они были поселены в самых северных странах Сибири; Николай Бобрищев-Пушкин и Шаховской были отправлены в Енисейск, где они оба сошли с ума. Чижов был поселен в Гижиге, а Назимов — в Среднеколымске, состоявшем из нескольких казачьих юрт. Казаки, получив предписание держать Назимова под строгим надзором и вместе с тем беречь его здоровье, не знали, что с ним делать; они заперли его в одну из своих юрт, отправив гонца в Якутск с донесением, что Назимов болен и что они не знают, чем его кормить; сами они зимой питались вяленой рыбой. Через некоторое время вышло разрешение перевезти Назимова в одно небольшое селение на Лене, где ему было уже несколько лучше; но в Среднеколымске он нажил жестокие ломоты в руках и ногах, от которых впоследствии едва мог избавиться. Чижов также был переведен из Гижиги в другое место. Все прочие государственные преступники осьмого разряда были также поселены в местах, весьма неудобных для жизни.

После коронации был учрежден комитет для составления устава относительно нашего заключения и содержания. В комитете этом заседали генералы Чернышев, Дибич, Бенкендорф и другие. Местом для нашего заключения был назначен Акатуй, серебряный рудник, в стране глухой и отдаленной от всякого жилья. Тут заложен был фундамент острога, не выходя из которого во время нашего содержания, мы спускались бы в шахты для ежедневных работ. Но постройка этого острога могла кончиться не прежде, как года через два или три, и потому временным местом нашей ссылки была назначена Чита.

По учреждению комитета был вызван в Москву Лепарский, только что произведенный в генерал-майоры, и назначен комендантом Нерчинских заводов. Перед тем он командовал конно-егерским Северским полком,

которого шефом был великий князь Николай Павлович. Лепарский был уже очень стар. При Кагуле он был на ординарцах у Румянцева; в конфедератскую войну он был уже майором. Поляк, он воспитывался в Польше у иезуитов. Несмотря на преклонность своих лет и на странность приемов, он был человек очень неглупый, и ум его еще был свеж, а, что и того лучше, сердце у него было совершенно на месте и нисколько не стариловское. Снабженный строгими предписаниями от комитета, он был отправлен в Читу, чтобы распорядиться там помещением для нас. В Иркутске, по требованию Лепарского, была назначена команда с приличным числом офицеров для содержания караулов в Чите. Были также назначены для нас и для читинской команды священник и врач. С прибытием коменданта в Нерчинск положение содержащихся в Благодатском руднике изменилось не к лучшему. На них надели цепи, которых они до того не носили, потом их перевезли в Читу. Первоприбывших в Читу, Никиту Муравьева, брата его, Анненкова, Фонвизина, Басаргина, Вольфа, Абрамова и др., поместили в старом каком-то строении, очень низком, темном и сыром, и сначала содержали их очень строго. С наступлением теплой погоды их водили на некоторые земляные работы. В это время приступили к поправке малого и к постройке большого каземата.

День нашего прибытия в Читу был канун рождества, и вечером повели нас всех из малого каземата в сопровождении солдат с ружьями и штыками в большой каземат, где священник с своим причтом служил для нас всенощную. Тут я имел удовольствие обнять многих старых моих приятелей и близких мне знакомых. В большом каземате помещалось человек около шестидесяти. Все были в цепях, которые скидывались только, когда водили в баню или к причастию. Все двигалось, гремело, но только ни на ком не было уныния, и все было как будто на каком-то торжественном пиршестве.

Один только Никита Муравьев был болен и жестоко страдал и телом и душой. В Москве у матери он оставил троих малолетних своих детей — мальчика и двух девочек, и недавно получил известие, что мальчик скончался; бедный Никита в этом печальном положении не имел даже возможности делить горе с своей женой, тотчас последовавшей за ним в Сибирь.

Когда я приехал в Читу, там были уже княгиня Трубецкая, княгиня Волконская, Муравьева, Нарышкина, Ентальцева и Давыдова. Все они покинули родных и всех своих близких, а Муравьева и княгиня Волконская расстались с малолетними детьми своими, может быть навсегда, и отправились в Сибирь с твердым желанием делить участь мужей своих и в надежде жить с ними вместе; но и эта скромная надежда для них не сбылась. По прибытии в Читу они имели только возможность видаться с своими мужьями два раза в неделю, и всякий раз не более как на несколько часов. Всякий раз каждая из них подходила украдкой к частоколу, чтобы взглянуть на своего мужа и перемолвить с ним несколько слов, но и это утешение не всегда им удавалось: часовые имели строгое приказание никого не подпускать к острогу, и нередко случалось, что часовой, исполняя приказ начальства, отгонял посетительницу прикладом.

На другой день нашего приезда в Читу посетил нас комендант Лепарский. После обыкновенных расспросов в подобных случаях, не имеем ли каких жалоб на офицера, нас сопровождавшего, Лепарский передал мне поклон от Граббе, с которым он был коротко знаком. После отставки и годовой ссылки в Ярославль Граббе, принятый на службу, был определен младшим полковником в Северский конно-егерский полк и отдан под строгий надзор Лепарского, который, не стесняясь данными ему предписаниями, всевозможным вниманием старался облегчить неловкое положение Граббе. Граббе не был судим верховным уголовным судом; но за смелые ответы в комитете после нашего приговора по воле высочайшей власти он содержался некоторое время под арестом в Динабурге и потом отправлен в свой полк. По прибытии в полк он остановился в трактире; Лепарский в тот же день явился к нему со строгим выговором за то, что Граббе не остановился прямо у него. Граббе извинялся тем, что таким поступком и в обстоятельствах, в каких находился, боялся повредить ему. Лепарский, невзирая ни на что, перевез к себе Граббе, сказав ему, что «так как сам государь не нашел вас виновным, то мне нечего вас опасаться».

Через три дня после нас прибыли в Читу Пущин, Поджою и Муханов, и через два дня после их прибытия фельдъегерь привез Вадковского. Все четверо они были

помещены в одну с нами комнату, и, когда мы семеро ложились ночевать на нары, не приходилось в ширину по аршину на человека; но тогда все это было нипочем. Знали, что фельдъегерь, который привез Вадковского, должен был увести кого-то из Читы, но кого именно и куда в продолжение нескольких дней было неизвестно; кончилось тем, что он увез Корниловича, как было слышно, в Петропавловскую крепость, откуда потом Корнилович был отправлен на Кавказ, где и умер.

В малом каземате мы обедали все вместе и поочередно дежурили; обязанность дежурного состояла в том, чтобы приготовить все к обеду и к ужину и потом все прибрать. К обеду приносил сторож огромную латку артельных щей и в другой латке накрошенную говядину; хлеб приносили в ломтях; нам не давали ни ножей, ни вилок; всякий имел свою ложку, костяную, оловянную или деревянную; недостаток тарелок дополняли чайными деревянными китайскими чашками. После каждой трапезы наступало для дежурного отвратительное положение: ему приходилось мыть посуду и приводить все в порядок, а для исполнения этой обязанности недоставало средств: не было ни стирок, ни часто даже теплой воды для мытья посуды. Чай мы также пили все вместе, и тот, кто постоянно его разливал, избавлялся от обязанности поочередно дежурить с другими.

Мы жили в такой тесноте, что ничем пристально заниматься не было возможности; едва удавалось в течение дня что-нибудь прочесть. Игра в шахматы и взаимные рассказы были главным нашим занятием и развлечением. В будни наряжались из всех казематов 16 человек на работы, куда мы отправлялись за конвоем вооруженных солдат. В небольшом домике были поставлены четыре ручных мельницы, которые помещались в одной комнате; работа продолжалась три часа поутру и три часа после обеда. В это время мы должны были все вместе перемолоть четыре пуда ржи, из числа которых приходилось по десяти фунтов на каждого человека; а так как у каждой из четырех мельниц не могло работать более двух человек, то мы в продолжение работы сменялись несколько раз. Работа, конечно, была нетяжелая; но некоторые, не имея сил исполнить сами свой урок, нанимали сторожа, который молот их пай. Мука нашего изделия была вообще не отличного достоинства. Те, которые не работали, в дру-

гой комнате курили, играли в шахматы или занимались чтением и разговором.

В феврале приехала m-lle Поль, получившая позволение выйти замуж за Анненкова. После венчанья Анненкову было позволено остаться три дня с молодой своей супругой, и на это время с него сняли оковы. Наконец, приехала и Фонвизина. Разные неблагоприятные обстоятельства задерживали ее в Москве. Здоровье ее было очень ненадежно, и в отсутствие мужа она была несколько раз тяжело больна. Приехавши в Сибирь, ей приходилось покинуть двух малолетних детей, расстаться навсегда с престарелыми родителями, которые, страстно любя единственную свою дочь, всячески старались удержать ее от поездки в Сибирь, она же, преодолев все нежные чувства в себе к отцу, матери и детям, отправилась окончательно к своему мужу. Она ко многим из нас, и ко мне в том числе, привезла письма. Жена моя убедительно просила меня, чтобы я позволил ей приехать, уверяя, что она несколько не чувствует себя способной быть на пользу для детей; но я был убежден в противном.

Меня и некоторых других перевели из малого каземата в большой. В комнате, в которой меня поместили, нас было четырнадцать человек. По всем стенам стояли кровати; посреди комнаты стоял стол, за которым мы обедали; по одну сторону его стояла скамейка, а по другую сторону стола оставалось не более простора, сколько необходимо пройтись одному вдоль комнаты, и потому по необходимости приходилось почти целый день сидеть, когда нельзя было гулять по двору. Большой каземат был невообразимо дурно построен; окна с железными решетками были вставлены прямо в стену без колод, и стекла были всегда зимой покрыты толстым льдом. В комнате нашей вообще было и холодно и темно. Всякий старался пристроиться на своей кровати так, чтобы ему можно было читать или заниматься чем другим.

Все, с малым исключением, учились сами или учили других, и такие постоянные занятия в нашем положении были примирительными средствами и истинным для нас спасением. Будучи в беспрестанном столкновении друг с другом, более праздная жизнь была бы для нас губительна. Очень немногие из славян знали иностранные языки, и почти все они начали учиться по-

французски; те, которые не знали по-немецки и по-английски, при помощи других учились этим языкам. Многие занимались даже древними языками. Те, которые были знакомы с математикой и естественными науками, имели также учеников. В книгах недостатка не было, журналов получалось также довольно, и всякий имел возможность читать лучшие сочинения по всем отраслям человеческих знаний.

Первое время, без привычки, очень трудно было чем-нибудь пристально заниматься, почти беспрестанно слышались звуки желез; случалось углубиться в чтение, а иногда, получивши письма от своих, унести мыслью далеко от Читы, и вдруг распахнется дверь, и молодежь с топотом влетит в комнату, танцуя мазурку и гремя цепями. Некоторые упражнялись в музыке, рисованье и живописи, другие занимались ремеслами для пользы общей. Прежде всего образовались портные, в которых в первое время пребывания нашего в Чите оказалась потребность; впоследствии были между нами и столяры, и слесаря, и переплетчики.

Николай Бестужев, в молодости учившийся в академии художеств, был наш портретист и нарисовал наших дам и почти всех своих товарищей; вместе с тем он был и нашим часовщиком, когда нам позволено было иметь при себе часы. По временам, в хорошую погоду, на дворе играли в городки и бары, хоть это было не совсем удобно при тех украшениях, какие мы имели на ногах, но потом почти все ознакомились с этой игрой.

В разговорах очень часто речь склонялась к общему нашему делу, и, слушая ежедневно частями рассказы, сличая эти рассказы и поверяя их один другим, с каждым днем становилось все более понятным все то, что относилось до этого дела, все более и более пояснялось значение нашего Общества, существовавшего девять лет вопреки всем препятствиям, встречавшимся при его действиях; пояснялось также и значение 14 декабря, а вместе с тем становились известными все действия комитета при допросе подсудимых и уловки его при составлении доклада, в котором очень немного лжи, но зато который весь не что иное, как обман. Избрать из находившихся под следствием определенное число виновных и обречь их на жертву было нетрудно, — всякий, кто был уличен в непристойных словах против правительства, подвергался уже всей строгости законов;

но труднейшая задача комитета состояла в том, чтобы, давши как будто несомненные доказательства добросовестности, осквернить перед общим мнением цель Тайного общества и вместе с тем осквернить побуждения каждого из членов этого Общества.

Для достижения своей цели члены комитета нашли удобным при составлении доклада, опираясь беспрестанно на собственные признания и показания подсудимых, поместить в своем донесении только то из этих признаний и показаний, что бросало тень на Тайное общество и представляло членов его в смешном или отвратительном виде, умалчивая о том, что могло бы возбудить к ним сочувствие.

Верховный уголовный суд, соображаясь с действиями комитета, с своей стороны нарушил порядок, определенный законами в судопроизводстве. Подсудимых не требовали в суд для прочтения им обвинений комитета; у них не спрашивали, не имеют ли они чего прибавить к прежним своим показаниям или сказать что-нибудь в свое оправдание. Они были призваны только за несколько дней до произнесения приговора для того, чтобы подписать, как сказали им, собственные их показания, но которых они не читали и которые по большей части были написаны не их рукой. Конечно, во всем этом ни члены комитета, ни члены верховного уголовного суда не заслуживают особенного нареkania. В подобных случаях в России и вне России всегда поступают точно так же, ничем не стесняясь при обвинении людей, считаемых опасными для существующего правительства. Трудно обвинить членов комитета в умышленной несправедливости из личных видов против кого-нибудь из подсудимых. Можно привести только один пример такой явной несправедливости. Граф Чернышев, отданный под суд, содержась в крепости и ни разу не быв призван в комитет, даже не получив ни одного письменного запроса, был приговорен в каторжную работу. Он со временем должен был получить в наследство довольно значительный майорат, установленный в их роде. Граф Чернышев был единственный сын, и после лишения его всех прав и состояния мужская линия прекратилась в их семействе, и генерал Чернышев, так усердно действовавший в комитете, воспользовался таким обстоятельством, предъявил свои требования на получение майората. Сенат, по рассмотрении

этого дела, нашел, что требования генерала Чернышева не были основаны ни на малейшем праве, и присудил, что майорат должен принадлежать старшей сестре гр. Чернышева, сосланного в Сибирь. Она была замужем за Кругликовым, который по получении майората стал называться графом Чернышевым-Кругликовым.

Все мы, вместе находившиеся в Чите, имели между собой много общего в главных наших убеждениях; но между нами были 40-летние, другим едва минуло 20 лет. При нашем тогда образе существования никто внутри каземата не был стеснен в своих сношениях с товарищами никакими светскими приличиями. Личность каждого резко выказывалась во многих отношениях, мнения одних разнились от мнений других, и мало-помалу составились кружки из людей более близких между собой по своим понятиям и влечениям. Один из этих кружков, названный в насмешку «Конгрегацией», состоял из людей, которые по обстоятельствам, действовавшим на них во время заключения, обратились к набожности; при разных других своих занятиях они часто собирались все вместе для чтения назидательных книг и для разговора о предмете, наиболее им близком. Во главе этого кружка стоял Пушкин, бывший свитский офицер и имевший отличные умственные способности. Во время своего заключения он оценил красоты евангелия и вместе с тем возвратился к поверьям своего детства, стараясь всячески осмыслить их. Члены «Конгрегации» были люди кроткие, очень смиренные, никого не задирующие, и потому в самых лучших отношениях с остальными товарищами.

Другой кружок, наиболее замечательный, состоял из Славян; они не собирались никогда вместе, но, быв знакомы одни с другими еще прежде ареста, они и потом оставались в близких сношениях между собой. Все они служили в армии, не имея блистательного положения в обществе; многие из них воспитывались в кадетских корпусах, не отличавшихся в то время хорошим устройством. Вообще грамотность Славян была не очень обширна; но зато, имея своего рода поверья, они не изъявляли почти никогда шаткости в своих мнениях, и, приглядевшись к ним поближе, можно было убедиться, что для каждого из них сказать и сделать было одно и то же и что в решительную минуту ни один из них не попятится бы назад.

Главное лицо в этом кружке был Петр Борисов, которому Славяне оказывали почти безграничную доверенность. Иные почитали его основателем Общества соединенных славян; но он в этом не сознавался, и, зная его, трудно было поверить, чтобы он мог быть основателем какого-нибудь тайного общества. Воспитанный дома у отца, довольно любознательного, он, вступив восемнадцати лет в артиллерию юнкером, с ротой своей стоял некоторое время в имении богатого польского помещика, у которого была библиотека. Борисов, зная несколько по-французски и пользуясь книгами, которые попадались ему в руки, прочел Вольтера, Гельвеция, Гольбаха и других писателей той же масти восемнадцатого столетия и сделался догматическим безбожником. Проповедуя неверие своим товарищам Славянам, из которых многие верили ему на слово, он был самого скромного и кроткого нрава; никто не слыхал, чтобы он когда-нибудь возвысил голос, и, конечно, никто не подметил в нем и тени тщеславия. Благорасположение ко всем проявлялось в нем на каждом шагу, и с детским послушанием он исполнял требования кого бы то ни было; он любил страстно чтение и рисовал очень недурно; но требовал ли кто-нибудь, чтобы он вскопал гряду, и он тотчас оставлял свои любимые занятия и брался за заступ; нужно ли было кому воды для поливки, он без малейшей оговорки приносил ведра с водой. Следя внимательно за всеми его поступками, невольно приходило на мысль, что этот человек, несознательно для самого себя, был проникнут истинным духом христианства.

Были и другие кружки, составившиеся по разным личным отношениям. Но при всем том мы все вместе составляли что-то целое. Бывали часто жаркие прения, но без ожесточения противников друг против друга. Небольшие ссоры между молодежью вскоре прекращались посредничеством других товарищей, и вообще никогда сор не выносился из избы. Все почти Славяне и многие другие не привезли с собой денег и не получали ничего из дома; нужды их удовлетворялись другими товарищами, более имущими, с таким простым и искренним доброжелательством, что никто не чувствовал при том ничего для себя неловкого. Деньги наши и даже деньги дам хранились у коменданта; дамам он выдавал их не в большом количестве и всякий раз тре-

бывал в них письменного отчета. Для уплаты по расходам в каземате были придуманы разные приемы, на которые комендант смотрел сквозь пальцы, требуя только, чтобы ему был представлен подробный отчет в выданных им деньгах, и не заботясь, истрачены ли они именно на тот предмет, который показывали в отчете. Всякий, кто имел деньги, подписывал их все или часть их в артель, и они становились общей собственностью. Хозяин, избранный нами, расходовал этими деньгами по своему усмотрению на продовольствие и на другие необходимые вещи для всех.

В марте 1828 г. пришло разрешение всех государственных преступников седьмого разряда, кончивших свой срок работы, отправить на поселение. Пред отправлением с них сняли оковы и позволили им видаться с нашими дамами, которые неимущих снабдили всем нужным и дали им денег. Принадлежащие к этому разряду были распределены по местам очень северным и наравне неудобным к жизни, как и места, где были первоначально поселены государственные преступники восьмого разряда. Чернышев один был помещен несколько лучше других: его отправили в Якутск. Кривцов и Загорецкий были поселены на Лене, Иван Абрамов и Лесовский — в Туруханске. Выгодковский был отправлен в Нарым, а Тизенгаузен — в Сургут, Ентальцев, Лихарев и Черкесов были отосланы в Березов, где они наши Враницкого и Фохта. Бриген был послан в Пелым.

Из этого разряда Поливанов умер еще в крепости, а Толстой, пробыв короткое время в Чите, был отправлен на Кавказ.

Перед отправлением седьмого разряда прибыли в Читу Игельстром, Вегелин и Рукевич; первые двое служили саперами в Литовском корпусе и после того, что отказались присягать новому императору, были арестованы <неразб.>. Рукевич — поляк, державший на <неразб.> какое-то имение. Все трое они принадлежали к Тайному обществу, существовавшему в Вильне, прочие члены которого были давно подвержены правительством разного рода наказаниям, но только Игельстром, Вегелин и Рукевич были судимы на месте военною комиссиею и осуждены в каторжную работу. До Тобольска их везли с жандармами, но от Тобольска они были отправлены пешком в цепях с партией до Иркутска.

В то время, что мы судились в Петербурге, офицеры Черниговского полка барон Соловьев, Сухинов, Мозалевский и Быстрицкий, участвовавшие в восстании Сергея Муравьева, были отданы на месте под военный суд. Приговоренные в каторжную работу на 20 лет, они были отправлены пешком в Нерчинские рудники. Быстрицкий оставлен некоторое время за болезнью в Москве и прибыл в Читу прежде Соловьева, Сухинова и Мозалевско-го, которые уже давно находились в Нерчинске.

Вступив в близкие сношения с некоторыми из ссыльно-каторжных, Сухинов замышлял с ними восстание, дальнейшая цель которого осталась не совсем известна; некоторые из тех же ссыльных донесли о заговоре, в котором они участвовали. Сухинов, Соловьев, Мозалевский и все подозреваемые в заговоре были заключены под строгий караул. Комендант Лепарский, по донесении в Петербург об этом деле, получил повеление подвергнуть виновных наказанию, к какому суд приговаривает их, не дожидаясь на то разрешения высочайшей власти. Скрепя сердце, Лепарский отправился в Нерчинск. Сухинов, унтер-офицер Московского полка, посланный после 14 декабря, и еще несколько человек приговорены к смертной казни и были расстреляны, кроме Сухинова, который предупредил казнь самоубийством.

После этого происшествия Соловьев и Мозалевский, несколько в нем не участвовавшие, были перевезены в Читу. Лепарский не имел возможности не быть исполнителем повеления, полученного из Петербурга; но по возвращении ему, видимо, было неловко, особенно когда он виделся с нашими дамами, которые долго смотрели на него, как на палача. До моего приезда были и между нашими разного рода предположения о возможности освободиться, но так как все эти предположения были несбыточны, они пали сами собой, без малейших последствий, и мы, приехавшие после, знали о них только по рассказам. Впоследствии когда все и каждый оценили то назначение, какое мы имели в нашем положении, никому на мысль не приходило намерение освободиться. Никто даже из находившихся на поселении, в самых тяжких обстоятельствах, не попытался избавиться от своих страданий бегством.

От своих мы получали письма через коменданта, который должен был предварительно прочитать их. Са-

мим же нам не было дозволено писать, но наши дамы, имевшие право переписываться с кем им было угодно, взяли на себя труд извещать о нас родных, и таким образом устроилась между нами и нашими родными довольно правильная переписка. Каждая дама имела несколько человек в каземате, за которых она постоянно писала, и переданное ей от кого-нибудь черновое письмо она переписывала начисто как будто от себя, прибавив только: «Такой-то просит меня сообщить вам то-то».

Труд наших дам по нашей переписке был немаловажен. Я знаю, что одна княгиня Трубецкая переписывала и отправляла к коменданту еженедельно более десяти писем. Дамы, приехавшие к своим мужьям, давали расписки в том, что они подчинятся всем распоряжениям коменданта и, помимо его, ни с кем не будут в переписке. Коменданту на каждой неделе приходилось, по прибытии и перед отправлением почты, прочесть писем сто. Все письма из Читы шли через третье отделение, и комендант читал их на случай, что может быть запрос по какому-нибудь из этих писем. Письма же к нам читались в Иркутске, и если губернатор находил в них что-нибудь заслуживающее внимания, то он сообщал об этом в третье отделение. Комендант читал и эти письма, опасаясь опять, чтобы ему по какому-нибудь из них не сделали запроса.

Однажды, скоро по прибытии Фонвизиной, меня позвали к частоколу, у которого стояла княгиня Трубецкая с письмом в руках; она мне просунула его сквозь промежуток в частоколе и с искренней радостью передала мне добрую весть, что жене моей позволено приехать ко мне и взять с собой детей. Это известие было так неожиданно для меня, что я, не смея сомневаться в словах княгини Трубецкой, не вдруг мог поверить своему счастью. Все в каземате меня поздравляли.

У Никиты Муравьева, у Фонвизина и у Давыдова остались дети, которым, можно было теперь надеяться, позволят приехать к своим родителям; у Розена осталась жена при малолетнем сыне, и Розен также мог теперь надеяться скоро свидеться с своим семейством.

На другой день комендант, приехав в каземат, взял меня в сторону и, зная, что жена моя с детьми собирается приехать ко мне, объявил мне, что он не дозволит им со мной свидания, если на это не получит особенно-

го предписания. Я старался уверить его превосходительство, что, конечно, жена моя не отправится в Сибирь с детьми, не получив на то дозволения от кого следует, и что, конечно, об этом он будет извещен до ее прибытия.

Вскоре потом я получил письмо, в котором жена моя передала записку, полученную ею от генерала Дибича, за собственноручной его подписью и в которой было сказано: государь император соизволил разрешить Якушкиной ехать к мужу, взявши с собой и детей своих, но при сем приказал обратить ее внимание на недостаток средств в Сибири для воспитания ее сыновей. Получив такое благоприятное известие, я вправе был надеяться, что в скором времени соединюсь с моим семейством. Жена моя, за нездоровьем маленького, не могла тотчас воспользоваться дозволением ехать в Сибирь и должна была отложить свое путешествие до летнего пути; а между тем Анна Васильевна Розен, узнавши, что жене моей позволено ехать в Сибирь и взять с собой детей, отправилась в Петербург хлопотать, чтобы и ей было дозволено ехать к мужу вместе с своим сыном. При свидании с ней шеф жандармов граф Бенкендорф решительно отказал ей на ее просьбу, сказав, что генерал Дибич поступил очень необдуманно, ходатайствуя за Якушкину, которая, впрочем, не получит уже из третьего отделения всего нужного для своего отправления и потому также не поедет в Сибирь. На вопрос А. В. Розен, что было бы с Якушкиной, если бы она, получив высочайшее позволение, тотчас вместе с детьми отправилась к мужу: в таком случае, отвечал шеф жандармов очень откровенно, ее, конечно, не вернули бы назад.

В это время началась война с Турцией, и потому ни императора, ни генерала Дибича не было в Петербурге. Теща моя ездила не раз в Петербург хлопотать об отправлении дочери и внуков своих в Сибирь, но все старания остались тщетными. Шеф жандармов на ее убедительные просьбы остался непреклонным; она с горестью известила меня об всем об этом. Получив ее письмо, мне живо представилось положение жены моей; мне приходилось вторично принести ее в жертву общим нашим обязанностям к малолетним детям; я при этом совершенно растерялся.

Попросив к себе коменданта, я убеждал его вступить в мое положение и сделать все, что он может, для соединения меня с моим семейством, обращая его внимание на то, что жена моя уже имела высочайшее позволение вместе с детьми приехать ко мне. Комендант просил меня успокоиться, сказав, что в этом деле он не имеет никакой возможности принять действительное участие; потом, чтобы утешить меня в моем горе, он рассказал мне о многих затруднениях, испытанных им в жизни, и которые он преодолел только терпением, чем, конечно, он несколько меня не утешил. Но и на этот раз опять пришлось уступить всемогущей неизбежности и помириться, сколько это было можно, с моим положением.

Швейковский с лишком год был нашим хозяином; кормил он нас довольно плохо и очень неопрятно; вообще его распоряжениями по хозяйству многие были недовольны, и молодежь особенно изъявляла на него свое неудовольствие, вследствие чего Швейковский просил освободить его от должности хозяина, на что все согласились и приступили к выбору нового хозяина. При этом собирались голоса всех участвующих в артели. Не чувствуя себя способным исполнить обязанности хозяина, я отказался от избрания и избирательства. На место Швейковского был выбран Розен; при нем с теми же малыми средствами, как и прежде, все по хозяйству пошло несколько лучше.

С наступлением весны загородили для нас большое место под огород, и мы всякий день по несколько человек ходили туда работать. В первый этот год урожай был очень плохой; но все-таки в продолжение осени и зимы клалось в нашу артельную похлебку по несколько картофелин, реп и морковей. Когда стало совсем тепло, нас два раза водили в день купаться, человек по пятнадцати за один <раз> и, разумеется, за сильным конвоем. Для нашего купанья назначил комендант очень мелкий приток речки Читы, впадающей в Ингоду; место, где мы купались, было загорожено тыном. С тех, которые шли купаться, снимали железа, а по возвращении опять их надевали им.

В июне привезли в Читу Лунина, Митькова и Киреева, а скоро потом прибыли из Оренбурга Ипполит Завалишин, Таптыков, Дружинин и Колесников. Завалишину было не более как лет семнадцать. Во время

нашего дела он находился в инженерном училище. Когда брат его был осужден в каторжную работу, он сделал на него донос, до такой степени отвратительный, припутав тут и сестру свою, что он был исключен из училища и отправлен по пересылке солдатом в Оренбург. Владимирский губернатор граф Апраксин сжался над его молодостью и оказал ему некоторое снисхождение. Завалишин донес об этом в Петербург, и граф Апраксин лишился своего места. По прибытии в Оренбург Завалишин сблизился с некоторыми юнкерами и молодыми офицерами своего батальона; бывший неглуп от природы и получивши некоторое образование, он имел значение между этой молодежью и скоро приобрел ее доверенность. В дружеских беседах, за стаканом чаю с кизляркой, он склонил молодых людей участвовать в тайном обществе, которого он был основателем; получив несомненные доказательства их согласия принадлежать к тайному обществу, он донес ген.-губернатору Эссену о существовании тайного общества в Оренбурге; тотчас было произведено следствие, и оказалось, что все члены этого общества были приняты Завалишиным. Он, Таптыков, Дружинин и Колесников были осуждены в каторжную работу на разные сроки и отправлены по пересылке в Читу.

30 августа комендант собрал нас всех вместе и прочел нам бумагу, в которой было сказано, что государь император, по представлению коменданта Нерчинских рудников Лепарского, дозволил ему снять железа с тех государственных преступников, которых он найдет того достойными. Лепарский сказал нам, что, находя всех нас достойными монаршей милости, он велит со всех нас снять оковы. Затем последовало глубокое молчание; слышалось только несколько голосов Славян, просивших, чтобы с них не снимали оков. Комендант не обратил на это внимания и приказал присутствовавшему тут караульному офицеру снять со всех железа, пересчитать их и принести к нему.

Потом все эти оковы хранились у Смольянинова, горного заводского чиновника, женатого на побочной дочери Якоби, бывшего генерал-губернатором в Иркутске, а она приходилась сродни Анненкову, который был родной внук этого Якоби, и потому всегда была возможность добывать от Смольянинова эти железа по ча-

стям на разные поделки; из них большею частию наделаны кольца.

Из Нерчинска всякий год с нарочным отправлялась серебрянка в Петербург. Анненков через Смольянинову отправил с ней письмо к своей матери. Офицер, бывший при серебрянке, по приезде в Петербург доставил письмо Анненкова прямо в третье отделение, откуда, по прочтении, оно было доставлено Анненковой; а комендант Лепарский получил приказание Смольянинову, за ее преступный проступок, выдержать неделю под арестом.

После того, что сняли с нас железа, и самое заключение наше было уже не так строго. Мужья ходили всякий день на свидание к своим супругам, а по нездоровью которой-нибудь из них муж ее оставался ночевать дома. Потом мужья и совсем не жили в каземате, продолжая ходить на работу, когда была их на то очередь.

Врач, присланный для нас из Иркутска, оказался очень неискусным, и потому старик Лепарский, часто страдавший разными недугами, поставлен был в необходимость прибегать к советам товарища нашего Вольфа, бывшего штаб-лекаря при главной квартире второй армии. Первоначально Вольф неохотно выходил из каземата и с своими предписаниями отправлял к Лепарскому Артамона Муравьева, страстно любившего врачевать; но были и такие случаи, в которых присутствие Вольфа было необходимо. Вызывая к себе Вольфа, коменданту трудно было не позволить ему навещать дам, когда они были нездоровы. Окончательно Вольф получил дозволение выходить в сопровождении часового всякий раз, что его помощь нужна была вне каземата.

Потом и нам дозволялось ходить к женатым, но ежедневно не более как по одному человеку в каждый дом, и то не иначе, как по особенной записке которой-нибудь из дам, просившей коменданта под каким-нибудь предлогом позволить такому-то посетить ее.

В 1829 г. на место Розена был избран хозяином Пушкин, а Кюхельбекер — огородником. Оба они пристально занялись огородом, обрабатывая его наемными работниками, и урожай всего был до того обильный, что Пушкин, заготовив весь нужный запас для каземата, имел еще возможность снабдить многих неимущих жителей картофелем, свеклой и прочим. До нашего при-

бытия в Чите очень немного было огородов, и те, которые были, находились в самом жалком положении.

Вообще пребывание наше в Чите оказалось в некоторой степени благотельно для жителей, принадлежавших к горному ведомству и управляемых горными чиновниками. Большая часть из них были очень бедны, но при нас они имели все средства поправить свое состояние. Расходы наших дам и издержки на каземат ежегодно простирались тысяч до ста на ассигнации, значительная часть которых истрачивалась в самой Чите, и в какие-нибудь два года положение читинских жителей очевидно улучшилось: они обзавелись лопотью и всем нужным для них, много было выстроено новых домиков, и старые строения приведены в исправность.

В этом году, когда была хорошая погода, нас вывели всех, кроме занимавших какую-нибудь должность по каземату, на земляную работу: одни заступами копали землю, другие на гачках возили ее в Чертову яму, так называли овраг возле моста, при выезде по московской дороге. Работа эта была не изнурительна, всякий работал по силам своим, а иные и совсем не работали; все это вместе было каким-то представлением, имеющим целью показать, что государственные преступники употребляются нещадно в каторжную работу. В то же самое время мы ежедневно ходили по три раза в день купаться, и уже не в загороженный приток Читы, но в самую Читу; а когда эта речка мельчала, нас водили купаться в Ингоду, отстоящую версты на две от каземата. Такие прогулки для нас были очень приятны, но, конечно, несколько не забавляли наших конвойных, которым с ружьем на плече приходилось в иной день раз по шести совершать поход от каземата до Ингоды и обратно. Читинская команда была сброд дружины, и большая часть солдат, ее составлявших, беспрестанно в чем-нибудь нуждались, и так как мы по возможности удовлетворяли их нуждам, то в их отношениях к нам не было ничего враждебного. Мало-помалу нам все более и более предоставлялись льготы. К каждому из женатых отпускалось по несколько человек в день, а в случае нездоровья которой-нибудь из дам, когда нужен был уход за больной, позволялось некоторым из нас и ночевать вне каземата.

В начале 1830 г. Таптыков, Колесников и Дружинин, окончивши свой срок работы, были отправлены на

поселение; так как они не получали ничего из дому, их снабдили всем нужным и деньгами. Дружинину дали ящик с табаком для доставления княжне Шаховской в Иркутск; в этом ящике было двойное дно, и при таком устройстве он заключал в себе, тайно, много писем, которые княжна Шаховская должна была доставить по назначению с удобным случаем. Она известила, что получила табак, но ни слова не говорила о письмах; это уже казалось довольно странно; но когда с ней списались и узнали, что она получила табак в бумаге, а не в ящике, как он был отправлен с Дружининым, то во многих это возбудило тревожное чувство. Оказалось впоследствии, что Дружинин, пересыпав табак в бумагу, оставил ящик у себя; потом, прибыв на место и познакомившись с священником села, в котором был поселен, он пожертвовал ящик, окованный железом, в церковь для сбора денег. Окончательно узнав свою ошибку, он добыл его обратно и доставил княжне Шаховской.

По донесению Лепарского о неудобствах заточить нас в Акатуй ему было предоставлено избрать место для постройки казарм, в которых мы могли бы содержаться согласно со строгим предписанием, данным ему относительно нас. Он ездил в Петровский Завод и нашел удобным построить там для нас полуказарму. Постройка эта была окончена в 1830 г., и началась уже переписка, каким образом отправить нас из Читы, пешком или в повозках. Пришло, наконец, предписание отправить нас пешком, но так как на нашем пути были места ненаселенные, где кочевали только буряты, то местное начальство должно было принять меры для устройства ночлегов и для нас и для команды, нас сопровождавшей. В конце августа выступили в поход двумя партиями; первая шла на один переход вперед от второй партии; через каждые два перехода была назначена дневка. С первой партией шел сам генерал Лепарский и часть его штаба. Хозяйственной частью этой партии заправлял Пушкин. При второй партии шел плац-майор Лепарский, племянник коменданта, и один плац-адъютант; хозяйством заведывал Розен.

Долго старик Лепарский обдумывал порядок нашего шествия и, вспомнив бывшее, распорядился нами по примеру того, как во время конфедератской войны он конвоировал партии пленных поляков. Впереди шел аван-

гард, состоявший из солдат в полном вооружении, потом шли государственные преступники, за ними тянулись подводы с поклажей, за которыми следовал арьергард. По бокам и вдоль дороги шли буряты, вооруженные луками и стрелами. Офицеры верхом наблюдали за порядком шествия. Сам комендант иногда отставал от первой партии затем, чтобы собственным глазом взглянуть на вторую партию.

Нарышкина, Фонвизина и княгиня Волконская, не имевшие детей, следовали за нами в собственных экипажах и видались с своими мужьями, когда мы останавливались ночевать, а во время дневок были с нами целые дни вместе. Другие же дамы: княгиня Трубецкая, Муравьева, Давыдова и Анненкова, у которых были дети, чтобы не подвергать их случайностям долговременного пути, отправились из Читы на почтовых прямо в Петровский Завод.

Вообще путешествие это, при довольно благоприятной погоде, было для нас приятной прогулкой. Во время всего нашего странствования, продолжавшегося около полутора месяца, было перехода три верст в 35, остальные переходы были гораздо меньше и нисколько не утомительны; впрочем, кто не мог или не хотел идти пешком, мог ехать на повозке: подвод для нас и под нашу поклажу на каждом ночлеге заготовлялось много множество. Поутру, услышав барабан, мы выходили на сборное место и часов в семь, определенным порядком, пускались в поход. Буряты были к нашим услугам и везли наши шинели, трубки и пр. Пройдя верст десять или несколько более, мы останавливались на привале, часа на два; тут у женатых всегда был припасен завтрак, которым продовольствовались и неженатые. Обыкновенно мы приходили еще довольно рано на место ночлега, где нас встречали квартирьеры, и мы размещались в приготовленных для нас избах. Исправляющий при партии должность хозяина отправлялся с квартирьерами и изготовлял для нас всегда довольно сытный обед, и вообще продовольствие наше во время похода было гораздо лучше, нежели в Чите. Проводить большую часть дня на чистом воздухе и ночевать не в запертом душном каземате, по сравнению, было уже для нас наслаждением.

На переходе мы ничем не стеснялись, и всякий шел, как ему было угодно; хорошие пешеходы уходили иногда

да версты две вперед авангарда, и только тогда подъезжал к ним офицер и просил обождать отставшую партию. На переправах генерал Лепарский всегда сам присутствовал и с каждым из нас, подходивших к нему, был как нельзя более любезен; в этих случаях можно было подумать, что он воображал себя еще командиром Северского полка. На Братской степи, где не было довольно больших селений, чтобы мы могли все в них поместиться, на каждом ночлеге для нас были поставлены бурятские юрты, все в один ряд и на равном расстоянии одна от другой; крайние из них занимались командою, а в прочих помещались мы. Юрты эти круглые, имеют основу деревянную, переплетенную узкими драночками, и все обтянуто войлоком; наверху оставляется отверстие для исхода дыма; когда надо было согреть чайник, огонь раскладывали посреди юрты. Когда тихо, дым свободно подымается в отверстие; но когда бывает ветер, он клубится и окончательно стелется по земле. При каждой юрте был бурят для служения нам.

Буряты эти при первой встрече с нами прикидывались обыкновенно как будто ничего не понимают по-русски; но потом, когда их кормили, поили чаем, давали им табак, они становились говорливы. Исправник, давая им наставление, уверял их, что мы народ опасный и что каждый из нас кудесник, способный творить всякого рода чудеса. Юрты для нас доставлялись из кочевьев, отстоявших иногда верст за сто от большой дороги, и за месяц до нашего прихода они были уже на месте. Такие распоряжения были, без сомнения, разорительны для края, и многие из бурят, чтобы не подвергнуться такому наряду, откочевали вдале.

На пути из Читы в Верхнеудинск приехали к своим мужьям М. К. Юшневская и А. В. Розен; они привезли много писем и посылок.

В конце сентября наступила дождливая погода, вода очень прибыла в Селенге, и за Верхнеудинском дорога, по которой мы должны были следовать, сделалась непроходима; для нас проложили другую, прорубив местами лес, и эта дорога была так удобна, что Нарышкина в своей карете могла проехать по ней. Берега Селенги очень красивы, но потом наш путь лежал по горам, покрытым лесом и не представляющим собой ничего особенного; зато, когда мы приблизились к Тарбагатаю, перед нами развернулся чудесный вид; все покато

гор, лежащие на юг, были обработаны с таким тщанием, что нельзя было довольно налюбоваться на них. Из страны совершенно дикой мы вступили на почву, обитаемую человеком, деятельность и постоянный труд которого преодолели все препятствия неблагоприятной природы и на каждом шагу явно свидетельствовали о своем могуществе.

Жители староверского этого селения вышли к нам навстречу в праздничных своих нарядах. Мужчины были в синих кафтанах, а женщины в шелковых сарафанах и кокошниках, шитых золотом. По наружности и нравам своим это были уже не сибиряки, а похожие на подмосковных или ярославских поселян. За Байкалом считают около двадцати тысяч староверов, и туземцы называют их поляками. Во время первого раздела Польши граф Чернышев захватил в Могилевской губернии раскольников, бежавших за границу, и возвратил их в Россию; им было предложено присоединиться к православной церкви или отправляться в Сибирь; многие из них перешли в православие, другие же, более упорные в своем веровании, были отправлены в Восточную Сибирь и поселены за Байкалом. Когда проходили мы Тарбагатай, там жил еще старик, имевший поседевших внуков и помнивший все это происшествие. По его рассказам, он пришел шестнадцати лет в Иркутск с своей матерью и малолетним братом; мать и брат его, с другими поселенцами в числе 27 мужских душ, были отправлены в Тарбагатай. Место это было тогда непроходимая дебрь; сам же он, со всеми неженатыми парнями, годными на службу, был зачислен в солдаты и попал в денщики к доктору-немцу, который, сжался над его бедственным положением, через два года хлопотал ему отставку. В 30 году, когда мы проходили Тарбагатай, там считалось более 270 ревизских душ. Вообще забайкальские староверы большею частью народ грамотный, трезвый, работающий и живут в большом довольстве. В 20 верстах от Тарбагатая мы проходили селение малороссов, водворенных там уже более двадцати лет; хохлы эти живут далеко не так привольно, как их соседи — староверы. За несколько переходов от Петровского выпал небольшой снег, и мы в последний раз ночевали в юртах.

По приближении к Петровскому бывшие там наши дамы выехали навстречу к своим мужьям; рассказы их

о приготовленных для нас казематах были очень неутешительны: для каждого из нас была особая комната без окон с крепким наружным запором.

В начале октября мы вступили торжественно в Петровский Завод, селение, в котором считалось 3 тысячи жителей, большею частью ссыльных, очень небогатых и занимавшихся заводскими работами. Казематы, составлявшие полуказарму, были расположены покоем; открытая сторона полуказармы была загорожена высоким частоколом, и огромный двор полуказармы был разделен таким же высоким частоколом на три отделения; в среднем из них, на противоположной стороне воротам полуказармы, было поставлено строение, заключавшее в себе поварню, разные службы и очень большую комнату, назначенную для совершения богослужений и для общих каких-нибудь наших занятий. При входе в полуказарму была гауптвахта; рядом с ней крытые ворота, против которых находились крыльцо и дверь в теплую караульню, состоявшую из двух комнат; в одной из них помещались рядовые, а другую занимал караульный офицер. Рядом с караульней были ворота, через которые входили на средний двор полуказармы; примыкающее к ней место, такой же величины, какое она сама занимала, было обнесено частоколом, назначалось под сад, но который никогда не был посажен. Вдоль всех казематов тянулся коридор, перерезанный только караульней и воротами; коридор этот, шириной в три аршина и с окнами во двор, был разделен поперечными стенами, в которых были двери, замкнутые на замок и отворявшиеся только в необыкновенных случаях. В каждом из отделений коридора было пять или шесть номеров, а посередине наружная дверь, перед которой, вместо крыльца, была насыпь с откосами, покрытая булыжником.

Казематы были без наружных окон, и каждый из них слабо освещался небольшим с железной решеткой окном над дверью в коридор. В длину каждый каземат имел 7 арш., а ширина 6 арш.; в одном углу была печь, топившаяся из коридора, а в другом стояла койка.

По прибытии нашем в Петровск меня поместили в 11 номер. Новое жилье мое было очень темно, но я вступил в него с радостным чувством: тут я имел возможность быть наедине с самим собой, чего не случилось в течение последних трех лет. На другой день нашего прихода комендант обошел все казармы; вошед-

ши в мой номер, он запер дверь, вынул бумагу и, посмотрев на нее, сказал: здесь очень темно. Я было стал уверять его, что мне прекрасно, но он опять сказал, что у меня очень темно, и вышел. То же повторилось и во всех прочих номерах. Комендант очень знал и прежде, что для нас строили казематы без окон, но тогда он не имел возможности противиться такому распоряжению высшего начальства, и только теперь решился действовать в нашу пользу, когда по своему разумению имел на это законную причину. Он представил в Петербург, что, замечая, как мы вообще наклонны к помешательству, он опасается, что многие из нас, оставаясь в темноте, могут сойти с ума, и потому просит разрешения прорубить окна в казематах. Дамы наши также, частью по внушению коменданта, нисколько не стеснялись в письмах своих описывать ужасное свое положение в темных казематах, в которых они помещались с своими мужьями.

По прибытии в Петровский, комендант объявил дамам, что мужья их не будут отпускаться к ним на свидание, а что они сами могут жить с ними в казематах, вследствие чего не имевшие тогда детей кн. Волконская, Юшневская, Фонвизина, Нарышкина и Розен перешли на житье в номера к своим супругам; прочие же, у которых были дети, кн. Трубецкая, Муравьева, Анненкова и Давыдова, ночевали дома, а днем приходили навещать мужей своих. Так как строго запрещалось пропускать к ним кого-нибудь из посторонних, то дамы, жившие в казематах, не имели при себе женской прислуги и всякое утро, какая бы ни была погода, отправлялись в свои дома, чтобы освежиться и привести все нужное в порядок. Больно было видеть их, когда они, в непогоду или трескучие морозы, отправлялись домой или возвращались в казематы: без посторонней помощи они не могли всходить по обледенелому булыжнику на скаты насыпи, но впоследствии им было дозволено на этих скатах устроить деревянные ступеньки на свой счет. При таком сложном существовании строгие предписания из Петербурга не всегда с точностью могли быть исполнены.

Нарышкина, жившая в каземате с своим мужем, занемогла простудной горячкой, и Вольф отправился к коменданту и объяснил ему, что для Нарышкиной необходимо иметь женскую прислугу. Комендант долго ко-

лебался, но, наконец, решился дозволить, чтобы во время болезни Нарышкиной ее горничная девушка находилась при ней. Скоро потом Никита Муравьев занемог гнилой горячкой; бедная его жена и день и ночь была неотлучно при нем, предоставив на произвол судьбы маленькую свою дочь Нонушку, которую она страстно любила и за жизнь которой беспрестанно опасалась. В этом случае Вольф опять отправился к коменданту и объяснил ему, что Муравьев, оставаясь в каземате, не может выздороветь и может распространить болезнь свою на других. Комендант и тут, после некоторого сопротивления, решился позволить Муравьеву на время его болезни перейти из каземата в дом жены его.

Казематы наши были выстроены на скорую руку и так неудачно, что в них беспрестанно были поправки; не раз загорались стены, ничем не отделенные от печей; стены коридора выпучило наружу, и пришлось утвердить их стойками и болтами. В номерах было не очень тепло, а в коридоре иногда и очень холодно, так что не всегда было возможно отворять дверь в коридор, чтобы иметь сколько-нибудь света, и приходилось сидеть днем со свечой. По случаю переделок в 11 номере, меня перевели в 16-й, и в этом 3-м отделении мы помещались теперь: Оболенский, Штейнгель, Пущин, Лорер и я. Обедали и ужинали мы все вместе в коридоре, и в каждом отделении был сторож из рядовых для услуг нам. Днем мы могли свободно ходить из своего отделения во всякое другое; но вечером в десять часов запирались на замок все номера и коридор по отделениям; потом замыкались и ворота на каждый отдельный двор и окончательно наружные ворота полуказармы, так что каждый из нас всегда ночевал под четырьмя замками.

Работать мы ходили на мельницу таким же порядком, как в Чите, и мука нашего изделия была только пригодна для корма заводских быков. В продолжение всего дня в субботу и до обеда в воскресенье нас водили поочередно в баню. Для общей нашей прогулки был предоставлен нам большой двор, обнесенный высоким частоколом и примыкавший к полуказарме, от которой он отделялся также частоколом, сообщаясь воротами с средним двором полуказармы, которые запирались только на ночь. На этом дворе было несколько небольших деревьев, и мы расчистили на нем дорожки,

по которым во всякое время можно было гулять. Охотники до животных завели тут козуль, зайцев, журавлей и турманов; а зимой устраивались горы, и поливалось некоторое пространство для тех, которые катались на коньках. Живущие с нами дамы приходили взглянуть на наши общие увеселения и иногда сами принимали в них участие, позволяя скатить себя с гор. На отдельных дворах многие из нас имели гряды с цветами, дынями и огурцами и пристально занимались летом произведением плодов земных, что было сопряжено с большими затруднениями по причине неблагоприятного климата в Петровском.

Некоторые из не имевших собственных средств для существования и получавшие все нужное от других тяготились такой зависимостью от своих товарищей, и по этому поводу возникли разного рода неудовольствия. Наконец, образовался кружок недовольных. По прибытии в Петровский они отнесли к коменданту, прося его, чтобы он исходатайствовал им денежное пособие от правительства. Такой поступок очень огорчил старика Лепарского; он смотрел на нас как на людей порядочных и всегда отзывался с похвалой о нашем согласии и устройстве. Как комендант, он не мог не обратить внимания на дошедшую до него просьбу некоторых из государственных преступников и потому отправил плац-майора навести справки о тех, которые желали получить вспомоществование от правительства.

Между тем это происшествие в казематах произвело тревогу. Все были в негодовании против просивших пособия от правительства; с ними вступили в переговоры и успели отклонить их от намерения отделиться от артели, и, когда пришел плац-майор в казематы с допросом, все уже было улажено, и ему поручили просить коменданта не давать дальнейшего хода этому делу.

Тотчас потом Поджио, Вадковский и Пущин занялись составлением письменного учреждения для артели. В силу этого учреждения выбирались три главных чиновника для управления всеми делами артели: хозяин, закупщик и казначей; после них выбирались огородник и члены временной комиссии. Все участвовавшие в артели имели голос при выборах; первоначально выбирались кандидаты в должности и из них уже баллотировались в самые должности. Хозяин заведывал всеми делами по хозяйству, от него зависела закупка съест-

ных припасов, кухня и проч.; закупщик несколько раз в неделю выходил из каземата для покупки всего нужного для частных лиц. Казначей вел все счета и занимался выпиской по частным издержкам; все трое они часто имели совещания между собой и о распределении сумм, принадлежащих артели. Огородник заведывал нашим огородом, в котором не было никогда обильного урожая по той причине, что климат Петровского был очень неблагоприятен для растительности: редкий год даже картофель не побивало утренним морозом. Впрочем, все овощи доставлялись к нам в обилии окрестными поселянами. Верст 25 от Петровского и хлеб и вся огорожина производились с успехом. Члены временной комиссии, в числе трех, по временам занимались проверкой счетов хозяина, закупщика и казначея. Кроме постоянных чиновников артели, наряжались по очереди из нас дневальные на кухню для наблюдения за порядком и раздачей кушанья. В Петровском общественный сбор очень увеличился; все, что тратилось прежде на вспоможения частные, подписывалось теперь в артель, и из общей суммы приходилось ежегодно на часть каждого из участвовавших в артели более нежели по 500 р. на асс. Хозяин, закупщик и казначей, совещаясь между собой, определяли, что приходилось в каждый месяц на каждого человека за общим расходом на чай, сахар и обед. Эта определенная сумма предоставлялась в распоряжение каждого из участвовавших в артели.

Таким распоряжением прекратилась зависимость одних лиц от других, и не было уже более причин к неприятным, но вместе с тем неизбежным столкновениям, как было прежде. Чтобы каждый из участвовавших в артели имел наиболее денег в своем распоряжении, расходы на чай, сахар и обед очень ограничились: на месяц выдавалось на каждого человека по $\frac{1}{3}$ фунта чаю, по два фунта сахару и по две небольших пшеничных булки на день; обед состоял из тарелки щей и очень небольшого куса жареной говядины; сколько-нибудь и того и другого необходимо было уделить для сторожа, который питался от наших крох. Ужин был еще скудней обеда, и случалось очень часто вставать от трапезы полуголодным, что могло быть не бесполезно для многих из нас при образе нашей жизни. Некоторые за чай, сахар и обед получали деньгами из артели и сами теклись о своем продовольствии. Впрочем, собствен-

но денег никто из нас в каземате не мог иметь у себя на руках, и все частные расходы производились через казначея при общей выписке, для чего несколько раз в неделю приходил писарь горного ведомства с особенной книгой, в которую, со слов казначея, записывалось, кому и что следовало заплатить вне каземата, и означалось, из чьих денег, подписанных в артель, следовало произвести уплату.

Весь этот порядок существования артели не изменялся во время нашего пребывания в Петровском.

Кроме общих учреждений для артели, составила еще маленькая артель. В маленькую артель вносил всякий, кто сколько мог или хотел, а из этих взносов составлялась сумма, предназначенная для наделения немущих при отправлении их на поселение. Для увеличения суммы в маленькой артели управляющие ею выписывали сами некоторые журналы, и, имея в своем распоряжении журналы, выписываемые женатыми, предоставляли каждому пользоваться ими за небольшую плату. Число периодических изданий, получавшихся в Петровском, доходило до 22; библиотеки также увеличились, и во всех в них вместе считалось до 6 тыс. книг, и при библиотеках много было географических атласов и карт. Вообще в Петровском всякий имел много средств при своих занятиях каким бы то ни было предметом.

В апреле 1831 г. вышло разрешение из Петербурга прорубить окна в казематах. В бумаге военного министра Чернышева, от которого мы непосредственно зависели, были исчислены все милости, оказанные нам государем императором, и между прочим было сказано, что государь еще в Чите приказал снять с нас оковы и что по собственному побуждению своего милосердия соизволил приказать прорубить окна в казематах государственных преступников. В каждом каземате было прорублено небольшое окно, на два аршина с половиной от пола, и человек среднего роста мог видеть только небо сквозь это окно. После того, что прорубили окна, в казематах происходили почти в продолжение целого года беспрестанные поправки и переделки; многие печи пришлось сломать и на место их сложить другие, потом изнутри штукатурились казематы и коридор. Во время всех этих улучшений приходилось жить нам в несколько стесненном положении; но когда все пришло в поряд-

док, нам было несравненно лучше прежнего. В казематах было довольно светло, и не было уже необходимости при дневных занятиях отворять дверь в коридор.

Летом 1831 г. Кюхельбекер и Репин, кончившие свой срок работы, были отправлены на поселение; первый был водворен в Баргузине, а Репина поселили в небольшой деревушке на Лене.

Кюхельбекер служил в гвардейском экипаже и усердно участвовал в происшествии 14 декабря. Получивши в корпусе хорошее образование, он сопровождал Лазареву при путешествии его к Новой Земле и потом вокруг света. Деятельный по привычке и по природе, отлично добрый малый, в Чите и в Петровском он был на службу всем и каждому и мало тяготился тюремной жизнью. В Баргузине он не нашел для себя никакого общества и, не имея никаких внешних побуждений к умственной деятельности, принялся трудиться для собственного пропитания. В первые года он собственными руками расчистил и распахал несколько десятин и засеял их хлебом, но такая деятельность не спасла его от искушений. Сблизившись с одной баргузинской мещанкой, он сперва крестил у нее ребенка, а потом на ней женился. Крестник его умер, но не был вписан в метрику, из чего по доносу дьячка возникло дело, доходившее до синода. Синод признал брак незаконным, и Кюхельбекера, разлучив с его семейством, перевели в Елатскую волость, верст за 500 от Баргузина. Тут Кюхельбекер написал отчаянное письмо сестре своей, жалуясь на жестокость, с какой поступили с ним, разлучив его с женой и малолетней дочерью. Вследствие этого письма его возвратили в Баргузин, но обязали не сожительствовать с незаконной своей супругой. Все это вместе поставило Кюхельбекера в столь затруднительное положение, при котором нетрудно было потеряться.

Репин, воспитанный под руководством своего дяди, адмирала Карцева, отъявленного вольтеррианца, в молодых еще летах ознакомился с французскими писателями осмнадцатого века и принял их общие воззрения на предметы. Он имел отличную память и замечательные качества ума, а потому и разговор его был всегда оживлен и очень занимателен. В Чите он взял у меня прочесть «Историю философии» Буле, причем было много толков о разного рода умозрениях, к которым он имел вообще большое уважение и вместе с тем отзывался

о христианстве очень неуважительно. Он никогда не читал Библии, и я уговорил его прочесть Новый завет; к крайнему моему удивлению, более всего поразила его мистическая часть христианства, причем он нашел возможность отыскать сближение между христианами и неоплатониками. Весьма восприимчивый по природе своей, он не очень терпеливо переносил заточение и рвался на свободу. Изгнанническая его жизнь недолго продолжалась в поселении. Некоторые из государственных преступников, находившихся на поселении, в том числе А. Бестужев, Чернышев, Кривцов и Голицын, были переведены на Кавказ рядовыми. Андреев, которого везли на Кавказ через селение, где был поселен Репин, остановился у него переночевать, и они оба в эту ночь сгорели. Нарядили по этому делу следствие, но не могли доискаться, по какому случаю сгорел дом, в котором жил Репин. Некоторые его вещи, находившиеся вне дома, уцелели и были отправлены к его сестре.

Генерал-губернатор Восточной Сибири Сулима был первый из посторонних лиц, посетивших нас. Его предшественник Лавинский, во время своего пребывания в Чите, не удостоился этой чести по той причине, что он был не военный, и генерал Лепарский не находился под его начальством. Генерал Сулима, бывши по службе старше генерала Лепарского, был вместе с тем и непосредственный его начальник. Лепарский в мундире и шарфе сопровождал его и потом удалился, когда Сулима, собравши нас в кружок, спрашивал, не имеем ли мы принести каких жалоб. Получивши ответ, что мы всем довольны, он нас благодарил и сказал, что почитает за долг довести до сведения его императорского величества о том, что мы с покорностью и примерным терпением несем участь свою. Вообще он был с нами весьма любезен.

В 1832 г. меня известили, что жена моя отправилась в Петербург хлопотать о дозволении приехать ко мне в Сибирь, и потом я узнал, что ей отказали в ее просьбе. В бумаге шефа жандармов было сказано, что так как Якушкина не воспользовалась своевременно дозволением, данным женам преступников следовать за своими мужьями, и так как пребывание ее при детях более необходимо, чем пребывание ее с мужем, то государь император не соизволил разрешить ей ехать в Сибирь. Скоро потом мне писали, что мои сыновья могут быть

приняты в корпус малолетних, а оттуда поступят в Царскосельский лицей. Я отклонил от них такую милость, на которую они не имели другого права, как разве только то, что отец их был в Сибири. Воспользоваться таким обстоятельством для выгоды моих сыновей было бы непростительно, и я убедительно просил жену мою ни под каким предлогом не разлучаться с детьми своими.

Совсем неожиданно привезли к нам в Петровский Сосиновича, поляка, судившегося в Гродно по делу Воловича и других эmissаров. Из всех подсудимых с ним вместе он один был приговорен к каторжной работе, но по преклонности лет и потому, что был совершенно слеп, его избавили от работы и сослали на заключение в одну из крепостей Восточной Сибири. В Восточной Сибири нет ни одной крепости. Генерал-губернатор Сулима был очень затруднен, не зная, что ему делать с Сосиновичем; наконец, он решился послать его в Петровский для помещения с нами в каземат. Сосинович был истый поляк, и из слов его можно было заключить, что он ловкими ответами долго затруднял грозных судей своих, что, конечно, не расположило их в его пользу. Вместе с ним судился 15-летний сын его, которого подвергали розгам, чтобы принудить к показаниям на своего отца. На очной ставке с сыном старик Сосинович признался, что к нему заезжал один из эmissаров и что он дал ему проводника на возвратном его пути за границу. Сын Сосиновича был отправлен на Кавказ служить рядовым, жена и дочь его остались без куска хлеба; несмотря на все это, Сосинович не унывал. Прибывши к нам, он без малейшего взноса поступил в артель и пользовался общими выгодами.

В это время содержание наше далеко было не так строго, как оно было по прибытии в Петровский, и из опасения пожара дверь в казематах не запиралась ночью, как прежде, на замок. Женатые отпускались в случае нездоровья жен своих домой, но обыкновенно они и даже некоторые из дам жили в каземате.

В сентябре Александра Григорьевна Муравьева приходила в каземат к своему мужу; день был теплый; она была легко одета и, возвращаясь вечером домой, сильно простудилась; после трехмесячных страданий она скончалась. Кончина ее произвела сильное впечатление не только на нас, но и во всем Петровском, и да-

же в казарме, в которой жили каторжные. Из Петербурга, когда узнали там о кончине Муравьевой, пришло повеление, чтобы жены государственных преступников не жили в казематах и чтобы их мужья отпускались ежедневно к ним на свидание. Затем и мы все выходили ежедневно по несколько человек, тем же порядком, как это было в Чите. А между тем при всех этих льготах беспрестанно проявлялась неловкость нашего положения и особенно положения женатых.

Никита Муравьев через несколько времени после кончины жены получил приказание коменданта перейти в каземат, и ему приходилось оставлять дочь свою, маленькую Нонушку, не имея при ней даже няни, на попечение которой он мог бы вполне положиться; к тому же дочь его была очень некрепкого здоровья, и он беспрестанно за нее опасался. Услыхав о таком его горестном положении и зная, что он сам не решится вступить в переговоры с комендантом, я просил дежурного офицера доложить генералу, что я имею надобность с ним видаться. Через час потом меня позвали на гауптвахту к коменданту; когда мы остались с ним вдвоем, я просил отменить сделанное им распоряжение относительно Никиты Муравьева и не разлучать отца с малолетней его дочерью, на что Лепарский мне отвечал довольно сурово своим обычным словом «не могу», опираясь на данные ему предписания относительно нашего содержания, нарушение которых подвергло бы его строгому взысканию. Тут я ему заметил, что в настоящем случае он поступает очень непоследовательно, если захочет непременно исполнить данные ему предписания, тогда как он не раз прежде нарушал их, когда находил слишком жестокими. Наконец, он согласился оставить Никиту Муравьева дома, сказав мне: «Смотрите, если из этого выйдет мне какая-нибудь неприятность, то я буду жаловаться на вас вашему другу Граббе».

Лепарский имел причины беспрестанно опасаться, что донесут в Петербург о его какой-нибудь неисправности: он знал, что в Иркутске следили за всеми его действиями и, кроме того, по временам бывали в Петровском разного рода посетители, из которых многие приезжали как соглядатели. Один раз коменданту был запрос, как он осмелился отпустить княгиню Трубецкую и княгиню Волконскую на воды; но ни та, ни другая не отлучались из Петровского, и на этот раз ему

легко было оправдаться. Но бывали и такие случаи, в которых ему было необходимо прибегать к разным уловкам.

Из числа посетителей был в Петровском и генерал Чевкин, тот самый, который так неудачно действовал накануне 14 декабря в 1 батальоне Преображенского полка. Он приезжал осматривать завод и ни с кем не видался из прежних своих знакомых. Он заезжал только к княгине Трубецкой, чтобы, повидавшись с ней, передать об ней известие ее родным в Петербурге.

Потом приезжал полковник Вохин, адъютант военного министра Чернышева; через своих лазутчиков он старался разведать обо всем, что делалось в Петровском, и особенно о нашем содержании в казематах; комендант, узнавши об этом, очень ловко предложил ему сообщить самые верные сведения об нас и об женах государственных преступников и тем прекратил тайные розыски Вохина. Между прочим он ему рассказал наше внутреннее устройство и учреждение артели; вообще он любил нами хвастать приезжим и обыкновенно возил их на гору, с которой можно было видеть расположение казематов.

Еще прежде посещения Вохина приехала в Петровский m-lle Ledantu с позволением выйти замуж за Ивашева, который знал ее прежде, когда она была еще почти ребенком; родные его устроили все это дело, и он, женившись на приехавшей к нему невесте, был с ней впоследствии очень счастлив.

Во время пребывания нашего в Петровском нам было объявлено несколько высочайших манифестов, по которым уменьшались сроки наших работ, и один из этих манифестов был подписан 14 декабря. В силу таких уменьшений весь пятый разряд должен был в 1833 г. отправиться на поселение, в том числе и Александр Муравьев; он просил, как милости, чтобы ему позволено было остаться в Петровском вместе с братом, и из Петербурга было получено высочайшее повеление оставить Александра Муравьева в каторжной работе на весь срок, который должен был пробыть в работе Никита Муравьев. Скоро потом была получена из Петербурга еще бумага, в которой было сказано, что государь император, в уважение представленной просьбы штатс-дамы княгини Волконской о сыне своем, приказать соизволил Волконского, освободив от рабо-

ты, поселить на поселение. Волконский просил, тоже как милости, чтобы ему позволено было остаться в Петровском, где его жена, очень слабого здоровья, и дети в случае нужды могли иметь врачебные пособия, тогда как в Баргузине, куда он был назначен, не было ни доктора, ни аптеки и никаких удобств для жизни. Высочайшим повелением ему дозволено остаться в Петровском.

Во все время нашего заключения в Чите и в Петровском у нас умер один только Пестов, принадлежавший к Славянскому обществу; болезнь его продолжалась не более двух суток, и все старания Вольфа были недостаточны, чтобы спасти жизнь товарища.

Образ нашего существования, очевидно, был причиной такой малой смертности между нами. Вообще мы подвергались несравненно менее всем тем случайностям, которым подвергаются люди наших лет, живущие на свободе; а в случае болезни мы тотчас имели все врачебные пособия и сверх того нас окружало самое внимательное попечение товарищей. Но если образ нашего существования благоприятно действовал на сохранение жизни, то вместе с тем он действовал очень неблагоприятно на сохранение умственных способностей. В Петровском из 50 человек двое сошли с ума — Андреевич и Андрей Борисов.

Впрочем, и в этом отношении поселение оказалось еще более вредным, чем самое заключение. Из 30 человек, бывших на поселении, пятеро сошли с ума: в Енисейске Шаховской и Николай Бобрищев-Пушкин, в Тургуте Фурман и в Ялutorовске Враницкий и Ентальцев.

Образ жизни наших дам очень явно отозвался и на них; находясь почти ежедневно в волнении, во время беременности подвергаясь часто неблагоприятным случайностям, многие роды были несчастливы, и из 25 родивших в Чите и Петровском было 7 выкидышей; зато из 18 живорожденных умерли только четверо, остальные все выросли. Нигде дети не могли быть окружены более неустанным попечением, как в Чите и Петровском; тут родители их не стеснялись никакими светскими обязанностями и, не развлекаясь никакими светскими увеселениями, обращали беспрестанно внимание на детей своих.

Вследствие уменьшения сроков работы, в 1833 и 1834 гг. отправилось на поселение 15 человек, из кото-

рых только трое: Розен, Нарышкин и Лорер, были отправлены в Западную Сибирь и поселены в Кургане. Фонвизин был поселен в Енисейске, откуда его перевели потом в Красноярск. Остальные 12 человек размещены были по деревням Восточной Сибири. Впоследствии перевели в Красноярск и Павла Бобрисева-Пушкина для соединения его с сумасшедшим его братом.

В 35-м году посетил Петровское назначенный на место Сулимы новый генерал-губернатор — Броневский, и так как по службе он был моложе генерала Лепарского, то его сопровождал к нам плац-майор.

Генерал Броневский, оставшись с нами наедине, спрашивал у нас, по принятому порядку, не имеем ли мы принести каких жалоб и, получивши ответ, также по принятому порядку, что мы всем довольны, он был очень с нами любезен. Потом для него отомкнулись все двери коридоров, отперли настежь двери всех казематов, и в то же время каждый из нас должен был находиться в своем номере. Проходя коридорами в сопровождении плац-майора, генерал Броневский заходил в иные номера, а в другие только заглядывал с таким любопытством, с каким обыкновенно заглядывает в железные клетки какой-нибудь посетитель, осматривающий никогда не виданный им зверинец.

В 36-м году многим из нас кончился срок работы, и в июне было получено повеление отправить 18 человек на поселение; но в какие места, было нам неизвестно. Братья Муравьевы, Вольф и я согласились, если можно, быть вместе на поселении, и по письмам, получаемым от своих, мы могли надеяться, что это дело уладится по нашему желанию. Никита Муравьев, Волконский, Ивашев и Анненков, как люди семейные, должны были заняться сборами прежде, нежели пуститься в дальний путь, и потому не могли быть тотчас отправлены. Александр Муравьев остался с братом, и Вольф, как врач, с высочайшего разрешения, должен был сопровождать Муравьевых на поселение. Митьков и Басаргин, под предлогом болезни, оставались также на некоторое время в Петровском. Затем 10 человек: Тютчев, Громницкий, Киреев, два брата Крюковых, Лунин, Свистунов, Фролов, Торсон и я, мы были отправлены в Иркутск на переменных подводах, при офицере и нескольких унтер-офицерах.

Мы, не без горя, простились с оставшимися товарищами, с которыми делили заточение почти 9 лет. Двадцать два человека из 1-го разряда, двое Бестужевых из 2-го, трое черниговцев, Ипполит Завалишин, поляк Сосинович и Кучевский, попавший, бог знает почему, в Читу, должны были пробыть в Петровском еще три года. Братья Бестужевы, по приговору верховного уголовного суда, стояли во 2-м разряде, и трудно определить, почему высочайшим указом они оба были сравнены в наказании с государственными преступниками 1-го разряда. Меньшой, Михайло, служивший в Московском полку, 14 декабря вывел свою роту на площадь, но по суду был найден менее виновным, чем Щепин-Ростовский, вышедший также на площадь со своею ротою и сверх того изрубивший двух генералов и одного полковника. Николай, старший из Бестужевых, находился 14 декабря при гвардейском экипаже, равно как и Торсон. Их обоих верховный уголовный суд нашел менее виновными, чем Завалишина, Арбузова и Дивова.

В глазах высочайшей власти главная виновность Николая Бестужева, как кажется, состояла в том, что он очень смело говорил перед членами комиссии и столь же смело действовал, когда его привели во дворец. Через три дня после 14 декабря его взяли за Кронштадтом; в эти три дня он беспрестанно странствовал пешком и подвергался всякого рода приключениям. Когда его привели во дворец для допроса, он объявил генералу Левашеву, что не будет отвечать на вопросы, пока ему не развяжут руки. В первые дни после 14-го почти всем участвовавшим в восстании вязали веревкой руки за спиной на главной гауптвахте, а потом вели их к императору. Генерал Левашев не смел удовлетворить требованию Бестужева и развязать ему руки, не испросивши разрешения самого государя, находившегося обыкновенно в ближайших покоях от той залы Эрмитажа, в которой происходили допросы. Когда генерал Левашев развязал руки Бестужеву, Бестужев сказал ему, что так как он в продолжение трех суток ничего не ел, то и не может отвечать ни на какие вопросы, пока его не накормят. Генерал Левашев позвонил и велел подать ужин. За ужином судья и подсудимый чокнулись бокалами, наполненными шампанским.

После трапезы начался допрос, и так как Бестужев

во многом не сознавался, то генерал Левашев пошел доложить об этом императору, который вслед за тем вышел сам к Бестужеву с его портфелем в руках и, вынув из портфеля две колоды карт, подал их Бестужеву, как улику его преступных сношений по Тайному обществу. Бестужев объяснил его величеству, что эта колода карт не имела никакого другого назначения, как служить забавой старушке, его матери, любившей раскладывать пасьянс. Затем государь показал Бестужеву записку, в которой было сказано о посылке двух колод карт, и требовал, чтобы он назвал того, кто писал эту записку. Бестужев отвечал, что записку эту писала дама, имя которой он не почитает себя обязанным объявить при допросе. Потом, когда его привели в комитет, он очень смело разглагольствовал о всех недостатках государственного устройства в России. Все это вместе, вероятно, было причиной перемещения Николая Бестужева из 2-го разряда в первый.

В день нашего отправления шел проливной дождь. Княгиня Трубецкая с своим мужем и с маленькой своей Сашей проводили меня и простились с нами у часовни, в которой погребена была Александра Григорьевна Муравьева.



ПРИМЕЧАНИЯ

ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВИЧ РАЕВСКИЙ (1795—1872)

Родился в семье просвещенного курского помещика. С 1803 г. учился в Благородном пансионе при Московском университете, с 1811 г. — в Дворянском полку при кадетском корпусе. По выходе из корпуса с чином прапорщика артиллерии Раевский активно участвует в Отечественной войне (за Бородино он получает золотую шпагу с надписью «За храбрость») и заграничном походе. В январе 1817 г. удаляется в отставку, не желая подчиняться аракчеевским порядкам, однако в 1818 г. вновь вступает в военную службу и получает назначение в Южную армию, в расквартированную в Бессарабии 16-ю дивизию, которой командовал декабрист М. Ф. Орлов.

В 1820 г. в Тульчине принят в Союз благоденствия капитаном Комаровым. В деятельности Кишиневского филиала Тайного общества Раевский сыграл выдающуюся роль. Он был одним из немногих декабристов, кто развернул широкую пропагандистскую работу среди солдатских масс. Революционная пропаганда велась с помощью школ взаимного обучения, в деятельности которых Раевский принимал самое непосредственное участие. В 1821 г. он знакомится с сосланным в Бессарабию А. С. Пушкиным.

В феврале 1822 г. майор Раевский был арестован по обвинению в ведении «возмутительной» пропаганды среди солдат. И хотя прямых улик против него не было (видимо, наиболее опасные бумаги он успел уничтожить, предупрежденный Пушкиным о грозящем аресте), Раевский был заключен в Тираспольскую крепость, где провел четыре года. На допросах держался с редким мужеством, не назвав никого из членов Кишиневской управы. Лишь после разгрома выступления 14 декабря 1825 г. раскрылась роль Раевского в Тайном обществе: его переводят в Петропавловскую крепость, допрашивают (вновь безрезультатно), отправляют в польскую крепость Замостье и, наконец, в октябре 1827 г., лишив чинов и дворянства, ссылают в Сибирь.

С 1828 г. Раевский живет на поселении в с. Олонки Иркутской губ. Здесь он женится на местной крестьянке Е. М. Серединой, открывает в селе школу для крестьянских детей, занимается хозяйством.

В 1858 г., после амнистии, Раевский совершил путешествие в европейскую Россию, посетив многих старых знакомых и родных. После этого возвратился в Олонки, где и закончил свои дни. Оставил ценные мемуары.

Раевский, не будучи профессиональным литератором, писал стихи с юношеских лет. Наибольшее литературное и общественное значение имеют произведения, созданные в годы тюремного заключения и сибирской ссылки. Большая часть поэтического наследия Раевского стала достоянием печати уже в советское время, в изданиях: П. Бейсов. Новое о В. Ф. Раевском.— Уч. зап. Ульяновского гос. пед. института. Пушкинский юбилейный сборник. Ульяновск, 1949 (далее: Бейсов, 1949); В. Раевский. Стихотворения. Л., 1952 (изд. подготовил В. Г. Базанов, далее — Изд. 1952).

Основные издания: В. Ф. Раевский. Полн. собр. стихотворений М.—Л., 1967 (БПБС; изд. подготовил В. Г. Базанов). В. Ф. Раевский. Материалы о жизни и революционной деятельности. Тт. 1—2. Иркутск, 1980—1983 (изд. подготовили А. А. Брегман и Е. П. Федосеева).

Мемуары: Воспоминания, т. 1.

Литература: В. Г. Базанов. В. Ф. Раевский. Новые материалы. М.—Л., 1949 (далее: Базанов, 1949); А. Г. Колесников. В. Ф. Раевский. Политическая и литературная деятельность. Ростов-на-Дону, 1977.

Песнь (с. 3).— Бейсов, 1949.

Ода другу (с. 4).— Изд. 1952. Возможно, обращено к П. Г. Приклонскому. В стихотворении отразились просветительские мировоззренческие нормы.

Послание Петру Григорьевичу Приклонскому (с. 5).— Бейсов, 1949 (ранняя ред.); Базанов, 1949.

С. 6. *И в рубище Солон дал Крезу наставленье...*— Согласно легенде, афинский законодатель Солон, бродивший в рубище по миру, встретился с лидийским царем Крезом, славившимся сказочным богатством. На вопрос Креза, может ли он почтяться счастливейшим из смертных, Солон отвечал, что судить о счастье человека можно только после его смерти. Крез будто бы вспомнил эти слова, когда попал в плен к персидскому царю Киру и готовился встретить смерть на костре. Рассказ Креза о мудрости Солона так поразил Кира, что тот даровал пленнику жизнь.

Велизарий — византийский полководец, оклеветанный врагами и заточенный в тюрьму; по преданию был ослеплен и потом нищенствовал.

Херил — бездарный греческий поэт.

«От ранней юности я жребий мой познал...» (с. 7).— Изд. 1952.

Идиллия (с. 8).— Базанов, 1949.

Г. С. Батенькову (с. 8).— Бейсов, 1949.

С. 9. *Движенья их, часы, минуты исчислял...*— Батеньков был незаурядным математиком.

Руссо и Тимона невольно оправдал...— Ж. Ж. Руссо и греческий мыслитель Тимон Афинский были мизантропами, склонными к уединению.

Сетование (с. 10).— Изд. 1952.

Ропот (с. 10).— Бейсов, 1949.

Осень. Идиллия. (с. 11).— Бейсов, 1949.

«Нет, нет, не изменюсь свободно душою...» (с. 13).— Изд. 1952.

Обет (с. 13).— Базанов, 1949.

Глас правды (с. 14).— Базанов, 1949; Бейсов, 1949

(др. ред.). Стихотворение использует мотивы «Вельможи» Г. Р. Державина.

С. 14. *Где ж узрит он твой бренный прах...*— Имеется в виду Наполеон.

Вельможа, друг царя надежный...— Вероятно, подразумевается Аракчеев.

С. 15. *...свободу и законы // Давал монарх—граждан отец...*— намек на Александра I; до конца 10-х гг. либеральные упования на Александра были свойственны многим декабристам (ср. «Записки» Якушкина).

Плач негра (с. 15).— Базанов, 1949. В русской поэзии 1800—1810 гг. тема угнетения негров имела особое значение, ибо проецировалась на положение крепостных в России.

Путь к счастью (с. 16).— Украинский вестник, 1819, № 8.

Смеюсь и плачу (с. 17).— В. И. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909 (10 строк); Базанов, 1949, Бейсов, 1949. Стихотворение использует мотивы сатиры Вольтера «Жан, который плачет и который смеется». За «восточными» реалиями начала стихотворения легко угадывается русская действительность.

С. 17. *Спагис (спаги)*— солдат турецкой конницы.

С. 18. *И чудо новое: Хвостова сочиненья, // Я вижу, Глазун* за деньги продает.— Порицание дурных авторов было составной частью литературной программы Союза благоденствия.

Сатира на нравы (с. 18).— Бейсов, 1949. Стихотворение фигурировало на следствии по делу Раевского в качестве обличающего материала. В нем отразились свойственные многим декабристам патриотические настроения.

С. 18. *...властитель и тиран...*— Наполеон.

Секвана — р. Сена; символ Франции.

С. 19. *...умный наш певец...*— И. А. Крылов; подразумеваются его комедии «Модная лавка» и «Урок дочкам».

Картина бури (с. 20).— Украинский журнал, 1825, № 4.

Песнь невольника (с. 20).— Украинский журнал, 1824, № 19—20.

К друзьям в Кишинев (с. 21).— К. Ф. Рылеев. Полн. собр. соч. Лейпциг, 1861; Русская потаенная литература XIX столетия. Лондон, 1861 (с ошибочной атрибуцией Рылееву). Написано в Тираспольской крепости; получило широкое распространение в списках.

С. 23. *Тирас* — Днестр.

С. 24. *Суд Эреба* — суд над душами мертвых в самых мрачных подземельях Аида — загробного царства (греч.).

Питомец муз и Аполлона...— А. С. Пушкин.

С. 25. *Горит денница на востоке...*— Намек на греческое восстание 1821 г.

Певец в темнице (с. 25).— РС, 1887, № 10, с цензурными пропусками. Стихотворение произвело глубокое впечатление на А. С. Пушкина. По свидетельству И. П. Липранди, поэт восхищался его силой и новизной, замечая: «это не в моем роде, это в роде Тираспольской крепости, а хорошо».

С. 27. *Книга Клии* — книга истории.

На смерть моего скворца (с. 28).— РС, 1890, № 5.

С. 28. *Пелиссон*.— Имеется в виду рассказ о французском писателе Поле Пелиссоне Фонтанье (1624—1693), приручившем в тюрьме паука.

Абеон — покровитель отправляющихся в путь (греч.).

Так верю я, о жрец науки, // Тебе, о мудрый Пифагор! — Греческий философ и математик Пифагор проповедовал идею переселения душ умерших людей в животных.

«Когда ты был младенцем в колыбели...» (с. 29). — Сибирские огни, 1938, № 3—4. В стихотворении содержится просветительская мысль о врожденности идеи свободы. Та же идея (на примере грудного ребенка) развивалась в «Эмиле, или О воспитании» Руссо; возможно, книга Руссо послужила одним из непосредственных источников стихотворения Раевского.

«Не с болью, но с радостью душевной...» (с. 30). — Бейсов, 1949. Обращено к Евдокии Монсеевне Середкиной. Стихотворение не закончено в связи со смертью сына Константина, повергнувшей Раевского в отчаяние.

С. 30. Прощаюсь я с тобой, листок родной. — Речь идет о сибирском дневнике Раевского.

Дума (с. 31). — РС, 1890, № 5.

С. 31. Икаун — один из источников Туранских минеральных вод (на юге Иркутской губ.).

Предсмертная дума (с. 33). — РС, 1890, № 5.

С. 34. ...в мои темницы! — В этой формуле содержится намек на собственную судьбу Раевского и в то же время на название широко известной книги итальянского революционера С. Пеллико, очень популярной в декабристской среде.

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕСТУЖЕВ (1791—1855)

Старший из братьев-декабристов (о семье Бестужевых см. преамбулу прим. к произв. А. А. Бестужева — наст. изд., т. 1). В 1802 г. поступил в Морской корпус; в 1805 г. выпущен мичманом и оставлен воспитателем при корпусе. Совершил ряд дальних плаваний (1815, 1817, 1824 гг.). С 1819 г. — помощник директора балтийских маяков, с 1823 г. — начальник Морского музея. К концу 1825 г. — капитан-лейтенант 8-го флотского экипажа. Член Общества любителей российской словесности и Вольного экономического общества. Рано сказавшиеся литературные интересы Н. Бестужева сочетались с научными и практическими, экономическими и инженерными, художественными и политическими. Его разносторонняя одаренность отмечается большинством мемуаристов.

Принят в Северное общество в 1824 г. Рылеевым; в 1825 г. заменяет в Думе общества Никиту Муравьева. Принимает активное участие в подготовке и проведении восстания 14 декабря (см. тексты воспоминаний Н. и М. Бестужевых и прим. к ним). Осужден по II разряду — «положить голову на плаху, а потом сослать вечно в каторжную работу»; приговор был смягчен до 20-летней, а затем 15-летней каторги. Последующее сокращение сроков до 10 лет (манифест 1829 г.) Н. Бестужева не коснулось. Скорее всего причиной послужило независимое поведение в ходе следствия. Каторгу отбывал в Чите и Петровском заводе; на поселении в Селенгинске совместно с братом Михаилом с октября 1839 г. Литературная, научная, инженерная, художественная (Н. Бестужевым создана целая портретная галерея декабристов) деятельность не прекращалась и в Сибири.

Основные издания: Воспоминания Бестужевых. М.—Л., Издательство АН СССР, 1951 («Литературные памятники»; изд. под-

готовил М. К. Азадовский). Избранная проза. М., «Советская Россия», 1983 (изд. подготовила Я. Л. Левкович).

Мемуары: Воспоминания, т. 2.

Следственное дело — ВД, т. II.

Литература: И. С. Зильберштейн. Николай Бестужев и его живописное наследие. — ЛН, т. 60, ч. II.

Воспоминание о Рылееве (с. 35). — ПЗ, VI, без окончания (до последнего прощания Рылеева с мемуаристом на Сенатской площади). Окончание — ПЗ, VII. Написано в Петровском заводе, не позднее 1832 г., когда было передано отбывающему на поселение П. А. Муханову (см.: сборник «XIX век», т. I, М., 1872, с. 315). Муханов переправил рукопись другу семьи Бестужевых И. И. Свиязеву. К Герцену материал попал, видимо, благодаря М. И. Семевскому. В России в неполном виде включено в сб. «XIX век». Повод к написанию «Воспоминаний о Рылееве» указан М. А. Бестужевым в ответах на вопросы М. И. Семевского: «Многие из наших товарищей и некоторые из дам, которым были известны сбивчивые слухи о неразгаданной таинственной связи Рылеева, описанной братом, просили его написать истину, и он, исполняя их желание, написал это воспоминание. Его намерение было написать полную биографию Рылеева... Давно у нас с ним было намерение составить по возможности полные биографии всех наших товарищей, и брат имел намерение приложить их к коллекции портретов, нарисованных им акварелью с изумительным сходством...» — Воспоминания Бестужевых, с. 286.

С. 39. *Все думали, что кары грянут...* — По свидетельству одного из издателей журнала «Невский зритель» Г. П. Кругликова, Аракчеев требовал наказания за публикацию; удар от журнала, цензора и автора был отведен министром народного просвещения кн. А. Н. Голицыным («Петербургская газета», 1871, 9 марта, № 34). В воспоминаниях И. Н. Лобойко, инициатором защиты от Аракчеева выступает друг Жуковского А. И. Тургенев — близкий сотрудник Голицына. В целом, однако, рассказ Лобойко (см.: Воспоминания, т. 2, с. 48) не вполне достоверен. Следует помнить и об очень напряженных отношениях Аракчеева и Голицына, приведших в конечном итоге к отставке последнего.

С. 41. *...о известном деле разумовских крестьян...* — Имеются в виду волнения 1821 г. в имении гр. П. К. Разумовского Гостилицы. Дело «разумовских крестьян» разбиралось Санкт-Петербургской уголовной палатой; восставшие были приговорены к каторге и телесным наказаниям. Рылеев не принял участия в составлении приговора и выступил с особым мнением. Подробнее см.: И. И. Игнатович. Рылеев в «деле» о волнении крепостных крестьян графа Разумовского. — ЛН, т. 59, ч. 1.

С. 42. *Однажды я написал повесть...* — М. К. Азадовский считает, что повесть была уничтожена после событий 14 декабря (см.: ЛН, т. 59, ч. 1, с. 710). Я. Л. Левкович предполагает, что имеется в виду повесть «Трактирная лестница» (опубликована — СЦ, 1826 под псевдонимом Алексей Коростылев) — см.: Воспоминания, т. 2, с. 345. Не исключено, однако, что весь эпизод сочинен Н. А. Бестужевым.

С. 48. *...требовал удовлетворения...* — Ср. изложение конфликта А. А. Бестужева и В. В. фон-Дезина в воспоминаниях М. А. Бестужева, наст. изд., с. 103.

С. 49. ...однажды, посетив Гибралтар...— Гибралтар Н. Бестужев посетил в 1824 г. Свидетельство об эпизоде с русской песней см.: А. П. Беляев. Воспоминания декабриста о пережитом и пережитом. СПб., 1882, с. 125—126. В очерке Н. Бестужева «Гибралтар» (ПЗ, 1825) этот эпизод не упоминается.

С. 50. ...катятся жемчугом по бархату.— Выражение принадлежит А. А. Бестужеву (статья «Взгляд на старую и новую словесность в России»— ПЗ, 1823).

С. 51. ...Пушкин прислал ему назад...— Этот экземпляр «Войнаровского» не сохранился. Сведения Н. Бестужева подтверждаются письмом Пушкина А. Бестужеву от 12 января 1824 г. с высокой оценкой поэмы, а также письмом Пушкина П. А. Вяземскому от 25 мая 1825 г., где особо отмечается стих о палаче с засученными рукавами.

С. 56. ...выведал от Ростовцева, что сей последний имел разговор с Николаем...— 12 декабря член Тайного общества Я. И. Ростовцев подал Николаю обширное письмо, в котором сообщал о возможности восстания, не называя имен. Ростовцев предлагал царю отложить переприсягу, настаивая либо на воцарении Константина, либо на его официальном отречении в Петербурге. Из текста письма следовало, что восстание должно вспыхнуть не в Петербурге (Ростовцев был полностью информирован о планах заговорщиков), но в армейских соединениях: «Государственный совет, Сенат и, может быть, гвардия будут за вас; военные поселения и отдельный Кавказский корпус решительно будут против. (Об двух армиях ничего не умею сказать)». Полный текст письма см.: ВД, т. VIII («Алфавит декабристов»). Поступок Ростовцева не получил однозначного истолкования в исторической науке. Новейшая версия выдвинута Я. А. Гординым; по его предположению, Ростовцев стремился запугать Николая, рассчитывая на компромисс между императором и группой «умеренных» декабристов (к последним Я. Гордін относит Г. С. Батенькова, В. И. Штейнгейля). Подробнее см.: Я. Гордін. События и люди 14 декабря. М., 1985, с. 105—112.

С. 57. ...ты думаешь, что мы уже заявлены?— Кроме письма Ростовцева, Николай получил от начальника главного штаба И. И. Дибича, сопровождавшего Александра I в Таганрог, обширные материалы о Тайном обществе, основанные на ряде доносов. 12 декабря эти материалы были переданы военному губернатору столицы М. А. Милорадовичу, в ведении которого находилась городская полиция.

С. 59. ...слово об исполнении своего обещания...— Каховский должен был убить Николая I, действуя как бы вне Общества. Позднее Каховский отказался от своего замысла.

С. 61. Это были последние слова Рылеева...— Во втором часу дня Рылеев отправился искать Трубецкого, позже он не появился на Сенатской площади.

С. 62. ...принял он двукратную смерть...— Ср. отрывок <Казнь Рылеева> в воспоминаниях М. А. Бестужева, наст. изд., с. 172—174. Сводку мемуарных свидетельств о казни пяти декабристов см.: Воспоминания, т. I, с. 240—272. Подробный анализ противоречивых сведений о казни см.: Н. Я. Эйдельман. Апостол Сергей. М., 1975, с. 355—383.

14 декабря 1825 года (с. 63).— ПЗ, VII, как дополнение к «Воспоминаниям о Рылееве»; переиздано в 1880 г. в

Лейпциге; попытка М. И. Семевого напечатать «Воспоминания о Рылееве» и «14 декабря 1825 года» под общим названием «Воспоминания Николая Александровича Бестужева» на страницах журнала «Русская старина», несмотря на сокращения и редакторские оговорки, не удалась. «Воспоминания» были вырезаны из сверстанного журнала.

С. 63. *Атаки на нас и стрельба наша прекратились.*— Первые выстрелы прозвучали в начале первого, когда к восставшему Московскому полку обратился М. А. Милорадович (смертельно ранен П. Г. Каховским). Около половины второго была произведена атака конногвардейцев с двух направлений от Адмиралтейства и от Сената, она была отбита холостыми выстрелами. За ней последовало еще несколько, также не принесших результатов. К двум часам, когда площадь была окружена верными Николаю пехотными частями, кавалерийские атаки прекратились. В половине третьего, когда Н. А. Панов привел на площадь большую часть лейб-гренадерского полка (рота А. Н. Сутгофа находилась там с половины первого), Каховский смертельно ранил полковника Стюрлера, пытавшегося «разагитировать» лейб-гренадеров.

Митрополит... возвратился без успеха.— Духовная депутация в составе петербургского митрополита Серафима и киевского митрополита Евгения была направлена на площадь после неудачи кавалерийских атак. Попытка переговоров потерпела решительный провал. Несомненно, что быстрый уход митрополитов был связан с выстрелом Каховского в Стюрлера, происшедшим в их присутствии.

Сухозанету, который, подъехав, показал нам артиллерию.— Присылка Сухозанета непосредственно предшествовала выстрелам картечью (в пятом часу). Сухозанет пользовался дурной репутацией (см. в воспоминаниях М. А. Бестужева — наст. изд., с. 122). Николай не мог рассчитывать на удачу без применения артиллерии: сгустившиеся сумерки усиливали возможность перехода лояльных полков на сторону восставших. Эта опасность превозмогла политические и военные опасения Николая, артиллерия решила исход восстания.

С. 64. *...сошелся с самим хозяином дома.*— Хозяином дома был оставной корреспондент Военно-ученого комитета Алексей Яковлевич Ляшевич-Бородулич. Несомненно его сочувствие лично Н. Бестужеву, проявленное 14 декабря. Однако 20 декабря в письме на имя Николая I он сообщил о пребывании Бестужева в своем доме и просил «заключить его в то место, где содержался Ник. Бестужев, на столько времени, сколько нужно будет для совершенного обращения его, Ник. Бестужева, на путь истины».

Шлиссельбургская станция (с. 69).— Рассказы и повести старого моряка Н. Бестужева. М., 1860, с цензурными пропусками, под названием «Отчего я не женат».

Рассказ написан в Петровском заводе (см. преамбулу прим. к «Воспоминаниям о Рылееве»), поводом, по словам М. А. Бестужева, послужили вопросы жен декабристов. На вопрос Семевого о героине рассказа М. Бестужев отвечал уклончиво: «...так как ему не хотелось сказать истины вполне, не хотелось обнажить своей заветной любви пред чужими взорами, он выставил подставное лицо героини повести, в описании которой, впрочем, невольно отразился колорит характера любимой им женщины» (Воспоминания Бестужевых, с. 285).

В рассказе пересеклось несколько решений проблемы отношений мужчины и женщины. С одной стороны, Н. Бестужев акцентирует тему невозможности любви для деятеля Тайного общества (эпиграф и сюжетный итог рассказа); контрастом звучит посвящение А. Г. Муравьевой, последовавшей за мужем в Сибирь (этот сюжет разрабатывал и Рылеев в думе «Наталья Долгорукова», о связи подвига декабристок с литературной традицией см.: Ю. М. Лотман. Декабрист в повседневной жизни—в кн.: Лит. наследие декабристов. Л., 1975, с. 47—51; свод данных о декабристах см.: Э. А. Павлюченко. В добровольном изгнании. М., 1980). Наконец, личные жизненные обстоятельства Н. Бестужева были не вполне просты: декабриста связывало долгое и крепкое чувство с замужней женщиной — Л. И. Степовой, что объясняет атмосферу недосказанности и «умолчания» М. Бестужева. (О любви Н. Бестужева см.: И. С. Зильберштейн. Николай Бестужев и его живописное наследие, с. 120—126.)

С. 73. ...и смерти Ульриха...— То есть Иоанна VI Антоновича, свергнутого с престола в младенчестве (1741) и заточенного в Шлиссельбурге. В 1764 г. Иоанн был убит во время попытки В. Д. Мировича освободить его. Назван Ульрихом по фамилии отца, герцога Брауншвейгского Антона Ульриха.

С. 76. ...со мною было англинское Стерново «Чувствительное путешествие»...— По свидетельству М. Бестужева, «Стерново путешествие и Театр Расина сестра Елена умудрилась заложить между бельем в небольших чемоданчиках, дозволенных нам взять с собою при отправке нас в Шлиссельбургскую крепость, и точно, первая для брата, а вторая для меня не только служили единственною отрадою в гробовой жизни, но, может быть, спасли нас от сумасшествия».—Воспоминания Бестужевых, с. 243. Творчество Стерна пользовалось большой популярностью в среде декабристов (подробнее см.: М. К. Азадовский. Стерн в восприятии декабристов.—В кн.: Бунт декабристов, Л., 1926, с. 383—392). В рассказе Бестужева принцип «странного сцепления идей» (это скрытая цитата из письма Стерна), чувствительность, противостоящая деспотизму, постоянная двойственность авторской позиции — результаты прямого следования за Стерном. Эпизод, который читает повествователь, у Стерна возникает в результате прихотливого ряда ассоциаций: скворец в клетке — воображаемый узник Бастилии — ужас героя, почти отождествившего себя с ним.

С. 85. ...об удовольствиях на море.— Имеется в виду очерк Н. Бестужева «Об удовольствиях на море» (ПЗ, 1824).

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕСТУЖЕВ (1800—1871)

Третий из братьев-декабристов; обучался в Морском корпусе в 1812—1817 гг.; выпущен мичманом. В 1822 г. произведен в лейтенанты, в том же году переведен поручиком в лейб-гвардии Московский полк. В 1825 г. принят в Северное общество К. П. Торсоном. Сыграл выдающуюся роль в восстании 14 декабря (вывод на площадь Московского полка). Осужден по II разряду, разделил судьбу брата Николая. В 1867 г. возвратился в Москву, где и умер.

Основные издания: Воспоминания Бестужевых. М.—Л., Издательство АН СССР, 1951 («Лит. пам.»).

Следственное дело — ВД, т. II.

Мемуарный цикл М. А. Бестужева возник благодаря постоянным просьбам историка М. И. Семеvского. В 1860—1861 гг. М. Бестужев отвечает на вопросы историка, позднее вспоминавшего: «Целые тетради посылались из Селенгинска в Петербург, и заочное знакомство, несмотря на шесть тысяч верст, разделявших новых знакомых, весьма прочно завязалось и обратилось в самую тесную приязнь» (РС, 1881, № II, с. 592). В конце 1860—начале 1861 г. М. Бестужев приступил к работе над мемуарами, избрав образцом книгу Сильвио Пеллико «Le mie prigioni» («Мои тюрьмы», традиционно — «Мои темницы»). Замысел М. Бестужева охватывал всю его жизнь после поражения восстания: Петропавловская крепость, Шлиссельбург, Чита, Петровский Завод, поселение в Селенгинске; изображение дня 14 декабря служило прологом к «тюремной эпопее». В 1862 г. первоначальная редакция мемуаров была уничтожена из опасения обыска. После свидания с Семеvским в Петербурге (1869) Бестужев возвращается к старому замыслу, но успевает написать лишь три публикуемые ниже главы. Тогда же были написаны дополнительные ответы на вопросы Семеvского. Отрывок одного из ответов Семеvскому был напечатан Герценом (ПЗ, VII). В России ряд ответов публиковался Семеvским в журнале «Русская старина». Наиболее полно мемуарный свод М. Бестужева представлен в кн. «Воспоминания Бестужевых».

Мои тюрьмы (с. 99).

С. 99. ...при арестовании брата Николая...— После посещения дома Ляшевича-Бородулича (см. «14 декабря 1825 года» Н. А. Бестужева) Н. Бестужев отправился пешком в Кронштадт, вероятно, собираясь тем или иным путем бежать за границу. На квартире Е. П. Абросимовой он столкнулся с М. Г. Степовым и П. А. Дохтуровым. «Первый был личный враг брата, другой — давнишний его друг, товарищ по выпуску и постоянный сосед в нашей бывшей квартире. Они объявили приказ арестовать его.— «Исполняйте вашу обязанность,— сказал брат Степовому,— судьба дарит вас благоприятным случаем для отмщения».— По грустному выражению лица М. Г. Степового можно было видеть внутреннюю борьбу долга с состраданием. «Как вы думаете, Михаил (ошибка мемуариста, следует: Павел) Афанасьевич?»— спросил он, обратившись к Дохтурову. «Мы должны исполнить приказание начальства»,— отвечал тот. «Мы не получили положительного приказаия взять его,— возразил Степовой,— нас просили узнать, не здесь ли он, и я ничего не нашел. Пойдемте».

Они вышли, и за дверями было слышно, как Дохтуров упрекал его в слабости и приказывал поставить часового в коридоре, ведшем на улицу».—Воспоминания Бестужевых, с. 127—128. Далее Н. Бестужев, переодевшись, проходит мимо часового; вскоре он, однако, арестован (по личному показанию 15 декабря — ВД, т. II, с. 62).

С. 101. ...разговор Тани с нянею...— Фрагмент предназначался для альманаха «Звездочка», не вышедшего в свет из-за событий 14 декабря (сохранились корректурные листы). Историю соглашения А. С. Пушкина с А. Бестужевым М. Бестужев рассказывает подробнее в ответах Семеvскому, где приведены слова А. Бестужева: «Ты промахнулся <...> не потребовав за строку по чер-

вонцу... Я бы тебе и эту цену дал, но только с условием: пропечатать нашу сделку <...> для того, чтобы знали все, с какою готовностью мы платили золотом за золотые стихи» (Воспоминания Бестужевых, с. 241). В первой половине января 1827 г. А. А. Дельвиг, в альманахе которого (СЦ, 1827) был напечатан фрагмент, сообщал Пушкину о том, что он вернул деньги вдове Рылеева.

...зашла речь о Жуковском...— В 1824 г. Жуковский становится объектом острой критики как будущих декабристов (А. Бестужев, Рылеев, Кюхельбекер), так и других молодых поэтов (Баратынский) и даже очень близкого ему лично П. А. Вяземского. Недовольство Жуковским связывалось с его придворной службой (поэт обучал русскому языку вел. княгиню Александру Федоровну), а также с ориентацией Жуковского на немецкую романтическую поэзию. Эпиграмма приписывалась Пушкину, чье отношение к творчеству Жуковского было принципиально иным. Сам Жуковский, по авторитетному свидетельству Н. И. Греча, полагал ее автором Ф. В. Булгарина, в то время близкого к Рылеву и Бестужеву. В эпиграмме пародируется стихотворение Жуковского «Певец» (1811), упоминание в ней Грея — намек на перевод элегии Грея «Сельское кладбище» (1802).

С. 102. ...Генерал Раевский...— История Петра Бестужева рассказана неточно. Во-первых, виновником неприятностей, постигших покровительствующего декабристам Н. Н. Раевского, был не фон Дезин, а специально присланный на Кавказ флигель-адъютант Н. А. Бутурлин (об этом см.: Н. И. Лорер. Записки декабриста. Иркутск, 1984, с. 208, и прим. М. В. Нечкиной: там же, с. 395—396). Во-вторых, тифлисский обед у Н. Н. Раевского, на котором присутствовали многие декабристы, в том числе А. А. Бестужев, и который послужил поводом для акций против Раевского, состоялся 6 сентября 1829 г., в то время как П. А. Бестужев уже 3 сентября находился в Эрзруме.

С. 106. ...в деле проекта К. П. Торсона...— О проекте К. П. Торсона по материальному усовершенствованию русского флота и сложностях, с ним связанных, М. Бестужев подробно пишет в ответах Семевскому (см.: Воспоминания Бестужевых, с. 272—274).

С. 109. *Заключив объезд теми караулами...*— М. Бестужев посетил караул на Нарвской заставе, чтобы «склонить на свою сторону начальника караула, с его помощью не пропустить в город Михаила (вел. князя, побывавшего в Варшаве.—А. Н., О. П.) или его арестовать, так как приезд этого представителя Константина грозил <...> сорвать агитацию в войсках» (А. Е. Пресняков. 14 декабря 1825 года. Л., 1925). План не удался: на заставе Михаила ждал адъютант Николая В. А. Перовский.

С. 110—111. ...возгласы Якубовича...— О позиции Якубовича перед восстанием и в день 14 декабря см.: Я. Гордин. События и люди 14 декабря, с. 24—32, 121—126, 266—272. По мнению исследователя, в поведении Якубовича сказались не только его личный авантюризм, но и соглашение с умеренным крылом декабристов (Г. С. Батеньков), своего рода «заговор в заговоре», целью которого был срыв революционного плана Рылеева и Трубецкого и последующие переговоры с Николаем об ограничении самодержавия.

С. 111. *И этого-то человека сумели загрязнить трусостью!*— М. Бестужев имеет в виду статью «Четырнадцатое декабря», опубли-

ликованную Герценом в сб. «Записки декабристов» (Лондон, 1863, вып. II—III за подписью Пушкина). Автором статьи был И. Д. Якушкин (см.: Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. М., 1951, с. 143—159), не присутствовавший в день 14 декабря в Петербурге и потому допустивший некоторые неточности. Якушкин, впрочем, вовсе не обвиняет Рылеева в трусости, но говорит лишь о растерянности.

С. 112. *Вы поручили ему поднять артиллеристов и Измайловский полк...*—Якубович должен был руководить действиями Гвардейского экипажа по захвату Зимнего дворца. Измайловский полк должен был примкнуть к Гвардейскому экипажу. О положении в Измайловском полку утром 14 декабря см.: Я. Горди н. События и люди 14 декабря, с. 194—196.

С. 117—118. *...хотя они, по убеждению Чевкина, решительно отказались присягнуть Николаю.*—Поздним вечером 13 декабря А. В. Чевкин неудачно пытался агитировать 2-ю роту Преображенского полка против присяги Николаю.

С. 119. *Генерал Шипов...*—Переговоры с Шиповым незадолго до восстания вел С. П. Трубецкой (см.: С. П. Т р у б е ц к о й. Материалы о жизни и революционной деятельности. Иркутск, 1983, т. I, с. 247).

С. 120. *Панов <...> повернул было во дворец...*—Дворец в это время уже был надежно защищен преданным лично Николаю Саперным батальоном, поэтому Панов после захода во внутренний двор увел grenадеров на площадь.

С. 121. *...диктатор Трубецкой не являлся.*—Поведение Трубецкого в день 14 декабря вызывает различные толкования: от обвинения в измене до сочувственных трактовок (после срыва первоначального плана — захват дворца должен был предшествовать захвату Сената — «диктатор» счел восстание проигранным и не хотел участвовать в «импровизации»). Объяснение поведения Трубецкого растерянностью и изначальным нежеланием революционных действий задано ответами «диктатора» Следственному Комитету, в которых он последовательно развивал эту несостоятельную версию. (Подробнее см.: В. П. П а в л о в а. Декабрист С. П. Трубецкой.— В кн.: С. П. Трубецкой. Материалы о жизни и революционной деятельности, т. 1, с. 3—69.)

С. 124. *Я забыл фамилию...*—Речь идет о командире 6-го эскадрона лейб-гвардии Конного полка А. А. фон Эссене.

С. 131. *...становись в обычную позу Терамена—и начинай...*—Имеется в виду знаменитый монолог Терамена из «Федры» (1677) Ж. Расина (д. V, явл. VI), в котором рассказывается о гибели героя трагедии — Ипполита.

С. 135. *...в роли Эдипа Озерова...*—Борецкий дебютировал 25 января 1818 г. в трагедии В. А. Озерова «Эдип в Афинах».

С. 145. *...лишним словом не топить других.*—На следствии М. Бестужев признавал все, что касалось выхода Московского полка на площадь, но старался не давать показаний о Тайном обществе. Эта позиция резко отличалась от установки на открытость, характерной, например, для А. Бестужева.

...тетрадку, писанную В. И. Штейнгейлем со слов Фаленберга.—Видимо, ошибка М. Бестужева. Фаленберг оставил собственные мемуары, в которых развивал версию о ложном самообвинении, не соответствующую действительности.

...например, Дивова...— Дивов действительно давал очень подробные показания, утяжелившие и его участь, и участь других декабристов (Д. И. Завалишин, братья Беляевы).

С. 146. ...как сделал ваш брат Александр Александрович.— Явка с повинной А. Бестужева была обусловлена дворянской этикой: побежденный отдает шпагу победителю — и нежеланием отделять свою участь от участи товарищей (уже на площади сдались А. Н. Сутгоф и М. К. Кюхельбекер, от побега за границу отказались И. И. Пущин, С. Г. Волконский, Н. В. Басаргин).

С. 148. *Постыдитесь, святой отец!*— Личность протоиерея П. Н. Мысловского, навещавшего заключенных, вызвала споры в среде декабристов и продолжает вызывать споры у историков. Несомненно, Мысловский выполнял правительственные задания, но вместе с тем он сочувствовал многим декабристам, оказывал им различные услуги. Возможно, М. Бестужев описывает встречу не с Мысловским, но с его предшественником—протоиереем Стахием.

С. 151. *Я дико по тюрьме бродил...*— М. Бестужев неточно цитирует перевод В. А. Жуковского (1822) поэмы Д. Г. Байрона «Шильонский узник» (гл. VIII). Поэма эта после декабрьских событий приобрела особый смысл. Неточной цитатой из XII гл. поэмы завершил свои «Записки» Н. И. Лорер, отголоски «Шильонского узника» слышны в поэме Г. С. Батенькова «Одичалый».

С. 153. *Из записок Сильвио Пеллико я знал...*— Ошибка памяти мемуариста: книга С. Пеллико, отбывшего десятилетнее заключение, вышла в свет в 1832 г. (русский перевод — 1836).

С. 155. *Сергей Муравьев, раненный при восстании Черниговского полка.*— 29 декабря 1825 г. арестованный С. И. Муравьев-Апостол был освобожден младшими офицерами А. Д. Кузьминым, А. А. Щепилом, В. Н. Соловьевым, А. И. Сухиновым. Поднятый им Черниговский полк занял город Васильков и двинулся на Белую Церковь. 3 января восставшие были разбиты. (Дело о восстании Черниговского полка см.: ВД, т. VI; ср. также: Н. Я. Эйдельман. Апостол Сергей. М., 1980, с. 228—255, 265—300).

Из дополнительных ответов 1869—1870 гг. <Литературное общество в каземате> (с. 168).

С. 169. ...литературные вечера...— Общие литературные вечера, а также научные лекции, взаимное обучение иностранным языкам начались еще в Читинском остроге. В Чите же возник у П. А. Муханова замысел издания «декабристского» альманаха. Муханову удалось переслать П. А. Вяземскому (вероятно, через М. Н. Волконскую, состоящую в переписке с женой Вяземского Верой Федоровной) 14 стихотворений А. И. Одоевского (см. прим. к ним) и письмо, помеченное 12 июля 1829 г. за подписью «ZZ» (псевдоним Муханова, вероятно, известный Вяземскому): «Вот стихи, писанные под небом гранитным и в каторжных норах. Если вы их не засудите — отдайте в печать. Может быть, ваши журналисты Гарпагоны дадут хоть по гривенке за стих. Автору с друзьями хотелось бы выдать альманах «Зарница» в пользу невольных заключенных. Но одно легкое долетит до вас. Не знаю, дотянется ли когда-нибудь подвода с прозой. Замолвите слово на Парнасе: не подмогут ли ваши волшебники блеснуть нашей «Зарнице»?» (ЛН, т. 60, кн. I, с. 177). Этот замысел не осуществился

(подробнее см.: В. Э. Вацуро, М. И. Гиллельсон. Сквозь умственные плотины. М., 1972, с. 24—31).

...первую свою морскую повесть...— повести М. Бестужева не сохранились.

Критика легка...— Афоризм французского драматурга Детуша (Филиппа Нериго; 1680—1754).

С. 170. «Русские в Париже»— повесть Н. Бестужева «Русский в Париже 1814 года» была напечатана в кн.: Рассказы и повести старого моряка Н. Бестужева. М., 1860.

<Казнь Рылеева> (с. 172).— Записки И. И. Горбачевского. М., 1925. Рассказ представляет реплику на письмо Горбачевского, повествующего о казни декабристов. Горбачевский считал, что с петель сорвались Бестужев-Рюмин, Муравьев-Апостол и Каховский; Каховскому он приписывает слова, обращенные к Голенищеву-Кутузову. (Ср. версию Н. Бестужева: наст. изд., с. 62 и прим. к ней.)

ИВАН ИВАНОВИЧ ПУЩИН (1798—1859)

Ближайший друг Пушкина лицейской поры. По выходе из Лицея — прапорщик лейб-гвардии конной артиллерии; дослужившись до чина поручика (1822), в 1823 г. после столкновения с великим князем Михаилом Павловичем выходит в отставку и определяется на службу в С.-Петербургскую уголовную палату; с марта 1824 г. — надворный судья в Москве, в декабре 1825 г. имеет чин коллежского асессора.

Резкий поворот в карьере Пущина был следствием его глубоких и давних убеждений (Пущин в 1814 г. член «Священной артили», в 1817 г. принят в Союз спасения И. Г. Бурцевым, затем член Союза благоденствия и Северного общества, член Думы, в период пребывания в Москве один из руководителей Московской управы). Пущин избрал «непрестижную» службу (ср. аналогичный поступок Рылеева), дабы приносить больше пользы. Квалифицированность и честность Пущина-чиновника сделали его близким лицом к московскому генерал-губернатору кн. Д. В. Голицыну.

Свидание Пущина с Пушкиным 11 января 1825 г. в Михайловском — важнейший момент в истории отношений великого поэта с декабристами (см. об этом: Н. Я. Эйдельман. Пушкин и декабристы. М., 1979, с. 239—285).

26 ноября 1825 г., зная о смерти Александра, Пущин ходатайствует об отпуске в Петербург, явно думая о возможности открытого выступления в столице. Пущину удалось выехать лишь 5 декабря, после присяги Константину. 8 декабря Пущин в Петербурге, а 9 утром — на квартире Рылеева, в штабе готовящегося восстания, одним из организаторов которого он становится. По свидетельству Н. И. Лорера, Пущин отправил письмо Пушкину с известием, «что он едет в Петербург и очень бы хотел увидеться там с Александром Сергеевичем» (см.: Н. И. Лорер. Записки декабриста. Иркутск., 1984, с. 204). С этим письмом Лорер связывает пушкинскую попытку выезда из Михайловского.

Во время подготовки и в ходе восстания Пущин занимает активную позицию. Вместе с Рылеевым он должен был войти в Сенат для прочтения Манифеста. На площади Пущин подбадривает солдат, остается там до конца, затем отказывается от заграничного паспорта, предложенного лицейским товарищем — дипломатом А. М. Горчаковым. На следствии давал показания скупое. Осужден по I разряду на 20 лет каторги, которую отбывал в Чите и Петровском Заводе. С 1840 г. на поселении в Туринске, с. 1843 г. — в Ялutorовске. В годы каторги и ссылки Пущин — свяжающее звено среди декабристов, организатор их быта, постоянный помощник нуждающимся. Бесконечная доброта Пущина — предмет мягких шуток декабристов, наградивших своего товарища прозвищем «Маремьяна-старица» (по поговорке «Маремьяна-старица обо всех печалится»).

В 1856 г. Пущин амнистирован, в 1857 г. он женится на вдове декабриста М. А. Фонвизина Наталье Дмитриевне (о ней см.: Э. А. Павлюченко. В добровольном изгнании. М., 1980, с. 92—98), живет в ее подмосковном имении Марьине.

Основные издания: И. И. Пущин. Записки о Пушкине. Письма. М., Гослитиздат, 1956. (Издание подготовил С. Я. Штрайх.)

Следственное дело — ВД, т. II.

Литература: Н. Я. Эйдельман. Большой Жанно. М., 1982 (сер. «Пламенные революционеры»).

Записки о Пушкине (с. 175) — Атеней. 1859, т. VIII, ч. 2, с цензурными изъятиями; полностью подготовлены и опубликованы Е. И. Якушкина см.: И. И. Пущин. Записки о Пушкине. Письма, с. 381—382). Поводом к написанию «Записок о Пушкине» послужил выход «Материалов для биографии Александра Сергеевича Пушкина» П. В. Анненкова (I том «Сочинений» Пушкина под редакцией Анненкова — СПб., 1855). Книга Анненкова была высоко оценена Пушиным; он отмечал, что Анненков «запечатлел свой труд необыкновенною изыскательностью, полным знанием дела и горячею любовью к Пушкину — поэту и человеку» (цит. по И. И. Пущин. Записки о Пушкине, с. 55). Анненков, однако, в основном в силу цензурных условий, не затронул важного вопроса о связи Пушкина с декабристами.

Записки написаны по настоянию Е. И. Якушкина — сына декабриста, начавшего расспрашивать Пущина при посещении ссыльных в Сибири в 1853 г. (Некоторые устные рассказы той поры в записи Е. Якушкина см.: И. И. Пущин. Записки о Пушкине. Письма, с. 381—382). Поводом к написанию «Записок о Пушкине» послужил выход «Материалов для биографии Александра Сергеевича Пушкина» П. В. Анненкова (I том «Сочинений» Пушкина под редакцией Анненкова — СПб., 1855). Книга Анненкова была высоко оценена Пушиным; он отмечал, что Анненков «запечатлел свой труд необыкновенною изыскательностью, полным знанием дела и горячею любовью к Пушкину — поэту и человеку» (цит. по И. И. Пущин. Записки о Пушкине, с. 55). Анненков, однако, в основном в силу цензурных условий, не затронул важного вопроса о связи Пушкина с декабристами.

С. 176. ...в число кандидатов Лицея...—Лицей был задуман М. М. Сперанским «для подготовки юношества, предназначенного к высоким частям службы государственной». Проект этот не состоялся. (О характере обучения в Лицее см.: Б. В. Томашевский. Пушкин. Книга первая (1813—1824). М.—Л., 1956, с. 11—15; о лицейских преподавателях и товарищах Пушкина — там же, с. 675—705. Н. Я. Эйдельман. «Прекрасен наш союз...» М., 1982.)

С. 178. ...мы оставались с Анной Николаевной.— А. Н. Ворожейкина — гражданская жена В. А. Пушкина.

С. 180. ...голос его был слаб и прерывист.— Ознакомившись с публикацией Пущина, зять В. Ф. Малиновского декабрист А. Е. Розен писал: «Малиновский был необыкновенно скромен и

проникнут важностью церемонии, в первый раз в жизни говорил с государем и должен был произнести речь, которая десятки раз была переправлена предварительною цензурою (на самом деле Малиновскому была вручена новая речь взамен написанной им и вызвавшей раздражение министра — А. К. Разумовского. — А. Н., О. П.): мудро ли, что он был смущен?» (А. Е. Розен. Записки декабриста. Иркутск, 1984, с. 101—102).

...выступил... А. П. Куницын. — «Наставление, читанное воспитанникам при открытии императорского Царскосельского Лицея» вскоре было издано. В 1821 г. Куницын был уволен из Лицея и университета за издание лекций «Естественное право» и либеральную репутацию. Лекции были конфискованы и уничтожены.

С. 182. *На лире скромной, благородной...* — Ошибка Пушкина. Стихотворение «К Н. Я. Плюсковой», прославляющее императрицу Елизавету Алексеевну, было написано в 1818 г.; стихотворение связано с замыслами ряда членов Союза благоденствия возвести на престол Елизавету Алексеевну и добиться от нее конституции.

С. 191. ...в подражание стихам И. И. Дмитриева. — Ошибка Пушкина — Пушкин перефразировал начало стихотворения Д. В. Давыдова «Мудрость» (1807).

С. 193. ...Державин... увенчал нашего поэта. — «Воспоминания в Царском Селе» в присутствии Державина Пушкин читал 8 января 1815 г.

С. 200. ...допотопного моего портфеля... — Портфель с конституцией Никиты Муравьева, рукописями стихов Пушкина, Рылеева, Дельвига был возвращен Пушкину в 1857 г. (после амнистии) П. А. Вяземским, которому был передан на хранение в 1841 г. М. И. Пушкиным.

С. 204. ...встретился со мною у Н. И. Тургенева... — Это было одно из заседаний «Журнального общества», задуманного Н. И. Тургеневым как легальное (1818). Существовало намерение привлечь Пушкина к намечавшемуся изданию общественно-политического журнала; инициаторами издания выступали Н. И. Тургенев и А. П. Куницын.

С. 206. ...к... замужней сестре... — Евдокии Ивановне Бароцци.

С. 207. ...пригласил его полицмейстер к графу Милорадовичу... — подробнее эпизод с Милорадовичем изложен адъютантом последнего Ф. Н. Глинкой (см.: Ф. Н. Глинка. Удаление А. С. Пушкина из С.-Петербурга в 1820 г. — В кн.: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т. 1, с. 206—210).

С. 211. ...портрет, который потом видел в «Северных цветах»... — Портрет работы О. А. Кипренского, гравированный Н. И. Уткиным, воспроизводился в СЦ, 1828, и в первом томе издания Анненкова.

С. 212. ...о религии... — Следующий далее фрагмент до слов «Мне показалось...» являлся первым дополнением к рукописи Пушкина.

С. 213. ...вот его строфы... — Черновые строфы «19 октября», посвященные Пушкину, были опубликованы Я. К. Гротом в 1857 г.

С. 214. ...пятый год — ошибка Пушкина; Раевский был арестован в 1822 г.

заметил <...> одну фигурку... — Имеется в виду Ольга Михайловна Калашникова, «крепостная любовь» Пушкина.

С. 215. ...метки его замечаний... — Впечатления от «Горе от ума» Пушкин высказал в письме Вяземскому от 28 января и

А. Бестужеву от конца января 1825 г. Отрывок из первого был включен Вяземским в статью о Фонвизине («Современник», 1837, т. V); из второго — в статью В. П. Гаевского о Дельвиге («Современник», 1854, № 9) и «Материалы» Анненкова.

С. 218. ...я послал эти стихи к Плетневу...— Стих. «Мой первый друг...» вместе с посланием 1817 г. «В альбом Пушкину» были переданы П. А. Плетневу через П. П. Ершова, автора сказки «Конек-Горбунук» и напечатаны в редактируемом Плетневым «Современнике» (1841, № 5) без упоминания имени декабриста.

...в январе 1837 года...— Пушкин ошибается; Пушкин умер 29 января, таким образом Розенберг мог прибыть в Петровский Завод лишь в феврале.

ВИЛЬГЕЛЬМ КАРЛОВИЧ КЮХЕЛЬБЕКЕР (1797—1846)

Родился в семье выходца из Саксонии, получившего дворянство в 1770-х гг. В 1808—1811 гг. обучался в немецком пансионе в г. Верро (Эстония), затем в Царскосельском лицее.

По окончании Лицея служит в Главном архиве Иностранной коллегии и преподает русскую словесность в Благородном пансионе при Главном педагогическом институте (среди его учеников А. С. Пушкин и М. И. Глинка), активно участвует в литературной жизни (член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств и Вольного общества любителей российской словесности). 9 августа 1820 г. увольняется в отставку, а 8 сентября отправляется в путешествие в качестве секретаря обер-гофмаршала А. Л. Нарышкина, посещает Германию и Францию (подробнее см.: Ю. Н. Тынянов. Пушкин и его современники. М., 1969, с. 295—329). В июне 1821 г. Кюхельбекер читает лекции о русском языке и литературе в парижском либеральном клубе «Атениум» (текст дошедшей до нас лекции см.: ЛН, т. 59, ч. I, с. 374—380; публикация и перевод Б. В. Томашевского). Лекции привлекли внимание полиции, Кюхельбекер был вынужден оставить службу у Нарышкина и покинуть Париж. С трудом, претерпев ряд приключений, он возвращается в Петербург в августе 1821 г. В сентябре отправляется в Тифлис на службу при А. П. Ермолове, там сближается с Грибоедовым, что способствует его литературной переориентации (скорый переход в «дружину славян»). В результате конфликта с родственником Ермолова Н. И. Похвисневым 26 апреля 1822 г. выходит в отставку. До середины 1823 г. живет в смоленском имении сестры У. К. Глинки Закупе, где напряженно работает (трагедия «Армяне», ряд стихотворений). С августа 1823 г. Кюхельбекер в Москве, где совместно с В. Ф. Одоевским при поддержке П. А. Вяземского издает четырехчастный альманах «Мнемозина». Альманах, особенно первая часть, имеет шумный успех с отголоском скандала. В нем публикуется программная статья Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» с радикальными требованиями гражданственности и народности в литературе, выпадами против элегической школы Жуковского. В 1825 г. Кюхельбекер в Петербурге, тщетно пытается найти службу, живет литературными заработками в изданиях Н. И. Греча и Ф. В. Булгарина. К этому времени относится его сближение с А. И. Одоевским, тесные контакты с кругом Рылеева (см. прим. к стих. «На смерть

Чернова»). В последних числах ноября или первых числах декабря он принят Рылевым в Северное общество.

В день восстания Кюхельбекер ездит из полка в полк, пытается, но неудачно, стрелять в великого князя, при картечных выстрелах делает попытку остановить бегущих солдат. В ночь на 15 декабря он уходит из Петербурга, добирается до Варшавы для побега за границу. Схвачен в Варшаве 19 января 1826 г. и препровожден в Петербург, в Алексеевский рavelин. Приговорен по I разряду к отсечению головы; по ходатайству великого князя Михаила Павловича приговор смягчен до 20 лет каторги и пожизненного поселения в Сибири. Каторга заменена 15 годами одиночного заключения, затем сокращенными до 10 лет. 25 июля 1826 г. он отправлен в Шлиссельбург, в октябре 1827 г. — в Динабург; с 19 апреля по 7 октября 1831 г. — заключение в Вышгородском замке г. Ревеля, с 14 октября 1831 г. по 14 октября 1835 г. — в тюрьме г. Свеаборга. В январе 1836 г. Кюхельбекер доставлен в Баргузин на место поселения брата Михаила. Он женится на дочери баргузинского почтмейстера Дросиде Ивановне Артемовой (разница социального и духовного уровней супругов явилась причиной многих тягот последних лет поэта). В 1840 г. семья перебирается в пограничную крепость Акша. Кюхельбекер добивается перевода из Акши в Курган в середине 1844 г., переезжает в конце года. В феврале 1846 г. ему разрешено переехать в Тобольск для лечения, где он и умирает 11 августа 1846 г.

В тюрьме и ссылке продолжается неустанная литературная работа Кюхельбекера. Поэт не перестает бороться за право печататься, однако лишь немногие его сочинения выходят в свет (так, при содействии Пушкина были изданы две части мистерии «Ижорский» и «Русский декамерон 1831 г.»). После Кюхельбекера остался огромный архив, в марте 1846 г. переданный на хранение И. И. Пущину (о судьбе наследия декабриста см.: Е. П. Мстиславская. Творческие рукописи Кюхельбекера. — Записки Отдела рукописей Гос. библиотеки им. В. И. Ленина. М., 1975, вып. 36., с. 5—37). Решающую роль в восстановлении поэтического имени Кюхельбекера сыграла научная деятельность Ю. Н. Тынянова, подготовленные им издания: В. К. Кюхельбекер. Стихотворения. Л., 1939 («Библиотека поэта». Малая серия — далее: Стих., 1939); В. К. Кюхельбекер. Лирика и поэмы. Драматические произведения. В двух томах. Л., 1939 («Библиотека поэта». Большая серия.) и др.

Основные издания: В. К. Кюхельбекер. Избр. произв. В двух томах. Л., «Советский писатель», 1967 (БПБС, изд. подготовила Н. В. Королева); В. К. Кюхельбекер. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., «Наука», 1979 («Литературные памятники», изд. подготовили Н. В. Королева и В. Д. Рак).

Мемуары: Воспоминания, т. 2.

Следственное дело — ВД, т. II.

Литература: Ю. Н. Тынянов. Пушкин и Кюхельбекер. — В кн.: Пушкин и его современники. М., 1969; Ю. Н. Тынянов. «Аргивяне», неизданная трагедия Кюхельбекера — в его кн.: История литературы. Поэтика. Кино. М., 1977. Ю. Н. Тынянов. «Кюхля» (1925).

О с е н ь (с. 222). — Благонамеренный, 1818, № 1.

З и м а (с. 223). — НЗр, 1820, ч. 1.

К Матюшкину (с. 223).—СО, 1817, № 32. Написано в связи с отправлением Матюшкина в кругосветное плавание.

С. 223. *Мир Иапета* — здесь: Европа.

Царское Село (с. 224).—СО. 1818, № 35; Благонамеренный, 1818, № 8.

К Пушкину (с. 225).—Благонамеренный, 1818, № 8.

К Пушкину из его нетопленной комнаты (с. 226).—ЛН, т. 16—18. М., 1934, в статье Ю. Н. Тынянова «Пушкин и Кюхельбекер».

Поэты (с. 227).—Сор., 1820, № 4. Стихотворение было прочитано 22 марта 1820 г. на заседании Вольного общества любителей российской словесности и справедливо расценено как отклик на известие о предстоящей высылке Пушкина из Петербурга. Вице-президент общества В. Н. Каразин сделал это стихотворение предметом одного из своих доносов. Хотя в результате напряженной борьбы Каразин и был исключен из общества, доносы его возымели действие: весной 1820 г. положение Кюхельбекера стало неблагоприятным. Эпиграф — из послания В. А. Жуковского «К кн. Вяземскому и В. А. Пушкину» (1814), одной из тем которого являлась трагическая судьба В. А. Озерова (упомянутого и Кюхельбекером), по представлениям каразинистов, павшего жертвой интриг завистника — А. А. Шаховского. Тема трагической судьбы поэта была близка Кюхельбекеру на протяжении всего творчества.

С. 231. *Святые барды Туискона!* — Германские поэты (Тускон — мифический родоначальник германцев).

С. 232. *...мой Евгений!* — Е. А. Баратынский. 15 апреля 1816 г. Баратынский за непростительную шалость был исключен из Пажеского корпуса с запрещением поступать в любую службу, кроме военной, рядовым, 8 февраля 1819 г. Баратынский вступил в лейб-гвардии егерский полк, в январе 1820 г. был переведен унтер-офицером в Нейшлотский полк, дислоцированный в Финляндии. Пребывание Баратынского в Финляндии расценивалось как ссылка.

К Евгению (с. 232).—Стих., 1939. Обращено к Баратынскому. Эпиграф — из «Биографии Фемистокла» Корнелия Непота.

Прощание (с. 233).—Стих., 1939. Написано в связи с отъездом за границу.

Ницца (с. 234).—МТ, 1826, № 17, под загл. «К Гете» и с эпиграфом из песни Миньоны («Годы учения Вильгельма Мейстера»): «Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen?» («Знаешь ты край, где цветут лимоны?»). Реминисценцией гетевского (ставшего классическим) описания Италии открывается стихотворение.

С. 235. *Полион* — река, на которой стоит Ницца.

Ненавистные тудески... — Тудески — немцы, речь идет о подавлении австрийскими войсками революции в Пьемонте.

К Румью (с. 236).—Стих., 1939. Написано под впечатлением от греческого восстания. В Петербурге ходили слухи о том, что Кюхельбекер отправился в Грецию.

С. 236. *Ничто, ничто не утопает // В реке катящихся веков...* — Полемическая реминисценция из предсмертных стихов Державина: «Река времен в своем стремлении // Уносит все дела людей...» (1816). Программный характер подчеркнут автокомментарием, которым Кюхельбекер сопровождал запись двух стихов в альбоме П. И. Кеппена. «Эта мысль одна может подкрепить истинного

друга человечества, когда глядит он на временный неуспех, на временную гибель всего великого и прекрасного».

К А х а т е с у (с. 237).— Стих., 1939. Обращено к В. И. Туманскому, с помощью которого Кюхельбекер вернулся из-за границы в Россию; возможно, первоначально Туманский и Кюхельбекер собирались в Грецию (см. прим. к «К Румью»).

С. 237. *Ахатес* — герой «Энеиды» Вергилия, друг и спутник Энея.

...*Марафонским, святым знаменам!*— В битве при Марафоне 13 сентября 490 г. до н. э. греки разбили персидское войско.

Е р м о л о в у (с. 237).— Литературный вестник, 1902, кн. 2. Г р и б о е д о в у (с. 238).— МТ, 1825, ч. 1.

С. 239. *И резво-скачущая кровь!*— Строка была пародирована Пушкиным в «Оде его сиятельству графу Д. И. Хвостову» (1825) (об этом полемическом стихотворении Пушкина см.: Ю. Н. Тынянов. Архаисты и Пушкин— в его кн.: Пушкин и его современники. М., 1969, с. 105—115).

Р а з у в е р е н и е (с. 239).— А. Н. П а в л и щ е в. Воспоминания о Пушкине. М., 1890. Стихотворение навеяно воспоминанием о ссорах с Пушкиным, в том числе о приведшей к дуэли (1818).

С. 240. *«Ни любовницы, ни друга...»*— Ср. стихи Пушкина лицейской поры «Тошней идилии и холодней, чем ода...»: «Боишься ты людей, как черного недуга, // О жалкий образец уродливой мечты! // Утешься, злой глупец! иметь не будешь ты // Век ни любовницы, ни друга».

К П у ш к и н у (с. 240).— РА, 1871, № 2, в составе письма Кюхельбекера В. А. Жуковскому от 17 февраля 1823 г., где он, в частности, писал: «Прилагаю при сем безделку, которую написал к Пушкину, прочитав его Кавказского пленника...». Поэма Пушкина вышла в свет в конце августа — начале сентября 1822 г.; т. к. нет данных о знакомстве Кюхельбекера с рукописью (возможностей для этого у Кюхельбекера, находящегося в Закупе, не было), стихотворение следует датировать сентябрем 1822 — февралем 1823 г. Было послано Пушкину.

П р о р о ч е с т в о (с. 242).— РС, 1891, октябрь (в отрывках); Литературный вестник, 1902, кн. 2. В стихах отразилась литературная переориентация Кюхельбекера — переход в «дружину славян», поэтому «Пророчество» было неприязненно оценено Пушкиным в письме брату от 4 сентября 1822 г.

С. 243. *Костьми усеялося море...*— В одном из автографов Кюхельбекера есть примечание: «Разбитие турецкого флота возле Ионических островов».

Триполища — главный город Морен, во время освободительной войны несколько раз переходил из рук в руки.

С. 244. *Но ты, коварный Альбион...*— Англия, выступая проводником политики «Священного союза», поддерживала турок.

П р о к л я т и е (с. 244).— Мнемозина. М., 1824, ч. 2.

У ч а с т ь п о э т о в (с. 245).— Стих., 1939.

<Н а с м е р т ь Ч е р н о в а > (с. 246).— ПЗ, V, 10 сентября 1825 г. состоялась дуэль между членом Северного общества подпоручиком Семеновского полка родственником Рылеева К. П. Черновым и флигель-адъютантом Александра I В. Д. Новосильцевым. Причиной дуэли послужил разрыв Новосильцева с сестрой Чернова, которой он прежде делал предложение. Дуэль проходила на очень жестких условиях и окончилась смертью обо-

их противников. Похороны Чернова (26 сентября) вылились в своеобразную политическую демонстрацию: на могиле Чернова Кюхельбекер пытался прочитать стихи. С 1872 г. (П. А. Ефремов) стихотворение необоснованно приписывалось Рылеву (доказательства авторства Кюхельбекера и подробности о дуэли см.: Ю. М. Лотман. Кто был автором стихотворения «На смерть К. П. Чернова» — «Русская литература», 1961, № 3).

Тень Рылеева (с. 247). — ССД.

С. 247. В ужасных тех стенах, где Иоанн... — См. прим. к с. 73.

19 октября 1828 года (с. 248). — «Подснежник», СПб., 1829. Сама публикация в альманахе А. А. Дельвига «была ответом на скорбный вопрос Кюхельбекера» (В. Э. Вацуро. «Северные цветы». История альманаха Дельвига — Пушкина. М., 1978, с. 167—168).

Памяти Грибоедова (с. 249). — ССД. Грибоедов погиб в Тегеране 30 января 1829 г.

С. 249. Относится к поэме *Грибоедова*... — От поэмы Грибоедова, с которой Кюхельбекер познакомился в Тифлисе, дошел отрывок «Кальянчи» (первая публикация — СО, 1838, № 1).

...с драмой, о которой упоминает Булгарин. — Имеется в виду рассказ Булгарина о невоплощенном замысле трагедии «Грузинская ночь» (сохранилось несколько фрагментов) в «Воспоминаниях о незабвенном А. С. Грибоедове» (СО, 1830, № 1). Примечание содержится в тетради, заполнявшейся Кюхельбекером после 1831 г.

Клен (с. 250). — ССД.

Море сна (с. 251). — ССД.

Полночь с 31 декабря на 1-ое января (с. 252). — ССД. Подражание немецкой лютеранской духовной песне «Люди, наша жизнь уходит»; первоначальное название «Тленность».

Родство со стихиями (с. 254). — РС, 1884, № 1. По свидетельству дневниковой записи от 1 сентября 1834 г., навеяно третьей песнью «Паломничества Чайльд-Гарольда» Байрона.

19 октября 1836 года (с. 255). — ОЗ, 1861, № 11; в составе статьи В. П. Гаевского «Празднование лицейских годовщин в пушкинское время». Первое из известных нам стихотворений Кюхельбекера периода поселения. 18 октября стихотворение было послано с письмом Пушкину.

С. 255. Как пил и ты, уединен, кручину!.. — Реминисценция из «19 октября» (1825) Пушкина.

Пейпс — Чудское озеро; здесь: обозначение Псковской губернии — места ссылки Пушкина.

С. 256. Что если в осень дней столкнусь с любовью? — В том же письме Пушкину Кюхельбекер сообщал о своей близящейся женитьбе, ср. также финал пушкинской «Элегии» (1830, опубл. 1834): «И может быть — на мой закат печальный // Блеснет любовь улыбкою прощальной».

Разочарование (с. 256). — Литературный вестник, 1902, кн. 2.

С. 256. Исфраил — «ангел поэзии по персидской мифологии» (прим. Кюхельбекера к стих. «Измена вдохновения» — 1829).

Тени Пушкина (с. 257). — Литературный вестник, 1902, кн. 2. Известие о смерти Пушкина (29 января 1837 г.) Кюхельбекер получил 23 или 24 мая в письме сестры Юлии Карловны.

Брату (с. 257).—ССД. Обращено к М. К. Кюхельбекеру. 19 октября 1837 года (с. 259).—ОЗ, 1861, № 11. в составе статьи В. П. Гаевского (см. прим. к с. 255). Послано 20 октября 1838 г.

Они моих страданий не поймут (с. 260).—ССД. Три тени (с. 261).—ССД.—Задумано около 26 мая 1840 г. В этот день Кюхельбекер занес в дневник запись о трагических судьбах русских поэтов и своих близких.

Эпиграф — Гомер. «Илиада» (песнь XXIII, ст. 103—104); у Гомера эти слова произносит Ахилл после того, как ему явилась тень непохороненного Патрокла. В предшествующей речи тени Патрокла пророчится будущая гибель Ахилла. В стихотворении ощутимо воздействие элегии К. Н. Батюшкова «Тень друга» (1814).

С. 261. Онон — река в Забайкалье.

Кому рукоплескал когда-то град надменный...— Имеются в виду парижские лекции Кюхельбекера.

Четырехстишие (с. 263).— Стих. 1939.

Марии Николаевне Волхонской (с. 263).— Стих., 1939. Кюхельбекер навещал Волконских в Красноярске в 1845 г. по пути из Акви в Курган.

С. 263. ...тордое терпенье...—цитата из стихотворения Пушкина «Во глубине сибирских руд...» (1827).

«Еще прибавился мне год...» (с. 264).— РС, 1891, № 10. Написано в день рождения поэта.

«До смерти мне грозила смерти тьма...» (с. 264).— Литературный Ленинград, 1936, 8 февраля, № 7.

Участь русских поэтов (с. 265).—Литературный Ленинград, 1936, 8 февраля, № 7.

На смерть Якубовича (с. 266).—Стих., 1939. Кюхельбекер познакомился с Якубовичем в Тифлисе (кавказская репутация Якубовича отражена в стихотворении). Неприязнь Кюхельбекера к Якубовичу связана с враждой последнего с Грибоедовым. Грибоедов и Якубович были замешаны в конфликт П. А. Завадовского и В. В. Шереметева из-за балерины Е. И. Истоминой, приведший к дуэли 12 ноября 1817 г. Шереметев был убит. Осенью 1818 г. в Тифлисе состоялась дуэль Грибоедова и Якубовича. Якубович сознательно прострелил руку Грибоедова (Грибоедов был талантливым пианистом). (Подробнее об истории «дуэли четверых» см.: В. Шереметевский. <О В. В. Шереметеве>.— В кн.: А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1980, с. 268—271.)

Слепота (с. 267).— В. К. Кюхельбекер. Лирика и поэмы. Л., 1939.

Сонет (с. 267).—Там же.

«Горько надоел я всем...» (с. 268).—Там же.

«Счастливицы вольные птицы...» (с. 268).—Там же.

Последний Колонна (с. 270).—Звезда, 1937, № 4. Начало работы над романом датируется дневниковой записью 8 марта 1832 г. Импульсом к работе послужило чтение повести Ф. Арно «Адельсон и Сальвини» («Городская и деревенская библиотека», ч. 3, М., 1782). Сюжет Арно переработан Кюхельбекером в романтическом ключе. Для создания романа было существенно чтение романтических повестей О. де Бальзака. Э. Т. А.

Гофмана (отмечено Ю. Н. Тыняновым), В. Ирвинга (отмечено В. Д. Раком), «Героя нашего времени» Лермонтова (отмечено Е. М. Пульхритудовой). Роман несколько раз менял названия («Итальянец», «Предчувствие»). О ходе работы над «Последним Колонной» свидетельствуют дневниковые записи Кюхельбекера от 15 января 1834 г., 25 марта 1840 г., письмо к Н. Г. Глинке от 8 декабря 1843 г. Окончательно завершён роман был в апреле — мае 1845 г.

С. 270. *Италия, Италия...*— Первая строка патристического сонета В. да Филикая «К Италии». Перевод этого сонета был включен Байроном в «Паломничество Чайльд-Гарольда».

Здесь, в Ницце...— описание Италии восходит к «Путешествию» Кюхельбекера (см.: «Путешествие...», с. 57 и сл., ср. также прим. к стих. «Ницца»).

...в Адрианополе— намек на то, что герой — участник русско-турецкой войны 1829 г. В Адрианополе 2 сентября 1829 г. был заключен мирный договор.

С. 271. «*Духовидец*»— роман Ф. Шиллера (1787), в первой части которого описываются сверхъестественные события.

С. 276. *Колонны <...> ведут свой род от Сципионов.*— *Колонны* — итальянский род, известный с начала XIV в.; в эпоху Возрождения играл важную роль в политической жизни Италии. *Сципионы* — ветвь древнеримского рода Корнелиев, давшая ряд выдающихся полководцев.

С. 277. *...источник Эгерии...*— Нимфа Эгерия, жена второго царя Рима — Нумы Помпилия, после его смерти превратилась в источник (Овидий. *Метаморфозы*, кн. XV, ст. 550—552).

Фра-Диаболо — буквально: «брат-дьявол», прозвище знаменитого разбойника Пеццо (1760—1806).

С. 278. *...маленький капрал...*— прозвище Наполеона.

...казачий генерал Платон...— В сознании персонажа перепутались казачий атаман М. И. Платов (1751—1818), древнегреческий мыслитель Платон (427—347 до н. э.) и архиепископ Платон (П. Е. Левшин, 1737—1812).

С. 282. *...мне 24 года, а я еще ничего не сделал для бессмертия.*— Перефразировка слов Юлия Цезаря (Плутарх. «Юлий Цезарь», 11), повторенных доном Карлосом в одноименной трагедии Шиллера (1787; д. II, явл. 2).

...но и Тассо зависел от покровителя...— Альфонсо II, одно время покровительствовавший Тассо, заточил его на семь лет в сумасшедший дом; по преданию, Тассо был влюблен в сестру Альфонсо — Элеонору.

...слепой арфист...— Возможно, при обрисовке отца героя Кюхельбекер ориентировался на образ таинственного итальянца-арфиста из романа Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера».

С. 283. *...пять люстр...*— Люстр — пятилетие.

Я был в здешней картинной галерее...— Описания картин Корреджио и Рафаэля восходят к давним впечатлениям автора.

С. 287. *Ганс Сакс (1494—1576), Якоб Бёме (1575—1624), Джон Фокс (1624—1691).*— Имеется в виду бессмертие Агасвера, являющегося в виде сапожников — религиозных мыслителей.

С. 290. *...узнетал душу Саулову...*— По библейскому преданию, царь Саул возненавидел юношу Давида, которому суждено было стать его преемником. В 1826—1829 гг. Кюхельбекером написано

огромное «эпическое стихотворение, взятое из «Священного писания» — «Давид».

С. 300. *...Самуил молился о гинувшем сыне Кисовом.* — То есть о Сауле, см. прим. к с. 290.

...«в последних числах декабря»... — перефразировка строки из «Графа Нулина».

С. 311. *«Неизбежное придет...»* — Цитата из баллады Жуковского «Кассандра» (1809), тема этой баллады — трагическая судьба пророчицы — была развита в первой поэме Кюхельбекера «Кассандра» (1822—1823), посвященной Жуковскому.

С. 312. *...виттенбергский расстрига...* — Мартин Лютер, до начала реформаторской деятельности монах августинского монастыря в Виттенберге.

С. 314. *...есть в русской литературе отголоски этой склонности...* — Кюхельбекер намекает на расцвет фантастической повести в 1830-е гг., возражает против подражательных тенденций, поверхностного интереса к фантастике.

С. 316. *...перевод знаменитых стихов...* — Первый отрывок — «Ричард III» (1592—1593), акт 1, сд. 4, реплика герцога Кларенса, которому снился пророческий сон о гибели от руки брата — главного героя трагедии; второй отрывок — акт V, сд. 3, диалог между Реткиффом и Ричардом III, которому во сне явились его жертвы и предсказали поражение в битве с графом Ричмондом, будущим королем Генрихом VII. Трагедия «Ричард III» переведена Кюхельбекером 16 мая — 3 ноября 1832 г.

С. 326. *...и Булгарин... ругал и-на Полевого...* — В пору издания «Московского телеграфа» (1825—1834) Полевой был литературным противником Булгарина. После запрещения журнала Полевой сотрудничал в изданиях Булгарина и Греча. (Подробнее см.: Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Л., 1934).

...историю про какого-то живописца же Спинелло... — Далее пересказывается переводная повесть «Спинелло» (ВЕ, 1830, № 15—16).

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ОДОЕВСКИЙ (1802—1839)

А. И. Одоевский родился в знатной дворянской семье, принадлежащей к роду Рюриковичей. Получил блестящее домашнее образование. В 1815 г. был записан для прохождения чинов на службу в Кабинет его величества. В 1821 г. поступил в лейб-гвардии Конный полк; в 1823 г. произведен в корнеты. В 20-е годы Одоевский знакомится с рядом петербургских литераторов; начинает сам писать стихи, хотя не придает своему творчеству особого значения и ничего не отдает в печать. Тесные дружеские узы связали Одоевского с А. С. Грибоедовым, который приходился ему родственником по матери и оказал исключительное влияние на становление личности юного поэта.

В 1825 г. принят в Северное общество А. Бестужевым; в делах Общества Одоевский особо активного участия не принимал: его занимали не столько тонкости политики и революционной тактики, сколько романтика революционного подвига. В день восстания 14 декабря командует заградительной стрелковой цепью, ездит поднимать лейб-гренадерский полк. После разгрома

восстания искал убежища у своего родственника Д. С. Ланского, но был выдан им.

В ходе следствия Одоевский впал в глубочайшую депрессию, близкую к душевному расстройству: в своих письмах к царю он кается и униженно молит о пощаде. Одоевский был отнесен к IV разряду и приговорен к 15-летней каторге, сокращенной затем до 12 лет.

Общение с товарищами в Чите и Петровском заводе исключительно благотворно отразилось на Одоевском: к нему возвращается душевная бодрость, и он берется за перо. Одоевский делается поэтом декабристской каторги, сумевшим с наибольшей художественной силой отразить романтические стороны дворянской революционности. Его творчество исключительно высоко ценится сосланными декабристами.

С января 1833 г. Одоевский находится на поселении под Иркутском, в 1836 г., после усиленных ходатайств родных, переводится в г. Ишим Тобольской губ. В августе 1837 г. по распоряжению Николая I определен рядовым на Кавказ, куда прибыл осенью того же года. Одоевский поддерживает отношения с декабристами, служившими в Кавказском корпусе, знакомится с М. Ю. Лермонтовым, Н. П. Огаревым, Н. М. Сатиным. В это время у Одоевского усиливаются настроения пессимизма и усталости. Окончательно надломило его известие о смерти отца (июнь 1839 г.). Силы поэта были подточены: в августе 1839 г. он заболевает «кавказской лихорадкой» (злокачественной малярией) и через десять дней умирает на руках друзей-декабристов.

Одоевский почти не записывал своих стихов. В основном он диктовал или импровизировал их. Почти все его наследие дошло до нас в списках. Это чрезвычайно затрудняет атрибуцию, датировку, установление подлинности текста ряда произведений. Многие сочинения Одоевского были впервые собраны в изд.: Полн. собр. стихотворений князя А. И. Одоевского. СПб, 1883 (далее: Изд. 1883) и книге: И. А. Кубасов. Декабрист А. И. Одоевский и вновь найденные его стихотворения. Пб, 1922 (далее: Сб. 1922). Большую текстологическую работу по изучению наследия Одоевского проделал М. А. Брисман; однако ее нельзя считать завершенной по сей день.

Основные издания: А. И. Одоевский. Полн. собр. стихотворений и писем. М.—Л., «Academia», 1934 (изд. подготовил И. А. Кубасов); А. И. Одоевский. Полн. собр. стихотворений. Л., «Сов. писатель», 1958 (БПБС; изд. подготовил М. А. Брисман).

Мемуары: Воспоминания, т. 2.

Литература: В. Г. Базанов. Александр Одоевский.— В его кн.: Очерки декабристской литературы. Поэзия. М.—Л., 1961, с. 334—396.

Бал (с. 335).— СЦ на 1831, без подписи. В рукописи имело посвящение П. А. Вяземскому.

Утро (с. 336).— Сб. 1922.

Сон поэта (с. 336).— Изд. 1883.

«Тебя ли не помнить? Пока я дышу...» (с. 337).— Сб. 1922. Перевод стихотворения Томаса Мура «Remember thee». Стихотворение Мура обращено к поработанной англичанами Ирландии; Одоевский «применяет» его к современному положению России.

Дева 1610 года (с. 337).—Сб. 1922. Стихотворение связано с замыслом поэмы «Василий Шуйский», посвященной Смутному времени и борьбе с польскими интервентами. В сознании Одоевского исторический материал проецировался на современность.

С. 337. божественная дева — вольность.

С. 338. ...вещий колокола звон.— Имеется в виду вечевой колокол.

Моголов бич... — татаро-монгольское иго.

Тризна (с. 339).—СЦ на 1831. СПб, 1830. Стихотворение навеяно эпизодом из древнескандинавской истории — борьбой норвежских ярлов (независимых князей) с королем Харальдом Харфагром. Потерпев поражение в битве при Хафрсфюре (872 г.), представители виднейших родов бежали в Исландию.

С. 339. ...бой Гафурский — битва при Хафрсфюре.

Умирающий художник (с. 340).—РС, 1870, № 1; РС, 1870, № 11. Отклик на смерть Д. В. Веневитинова (1805—1827), даровитого поэта и критика.

С. 340. Я умер весь...—Перефразировка формулы из стихотворения Г. Р. Державина «Памятник» («Так! Весь я не умру...»).

«Струн вещей пламенные звуки...» (с. 340).—Голоса из России, кн. 4, Лондон, 1857. Ответ на послание А. С. Пушкина «Во глубине сибирских руд...», адресованное декабристам. Пушкинская политическая концепция переосмыслена Одоевским в духе революционных идей. Стихотворение получило широкое распространение в списках и многократно издавалось в нелегальной печати; послужило источником эпиграфа к ленинской «Искре».

С. 341. Наш скорбный труд не пропадет...—вольная цитата из послания Пушкина «Во глубине сибирских руд...».

Последняя надежда (с. 341).—ЛГ, 1831, № 32.

Узница Востока (с. 341).—ЛГ, 1830, № 26. В одной из рукописей посвящено П. А. Муханову.

Элегия на смерть А. С. Грибоедова (с. 342).—ЛГ, 1830, № 19. Трагическая гибель Грибоедова в Тегеране (1829) была воспринята Одоевским как большое личное горе.

С. 342. Где он?—реминисценция из стихотворения Г. Р. Державина «На смерть князя Мещерского».

Элегия (с. 343).—ЛГ, 1830, № 52. В одном из списков посвящено В. Н. Ланской — троюродной сестре поэта, поддерживавшей его во время пребывания в Сибири.

С. 345. И кто узнал, что нет его...—Видимо, речь идет о смерти А. С. Грибоедова.

С. 346. Иные звенья заменят // Из цепи выпавшие звенья.—Одоевский варьирует собственные слова, произнесенные на допросе: «Я выпавшее звено».

Старича-пророчица (с. 346).—ЛГ, 1830, № 24. В основе стихотворения — рассказ о битве новгородцев с войсками великого князя московского Ивана III (14 июля 1471 г.), закончившейся поражением новгородской рати. Излюбленная тема поэзии Одоевского — крах новгородской республики, проецирующийся на разгром декабристского движения.

Кн. М. Н. Волконской (с. 347).—Библиографические записки, 1861, № 5. Сама Волконская поясняет, что стихотворе-

ние написано «в воспоминание того, как мы, дамы, приходили к ограде <Читинского острога> и приносили заключенным письма и известия».

Зосима (с. 348).—Сб. 1922. В основе стихотворения — предание о видении игумена Соловецкого монастыря Зосимы; бояре, отмеченные перстом Зосимы, были казнены Иваном III в 1471 г.

Рамена — плечи.

Белеу — готовящийся к пострижению в монахи.

Неведомая странница (с. 350).—Сб. 1922. В стихотворении говорится о покорении Новгорода Иваном III (1478 г.).

С. 350. Неведомая странница — Св. София.

С. 351. ...мои три дочери небесные... — Вера, Надежда, Любовь.

Кутья (с. 351).—Сб. 1922. Речь идет о массовых казнях в Новгороде, организованных Иваном Грозным в период опричнины (1570 г.).

«Что за кочевья чернеются...» (с. 352).—Сб. 1922. Известно также под заглавием «Стихи на переход наш от Читы в Петровский завод». Об этом переходе (1830 г.) см. «Записки» Якушкина.

Славянские девы (с. 353).—РБ, 1859, № 16. В стихотворении отразились идеи единения свободных славянских народов. Стихотворение, положенное на музыку Ф. Ф. Вадковским, стало одной из любимых песен декабристов на каторге.

Два образа (с. 354).—РБ, 1859, № 14. По утверждению Н. И. Лорера, под первым «образом» следует подразумевать А. С. Грибоедова; второй «образ» — это, вероятно, неизвестная нам женщина. Впрочем, два образа явно не сводимы к реальным прототипам и имеют прежде всего символическое значение (А. Е. Розен определял их словами: «Любовь» и «Правда»).

«Недвижимы, как мертвые в гробах...» (с. 356).—Русская потаенная литература XIX столетия. Лондон, 1861, под заглавием: «При известии о польской революции». Отклик на польское восстание 1831 г.

С. 356. И в шуме битв поет за упокой...—В Варшаве повстанцами была отслужена месса по казненным декабристам.

Пускай утешит мирная кутья...— «поминальные» мотивы объясняются тем, что стихотворение написано ровно пять лет спустя после казни декабристов.

«По дороге столбовой...» (с. 357).—Стихотворение посвящено Камилле Петровне Ле-Дантю, приехавшей в 1831 г. в Сибирь, чтобы выйти замуж за декабриста В. П. Ивашева.

Колыбельная песнь (с. 358).—Изд. 1883, с цензурными пропусками.

С. 358. Атий — «домашнее» имя второго сына А. Е. Розена, Кондратия, родившегося 5 апреля 1831 г. в Петровском заводе.

Твой соименный в небесах! — Рылеев.

«Ты знаешь их, кого я так любил...» (с. 359).—Вчера и сегодня. ч. 1, СПб, 1845. Адресовано сосланному польскому повстанцу А. М. Янушкевичу, который в Кургане встречался с бывшими союзниками Одоевского по Петровской тюрьме.

«Как я давно поэзию оставил!...» (с. 359).—Изд. 1883.

С. 360. Брамбеус — псевдоним О. И. Сенковского; последний

в ряде журнальных выступлений 1830-х гг. предсказывал гибель поэзии.

С. 361. ...*Наш Менцель* — Сенковский сравнивается с немецким литератором В. Менцелем, ожесточенно нападавшим на современную французскую литературу.

«Куда несется вы, крылатые станицы?..» (с. 361).—РБ, 1857, № 6 (первые 13 строк); в Изд. 1883 под загл. «Экспромт» и с подзаголовком: «На пути за несколько верст до Ставрополя, при виде стаи журавлей, летевших на юг к Кавказу...». По указанию А. Е. Розена, последние четыре стиха добавлены Одоевским позднее.

С. 361. *Мирт* — эмблема любви.

Кипарис — эмблема смерти.

«Как носятся тучи за ветром осенним...» (с. 361).—Современник, 1853, № 11. Стихотворение приписывается Одоевскому, хотя для подтверждения его авторства требуются дополнительные факты.

ГАВРИИЛ СТЕПАНОВИЧ БАТЕНЬКОВ (1793—1863)

Родился в Тобольске, в патриархальной офицерской семье (Батеньков был в ней двадцатым ребенком). Первоначальное образование получил в Тобольском военно-сиротском отделении; в 1810—1812 гг. воспитывался в Дворянском полку при 2-м Кадетском корпусе в Петербурге, где подружился с В. Ф. Раевским. Выпущен с чином прапорщика в 13-ю артиллерийскую бригаду. Принял активное участие в заграничном походе, отличился в ряде сражений. В битве при Монмिरале получил 11 штыковых ран. В мае 1816 г. Батеньков оставляет военную службу и определяется инженером путей сообщения в Томск. Там он сближается с назначенным в Сибирь генерал-губернатором М. М. Сперанским; принимает участие в разработке проекта Сибирской реформы. С 1822 г. Батеньков, прибывший в Петербург со Сперанским, служит при всеильном Аракчееве в качестве члена Совета военных поселений; производится в подполковники.

Очевидно, в ноябре 1825 г. Батеньков был принят в Северное общество. Декабристы, с некоторой настороженностью относившиеся к Батенькову, тем не менее высоко ценили его способности и опыт: он прочитал во Временное революционное правление. Отношение самого Батенькова к декабризму было сложным: искреннее желание кардинальных перемен в государстве сочеталось у него с личными честолюбивыми помыслами. Перспективы выступления 14 декабря показались Батенькову неутешительными; участия в выступлении он не принял и после некоторых колебаний присягнул Николаю.

28 декабря 1825 г. Батеньков был арестован. Осужден по III разряду и по конфирмации приговорен к 20 годам каторжных работ, затем срок был сокращен до 15 лет. 25 июля 1826 г. отправлен в Свартгольмскую крепость, откуда по высочайшему повелению в июне 1827 г. перевезен в Петербург и заключен в одиночную камеру Алексеевского рavelина. В общей сложности он провел в заточении свыше 20 лет. Чудовищная жестокость императора, возможно, объясняется тем, что Николай питал к Батенькову, претендовавшему на один из руководящих постов в но-

вом правительстве, личную ненависть как к потенциальному узурпатору монаршей власти.

В марте 1846 г. Батеньков отправлен на поселение в Томск. После амнистии поселился у старой приятельницы А. П. Елагинной в с. Петрищеве Белевского уезда Тульской губ. В 1857 г. получает разрешение навещать Москву. В ноябре 1857 г. переезжает в Калугу, где и умирает.

Основные издания: А. А. Илюшин. Поэзия декабриста Г. С. Батенькова. М., Изд-во МГУ, 1978 (тексты и исследование; все стихотворения Батенькова, вошедшие в настоящий двухтомник, впервые опубликованы в книге Илюшина).

Литература: В. Г. Карцов. Декабрист Г. С. Батеньков. Новосибирск, 1965.

Узник (с. 363).— Написано в одиночном заключении; перекликается с мотивами поэмы «Одичалый».

Исход (с. 364).— *И нет ни казней, ни изгнания...*— Реминисценция из поэмы Рылеева «Войнаровский» («Там нет ни казней, ни изгнания...»).

Раздумье с. 366).— *О днях бывшего заточенья // Пора настала пожалеть.*— Мотив восходит к поэме Байрона «Шильонский узник» в пер. Жуковского («Я о тюрьме своей вздохнул»).

Non exegi monumentum (с. 367).— В стихотворении полемически переосмыслены мотивы 30-й оды Горация («К Мельпомене»), переводившейся Ломоносовым, Державиным, Пушкиным.

С. 368. *...Жил поэт, чей голос был негромок...*— Реминисценция из стихотворения Е. А. Баратынского «Мой дар убог, и голос мой негромок».

«Утром уеду отсюда...» (с. 368).— Написано перед отъездом из Сибири. Вошло в письмо к С. П. Трубецкому.

На приезд мой в Калугу (с. 369).— *Здесь время медленно ступает.*— Автореминисценция из поэмы «Одичалый».

Север (с. 371).— *Я стал островитянин...*— Подразумевается пребывание Батенькова в Свартгольме (на Аландских островах).

Гордыня (с. 374).— *Рек Державин...*— Цитируется ода Державина «Бог». *И, яко оут...*— подобно уксусу.

«Мой близится горестный путь к рубежу...» (с. 378).— Батеньков переосмысляет мотивы стихотворения Жуковского «Теон и Эсхин». Произведение написано размером «Теона и Эсхина» и содержит ряд реминисценций из него.

С. 378. 12 апреля 1862 г. — десятилетняя годовщина смерти Жуковского.

ИВАН ДМИТРИЕВИЧ ЯКУШКИН (1793—1857)

Родился в семье смоленского дворянина. В 1808 г., после подготовки в домашнем пансионе А. Ф. Мерзлякова, принят в студенты Московского университета по словесному факультету. В университете сближается с А. С. Грибоедовым. В 1811 г. поступил в лейб-гвардии Семеновский полк подпрапорщиком; участвовал в ряде крупнейших сражений 1812—1814 гг. Награжден за храбрость, проявленную в Бородинском и Кульмском боях. В февра-

ле 1818 г. Якушкин по состоянию здоровья уволился со службы с капитанским чином. В 1822 г. женится на А. В. Шереметевой.

Якушкин — один из виднейших участников декабристского движения. Он — в числе основателей Союза спасения (1816), активный деятель Союза благоденствия, член Северного общества (участие Якушкина в движении декабристов подробно освещено в его записках). Впрочем, сам Якушкин декабристом себя никогда не называл, полагая, что именоваться так достойны лишь непосредственные участники выступления 14 декабря.

Арестован в Москве 9 января 1826 г. и осужден по I разряду: приговорен к «смертной казни отсечением головы»; смертная казнь заменена затем ссылкой в каторжные работы на 20 лет с последующим поселением в Сибири. В августе 1826 г. Якушкин отправлен в Роченсальскую крепость, а в декабре 1827 г. доставлен в Читу. Первоначальный срок каторги постепенно уменьшается; в декабре 1835 г. Якушкин выходит на поселение в Ялуторовск, где разворачивает широкую просветительскую деятельность. После амнистии приезжает в Москву (1857), но высылается оттуда по распоряжению властей. Поселяется в имении И. Н. Толстого, своего прежнего сослуживца по Семеновскому полку; получает затем временное разрешение прибыть в Москву для лечения. Но лечиться было уже поздно... Умирая, Якушкин отказался от причастия.

Литературное наследие Якушкина наиболее полно представлено в изд.: Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. М., Изд-во АН СССР, 1951 (изд. подготовил С. Я. Штрайх; в приложениях — воспоминания современников о Якушкине).

Следственное дело — ВД, т. III.

Записки (с. 380). — ПЗ, VII (отрывки); отд. изд. — Лондон, 1862 (1 и 2 части), РА, 1870, № 8—9 (3 часть). Работа над «Записками» велась в 1854—1857 гг. и была прервана смертью. 1-я и 2-я части записаны под диктовку Якушкина его сыновьями Вячеславом и Евгением, приезжавшими к отцу в Сибирь; 3-я часть сохранилась в черновом автографе Якушкина. Исторический комментарий к 1-й части «Записок» дан в работах: С. Н. Чернов. Несколько справок о «Союзе благоденствия» перед Московским съездом 1821 г.; К истории политических столкновений на Московском съезде 1821 г. — В его кн.: У истоков русского освободительного движения. Саратов, 1960 (далее: Чернов); И. А. Миронова. Записки И. Д. Якушкина о движении декабристов. — Археографический ежегодник за 1957 год. М., 1958 (далее: Миронова).

С. 380. *...изнать вторгшихся в Россию галлов и с ними двенадцать языцы...* — Якушкин иронически перефразирует название правительственного манифеста, составленного А. С. Шишковым: «О установлении празднества декабря 25 в воспоминание избавления церкви и державы Российской от нашествия галлов и с ними двести язык» (обнародован 30 августа 1814 г.). В этом манифесте роль народа в антинаполеоновских войнах была затуманена.

...Александр, оставивший войско прежде витебского сражения, возвратился к нему в Вильну. — Александр I покинул рус-

скую армию в ночь на 7 июля 1812 г., то есть за неделю до сражения под Островно, близ Витебска (13—14 июля). Император вернулся в армию лишь в декабре 1812 г.

...для императора Александра этого было мало; он двинулся за границу...— Некогда распространенная легенда, согласно которой Александр был инициатором, а Кутузов — противником перенесения военных действий в Западную Европу, ныне убедительно опровергнута. (См.: С. Б. Окунь. История СССР. Лекции, часть 2, 1812—1825 гг. Л., 1978, с. 61—69).

С. 382. ...я невольно вспомнил о кошке, обращенной в красавицу...— подразумевается басня Ж. Лафонтена «Кошка, превращенная в женщину».

С. 384. Таким образом, положено основание Тайному обществу...— Речь идет об организации Союза спасения (февраль 1816 г.).

С. 386. Пестель составил первый устав для нашего Тайного общества.— Разработка устава Союза спасения была поручена П. А. Пестелю, С. П. Трубецкому, И. А. Долгорукому и Ф. П. Шаховскому. Основная часть устава, очевидно, была написана Пестелем.

С. 387. Было положено приступить к сочинению нового устава и при этом руководствоваться печатным немецким уставом...— Речь идет об уставе Союза благоденствия, в некоторых пунктах восходящем к уставу Тугендбунда (Союза добродетели)— прусского тайного общества.

...было учреждено временное Тайное общество под названием Военного.— Военное общество, имевшее переходной характер и призванное сохранить целостность рядов тайной организации, просуществовало с конца сентября 1817 г. до января 1818 г., то есть до окончательного оформления Союза благоденствия. Военное общество было разделено на две управы, во главе которых стояли Н. М. Муравьев и П. А. Катенин.

...император Александр, давно замышлявший военные поселения, приступил теперь к их учреждению.— Александр I поручил Аракчееву составить проект устройства военных поселений еще в 1809 г. Первое поселение было создано в 1810—1811 гг. в Могилевской губ., однако в общероссийском масштабе военные поселения стали насаждаться в 1816—1817 гг.

В Новгородской губернии казенные крестьяне... возмутились.— Крупные крестьянские волнения в связи с введением военных поселений возникли в мае 1817 г. в Высоцкой, а осенью того же года — в Холынской волости Новгородской губ. В кровавом усмирении бунта приняли участие подразделения Перновского полка. (См.: В. А. Федоров. Солдатское движение в годы декабристов. М., 1963, с. 27—28.)

С. 388. В 17-м году была напечатана по-французски конституция Польши.— Конституция Польши («Конституционная Хартия») была опубликована на французском и польском языках в 1815 г.

С. 389. Собрание это было не многолюдно...— Это собрание, получившее в следственных документах и научной традиции название «Московского заговора 1817 года», состоялось во второй половине сентября 1817 г. Кроме названных Якушкиным лиц, на нем присутствовал М. С. Лунин.

Александр Муравьев прочел... письмо от Трубецкого...—Сведения о намерении Александра восстановить Польшу в границах 1772 г. (что отторгало бы от России земли Правобережной Украины и Белоруссии) были получены Трубецким от П. П. Лопухина.

С. 390. *...я решился без всякого жребия принести себя в жертву...*—По имеющимся данным, помимо Якушкина, на царевубийство вызвались также Н. Муравьев и Ф. Шаховской.

Вечером собрались у Фонвизина те же лица...—К тому времени многие члены уже отказались от идеи царевубийства (этот вопрос вновь поднял Артамон Муравьев, но не получил поддержки). Проявленная нерешительность во многом объяснялась «скудостью средств к достижению цели» (слова С. Муравьева-Апостола). Неудача «заговора 17 года» свидетельствовала о кризисе Общества и о необходимости его реорганизации на новых принципах.

С. 393. *...он освободил крестьян трех остзейских губерний...*—Освобождение крестьян Эстляндской (1816 г.), Курляндской (1817 г.) и Лифляндской (1819 г.) губерний давало им личную свободу без земли и во многом сохраняло зависимость бывших крепостных от помещика.

...в имении Грибоседовой, матери сочинителя «Горе от ума», крестьяне... вышли из повиновения.—Крупные крестьянские волнения, вызванные непомерными поборами, произошли в имении Н. Ф. Грибоседовой (Кологривский уезд Костромской губ.) в 1817—1819 гг.; в феврале—апреле 1819 г. они переросли в открытое вооруженное выступление, на подавление которого был брошен отряд из нескольких сот солдат. Пятеро крестьян получили ранения, 14 человек было предано суду. (См.: И. И. Игнатов и ч. Крестьянское движение в России в первой четверти XIX века. М., 1963, с. 123—139.)

С. 395. *...мне было необходимо в том же году побывать в С.-Петербурге...* По приезду моем в Петербург Никита... познакомил меня с Пестелем.—Якушкин допускает здесь хронологические смещения. В действительности он приезжал в Петербург не в 1818 г., а в 1817 г. Вторично Якушкин посетил столицу в конце 1819 — начале 1820 г. Лишь в этот второй приезд он мог познакомиться с Пестелем, бывшим в Петербурге с ноября 1819 г. по май 1820 г. (См.: Миронова, с. 143.)

С. 396. *...почти все присутствующие были ревностные масоны... и им желалось некоторый порядок масонских лож ввести в Союз благоденствия.*—О значении масонских традиций для декабристов см.: Н. М. Дружинин. К истории идейных исканий П. И. Пестеля.—В его кн.: Революционное движение в России в XIX в. М., 1985.

Бурцев, перед отъездом своим в Тульчин, принял... Лорера...—По мнению М. В. Нечкиной, Н. И. Лорер присоединился к тайному обществу не в 1818—1820 гг., а в 1823 г.

С. 400. *...обнародованному в 1803 г.*—В рукописи Якушкина ошибочно: в 1805 г.

С. 401. *Служа при Аракчееве...*—С 1815 г. И. Долгоруков был адъютантом Аракчеева.

С. 402. *...я обратился к Николаю Тургеневу; он дал мне письмо к Джунковскому...*—Впоследствии Н. И. Тургенев, под-

твердив свое участие в деле Якушкина, заявил, что письма к Джуньковскому не давал, поскольку знаком с этим чиновником не был.

...от учреждений 1805 года...— подразумевается закон о вольных хлебопашцах, изданный в ту пору, когда министром внутренних дел был В. П. Кочубей.

С. 406. Союз благоденствия, казалось нам, дремал.— Поскольку «Записки» Якушкина фиксируют в основном те события, свидетелем и участником которых был сам автор, то период между «расцветом» и «дремотой» Союза благоденствия не получил в них отражения. (О кризисе тайного общества, приведшем к его ликвидации, см.: Чернов, с. 1—45.)

С. 407. ...мне же пришлось ехать в Тульчин... Он мне дал также письмо в Кишинев к Михайле Орлову.— В г. Тульчине, на Украине, Пестелю, служившему в штабе 2-й армии, удалось создать мощный филиал Союза благоденствия. Сильная Кишиневская управа Союза возглавлялась М. Ф. Орловым; его энергичным помощником был В. Ф. Раевский.

С. 408. Никакого нет сомнения, что Киселев знал о существовании Тайного общества...— П. Д. Киселев, начальник штаба 2-й армии, был дружески близок со многими декабристами и рассматривался ими как один из кандидатов во временное революционное правительство. Его осведомленность в делах Тайного общества подтверждается рядом фактов. (См.: А. В. Семенов. Временное революционное правительство в планах декабристов. М., 1982, с. 141—175.)

Киселев призвал к себе Бурцева...— Согласно показаниям Бурцева, дело обстояло несколько иначе: найденный у Раевского список тульчинских членов вместе с пакетом следственных бумаг (но без каких-либо сопроводительных пояснений) был послан к Бурцевым к дежурному генералу 2-й армии. Генерал, не поняв смысла документа и решив, что он оказался среди важных бумаг по ошибке, вернул его Бурцеву; тот, в свою очередь, возвратил список Киселеву. По мнению М. В. Нечкиной, версии Бурцева и Якушкина в принципе не противоречат друг другу: Якушкин мог рассказать конец истории, о котором Бурцев умалчал. (См.: М. В. Нечкина. Движение декабристов, т. 1. М.—Л., 1955, с. 367—369.)

С. 410. В Кисеве Орлов устроил едва ли не первые в России училища взаимного обучения для кантонистов.— Это произошло в 1818 г.; за два года количество учащихся возросло с 40 до 1800 человек.

В Библейском обществе он произнес либеральную речь...— Стремясь расширить поле для пропагандистской деятельности, Орлов вступил в Киевское отделение Библейского общества и вскоре был избран его вице-президентом. В речи, произнесенной 11 августа 1819 г., он выдвинул смелую программу воздействия на общественное сознание в духе передовых идей.

...Киселев, который был с ним дружен, выпросил для него у императора дивизию во 2-й армии.— Орлов с помощью Киселева получил должность командира 16-й дивизии в июне 1820 г.

Сам же Орлов беспрестанно отдавал самые либеральные приказы по дивизии.— Приказы Орлова были призваны искоренить в дивизии телесные наказания, муштру и надругательство над

солдатами; эти меры гарантировали активное участие войск в будущем революционном выступлении.

С. 411. Я познакомился с ним... у Петра Чаадаева...—Якушкин познакомился с Пушкиным в январе 1820 г.

С. 412. Пушкин... и полковник Раевский прогостили тут столько же.—В действительности Пушкин пробыл в Каменке с ноября 1820 до начала марта 1821 г.

С. 413. «Четырехстишие к Аракчееву» — Якушкин подразумевает либо какую-нибудь из пушкинских эпиграмм «На Аракчеева» («Всей России притеснитель» и «В столице он — капрал, в Чугуеве — Нерон...»), состоящих соответственно из восьми и двух стихов, либо эпиграмму «На Стурдзу» («Холоп венчанного солдата!..»), которую многие современники считали направленной против Аракчеева. «Послание к Петру Чаадаеву» — «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»). Стихотворение «Кинжал» было написано в 1821 г., то есть уже после встречи Пушкина с Якушкиным в Каменке. Однако по справедливому замечанию С. Н. Чернова, это не свидетельствует об ошибке памяти мемуариста: «Говоря о широкой известности, в частности в армии, политических стихотворений Пушкина, Якушкин перечисляет их вообще, без хронологического приурочения» (Чернов, с. 44).

В последний вечер...—«Заседание», о котором рассказывает Якушкин, состоялось в ночь с 28 на 29 ноября 1820 г.

С. 414. «...я не стоил этой чести». — По некоторым данным, одно время декабристы склонялись к тому, чтобы принять Пушкина в Тайное общество. Согласно семейному преданию, соответствующее поручение было дано С. Г. Волконскому. (См.: М. В. Нечкина. Функция художественного образа в историческом процессе. М., 1982, с. 78—84.)

На первом из этих совещаний...—Московский съезд Союза благоденствия состоялся в начале января 1821 г. Подполковник Комаров, подозревавшийся в связях с правительством, действительно, судя по всему, не был под каким-то предлогом допущен на съезд, куда он прибыл в качестве «депутата» от Тульчина. (Обстоятельную характеристику Московского съезда см. в работах: Чернов, с. 46—95; М. В. Нечкина. Движение декабристов, т. 1. М.—Л., 1955, с. 324—333.)

Орлов привез писанные условия...—Свидетельство Якушкина об «условиях» М. Ф. Орлова стало предметом ожесточенных споров. Так, Н. М. Орлов, сын декабриста, ссылаясь на изустные рассказы отца, пытался доказать, что характер предложений Орлова на Московском съезде был прямо противоположен тому, что писал Якушкин: Орлов будто бы выступил решительным противником «увлечений» и революционных крайностей Союза. Заявления Н. Орлова были тогда же оспорены, хотя у его концепции нашлись и свои сторонники. В настоящее время достоверность рассказа Якушкина признается большинством исследователей. Однако объяснение Якушкиным мотивов предложений Орлова (желание порвать с Обществом и прекратить революционную деятельность) явно односторонне и продиктовано во многом личным нерасположением (хотя подобной же точки зрения придерживался и С. Г. Волконский). Советские историки склонны считать, что смелый план Орлова был определен уверенностью в успехе немедленных революционных действий. Следует также отметить, что предложения Орлова, видимо, были отвергнуты Съездом не сразу

же (как о том сообщает Якушкин), а на втором совещании, после которого Орлов и заявил о своем выходе из Общества. (Важнейшая литература вопроса указана в кн.: Л. Я. Павлова. Декабрист М. Ф. Орлов. М., 1964, с. 86; к этому списку следует добавить статью: Миронова, с. 149—154.)

С. 415. Вторую часть написал Н. Тургенев для членов высшего разряда.— После публикации «Записок» Н. И. Тургенев в письме к редактору «Колокола» отрицал свое участие в составлении второй части нового устава, признавая свое авторство лишь относительно записки о четырех «думах» (впрочем, и последние он интерпретировал как достаточно безобидные «комитеты», должны пропагандировать идеи освобождения крестьян). Однако достоверность рассказа Якушкина подтверждается рядом фактов. (См.: Миронова, с. 154—155.)

С. 416. ...в своем сочинении о России...— Подразумевается книга Н. И. Тургенева «Россия и русские», в которой тот пытался приуменьшить свою роль в деятельности Тайного общества.

С. 417. В 20-м году в Смоленской губернии был повсеместный неурожай...— Помощь декабристов голодающим крестьянам вызвала настороженность в правительственных кругах. Так, министр внутренних дел В. П. Кочубей рапортовал царю о московской подписке 1821 г. как о мероприятии, которое призвано «очернить правительство» и «подчеркнуть... его мнимое безучастие».

С. 420. Осенью в 20-м году было в Петербурге происшествие Семеновского полка.— В рукописи Якушкина ошибочно: в 21-м году. Волнения Семеновского гвардейского полка 16—18 октября 1820 г. были вызваны бессмысленной муштрой и жестокими телесными наказаниями, введенными ставленником Аракчеева полковником Ф. Е. Шварцем. Солдаты потребовали удаления Шварца из полка. Волнения, имевшие стихийный характер, были быстро подавлены. 2 ноября 1820 г. Александр I, находившийся на конгрессе Священного союза в Троппау, отдал приказ о расформировании Семеновского полка и раскассировании его личного состава по различным армейским полкам. Над солдатами 1-го батальона был учинен военный суд: 9 «зачинщиков» решено было прогнать сквозь строй в 1000 человек 6 раз и сослать «навечно» в каторжные работы; несколько человек отправлены в Оренбургский и Сибирский корпуса. Четыре названных Якушкиным офицера также были отданы под суд «за попустительство» и подвергнуты суровому приговору. (Подробнее о волнении см.: В. А. Федоров. Солдатское движение в годы декабристов. 1816—1825. М., 1963, с. 72—160. Выступление полка вызвало исключительный общественный резонанс. См.: В. А. Федоров. Материалы о волнении в лейб-гвардии Семеновском полку в 1820 г.— Освободительное движение в России., вып. 6, Саратов, 1977, с. 99—115.)

С. 425. «Естественное право» Куницына.— Курс А. П. Куницына «Естественное право» (ч. 1—2, СПб., 1818—1820) был проникнут радикально-просветительскими идеями; книга, признанная вредной и содержащей «разрушительные» начала, была конфискована, изымалась из библиотек и у частных лиц.

...книжка, сочиненная Филаретом...— Подразумевается подготовленный Филаретом Катехизис (1823), в котором славянские

тексты давались в русских переводах. Это издание было признано противным духу истинного православия.

С. 431. Меня арестовали не раньше 10 января 1826 г.— Якушкин был арестован 9 января.

С. 432. Сочинение Тэера.— Подразумевается агрономическая книга А. Р. Тэера «История моего хозяйства» (1816).

Я был отправлен в Петербург...— Якушкин прибыл в Петербург 13 января 1826 г.

С. 433. ...я не полагал, чтобы совещание, бывшее в 17-м году в Москве, могло быть известно.— О роли Якушкина в событиях Московского заговора 1817 г. сообщил следственному комитету П. И. Пестель (заявивший, что кандидатом в царевубийцы Якушкин оказался «по жребию»).

С. 435. «Заковать его так, чтобы он пошевелиться не мог».— Якушкин был закован в кандалы три месяца — с 14 января по 18 апреля 1826 г.

С. 436. ...я вспомнил знаменитый стих...— Якушкин цитирует «Божественную комедию» Данте («Ад»).

С. 437. ...он мне напомнил собой инквизитора в «Дон-Карлосе».— Подразумевается персонаж трагедии Ф. Шиллера.

С. 439. ...в эту ночь вынесли из равелина несчастного Булатова...— В изложении обстоятельств смерти А. М. Булатова Якушкин не вполне точен; в частности, свидание его с дочерьми не могло состояться, так как их не было в Петербурге.

С. 440—441. В первых числах февраля Трусов принес мне письмо от жены...— В письме от 22 января 1826 г. А. В. Якушкина сообщала мужу о рождении 20 января сына Евгения.

С. 443. Я имею все причины думать, что это — показание Никиты Муравьева...— Соответствующий параграф «Донесения Следственной комиссии» действительно основан на показаниях Н. М. Муравьева (ВД, т. I, с. 306).

С. 445. Это был первый шаг в тюремном разврате.— В ходе следствия Якушкин проявил сдержанность и достоинство, отличаясь в этом отношении от большинства подследственных декабристов. Суровая оценка собственного поведения — результат редкой честности и нравственной бескомпромиссности мемуариста. (См.: В. И. Порох. И. Д. Якушкин на процессе декабристов.— Освободительное движение в России. Вып. 6. Саратов, 1977, с. 3—15.)

...Я назвал те лица, которые сам комитет назвал мне, и еще два лица...— Показания Якушкина ничем не «помогли» комитету: все названные им 37 человек уже были известны.

Для обоих суд был не страшен.— П. П. Пассек умер в апреле 1825 г.; П. Я. Чаадаев находился за границей с июля 1823 г. по август 1826 г.

С. 447. Положение мое было ужасное...— Якушкин невольно сообщил факты, компрометировавшие Муханова в глазах Следственной комиссии.

Я решился написать к императору...— Письмо к Николаю от 22 февраля 1826 г. опубликовано в изд. 1951 г., с. 478.

С. 448. Здесь, по крепостному преданию, похоронена княжна Тараканова...— В действительности дочь Елизаветы Петровны и А. Г. Разумовского, известная под именем Августы Тимофеевны, умерла в Ивановском монастыре в 1810 г. Политическая авантюристка, так называемая княжна Тараканова, действитель-

но была в 1775 г. обманом доставлена в Россию с помощью А. Г. Орлова; в том же году умерла в Петропавловской крепости (по официальной версии от туберкулеза). Смерть «княжны Таракановой» во время наводнения — распространенная легенда.

С. 451. Он рассказал мне все печальные происшествия.— Об обстоятельствах казни пятерых декабристов см. прим. к с. 62.

С. 455. Матвей Муравьев — М. И. Муравьев-Апостол.

С. 458. Добрейший Шиллер, тюремщик Пеллико — герой биографической книги С. Пеллико «Мои темницы».

С. 459. «Мальчик у ручья» — повесть А. Коцебу, в 1820-е гг. расценивавшаяся как образчик «низового» чтения.

С. 461. В начале ноября...— Якушкин здесь и далее путает хронологию; в действительности отправка партии декабристов в Сибирь состоялась в начале октября 1827 г.

С. 463. 11 ноября мы прибыли в Ярославль.— Свидание Якушкина с семейством в Ярославле произошло 16 октября.

С. 465. Тюремный этот телеграф выдумал и устроил Николай Бестужев.— Изобретателем «тюремного телеграфа» был М. Бестужев (см. его воспоминания в наст. изд.).

С. 466. Тут посетил нас сенатор князь Куракин.— О своих встречах с декабристами Куракин сообщал затем в подробных донесениях А. Х. Бенкендорфу.

С. 467. В Иркутск мы прибыли 22 ноября.— Партия прибыла в Иркутск 14 ноября 1827 г.

...вокруг моря.— В соответствии с сибирской традицией Якушкин называет морем озеро Байкал.

С. 470. ...я нашел тут княжну Вар. Мих. Шаховскую.— В. М. Шаховская прибыла в Сибирь в надежде повенчаться с любимым ею П. А. Мухановым; однако брак этот не состоялся из-за запрета Николая I.

С. 474. Все они покинули родных и всех своих близких...— О женах декабристов в Сибири см.: Э. А. Павлюченко. В добровольном изгнании. М., 1980.

С. 476. ...Приехала т-лле Поль.— Имеется в виду Полина Гебль.

С. 477. ...при тех украшениях, которые мы имели на ногах...— Декабристы носили ножные кандалы до конца августа 1828 г.

С. 478. ...труднейшая задача комитета состояла в том, чтобы... осквернить перед общим мнением цель Тайного общества...— Имеется в виду тенденциозное «Донесение Следственной комиссии», обрисовывавшее движение декабристов в крайне неприглядном виде.

...генерал Чернышев... предъявил свои требования на получение майората.— Незаконные претензии А. И. Чернышева вызвали скандальный эффект в обществе; А. П. Ермолов язвительно заметил, что требования генерала обоснованны, ибо одежда жертвы всегда поступает в собственность палача. (См.: Н. М. Дружинин. Семейство Чернышевых и декабристское движение.— В его кн.: Революционное движение в России в XIX в. М., 1985, с. 331.)

С. 479. Один из этих кружков, названный в насмешку «Конгрегацией»...— В этот кружок входили, в частности, П. С. Бобищев-Пушкин и Н. А. Крюков.

С. 481. Всякий, кто имел деньги, подписывал их... в артель...— О тюремном быте декабристов и о так называемой Большой ар-

тели подробно см.: Н. В. Басаргин. Записки. Пг., 1917, с. 138—156.

...они принадлежали к Тайному обществу, существовавшему в Вильне...— Имеется в виду Общество военных друзей, действовавшее среди Литовского корпуса в контакте с Северным обществом.

С. 482. Сухинов замыслил с ними восстание...— Речь идет о подготовленном И. И. Сухиновым бунте в Зерентуйском руднике (май 1828 г.); благодаря измене заговор был раскрыт. Сухинов, приговоренный к наказанию плетью и клеймению лица, повесился 1 декабря 1828 г.

С. 485. Но и на этот раз опять пришлось уступить всемогущей неизбежности...— Сводку данных о несостоявшейся поездке А. В. Якушкиной в Сибирь см. в ком. С. Я. Штрайха к изданию 1951 г., с. 581—583, 602—604.

В июне привезли в Читу Лунина, Митькова и Киреева...— Названные декабристы прибыли в Читу 11 июня 1828 г.

С. 486. Он, Таптыков, Дружинин и Колесников были осуждены в каторжную работу на разные сроки...— Провокационная деятельность И. Завалишина освещена в работе: С. Я. Штрайх. Провокатор Завалишин. М., 1928.

С. 487. ...Смолянинову, за ее преступный проступок, выдерживать неделю под арестом.— Этот эпизод подробно изложен в воспоминаниях П. Е. Анненковой.

...был избран хозяином Пушкин, а Кюхельбекер — огородником.— Имеются в виду П. С. Бобрищев-Пушкин и М. К. Кюхельбекер.

С. 488. Лопоть — рабочая одежда.

С. 489. В конце августа выступили в поход...— Декабристы вышли из Читы 7 августа 1830 г.

С. 493. В начале октября мы вступили торжественно в Петровский Завод...— Декабристы прибыли в Петровский Завод 23 сентября 1830 г.

С. 498. ...составилась еще маленькая артель.— Малой артелью, созданной для помощи отъезжающим на поселение, руководил И. И. Пущин.

С. 499. Все это вместе поставило Кюхельбекера в... затруднительное положение...— М. Кюхельбекер жил в Баргузине с женою; у них родилось шестеро дочерей.

С. 500. ...и они оба в эту ночь сгорели.— Этот пожар произошел в сентябре 1831 г.

С. 503. ...был в Петровском и генерал Чевкин, тот самый, который так неудачно действовал накануне 14 декабря...— Якушкин ошибается: «неудачно действовал» накануне восстания А. В. Чевкин, пытавшийся отговорить солдат Преображенского полка от присяги Николаю; в Петровский Завод приезжал его старший брат К. В. Чевкин, начальник горного ведомства.

С. 505. Затем 10 человек... были отправлены в Иркутск...— Якушкин не вполне точен: в этой партии им ошибочно указан Торсон и пропущен Штейнгейль. (См.: С. Б. Окунь. Декабрист М. С. Лунин. Л., 1985, с. 136.)

А. Немзер
О. Прокурин

СЛОВАРЬ ИМЕН¹

Абрамов (Аврамов) Иван Борисович (1801—1840) — поручик Квартирмейстерской части, член ЮО.

Абрамов (Аврамов) Павел Васильевич (1791—1836) — полковник, командир Казанского пехотного полка, член СБ и ЮО.

Андреевич Яков Максимович (1801—1840) — подпоручик 8-й арт. бригады, член ОСС.

Анна Павловна (1795—1865) — великая княжна.

Анненков Иван Александрович (1802—1878) — поручик Кавалергардского полка, член Петербургской ячейки ЮО.

Анненков Павел Васильевич (1813—1887) — критик, пушкинист, мемуарист.

Анненкова Прасковья Егоровна (Полина Гебль; 1800—1876) — жена И. А. Анненкова.

Аракчеев Алексей Андреевич (1769—1834) — граф, генерал от артиллерии, всесильный временщик при Александре I.

Арбузов Антон Петрович (ок. 1790—1843) — лейтенант гв. экипажа, член СО.

Арендт Николай Федорович (1785—1859) — хирург, лейб-медик Николая I.

Бакунин Александр Павлович (1799—1862) — лиценст.

Бакунина Екатерина Павловна (1795—1869) — сестра А. П. Бакунина.

Баранов Дмитрий Осипович (1773—1834) — сенатор, член Верховного суда над декабристами.

Баратынский Евгений Абрамович (1800—1844) — поэт.

Бартенев Петр Иванович (1829—1912) — пушкинист, издатель журнала «Русский архив».

Бяратинский Александр Петрович (1798—1844) — князь, шт.-ротмистр л.-гв. Гусарского полка, член СБ и ЮО.

Басаргин Николай Васильевич (1799—1861) — поручик, старший адъютант 2-й армии, член ЮО.

Баттони Помпео (1708—1787) — ит. художник.

Башуцкий Павел Яковлевич (1771—1836) — ген.-лейтенант, комендант Петербурга.

¹ В настоящий словарь не вошли имена общеизвестные и имена исторических лиц, о которых необходимые сведения даны в посвященных им произведениях («Думы» К. Ф. Рылеева, «Андрей Безыменный» А. О. Корниловича и др.).

Беляевы: Александр Петрович (1803—1855) — мичман гв. экипажа, член СО; Петр Петрович (1804—1864) — мичман гв. экипажа, по некоторым сведениям — член СО.

Бенкендорф Александр Христофорович (1783—1844) — ген.-адъютант, шеф жандармского корпуса и гл. начальник III Отделения.

Бестужевы: Александр Федорович (1761—1810) — отец декабристов Бестужевых; Павел Александрович (1808—1846) — младший брат декабристов; Петр Александрович (1803—1840) — мичман 27-го флотского экипажа, член СО; Елена Александровна (1792—1874), Мария Александровна (между 1793 и 1796—1889), Ольга Александровна (между 1793 и 1796—1889) — сестры декабристов; Прасковья Михайловна (1775—1846) — мать декабристов.

Бестужев-Рюмин Михаил Павлович (1803—1826) — подпоручик Полтавского пех. полка, чл. ЮО.

Бибилов Илья Гаврилович (1794—1867) — адъютант вел. князя Михаила Павловича, впоследствии ген.-адъютант.

Бибикова Екатерина Ивановна (1795—1861) — сестра Муравьевых-Апостолов.

Блюхер Гебхард Лебрехт (1742—1819) — прусский фельд-маршал.

Бобрищевы-Пушкины: Николай Сергеевич (1800—1871) — поручик Квартирмейстерской части, Павел Сергеевич (1802—1865) — поручик Квартирмейстерской части; члены ЮО.

Бодиско: Борис Андреевич (1800—1828) — лейтенант гв. экипажа; Михаил Андреевич (1803—1867) — мичман гв. экипажа; члены СО.

Борецкий (наст. фамилия — Пустошкин) Иван Петрович (1795—1842) — актер.

Борисовы: Андрей Иванович (1798—1854) — отставной подпоручик; Петр Иванович (1800—1854) — подпоручик 8-й арт. бригады; основатели ОСС, члены ЮО.

Бригген Александр Федорович (1792—1859) — отставной полковник, член СБ.

Броглио Сильвестр Францевич (1799— между 1822 и 1825) — лиценст.

Броневский Семен Богданович (1786—1858) — ген.-губернатор Восточной Сибири.

Булатов Александр Михайлович (1793—1826) — полковник, командир 12-го егерского полка.

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859) — журналист, в 1820-е гг. был близок декабристским кругам.

Булгарина Елена Ивановна — жена Ф. В. Булгарина.

Буле Иоганн Теофил (1763—1821) — правовед и теоретик искусства.

Бурцов (Бурцев) Иван Григорьевич (1794—1829) — член ССп и СБ, впоследствии генерал.

Быстрицкий Андрей Андреевич (1799—1872) — подпоручик Черниговского пех. полка, участник восстания.

Вадковский Федор Федорович (1800—1844) — прапорщик Нежинского конноегерского полка, член СО и ЮО.

Валуева Екатерина Павловна (1774—1848) — фрейлина.

Васильчиков Илларион Васильевич (1777—1847) — князь, ген.-адъютант, начальник Гв. корпуса.

- Вебер Карл Мария (1786—1826) — нем. композитор.
- Вегелин Александр Иванович (ок. 1800—1860) — поручик Литовского пионерного батальона, член О-ва военных друзей.
- Веллингтон Артур Уэсли (1769—1852) — англ. политический и военный деятель.
- Витгенштейн Петр Христианович (1768—1842) — граф, фельд-маршал.
- Воейкова Александра Андреевна (урожд. Протасова; 1795—1829) — жена журналиста А. Ф. Воейкова.
- Волконская Варвара Михайловна (1778—1866) — княжна, фрейлина.
- Волконская Мария Николаевна (1805—1863) — дочь генерала Н. Н. Раевского, жена С. Г. Волконского.
- Волконский Петр Михайлович (1776—1852) — св. князь, начальник Главного штаба, министр двора.
- Волконский Сергей Григорьевич (1788—1865) — князь, ген.-майор, бригадный командир 18-й пех. дивизии, член СБ и ЮО.
- Вольф Фердинанд (Христиан) Богданович (ум. 1854) — штаб-лекарь при Главной квартире 2-й армии, член СБ и ЮО.
- Вольховский Владимир Дмитриевич (1798—1841) — лиценст, член СБ, впоследствии — ген.-майор.
- Воронцов Михаил Семенович (1782—1856) — граф, новороссийский ген.-губернатор.
- Враницкий Василий Иванович (ум. 1832) — полковник Квартирмейстерской части, член ЮО.
- Вюртембергский Александр (1771—1833) — герцог, брат имп. Марии Федоровны, главноуправляющий путями сообщения.
- Выгодский Павел Фомич (1802—1872) — чиновник Канцелярии Волынского губернатора, член ОСС.
- Галль Франц-Иосиф (1758—1828) — медик, френолог.
- Гауеншильд Федор Матвеевич (ум. 1830) — профессор нем. языка в Лицее.
- Генрих IV (1553—1610) — король Франции.
- Гершель Уильям (1738—1822) — англ. астроном.
- Глазунов Иван Петрович (1762—1831) — книгопродавец и издатель.
- Глинка Устинья Карловна (1786—1871) — сестра В. К. Кюхельбекера.
- Гнедич Николай Иванович (1784—1833) — поэт и переводчик.
- Голенищев-Кутузов Павел Васильевич (1772—1843) — после смерти Милорадовича военный ген.-губернатор Петербурга; член Следственного комитета.
- Голицын Александр Михайлович (1798—1858) — подпоручик гв. пешей артиллерии, близкий декабристам.
- Голицын Александр Николаевич (1773—1844) — князь, министр народного просвещения.
- Голицын Дмитрий Владимирович (1771—1844) — князь, московский ген.-губернатор.
- Горбачевский Иван Иванович (1800—1869) — подпоручик 8-й арт. бригады, член ОСС и ЮО.
- Горчаков Александр Михайлович (1798—1883) — князь, лиценст, дипломат; с 1863 г. канцлер.
- Горчаков Михаил Дмитриевич (1793—1861) — генерал-адъютант.

Граббе Павел Христофорович (1789—1879) — член СБ, впоследствии ген.-лейтенант, командующий войсками на Кавказской линии.

Греч Николай Иванович (1787—1867) — журналист, издатель, в 1820-е гг. близок декабристам.

Громницкий Петр Федорович (1803—1851) — поручик Пензенского пех. полка, член ОСС.

Гурьев Константин Васильевич (1800 — не ранее 1833) — лицеист.

Давыдов Александр Львович (1773—1833) — брат декабриста, владеец Каменки.

Давыдов Василий Львович (1792—1855) — отставной полковник, член СБ и ЮО.

Давыдов Денис Васильевич (1784—1839) — поэт.

Давыдова Александра Ивановна (урожд. Потапова; 1802—1895) — жена В. Л. Давыдова.

Даль Владимир Иванович (1801—1872) — писатель, врач.

Данзас Константин Карлович (1801—1870) — лицеист, секунд-ант Пушкина на последней дуэли.

Дантес-Геккери Жорж Шарль (1812—1895) — убийца А. С. Пушкина.

Декарт Рене (1596—1650) — фр. философ, физик, математик.

Дельвиг Антон Антонович (1798—1831) — лицеист, поэт.

Дельвиг Мария Антоновна (р. 1809) — сестра поэта.

Дибич Иван Иванович (1785—1831) — начальник Главного штаба, ген.-фельдмаршал.

Дивов Василий Абрамович (ок. 1806—1842) — мичман гв. экипажа, по некоторым сведениям — член СО; участник восстания.

Дмитревский Иван Афанасьевич (1734—1821) — актер и литератор.

Дмитриев Иван Иванович (1760—1837) — поэт.

Дружинин Хрисанф Михайлович (1808 — после 1862) — прапорщик, участник Оренбургского кружка.

Евгений (в миру Болховитинов, 1767—1837) — митрополит киевский; историк, филолог.

Елизавета Алексеевна (1779—1826) — жена Александра I.

Ентальцев Андрей Васильевич (1788—1845) — подполковник, командир 27-й конноартиллерийской роты, член ЮО.

Ентальцева Александра Васильевна (урожд. Лисовская; 1790—1858) — жена А. В. Ентальцева.

Ермолов Алексей Петрович (1777—1861) — генерал от инфантерии, командир Кавказского корпуса, главноуправляющий Грузией.

Есаков Семен Семенович (1798—1831) — лицеист.

Жомини Антон-Генрих Вениаминович (1779—1869) — военный теоретик, генерал.

Завалишин Дмитрий Иринархович (1804—1892) — лейтенант 8-го флотского экипажа, член СО.

Завалишин Ипполит Иринархович (1809—1869) — юнкер Артиллерийского училища, организатор Оренбургского кружка; доносчик и провокатор.

Загорецкий Николай Александрович (1796—1885) — поручик Квартирмейстерской части, член ЮО.

Закревский Арсений Андреевич (1783—1865) — ген.-адъютант.

Захаржевский Яков Васильевич (1780—1860) — генерал, начальник Царскосельского дворцового управления.

Зубков Василий Петрович (1799—1862) — московский чиновник.

Ивашев Василий Петрович (1794—1840) — ротмистр Кавалергардского полка, член СБ и ЮО.

Ивашева Камилла Петровна (урожд. Ле-Дантю; 1808—1839) — жена В. П. Ивашева.

Игельстром Константин Густавович (1799—1851) — капитан, командир 1-й роты Литовского пионерного батальона, член О-ва военных друзей.

Измайлов Александр Ефимович (1779—1831) — поэт-сатирик, журналист.

Измайлов Владимир Васильевич (1773—1830) — писатель.

Илличевский Алексей Демьянович (1798—1837) — лицеист, поэт.

Инзов Иван Никитич (1768—1845) — ген.-лейтенант, наместник Бессарабии.

Каверин Петр Павлович (1794—1855) — поручик л.-гв. Гусарского полка, член СБ.

Кайданов Иван Кузьмич (1782—1845) — профессор истории в Лицее.

Кантакузина Елена Михайловна (урожд. Горчакова; 1794—1855) — княгиня, сестра А. М. Горчакова.

Карцов Яков Иванович (1784—1836) — профессор математики в Лицее.

Каховский Петр Григорьевич (1797—1826) — отставной поручик, член СО.

Киреев Иван Васильевич (1802—1866) — прапорщик 8-й арт. бригады, член ОСС.

Киселев Павел Дмитриевич (1788—1872) — граф, ген.-адъютант, начальник штаба 2-й армии.

Клейнмихель Петр Андреевич (1793—1869) — генерал.

Кнабенау Иван Федорович (ум. не ранее 1845) — барон, полковник.

Козодавлев Осип Петрович (1750-е — 1819) — министр внутренних дел.

Колесников Василий Павлович (1804—1862) — поручик, участник Оренбургского кружка.

Колошин Павел Иванович (1799—1854) — титулярный советник, член СБ.

Конгрив Уильям (1772—1828) — англ. инженер.

Коновницын Петр Петрович (1802—1830) — член СО, подпоручик гв. Генерального штаба.

Константин Павлович (1779—1831) — великий князь, наместник Царства Польского.

Корнилов Александр Алексеевич (1801—1856) — капитан л.-гв. Московского полка.

Корсаков Николай Александрович (1800—1820) — лицеист.

Корф Модест Андреевич (1800—1876) — барон, с 1872 г. граф, лиценст.

Костров Ермил Иванович (1750—1796) — поэт, переводчик.

Костюшко Тадеуш (1746—1817) — пол. революционер.

Коцебу Август фон (1761—1819) — нем. драматург.

Кочубей Виктор Павлович (1768—1834) — министр внутренних дел в 1802—1812 и в 1819—1825 гг.

Кошанский Николай Федорович (1781—1831) — профессор латинской и русской словесности в Лицее.

Кранах Лукас (1472—1553) — нем. художник.

Кривцов Сергей Иванович (1802—1864) — подпоручик л.-гв. конной артиллерии, член СО, по некоторым данным, ЮО.

Крюковы: Александр Александрович (1794—1867) — поручик Кавалергардского полка; Николай Александрович (1800—1854) — поручик Квартирмейстерской части; члены ЮО.

Куницын Александр Петрович (1783—1840) — профессор права в Лицее.

Куракин Борис Алексеевич (1784—1850) — князь, сенатор, член Верховного суда над декабристами.

Кучевский Александр Лукич (1787—1871) — майор Астраханского гарнизонного полка.

Кюхельбекер Михаил Карлович (1798—1859) — лейтенант гв. экипажа, член СО.

Лагарп Жан-Франсуа де (1739—1803) — теоретик классицизма.

Лагарп Фридрих-Цезарь (1754—1838) — швейц. публицист, воспитатель Александра I.

Лагранж Жозеф-Луи (1736—1813) — фр. математик и механик.

Лазарев Алексей Петрович (р. 1795) — адъютант вел. кн. Михаила Павловича.

Лафатер Иоганн Гаспар (1741—1801) — швейц. писатель, физиономист.

Левашов Василий Васильевич (1783—1848) — генерал-адъютант, член Следственного комитета.

Ленорман Шарль (1802—1859) — фр. археолог.

Лепарский Станислав Романович (1759—1838) — комендант Нерчинских рудников и Читинского острога.

Лесаж Ален Рене (1668—1747) — фр. писатель.

Ливен Александр Карлович (1801—1881) — граф, поручик л.-гв. Московского полка.

Лисовский (Лесовский) Николай Федорович (1799—1844) — поручик Пензенского полка, член ОСС.

Лихарев Владимир Николаевич (1800—1840) — подпоручик Квартирмейстерской части, член ЮО.

Ломоносов Сергей Григорьевич (1799—1857) — лиценст.

Лопухин Павел Петрович (1788—1873) — князь.

Лорер Николай Иванович (1795—1873) — майор Вятского пех. полка, член ЮО.

Лунин Михаил Сергеевич (1787—1845) — подполковник л.-гв. Гродненского полка, член ССп, СБ, СО и ЮО.

Львов Алексей Федорович (1798—1870) — композитор.

Людвик XIII (1601—1643) — фр. король.

Людвик XIV (1638—1715) — фр. король.

Людвик XVIII (1755—1824) — фр. король.

- Магницкий Михаил Леонтьевич (1778—1855) — член Главного управления училищ, гос. деятель.
- Малиновский Василий Федорович (1765—1814) — первый директор Лицея.
- Малиновский Иван Васильевич (1796—1873) — лиценст.
- Мария Федоровна (1759—1828) — жена Павла I, мать Александра I и Николая I.
- Марриет Фредерик (1792—1848) — англ. писатель.
- Мартынов Иван Иванович (1771—1833) — директор департамента народного просвещения, филолог-классик.
- Маслов Дмитрий Николаевич (1799—1856) — лиценст.
- Матюшкин Федор Федорович (1799—1872) — лиценст, ученый-мореплаватель, адмирал.
- Менгс Антон Рафаэль (1728—1779) — нем. художник.
- Меншиков Александр Сергеевич (1787—1869) — ген.-адъютант, начальник морского штаба.
- Мерзляков Алексей Федорович (1778—1830) — поэт, теоретик искусства.
- Меттерних Клемент Вентцель (1773—1859) — австр. министр и дипломат.
- Микулин Василий Яковлевич (1792—1841) — полковник Преображенского полка.
- Милорадович Михаил Андреевич (1771—1825) — граф, петербургский генерал-губернатор.
- Митьков Михаил Фотиевич (1791—1849) — полковник л.-гв. Финляндского полка, член СО.
- Михаил Павлович (1798—1849) — великий князь.
- Михайловский Кирилл Григорьевич (ум. 1841) — вице-адмирал.
- Мозалевский Александр Евстихиевич (1803—1851) — прапорщик Черниговского полка, участник восстания.
- Моллер Александр Федорович (1796—1862) — полковник л.-гв. Финляндского полка.
- Моллер Антон Васильевич (1769—1848) — морской министр.
- Моллер Федор Васильевич (1760—1833) — вице-адмирал, начальник Кронштадтского порта.
- Мордвинов Николай Семенович (1754—1845) — адмирал, гос. деятель.
- Муравьев Александр Николаевич (1792—1863) — отставной полковник, член ССП и СБ.
- Муравьев Михаил Николаевич (1796—1866) — граф Виленский (Вешатель), член СБ, впоследствии гос. деятель.
- Муравьев Никита Михайлович (1796—1843) — капитан гв. генерального штаба, член ССП, СБ и СО.
- Муравьев Николай Николаевич (гр. Амурский; 1809—1881) — с 1847 г. ген.-губернатор Восточной Сибири.
- Муравьева Александра Григорьевна (урожд. Чернышева; 1804—1832) — жена Н. М. Муравьева.
- Муравьев-Апостол Матвей Иванович (1793—1886) — отставной полковник, член ССП, СБ и ЮО.
- Муравьев-Апостол Сергей Иванович (1796—1826) — подполковник Черниговского полка, член ССП, СБ и ЮО.
- Мусин-Пушкин Епафродист Степанович (1791—1831) — лейтенант гв. экипажа, член СО.
- Муханов Петр Александрович (1799—1854) — штабс-капитан Измайловского полка, член СБ и СО.

Мысловский Петр Николаевич (1777—1846) — священник Казанского собора, духовник декабристов.

Набокова Екатерина Ивановна (1791—1866) — сестра И. И. Пущина.

Назимов Михаил Александрович (1801—1888) — штабс-капитан л.-гв. Коннопионерного эскадрона, член СО.

Нартов Андрей Константинович (1683—1756) — историк.

Нарышкин Михаил Михайлович (1798—1863) — полковник Тарутинского пех. полка, член СБ и СО.

Нарышкина Елизавета Петровна (урожд. Коновницына; 1801—1867) — жена М. М. Нарышкина.

Немцевич Юлиан Урсын (1757—1841) — пол. писатель и политический деятель.

Нессельроде Карл Васильевич (1780—1862) — граф, министр иностранных дел.

Николай Павлович (Николай I; 1796—1855) — император.

Оболенский Евгений Петрович (1796—1865) — поручик л.-гв. Финляндского полка, член СБ и СО.

Озеров Владислав Александрович (1769—1816) — драматург.

Орлов Алексей Федорович (1786—1861) — граф, затем князь, гос. деятель.

Орлов Михаил Федорович (1788—1842) — генерал-майор, командир 16-й пех. дивизии, член ССп и СБ.

Охотников Константин Алексеевич (ок. 1797—ок. 1824) — капитан 32-го егерского полка, член СБ.

Павел I Петрович (1754—1801) — рус. император.

Панов Николай Алексеевич (1803—1850) — поручик л.-гв. Гренадерского полка, член СО.

Паскевич Иван Федорович (1782—1855) — командир Кавказского корпуса с 1827 г.

Пассек Петр Петрович (ум. 1825) — отставной генерал-майор, член СБ.

Пеллико Сильвио (1789—1854) — ит. писатель-революционер.

Перовский Василий Алексеевич (1795—1857) — полковник, флигель-адъютант, впоследствии гос. деятель.

Перовский Лев Алексеевич (1792—1856) — гос. деятель, министр внутренних дел, близок декабристам.

Пестель Павел Иванович (1793—1826) — член ССп и СБ, организатор и вождь ЮО.

Пестов Александр Семенович (1802—1833) — подпоручик 9-й арт. бригады, член ОСС.

Пешель Франц Осипович (1784—1842) — лицейский врач.

Пещуров Алексей Никитич (1779—1849) — опочецкий предводитель дворянства в 1822—1829 гг., родственник А. М. Горчакова.

Пилецкий-Урбанович Мартын Степанович (1780—1859) — инспектор Лицея.

Плавильщиков Василий Алексеевич (ум. 1823) — книгопродавец.

Плетнев Петр Александрович (1792—1865) — поэт, друг Пушкина, профессор, в 1838—1846 гг. — издатель «Современника».

Плуталов Григорий Васильевич (ок. 1750—1827) — генерал-лейтенант, комендант Шлиссельбургской крепости.

Плюскова Наталья Яковлевна (ок. 1780—1845) — фрейлина.
Повало-Швейковский (Швейковский; 1790—1845) — полковник Саратовского пех. полка, член ЮО.

Поджио Александр Викторович (1798—1873) — отставной подполковник, член ЮО.

Полевой Николай Алексеевич (1796—1846) — писатель, журналист, критик.

Поливанов Иван Юрьевич (1797—1826) — отставной полковник, член СО.

Потапов Алексей Николаевич (1772—1847) — дежурный генерал Главного штаба.

Потемкин Яков Алексеевич (1778—1831) — генерал-адъютант, командир Семеновского полка до 1819 г.

Пушкин Василий Львович (1766—1830) — дядя А. С. Пушкина, поэт.

Пушкин Лев Сергеевич (1805—1852) — брат А. С. Пушкина.

Пушкин Сергей Львович (1767—1848) — отец А. С. Пушкина.

Пушин Павел Сергеевич (1789—1865) — генерал.

Пушин Петр Иванович (1723—1812) — дед И. И. Пушина, адмирал.

Пушин Петр Павлович (1799—1875) — двоюродный брат И. И. Пушина.

Радклиф Анна (1764—1823) — англ. писательница.

Раевский Николай Николаевич (1801—1843) — полковник, затем генерал-майор, близкий к декабристам.

Разумовский Алексей Кириллович (1748—1822) — граф, министр народного просвещения.

Репин Николай Петрович (1796—1831) — шт.-капитан л.-гв. Финляндского полка, член СО.

Репнин-Волконский Николай Григорьевич (1778—1845) — генерал, брат С. Г. Волконского.

Риендо Кола ди (Риензи; 1313—1354) — ит. политический деятель, пытавшийся возродить республику в Риме.

Роза Сальватор (1615—1673) — ит. художник.

Розен Андрей Евгеньевич (1800—1884) — поручик л.-гв. Финляндского полка, член СО.

Розен Анна Васильевна (урожд. Малиновская; 1797—1883) — жена А. Е. Розена.

Розен Григорий Владимирович (1782—1841) — барон, командир Кавказского корпуса в 1831—1837 гг.

Ростовцев Яков Иванович (1803—1860) — член СО, позже начальник штаба военно-учебных заведений.

Рукевич Михаил Иванович (ум. 1841) — пол. дворянин, один из организаторов О-ва военных друзей.

Румянцев-Задунайский Петр Александрович (1725—1796) — граф, генерал-фельдмаршал.

Рылеева Анастасия Кондратьевна (1820—1890) — дочь К. Ф. Рылеева.

Рылеева Анастасия Матвеевна (урожд. Эссен; 1758—1824) — мать К. Ф. Рылеева.

Рылеева Наталья Михайловна (урожд. Тевяшова; ум. 1853) — жена К. Ф. Рылеева.

Рябинин Андрей Михайлович (1772—1854) — дядя И. И. Пушина.

Сабанеев Иван Васильевич (1770—1829) — ген.-лейтенант, командир 6-го корпуса.

Самойлов Василий Михайлович (1782—1839) — актер.

Сведенборг Эмануэль (1688—1772) — швед. мыслитель, мистик.

Свистунов Петр Николаевич (1803—1889) — корнет Кавалергардского полка, член СО и, по некоторым сведениям, ЮО.

Семевский Михаил Иванович (1837—1892) — историк, редактор журнала «Русская старина».

Семенов Степан Михайлович (1789—1852) — член СБ и СО. Серафим (в миру Степан Глаголевский; 1757—1843) — митрополит Петербургский.

Сенковский Осип (Юлиан) Иванович (1800—1858) — писатель и журналист.

Соловьев Вениамин Николаевич (1798—1866 или 1871) — барон, шт.-капитан Черниговского полка, член ОСС.

Сомов Орест Михайлович (1793—1833) — литератор, приятель Рылеева и Бестужевых.

Спафарьев Леонтий Васильевич (1765—1847) — генерал-майор, директор службы маяков Финского залива.

Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839) — граф, гос. деятель.

Спинелло Аретино (1308—1400) — ит. художник.

Сталь-Гольштейн Анна Луиза Жермена де (урожд. Неккер; 1766—1817) — фр. писательница.

Степовой Михаил Гаврилович (1769—1845) — генерал-директор штурманского училища в Кронштадте.

Стерн Лоренс (1713—1768) — англ. писатель.

Столыпин Аркадий Алексеевич (1778—1825) — гос. деятель.

Строев Павел Михайлович (1796—1876) — историк, археограф.

Стюрлер Анатолий Карлович (ум. 1825) — командир л.-гв. Гренадерского полка.

Сукин Александр Яковлевич (1765—1837) — комендант Петропавловской крепости.

Сулима Николай Семенович (1777—1840) — ген.-губернатор Восточной Сибири в 1834—1836 гг.

Сутгоф Александр Николаевич (1801—1872) — поручик л.-гв. Гренадерского полка, член СО.

Сухинов Иван Иванович (1797—1828) — поручик Александровского гусарского полка, член ОСС.

Сухожанет Иван Онуфриевич (1788—1861) — генерал, начальник гв. Артиллерийского корпуса.

Татищев Александр Иванович (1762—1833) — граф, военный министр, председатель Следственной комиссии.

Теппер де Фергюсон Вильгельм Петрович (ок. 1775 — не ранее 1823) — лицейский преподаватель музыки.

Тизенгаузен Василий Карлович (1781—1857) — полковник Полтавского пех. полка, член ЮО.

Толстой Иван Николаевич (1792—1854) — офицер Семеновского полка, впоследствии сенатор.

Толстой Петр Александрович (1761—1844) — граф, генерал от инфантерии, командир 4-го пех. корпуса.

Толстой Федор Петрович (1783—1873) — художник, вице-президент Академии художеств, член СБ.

Торсон Константин Петрович (ок. 1790—1851) — капитан-лейтенант флота, член СО.

Траверсе Жан-Франсуа (Иван Иванович) де (1754—1830) — маркиз, морской министр.

Трубецкая Екатерина Ивановна (урожд. гр. Лаваль; 1800—1854) — жена С. П. Трубецкого.

Трубецкой Сергей Петрович (1790—1860) — полковник, член ССп, СБ, СО; был выбран «диктатором» восстания 14 декабря.

Туманский Василий Иванович (1800—1860) — поэт.

Тургеневы: Александр Иванович (1784—1845) — историк и литератор; Николай Иванович (1789—1871) — литератор, член СБ и СО.

Тырков Александр Дмитриевич (1799—1843) — лицеист.

Тютчев Алексей Иванович (1800—1856) — капитан Пензенского пех. полка, член ОСС.

Фаленберг Петр Иванович (1791—1873) — подполковник, член ЮО.

Филанджиери Гаетано (1752—1788) — ит. публицист.

Филарет (Дроздов Василий Михайлович, 1783—1867) — московский митрополит с 1826 г.

Филикая Винченцо (1642—1707) — ит. поэт.

Фонвизин Михаил Александрович (1788—1854) — отставной генерал-майор, член ССп, СБ и СО.

Фонвизина Наталья Дмитриевна (урожд. Апухтина; 1805—1869) — жена М. А. Фонвизина.

Фотий (1792—1838) — архимандрит.

Фохт Иван Федорович (1794—1842) — шт.-капитан Азовского полка, член ЮО.

Фредерикс (Фридрикс) Петр Александрович (1786—1855) — барон, генерал-майор, командир л.-гв. Московского полка.

Фридрих-Вильгельм III (1770—1840) — прус. король.

Фролов Степан Степанович (р. 1765) — надзиратель и инспектор Лицея.

Фурман Андрей Федорович (1795—1835) — капитан Черниговского пех. полка, член ЮО.

Хвостов Дмитрий Иванович (1757—1835) — стихотворец.

Хвошинский Павел Кесаревиц (1790—1852) — полковник л.-гв. Московского полка.

Хмельницкий Николай Иванович (1789—1845) — драматург.

Цейдлер Иван Борисович (1780—1853) — иркутский гражданский губернатор.

Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856) — бывший адъютант кн. Васильчикова, член СБ, русский философ.

Чевкин Александр Владимирович (1803—1887) — поручик л.-гв. Конногегерского полка.

Чевкин Константин Владимирович (1802—1875) — офицер Гв. генерального штаба.

Черкасов Алексей Иванович (1799—1855) — поручик Квартирмейстерской части, член СО и ЮО.

Чернов Константин Пахомович (1803—1825) — двоюродный брат Рылеева, подпоручик Семеновского полка, член СО.

Чернышев Александр Иванович (1785—1857) — генерал-адъютант, военный министр, член Следственной комиссии.

Чернышев Захар Григорьевич (1796—1862) — граф, ротмистр Кавалергардского полка, член СО.

Чернышев-Кругликов Иван Гаврилович (1787—1847) — действительный тайный советник.

Чижев Николай Алексеевич (ум. 1848) — лейтенант флота, член СО.

Чириков Сергей Гаврилович (1776—1853) — губернатор и учитель рисования в Лицее.

Шаховская Варвара Михайловна (ум. 1836) — невеста П. Муханова.

Шаховская Наталья Дмитриевна (урожд. Щербатова; 1795—1885) — жена Ф. П. Шаховского.

Шаховской Федор Петрович (1796—1829) — отставной майор Семеновского полка, член ССП и СБ.

Шеншин Василий Никанорович (1784—1831) — генерал-майор, командир 1-го гв. пех. бригады.

Шеллинг Фридрих Йозеф Вильгельм (1775—1854) — нем. философ.

Шереметев Алексей Васильевич (1800—1857) — поручик л.-гв. конной артиллерии, зять И. Д. Якушкина.

Шипов Иван Павлович (1793—1845) — полковник, член СБ, с 1826 г. — командующий л.-гв. Сводным полком, образованным из «прощенных» участников выступления 14 декабря.

Шипов Сергей Павлович (1789—1851) — генерал-майор, командир Семеновского полка, член СБ.

Ширинский-Шихматов Сергей Александрович (1783—1837) — князь, поэт.

Штейнгель (Штейнгейль) Владимир Иванович (1783—1862) — отставной полковник, член СО.

Щепин-Ростовский Дмитрий Александрович (1798—1859) — князь, шт.-капитан л.-гв. Московского полка, участник восстания 14 декабря.

Энгельгардт Егор Антонович (1775—1862) — второй директор Лицея.

Юсупов Николай Борисович (1750—1831) — князь, московский вельможа.

Юшневская Мария Казимировна (урожд. Круликовская; 1790—1863) — жена А. П. Юшневого.

Юшневский Алексей Петрович (1786—1844) — генерал-интендант 2-й армии, член СБ и ЮО.

Яковлев Алексей Семенович (1773—1817) — актер.

Якубович Александр Иванович (1792—1845) — капитан Нижегородского драгунского полка, участник восстания 14 декабря.

Якушкин Евгений Иванович (1826—1905) — сын декабриста, историк.

Якушкина Анастасия Васильевна (урожд. Шереметева; 1807—1846) — жена И. Д. Якушкина.

СОДЕРЖАНИЕ

В. Ф. РАЕВСКИЙ

Песнь	3
Ода другу	4
Послание Петру Григорьевичу Приклонскому	5
«От ранней юности...»	7
Идиллия	8
Г. С. Батенькову	8
Сетование	10
Ропот	10
Осень. <i>Идиллия</i>	11
«Нет, нет, не изменюсь...»	13
Обет	13
Глас правды	14
Плач негра	15
Путь к счастью	16
Смеюсь и плачу	17
Сатира на нравы	18
Картина бури	19
Песнь невольника	20
К друзьям в Кишинев	21
Певец в темнице	25
На смерть моего скворца	28
«Когда ты был младенцем...»	29
«Не с болию, но с радостью душевной...»	30
Дума	31
Предсмертная дума	33

Н. А. БЕСТУЖЕВ

Воспоминание о Рылееве	35
14 декабря 1825 года	63
Шлиссельбургская станция	69

М. А. БЕСТУЖЕВ

Мои тюрьмы	99
I. Братья Бестужевы	99
II. 14 декабря 1825 года	110
III. Азбука	147
Из ответов на вопросы М. И. Семеvского 1860—1861 гг.	163
Пребывание в Шлиссельбурге и переезд в Сибирь	163
Из дополнительных ответов 1869—1870 гг.	168
<Литературное общество в каземате>	170
Песня «Что ни ветер шумит...»	170
<Казнь Рылеева>	172

И. И. ПУЩИН

Записки о Пушкине	175
-----------------------------	-----

Осень	222
Зима	223
К Матюшкину	223
Царское Село	224
К Пушкину	225
К Пушкину из его нетопленной комнаты	226
Поэты	227
К Евгению	232
Прощание	233
Ницца	234
К Румью	236
К Ахатесу	237
Ермолову	237
Грибоедову	238
Разуверение	239
К Пушкину	240
Пророчество	242
Проклятие	244
Участь поэтов	245
<На смерть Чернова>	246
Тень Рылеева	247
19 октября 1828 года	248
Памяти Грибоедова	249
Клен	250
Море сна	251
Полночь с 31 декабря на 1-ое января	252
Родство со стихиями	254
19 октября 1836 года	255
Разочарование	256
Тени Пушкина	257
Брату	257
19 октября 1837 года	259
Они моих страданий не поймут	260
Три тени	261
Четырехстишие	263
Марии Николаевне Волхонской	263
«Еще прибавился мне год...»	263
«До смерти мне грозила смерти тьма...»	264
Участь русских поэтов	265
На смерть Якубовича	266
Слепота	267
Сонет	267
«Горько надоел я всем...»	268
«Счастливицы вольные птицы...»	268
Последний Колонна. Роман в двух частях 1832 и 1843 гг.	270

А. И. ОДОЕВСКИЙ

Бал	335
Утро	336
Сон поэта	336
«Тебя ли не помнить? Пока я дышу...»	337

Дева 1610 года	337
Тризна	339
Умиравший художник	340
«Струн вещей пламенные звуки...»	340
Последняя надежда	341
Узница Востока	341
Элегия на смерть А. С. Грибоедова	342
Элегия	343
Старница-пророчица	346
Кн. М. Н. Волконской	347
Зосима	348
Неведомая странница	350
Кутья	351
«Что за кочевья чернеются...»	352
Славянские девы	
Песнь первая. Славянские девы	353
Песнь вторая. Старшая дева	354
Два образа	354
«Недвижимы, как мертвые в гробах...»	356
«По дороге столбовой...»	357
Колыбельная песнь	358
«Ты знаешь их, кого я так любил...»	359
«Как я давно поэзию оставил!..»	359
«Куда несетесь вы, крылатые станицы?..»	361
«Как носятся тучи за ветром осенним...»	361

Г. С. БАТЕНЬКОВ

Узник	363
Исход	364
Раздумье	366
Non exegi monumentum	367
«Утром уеду отсюда...»	368
Москва	369
На проезд мой в Калугу	369
Север	371
Оттепель в Уткине	373
«Язык коснеет, кровь хладеет...»	373
Гордыня	374
Песни дорожные	377
«Мой близится горестный путь к рубежу...»	378

И. Д. ЯКУШКИН

Записки	380
Примечания	508
Словарь имен	545

Д 28 Декабристы. Избранные сочинения. В двух томах. Т. 2 / Сост. и прим. А. С. Немзера и О. А. Проскурина. — М.: Правда, 1987. — 560 с.

Во втором томе наряду с художественными произведениями (избранные стихотворения В. Ф. Раевского, В. К. Кюхельбекера, А. И. Одоевского, Г. С. Батенькова; роман Кюхельбекера «Последний Колонна») представлены мемуары декабристов, рисующие историю тайных обществ («Записки» И. Д. Якушкина), восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 года, месяцы следствия и годы каторги и ссылки. В «Записках о Пушкине» И. И. Пушина и «Воспоминаниях о Рылееве» Н. А. Бестужева воссозданы яркие образы великих поэтов.

Д 4702010100 — 1115 1115 — 87 84 Р 1
080(02) — 87

ДЕКАБРИСТЫ
ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
В ДВУХ ТОМАХ
Том 2

Составители

Андрей Семёнович
НЕМЗЕР

и

Олег Анатольевич
ПРОСКУРИН

Редактор Н. А. Галахова

Оформление художника И. А. Гусевой

Художественный редактор Е. М. Борисова

Технический редактор Л. Ф. Молотова

ИБ 1115

Сдано в набор 06.10.85. Подписано к печати 20.03. 86.

Формат 84×108¹/₃₂. Бумага книжно-журнальная.

Гарнитура «Академическая». Печать высокая.

Усл. печ. л. 29,40. Усл. кр-отт. 29,40. Уч.-изд. л. 31,95.

Тираж 500 000 экз. (2-й завод: 250001 — 500 000).

Заказ № 1601. Цена 2 р. 50 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии изд-ва «Кировская правда» Кировского обкома КПСС

610601, г. Киров, ГСП, ул. Коммуны, 122.

1888

2

THE ABRAHAM
CUTBRIGHT

1888